ЗА РУБЕЖОМ

БЕЛГРАД ПАРИЖ ОКСФОРД

ХРОНИКА СЕМЬИ ЗЕРНОВЫХ

YMCA-PRESS

ПАРИЖ

ЗА РУБЕЖОМ

БЕЛГРАД-ПАРИЖ-ОКСФОРД

(Хроника семьи Зерновых)

(1921 - 1972)

Под редакцией
Н.М. и М.В. Зерновых

YMCA - PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
Paris 5

ИЗ КНИГ Н. М. ЗЕРНОВА

ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ	ПАРИЖ 1952
НА ПЕРЕЛОМЕ (Три поколения одной московской семьи)	ПАРИЖ 1970
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ ЭМИГРАЦИИ: БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И БИБЛИОГРАФИЯ ИХ КНИГ ПО БОГОСЛОВИЮ, РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ ЦЕРКВИ И ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ	БОСТОН 1973
РУССКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ XX ВЕКА (Готовится к печати)	
THREE RUSSIAN PROPHETS (Khomiakov, Dostoevsky and Vladimir Soloviev)	LONDON 1944, 1973
EASTERN CHRISTENDOM	LONDON 1961
ORTHODOX ENCOUNTER	LONDON 1961
THE RUSSIAN RELIGIOUS RENAISSANCE OF XX CENTURY	LONDON 1963
THE RUSSIANS AND THEIR CHURCH	LONDON 1968
RUSLANDS KIRKE OG NORDENS KIRKE	COPENHAGEN 1954
DEN ORTODOXA KYRKON	STOCKHOLM 1955
THE CHRISTIAN EAST	DELHI 1956
IDAN ORTODOKSINEN KIRKKO	FINLAND 1958
CRISTIANISMO ORIENTAL	MADRID 1962
IL CRISTIANESIMO ORIENTALE	MILANO 1962

ОГЛАВЛЕНИЕ

Подробное оглавление в конце книги.

Иллюстрации — в начале книги и после стр. 122

ВВЕДЕНИЕ

Хроника семьи Зерновых состоит из воспоминаний шести ее членов, описывающих события, происшедшие на протяжении полустолетия в различных странах русского рассеяния. Хроника не является историей русской эмиграции. Каждый автор рассказывает только о своей деятельности и передает свои переживания, не пытаясь дать общую картину зарубежной жизни. Члены семьи принимали, однако, большое участие в Русском Студенческом Христианском Движении и других религиозно-просветительных организациях. Хроника поэтому отражает как церковные, так и общественные задачи, стоявшие перед русскими эмигрантами. Значительное место в ней уделено экуменическим проблемам и попыткам примирения восточных и западных христиан.

В 1970 году в Париже была издана книга «На Переломе». В ней члены той же семьи описали свою жизнь в России до и во время революции. «На Переломе» кончается рассказом об их шестимесячном пребывании в Константинополе в 1921 году. «За Рубежом» начинается с описания переезда Зерновых в Югославию осенью того же года.

———— ● ————

Редакторы «За Рубежом» приносят глубокую благодарность Вере Александровне Допера, взявшую на себя нелегкую задачу корректуры рукописи.

———— ● ————

Храм Сергиевского Подворья

Церковь русского кладбища в Сент-Женевьев де Буа (около Парижа)

Церковь Св. Серафима Саровского в Монжероне

Внутренность той же церкви, расписана О. Григорием Круг.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЗЕРНОВЫХ

Михаил Степанович Зернов

Родился в Москве 1 ноября 1857 года. Сын протоиерея Стефана Ивановича Зернова (27 дек. 1817-17 окт. 1886) и Прасковьи Димитриевны Лебедевой (1829-11 фев. 1916). Окончил Первую Московскую гимназию и медицинский факультет Московского Университета (1882). Был оставлен при Университете по кафедре госпитальной клиники по внутренним болезням у проф. А. А. Остроумова (1844-1908). В 1886 году он был приглашен на консультацию на Кавказские Минеральные Воды. Они произвели на него столь сильное впечатление, что он стал ежегодно ездить в Ессентуки и делал это в течение 30 лет. В 1897 году М. С. женился на Софии Александровне Кеслер. В 1898 году он основал Вспомогательное Общество «Санаторий» для небогатых больных.

Занимаясь медицинской практикой на Кавказе летом, зимой М. С. отдавал себя общественной деятельности. Как и его отец, он был гласным Московской Городской Думы в течение 15 лет. Он был также председателем Арбатского попечительства о бедных и членом других благотворительных организаций. После дарования конституции в 1905 году он вступил в партию Народной Свободы. (К. Д.).

В 1917 году д-р Зернов со своей семьей покинул Москву и провел годы гражданской войны в Ессентуках, работая врачом в госпиталях. В 1920 году семья Зерновых была эвакуирована вместе с медицинским управлением Добровольческой Армии в Грузию. Оттуда им удалось выехать в Константинополь в феврале 1921 года. С осени того же года М. С. работал в Югославии курортным врачом сначала в Врньячской, а потом в Бранской Банях. С 1927 года до последнего дня своей жизни он занимался медицинской практикой среди русских в Париже. Он был председателем Московского Землячества и помощником председателя Общества врачей имени Мечникова. Умер 31 января 1938 года на 82 году своей жизни.

София Александровна Зернова, урожденная Кеслер

Родилась 10 августа 1865 года в Москве. Дочь Александра

Ивановича Кеслера (ум. 10 ноября 1870 года) и Марии Алексеевны Жуковой (15 июля 1825-18 марта 1902). С. А., по окончании классической гимназии Фишер, занималась педагогической работой в Москве. После своего замужества она участвовала в общественной и благотворительной деятельности мужа, взяв на себя ответственность за хозяйственную сторону санатория в Ессентуках, насчитывавшего более 500 больных и более 100 служащих. Умерла она в Париже 28/15 августа 1942 года.

Николай Михайлович Зернов

Родился в Москве 9 октября 1898 года. Окончил гимназию Поливанова с золотой медалью в 1917 году. Поступил на медицинский факультет Московского Университета. Покинул Россию в 1921 году. В 1925 окончил богословский факультет Белградского Университета. С 1925 по 1932 год работал секретарем Русского Студенческого Христианского Движения. С 1925 по 1929 был редактором «Вестника Р.С.Х.Д.». С 1934 по 1947 год был секретарем Англо-Православного Содружества имени преп. Сергия Радонежского и св. мученика Албания. С 1947 по 1966 преподавал в Оксфордском Университете, будучи Сполдингским Лектором по Восточно-Православной Культуре. Доктор философии (1932), доктор богословия (1966), принципал Католикатского Колледжа в Траванкоре (1953-1954), профессор богословия в американских университетах в Дрю, Айове и Дюке. Автор книг по истории русской Церкви и на темы сближения восточных и западных христиан. Член Королевского Общества Литературы в Лондоне. В 1927 году женился на Милице Владимировне Лавровой.

Милица Владимировна Зернова, урожденная Лаврова

Родилась в Тифлисе 17 августа 1899 года. Дочь Владимира Андреевича Лаврова (15 июля 1867-16 апреля 1936) и Александры Никаноровны Никольской (9 окт. 1872-30 янв. 1956). М. В. окончила гимназию Левандовского в Тифлисе в 1917 году и поступила в Московский Университет. В 1921 году уехала из Грузии во Францию для продолжения образования.

Окончила медицинский факультет в Париже в 1932 году и зубоврачебный факультет в Лондоне в 1938 году. Была консультантом по хирургии рта в лондонских госпиталях, заведовала домом св. Василия в Лондоне и св. Григория в Оксфорде. Иконописец и автор статей на богословские темы.

София Михайловна Зернова

Родилась в Москве 24 декабря 1899 года. Окончила классическую гимназию Хвостовой в 1918 году и философский факультет Белградского Университета в 1925 году. Была генераль-

ным секретарем Р.С.Х.Д. с 1926 по 1931 год. С 1932 года по 1934 заведовала Бюро по приисканию труда при Обще-Воинском Союзе в Париже. С 1935 по 1969 год была генеральным секретарем основанного ею Центра Помощи Русским в Эмиграции. С 1939 года заведовала Детским Домом в Монжероне. С 1948 по 1951 работала также секретарем И.Р.О. (Международная организация для помощи беженцам.) Умерла в Париже 18 января 1972 года.

Мария Михайловна Кульманн, урожденная Зернова

Родилась в Москве 10 марта 1902 года. Окончила гимназию в Ессентуках в 1919 году и богословский факультет в Белграде в 1926 году. Создала и руководила Содружеством молодежи и юношеским Клубом при Р.С.Х.Д. в Париже с 1926 по 1928 год. В 1929 вышла замуж за Густава Густавовича Кульманна (1894-1961), члена секретариата при Лиге Наций и Заместителя Верховного Комиссара па делам беженцев. Сын Михаил родился в 1933 году. Основательница и председательница Пушкинского Клуба в Лондоне (1954-1964). Умерла в Лондоне 8 августа 1965 года.

Владимир Михайлович Зернов

Родился в Москве в 1904 году. Окончил гимназию в Константинополе в 1921 году и медицинский факультет в Белграде в 1927 году. Получил право практики во Франции в 1935 году после вторичной сдачи медицинских экзаменов. Работал ассистентом в Пастеровском Институте в Париже с 1927 по 1945 год. Автор статей по иммунитету и физиологии изолированных органов. Практикующий врач в Париже. В 1947 году женился на Розмари Баумли (р. 25 мая 1926 г.). Сын Николай родился в Париже 9 января 1948 года.

———— ● ————

Архив семьи Зерновых находится в библиотеке Дома св. Григория и св.Макрины в Оксфорде.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЮГОСЛАВИЯ-СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВСТРЕЧА С НОВОЙ СТРАНОЙ

Н. Зернов

14-го октября 1921-го года, в день Покрова по старому стилю, наша семья, состоявшая из шести человек, погрузилась в Константинополе в товарный вагон, предоставленный Красным Крестом для русских беженцев. Мы, вместе с другими путниками, были счастливыми обладателями виз для въезда в Югославию. Получили мы их после долгих, казавшихся безнадежными, хлопот. Перед нами открывался еще один этап нашего беженства. Оно началось в феврале 1920-го года, когда мы покинули наш дом в Ессентуках на Кавказе, накануне захвата станицы Красной армией. Нам удалось годом позже вторично вырваться из большевистского окружения и бежать из Грузии в Турцию. Теперь, в третий раз мы искали убежища в новой стране.

Нелегко было начало нашей зарубежной жизни, но, благодаря нашим дружным усилиям, мы не только смогли просуществовать в течение 6-ти месяцев в Константинополе, но даже скопить немного денег, достаточных по нашим расчетам на несколько недель пребывания в Белграде. Выбрали же мы родственное нам по духу православное королевство, надеясь найти там возможность получить высшее образование молодым членам нашей семьи. Белград был особенно привлекателен, так как моя младшая сестра и я хотели изучать богословие, а там был недавно открыт православный богословский факультет. Мы также слыхали, что в Югославии имеются целебные воды, и наш отец, — опытный курортный врач, стремился вернуться к этой, столь любимой им, деятельности.

С такими надеждами, но и с сильными опасениями, двинулись мы в путь. Мы уже привыкли кочевать по миру нищими и бесправными беженцами, все имущество наше умещалось в нескольких мешках. Мы были знакомы и с холодом, и с голодом, и у нас были причины думать, что и в Югославии нас могут ожидать новые испытания. Положение русских изгнанников там ухудшилось, а первая волна их была тепло встречена сербским правительством и народом. Эмигранты получали работу по специальности, учащимся давались стипендии, одно время даже русские деньги обменивались на динары. Но эта идиллия длилась недолго. Вновь прибывающие не могли расчитывать на подобную помощь. На визах, полученных нами, было указано, что мы не имели права на государственное пособие. Все же наши планы как раз строились на том, что нам удастся попасть в число студентов стипендиатов.

Четыре дня пути прошли в тревожных обсуждениях планов на будущее с другими спутниками. Всех нас ждала неизвестность. Все мы были напуганы слухами, что нас могут даже не пустить в переполненную столицу и прямо отправят в глухую провинцию. 18 октября наш товарный вагон прибыл в Белград. С тревогой мы выгрузили наш скарб на платформу. Никто не обратил на нас внимания. Мы решили все же действовать осторожно и послали старшую сестру на разведку в город, остальные остались ждать ее на вокзале. Она долго пропадала, но принесла обнадеживающие известия. Доступ в город был свободен, никто не проверял документов при выходе из станции. Она нашла по имевшимся у нас адресам нескольких знакомых и даже сняла комнату на первую ночь. Оставив на хранение наши мешки, мы пешком пошли к месту нашего ночлега.

Первым впечатлением было отличие Белграда от только что покинутого Царьграда. Вместо кривых и узких улиц с их шумной, яркой толпой, вместо пронзительных криков торговцев и беспрерывных гудков автомобилей, вместо суеты и хаоса Востока, мы очутились в тихом, провинциальном городе, чем-то напоминавшем южную Россию. Движения было мало, улицы были широкие, застроенные одноэтажными или двухэтажными домами. Никто никуда не спешил. Я с любопытством рассматривал прохожих, хотелось разобраться в характере народа, с которым нам предстояло вместе жить. Сербы не были похожи на русских. Черные волосы и смуглый цвет их продолговатых лиц напоминали Восток, но в то же время в выражении их глаз было что-то славянское, более мягкое, чем у турок или грузин. То же можно было сказать об их языке. Он был тверже русского, особенно «р» звучал для нашего уха резко и агрессивно, но зато гласные были мягче наших. Понимать по-сербски было не трудно, но для того, чтобы говорить, надо было войти в особый ритм языка

и уловить построение фраз, отличное от русского. Новая страна была менее красочна, чем Турция, но здесь был мир более понятный нам. Тут, думалось мне, мы сможем начать строить жизнь, в Константинополе мы, как и другие русские, чувствовали себя, как на бивуаке, у нас не было и не могло быть там корней.

Встретил нас Белград лучше, чем мы опасались, но наши ожидания мытарств, к сожалению, все же оправдались. Со следующего дня начались хождения по канцеляриям и учреждениям с просьбой помочь, разрешить, допустить. Пришлось искать покровительства влиятельных лиц, доставать у них письма к министрам и депутатам Скупщины. Долгие часы ожиданий, неисполненные обещания, грубость мелких чиновников, невнимание начальства. Всюду нас встречали препятствия; мы опоздали к началу занятий и нас не хотели принимать в университет; не будучи студентами, мы не могли получить право на жительство в Белграде.

Мы не сдавались и наше упорство было вознаграждено. Мой брат был принят все-таки на медицинский факультет, старшая сестра — на философский, младшая и я — на богословский. Перед Рождеством мы даже добились, казалось бы, невозможного, нам выдали стипендии по 200 динар в месяц на каждого. Английский фунт тогда стоил 275 динар. Конечно, такой стипендии на жизнь не хватало, но у нас появились дополнительные заработки. Сестры заполняли бесконечные листы статистики о количестве коров, свиней и овец в стране, брат сажал деревья вдоль тротуаров, я давал уроки в русской семье. Деньги, с трудом скопленные в Царьграде, пришли к концу как раз, когда мы начали вставать на ноги.

Труднее всего пришлось отцу. Ему долго не удавалось получить работу. Он проявил большую энергию, читал доклады в медицинском обществе, познакомился с лицами, ответственными за благоустройство курортов. После многих обещаний он был, наконец, назначен эпидемическим врачом в один из курортов. Жалование полагавшееся ему было недостаточно даже для самого скромного существования, но у нас была надежда, что ему будет разрешена частная практика.

Перед Рождеством родители покинули Белград, а мы, молодежь, вместе с пятью другими нашими сверстниками поселились в маленькой хибарке на окраине города, называвшейся Сеньяк. Жили мы впроголодь, но не унывали. Мы были молоды, окружены друзьями, могли учиться, а главное — мы были свободны, мы вырвались из большевистского плена и у нас была Церковь, освящавшая для нас весь мир и дававшая смысл нашей жизни.

Когда мы поселились в Белграде, город был значительным центром эмиграции. Около 30 тысяч русских жили в

столице Югославии. Бывший посол Штрандман все еще представлял русские интересы. В Белграде имелись русская газета, гимназия, церковь, издавались книги, существовали всевозможные общественные учреждения. В соседних городах разместились кадетские корпуса и женские институты, эвакуированные с юга России. Большинство русских продолжало надеяться вернуться на родину, споры о ее будущем и о причинах катастрофы волновали всех. Несколько тысяч студентов училось в университете, почти все они прошли через горнило мировой и гражданской войны и вернулись к занятиям после долгого перерыва. Они горячо приступили к учению, веря, что знания, приобретенные за рубежом, пригодятся для работы на родине. У них было много жизнерадостности, почти все были бедны, но мало тяготились этим, ожидая перемен в России.

Так началось наше четырехгодичное пребывание в Сербии. Это было плодотворное время духовного роста и умственного пробуждения. В Белграде мы заложили фундамент нашей церковно-общественной работы и встретили тех друзей, которые впоследствии стали нашими сотрудниками в экуменической деятельности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СОБОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В КАРЛОВЦАХ

(21 ноября-2 декабря 1921 года)

Н. Зернов

Наша жизнь в Белграде только начинала налаживаться, когда епископ Вениамин (Федченко. 1882-1962) пригласил меня приехать в Сремские Карловцы, резиденцию сербского патриарха, где происходил съезд представителей русского духовенства и мирян, ставший впоследствии известным под именем Первого Карловацкого Собора.

Я встретил владыку Вениамина в Константинополе, он сразу покорил меня своей необычайной одухотворенностью. Он был подлинным самородком, вышедшим из глубин деревенской России. Блондин, с небольшой бородкой и лучистыми голубыми глазами, он говорил нараспев, ходил размашистой походкой, был талантлив, непостоянен и неуловим. Он был и иконописец, и сочинитель акафистов и неподражаемый рассказчик. Сам он ярко горел и умел зажигать других. В Крыму он пламенно проповедовал о начавшемся возрождении России под водительством генерала Врангеля (1878-1928). В эмиграции он часто менял свои ориентации. Сначала он жил в Югославии, потом в Прикарпатской Руси, затем переехал в Париж. Во время Второй Мировой Войны, будучи в Америке, он всецело поддерживал Советский Союз и после поражения Германии вернулся на родину. Ему оказалось трудным приспособиться к новым условиям церковной жизни, его переводили с одной кафедры на другую. Умер он после долгой болезни в Псково-Печерском монастыре.

На соборе в Карловцах он был глашатаем оппозиции, боровшейся против крайнего крыла монархистов. Этот собор сыграл значительную роль в судьбах Православия, как в эмиграции, так и на родине. Присутствие на нем оставило глубокий след в моей жизни, внеся много существенных поправок в мое определение задач Церкви.

Ехал я в Карловцы полный самых радужных надежд. Ле-

том 1921 года в Константинополе я участвовал в собрании клириков и мирян, созванном епископом Вениамином. На нем царил дух подлинной церковности, и я ожидал найти его и на этом всеэмигрантском совещании. Но, как только я увидал владыку, я понял, что положение здесь совсем иное. Оказалось, что в Карловцах заправляли всем люди, ставившие политические цели выше церковных интересов. Владыка попытался вначале бороться с ними, но потерпел поражение, все его предложения неизменно отвергались большинством.

Состав собора был пестрый, всего съехалось в Карловцах около 100 человек, среди них было 11 епископов, 22 священника, остальные были миряне. Русская эмиграция только что начиналась, ее церковная жизнь находилась в первых стадиях организации. Представителями приходов поэтому были часто случайные лица. Зато среди них выделялась крепко слаженная и напористая группа монархистов. Во главе ее стояли А. Ф. Трепов (1864-?) и Н. Е. Марков Второй (18??-1943), известный член Думы. Многие из представителей крайне правых не были выбраны приходами, а были приглашены в личном порядке подготовительной комиссией, возглавлявшейся Митр. Антонием (Храповицким. 1863-1936). Будучи председателем собора, он всячески содействовал крайне правой группе, разделяя ее политическую платформу. Сам митрополит, выдающийся богослов, человек большого ума, теплого сердца, был сторонником церковной независимости, что не мешало ему сотрудничать до революции с Союзом Русского Народа, а в Карловцах поддерживать Маркова Второго.

Монархисты рассматривали собор, как подходящий орган для призыва к восстановлению законной монархии. Их намерения встретили, однако, упорное сопротивление меньшинства, состоявшего преимущественно из приходского духовенства; епископы были разделены поровну. Всего к оппозиции принадлежало 34 человека, все они тянулись к епископу Вениамину, считая его своим руководителем.

Живя с владыкой и разделяя его убеждения, я присутствовал на всех совещаниях меньшинства, происходивших в его комнате, выслушивал проекты его выступлений, критиковал или одобрял их.

Первое столкновение, свидетелем которого я стал, было вызвано приездом в Карловцы Михаила Васильевича Родзянки (1869-1924). Бывший председатель Думы имел право участвовать в церковном совещании, как и все другие члены Всероссийского Собора 1917-1918 года. Однако его появление вызвало взрыв возмущения у большинства, которое потребовало его немедленного удаления. Причиной этого была роль Родзянки в деле отречения Государя. Старик был потрясен этой враждой, которая подчеркнула еще более отсутствие церковности у многих участников собрания. Он нашел

сочувствие у владыки Вениамина. Прощаясь с ним, он благодарил его со слезами на глазах за его моральную поддержку. Слушая его разговор с владыкой, я понял, что этот, как и мне раньше казалось, «враг родины» был лишь одной из жертв нашей государственной трагедии, корни которой уходили вглубь нашей истории.

Изгнав Родзянко, большинство немедленно приступило к своей основной задаче: к провозглашению от лица собора «законного царя из Дома Романовых». Очевидно, авторы этого плана вдохновлялись примером Смутного Времени и надеялись таким образом нанести сокрушающий удар по революции, не учитывая все перемены, происшедшие в России с XVII века. Вокруг этой декларации и началась упорная борьба. Как это ни покажется теперь странным, оппозиция не возражала против соборного одобрения монархии, как желательного образа правления. Она протестовала только против упоминания династии Романовых, считая это вмешательством в политику, не допустимым на церковном собрании. С этим был несогласен председатель, Митрополит Антоний, который утверждал, «что вопрос династии не политический, а чисто церковный, ибо отвергать этот вопрос — значит отвергать существующие, никем не отмененные основные законы, соглашаться с так называемыми «завоеваниями революции», т. е. одобрять низвержение Государя и царственной династии, уничтожение русского народа, и вместе с тем подвергать народ русский кровопролитию и ужасам бонапартизма и самозванщины. Вопрос этот моральный, — говорил он, — нравственный, а следовательно и чисто церковный».[1]

Горячее всех против этого взгляда возражал епископ Вениамин. Он умолял членов церковного собрания не упоминать в своем послании Дома Романовых: «Потому что только русский народ может призвать на царство».

Владыка считал, что задачей собора было объединить верующих, а то глубокое разделение, которое вызвало обсуждение династии, указывало на опасность новых раздоров и смущений в церковной среде. Его голос остался неуслышанным. После долгих прений, 51 человек голосовало за упоминание Дома Романовых. 36 воздержалось от голосования, считая, что династический вопрос не входит в компетенцию церковного собрания. Среди воздержавшихся были арх. Анастасий, арх. Евлогий, епископы Сергий, Апполинарий, Вениамин и Максимильян Сербский. Воздержалось и большинство священников, 14 из 22-х.

В свете последующих событий, борьба, разыгравшаяся на соборе, представляется политически бесплодной, но не такой

---

[1] См. Арх. Никон. Жизнеописание Антония митр. Киевского. Том 6. стр. 31.

казалась она тогда ее участникам. Члены собора верили, что их голос дойдет до России и найдет там широкий отклик. Не они одни находились в мире иллюзий. Это же случилось и с руководителями Церкви в самой России. Послания патриарха Тихона (1865-1925) тоже писались с надеждой, что церковный народ сможет отстоять свои святыни и защитить свободу веры от безбожных захватчиков власти.[2] История показала необоснованность этих ожиданий, но она вскрыла также наивность Ленина и его соратников, думавших, что конфискация церковного имущества, уничтожение любимых народом иерархов, а главное, их антирелигиозная пропаганда, — приведут к быстрому и окончательному исчезновению христианства.

В начале революции обе стороны не представляли себе истинной природы своего противника и силы тех духовных начал добра и зла, которые были вовлечены в эту страшную борьбу, затянувшуюся на многие десятилетия. Ленинизм вызвал в широких массах русского народа отступничество от христианства и радикальное отречение от своего прошлого. Однако гонение, поднятое на верующих, встретило и сопротивление. Тысячи мучеников и исповедников предпочли смерть, но не ушли от Христа и Его Церкви. Но все эти события были еще впереди. Описывая споры и решения Карловацкого собора, следует помнить, что его участники не понимали размера случившейся катастрофы. Эта слепота была особенно распространена среди старшего поколения русских политических деятелей.

Карловацкий собор закончил свою работу обращением к международной конференции, открывавшейся 10 апреля 1922 года в Генуе. На нее были приглашены представители советской власти во главе с Чичериным (1872-1936). Целью конференции было восстановление торговых сношений между западными державами и Россией. Послание собора, очевидно составленное Митрополитом Антонием, еще раз показало, как плохо разбирались в политической обстановке руководители русской Церкви. Послание ссылалось на предсказание «величайшего мирового писателя Достоевского, писавшего 50 лет тому назад, что, хотя революция начнется в России, но ее подлинное гнездо будет в Европе». (Дневник писателя). Авторы послания предупреждали Запад о грозившей ему опасности и заканчивали свое обращение следующими словами: «Народы Европы! Народы мира! Пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых злодеев! Не поддерживайте их, не укрепляйте их против ваших детей и внуков! А лучше помогите честным

---

[2] Тексты посланий патриарха Тихона находятся у архиепископа Никона «Жизнеописание митрополита Антония». Том 6, стр. 49-56.

русским гражданам. Дайте им оружие в руки... и помогите изгнать большевизм, этот культ убийства, грабежа и богохульства из России и из всего мира».[3]

Едва ли это обращение было заслушано на конференции. Во всяком случае никаких практических последствий оно не имело. Великие державы хотели торговать, а не воевать с большевиками. Однако это воззвание было использовано Лениным в его борьбе с Церковью. Оно, вместе с обращением собора к русскому народу, было объявлено советской властью доказательством контр-революционности Православия. Одно время казалось, что Карловацкий собор нанес решающий удар по верующим в России, но последующие события показали, что даже самая лояльная Церковь не могла бы избежать гонений.

После окончания работы собора многие члены, приходя прощаться с владыкой Вениамином, просили его создать объединение лиц, стоящих за независимость Церкви от политических партий. Владыка обещал подумать об этом. Я загорелся подобной идеей, думая, что такое содружество может помочь Православию, как на родине, так и за рубежом. Но из всех этих разговоров ничего не вышло. Владыка умел вдохновлять, но не организовывать людей.

Мое присутствие на соборе еще более сблизило меня с ним. Я всецело разделял его взгляды и с болью переживал его поражения. Благодаря владыке я познакомился с многими членами собора и подружился с несколькими молодыми иеромонахами, часто приходившими к нам в келию, чтобы отвести душу. Владыка охотно обсуждал со мною все события и прислушивался к моим замечаниям. Он всегда был окружен людьми, но не только его единомышленники, но и его противники искали встреч с ним. Среди последних самой яркой личностью был несомненно Н. Е. Марков Второй.

Это был человек крупного сложения, с широкой бородой и с тяжелым, умным лицом. Он говорил с владыкой с резкой откровенностью, предлагая сотрудничество и угрожая открытой борьбой в случае несогласия. Он так и поступил, когда убедился, что владыка не намерен присоединиться к платформе Высшего Монархического Совета. Приходил к нам и А. Трепов, и другие лидеры монархистов, но они казались мне менее значительными.

Дни, проведенные на соборе, отрезвили меня от моей церковной романтики и излечили от юношеской нетерпимости. Я познакомился с методами политической борьбы, с недобросовестностью ряда лиц, выступавших от лица Церкви, меня поразила их беспринципность, готовность использовать все

---

[3] Текст обоих посланий напечатан в «Жизнеописании митрополита Антония». Том 6, стр. 17-33. Издание Северо-Американской и Канадской епархии. 1960.

для достижения своих целей.[4] Я принужден был признать, что крайне правые и крайне левые часто столь похожи друг на друга, что их можно назвать близнецами. Главное, чему меня научили Карловцы, было знание, что мнение большинства, даже на церковном собрании, не является гарантией истины, и что высокие принципы часто скрывают другие мотивы: личной выгоды, соперничества и обид. После Карловацкого собора я освободился от наивной идеи, которую я разделял с многими моими сверстниками, что революция была делом масонского заговора, и что главная вина за гонения на христиан лежит на евреях. Я был поражен той злобой и нетерпимостью, которую я встретил среди людей, называвших себя защитниками Церкви и верными служителями самодержавия. Я уехал из Карловац умудренным и многому научившимся. Моя дальнейшая церковно-общественная работа получила свое основание в опыте, пережитом на соборе.

[4] Так, например, секретари собора, выбранные большинством иногда просто не записывали речей своих противников, создавая впечатление единства там, где оно отсутствовало.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Н. Зернов

Богословский факультет был открыт в Белграде в 1920-ом году. Сам факультет, как по составу профессоров, так и студентов, отражал тот переходный период в истории сербского Православия, который начался после конца Первой Мировой Войны. Декан факультета, протоиерей Стефан Димитриевич, был ярким представителем Церкви старого довоенного королевства Сербии. Высокий, сухой старик с густой бородой, он не отличался ни красноречием, ни ученостью, но был подлинно предан Православию и был воплощением сурового, героического духа своей страны. Совсем другими были профессора из бывшей Австрийской Империи. Они все были доктора Черновицкого Университета, очень гордились своим званием, стригли волосы, одевались в рясы католического покроя и были больше похожи на ксендзов, чем на православных священников. Они с чувством превосходства смотрели на менее отшлифованных своих собратьев из старого королевства, но у них самих мало было от подлинной церковности. Сама их ученость была невысокого качества, читали они свои лекции по запискам семинарского, а не университетского уровня, и на экзаменах требовали от студентов почти что дословного воспроизведения ими прочитанного. За немногими исключениями, сербские профессора нам давали очень мало, но мы ходили на их лекции, так как их непосещение могло повлиять на наши отметки.

Совсем по другому мы относились к русским преподавателям. Среди них выделялись два корифея: Александр Павлович Доброклонский (1856-1937) и Николай Никанорович Глубоковский (1863-1937). Оба были представителями старой духовной школы, не отличавшейся смелыми полетами мысли, но воспитавшей своих питомцев в добросовестном отношении к науке. Они заложили в нас интерес к самостоятельному исследованию источников, о чем нам никогда не говорили

наши сербские учителя. К сожалению, большинство русских профессоров держалось в стороне от нас, ограничивая общение с нами своими лекциями.

Русские студенты, как и русские профессора, отличались от сербов. Среди последних большинство окончило семинарии и готовилось стать священниками. Они смотрели на изучение богословия, как на шаг, облегчающий продвижение по иерархической лестнице. Отношение к Церкви у них было бытовое, но многие из них были искренно верующими. Мы же, русские, готовились на служение гонимой Церкви; не обеспеченная карьера, а полная неизвестность ожидала нас.

Среди нас было значительное число своеобразных, даровитых людей, оставивших след в жизни эмиграции. Самым необычайным среди них был несомненно Михаил Борисович Максимович (1896-1966), в будущем архиепископ Иоанн. Небольшого роста, грузный и широкий в плечах, с одутловатыми щеками и красными губами под рыжеватыми малороссийскими усами, он производил впечатление большой, в себе сосредоточенной силы. Он мало общался с другими студентами, только под конец курса я ближе познакомился с ним, и мы имели несколько дружеских разговоров. Он очень бедствовал, зарабатывал на жизнь продажей газет. Белград в те годы покрывался непролазной грязью во время дождей. Максимович носил тяжелую меховую шубу и старые русские сапоги. Обычно он вваливался в аудиторию с запозданием, густо покрытый уличной грязью, вынимал не спеша из-за пазухи засаленную тетрадку и огрызок карандаша и начинал записывать лекцию своим крупным почерком. Вскоре он засыпал, но как только просыпался, сразу возобновлял свои писания. Многие из нас любопытствовали узнать, что за записи получались у Максимовича, но никто не решился попросить его дать нам их прочитать. Этот необычайный студент стал самым необычайным епископом зарубежной Церкви.

Окончив университет, он принял монашество и священство. Одно время он преподавал в Битольской семинарии. В 1934-ом году он был посвящен в епископы и послан в Шанхай. Там епископ Иоанн вел жизнь сурового аскета, лишал себя сна и пищи, носил зиму и лето сандалии без чулок, его ряса была похожа больше на одежду нищего, чем на епископское одеяние. Его поведение вызывало смущение у окружающих своим юродством. Некоторые считали его ненормальным, но это не мешало ему нести ответственность за материальные и духовные нужды своей паствы и быть неутомимым в помощи всем нуждающимся. Он создал приют для бездомных детей, сумел эвакуировать их сначала на Филиппинские Острова, а потом в Америку. Многие русские обязаны ему своим спасением от коммунистов, когда последние заняли Шанхай. Покинув Китай, епископ Иоанн поселился во Франции, в 1962

году он получил кафедру в Сан-Франциско, где и умер 2-го июля 1966-го года. Многие теперь почитают его, как святого.

Совсем иным был мой друг Константин Эдуардович Керн (1899-1960). В студенческие годы он был высокий, худой юноша со строгим лицом, носивший русскую рубаху навыпуск и сапоги. Эстет и поклонник Блока, он был в то-же время славянофилом, отвергавшим Запад и прихотливо соединявшим в себе романтизм с трезвенностью православной церковности. Он увлекался бытовым благочестием, так безжалостно растоптанным революцией, и был тонким ценителем красоты византийского богослужения. Поэтическая природа сочеталась в нем с острым критическим умом. Впоследствии он стал одним из самых крупных ученых богословов эмиграции.

По окончании университета, Керн принял в 1927-ом году монашество с именем Киприана. Сначала он учительствовал в Битоле, потом был начальником Русской Миссии в Иерусалиме (1928-1930). В 1936-ом году он переехал в Париж и до конца жизни преподавал на Сергиевском Подворье литургику и патрологию.

В 1928-ом году он напечатал свою первую книгу «Крины Молитвенные», в которой раскрыл смысл и красоту православных служб. Его главные труды были изданы в Париже: «Евхаристия» (1947), «Антропология св. Григория Паламы» (1950), «Золотой Век Святоотеческой Письменности» (1967). Эти книги дали ему общеевропейскую известность, как проникновенного исследователя первоисточников патристической литературы. В годы нашего студенчества мы были близки друг с другом; происходя из одной среды, мы получили сходное образование; наша церковность, наше отношение к искусству и людям были созвучны. Мы говорили на том же языке и с полслова понимали друг друга. Но несмотря на все это, мы по разному осознавали место Православия в современном мире. Керн жил прошлым, я же все яснее видел новые задачи, встававшие перед нашей Церковью. Керн увлекался Востоком, я стремился на Запад. В последние годы мы редко встречались. Он не одобрял моей экуменической деятельности и не признавал Московской Патриархии. Это был яркий, сильный и не всегда легкий человек. Его художественный портрет дан Борисом Зайцевым в книге «Далекое» (1965) в главе «Архимандрит Киприан».[1]

Прямой противоположностью строгого, порывистого Керна был мой другой друг, Николай Михайлович Терещенко (1895-1954). Невысокого роста, с пристальными глазами, смотревшими из-под золотых очков, он весь был какой-то круглый, теплый, любил Владимира Соловьева и Розанова,

---

[1] Вестник Р.С.Х.Д. № 1. 1960 содержит ряд статей посвященных памяти о. Киприана.

увлекался мистикой и вопросами пола. В нем было мало церковности, но он обладал глубокой религиозной интуицией и был хороший психолог. Его исследования эротики ранней юности были настолько оригинальны, что он получил приглашение работать в этой области в Оксфорде.

Моим третьим другом был Николай Николаевич Афанасьев (1893-1966), принявший священство и ставший впоследствии профессором канонического права на Сергиевском Подворье в Париже. Он был старше нас, в нем отсутствовала церковная романтика, которая одушевляла многих из нас. К нашей иерархии он относился более критически. Церкви был глубоко предан. В своих книгах: «Трапеза Господня» (1953), «Значение мирян в жизни Церкви» (1955), «Церковь Духа Святого» (1972) он развил новый евхаристический подход к природе Церкви, который оказал значительное влияние на современное богословие.

В отличие от Афанасьева, с его поисками свежих ответов на церковные вопросы, Иосиф Петрович Расторгуев (1893-1928) был подлинным старообрядцем. С узким, бескровным лицом, в очках со стальной оправой, он был редким знатоком древнего благочестия. Жил он в большой нужде, но умудрялся покупать книги и даже издал два номера журнала «Странник», отражавшего миросозерцание его редактора.

Таким же оригиналом был Викентий Флавианович Фрадынский (1892-1961). Мы ничего не знали о его прошлом. Он всегда носил черную шапочку, прикрывавшую его ранение. Он прекрасно учился, был библиофил и, по окончании факультета, сделался его библиотекарем. Он умер в Белграде в начале шестидесятых годов.

Среди студентов моего и более младших курсов было несколько лиц, ставших впоследствии епископами или игравших значительную роль в судьбах заграничной Церкви. Такими были: протопресвитер Георгий Граббе (род. в 1902 г.) — настоятель собора синодальной церкви в Нью-Йорке, архиепископ Серафим (Леонид Георгиевич Иванов, род. в 1897 г.), архиепископ Савва (Георгий Евгеньевич Советов, 1898-1951), епископ Филипп (Иван Алексеевич Гарднер, род. 1892) — известный знаток церковной музыки, архиепископ Антоний (Александр Федорович Сенькевич, род. 1904), и многие другие.

Если сам факультет дал нам мало знаний и не пытался воспитывать нас в церковном духе, то зато участие наше в жизни русского прихода в Белграде оказало на нас плодотворное влияние. Многочисленная русская колония была настроена церковно, богослужения всегда привлекали множество молящихся. Настоятель, о. Петр Беловидов, был опытный и хороший священник, в церкви часто служил митрополит Антоний и другие русские епископы, жившие в сербских мо-

настырях, недалеко от столицы.[2] Мы, студенты, участвовали в богослужениях, читали и пели на клиросе, и так готовились к своей пасторской и миссионерской работе.

В моем случае решающую роль сыграл студенческий кружок, начавший собираться в нашем доме, В кружке же произошла встреча нас, студентов, с епископами и профессорами, она перекинула мост между до-революционным и пореволюционным поколением руководителей Церкви.

Необходимость зарабатывать на жизнь, трудные материальные условия, отсутствие книг и пособий, — все это неблагоприятно отзывалось на моих занятиях. Моей целью было выдержать экзамен, о приобретении серьезных знаний не было времени заботиться. Устные экзамены происходили в конце каждого семестра, и я обычно получал высшую отметку «10», однако готовился я к экзаменам по запискам преподавателей, не имея возможности читать в подлинниках древних и современных богословов. Исключением был Владимир Соловьев (1853-1900). У нас имелось полное собрание его сочинений, и он оставил глубокий след в моем миросозерцании. Хотя мне чуждо было его софианство, зато его понимание Боговоплощения, его истолкование Ветхого Завета и смысла любви стали для меня источником вдохновения. Он подготовил меня к участию в экуменической работе и дал толчок моим идеям об особом призвании русской Церкви в деле примирения между Востоком и Западом. Кроме Соловьева, я много читал аскетическую литературу: Добротолюбие, Древний Патерик, Феофана Затворника (1815-1894). Моим любимым автором был Исаак Сирианин (8-ой век), который хотя и был епископом еретической Несторианской Церкви, но считается одним из самых проникновенных и дерзновенных духовных писателей Православия.

Во время нашей жизни в Белграде мы имели мало возможности следить за советской литературой. Наша связь с Россией была главным образом через Церковь, которая в то время разрывалась на части живоцерковным расколом. Мы с тревогой узнавали о все усиливающемся гонении на наших лучших иерархов и верных мирян, которыми Церковь была так богата накануне революции. Читали же мы главным образом русских классиков. Достоевский (1821-1881) был в центре нашего внимания. Кроме Александра Блока (1880-1921) с его «Двенадцатью», вызывавших нескончаемые споры, мы увлекались Гумилевым (1886-1921), Анной Ахматовой (1889-1965) и Сергеем Есениным (1895-1925). Встреча с С. Булгаковым (1871-1944) и другими представителями религиозного возрождения произошла в 1923-ем году. Их книг, изданных в России, мы в Белграде не имели.

---

[2] Совершенно исключительны по своей литургичности были службы епископа Гавриила Челябинского (Чепур), одного из учеников митр. Антония.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БЕЛГРАДСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК И ЕГО РУКОВОДИТЕЛИ

Н. Зернов

Поступив на богословский факультет, я стал с интересом знакомиться с другими русскими студентами. Их было около 30-ти человек, включая мою сестру, единственную студентку. Меня занимал вопрос, что привело других к решению изучить богословие. Вскоре я смог отнести всех нас к трем категориям. К первой группе принадлежали сыновья священников, многие из них успели закончить семинарии в России и намеревались идти по стопам своих отцов и дедов. Вторая состояла из обломков крушения, которые только по им самим понятным причинам выбрали богословие. Третья включала людей, подобных мне, которые искали в богословии ответа на вопросы, поднятые революцией. С ними я нашел сразу общий язык. Мы решили собираться, чтобы делиться нашим опытом и обсуждать вместе интересующие нас проблемы. Так возник православный студенческий кружок, давший впоследствии многих руководителей зарубежной Церкви и участников экуменического движения. Среди нас оказались лица и разного происхождения, и различных взглядов: москвичи и одесситы, монархисты и республиканцы, строгие ревнители предания и церковные либералы. Свое единство мы нашли в Церкви. Она была для нас не оплотом самодержавия, не осколком прежнего строя, но «столпом и утверждением истины», силой, способной возродить каждого человека и преобразить нашу родину. Мы обрели Церковь, как евангельское сокровище, ради которого стоит отдать все другие ценности.

Учение Православия о свободе человека, о даре богообщения, данного людям, помогли нам понять себя и историю человечества с ее взлетами и падениями. Только одна Церковь выдержала сокрушительные удары безбожного большевизма и не погибла под развалинами рухнувшей империи. Однако, принятие Церкви и отвержение ленинизма, с его лживыми обещаниями земного рая, не делало нас реакцио-

нерами. Мы сознавали, что мы были свидетелями коренных перемен в социальной структуре общества и что старые образцы перестали удовлетворять человечество. Мы знали также, что на крови, насилии и ненависти нельзя построить лучшего будущего. Таковы были убеждения большинства членов нашего кружка, делавшие нашу совместную работу возможной и плодотворной.

Первое заседание кружка состоялось 15 ноября 1921 года. «Летописец» кружка, И. П. Расторгуев, сделал следующую запись: «На квартире Зерновых, на Сеньяке, собрался кружок, не имевший ни названия, ни программы, кроме веры в Церковь Христову, как смысл и цель жизни, как заключающую в себе полноту бытия. На собрании участвовали 8 человек: Н. Терещенко, Н. Афанасьев, Мария Львова, четверо Зерновых и я, который прочел доклад «Русская Красота».

С самого начала в кружке обозначились два течения, одно интересовалось вопросами аскетики и молитвы, другое было обращено на строительство православной культуры и на миссионерские задачи христианства. Наличие этих двух направлений обогащало жизнь кружка и давало неисчерпаемый материал для обмена мыслями. Темы, поднятые в первом году, указывают на разнообразие интересов его членов. Они включали: «Три свидания» Владимира Соловьева, Послания св. Игнатия Богоносца (35-107), «Переписка из двух углов» Гершензона (1869-1925) с Вячеславом Ивановым (1886-1949), «Мистические откровения св. Исаака Сирианина», «Теософия» и «Вопрос о совместимости христианства с законами экономики».

Большим приобретением для кружка было вступление в число его членов профессора Василия Васильевича Зеньковского (1881-1962). Он преподавал психологию на философском факультете, и наше внимание к нему было привлечено его публичной лекцией в декабре 1921 года о православной культуре. Она вызвала горячие споры, в которых участвовали Д. В. Философов (1872-1940), друг и последователь Мережковских, и епископ Вениамин, решительно отвергавший идею православной культуры, как соблазн, отвлекающий верующих от главного — борьбы за очищение сердца. Члены кружка были настолько захвачены этой темой, что на следующий день мы устроили специальное собрание с владыкой Вениамином, на котором мы продолжали обсуждать поднятую Зеньковским тему. Когда моя сестра неожиданно для нас пригласила его на наше собрание, мы уже имели представление о нашем госте. Вскоре все мы убедились, что в наш студенческий кружок вошел человек, нам всем необходимый.

Зеньковский был родом из Украины. Со школьной скамьи он начал принимать участие в общественной жизни. В университете он занимался сначала электро-химией, но позже

ушел в изучение философии и психологии. Одновременно он увлекался и литературой, и религиозными проблемами. По окончании высшего образования, он начал преподавать философию в Киевском Университете и на Высших женских курсах. При Скоропадском (1873-1945) он был одно время министром религии, что ему долго не могли простить многие эмигранты. Он обладал огромной трудоспособностью и многогранностью интересов, занимался и писал по апологетике, философии, психологии, литературоведению и педагогике. Последняя дисциплина была его особым даром. Он умел находить правильный подход к молодежи. В 1942-ом году он принял священство, после 14-ти месяцев заключения в немецком лагере. В последние годы своей жизни он был духовным наставником многих русских парижан. Скорее некрасивый, в золотых очках из-за большой близорукости, он излучал теплую уютность и благожелательность. Он был готов терпеливо выслушать каждого и легко соглашался с собеседником, находя искренне положительные стороны в различных мнениях по спорным вопросам. Но это не делало его аморфным, он знал, как руководить другими и пользовался авторитетом в церковно-общественных кругах. Недаром он оставался пожизненным председателем Р.С.Х.Д. У него был подлинный интерес и симпатия к людям, с ним было легко делиться своей жизнью. Он мог объединять, примирять и вдохновлять.[1]

Первый доклад Зеньковского в нашем кружке затронул острую тему. Он назвал его «Причины Русской Революции». Одной их них он считал стеснительную опеку Церкви самодержавием, лишавшую верующих свободы и самодеятельности. Многие поэтому, по его словам, смотрели на Церковь, как на послушное орудие в руках правительства и отпадали от христианства. Это отчуждение от Церкви, особенно молодежи, способствовало росту революционных настроений и подорвало жизненные силы империи. Кончил он свой доклад выражением надежды, что Православие в России возродится и поведет страну по пути строительства подлинной христианской культуры, основанной на уважении к личности и на признании ценности свободы. Его выступление возбудило оживленный обмен мнений, он коснулся одного из самых спорных вопросов для русского православного сознания о священном характере самодержавия. Несмотря на то, что многие были с ним не согласны, все же было единогласно решено просить его приходить на наши собрания. Зеньковский стал одним из самых деятельных наших членов.

Другим приобретением для нас был Сергей Сергеевич

---

[1] Автобиография В. В. Зеньковского и статьи, посвященные его памяти, напечатаны в Вестнике Р.С.Х.Д. № 66-67. Париж. 1962.

Безобразов (1892-1965), только что спасшийся от большевиков. Он преподавал в Петербурге во время Н.Э.П.'а в Православном Богословском институте, возникшем после закрытия духовных академий. Это было время процветания приходов, когда верующие проявили спайку и дисциплину в их организации. Его рассказы подтвердили мысли Зеньковского, что без свободы в своем внутреннем управлении Церковь не может выполнять свою миссию в современном мире.

Впоследствии Безобразов переехал в Париж и стал преподавать на Сергиевском подворье. В 1932 году он принял монашество с именем Кассияна. Окончил он свою жизнь в сане епископа, написав ряд трудов по Новому Завету.

Кроме постоянных участников наших собраний, мы приглашали к нам и докладчиков-гостей. Особенно ценными для нас были посещения кружка митрополитом Антонием (Храповицким). Мы нашли в его лице пастыря, учителя и друга. Его жизненный путь был тесно переплетен с событиями церковной истории нашего времени. Происходил он из помещичьей среды Новгородской губернии. По окончании гимназии он решил поступить в Духовную Академию, что было в то время нелегко сделать не семинаристу. Добившись своего, он блестяще окончил духовную школу в 1885 году и вскоре после этого принял монашество. Сразу началось его быстрое продвижение по иерархической лестнице. Сперва иеромонах Антоний был назначен преподавателем в Петербургскую Академию. Однако, его сердечность и простота отношений со студентами вызвала недовольство начальства, и он был сослан в глухую провинцию в Холм. Там он пробыл недолго и был вскоре возвращен в Петербург. В 1889 году, когда ему еще не было 28 лет, он получил ответственный пост ректора Московской Академии. Ему удалось и тут внести новый творческий дух в дело преподавания, но и здесь его новаторства приобрели ему многих врагов. В 1895 году его снизили в провинциальную Казанскую Академию. Владыка обновил и ее и привлек в нее многих даровитых студентов. В 1900 году он был возведен в сан епископа Уфимского, а в 1902 году переведен на Волынь. Там он нашел подходящее поприще для своей кипучей энергии и стал известен во всей России, как твердый защитник православного крестьянства от всевозможных эксплуататоров, особенно многочисленных на этой окраине с ее пестрым населением. В радикальных кругах он имел репутацию крайнего черносотенца. Он безбоязненно обличал моральную шаткость многих либералов и ложь левых демагогов. Он яснее других предчувствовал демоничность и разрушительность готовившейся революции. Накануне Первой Мировой Войны он был назначен в Харьков. На всероссийском Соборе 1917-1918 года он был одним из трех кандидатов на патриарший престол. В 1918 году, уже при Скоропадском, он был возведен на кафедру митрополита Киевского и Галиц-

кого. Покинул он Россию с остатками разбитой Белой армии в 1920 году.

У митрополита Антония было необычайное сочетание политического консерватизма с церковным радикализмом. Он был решительным противником того мертвящего бюрократизма в церковном управлении, которое лишало духовенство инициативы и способствовало тем нездоровым настроениям, которые обнаружились во время «Живой Церкви». Больше кого-либо другого он сделал возможным восстановление патриаршества в России. Он был новатором в богословии и смело боролся за реформы в духовных школах. Несмотря на то, что он обновил ученое монашество, в нем было мало клерикализма. Обличитель специфических слабостей духовного сословия, он носил на себе печать своего дворянского происхождения. У него было полное отсутствие подобострастия перед власть имущими, смелость суждения и независимость характера.

Его большим даром было умение привлекать к себе молодежь. Он был прирожденный воспитатель. Все лучшее в нем проявлялось, когда он был окружен студентами. Он полюбил наш кружок и стал духовным руководителем многих его членов. Его приезды были настоящим праздником для всех.

Среднего роста, с большой головой и окладистой бородой, своей грузной фигурой он напоминал боярина. Ему была глубоко чужда онемеченная петербургская империя, он принадлежал к московскому царству первых Романовых. Самым замечательным в его лице были серые, умные глаза. Митрополит Антоний был столпом церкви, крепким, незыблемым. В его присутствии исчезали сомнения в вере. Во время проповеди он часто плакал. Так цельна и жива была его любовь ко Христу, что казалось он сам был в толпе Его учеников, сам слушал слова Спасителя мира. Митрополит Антоний истолковывал многие притчи совсем по-новому, проникая в их сокровенный смысл. Также оригинальны были и его богословские мнения. Например, он связывал искупление не столько с крестной смертью Спасителя, сколько с агонией Гефсиманской ночи. Его книга «Догмат Искупления» вызвала много нареканий со стороны консервативных богословов. Он говорил на эту тему и у нас в кружке и нашел сочувствие к своему «нравственному» подходу к тайне страданий Христа.[2]

Другим гостем, произведшим на нас неизгладимое впечатление был «сербский златоуст» епископ Николай Велимирович. (1880-1956). Высокий брюнет, с жгучими черными гла-

---

[2] Жизнеописание митрополита Антония и собрание его сочинений издано в 17 томах Архиепископом Никоном (Рклицким). Нью-Йорк. 1956-1969. Художественный портрет митрополита дан архим. Киприаном (Керном) в «Вестнике Р.С.Х.Д.» № 91-92. Париж. 1969 год.

зами, он горел ему одному свойственным пламенем. Придя в нашу нищенскую хибарку, он захватил нас всех верою в то, что русская Церковь выйдет очищенной и возрожденной из горнила испытаний и поможет остальному христианскому миру вернуться к полноте апостольского предания.

Наш кружок неуклонно рос, число его членов превысило 30. Кроме студентов и профессоров к нам присоединились лица, не связанные с университетом. Одним из них был Петр Сергеевич Лопухин (1885-1962), глубоко церковный мирянин, ставший впоследствии редактором журнала «Вестник Православного Дела». (Женева 1959-1962). Другим ценным членом был Борис Петрович Апрелев, морской офицер и дипломат, интересовавшийся мистицизмом, живший одно время на Афоне.[3] Круг наших тем тоже расширялся. Были прочитаны доклады об аскетизме в мире, о монархии, о христианстве и искусстве, о большевизме, о роли женщин в Церкви, о дружбе, о вреде курения табака, о промысле Божьем и о значении четырех Евангелий.

В это время международные и интерконфессиональные организации, работавшие среди молодежи, заинтересовались русскими, учившимися в Праге, Париже и других университетах Европы. Мы об этом ничего не знали. Поэтому для нас было полной неожиданностью получение телеграммы от какого-то американца, Ральфа Холлингера, просившего разрешения прибыть на заседание нашего кружка, как представителю Христианского Союза Молодых Людей (УМСА). Мы были в большом недоумении. На всех западных христиан мы смотрели, как на еретиков, а УМСА, с ее красным треугольником, казалась нам масонской и враждебной Церкви организацией. Мы все же решили пригласить таинственного американца, считая, что лучше встретиться лицом к лицу с неприятелем, чем уклониться от боя.

27 марта 1923 года в наше убогое жилище, переполненное членами кружка, вошел высокий, худой незнакомец. С его приходом началась новая эпоха в жизни нашего кружка.[4] Холлингер (1887-1930) оказался лицом, знакомым с Православием, он имел некоторый опыт религиозной работы с русскими студентами и знал наш язык.[5] На большинство он произвел благоприятное впечатление своей искренностью и простотой, но были среди нас и люди, почувствовавшие «серный дух», принесенный в нашу комнату заморским гостем. Они были уверены, что цель его приезда была разложить наше растущее единение.

---

[3] См. его книгу «Брызги моря» Прага 1930.

[4] Моя сестра в главе «Четыре Года в Сербии» дает картинное описание собрания с Холлингером.

[5] Некролог о Холлингере напечатан в «Вестнике, Р.С.Х.Д.» № 7. 1930. Париж.

Вскоре мы получили письмо от А. И. Никитина (1889-1949), представителя Христианской Студенческой Федерации, предлагавшее нам послать наших членов, в виде наблюдателей, на ряд международных студенческих конференций. Руководящие участники нашего кружка собирались несколько раз, так труден был для нас вопрос: следует ли отозваться на это предложение. Нас привлекала возможность встретиться с студентами других стран, а вместе с тем нам не легко было принять деньги от неизвестной нам организации. Был найден компромисс поехать на разведку в Будапешт и, на основании впечатлений от этой конференции, осенью окончательно решить, следует ли нам сотрудничать с инославными.

Таким образом, приезд Холлингера был для нас введением в то движение для примирения христиан, которое вскоре получило название экуменического. Вся зарубежная Церковь раскололась на почве положительного или отрицательного отношения к этой задаче.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ

Н. Зернов

В Будапешт весной 1923 года поехали В. Зеньковский, С. Безобразов и моя старшая сестра. Они вернулись в полном восторге. Кроме нескольких румын, все участники конференции были протестанты, ничего не знавшие о Православии. Наши представители оказались в центре всеобщего внимания, все хотели знать о том, что происходит в России и о том чем восточное христианство отличается от западного. Белградцы проделали в Венгрии большую миссионерскую работу.

Их рассказы вызвали снова горячие споры, следует ли нам сотрудничать с инославными. Мы обратились за советом к нашим иерархам. Митрополит Антоний и епископ Вениамин высказались уклончиво, все же они скорее склонялись на сторону тех, кто считал правильным ближе познакомиться с международными организациями и принять помощь для устройства встречи с другими русскими студенческими кружками. Таким образом было решено, что Зеньковский и обе мои сестры поедут в Париж, трое других наших членов в Прагу, а Николай Андреевич Клепинин[1] и я примем участие в конференции Британского Студ. Христианского Движения.

Для меня поездка в Англию была решающая. Я встретил страну, которая в будущем приняла меня в число своих граждан и дала мне возможность трудиться на избранном мною поприще.

Сложные чувства охватили меня, когда я был выбран для этой поездки. Когда мне было 9 лет, родители взяли меня в Швейцарию, она очаровала меня. В дни моей юности Европа казалась мне страной «святых чудес», ее политическая сво-

---

[1] Н. А. Клепинин (1899-1939) был одаренным, многообещающим человеком, автором книги «Св. Александр Невский» Париж 1927. Его жизнь оборвалась трагично, после второй женитьбы, он примкнул к левому крылу евразийцев и вернулся в Россию. Там он вскоре погиб в одном из лагерей. Его брат о. Дмитрий Клепинин (1904-1943) тоже погиб, но в немецком лагере, помогая евреям.

бода, ее культура, ее искусство были для меня теми достижениями, о которых отсталая Россия могла только мечтать.

Революция резко изменила мое отношение к Западу. Я стал смотреть на него, как на обреченный мир, отравленный безверием, эгоизмом и жаждой наживы. Я, как и многие другие эмигранты, считал Францию и особенно Англию предателями союзной с ними России, не поддержавшими Белых Армий, оставшихся верными Антанте. Я ничего хорошего больше не ждал от встречи с Западом, но, несмотря на это, я все же желал увидать этот «упадочный мир», побывать в центрах его культуры, познакомиться с памятниками его искусства и, наконец, встретиться лицом к лицу с западными христианами, чтобы понять их отношение к нашей Церкви.

Что же касается Англии, то о ней я был меньше осведомлен, чем о Франции и Германии, и уж совсем ничего не знал об англиканской Церкви.[2] Я надеялся, что поездка на съезд поможет мне найти ответ на вопрос, почему интерконфессиональные организации, заинтересовавшиеся нашим кружком, проявляли желание помогать нам. Делают ли они это искренне или с какими-то скрытыми целями?

Официальное приглашение приехать на английский съезд пришло с большим опозданием. Мы с Клепининым, как «бесподданные», должны были затратить много времени и сил, чтобы получить от сербской полиции «дозволу», разрешающую нам выезд и возвращение в Югославию. Только когда я увидел на ней внушительную английскую визу с королевским гербом, позволявшую нам пробыть в Англии две недели, я почувствовал, что мы действительно увидим Запад.

Мы решили ехать через Австрию, Германию и Францию и осматривать по дороге города. Нам предстояло много пересадок. Наша первая остановка была в Вене. Как только мы пересекли границу, я был поражен богатством населения. Прекрасные дороги, огромные здания, напоминавшие замки и дворцы, — все это говорило о благополучии, от которого мы совсем отвыкли. В Вене мы пробыли целый день. Сразу с вокзала мы пошли в собор св. Стефана. Я никогда раньше не видел готики и был восхищен ее вознесенностью к небу, таинственной полутьмой, царившей в храме, которую прорезали небесные краски цветных окон. Много времени ушло у нас на покупки костюмов, мы хотели быть одетыми по-европейски.

Нашим следующим этапом был Мюнхен. Здесь нас ожидало необычайное зрелище. Весь огромный вокзал был запружен колоннами марширующих баварцев в национальных костюмах со знаменами и оркестрами. Это было окончание

---

[2] См. в конце главы Прилож I.

какого-то политического съезда. Тысячи толстых и худых, старых и молодых немцев в строгом порядке проходили мимо нас. От этой грандиозной, организованной толпы веяло и угрожающей силой, и чем-то не совсем взрослым.

Мне казалось, что эти солидные баварцы разыгрывают из себя бойскаутов, увлекаются по-мальчишески войной. В Мюнхене мы встретили ту Германию, которая начала через 10 лет маршировать под знаменами, украшенными зловещей свастикой, и ввергла человечество в кровавую бойню Второй Мировой Войны. Нас поразили лозунги, направленные против Франции. Оказалось, что французы накануне заняли Рур. Сообщение с Парижем было временно прервано. Никто не хотел дать указания, как пробраться туда. Мы с трудом втиснулись в переполненный поезд, шедший на запад, и с облегчением покинули напряженную атмосферу, царившую в Мюнхене, не успев познакомиться с городом.

После двух пересадок мы очутились в маленьком поездочке узкоколейной железной дороги, шедшем до Рейна и французской границы. Тут все сразу изменилось. Мы ощутили себя в романтической, благоухающей Германии «Вешних Вод» Тургенева. Только что прошла гроза. Воздух был полон аромата скошенной травы. Наш поездок не спеша двигался посреди тщательно обработанных полей, останавливался в маленьких городках, ютившихся под сенью своих старинных церквей. Всюду была образцовая чистота, множество цветов. Спокойствие и благоденствие окружали нас. По дорогам медленно ехали на велосипедах крестьяне, возвращавшиеся с полевых работ. Вечернее солнце золотило мирную картину. Трудно было представить себе, что утром в Мюнхене мы видели другой лик Германии, агрессивной, готовой снова ринуться в бой за мировое господство.

Наш поезд не довез нас до границы. Он остановился на ночь на главной площади городка-Фрейбурга. Все пассажиры отправились на ночлег. Мы нашли комнату в маленькой гостинице. После жаркого, полного сильных впечатлений и волнений дня, мы с наслаждением вымылись свежей водой, поужинали и улеглись спать под воздушной, белой немецкой периной в чистейшей комнате, с приятно пахнувшим, выкрашенным полом. Это был наш первый сон после отъезда из Белграда.

На следующий день тот же поезд подвез нас к Рейну. По дороге мы видели синие французские шинели на немецкой земле, но здесь не чувствовалось ни вражды, ни напряжения. Пешком, неся на спине свои чемоданы, мы перешли длинный мост через реку и сразу очутились в сказочном Страсбурге. Грандиозный собор и узкие улички со старинными домами перенесли нас в средние века. Времени для осмотра города у нас не было. Скорый поезд понес нас в Париж.

Франция выглядела менее контрастной, менее романтичной чем Германия, но и более взрослой. Поезд мчался, почти не останавливаясь. Страна казалась не населенной. Нигде не было скоплений пассажиров. Никто не проверял после каждой остановки билетов, как в Германии. К вечеру стали появляться признаки приближения к большому городу. Пригородные станции стали мелькать за окнами. Навстречу нам попадались дачные двухэтажные поезда. Наконец потянулись беспрерывной стеной высокие дома, железнодорожная колея стала разветвляться на бесчисленные подъездные пути. Показалась длинная платформа. Через несколько минут мы увидим город, о котором было написано столько книг; город, прославленный для одних революцией, для других — своим искусством, для третьих — своими увеселениями.

Париж

Мы вышли на площадь перед Восточным вокзалом. Первое впечатление было неожиданным. Париж оказался знакомым, он был совсем таким, каким я его себе представлял. К нему удивительно подходило название «серой розы». В начале двадцатых годов почти все дома и здания в центре были серого цвета. Это давало ему единство, элегантность и особую, ему одному присущую, гармонию и красоту. Движение на улицах было быстрым и стройным. Все куда-то неслось в одном беспрерывном потоке. Зеленые автобусы с шумом и треском мчались во всех направлениях. Один из них доставил нас на фобур Сент-Онорэ. На мансарде огромного дома мы нашли наших друзей, Сашу и Таню Львовых. В их комнате царил хаос; они гостеприимно встретили нас и после ужина повели в какое-то варьетэ на Монмартр. Блеск фантазии, ошеломляющие краски не могли скрыть пустоты и фальши спектакля. Мои спутники были в восторге, я же предпочел раньше вернуться домой, чтобы начать с утра осмотр Парижа. Я решил делать это пешком, чтобы лучше почувствовать город.

Встал я рано и с планом в руках отправился сперва в собор Богоматери. Он был прекраснее, чем все его описания, хотелось там остаться, но я должен был спешить. Через Люксембургский сад я пошел посмотреть гробницу Наполеона. Строгая простота саркофага произвела сильное впечатление. В 10 часов я был в Лувре.

Не зная, смогу ли я снова попасть в эту сокровищницу мирового искусства, я сделал героическую попытку осмотреть весь музей в один раз. В результате у меня в памяти остались только обрывки впечатлений: таинственная Джиоконда, всегда окруженная толпой, тяжелые тела Рубенса, устремленная ввысь статуя «Победы». В Лувре я встретил тоже и англичан. С любопытством я вглядывался в них. Они ходили группами, под руководством гидов, которые растолковывали им, чем

нужно было восторгаться и что отмечать в своих записных книжках. Они отличались от других посетителей и своей одеждой, и всем своим обликом. Я был захвачен мыслью, что завтра я буду на их острове.

Не успев осмотреть и половину музея, я почувствовал такую усталость, что принужден был покинуть его. Тут сказались и отсутствие сна и экономия на еде.

Отдохнув, я поехал по метро в Сакрэ-Кёр. Знаменитая церковь с ее белыми, почти восточными куполами, показалась мне холодной, особенно по сравнению с Нотр-Дам. Зато я здесь увидал, стоящих на коленях и погруженных в молитву, француженок и французов. Это неожиданное зрелище произвело на меня сильное впечатление. Впоследствии я узнал, что Париж является средоточием христианского мистицизма и молитвенного делания.

Полюбовавшись грандиозным видом, открывавшимся со ступеней храма, я отправился на Северный вокзал. Поезд уже был подан. Народу было мало. Я с удовольствием растянулся на деревянной скамейке, в ожидании ночного переезда. Лежа я переживал Париж.. Он принял меня так же как и множество других иностранцев. Каждый может чувствовать себя в нем, как дома, так как город живет своей жизнью не замечая никого.

Англия

Рано утром 20 июля мы были в Калэ. На пристани нас уже ждал колесной французский пароход, на матросах были синие шапочки с красными помпонами, но почти все пассажиры были англичане и на пароходе царил дух Англии. Я в первый раз видел северное море с его то зеленоватыми, то свинцово-серыми волнами, с туманом и холодным, несмотря на июль, ветром. Вскоре показались белые, меловые скалы острова. Перед нами была владычица морей, долголетняя, упорная соперница Российской Империи. Пароход вошел в маленькую гавань Дувра. По склонам холмов громоздились ряды удивительно похожих друг на друга домиков, а над ними высился суровый силуэт грозной, серой крепости. Англия была готова дать отпор каждому нежелательному иностранцу, и мы сразу испытали это на себе.

Первым человеком, бросившимся мне в глаза, был внушительный охранитель порядка, — высокий, массивный полицейский в черной каске, с невозмутимым лицом следивший, как спускали мостки с парохода и как пассажиры не спеша сходили на английскую землю.

Наша встреча с Англией была не очень приятной. Англичане сразу пошли на поезд, небольшая группа иностранцев была задержана на короткое время для проверки паспортов, но, когда мы показали наши документы, они возбудили не-

медленно подозрения у чиновников. Очевидно они никогда не видели беженских удостоверений, выданных нам в Белграде. Хотя на них стояли английские визы, это оказалось недостаточным. Начались бесконечные расспросы: зачем мы приехали, где будем жить, сколько времени намерены оставаться в Англии. К счастию Клепинин говорил по-английски и мог отвечать на все эти вопросы. Пограничники долго мучили нас. Они о чем-то совещались между собою, куда-то уносили наши документы, возвращались и снова проверяли их. Мы начали бояться, что или пропустим поезд, или что нам не разрешат остаться в Англии. Мы чувствовали себя лицами, подозреваемыми в каком-то преступлении. В последний момент нам все же разрешили перешагнуть барьер. Мы бросились к поезду. Он сразу двинулся с места. Очевидно, он ждал решения нашей участи.

Перед нами открылся совершенно новый мир. Все вокруг нас было необычайно, привлекательно и не похоже на остальные страны. Сам поезд поразил нас: вагон третьего класса был лучше, чем первый в других частях Европы. Ковры, мягкие сиденья, фотографии на стенах, а главное, — пассажиры по своей одежде и поведению не имели ничего общего с третьим классом, привычным нам. В вагоне царило чинное молчание, никто не обращал внимания на своего соседа, не старался расспросить, кто куда едет. А за окнами быстро мчавшегося поезда раскрывалась тоже непривычная для нас панорама. Ярко-зеленые поля, огороженные от соседних, маленькие городки, ни широких просторов, ни лесов, ни дикой природы. Ближе к Лондону потянулись бесконечные ряды одинаковых двухэтажных домиков, садиков и заборов. На платформах пригородных станций стояли толпы прекрасно одетых людей. Всюду были следы довольства и образцового порядка. Наш поезд пересек Темзу и остановился под огромной стеклянной крышей вокзала Виктория. Тут тоже все было особенное. На другой стороне нашей платформы стояли такси. Один из них, забрав наш багаж, повез нас в Россел Сквер в Студенческий Дом. Мы проехали мимо Букингамского дворца, красочный штандарт развевался над ним, у ворот стояли гвардейцы, в высоких, бобровых шапках и в красных мундирах. Это был настоящий дворец, в котором жил правящий монарх! Я попал в страну, свято хранящую свои традиции, не потрясенную анархией и не разрушенную революцией. У меня стало легко и радостно на сердце.

Студенческий дом был полон иностранной молодежи. Нас повезли показать город. Мы взобрались на открытую верхнюю платформу высокого красного автобуса и двинулись в путь. Насколько Париж показался мне старым знакомым, настолько Лондон был не похож ни на что, раньше виденное мною. Все здесь привлекало мое любопытство: движение шло в противоположном направлении обычного, автобусы были

двухэтажные и разных цветов, трамваи не имели электрических дуг, вместо грузовых автомобилей двигались по улицам паровички, с ними соперничали огромные, высокие фургоны, запряженные тяжелыми битюгами, возницы сидели высоко на козлах, с длинными бичами в руках, прикрытые кожаными фартуками огромных размеров. Автомобили тоже были необычных фасонов: их кузов стоял прямо на тонких колесах. Вся эта масса повозок двигалась не спеша, беспрерывным, мощным потоком. Здесь не было ни шума, ни напряжения Парижа, но чувствовались еще больший размах и еще большая сила мирового центра. Среди уличной толпы выделялись мужчины в цилиндрах и с зонтиками, город принадлежал им так же, как Париж казался городом женщин. На углах улиц стояли полицейские в черных касках и, когда один из них протягивал руку, десятки высоченных автобусов и пыхтящих паровичков сразу останавливались и покорно ждали, пока рука не опускалась и им разрешалось двигаться дальше. Если Париж считался блестящей столицей Европы, то Лондон был хозяином мировой империи, и это ощущалось на каждом шагу. Он никому не подражал и ни с кем не соперничал. Он жил сам по себе. Он захватил мое воображение, и мне захотелось понять англичан, разгадать секрет их успеха в построении политической и социальной жизни.

В этот первый осмотр Лондона мы видели стройный, построенный в готическом стиле, парламент, высокую колонну Нельсона (1758-1805), площадь вокруг нее со множеством голубей; посетили мы также Вестминстерское аббатство. Оно дало мне много материала для размышлений. Рядом с центром политической власти возвышалось это древнее, пощаженное историческими переменами христианское святилище. В нем время как бы остановилось. Внутри аббатства мы увидали двор, заросший ярко-зеленой травой. Он сохранился с тех отдаленных времен, когда аббатство было населено монахами. Суровое, средневековое здание не было мертвым памятником прошлого, оно жило прошлым, полное бесчисленными надгробными плитами и барельефами, иногда помпезными и безвкусными, но свидетельствующими о признательности народа тем, кто отдал силы на строительство империи. Вся история Англии была представлена в этом единственном во всем мире храме-памятнике. С горечью думал я о нашей трагической судьбе, об отсутствии чувства преемства, любви и уважения к своему прошлому, о нашей готовности надругаться над своими святынями.

Встреча с Лондоном была краткая. После завтрака мы с несколькими немецкими студентами, двинулись в дальнейший путь. Нашей целью был студенческий лагерь в Суонике, в провинции Дарбишайер, где мы должны были провести десять дней.

Только раз до моей поездки в Англию я встретил представителя англиканской Церкви. Им был знаменитый епископ и богослов Чарлс Гор (1853-1932). Он приехал в Белград для переговоров с сербской Церковью. Впечатления о нем я тогда же записал в дневник.

«Собрание с англиканским епископом состоялось 9 мая 1923 года в большой зале патриархии. В ней собралось белградское духовенство, профессора и студенты богословского факультета и несколько приглашенных. Когда все заняли свои места, в залу вошел Патриарх в сопровождении гостя, его капеллана и сербских епископов. Гор был худой старик, с тонким, красивым лицом и небольшой седой бородой. Ему была присуща чеканность западного аристократа, а в голубых глазах сквозили ум и доброта. Одет он был в синюю сутану. Поверх нее была накинута странная мантия черного цвета с длинными фалдами без рукавов. (Я так описал впервые виденную мною мантию магистра Оксфордского Университета, которую мне пришлось носить впоследствии в течение многих лет.) Его грудь украшал золотой крест. Капеллан был высокий священник с бритым, сухим и деревянным лицом.

Гор начал свою речь немного нервно, но вскоре воодушевился и стал говорить горячо, из глубины души. Его слова звучали для меня, как голос Запада, уставшего, ищущего духовности и мудрости Востока. Глядя на равнодушные и мало одухотворенные лица сербского духовенства, я удивлялся почему этот посланник Запада ищет помощи у тех, кто, как я хорошо знал, заняты житейскими интересами и относятся безразлично к сближению западных и восточных христиан. Только очень сильное, даже немного страшное, лицо епископа Николая Охридского, с его как бы ассирийской, черной бородой и крупными чертами, указывало, что может быть в Сербии и есть то, чего ищет наш заморский гость.

Гор начал с того, что он считает за честь говорить в присутствии собравшихся, в особенности он подчеркнул свое уважение к учености и авторитету проф. Глубоковского. Затем он приступил к описанию современного положения богословия в Англии. «100 лет тому назад — сказал он, у нас мало знали о православной Церкви. Теперь все изменилось. Ваша литургия переведена, издано много хороших книг о восточном христианстве. В англиканстве происходит возрождение монашества, растет число людей, которые в сердце своем православны. Сам он мог бы стать членом православной Церкви, ничего не меняя в своей вере. Но все же препятствий для соединения остается немало. Нельзя устранить их все в одну неделю, как этого хотят некоторые американцы. Главное, что подлинная традиция англиканства ближе к православию, чем к Риму или к протестантизму». Гор считал, что «филиокве» — ненужное прибавление к символу веры, что англикане могут признать семь вселенских соборов и семь таинств. Последние, хотя не упоминаются в книге «общих молитв», но существуют на практике. В настоящее время все больше входит в употребление таин-

ство елеосвящения для исцеления больных. Труднее для англикан принять дозволение развода.

Кончил он словами, что великий позор лежит на Англии, Франции и Америке, допустившим такие гонения на христиан, каких не было со времен Римской Империи. Он просит Бога помочь страждущим восточным христианам и надеется на улучшение их положения. Он выразил пожелание, чтобы православные там, где не имеется их церквей, обращались бы за духовной помощью к англиканскому духовенству, и в то же время согласились бы причащать англикан, отрезанных от своих приходов.

Меня взволновала искренность, смирение и вера англиканского епископа. Патриарх ответил ему кратко и сухо, что без вселенского собора ничего решить нельзя. Других вопросов не было. Все поднялись со своих мест. Призыв англиканина к единству остался без ответа. Эта встреча с епископом Гором оказалась для меня провиденциальной. Он стал одним из инициаторов того Англо-Православного Содружества, секретарем которого я работал много лет. Вопросы поднятые им в Белграде, легли в основу моих богословских исследований, статей и книг.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ БРИТАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СУОНИКЕ

(20-30 июля 1923 года)

Н. Зернов

Летний съезд Студенческого Движения Великобритании и Ирландии разделялся на три части. Первая и последняя предназначалась для студентов, а средняя для их руководителей. Мы были приглашены на вторую и третью часть. В те годы несколько сот человек молодежи изо всех университетов обоих островов собирались каждым летом на севере Англии в местечке Суонике. Иностранные студенты приглашались туда же. В 1923 году ими были преимущественно немцы и индусы. Задачей съезда было помочь студентам углубить свое христианское мировоззрение и пробудить в них интерес к миссионерской работе. Движение было интерконфессионально, в нем участвовали как англикане, так и члены различных протестантских конфессий, обычно называющиеся в Англии «Свободными Церквами».

Каждый день съезда начинался с молитвенного собрания, на нем читалось Священное Писание, пелись гимны и произносилось краткое поучение. Остальное время было заполнено библейскими кружками, лекциями и спортом. Вечером все снова собирались на молитву. Мужская молодежь жила в палатках, в них же обедали и слушали лекции. Девушки были размещены в большом доме. Мы с Клепининым были единственными православными в этом море западных христиан. Мы были мало подготовлены к этой встрече, но все же лучше, чем те, кто пригласил нас. О русской Церкви в Суонике никто ничего не знал. Меня захватил этот новый мир и я отважно бросился знакомиться с ним, невзирая на мое сильное предубеждение против всех западных христиан.

В особенности протестанты были в моих глазах еретиками, опасными для нашей Церкви. Мое отношение ко всем английским христианам было настолько настороженным, что

я убедил Клепинина не молиться во время протестантских служб за исключением «Отче наш». Я боялся, что их молитвы и гимны могут содержать слова, несовместимые с Православием. Несмотря на то, что лекции я мало понимал, а гимны были и совсем непонятны, я стал все больше входить в жизнь съезда, благодаря личным знакомствам, которые я начал заводить с первого же дня. С утра до позднего вечера я разговаривал с членами конференции, стараясь узнать о их жизни, занятиях, отношениях к Церкви. Подавляющее большинство моих собеседников были юноши спортивного типа, здоровые, румяные блондины в коротких штанах, в толстых чулках до колен и в крепко сшитых ботинках. Они были моложе меня и казались мне наивными, не знающими жизни. От них исходил дух оптимизма и неисчерпаемой энергии. Особенно поразила меня их способность громко и заразительно смеяться. Не только во время лекций они внезапно разражались громовым хохотом, но он раздавался даже и во время религиозных бесед. Проповедники от времени до времени иллюстрировали свои положения шутками и смешными примерами, которые неизбежно вызывали восторг слушателей.

Однажды, за вечерним обедом, вся масса студентов стала стучать ложками по столу и кричать: «Спич, спич!». Они требовали от гостя, знаменитого епископа глостерского Хэдлама (1862-1947), ученого старика внушительной наружности, застольной речи. Епископ с трудом взобрался на скамейку и стал говорить. В ответ послышался оглушительный смех сотен молодых голосов. Это было новое зрелище для меня, я не мог представить себе ни одного из наших владык, стоящих на стуле и забавляющих юношество. Однако, тот же епископ глостерский, когда он читал доклад «О подлинности четырех Евангелий», говорил с авторитетом и силой, какие я редко слышал у наших иерархов.

Меня также заинтриговала манера англичан спорить и обсуждать доклады. Они задавали вопросы каким-то сонным, слегка недоуменным голосом и никогда не перебивали друг друга. Хотя они часто решительно не соглашались с докладчиком, но сохраняли все же уважение к его мнению. Это было не похоже на наши споры, которые часто переходят на личную почву и кончаются обидой уязвленного самолюбия.

В результате моих разговоров и из отрывков лекций, понятых мною, у меня сложилось убеждение, что большинство участников съезда искренне верующие христиане, и что само студенческое движение действительно стремится помочь молодежи найти свое место в жизни Церкви. Решающим фактором в этом заключении оказалось мое участие в их молитве. Мои первоначальные опасения, что их богослужение заражено ересью, совсем рассеялись. У них не было богатства и полноты православной традиции, но они исповедовали веру в Пресвятую

Троицу и в Господа Иисуса Христа, как Сына Божьего и Спасителя мира. Они молились не только во время служб, но и лично. Каждый вечер, в своей палатке, я видел этих веселых, энергичных юношей на коленях у своих кроватей, погруженных в молитву.

Если они представлялись мне несколько упрощенными, а их богослужение менее поэтичным по сравнению с нашим, то зато их отношение к религии было более действенно и их чувство ответственности за судьбы Церкви гораздо ярче выражено, чем среди нас. Многие лекции и собеседования были посвящены вопросу о возможности построения государственного строя на христианских основах. Они искали решения социальных проблем в духе евангельского учения. Многие студенты готовились к священству, другие хотели стать миссионерами и отдать свою жизнь на обращение язычников к вере.

По мере моего лучшего понимания англичан, я начал различать среди них различные направления. Наибольшую близость я почувствовал с англо-католиками, в особенности с молодыми монахами из Келама. Узнав, что мы православные, они пригласили нас в свой монастырь, который имел при себе и богословский колледж. Мы подружились с ними и очень жалели, что нехватка денег и времени не давала нам возможности посетить их.

Но не только с ними я нашел общий язык. Несколько протестантов поразили меня глубиной своей веры, горячностью своей любви ко Христу. Один ново-зеландец, большого роста, в круглых очках начал со мною разговор о Церкви. Он был крайний протестант и все, что он говорил о ней, было мне глубоко чуждо. Но когда он упомянул имя Христа, его глаза загорелись подлинным светом. Мне так стало радостно от этого на сердце, что я не захотел продолжать нашего богословского спора. Мы были с ним братья во Христе, и это было самое главное.

Совсем иными были мои отношения с немцами. Они не казались мне упрощенными, наоборот, все, к чему они прикасались, становилось сложной, неразрешимой проблемой. Существование Бога, личность Христа, значение Церкви — все это вызывало у них мучившие их сомнения. Большинство среди них склонялось к пантеизму и искало присутствие божества в величии и красоте природы. Многие увлекались германским язычеством и смотрели на христианство, как на религию, чуждую их национальному духу. Спорить с ними было увлекательно, но мы принадлежали к двум несовместимым мирам, а с англичанами этого разделения я не почувствовал. Зато немцы гораздо больше интересовались Россией, чем англо-саксонцы. Но их отношение к революции пугало меня. Им импонировал большевизм своей радикальностью, своим отвержением гуманистической культуры, казалось, они

были готовы помочь Ленину и Троцкому в походе против западных демократий.

Насколько немцы были сложны, настолько индусы были прозаичны и плоски. Встреча с ними была для меня большим разочарованием. Их отношение к религии было утилитарно, как и их мировоззрение. Я решил, что эти студенты очевидно принадлежали к низшим кастам, и что мистицизм Индии следовало искать среди Браминов.

Десять дней, проведенных на съезде, были временем огромного напряжения. Я старался использовать каждую минуту для разговоров. Многие были поверхностны, но, неожиданно, некоторые из них оказались настолько подлинными, что они оставили след на всю мою жизнь. Среди обретенных мною друзей был один миссионер из Индии. Ему восточный подход к христианству был более созвучен, чем западный. Другая моя дружба началась с неожиданного вопроса, заданного мне: «Читали ли вы Братьев Карамазовых?» Студент спросивший меня это прекрасно знал Достоевского. Его отношение к Церкви, к таинствам, к почитанию святых было настолько близко Православию, что я сначала подумал, что он является членом нашей Церкви. Оказалось, что он принадлежал к странной секте, называвшей себя «Католической-Апостольской Церковью». Она была основана Эдуардом Ирвингом (1772-1834), пресвитерьянским пастором, который многое заимствовал от православных и римо-католиков. Он учил о скором пришествии Христа и имел значительное число приверженцев. Когда эти ожидания не оправдались, секта стала терять своих членов. В середине XX-го столетия она прекратила свое существование.

Встреча с ним и с рядом англикан глубоко взволновала меня. Это были люди, веровавшие по-православному, у нас был сходный духовный опыт, но они не принадлежали к нашей Церкви. Как могли еретические общины рождать правоверующих христиан? Нужно было искать ответ на этот важный вопрос, и для этого необходимо было по-настоящему встретиться с представителями их Церкви. Я загорелся этой идеей и обратился к одной из руководительниц Брит. Студ. Движения, Зое Ферфильд (1878-1936), с предложением устроить конференцию для православных и англо-католиков с целью выяснения степени их согласия по основным пунктам христианского вероучения.

Зоя Ферфильд была высокая, худая англичанка, некрасивая, в золотых очках, с волосами, закрученными на ушах, умная и волевая. Внимательно выслушав мое неожиданное предложение, сделанное на ломаном английском языке, она со свойственной ей прямотой заявила о полной нереальности моего проекта. Она объяснила мне, что Брит. Движение гор-

дится своим интерконфессиональным характером, что мое предложение устроить встречу между двумя нациями и двумя Церквами противоречит принципам Федерации и, если бы такой съезд и был осуществлен, то он должен бы быть между немцами и англичанами. Взаимное понимание между ними было существенно для Европы, русские же беженцы были остатками исчезнувшей империи и не играли никакой роли в судьбах мира. Было очевидно, что план, родившийся в коротко, не по английски, остриженной голове никому неизвестного юноши из захолустного Белграда, в ее глазах не имел никаких шансов на успех.

Так неудачно кончилась моя первая попытка начать экуменическую работу. Я ошибся во времени, 1923 год еще не созрел для моих планов, но я не ошибся в выборе лица. Зоя Ферфильд три года спустя взяла на себя организацию первого англо-православного съезда и стала ведущим членом Содружества св. Албания и преп. Сергия, возникшего в результате этой конференции.

Наступил конец Суоника, палатки были сложены, участники потянулись на станцию. Беспрерывные разговоры на мало знакомом языке, сознание ответственности и желание разобраться в новом для меня мире изнурили меня. К тому же нас преследовали непрерывные дожди холодного, английского лета.

Наш обратный путь лежал через Лондон, Париж и Швейцарию. Мы снова ехали ночью, чтобы осматривать города днем, экономили на еде. Когда мы наконец добрались до границы Югославии, то узнали, что поезда дальше не идут из-за забастовки.

Мы были на краю наших сил. День, проведенный в маленьком пограничном городке Шпильфелде, остался в моей памяти, как некое райское видение благословенной матери земли. Мы провели его на берегу горной речки Мура, купались в ее чистой, холодной воде, сладко спали на мягкой, ароматной траве. Все вокруг благоухало, среди полевых цветов мирно жужжали пчелы. Жаркое солнце и свежий ветер давали ощущение мира и блаженства. После сырой Англии, духоты и пыли каменных городов, грохота и дыма переполненных поездов, мы возрождались душой и телом. Когда усталость прошла, впечатления всего пережитого нахлынули на меня. Карловацкий собор 1921 года раскрыл передо мною сложную канву церковно-политической борьбы. Суоник поставил меня лицом к лицу с еще более трудным вопросом церковных разделений. Мой юношеский прямолинейный монархизм и православная нетерпимость столкнулись с действительностью, и она потребовала серьезного пересмотра позиций. Я еще не успел осмыслить до конца мой новый опыт, но я уже знал, что мы, православные, сможем найти искренних друзей среди

западных христиан и что мы и они нуждаемся во взаимной поддержке.

Здесь, на берегу быстро мчавшегося потока я впервые начал сознавать, что задача нашего поколения — примирение христиан Востока и Запада. Перевернулась страница моей жизни.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧЕТЫРЕ ГОДА В СЕРБИИ

(Из писем к другу)

С. М. Зернова

Я хотела бы, чтобы вы вошли в наш домик на Сеньяке, в наш «Ковчег». Вошли незаметно, стали бы в дверях и заглянули в нашу комнату. В углу перед иконой горит лампада, жарко накалена маленькая чугунка и около нее на опрокинутых ящиках сидим мы с сестрой. Она пишет дневник, а я читаю письмо от дорогого мне человека. Он служит в пограничной страже, далеко в горах. Внутренне я живу только им, но скрываю это ото всех. На большом ящике, заменяющем нам стол, тускло горит керосиновая лампа. Машенька Львова, нагнувшись над большими листами, переписывает бесконечные статистические цифры — это наш главный заработок. У противоположной стены, забравшись с ногами на кровать, сидит Ирина Степанова, окруженная книгами, и готовит доклад о крепостном праве для нашего студенческого кружка. На другой кровати дремлет старушка Ольга Васильевна Обухова, приехавшая из Хоповского монастыря на три дня. Мы уступили ей одну из кроватей, кто-нибудь из нас будет спать на полу.

Так проходит наш вечер. Но вот сестра отрывается от дневника и говорит: «Ириша, что ты хочешь сказать о крепостном праве?» — «Оно величайшее зло» — отвечает Ирина. «Зло, поскольку люди злы,» — возражает сестра. «Как не зло само по себе!» — возмущается Ирина, вскакивает с кровати и несется к печке. Начинается горячий спор. Теперь далеко за полночь будут раздаваться их возбужденные голоса.

На следующий день доклад Ирины. Нас в кружке 30 человек. Почти с каждым у нас — личная дружба. Мы встречаемся на лекциях, в маленьких кафанах. Когда есть деньги, заказываем тарелку сербской «фасули» и пьем «кафу».

Большим событием в нашей жизни была встреча с профессором Василием Васильевичем Зеньковским. Произошла она случайно. Однажды я опаздывала на лекцию о француз-

ской литературе. Профессор был строгий. Приоткрыв дверь и увидав, что лекция началась, я быстро проскользнула в соседнюю залу. Через несколько минут в нее вошел не знакомый мне профессор. Он был среднего роста, с небольшой бородкой. Говорил он по-сербски чрезвычайно плохо, все время примешивая русские слова. Мне казалось, что я одна по-настоящему понимала его. Он роздал всем листки бумаги и сказал, что на этот раз вместо лекции будут «тэсты». Они были самыми разнообразными, например мы должны были записать слова, которые приходили нам в голову в течение одной минуты. Это было практическое занятие психологией. Я писала быстро, не задумываясь, мои мысли были в соседней аудитории — скоро начинались экзамены и было обидно, что пропускаю нужную лекцию.

Через несколько недель какой то сербский студент сказал мне, что на доске уже давно висит записка, в которой профессор Зеньковский просит студентку Зернову обратиться к нему. Это было для меня полной неожиданностью. На следующий день я нашла его. Он оказался тем профессором, который устраивал «тэсты». Что-то в моих ответах заинтересовало его. Мы сразу перешли на русской язык, он начал расспрашивать меня, я рассказала ему о нашем кружке, он попросил разрешения прийти на следующее собрание.

Не все члены кружка отнеслись благожелательно к его приходу. Особенно протестовал Константин Керн. «У нас не класс, — говорил он —, зачем он нам нужен!». Я оправдывалась как могла, объясняя, что он милый и придет лишь раз. Но вышло иначе. Он сделался верным членом кружка и незаменимым другом многих из нас. Разговоры и переписка с ним, поездки с ним на студенческие съезды были вдохновением моих студенческих лет. Они раскрывали передо мною новые горизонты и давали силы для жизни. Я навсегда благодарна ему за его внимательный подход к каждому из нас, за его любовь и понимание. Я преклоняюсь перед одаренностью этого большого русского человека.

Вскоре случилось другое событие, перевернувшее всю нашу жизнь. Однажды холодным мартовским утром почтальон принес на имя брата телеграмму. Какой-то американец, представитель «УМСА», просил разрешения присутствовать на нашем кружке. Немедленно начались у нас обсуждения и догадки. Как он узнал о нас? Что ему нужно от нас? Представитель «УМСА» казался многим непременно масоном, имеющим целью разрушить Православие. После горячих споров было все же решено «воочию» увидеть врага и «возлагая упование на Бога», мы послали телеграмму американцу, приглашая его встретиться с нами. Очередной доклад был отменен, мы решили просить гостя провести с нами беседу, чтобы сразу обличить его в ереси и разгадать его планы.

В назначенный день и час наш порог переступил человек

высокого роста, с большим с горбинкой носом и с грустными глазами, кротко смотрящими через роговые очки. После пропетой молитвы, он был посажен на самый «комфортабельный» ящик и ему было предложено прочесть доклад. Он не ожидал этого, был смущен и стал объяснять на ломаном русском языке, что приехал познакомиться с нами и хотел бы узнать, чем мы занимаемся. Провести нас было не легко. Под дружным натиском всех участников кружка, американец принужден был сдаться и начать свой доклад. Мистер Холлингер открыл первую главу Евангелия от Марка и решительно пренебрегая буквой «Ы», стал говорить. «И вот Иисус увидал рибака. Кто бил этот рибак? А вот это бил Симон. Кто может сказать если бил брат у Симона?» Мы все сосредоточенно молчали. Он продолжал, «Ви не знаете? Да, бил брат. Как его звали? Кто знает? А вот его звали Андрей. А сколько было учеников? Не знаете? Это хорошо знать. Хорошо читать Евангелие, там сказано о Боге, о нашем Спасителе, а Он бил Иисус Христос».

Так продолжал он толковать нам Евангелие — элементарно, но с подлинной верой и доброжелательством ко всем нам. Мы не выдержали, нам стыдно стало за наше молчание, введшее его в заблуждение о нашей богословской безграмотности. Наши сердца открылись перед ним. Первым заговорил С. С. Безобразов. Он объяснил, что среди нас имеются студенты богословы, что он сам преподавал Новый Завет в Петрограде, что в данное время мы изучаем святых отцов и охотно поделимся с ним методами нашей работы. Потом заговорили все сразу, перебивая друг друга, и благодаря нашего гостя, что он приехал к нам. Он горячо отнесся к нам и начал с большим чувством рассказывать нам о своей встрече с православием в России, о своей любви к нашей Церкви и о желании помочь объединению верующей молодежи.

Ральф Гарвеевич Холлингер сделался нашим другом. Отголоски масономании еще звучали некоторое время, но они были постепенно изжиты, — в чем нам много помог епископ Вениамин. Мы пригласили его принять участие в обсуждении вопроса — допустимы ли наши поездки на международные христианские конференции? Владыка внимательно выслушал наш рассказ о беседе с американцем. Моему брату хотелось верить в искренность западных христиан, Н. М. Терещенко, наоборот, утверждал, что мировая масонская организация хочет обманом заманить нас в свои сети. Когда все высказали свои мнения, Владыка заговорил тихим голосом, смотря куда-то вверх. «Во время слов Терещенки — сказал он, — я старался заглянуть в свое сердце и увидал, что там тяжело, тяжело. Значит не было правды в этой боязни масонов, — и разве дьявол не страшнее их? Но и его не надо бояться без меры. Конечно, надо быть зрячим, но Господь милостив, Он поможет. Раз зовут, надо пойти. Поезжайте со смирением и молитвой,

может быть приходит время, когда православные должны начать помогать другим христианам». Мы все жадно слушали Владыку. Каждое его слово наполняло мое сердце радостью и благодарностью Богу.

Приезжали к нам и другие епископы: Митрополит Антоний, особенно любивший Керна, и называвший меня «премудростью»; Феофан Полтавский, маленький, худенький, святой; Гавриил Челябинский, плакавший, когда он говорил о красоте Православия и Николай Охридский (1880-1956). Он получил образование в России и в Англии и произвел на нас огромное впечатление. Он был похож на ветхозаветного пророка, весь пламенный, затаивший в себе громадную силу.

Как-то во время беседы, он неожиданно обратился к нам с вопросом: «Верите ли вы, что Бог слышит ваши молитвы и может исполнить ваши мольбы? Или же ваши молитвы — пустые слова, не достигающие Бога?» Мы в один голос ответили ему, что верим в силу молитвы. Он задал нам новый вопрос: «Любите ли вы свою родину? Хотите ли вы ее спасения? Свободы веры в России?» Эти вопросы удивили нас. Разве он не знал, что мы все ждем освобождения России от безбожной власти? В ответ на наши возгласы, владыка властно сказал: «Встань тот из вас, кто, веря в силу молитвы, денно и нощно вопиет к Богу, моля Его спасти Россию». Никто не встал.

Прошло много лет, наступила Вторая Мировая война. Владыка Николай был арестован немцами и сослан в лагерь Аушвиц. Он остался жив. Коммунисты запретили ему вернуться на родину, и он попал в Америку. Мои американские друзья пригласили меня погостить у них после войны. Я узнала, что владыка живет в Чикаго и решила поехать к нему, хотя это было и дорого, и сложно. Я позвонила в сербскую церковь, чтобы узнать его адрес, и вдруг мне сказали, что владыка на три дня приехал в Нью-Йорк. Это был подарок неба!

Мы встретились. Он постарел и осунулся, но взгляд его черных глаз по-прежнему проникал в сердце. Мы начали говорить о судьбах мира, о Церкви, о России. «Владыка, — спросила я его —, страдания и лишения концентрационного лагеря убивают или оживляют духовную жизнь? Я знала верующих людей, у которых не было сил молиться, все было сосредоточено на куске хлеба, на луковице, на кружке горячей воды».

И владыка ответил: «Сидишь в углу и повторяешь: я пыль, я пепел, возьми душу мою. Вдруг душа возносится и видит Бога лицом к лицу. И не можешь вынести и говоришь Ему: не готов, не могу, верни обратно. И снова сидишь часами и повторяешь: я пыль, я пепел, возьми душу мою, и опять возносит Господь. Если бы было возможно, я отдал бы всю остающуюся жизнь за один час пребывания в Аушвице».

Он поднял голову посмотрел мне прямо в глаза. Я не смогла вынести этого взгляда — на меня смотрели глаза человека, который встретил лицом к лицу Бога.

Еще говорил он мне: «Подходили ко мне тюремщики и спрашивали, издеваясь: «Веришь ли ты, что Иисус Христос был Богом?», а я отвечал им — «нет». Они начинали смеяться и переспрашивать, — «так ты больше не веришь?» Тогда я говорил — «не верю, а знаю». Они раздражались и уходили. Потом снова начинали свои расспросы: «Твой Иисус был сыном жидовки?» — «Нет», — возражал я. — «А чей же Он тогда был сын?» — «Сын человеческий» — отвечал я, и они не знали, что на это сказать».

Владыка Николай был столпом сербской Церкви, пророком и молитвенником. Теперь он умер и видит уже постоянно Бога лицом к лицу.

Кроме нашего богословского кружка, кроме церкви, в которой мы старались не пропустить ни одной службы, был у нас еще один источник духовных сил. Это был Хоповский монастырь, и в нем — наш духовник и утешитель, о. Алексей Нелюбов (1879-1937). Во все трудные минуты жизни мы ездили на паломничество в Хопово и ходили к нему на исповедь. Чтобы попасть туда, надо было сначала ехать на поезде до города Румы, а оттуда идти пешком 18 километров.

О. Алексей, и строгий и бесконечно благостный, любил каждого из нас, разделял наши радости и горести, наставлял нас, утешал, прощал и вымаливал.[1]

Однажды, перед экзаменами, я поехала говеть в Хопово и провела там воскресенье. На следующее утро я встала в 2 часа, чтобы не опоздать на ранний поезд в Белград. Сестры разбудили меня и выпустили через окно. Весь монастырь еще спал. Была теплая, звездная ночь. Мне было легко и радостно идти по прямой дороге, по сербской православной земле. Я отошла 6 или 7 километров. Мои шаги звонко раздавались в тишине ночи. Вдруг впереди, рядом с дорогой что-то стало шевелиться. «Может быть это заяц», — подумала я и продолжала свой путь.

Но это оказался не заяц, из канавы поднялся громадный, страшный оборванец и пошел следом за мною. Господи, как мне стало страшно! Он догнал меня и спросил, — «Куда идешь?» — «В Руму», — ответила я. — «Ты девица или замужняя?» — «Девица». — «Почему одна ходишь ночью?» — «Ходила в монастырь молиться, я студенкинья, рускинья, отпусти меня.» — «Что у тебя в чемодане?» — «Полотенце и мыло». Он продолжал идти рядом что-то обдумывая. Я так

[1] Некролог о о. Нелюбове был напечатан в «Вестнике Р.С.Х.Д.» № 2. 1938.

молилась Пресвятой Богородице. Наконец, он сказал: «хорошо, иди». Повернулся и лег снова на краю дороги. Я узнала потом, что, когда я ушла, проводившие меня сестры не пошли спать, а стали молиться за меня. Это жизнь человеческая. Это все моя жизнь.

Перед отъездом во Францию я опять поехала в Хопово. Вдова генерала Алексеева попросила меня взять с собою четырехлетнего мальчика Сережу Солнышкина, и оставить его в детском приюте. Сережа был маленький, тоненький, весь беленький, с голубыми глазами и белыми ресницами. В поезде он спросил: — «Тетя Шоня, ты моя?» — «Да» — сказала я. Он улыбнулся, довольный и счастливый. Как будто хотел сказать: «Я ведь знал, что ты моя». Некоторое время мы ехали молча, — вдруг опять вопрос: «Ты знаешь, где мои папа и мама?» Я испугалась, не находя, что ему ответить. Его мать внезапно умерла, а отец, не выдержав горя, застрелился. «Хочешь, покажу?» — предложил Сережа. Он слез со скамейки, взял меня за руку, подвел к окну и, подняв свой тоненький пальчик к небу, промолвил, — «видишь небо? Они там». Так Сережа Солнышкин вошел в мое сердце.

Когда на следующий день я пришла в Хоповский детский приют, Сережа кинулся ко мне. Мы сели с ним рядом на скамеечку и молчали. Мы оба были счастливы. Скоро остальные дети окружили нас. Тогда Сережа встал, ушел в другой угол комнаты и сел там один, вопросительно глядя на меня. Я поняла, что он меня ждал, потому что я была «его». Я подошла к нему, он опять начал улыбаться, и мы были вновь счастливы вдвоем. Перед моим отъездом я взяла Сережу в церковь. Я подвела его к иконе Богородицы и сказала ему: «Приходи сюда молиться, если тебе будет грустно, и молись тоже обо мне.» Я не знала, мог ли 4-хлетний мальчик понять мои слова, но не умела по-другому говорить с ним.

Когда через год, уже из Франции, я приехала в Сербию и опять побывала в Хопове, то о. Алексей, встретив меня, сказал: «У вас тут есть молитвенник. Однажды, когда я молился один в церкви перед чудотворной иконой, чья-то маленькая ручка взяла меня за руку. Рядом со мною стоял тоненький, беленький мальчик. За тетю Шоню помолимся, — промолвил он мне.» С тех пор о. Алексей часто приводил Сережу в церковь и они вместе молились.

Когда я пришла в приют, Сережа сразу узнал меня, — и радости нашей не было конца. А через два года я получила известие о смерти Сережи. Он заболел туберкулезным менингитом. Перед смертью он ослеп и попросил, чтобы его тельце покрыли бумажными иконами. Он лежал и все время гладил их своими маленькими ручками. Я верю, что Сережа молится теперь за меня Пресвятой Богородице. Это все моя жизнь, это милости Божьи ко мне, грешной.

Кроме о. Алексея был у нас еще и другой духовник, отец Кирик, приехавший с Афона просить короля Александра взять под свое покровительство русские монастыри. Я никогда не забуду моей первой исповеди у него. Я шла к нему со страхом и трепетом. Он был афонский старец, проведший всю жизнь в молитве и подвигах, — как смела я идти к нему! Когда я вошла в комнату, где он исповедывал, он из ее глубины протянул ко мне свои руки со словами: «Гряди, гряди, голубица.» Он был совсем седой, с ясными, прозрачными, голубыми глазами. От его слов, от его ласки, от его детского чистого взгляда я стала сразу плакать. Я знаю, что слезы на исповеди — это посылаемая Богом благодать. Они несут покаяние, они открывают нами забытые грехи. Первым вопросом о. Кирика было: «Часто ли «он» мучает вас?» Сначала я не поняла, кто это «он», и стала вспоминать всех, кто меня любил и кого я мучила и потому мучилась и сама. Но это был другой «он». Отец Кирик спохватился и стал говорить: «Да, да, конечно, вы не понимаете, я забыл, что здесь в миру «он» вас оставляет в покое, «он» и так всем здесь вертит и «ему» незачем открывать своего лица. Уповайте на Господа, и Он не оставит вас. Господь, как любящий отец. Помните это всегда. Протяните Богу руку, чтобы он вел вас, и тогда все в вашей жизни будет хорошо». Я слушала его и плакала благодарными слезами. Когда даешь руку Богу, то живешь в другом плане, идешь не по земле, а чуть-чуть повыше, тогда каждый день нов и прекрасен, тогда нет серых будней и скучных, ненужных людей, тогда на исповеди видишь свои грехи и даются слезы, чтобы оплакивать их, тогда сердце открыто для Божьей благодати.

О. Алексей, о. Кирик, владыка Вениамин и многие другие пастыри помогали нам «не загасить огонька», и с этим огоньком мы шли в мир и друг ко другу, радуясь нашему единству, найденному в Церкви и в вере.

Наша жизнь всегда связана таинственными нитями с землей, на которой мы живем. В Сербии была легкая земля, родная нам, как младшая сестра. Мы были связаны с сербским народом, хотя вначале мы мало знали сербов. Некоторые из них запечатлелись навсегда в моей памяти. Около университета был маленький магазин, мы покупали в нем бумагу, карандаши. Хозяин был другом русских, я с радостью ходила к нему. Он предложил мне платить раз в месяц. Когда я пришла расплачиваться, он сказал, что счет не готов и просил заплатить через три месяца, потом отложил на шесть, а затем и на весь год. Я испугалась, что мне трудно будет заплатить такой большой счет. Я собрала деньги и пришла, чтобы расплатиться. Он вынес длинный список, но, не показав его мне, разорвал на части. «Если бы все русские в Сербии покупали бы у меня, — сказал он, — и я не брал с них

ничего, то и тогда я не мог бы отплатить и сотой доли того, что сделала Россия для моей страны».

Были такие люди в Сербии, и они связывали нас с их прекрасной страной.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

(Из писем к другу)

С. М. Зернова.

Я обещала написать вам о моей первой любви. С тех пор как я себя помню, я жила любовью. Она так часто заливала мое детское сердце, нахлынув, как волна, странная, непонятная и все захватывающая. Такие приливы любви были у меня к матери, к тете Мане, к сестре и к другим людям. Но Николай Семенович Шокотов[1] был моей первой сознательной любовью. Она началась в самые трагические дни нашей жизни, когда наша семья вместе с разбитой Белой Армией отступала по Военно-Грузинской дороге. В косынке сестры милосердия я пыталась помочь больным и раненым. Он был одним из них. Я встретила его снова в госпитале в Сураме, где я продолжала мою работу. Он поправился и уехал в Крым, мы остались в Грузии. Я не знала жив ли он или погиб. Потом мы оказались в Константинополе. Это была эпоха, когда все рушилось, когда хотелось успеть полюбить. Мне шел 21-ый год.

И вот случайно мы встретились на улице Стамбула. Ему предстояла новая операция. Мы с сестрой навещали его в госпитале. Он держался сухо со мною, но за этой суровой поверхностью прорывалось иногда что-то другое. Перед тем как выписаться из больницы, он сообщил мне, что на днях отправляется со своей воинской частью на пограничную службу в Югославию.

Однажды наша веселая компания решила уехать на весь день на прогулку. Я отказалась, мне хотелось одиночества. Когда любишь, так сладко быть одной. А потом я еще и ждала. Я сидела одна, читая переписку Гоголя с друзьями и отмечая на полях мои мысли. Кто-то постучал в дверь. Она открылась — это был он. Он вошел очень просто, как будто иначе

[1] Н. С. Шокотов был поручиком гусарского Митавского полка.

и не могло быть, как будто это было условлено между нами, как будто я ожидала его.

Он встал против меня, прислонившись к стене и стоял так долго, молча, сияющими, полными любви глазами смотря на меня. «Я пришел, — наконец сказал он — чтобы сказать вам, что я вас люблю. Я любил вас всегда, с первого взгляда, но я знал, что я не должен вас любить и я боролся. Я уезжаю через два дня и я хочу, чтобы вы это знали, Васильки, чтобы вы не грустили и не мучили себя». Он говорил как бы сам с собой, иногда закрывая глаза и как бы смотря внутрь себя. Я слушала его молча, опустив голову. В комнате было очень тихо и мне казалось, что я слышу, как бьется мое сердце. Я знала, что он уедет и что ничто не может остановить его.

«Не отвечайте мне ничего, — сказал он — я приду к вам завтра. Мы уйдем куда-нибудь, чтобы мне еще в последний раз побыть с вами». Он хотел уйти. «Не уходите, подождите» — попросила я и протянула ему мою книгу; на ее полях были мои мысли, всегда обращенные к нему, как будто я читала вместе с ним. Он взял ее, открыл, улыбнулся и, не сказав ни слова, ушел.

Я осталась одна. Я не знаю, была ли я счастлива. Он сказал, что любит меня, но говорил как будто с самим собой. Я думала, что любовь — это другое, что это жизнь и простота. Почему он так ушел? Почему он уезжает? Побежать за ним? Но м. б. он опять встретит меня холодно и сухо? Любовь хрупка и пуглива, особенно в молодости, когда наша жизнь перемешана с нашими фантазиями и мечтами. Я не побежала за ним. Мне казалось, что это был сон. Я ждала завтрашнего дня. Я так мучительно ждала его. «Но м. б. — думала я — он передумает и не придет». Но он пришел, я услыхала его шаги на лестнице, открыла ему дверь и мы вышли на улицу.

Я шла рядом с ним по этой знакомой улице, где столько раз проходила с тоской о нем. Теперь я шла счастливая и веселая и уверенно и смело говорила с ним. «Куда мы идем? Может быть мы идем в тот заколдованный лес, где вы когда-то давно, давно (это было в Сураме) собирали для меня фиалки? Это было ведь тогда, когда вы не любили меня!» — «Я всегда вас любил, Васильки.» — «Но иногда вы были таким не милым со мною?» — «Неужели вы не понимали, неужели не чувствовали, — говорил он — что вам не надо было знать о моей любви. Вы так молоды, перед вами вся ваша жизнь! Простите меня, что я огорчал вас!» — «Но теперь вы не будете запрещать себе любить меня?» — спрашивала я.

Он привел меня в тишину заброшенного сада. Мы подошли к низкой стене, перед нами открывался вид на Босфор, на золотящееся от солнца море, на высокие, темные кипарисы. Я стояла рядом с ним. Когда-то давно, в Сураме, мы стояли так же рядом, смотря на поля ржи. Как я ждала от него

тогда одного ласкового слова, но он не сказал его. А теперь все было иное. Он стоял с закрытыми глазами, но я не могла смотреть на его лицо. Мы стояли долго, долго, потрясенные, потерянные. Кругом был покой, а над нами высокое, южное небо. «Господи, — думала я — удержать этот день, не пропустить ни минуты . . .»

Он ни разу не прикоснулся ко мне, не положил свою руку на мою, но это было не нужно. От него лилась на меня такая нежность, такой свет исходил из его странных, таких когда-то непроницаемых, а теперь открытых передо мною глаз. Только один раз, когда я подошла к нему поближе, он вдруг побледнел и сказал: «Васильки, не подходите ко мне, будьте милосердны . . . » Я тихо отошла и смотрела на Босфор.

Он проводил меня домой, не сказав, увижу ли я его или нет до отъезда. Весь следующий день я ждала его, но он не пришел. Поздно вечером, когда все уже спали, кто-то чуть слышно постучал в дверь. Я кинулась открывать. Передо мной стоял молоденький офицерик. Он принес мне письмо. Я убежала к себе в комнату: на небольшом листке, вырванном из записной книжки, стояли слова: «Софья Михайловна, я не могу жить без вас. Ваш Н. Ш.»

Я знаю, вы тоже получали такие письма, вы тоже знали такое счастье — счастье от сознания, что здесь у вас, в ваших руках находится кусок бумаги со словами, от которых замирает и падает сердце . . . И завтра он уезжает, как это возможно? Завтра оборвется все? Все в жизни обрывается, думала я, немного позже, немного раньше, но обрывается все. И рядом со счастьем всегда бывает боль.

На следующий день он пришел под вечер. Он был спокойный и радостный. «Пойдемте со мной» — попросил он. Мы молча шли по улицам. Я не спрашивала его, нужно ли, чтобы он уехал. Я знала, что все было кончено, что ничего нельзя изменить. Но и у меня на сердце было чувство покоя и счастья. Вот так идти с ним долго, долго . . . Мы вышли на узкую улицу, спускающуюся к морю. Внизу виднелась гавань и стоящий на рейде пароход. «Вы не пойдете дальше, Васильки, я не хочу, чтобы вас видели. Мы расстанемся здесь». В его голосе и каждом его жесте была такая забота и теплота. Он взял мою руку и стал целовать. Он целовал ее долго, нежно и трепетно. Вокруг нас была тишина наступающего вечера, никто не прошел мимо нас. Он все не выпускал моей руки, он все больше пронизывал меня своей силой и нежностью и мое сердце все больше наполнялось щемящей тоской. Настоящая любовь всегда несет тоску, тоску о рае, о недосягаемом счастье, потому что настоящее счастье всегда недостижимо.

Я знала, что он весь отдавался мне, не стараясь больше скрыть и заглушить свою любовь. Я знала, что я нужна

была ему для его жизни. Я была той женщиной, которую он искал и нашел и которая ускользала от него навсегда. Я тоже знала, что это не была страсть, желание физического обладания и поэтому я не чувствовала себя униженной и виноватой. В первый раз, этот замкнутый и гордый человек отдавался весь своему чувству и был открыт передо мной до конца. «Васильки, радость моя, счастье мое! Я никогда не огорчу вас больше, простите, простите меня, что я так долго скрывал от вас мою любовь!» Но нам уже не нужны были никакие слова. Он смотрел мне в глаза последним, долгим взглядом любви. Внизу послышались отрывистые тревожные гудки парохода, он все не выпускал моей руки. И мне казалось, что у нас одно сердце, переплетенное одной тоской. Он ушел. Если мы храним в сердце память, вечную память, она как непрекращающаяся жизнь!

Он писал мне длинные письма, похожие на дневники. В них он рассказывал мне все, чем он жил, свои мысли, тревоги, надежды. Они жили на албанской границе, в палатках, среди величия и красоты гор. Его письма были особенные, как и он сам был не такой как все.[2] Хотя каждый человек особенный, если он нас любит и если мы любим его, если мы умеем раскрыть то, что таится в его сердце, ту тайну, которую несет в себе каждый человек.

Я тоже писала ему, как и он; ждала его писем, жила ими.[3] Вероятно мои письма были мучительны ему. Однажды он мне написал: «Знаете, Солнышко, сейчас перечитал ваше дорогое письмо, и мне так больно, что я не могу в полной мере, которая удовлетворила бы меня, ответить вам. Сколько глубокой радости и желания жить вы мне даете. Как жаль, что я не умею больше рассказывать сказки. Я чувствую себя как птица, которая долго, долго была в клетке и когда ей пришла возможность опять лететь, ее крылья уже не могут подняться, чтобы рассекать воздух. Моя любовь к вам не изменилась, но она все глубже уходит от жизни. Она уже не может быть свободной под лучами солнца». В этих словах была правда и для него и для меня. Моя любовь к нему тоже уходила куда-то на дно, отрывалась от реальной жизни. Хотя может быть она никогда и не была связана с ней.

Мы уехали в Сербию. Я поступила в университет, надо было строить жизнь, снова бороться за существование. Новые встречи, новые увлечения. Все это отрывало меня от Н. С. Он,

---

[2] См. в конце главы Прилож. I.

[3] Я старалась лучше понять его, ловила случайные рассказы о нем. Мне говорили, что когда Н. С. поступил в Николаевское Кавалерийское Училище и в первый раз появился верхом в манеже, все присутствующие, даже самые строгие начальники, стали аплодировать, таким он был замечательным наездником. В полку его многие любили. Сам он никогда ничего не говорил о себе.

конечно, это чувствовал, да я и не скрывала ничего от него. Однажды он написал мне, что между нами лежит одно непреодолимое препятствие — это то, что он родился на 15 лет раньше меня, что от этого его любовь ко мне еще глубже и сильнее, но только, что он мог дать мне, затерянный в горах на пограничной страже? Этот вопрос никогда не вставал передо мною. — «М. б. — думала я — он устал любить меня» и я решила «проверить» и «убедиться» и написала ему: «Пусть это будет мое последнее письмо». В самой глубине сердца, я знала, что поступаю неправильно, я *теперь* так знаю, что надо всегда слушать этот голос нашего сердца. Но я все-таки послала это письмо. Я так ждала, что он ответит, что он, как прежде, скажет: «Нет, Васильки, я вас никому не отдам . . .» Но он не отвечал. Я каждый день бежала домой в надежде найти его письмо, увидать его знакомый почерк. Сколько раз я решала написать ему, но что-то меня удерживало, какая-то глупая гордыня, и я молчала. Когда, наконец, после многих месяцев, я написала ему, письмо вернулось, не застав его, его часть перевели куда то, и он не оставил адреса. Вскоре мы уехали в Париж.

Спустя восемь длинных лет я случайно узнала его адрес и написала ему. Он мне ответил: «Ваше письмо я получил вчера и сегодня я шлю низкий поклон моему Солнышку. Я беру ваши руки, целую их и опускаюсь около вас на землю. Я хочу поцеловать ваши колени и, приникнув к ним, быть так долго, пока не отдохну, не начну быть из мертвого живым, пока не смогу хорошо улыбнуться Василькам и сказать: есть силы, есть смысл жизни. Давно в Константинополе я сказал одной необычайной девушке цветов синего неба и спеющей ржи, что я ее люблю . . . Потом мы расстались, но любовь была так огромна и чиста, что не было земных расстояний и времени. Я никогда никого не любил до вас, Солнышко, я всю любовь отталкивал и знал, что та любовь, которую я не смогу оттолкнуть, будет моя единственная любовь.

И я вас не отдам никому . . . Нет у меня до самого последняго времени дня, чтобы я не жил вами . . . Целую ваши руки, мои руки. Ваш Н. Ш.»

Это письмо всколыхнуло во мне все, всю мою молодость, всю романтику моей встречи с ним. Я читала его и перечитывала. Я плакала над ним, как плачут над умершим. Я знала, что теперь поздно, что это все ушло безвозвратно, что не течет река назад. Когда я получила это письмо, я любила уже того человека, которого искала и ждала всю жизнь, которого любила настоящей, единственной любовью и поэтому не могла уже ответить Н. С. как раньше.

Когда мне было 12 лет, меня поймала на улице на Кавказе цыганка и стала мне гадать по руке. «Ой, — говорила

она, — много ты в жизни увидишь и много тебя будут любить и никогда не будешь ты знать неразделенной любви. И если полюбит тебя кто, не разлюбит никогда, всю жизнь до смерти будет любить.»

Я со страхом слушала ее, стараясь вырвать мою руку из ее смуглых тонких рук.

Меня многие любили. И среди людей любивших меня была иногда такая странная связь, как будто была нить, связующая меня с ними и их друг с другом. Я так этому поражалась, что иногда мне казалось, что это все сон, что так бывает только в выдуманных рассказах... Так меня любили два человека, они оба знали и любили Шокотова, не зная, что он любил меня.

Я почему-то всегда предчувствовала, что мне в жизни счастья не будет дано, того простого человеческого счастья, которое дается иногда людям. Но я не жалею, мне было дано другое и может быть большее.

Настоящая любовь — не увлечение, не влюбленность. Единственная, подлинная любовь к человеку есть в то же время печаль об этом человеке. Но кроме этой любви, позволено ли нам любить по иному? Увлекаться, давать себя любить? Или это грех? А может быть грех отталкивать любовь, стараться убегать от нее? Так страшно разучиться любить, испугаться любви, стараться убить ее!

[2] ПРИЛОЖЕНИЕ I

Я хочу привести несколько отрывков из писем Шокотова. В августе 1921 мне удалось, преодолев множество препятствий, осуществить мою давнишнюю мечту и попасть в Галлиполи. (См. На Переломе. стр. 166-168). В ответ на мое письмо, описывающее мои впечатления. Н. С. писал: «Господи, какая вы хорошая и добрая, что решили мне писать из Галлиполи, этого страшного города, рожденного страдным и страстным желанием Русской Армии жить, обязательно жить, а не умереть. Мы здесь, на пограничной сербской страже хотим сохранить русскую армию, но только я теперь думаю, что нам это не удастся. Теперь наша армия без души, это только внешняя форма, но это уже не старая русская армия. Я это знаю и многое понял. Это огорчит вас, но выражение: «нет офицеров, а много солдат в офицерских погонах» — до тоски правдиво. Здесь только два сорта офицеров: вундеркинды доброармии и офицеры гражданской войны. Это особого образования люди. Одни для этого должны были отказаться от многого старого, другие — этого старого не видали. Так или иначе они не несут в себе того особого, золотого зерна, которое было обязательно в сердце каждого офицера старой, русской армии. Производство в первый офицерский чин корнета было признанием не только формальных прав и обязанностей, но акт признания меня *достойным высокого звания офицера.* В полку же был еще решающий корректив — это принятие в полковую семью. В ней все могут быть са-

мых различных характеров, но все обязательно дорогие, родные и понимающие друг друга. Вот из этого золотого зернышка души офицерской семьи вытекало обязательно-рыцарство, благородство, порядочность, безжалостность в исполнении долга. Отсюда вытекало понятие, что офицер стоял выше, он имел обаяние, он был хранителем ценностей, которыми солдаты жили и за которые умирали. Офицер был носителем души армии. Теперешний же офицер сам умрет героем, но не может воспитать «желания умереть», он ничего не может дать взамен инстинкта жизни. Теперь я понял почему настоящие кадровые офицеры старой русской армии сейчас — вне армии. Они ждут времени, когда пойдем воевать в Россию и за Россию. Тогда будет идея, около нее можно будет начать жить армии, быть РУССКОЙ АРМИЕЙ, для которой должно жертвовать всем, т. к. она будет действительностью, а не мифом».

Николай Семенович глубоко пережил мое посещение Галлиполи. В то самое время, когда я там была, он, не зная этого, ощущал меня реально, близко около себя. Он писал: «Мне в те дни казалось совершенно обыкновенным, что вдруг я увижу вас, сходящей там с волшебных гор. Это чувство было так необычайно и сильно, что оно меня почти тяготило своей необъяснимостью. Вчера я не мог спать и лежал в полузабытьи. Неожиданно получилась непреложная уверенность, что вы здесь... Я открыл глаза и увидел вас. Вы улыбались так, как я люблю — бесконечно чисто и радостно. Я люблю вспышки ваших глаз, когда они начинают жить и постепенно озаряют все ваше лицо. Я любил вас встретить неожиданно и видеть как постепенно вы начинали сиять — ровно, радостно, хорошо. Но в ваших глазах я замечал всегда глубокую, правда прекрасную грусть, как если увидеть лань и посмотреть ей прямо в глаза — они особенные и грустные. Когда вы вошли в мою палатку, вы казались изнемождены душой и глубоко сосредоточены... Зачарованный, я не мог двинуться. У вас в глазах была грусть и тоска. В движении головы был вопрос: «зачем? за что?». Упрек за какую-то ошибку? Чувство, охватившее меня, было страшно по своей силе, оно бросило меня к вашим ногам. С таким чувством или достигаешь невозможного или умираешь. Немного задержавшись, вы исчезли...».

Другой отрывок из его письма выражает его тонкое чувство красоты природы. Он писал: «Мы совершенно выключены из обычного мира соединением светлого голубого неба с синей горней тайной. Мы живем в ажурном синем кольце, где рябит синевой даже зелень, где наполнено все разливающимся зноем солнца.

Вы многому меня научили, научили любить и солнце. Мы живем в царстве зноя. Иногда я просто «заслушиваюсь» им. А он здесь особенно певуч. В середине дня, когда все изнемогает от невыносимой жары, гимн солнцу достигает своего наивысшего напряжения. Вся земля положительно неистовствует звенящим, сухим напевом всевозможных стрекотаний. Звук этих пений становится настолько огромным, что как бы равняется с силой снопов пылающих лучей, заполняющих всю синеву. Земля сливается с солнцем и устремляется к нему ликующим, знойным гимном».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЛЮДИ И ВСТРЕЧИ

(Из писем к другу)

С. М. Зернова

Когда я просматриваю свою жизнь, когда я вспоминаю всех, кто прикоснулся к ней, я вижу перед собою длинную вереницу необычайных и неожиданных людей. Как они вошли в мою жизнь? Через какую калитку? Так часто это было лишь лицо, взгляд человеческих глаз, иногда мимолетный, встреченный на каком-то перекрестке и не повторившийся никогда.

Так на съезде нашего Движения в Пшерове я куда-то спеша пробегала через зал и вдруг почему-то остановилась и оглянулась. Позади меня стоял, прислонившись к стене, высокий старик и смотрел на меня. В его взгляде была мягкая грусть, нежность, любование. Я смутилась, сделала вид, что ничего не заметила, и побежала дальше. Но я унесла его взгляд в своем сердце.

На следующий день я стояла, окруженная молодежью, и оживленно спорила с кем-то и вдруг опять обернулась. Тот же старик стоял недалеко от меня и смотрел тем же вчерашним взглядом. Он уже не мог скрыть его от меня и пошел мне навстречу, а я, как во сне, подошла к нему. «Не удивляйтесь и не смущайтесь, что я так смотрю на Вас», — сказал он. «Моя фамилия — Новгородцев. Ваша мать была моя первая любовь, а вы так похожи на нее, — я смотрю на вас и любуюсь. Вся моя жизнь и молодость встают передо мною». Я была счастлива от его слов.

Были в моей жизни люди, которые проникли в нее потому, что они были как «часы». Когда я была еще гимназисткой в Москве, у меня был такой незнакомый «друг-часы». Это была дама среднего возраста, среднего роста, довольно полная, с темными, небольшими глазами. Она никогда на меня особенно не смотрела. Но я знала, что я не опаздываю, если я встречала ее на одном повороте. Однажды осенью, только что вернувшись из Сочи (мы всегда опаздывали к началу ученья), я обрадовалась, увидев мои «часы». Она вдруг остановилась и сказала:

«Как ты загорела, откуда ты вернулась? — «Из Сочи», — ответила я. Кто была она, так я и не узнала, после этого она мне всегда улыбалась, и так она тоже вошла в мою жизнь.

В Сербии у меня тоже были «часы», но более романтического характера. Каждый день я ходила в университет. Лекции начинались в 2 часа, Я не должна была опаздывать. Я знала, что, когда я пройду мимо большого кафе, я увижу вдали высокого, красивого блондина. Он вероятно не серб, у него облик «европейца». Он всегда смотрит на меня пристально, а я то смотрю на него, то не смотрю. Я жду встречи с ним. Кем мог бы быть он?

Наш дом-«ковчег» был за городом, мы обычно ездили на трамвае. Однажды я решила идти в церковь пешком. Было чудное летнее утро. Когда трамвай поравнялся со мной, я увидела, что из окна смотрят на меня «мои часы». Я сразу почувствовала, что что-то произойдет, и не удивилась, когда он сошел на ближайшей остановке и, подойдя ко мне и сняв шляпу, сказал по-русски: «Простите, я знаю, что так не делают, но я искал все способы, чтобы познакомиться с вами, и ничего не нашел. Прошу вас, укажите мне, где я мог бы представиться вам. Я — далматинец, работаю в министерстве иностранных дел. Я люблю русскую литературу, музыку, все русское, я изучил ваш язык, помогите мне познакомиться с вами». Он был милый и трогательный, но я, сама того не желая, сделалась вдруг каменной и ледяной. «Я вас тоже знаю, но знакомиться на улице я не могу, и никаких путей для знакомства не вижу», — ответила я ему. «Простите», — сказал он. Я ушла, но это не было концом моих отношений с Рафо Арнери.

В нашу церковь в Белграде часто приходила элегантная дама с мальчиком лет семи. Она опускалась на колени перед иконой Божией Матери и горячо молилась, а мальчик тихо стоял около нее. Мне казалось, что мы могли бы быть друзьями, и мне хотелось узнать, какое у нее горе. Она обыкновенно быстро уходила сразу после службы, и никому из нас не удавалось познакомиться с ней. Однажды мальчик вышел до конца литургии и сел на камушке. У него было ангельское печальное личико, он был худенький и маленький. Мать стала его с тревогой искать. «Вы ищете сына? — сказала я, — у него такое прелестное лицо, — он там сидит на дворе». — «Он глухонемой», — ответила она. Потом, посмотрев на меня, потерянно прибавила: «Я вымаливаю его у Бога, он не нужен никому кроме меня. Я так просила Бога дать мне сына, и Бог дал мне этого ангела, но ему нет места на земле. Придите ко мне, я вам все расскажу». Так началась наша дружба.

В следующее воскресенье мы долго сидели около церкви. Я узнала, что ее зовут Антигона, что она полу-русская, полугречанка. Ее муж, далматинец, занимавший большое поло-

жение в министерстве иностранных дел, враждебно относился к «религиозным предрассудкам» и считал ее виновной в том, что она родила глухонемого сына, он был жесток и с ней, и с мальчиком. Несчастная и одинокая мать, она просила меня прийти к ней, когда муж уедет в командировку. Но он все не уезжал, мы стали встречаться по воскресеньям, и я радовалась каждой минуте, проведенной с ней.

Наконец, ее муж уехал, и я пришла к Антигоне. У нее была красивая вилла в большом саду. Она показала мне свои драгоценности, книги, иконы, все спрятанное в кованом сундуке, и дала мне на память большой аметистовый крест, увитый тонкой серебряной веточкой с бриллиантами. Когда солнце уже почти закатилось, я встала, чтобы уйти. «Подождите, — сказала она, — вот идет племянник мужа, наш милый мечтатель. Я хочу вас познакомить с ним». Я посмотрела в сторону сада, по ступеням террасы подымался он — «мои часы», тот, кого я в это утро так сурово встретила на дороге в церковь. «Это она», с изумлением и восторгом глядя на меня, сказал он. «Так это о ней ты говорил мне», — удивилась Антигона. «Он не дает никому покоя, хочет, чтобы я помогла ему познакомиться со всеми русскими и найти ту, которую он встречает где-то на улице каждый день». Так мы познакомились, и он пошел провожать меня до дома, радуясь как мальчик.

Через два дня я уезжала в Венгрию на конференцию Студенческой Христианской Федерации. Меня провожал весь наш кружок. Когда я осталась одна, в купе вошел Рафо. Он решил ехать со мною до границы. Он был тонкий, воспитанный, с большим шармом. Мне было хорошо с ним. Сначала мы говорили на литературные темы, но я чувствовала, что будет потом, я хотела «это» оттянуть. Я перестала говорить, мое сердце залилось волной грусти, я смотрела на убегающие поля, на облака, плывшие по синему небу. Тогда я услышала то, что и ожидала. «Я вас люблю, прошу вас, будьте моей женой!» — Мой дорогой Рафо, такой прямой, доверчивый, зачем он сказал эти слова? Вся моя радость быть с ним улетела, как облака на небе. Я сидела перед ним виноватая и чужая. «Рафо, милый Рафо, — ответила я — вы найдете другую, более достойную вас. Если можете, останемся друзьями, если нет, то постарайтесь забыть меня». Поздно ночью мы приехали на границу. Он поцеловал мне руку, посмотрел мне в глаза уже другим взглядом, без радости и изумления. Он уехал обратно в Белград. Должно быть он мало спал этой ночью, я тоже не спала. Я радовалась, что поезд мчался быстро. Мне хотелось, чтобы так же быстро мчалась моя жизнь. Чего я ждала? Мне казалось невозможным успокоиться, выйти замуж, начать обыденную жизнь. Разве нам, русским изгнанникам, дана эта возможность? А Россия? А все те, кто погиб за ее честь, за правду, за свободу, за русскую землю, любимую,

единственную «Святую Русь»! Я убегала ото всех, кто любил меня, искала утешения в вере, хваталась за Бога. Любовь к России оставалась открытой раной.

Однажды в Белграде «Добровольческая Армия» устраивала бал. Мы пошли большой компанией. Зал был разукрашен гирляндами, было много военных в белых гимнастерках с русскими погонами. Уходя из России по Военно-Грузинской дороге, я дала себе обещание никогда больше не танцевать. Я вспомнила это и решила незаметно уйти, чтобы не заразить других моей тоской. Заиграл вальс, ко мне неожиданно подошел незнакомый военный, молодой, с синими глазами и с сросшимися бровями. Я не успела ему отказать, как он повел меня. Теперь, когда я слышу «офицерский вальс», я всегда вспоминаю тот вечер:

«Хотя я с вами совсем не знаком
И далеко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова возле дома родного,
О, скажите же слово, сам не знаю о чем».

Мы кружились в вальсе, он смотрел мне в глаза, и я чувствовала его крепкую ведущую руку. Мои друзья делали мне знаки, чтобы я перестала танцевать с незнакомцем. «Благодарю вас, сказала я — я теперь должна танцевать с другими». «Нет, — ответил он, — сегодня вы будете танцевать только со мной». Я посмотрела в его глаза и что-то поняла. «Хорошо, — согласилась я, — я буду танцевать с вами». Тогда он начал говорить: «Я получил сегодня письмо. Знаете ли вы, что такое любовь, она жжет, как огонь, — это невыносимо. У меня была невеста Ольга, она была вся моя жизнь, она должна была приехать, но написала: «Не осуди, я полюбила другого, когда ты будешь читать эти строчки, я буду уже его женой». Теперь мне жизнь не нужна, я пришел сюда встретить в последний раз моих боевых товарищей и, вернувшись домой, покончить с собой. Вдруг я увидел вас. Я испугался, вы так страшно похожи на Ольгу. Когда я танцую с вами, я понимаю, что, если Ольга причинила мне такое горе, то вы посланы мне, чтобы спасти меня. Вот почему я просил вас танцевать только со мною». В его взгляде была смертная тоска. Как могла я не отозваться на эту боль? Я почувствовала себя «сестрою» той далекой, незнакомой мне Ольги. Конечно, думала я, каждый виноват за каждого. Я буду с ним, пока он не обещает мне, что он будет жить и будет крепким, как его сильная рука. Он обещал мне простить Ольгу, молиться и верить, что нам посылается то, что нам нужно. Он просил меня позволить прислать мне свой дневник.

На следующий день я получила его. Каждое слово в нем было написано для Ольги. Это был дневник большой любви,

и ему казалось, что если он уничтожит его, это будет самоубийством. Мне было трудно читать его. Чтобы иметь на это право, нужно было любить его. Звали его Александр Худокормов. Он стал приходить в церковь, относился ко мне нежно и благодарно, просил меня стать его женой, но понял, что я не могу быть ею не из-за другого, а потому что ухожу ото всех. Потом он уехал в Бельгию и писал мне чудные письма. Недавно я прочла об его смерти. О ней извещала жена с сыном. Я рада, что он нашел еще одну «сестру» Ольги, которая пошла с ним вместо нас.

Кроме русских в Сербии были у нас и сербские друзья: писатели, дипломаты, музыканты. Мы встречались один раз в две недели в разных сербских домах. На наши собрания приходила молодежь культурная, любящая Россию, интересующаяся литературой, религией и философией. Среди них был Васа Штиркич, высокий, немного сутуловатый, с темными и грустными глазами. Он был дипломат, немного старше всех нас. Был молчалив, но, когда он не приходил, все чувствовали его отсутствие. Я с ним подружилась. Наша дружба заключалась в том, что нам хорошо было быть вместе. Во время доклада он всегда садился недалеко от меня. Когда мы собирались в небольшие группы, он подходил к той, где была я.

Он должен был покинуть Белград. На последнем собрании он подошел ко мне и сказал печально и просто: «Господжица Сонья, вот уже много ночей я не могу заснуть от одной мысли, которая преследует меня, позвольте мне один раз, только один раз, поцеловать ваши глаза». Я была очень смущена, а в его странном, печальном взгляде была грусть и тишина. «Как, — спросила я, — вы ведь не можете здесь при всех людях?» — «Подарите мне один вечер, — ответил он, — мы встретимся в парке, я вас больше не увижу никогда, но я хочу помнить о вас всю мою жизнь». Мы встретились. Было еще светло, он шел рядом со мной, потом взял мою голову в свои руки, прикоснулся губами к моим глазам и сказал: «Уйдите, оставьте меня одного...»Я ушла. Это была наша последняя встреча. Он умер от туберкулеза где-то в Италии. Когда я вспоминаю его, я чувствую мою вину перед ним, хотя и не знаю в чем.

Гоголь пишет, что «красота женщины» есть тайна, что Бог недаром повелел иным женщинам быть красавицами. Каждая женщина, которой дана красота, знает, что она красива, но она несет это знание, как свою тайну. Трудно быть красивой. Как не возгордиться, как не наслаждаться своей властью над людьми, а рядом с этим, как не хотеть спрятать свое лицо ото всех? Иногда мне казалось, что любят меня только за мое лицо, и я говорила себе, что я хотела бы посмотреть на влюбленного юношу, если бы я стала уродлива или горбата.

Вы мне говорили: «Примите вашу красоту просто и смиренно». Теперь я так все принимаю. Теперь, когда молодость и красота ушли, и когда я больше не встречаю восторга в чужих глазах, я чувствую великое освобождение, но и грусть. Я любуюсь молодостью и красотой тех, кто пришел нам на смену, но я знаю, как может быть сложна их юная жизнь.

Я хочу закончить эту мою повесть о людях, чьи жизни пересеклись с моею, рассказом еще об одной встрече, происшедшей все в той же Сербии, но на этот раз не с сербом или русским, а с американцем. Началась она с веселой игры, но в ней открылись мне те таинственные нити, которые протянуты от одного человека к другому.

Я жила тогда уже в Париже, но мои родители остались в Сербии и на лето я поехала к ним. Меня пригласили участвовать в международном студенческом съезде взаимопомощи в Сремских Карловцах. В то время много говорилось о международной дружбе. Мы обсуждали безработицу в Америке, независимость Индии и страхование студентов. Съезд уже близился к концу. «Вы нашли здесь настоящих друзей? — спросила я одну шведку, — если нет, то давайте постараемся найти их в эти два последние дня». Эта идея очень понравилась ей. Мы сидели вместе за завтраком и стали рассматривать всех окружающих. Она выбрала швейцарца, а я американца с тонким, мужественным лицом и с карими, тяжелыми глазами. Мне казалось, что его глаза смотрели куда-то поверх всех.

В этот день сербы устроили в Белграде ужин с шампанским и танцами в загородном парке Топчидера. Нас повезли туда на специальных трамваях. Я столкнулась с моим американцем, когда он стоял у двери трамвая, разжигая свою трубку. Я хотела заговорить с ним, но не решилась и осталась на площадке трамвая. Он может быть почувствовал что-то и тоже вышел на площадку. Тогда меня охватило веселье, мне ничего не стало страшно. «Вы — американец, — сказала я, — а я русская; встречали вы когда-нибудь русских?» — «Нет, никогда». — «Знаете ли вы что-нибудь о России?» — «Ничего». — «Россия так велика, как сердце человека, который умеет любить». Он посмотрел удивленно. «Хотите быть моим другом?» Он задумался на минуту, затянулся из трубки, внимательно посмотрел на меня и сказал: «Да». — «Я думаю, — начала я, — что у нас все разное, но есть и общее. В Америке, как и в России, есть просторы. Хотя мы и потеряли родину, но я не променяю свою эмигрантскую жизнь на благополучие маленьких народов». Он слушал меня серьезно и, когда я замолчала, сказал: «Разное у нас то, что у вас все светло, а я полон тьмы и тоски. Вы наверное почувствовали это, разве вы не боитесь быть моим другом?»

Я была удивлена, я не думала, что он сразу заговорит так, как будто бы мы были уже друзьями. «Наша дружба, — про-

должала я, — будет только на один вечер, это будет «игра в дружбу», но это будет серьезная игра. Мы будем говорить друг другу только правду, или совсем не отвечать на вопросы. Согласны?» — «Я буду отвечать вам правду на все вопросы», — ответил он. «Будет еще одно правило, — прибавила я, — мы не спросим ни наших фамилий, ни адресов, вы согласны?» — «Да».

Мы подъехали к Топчидеру. Он нашел столик на двоих, под большим деревом. Так началась наша дружба. Во время ужина вдруг во всем парке потухло электричество, и в темноте ночи сквозь ветки деревьев над нами засияло звездное небо. Я подняла голову. Прямо надо мною синим светом горела моя любимая звезда Вега. «Билл», — сказала я, — когда вы найдете на небе Вегу, вспомните обо мне, хотя бы на одно мгновенье, а я буду вспоминать о вас. Вы можете обещать?» Я знала, что он не забудет обещания, раз он сказал — «да». Перед расставанием он попросил меня еще раз встретиться с ним. На следующий день, после завтрака, мы пошли гулять в поле. Мы сидели среди цветов, и я спрашивала его, как это возможно, что каждая травка, каждый цветок так различны, что у каждого из них свои формы, свои краски, свой аромат. Кто их создал? Кто дал им жизнь? Мы говорили о Боге, и Билл смотрел на мир новыми, изумленными глазами.

Наступил конец конференции. Каждый возвращался в свою страну. До Белграда мы ехали все в одном поезде. Билл попросил меня выйти с ним на площадку вагона. «Благодарю вас за самые счастливые дни моей жизни», — сказал он мне и ушел. Он даже не пожал мне руки. Так мы расстались. Он уехал с друзьями в Константинополь, а я в глубь Сербии, на маленький курорт, где работал врачом мой отец.

Прошло два месяца, счастливые и беззаботные. Смотря на небо, я отыскивала «нашу» Вегу и вспоминала о Билле. Поздней осенью, накануне возвращения в Париж, мы с братом решили навестить нашу старую тетушку. Она жила недалеко от нас, но сообщение с ее маленьким городком было неудобное. В 12 часов наш поезд довез нас до узловой станции, где нам предстояло ждать несколько часов другого узкоколейного поездочка. Была теплая, звездная ночь. Я ходила вдоль линии железной дороги, думая о своей жизни. Иногда я находила Вегу и вспоминала о Билле. Было темно. Вдали на станции тускло горела лампочка, раздавались голоса. Недалеко от меня, вдоль рельс, тоже гулял кто-то. Я не могла разглядеть его. Наконец раздался шум приближающегося поезда. На станции зажглись огни. Человек, гулявший рядом со мною, быстро направился к платформе. Меня поразило что-то знакомое в его фигуре. Поезд уже подходил к станции. Группа молодых людей, громко переговариваясь и смеясь, бросилась к нему. Я кинулась к ним и столкнулась с Биллом. «Билл, как вы попали сюда ночью? Значит это вы ходили со мною рядом

вдоль рельс?» «Мы опоздали на поезд, — спешно начал он объяснять мне, — мы должны были пересаживаться здесь. А вы, как вы попали сюда?» У нас не было времени рассказать все друг другу, его поезд остановился лишь на минуту. Друзья Билла торопили его. Он вскочил на площадку и смотрел на меня таким знакомым, зовущим и изумленным взглядом. Я тоже не могла оторвать моих глаз от него. Вдруг он спрыгнул с поезда, кинулся ко мне, положил мне руки на плечи и проговорил: «Соня, я обещал вам говорить правду, я не верю, что это вы. Я смотрел на Вегу, я так напряженно думал о вас. Вы только моя мечта о вас!» Поезд уже тронулся, он вскочил на ходу.

Много лет спустя я еще раз увидела его в Париже. Я ехала на автобусе, мы пересекали Конкорд. Он шел один, я не могла остановить автобуса. Я потеряла его из вида, и на этот раз уже навсегда.

Помните, вы просили меня описать вам каждого человека, который вошел в мою жизнь. Теперь я знаю, что «входят в жизнь» только те люди, которые хотя бы на одно мгновенье любили друг друга. В жизни все необычайно, и также неповторима каждая наша встреча.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР

(Как создаются легенды)

С. М. Зернова

8-го июня 1922-то года Сербский народ праздновал свадьбу своего короля. Весь город был разукрашен флагами, разноцветными лентами, фонариками. Он казался совсем сказочным. Всюду иллюминации, яркие национальные костюмы, оркестры, танцы, пение. Все двигалось, радовалось, ликовало.

Во дворце был бал. Один за другим подъезжали нарядные автомобили с иностранными представителями, военными, дипломатами, все в мундирах, дамы в бальных платьях, беспечные, богатые, счастливые.

Мы тоже с утра вышли на улицу. Мы тоже переживали и радовались. Но, наряду с радостью, у меня на сердце была все время щемящая боль. В те годы мы не могли еще оторваться от России, Добровольческой Армии, гражданской войны и потери родины — все это было как открытая рана. Когда я встречала на улицах Белграда марширующих сербских солдат с оркестрами и пением — я стояла и плакала. Я вспоминала тех русских мальчиков, которые с пением и музыкой шли умирать за честь России, за верность союзникам. Их все забыли, как забыли Россию. На этом празднике только русским не было места. Такова была наша горькая судьба и я особенно чувствовала ее в этот праздничный день.

Но нам казалось, что Король Александр (1888-1934) не забыл Россию, он получил там образование, он прекрасно говорил по-русски, он позвал нас в свою страну. Часть Добровольческой Армии была послана им на пограничную стражу, те, кто хотел учиться, получали стипендии и могли поступить в университет. Русские офицеры продолжали носить свою форму и чувствовали себя представителями русской армии. Все это сделал король Александр и мы любили его и окружали его имя ореолом. Он был благороден и добр. С какой радостью русские передавали друг другу рассказ о том, как он проезжая однажды на автомобиле по парку и, увидав рус-

ского офицера на костылях, остановил автомобиль и привез его к себе во дворец завтракать.

«Не все ли равно», — говорила я себе, «что мы теперь бедны, бесправны и забыты, что у нас нет родины и законного места на земле, разве не должны мы в этот день проявить нашу благодарность и любовь к королю»?

Каждая сербская провинция приносила королю свои свадебные подарки. Чего только там не было, — и старинные вышивки, и посуда, и ковры, и бараны, и поросята . . . и король все принимал с благодарностью и вниманием.

Только русские не подарили ему ничего. Почему никто не подумал об этом? Может быть теперь уже поздно? Завтра утром свадьба. Если дарить, то надо дарить сегодня, надо сразу придумать, сразу отнести. Но что отнести? Это должно быть что-нибудь прекрасное, достойное России и нашей любви к королю . . .

И вдруг я вспомнила. У меня был браслет. Мне подарили его в день моего шестнадцатилетия, еще в Москве, когда наша жизнь была благополучной и счастливой. Это был тонкий платиновый браслет, весь из бриллиантов и сапфиров. Он был очень красив. Это был достойный подарок королю от русской молодежи. Мы с сестрой решили, что это будет наша тайна. Мы сказали об этом только Машеньке Львовой и Ирише Степановой. Мы были четыре заговорщицы.

На оставшиеся от студенческой стипендии деньги мы купили красивый конверт и лист бумаги. Потом кинулись домой и сочинили письмо. Мы писали королю, что в эти радостные дни сердца русской молодежи полны преданности и любви к нему, что мы никогда не забудем все то, что он сделал для русских и мы молимся Богу, прося сохранить его страну и послать ему счастье. Мы просили его принять этот браслет, как дар от русской молодежи.

Мы конечно не подписали наших имен, не дали своего адреса, положили браслет и письмо в конверт и в 12 часов ночи, веселые и счастливые, смело двинулись к королевскому дворцу.

Мое сердце было переполнено ликованием. Мне казалось, что мы больше не бесправные, что мы разделяем радость всего сербского народа, что нам тоже дано право веселиться и ликовать . . .

Мы заранее выработали план: моя сестра и я должны были пробраться к дворцу, вызвать дежурного офицера и передать ему наш конверт. Но, едва мы приблизились к дворцу, нас грубо оттолкнул какой-то человек, вероятно полицейский инспектор. Мы попробовали объяснить ему нашу цель, прося взять конверт или вызвать дежурного офицера, — но он даже выслушать нас не хотел. С другой стороны дворца повторилось то же самое. До поздней ночи мы стояли на улице,

пытаясь найти кого-нибудь, кто согласился бы передать королю наш подарок, но никто не хотел помочь нам. Усталые и угнетенные мы вернулись домой.

Но мы не сдались. Мы знали адрес генерала Хаджича, адъютанта короля и решили на следующий день, рано утром, отнести наш конверт ему. Мы почти не спали эту ночь и в 6 часов утра были уже около дома генерала.

Было ясное утро. Мне казалось, что теперь все будет хорошо, что адъютант короля не может нас не понять, особенно если он посмотрит, какую красоту мы дарим королю.

Мы долго стояли у ворот, не решаясь войти; наконец, набравшись смелости, позвонили у подъезда. Нам открыл молодой солдат, вероятно денщик генерала. Он был первый, кто с интересом выслушал нас и охотно взялся передать наш конверт генералу. Но через несколько мгновений он вернулся, огорченный и смущенный, обьяснив, что генерал Хаджич одевается, что он очень занят, ему не до нас, и он отказался принять конверт. Мы были в полном отчаянии.

Мы видели, что наш солдат очень хотел нам помочь, но сам не знал, что придумать. Мы все не уходили. Тогда он сказал, что, когда генерал оденется, то он выйдет через другую дверь, на маленькую улицу, где сядет в автомобиль. Мы можем подождать там и попытаться убедить его взять подарок.

Это была наша последняя надежда. Мы отправились к другому выходу и стали ждать. Время тянулось очень медленно. Мы даже не пытались утешить или подбодрить друг друга, так хотелось все бросить и уйти с тоской в сердце, с такой знакомой, привычной тоской...

Наконец, дверь отворилась и мы увидели генерала Хаджича, быстрыми шагами направляющегося к автомобилю.

Я кинулась к нему с моим конвертом в руках.

«Пожалуйста, — быстро проговорила я, — пожалуйста, передайте королю, это подарок от русской молодежи».

Он весь побагровел от гнева. «Как, — крикнул он, — я приказал вам уйти, а вы все еще здесь?» И он грубо оттолкнул меня.

Мы стояли молча, растерянные и несчастные, и смотрели на него.Тогда он вдруг выхватил у меня конверт, сунул его в карман и уехал.

Мы пошли домой. Там нас с нетерпением ждали Машенька и Ириша. У меня было чувство, что меня ударили по лицу, оскорбили и унизили. Увидав нас, они все поняли. Машенька только тихо спросила: «Отдали?» «Да, отдали», сказала я.

Мы больше никогда друг с другом не говорили и не вспоминали о платиновом браслете.

Прошло почти 2 года. Мы уезжали во Францию. Опять

начиналась для нас новая жизнь. Было и грустно и радостно. Грустно расставаться с дорогой Сербией, но новое и неизвестное привлекало и звало.

Все наши друзья собрались на вокзал провожать нас. В последнюю минуту прибежала Наташа Клепинина возбужденная и веселая и рассказала об удивительном случае, только что происшедшем с нею. Она была у зубного врача... тут она описала нам во всех подробностях как болели у нее зубы и какой это был замечательный врач, и не просто зубной врач, а родственник генерала Хаджича, адъютанта короля... И когда она сидела в кресле и он пломбировал ей зуб, вдруг открылась дверь и сам генерал Хаджич вошел в кабинет, потому что он узнал, что у доктора Живковича сидит русская пациентка, а ему как раз нужна была помощь кого-нибудь из русских.

Оказалось, что несколько дней назад был день рождения короля. Генерал Хаджич ехал к нему на прием и, одевая свой парадный мундир, случайно в одном из карманов нашел конверт, адресованный королю. Когда король его открыл, там оказался платиновый браслет, усыпанный сапфирами и бриллиантами, и письмо от русской молодежи, которая посылала этот браслет королю ко дню его свадьбы.

Тогда только генерал Хаджич вспомнил, что это письмо принесли ему две русские девушки. Он не знал, кто они были, запомнились ему лишь их синие глаза. Король был тронут подарком и приказал генералу немедленно найти этих девушек. Генерал просил Наташу помочь ему в этих поисках.

Я слушала ее и с нетерпением ждала минуты, когда отойдет наш поезд, боясь, что Наташа сможет как-нибудь догадаться, задавая мне новые вопросы.

Поезд двинулся и тайна девушек с синими глазами осталась неразгаданной.

Прошел еще год. Мы жили в Париже, но мои родители оставались в Сербии. На лето я поехала к ним. По дороге я остановилась на несколько дней в Белграде, чтобы повидать старых друзей. В один из вечеров, я была приглашена к вдове генерала Алексеева, ее дочь Верун Борель была моим большим другом. Был веселый обед, много гостей, среди них и сербские офицеры. Вдруг один из них обратился к нам с вопросом: знаем ли мы историю о платиновом браслете? Никто этой истории не знал, и мы просили его рассказать ее. Все слушали внимательно, но я, вероятно, — внимательнее всех.

«Это случилось в день свадьбы нашего короля, — торжественно начал рассказывать офицер, — вечером был бал. Король только что кончил танцевать и сидел рядом с королевой. Музыка еще играла и вокруг кружились пары. Вдруг раскрывается дверь и входит молодая девушка изумительной красоты. Она прямо направляется к королю, опускается на

одно колено и передает ему, на черной бархатной подушке, платиновый браслет, усыпанный сапфирами и бриллиантами: «Это дар от русской молодежи» — говорит она.

Пока король и королева рассматривали этот прекрасный дар, девушка пропала. Было сделано все, чтобы ее найти, но так никогда и не удалось узнать, откуда она появилась и куда исчезла . . . »

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МОНАХИНИ ХОПОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Мария Зернова

Я была первой из среды русской молодежи в Белграде, открывшей путь в Хоповский монастырь. В нем нашли свое временное пристанище инокини Леснянской обители, покинувшие Холмщину во время войны и после долгих скитаний попавшие в Сербию. Монахини возглавлялись своими игуменьями — Ниной и схимонахиней Екатериной, основательницей Лесны.

Я отправилась в путь одна, поздней осенью 1922 года. Фрушка Гора, на которой находился монастырь, была в 70 километрах от Белграда. Поезд повез меня до станции Рума, дальше мне предстояло идти пешком. Утро было морозное, деревья были разукрашены пушистым инеем. Я быстро зашагала к заманчивой цели. Сперва пустынная дорога шла прямо по плоской придунайской равнине, но после маленького городка Ирига, она стала обвивать гору; густой лес обступил меня со всех сторон. Вскоре через просвет голых ветвей я увидала зеленые купола монастыря, построенного в барочном стиле, так как Фрушка Гора была до 1918 года частью Австрийской империи.

Я шла с молитвой, не зная, ни как меня встретят монахини, ни того, что я смогу получить от встречи с ними. Первой меня заметила послушница Домна, ставшая впоследствии моим близким другом. Она так обрадовалась мне, что я сразу поняла, что буду желанной гостьей. Она отвела меня в келью Ольги Владимировны Обуховой, почитательницы и верной спутницы епископа Вениамина, жившей тогда гостьей при монастыре. В ее келье, очень жарко натопленной, я немного отдохнула, а потом была представлена игуменье Нине, которая благословила меня провести несколько дней в Хопове. Так началось мое знакомство с этой замечательной общиной.

В мой первый приезд я близко встретилась с матушкой Екатериной, с о. Алексеем Нелюбовым, духовником монастыря, и со многими инокинями. Я прикоснулась также к

чудотворному образу Леснянской Божьей Матери, углубившей и освятившей все мною пережитое за эти памятные дни.

Игуменье Екатерине (урожденной графине Ефимовской — 27 авг. 1850-10 нояб. 1925) было уже за 70 лет когда я познакомилась с ней. Она давно передала управление обителью своей преемнице Нине. Матушка Екатерина исключительно тепло встретила меня, и я имела с ней ряд незабываемых бесед. Она сохранила живость ума и память и охотно делилась со мной своим опытом и заветными мыслями. Для нее особенно дорого было то, что я училась богословию, она всегда настаивала на важности высшего богословского образования для русской женщины.

Отец матушки Екатерины, граф Борис Ефимовский, и мать, урожденная княжна Хилкова, были людьми, преданными Церкви. В их семье свято хранились обряды и традиции. Она же с ранних лет стала увлекаться русской литературой. Когда ей было всего 19 лет, она сдала экзамены при Московском Университете и начала писать. Ее рассказы печатались в «Русском Вестнике» и других журналах. На нее обратили внимание Тургенев (1818-1883) и другие литераторы. Впоследствии она имела переписку с Достоевским (1821-1881). Ближе всего по духу ей были славянофилы, она хорошо знала семьи Киреевских и Аксаковых. Большое влияние на нее оказал С. А. Рачинский (1836-1902), основатель православной сельской школы в своем имении Ташеве, описавший ее в своих талантливых очерках.[1]

Но ни литература, ни светская жизнь не удовлетворяли молодую графиню. Она хотела всецело отдаться служению Церкви и людям. Мысль о монашестве все чаще стала приходить ей. Но ее желание не встретило ни в ком сочувствия, ее семья и знакомые считали это стремление необдуманным порывом неопытной юности, не сознающей всей тяжести монашеского подвига. Духовенство не доверяло серьезности ее намерения. Один архиерей, услышав о нем, заявил: «От бального платья к клобуку — пользы не будет никому». Даже ее друзья-славянофилы отговаривали ее от этого шага, считая, что она, оставаясь в миру, сможет сделать больше для Церкви и народного просвещения.

Зов к монашеству звучал все сильнее, молодая девушка решила искать указаний у знаменитого оптинского старца, Амвросия (Гренков 1812-1891). О. Амвросий, из-за своей болезни, лежа принимал посетителей, но, увидав незнакомую девицу, встал и возложил на нее свою мантию, сказав: «перед тобою большой путь, будешь игуменьей». Эти пророческие слова решили ее судьбу. В 1885 году ей было поручено строительство Свято-Богородицкой общины в Лесне. Сначала у нее

---

[1] См. С. А. Рачинский и его школа. Сборник статей. Жорданвилль. 1956.

было 5 сестер и две девочки-сиротки. В 1889 она приняла постриг и община была преобразована в монастырь. Накануне войны 1914 года в Лесне было 400 монахинь, 100 служащих и в ней воспитывалось 700 детей. Община имела 6 церквей, больницу и другие многочисленные здания. На Троицу, на монастырский праздник стекалось до 30 000 паломников. Приезжали 40 священников, чтобы исповедовать и причащать богомольцев.

Мать Екатерина говорила мне, что она приняла монашество не для того, чтобы забыть о мире, но для того, чтобы преображать мир. Она была основоположницей деятельного женского монашества, она верила, что наступает время, когда русская женщина должна будет взять на себя защиту Церкви и всю тяжесть борьбы за сохранение православной культуры. Она делом и словом боролась за восстановление древнего ордена диаконисс и ее усилия почти увенчались успехом. Только война помешала осуществлению этого, столь нужного, плана.

Она сама увлекалась богословием и сумела привлечь в Лесну несколько образованных девушек. Она была убеждена, что многие русские женщины могут найти в богословии творческий путь к богопознанию. Сама она искала новых решений трудных религиозных вопросов, не удовлетворяясь трафаретными ответами. Так, например, она не могла примириться с возможностью вечных мук, находя их несовместимыми с верой в любовь и милосердие Бога. Ее аскетические труды не угасили в ней интереса к литературе. Одним из ее любимых произведений был рассказ Куприна (1870-1938) «Суламифь».

Делилась она со мною и своими наблюдениями над своими монахинями. По ее словам русская женщина жаждет подвига, она готова ночи простаивать на молитве, пост, самый суровый, не страшит ее, но труднее всего для нее — послушание. Монахини на Западе отказываются от своей воли, но русская инокиня редко способна на это. Их привязанность к миру имеет корни в материнстве. Когда в Лесне стали принимать сирот на воспитание, то началось недовольство. Монахини говорили: «нашей наибольшей жертвой при постриге был отказ иметь своих детей, а теперь мы должны нянчить чужих сирот, они возвращают нас в мир.»

Матушка Екатерина выше всего ставила любовь. Сама она вела строгую подвижническую жизнь. При прощании она подарила мне несколько своих сочинений. «Ответ на письмо Свентицкому самому себе». Сергиев Посад. 1907. «Диакониссы первых веков христианства». Сергиев Посад. 1909. «Христианство нашей школы и христианство Слова Божьего». С. П. Б 1910.[2]

---

[2] См. Н. К. (Клепинин) «Памяти игуменьи Екатерины» Париж. 1926. В. Маевский. «Лесна». Сан. Паоло. 1962.

Кроме вдохновительных бесед с мудрой старицей, я много говорила с монахинями. Меня особенно интересовал вопрос, что привело их в монастырь. Большинство охотно отвечало на мои расспросы. Больше всего я сблизилась с послушницей Домной, встретившей меня на пороге монастыря.

Послушницы Домна и Мария

Матушка Домна была уже немолодой женщиной, но, как и многие инокини в Лесне, считалась послушницей. Постриг большинство монахинь принимали в конце жизни. Она рассказала мне, что, когда ей было 12 лет, она увидала во сне огромный крест, закрывавший все небо и услышала голос Христа, говоривший: «Вы опять распинаете меня своими грехами.» После этого ее потянуло начать жизнь странницы. Родители сначала не хотели отпускать ее, но, видя ее непреклонность, согласились отдать ее в монастырь. Она ушла из дома в поисках обители, которая была бы ей по сердцу и нашла ее в Лесне, где и осталась навсегда.

Другая монахиня, Мария, поразившая меня своей хрупкой красотой, рассказала мне, что в молодости она была привлекательна, весела и многие хотели жениться на ней, но она всем отказывала. «Хоть и была я веселая, но без Христа мне все было скучно», говорила она. «Теперь я потеряла здоровье и жду смерти, тогда я по-настоящему встречусь с Ним.»

Мать Милентина

Особое место в моих отношениях с Хоповскими инокинями занимала моя дружба с матерью Милентиною. Она была купеческого происхождения и получила некоторое образование. Ее очень любила мать Екатерина, так как она была одной из первых, поступивших в Лесну. Когда я встретила ее, ей было уже много лет. Ее маленькое лицо, покрытое морщинами, было похоже на печеное яблоко. На нем выделялись ярко-голубые глаза, как две светло-синие пуговицы. Говоря со мною, она часто зажмуривала их и тогда из них текли слезы. У нее был дар ясновидения, который она прикрывала юродством. Она подходила иногда к молящимся во время службы и быстро говорила им на ухо несколько отрывистых слов. Эти слова никогда не были случайны, они всегда отвечали на внутреннее вопрошание богомольца.

Такой дар ясновидения я испытала на собственном опыте. Однажды я приехала в Хопово очень расстроенная. Когда я садилась в поезд в Белграде, у меня украли кошелек. В нем были все мои деньги, мой билет, и, что было особенно огорчительно, там же был ключ от дома наших знакомых и важное письмо моего отца к одному доктору, которое я обещала сразу доставить по возвращении в Белград. Я все же

решила продолжать мой путь, так как кассирша, поверив мне на слово, дала мне новый билет, за который я обещала заплатить по возвращении. Добравшись до Хопова, я сразу пошла в церковь, там шла служба. Я была раздвоена в моих мыслях, должна ли я была просить Бога помочь мне, или же не следовало молиться о том, что все же было «пустяком». Когда я произнесла мысленно это слово, мать Милентина быстро подошла ко мне и шепнула мне на ухо: «У Бога нет пустяков.» Я была поражена, — она прочла мои мысли и ответила на мой недоуменный вопрос.

Мое приключение кончилось самым неожиданным образом. В Белграде я пошла к доктору, чтобы объяснить ему потерю письма. Увидя меня в приемной, он сразу вызвал меня в своей кабинет. Он был взволнован и спросил, не могу ли я разъяснить ему непонятное происшествие? Тут он показал мне только что полученное им письмо. Оно было от моего «доброго вора». В нем он благодарил за деньги и возвращал кошелек с билетом, ключом и письмом. Я верю, что я получила их обратно молитвами Матушки Милентины, которой я рассказала после службы, что случилось со мной.

В другой раз мать Милентина подошла ко мне во время службы и начала шептать: «Молитесь о Федоре Михайловиче Достоевском, о спасении его души, он все предвидел, все описал. Книга у него есть, только такое у нее имя, что не приведи Господи назвать в церкви».

При игуменстве матери Екатерины Милентина прислуживала много лет в алтаре и очень ревностно относилась к своим обязанностям. Всегда приходила первая и содержала все в образцовом порядке. После смерти игуменьи Екатерины, мать Нина назначила Милентину на другое послушание — пасти гусей. Милентина приняла это, как наказание за гордость. Она попросила перевести ее в подвал и выбрала себе темную келью без окон. Она смотрела на свое унижение, как на призыв к усиленной молитве. Гуси стали ее друзьями и даже наставниками. Она выпускала их до восхода солнца и проводила с ними весь день, обращаясь с ними, как с разумной божьей тварью. Она здоровалась с ними по утрам, а вечером просила у них прощение и крестила их на ночь. «Гуси слушаются меня, они открывают мне тайны тварей» — говорила она, — «а ведь на нас лежит вина перед всеми ними».

Когда я выходила замуж, мать Милентина прислала мне в подарок стаканчик и несколько гусиных перьев. В письме она объяснила мне, что стаканчик — это чаша полноты, а перьями надо выметать все зло из дома. Она умерла в 1934 году.

Странница Лидия

Я часто слышала в Хопове рассказы о страннице Лидии. Она прожила там около года и покинула монастырь незадолго до моего приезда туда. Она произвела глубокое впечатление на монахинь, многие считали ее святой и поражались ее подвигам: зимой и летом она ходила босиком, носила легкое ситцевое платье, питалась водою и травами. Зимой Хоповская церковь совсем промерзала и монахини, хоть и привыкшие к холоду, все же одевали валенки и закутывались в теплые платки, поверх зимних ряс и, несмотря на это, с трудом выдерживали холод храма. Странница Лидия простаивала длинные службы в своем летнем платье, стоя на каменном полу без чулок, в легких туфлях. Она, очевидно, не чувствовала холода. Монахини тоже рассказывали, что она проводила ночи напролет в молитве, обычно уходя для этого в лес. Ее видели там несколько раз и были напуганы необычайными явлениями, сопровождавшими эти ночные бдения. Они слышали странные звуки, а иногда холодный вихрь подымался вокруг нее.

О. Нелюбов, опытный духовник, подтвердил мне, что эти рассказы об исключительном аскетизме Лидии не преувеличены. Он не считал себя способным быть ее духовным руководителем и потому благословил ее решение вернуться в Россию, чтобы найти там нужного ей наставника. Лидия решила идти пешком через Румынию. Монахини не знали, удалось ли ей перейти советскую границу.

Меня очень заинтересовали эти рассказы о необычайной страннице. Слушая их, я не предполагала, что мне не только придется встретиться с ней, но даже принять участие в ее странной судьбе.

Года через два после моего первого посещения Хопова я увидала в русской церкви в Белграде монахиню, поразившую меня своим лицом. У нее были удивительные синие глаза, свет исходил из них. Вот такое лицо должно было бы быть у странницы Лидии, подумала я. По окончании службы я подошла к ней и с дерзновением юности спросила ее: «Кто вы?» Она не удивилась моему вопросу и спокойно ответила: «Меня зовут мать Диодора». Услышав это незнакомое мне имя, я прибавила: «А я думала, что вы странница Лидия». Она, видимо, совсем не ожидала этого и с живостью спросила меня: «А вы откуда обо мне знаете? Да, я была Лидией». Мы тут же в церковной ограде вступили в самую оживленную беседу. Мать Диодора сказала мне, что она только сегодня утром приехала из Румынии, чтобы попросить у сербского патриарха монастырь для своих сестер. Она не знала, где остановиться и я предложила ей поселиться у нас в «Ковчеге» на Сеньяке. Денег у нее не было и она с радостью согласилась. Она прожила в нашей хибарке несколько дней и у нас

были с ней удивительные разговоры, длившиеся далеко за полночь. Я узнала многое о ней.

Родилась она в Киеве, в семье врача, фамилия ее, насколько помню, была Дохтурова. В 12 лет, она стала задумываться о Боге и молиться, чтобы Он открыл ей Себя. Сперва она молилась перед отходом ко сну, но постепенно ее молитвы брали все большее время. Наконец, она решила уходить для молитвы в сад и проводить там всю ночь. Когда она перестала чувствовать холод и усталось, началось ее странничество. Родители не могли остановить ее, но вначале она возвращалась зимой в Киев и продолжала учиться. Ее любимым предметом была русская литература. Характерно, что она считала Маяковского (1893-1930) и футуристов более духовными, чем Блока (1880-1921) и символистов, так как Маяковский, по ее мнению, обнажил человека и коснулся его духа. Желание всецело отдать себя молитве овладело ею, но оставалось еще одно препятствие — ее привязанность к искусству. Когда ей было 18 лет, она пошла пешком в Италию. По дороге у нее была необычайная встреча. На юге Франции, в горах, ее остановила женщина, вышедшая из своего домика и сказала: «Я вас все время ждала. Бог открыл мне, чтобы я приняла вас у себя». Это была Серафима Коноплева, жившая отшельницей недалеко от Канн. Мать Диодора прибавила: «Мы полюбили друг друга как свои души, беседуя о Боге и молитве».

Попав в Италию, Лидия ходила из одного города в другой, чтобы «проститься с красотой». Тут она поняла, что искусство потеряло власть над нею. Создания Возрождения не могли больше удержать ее в миру, они сделались для нее игрушками для взрослых. Она поехала в Бари и там, при мощах св. Николая, молилась, ища указания, куда ей дальше идти. Незнакомый человек подошел к ней и сказал: «Иди в Черногорию, там живет святой, который будет твоим наставником». Она так и сделала и, найдя пещеру, поселилась в ней, где пребывала в молчании и молитве. Сначала она питалась лишь травами, но когда пастухи заметили ее, они начали приносить ей кукурузный хлеб. Там она встретила людей, которые помогли ей духовно, но когда было исчерпано все, что они могли ей дать, она, наконец, нашла того святого, о котором ей было сказано в Бари. Он посоветовал ей идти в Хопово.

Когда же она решила возвращаться в Россию, то остановилась в одном из женских монастырей в Бессарабии. Там жила юродивая по имени Диодора. Она не мылась, не причесывалась, говорила несуразные вещи, все считали ее выжившей из ума и презирали ее. Когда Лидия собиралась переходить границу, эта жалкая юродивая посвятила ее в свою тайну. Она сказала: «Бог открыл мне, что мне осталось мало жить. Мое юродство — принятая личина, которая покрывает

подвиг постоянной молитвы о России и за весь мир...» Разговоры с юродивой были для Лидии как бы новым посвящением в глубины духовной жизни.

Вскоре мать Диодору нашли умирающей на берегу реки. Когда ее принесли в келию, она была окружена светом. Глаза монахинь раскрылись, они поняли, что гнали и презирали святую. Диодора умерла, причастившись Святых Таин, благодатная и осиянная своей полной отданностью Богу.

Потрясенный священник постриг Лидию и дал ей имя Диодоры. В монастыре произошел раскол, часть монахинь захотели выбрать игуменьей вновь постриженную странницу, другие противились этому. Не желая углублять споры, мать Диодора решила вернуться в Сербию с частью сестер. Она надеялась получить там монастырь.

Во время этих ночных разговоров мать Диодора сказала мне: «Когда вы будете на юге Франции непременно найдите мою возлюбленную душу Серафиму Коноплеву и передайте ей мой привет». Я была очень удивлена этим поручением. Мы жили в далекой Сербии, в большой бедности и я никак не думала, что попаду на юг Франции, которая казалась нам тогда недоступным миром. Но несмотря на мои возражения, мать Диодора опять повторила: «Непременно встретьтесь с Серафимой». Так и случилось, но об этом я расскажу в другой раз.[3]

---

[3] См. часть вторая, глава одиннадцатая.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРЬ МАТЕРИ ДИОДОРЫ

Мария Зернова

После моей встречи в Белграде с матерью Диодорой, бывшей странницей Лидией, меня потянуло посетить ее обитель. Это было нелегко осуществить. Сербский патриарх дал в ее распоряжение маленький монастырь, который был покинут после войны. Он был расположен на самой болгарской границе в окрестностях Цариброда и до него было и трудно и даже опасно добираться. На границе нередко происходили столкновения.

Однако я не оставляла этой мысли и нашла даже себе попутчицу в лице Лиды Шатаевой, молодой вдовы, члена нашего белградского братства Св. Серафима Саровского. Она, как и я, непременно хотела увидать мать Диодору и ее монастырь. Мы списались и назначили день нашего паломничества. Лето 1925 года я проводила вместе с родителями в Враньской Бане; Лида жила в Белграде. Мы условились встретиться на станции в Цариброде, а оттуда идти пешком в монастырь. Накануне отъезда родители рассказали о нашем плане о. Косте, сербскому священнику, у которого мы снимали дачу. Он пришел в ужас и стал настаивать, чтобы мы отказались от поездки, утверждая, что нас легко могут убить на границе и что даже нашего следа нельзя будет отыскать, «Вообще — говорил он, — это не слыханное дело — двум девицам идти одним через лесные дебри». Мои родители сильно взволновались, стали расспрашивать других сербов и те единодушно подтвердили опасения о. Косты. Несмотря на уговоры родителей, я не хотела отказаться от моего намерения, и настаивала, что мне непременно нужно было увидать мать Диодору. Кроме того, уже было поздно предупредить Лиду об отмене поездки. Мне удалось, после горячих споров, успокоить родителей и добиться их согласия на паломничество, так как мой младший брат решил сопровождать нас.

На следующее утро, очень рано, мы двинулись в путь; около 3 часов мы были в Цариброде, где нас уже поджидала

Лида. Я думала, что мы без труда узнаем, как дойти до обители, но, к моему огорчению, мы получали только неопределенные указания, как найти монастырь. Все очень сочувствовали нашему желанию посетить монахинь, но никто не знал, где точно находится их община и сколько до нее часов пути. Местные жители еще не успели побывать там, хотя слухи о новой обители уже дошли до них. Монастырь был далеко в горах и, так как долгое время в нем никто не жил, то и дорога туда заросла лесом, а тропинки, ведущие к нему, были знакомы лишь пастухам.

Мы не смутились этими непредвиденными трудностями и бодро пустились в путь, узнав только общее направление, которого нам советовали держаться. Лида и я не сомневались, что мы с Божьей помощью найдем монастырь, но мой брат был менее оптимистичен. Сперва мы шли по хорошей дороге, после двух часов быстрой ходьбы мы свернули на горную тропинку, которая повела нас извилистыми зигзагами, то спускаясь в долины, то подымаясь на гребни гор. Вокруг был дремучий, девственный бор. Мы не встретили ни одной души. Тропинка стала заглухать и иногда пропадала совсем. Стало темнеть. Лида бодро распевала церковные песнопения, мы продолжали упорно идти вперед, но не видели никаких признаков приближения к монастырю. Мой брат начал волноваться, провести ночь в лесу было рисковано, вокруг могли быть дикие звери; кроме того, мы могли по ошибке перейти болгарскую границу, а это грозило арестом и многими неприятностями. Он начал настаивать на возвращении в Цариброд. Лида и я и слышать об этом не хотели, мы верили, что мы найдем обитель.

Зажглись яркие звезды, стало совсем темно, мы все шли и шли и вдруг к нашей величайшей радости до нас донесся в ночной тишине отдаленный звон колокола. С удвоенной энергией мы ускорили шаги, но монастырь продолжал скрываться от нас в дебрях леса. Даже звон колокола то приближался, а то замирал. Была уже полночь, мы сильно устали, но уверенность, что мы уже недалеко от монастыря, помогала преодолевать утомление. Наконец, взобравшись на новую вершину, мы увидали где-то внизу огоньки свечей и услышали пение. Монахини служили полунощницу на дворе, стоя со свечами вокруг своей церкви.

Лида торжествовала, она верила в помощь Святителя Николая и — как она нам потом сказала — она всю дорогу просила его довести нас до монастыря. Спустившись, мы присоединились к монахиням, никто из них не выразил удивления при нашем столь неожиданном появлении в такой неурочный час. Мы попали на незабываемую службу, она длилась до двух часов утра. У матери Диодоры было тогда 30 монахинь, все они были русские из Бессарабии. Пели они прекрасно,

сильными голосами, особенно поразило меня мое любимое песнопение: «Се жених грядет во полунощи и блажен раб его же обрящет бдяще, недостоин же паки его же обрящет унывающе.» Это нощное бдение в лесу, под звездным покровом, потрясло нас, особенно мой брат был восхищен красотой этой службы. Когда она кончилась нам отвели комнаты для ночлега и мы заснули крепким, счастливым сном молодости.

На следующий день мой брат решил возвращаться домой, чтобы успокоить родителй, а мы еще остались на целую неделю в этом чудесном монастыре. Мать Диодора была строгой игуменьей, сама она питалась только отваром трав. Все утро она проводила в молчании, монахини соблюдали трудный Афонский устав. Жили они в большой скудости, ели одни овощи, хотя у них и были козы.

Поразило меня лицо игуменьи: молодое, свежее, с нежными красками; монахини тоже были главным образом молодые, некоторые из них — настоящие красавицы. Они были совсем отрезаны от мира. Только по праздникам к ним иногда приходили окрестные «селяки», сербы и болгары, совершенно разные не только по обличью и по одежде, но и по манере молиться. Сербы ставили свои свечи и недолго оставались в церкви, болгары были меньше ростом, чернее и казались более благочестивыми, но и более примитивными. Болгарки, опускаясь на колени, садились на свои ноги, часто крестились и вслух говорили свои молитвы.

Мы всецело разделяли жизнь монастыря, вставали ночью на полунощницу, не пропускали ни одной службы. Во время трапезной соблюдалось молчание, очередная монахиня читала певуче и красиво жития святых. Тут у нас случилось искушение. Среди этого благочестивого молчания на нас стал нападать мучительный смех и это повторялось за каждой едой. Мы делали все возможное, чтобы прекратить его, но наши усилия не вели ни к чему, до самого конца мы остались беспомощными жертвами этого нежеланного смеха.

Сестра Евгения

Монахини любили беседовать с нами. Особенно запомнилась мне одна из них, сестра Евгения. Ей было лет 20, она была очень красива. Ее небольшое тонкое лицо было освещено чудесными голубыми глазами. Она пасла коз и, по моей просьбе, охотно рассказала о себе. Ее повесть произвела на меня столь глубокое впечатление, что я запомнила многие ее выражения. Начала она так: «Зовут меня Евгения, я не достойна ни неба, ни земли, так как я великая грешница, простите меня». При этих словах она низко поклонилась мне. Это введение так тронуло меня, что и мне захотелось поклониться ей до земли и просить ее простить меня.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что она была родом из Одессы, ее мать до революции служила прислугой, отец и брат стали большевиками и отреклись от Бога. Мать ее сильно горевала и Евгения решила поступить в монастырь, чтобы замаливать грехи отступников — отца и брата. Она была лучшей ученицей в школе и получила в награду сочинения Пушкина. Рассказав это, она меня спросила: «А вы читали сочинения этого писателя? Я очень полюбила его!» Тут она прибавила: «Я даже знаю много его стихов наизусть, а одно есть у меня особенно любимое, хотите я вам прочту его?» Я, конечно, попросила ее это сделать и с нетерпением ждала узнать, какое же стихотворение будет выбрано красавицей монахиней? К моему великому изумлению сестра Евгения стала читать с большим чувством: «Был на свете рыцарь бедный». Это было любимое стихотворение Достоевского, вокруг которого он построил трагическую, раздвоенную любовь князя Мышкина к Аглае и к Настасье Филипповне. Я была потрясена до слез всей необычайностью этой сцены: монастырь, затерянный в дебрях Балканских гор, русская инокиня, читающая мне стихи Пушкина, в которых звучала поэзия средневекового рыцарства с его культом «прекрасной дамы», и все это на фоне большевистской революции, выбросившей нас в этот могучий лес на границе между Сербией и Болгарией.

Сестра Евгения знала хорошо всего Пушкина, она особенно ценила «Станционного смотрителя». «Это как сама жизнь» — говорила она. Рассказала она мне также необычайный случай из своей жизни. Когда она решила по благословению своей матери принять монашество, то уже началось гонение на Церковь и большевики стали закрывать монастыри. Поэтому ей пришлось перейти границу Румынии и в Бессарабии она нашла обитель, готовую принять ее. Иноческий подвиг, уставные службы, долгие молитвы полюбились ей, но ее тихая жизнь в обители длилась недолго. Сестра Евгения была вырвана из нее приходом молодой девушки, попросившей временное пристанище в монастыре. «Она была совсем особенная» — сказала моя собеседница, — «и руки у нее были не такие, как у нас и все у нее было другое». О себе эта гостья ничего не говорила, но пошел слух, что она не простая девушка, а сама великая княжна, спасшаяся от своих убийц-большевиков и теперь скрывающаяся под видом послушницы.

Когда эти слухи распространились и люди стали приходить в монастырь, чтобы посмотреть на таинственную незнакомку, она так же внезапно исчезла, как раньше появилась. После ее ухода сестра Евгения не имела больше покоя. Она не могла дольше оставаться в монастыре. Бросив все, она пошла разыскивать беглянку. Посли долгих поисков ей

удалось найти ее, живущей в маленьком домике, в полном уединении. Незнакомка приняла сестру Евгению, сказав: «Хорошо, будем жить вместе, как две сестры». И жили они душа в душу и была моя рассказчица счастливой, — но вскоре снова поползли слухи о великокняжеском происхождении отшельницы и снова она бесследно исчезла. На этот раз все попытки отыскать ее остались бесплодными и сестра Евгения вернулась в свой монастырь.

Быстро пронеслись дни нашего пребывания в обители и пришла пора нам собираться домой. При прощании у меня была знаменательная беседа с матерью Диодорой, она сказала мне: «Я знаю, что у вас есть стремление к монашеству; но это не ваш путь, ваша дорога лежит на Запад». Она тут снова повторила слова, сказанные ею мне в Белграде: «Когда вы будете во Франции, не забудьте передать мой привет Серафиме Ивановне Коноплевой».[1]

Мать Диодора считала, что монашество в его привычных формах приходит к концу. «Чтобы быть инокиней в современном мире, надо быть пламенной», говорила она, «таких теперь почти нет. А те, которые идут в монастырь лишь по увлечению, то о них грустно и думать».

Сибирская Богомолка

Лида и я ушли из монастыря рано утром обновленные. Шли мы счастливые и дружные, земля пела под нашими ногами. Узкая тропинка то подымалась, то спускалась. Мы прощались с горами, с лесом и со святой обителью.

На середине пути мы сели отдохнуть под большим дубом, — вдруг из-за поворота дороги показалась фигура, совершенно поразительная. К нам приближалась настоящая русская богомолка, повязанная платком, с палкой в руках, с котомкой за плечами. Подойдя ближе, она спросила: «Сеструшки, я слыхала, что здесь монастырь есть. Так вот: как пройти к нему?» Это была маленькая, но крепкая старушка с выдающимися скулами на обветренном лице, с живыми, светлыми глазами; от нее веяло русским севером, таким далеким от этих гор и лесов. Мы закидали ее вопросами: «Кто вы, как сюда попали, почему вы решили, что мы говорим по русски?..» Она села рядом, охотно ответила на все наши вопросы и рассказала о себе.

Звали ее Ксенюшка (а нас она сразу начала звать Марьюшка и Лидьюшка), муж ее был зажиточный крестьянин, родом они были из Сибири. Еще до войны муж увидел во сне, что антихрист хочет завладеть русской землею, и услы-

[1] См. часть вторая, глава одиннадцатая: «Встреча с отшельницей Серафимой».

шал голос, звавший его на дело проповеди. Он разделил имущество между детьми, завещал им жить в мире по Божьему закону, жалеть нищих и помогать им, а сам решил начать странничество. Ксенюшка последовала за ним. Называла она своего мужа старчиком Романом. Так стали они ходить по всей Руси. «А Рассея наша — говорила она — без конца и края». Обошли они все обители, поклонились мощам многих угодников, встречали и праведников, и грешников, как среди монахов, так и среди паломников. Началась война, а за ней пришла и революция. После нее многие стали слушать старчика и каяться, даже красноармейцы обращались к вере. Был же ему дан особый дар трогать окаменевшие сердца. Его проповеди навлекли на него гонение от большевиков, кончилось все арестом, схватили их где-то далеко на севере около Архангельска и повели под конвоем в концентрационный лагерь. Когда, однажды, их стражник заснул, «старчик сказал мне — рассказывала Ксенюшка — «бежим», и мы бросились бежать; я совсем изнемогла, а старчик все повторял «бежим, бежим». Наконец, нам удалось спрятаться в такой непроходимой глуши, где никто никогда не бывал и там мы провели все лето. Верьте мне или не верьте — прибавила странница, — но мы выжили только потому, что Бог посылал нам небесную манну. Когда мы в первый раз получили ее, то старчик встал на колени и сказал: «Господи, вот я не верил, что Моисей имел манну в пустыне, а теперь Ты ею же питаешь нас». Так мы провели все лето и не голодали, но когда приблизилась зима, то стало ясно нам, что следует двигаться на юг. Пешком мы пересекли всю Россию, без денег и документов, но тогда еще было много добрых людей, принимавших странников и дававших им кров и пропитание». Кончила Ксенюшка свое повествование рассказом, как им удалось перейти красную границу, перебраться в Польшу и даже достать достаточно денег, чтобы доехать до Болгарии. Старчик знал, что оставаться в России было ему невозможно. Он чувствовал приближение смерти и хотел умереть на Святой Горе. Жене же он советовал постричься в одном из женских монастырей. В Болгарии они расстались, Ксенюшка шла к матери Диодоре, чтобы исполнить совет своего мужа.

Мы слушали странницу с глубоким волнением. Она была для нас подлинным осколком святой, верующей в чудеса Руси. Для Лиды, выросшей в городе, это была первая встреча с православным народом. Она в то время мучилась вопросом о христианском отношении к войне. Она шопотом сказала мне, что хочет спросить мнение об этом нашей странницы. Я попыталась отговаривать ее, считая такой трудный вопрос неуместным. Лидия все же задала его. Ксенюшка нисколько не смутилась, наоборот, живо отозвалась на него, сказав: «Старчик часто говорил о войне, она началась на небе и начали ее не мы, а ангелы и не нам дана власть прекратить ее,

мы можем только выбрать ту сторону, на которой хотим сражаться. Мы можем быть на стороне ангелов света или ангелов тьмы. А кончится война только после страшного суда, когда каждый получит свое воздаяние».

Этот неожиданный ответ поднял вопрос о войне на иную, высшую плоскость, чем та, на которой мы спорили о нем в нашем белградском кружке. Лида была удовлетворена и я тоже. Простились мы со странницей с большой любовью. Она дала мне на память свою фотографию со старчиком, снятую в Польше, которая до сих пор хранится мною.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

БЕЛГРАДСКИЙ «КОВЧЕГ» И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

В. Зернов

Осенью 1921 года мы покинули Константинополь и с группой русских беженцев приехали в Белград. Все мы с большой энергией стали устраиваться в новой стране, обитатели которой, хотя и были наши «братья», но говорили на непонятном нам языке. Мы сразу приступили к его изучению и одновременно начали искать заработок для каждого из нас. Наша главная надежда была, что отец сможет работать как врач. После длительных хлопот при помощи новых знакомых среди сербов, многие из которых были искренние и бескорыстные друзья России, ему было предложено место на одном из лучших курортов Югославии — Врньячка Баня. Министерство просило его представить проект реорганизации курорта, который он и составил в кратчайший срок.[1] Проект был принят без поправок, но он возбудил большое недовольство местных докторов, боявшихся уменьшения своих доходов из-за конкуренции опытного русского врача. Они употребляли все свое влияние, чтобы не допустить отца к частной практике. Их усилия, однако, оказались напрасными и отец вскоре стал одним из популярных врачей на курорте.

Первый год нашей жизни в Сербии был труден. Пока отец боролся за свое положение в Бане, мы старались устроиться в Белграде. Нам удалось найти домик на окраине города, состоявший из четырех маленьких комнат. Их единственный комфорт были дымившие железные печки. Наруж-

[1] В настоящее время Врньячка Баня является благоустроенным курортом, но в 1921 году она была еще в первобытном состоянии. Отдельных ванн почти не было и большинство больных погружалось в общий бассейн, наполненный горячей щелочной водой. Все купались в своем нижнем белье, причем некоторые, особенно женщины, старались постирать его. В результате вода иногда окрашивалась в яркие цвета и люди, входившие в белом белье, вылезали в цветном. Кроме того в Баню приезжали не только больные пищеварительными органами, для которых предназначался курорт, но и туберкулезные, получавшие лишь вред от этого лечения.

ная дверь, выходившая прямо на двор, так же как и окна, плохо закрывалась. Во время снегопада или сильного дождя вода заливала комнаты. У нас не было ни проведенной воды, ни газа, ни электричества.

Кроме нас четверых с нами поселились Николай Андреевич Клепинин с женою, его двоюродная сестра Ирина Васильевна Степанова, Игорь Иванович Троянов,[2] и Мария Константиновна Львова.[3] Мы называли наш домик «Ковчегом»[4] не только потому, что мы жили в большой тесноте, но также из-за многочисленных знакомых, часто просивших у нас временного пристанища. У нас постоянно кто-то ночевал, кто-то делил нашу трапезу. Предоставить же мы могли лишь матрас на полу и чай с хлебом и фасолью на ужин.

Получивши пустой дом, мы начали обзаводиться обстановкой. Нам удалось достать бесплатно старые солдатские железные кровати в военном управлении. К сожалению в этих кроватях нашлись нежелательные «жители», начавшие проявлять кипучую деятельность. Вместо матрасов мы употребляли мешки, набитые соломой. Вопрос об остальной мебели был разрешен просто. В соседней лавочке мы купили за сходную цену ящики различной величины. Они служили нам столами и стульями. Бидон от керосина стал умывальником.

Наш ковчег представлял своеобразную коммуну. Были установлены дежурства по хозяйству. Дежурный должен был напилить дрова, принести в бидонах воду, приготовить чай и вечерний ужин. Еда была незатейлевая, повара неопытные, варево часто подгорало, суп выкипал. Но наша бедность не мешала нам приглашать гостей, веселиться, устраивать шарады. Однажды моя сестра позвала к нам знакомую англичанку, которую поразило убожество нашей обстановки. На следующий день она прислала нам большую корзину, с тарелками, стаканами, ложками, вилками и ножами, со всем тем, чего нам не хватало.

Наши финансы не позволяли большой траты на еду.

---

[2] И. И. Троянов (р. 1900). Настоятель Русской церкви в Вевей в Швейцарии.

[3] М. К. Львова замужем за Петром Сергеевичем Лопухиным (1885-1962).

[4] Анна Николаевна Гиппиус (1872-1942), сестра Зинаиды Гиппиус (1869-1945), сочинила шуточную поэму, описывающую жизнь Ковчега и характеристики его обитателей. Начиналась она следующими словами:

«В Белграде на Сеньяке сырая есть холупа»
«Живет бедно, но дружно в ней молодежи группа»
«Здесь, как в ковчеге тесно и как в ковчеге парно»
«и даже, как в ковчеге, все делятся по-парно».

Кончалась поэма так:

«Когда ковчег сеньякский в Россию доплывет»,
«Своих друзей белградских он нежно вспомянет».

Днем мы часто закусывали в харчевнях, называвшихся по-сербски «Народна Куйня». Главным блюдом была фасоль, приправленная жгучим красным перцем. Нельзя сказать, что после такого обеда мы чувствовали себя сытыми — зато весь день рот горел от паприки. Обстановка в этих харчевнях была самая примитивная. По столам быстро пробегали тараканы. Опытные завсегдатаи старались поймать бегунов и бросить их в тарелку с едой. В случае удачи, можно было пойти пожаловаться хозяину и получить дополнительную порцию.

Стипендии, с трудом полученные нами, не были достаточны даже на эту нищенскую жизнь. Нам, однако, удавалось находить дополнительную работу, но обычно это был плохо оплачиваемый труд, бравший много времени и сил. Мне пришлось заниматься прокладкой мостовой и посадкой деревьев на улицах Белграда перед свадьбой короля Александра, чтобы привести город в «культурный» вид. Чтобы оправдать оказанное мне доверие, я начал копать ямы со всей энергией моих 18-ти лет и вскоре заметил, что опережаю привычных к физическому труду рабочих. Вдруг я почувствовал на моем плече чью-то руку. «Юноша, не спешите, вы подаете дурной пример. Таким темпом мы все скоро станем вновь безработными». Говоривший со мной был один из надзирателей, тоже студент, но прошедший и мировую и гражданскую войну. У него не было энтузиазма ни к посадке деревьев, ни к жизни вообще. «Вот мы сажаем деревья, а может быть, они все засохнут», говорил он. К сожалению он оказался прав, наши посадки не привились. Пессимизм моего начальника не был типичен для русских студентов. Наоборот, большинство из нас было настроено оптимистично, надеясь вернуться на родину.

Между нами и нашими друзьями шли постоянные, горячие споры о России, ее будущем, о причинах постигшей нас катастрофы. Одни обвиняли в ней царя и царицу, другие возлагали ответственность на интеллигенцию или на отдельных лиц, как, например, на Распутина. (1872-1916). Некоторым казалось, что судьба России была в руках таинственных «сионских мудрецов» и всемогущих масонов, а наши политические деятели были лишь исполнителями воли этих темных сил. Особенно критически мы все относились к либералам, подготовившим революцию, и не сумевшим справиться с нею.

Однажды во время пребывания наших родителей в Белграде, к нам зашел в гости М. В. Родзянко, бывший председатель Думы. Когда я увидел его в нашей комнате, мне страстно захотелось выразить ему все мое негодование. «Вот один из главных виновников всех несчастий, постигших нашу родину», думал я. Не зная, как показать ему мое порицание, я мрачно остановился в углу, смотря с осуждением на его грузную, добродушно-барскую фигуру. Руки этому «преда-

телю России» я, конечно, не подал. К счастью Родзянко не заметил моего странного поведения, но после его ухода, я получил суровую отповедь от моих родителей за мою неуместную политическую демонстрацию.

Проявленная мною нетерпимость была характерна для настроений той эпохи. Другой ее чертой был повышенный интерес к религиозно-философским вопросам, сознание ответственности за судьбы России и готовность принимать участие в общественной деятельности. Мы, молодежь, с увлечением встречались друг с другом на собраниях студенческого кружка в нашем «Ковчеге». На нем обсуждались вопросы о Церкви, об искусстве, затрагивались и политические проблемы. Мы были также усердными сборщиками средств на постройку русской церкви в Белграде. Отец поддерживал «Фонд спасения родины великого князя Николая Николаевича».

В Врньячке Бане была колония русских, приехавших туда с первой эвакуацией из Новороссийска. Некоторые из них смогли ко времени нашего прибытия неплохо устроиться и они охотно отзывались на просьбы о пожертвовании. Это был период расцвета русской эмиграции в Югославии. Ее представителей можно было встретить во всех главных центрах страны.

Прошло четыре года. Наши университетские занятия приблизились к концу. Мы стали ощущать, что приходит пора покидать ставший нам дорогим Белград. Париж был нашим следующим этапом. Туда же постепенно перебралось и большинство обитателей «Ковчега». Я оставался в Сербии дольше других. Курс медицинского факультета длился 6 лет. Весной 1927 я сдал последние экзамены и сделался штатным ассистентом при клинике внутренних болезней. Мой профессор, Игнатовский, предлагал мне обосноваться в Белграде, но я предпочел неизвестное будущее в Париже, так как там была уже моя семья.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СЪЕЗД В ПШЕРОВЕ И НАЧАЛО РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Н. Зернов

Лето 1923 года с его международными конференциями и встречами завершилось для меня съездом в Пшерове в Чехословакии (1-8 октября 1923). Наш белградский кружок был представлен на нем четырьмя делегатами — Безобразовым, Расторгуевым, моей старшей сестрою Софией и мною.

Первого октября в охотничьем замке, раньше принадлежавшем Габсбургам, собралось около 30 русских, приехавших с разных концов Европы. Кроме них там же было несколько иностранцев: американцев, англичан и один швейцарец. Нашей задачей было познакомиться друг с другом и обсудить возможности более тесного сотрудничества. Некоторые участники хотели бы возродить студенческое христианское движение, существовавшее до революции в России и уничтоженное большевиками.

Наша первая встреча произошла вечером, в большой зале с вычурной резьбой обшитых деревом стен, с массивной мебелью, с нишами и узкими окнами. К этой готической обстановке мало подходили плохо одетые и скорее с недоумением разглядывавшие друг друга делегаты. Большинство их были бывшие участники гражданской войны, попавшие в различные университеты. Они представляли религиозные или философские кружки, возникшие в центрах русского рассеяния — как Париж, Лилль, Берлин, Прага, Братислава, Белград и София. Два студента приехали из Юрьева и Кишинева, городов, раньше входивших в Российскую Империю.

Устроителями конференции были лица, связанные с предреволюционным студенческим движением — Лев Николаевич Липеровский (1888-1963), Александр Иванович Никитин, (1889-1949) В. Ф. Марцинковский (1884-1971) и Мария Леонардовна Бреше. Все они были учениками барона Павла Николаи.[1]

---

[1] См. в конце главы Прилож. I

Иностранные наблюдатели представляли интернациональные организации, давшие средства на созыв конференции. Ими были Ральф Холлингер, Руфь Рауз (1872-1956), Дональд Лаури (род. 1889) и Густав Кульманн (1894-1961).

Подлинную значительность этой первой всеевропейской встрече студентов-эмигрантов придавало участие в ней выдающихся религиозных мыслителей. Среди них первое место занимали о. Сергий Булгаков (1871-1944), Николай Александрович Бердяев (1874-1948) и Павел Иванович Новгородцев (1866-1924), все они были недавно высланы из России и чувствовали себя чуждыми основной массе беженцев.[2] Кроме них на съезд приехали В. В. Зеньковский, Антон Владимирович Карташев (1875-1960), Георгий Васильевич Флоровский (род. 1893) и Лев Александрович Зандер (1893-1964).

Перед собравшимися стоял вопрос, смогут ли они найти общий язык, способны ли они будут создать единую организацию и взять на себя ответственность за религиозную работу среди студенчества. Осуществить все эти задания было нелегко, так как съезд включал разнородные элементы с недоверием относившиеся друг ко другу. Разделения проходили по разным линиям. Одно из них касалось самой цели кружков. Сторонники изучения Евангелия видели ее в обращении неверующих к вере, участие или неучастие в жизни Церкви казалось им второстепенным вопросом. Другие же члены съезда, наоборот, считали, что главной задачей кружков должно быть углубление их церковного опыта, внеконфессиональное христианство в их глазах было непониманием его природы.

Другое различие существовало между старшим и младшим поколениями. Для многих студентов либералы профессора, в особенности бывшие марксисты казались виновниками постигшей родину катастрофы, т. к., работая над разрушением империи, эти вожди интеллигенции подготовили революцию, приведшую страну к установлению ленинского деспотизма. Профессорам же эмигрантское студенчество представлялось мало-культурным, нетерпимым и неспособным разобраться в сложных причинах революции и понять последствия грандиозного сдвига, происшедшего в России. Наконец, был на конференции и более скрытый конфликт, между русскими и иностранцами. Всемирная Студенческая Федерация и Христианский Союз Молодых Людей казались многим масонскими организациями, оказывавшими помощь русским с тайными целями. Те подозрения, с которыми Холлингер был встречен в Белграде, не были исключениями. Запад для многих представлялся врагом национальной России и все исходившее от иностранцев принималось с недоверием. Но несмо-

[2] См. в конце главы Прилож. II

тря на эти опасения, участники съезда были признательны тем, кто сделал встречу возможной для русской молодежи, раскинутой по разным концам Европы.

Первый вечер прошел в предварительных знакомствах. Каждый старался разузнать побольше о взглядах своих собеседников и найти единомышленников. Прошла весть, что о. Булгаков намерен на следующий день, до начала официальной программы, отслужить рано утром литургию. Эта новость была сообщена только тем, кто, предполагалось, принадлежит к меньшинству сторонников православного направления. С видом заговорщиков «православные» готовились к участию в этой службе. К всеобщему удивлению на нее пришло подавляющее большинство, включая иностранцев. Эта евхаристия решила не только судьбу съезда, но и определила характер того Движения, которое родилось в Пшерове. Отец Сергий всегда служил с молитвенным горением, он был особенно вдохновлен в этот раз и его огонь передался молящимся. Исчезло чувство отчужденности, его заменило сознание обретенного единства. Молодежь, видя Бердяева, Карташева и других профессоров молящихся на литургии, слушая священнические возгласы бывшего марксиста, забыла о различиях в политических взглядах, отделявших ее от старшего поколения. Иностранцы были также под сильным впечатлением этой службы и духовно слились с православными.

Все остальные дни конференции стали начинаться литургией. Движение осознало себя православным и церковным. Съезд прошел в большом подъеме: соборная молитва, блестящие доклады, их горячие обсуждения, сосредоточенная разработка практических путей для привлечения широких кругов студенчества к более сознательному участию в жизни Церкви — все это создало атмосферу взаимного понимания и доверия друг к другу. Было единогласно решено создать Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом. Его председателем был выбран В. В. Зеньковский, секретарем Л. Н. Липеровский. Иностранные друзья обещали найти средства для созыва второго съезда в следующем году. Для его подготовки было образовано «Бюро объединения русских студенческих христианских кружков в Европе», с президиумом в Праге. Лозунгом Движения стало «оцерковление жизни», этими словами его члены хотели выразить свое убеждение, что христианство не есть лишь религия личного спасения, но является силой, призванной преображать все стороны жизни и поэтому требующей от верующих всецелого отдания себя Церкви. Перед сознанием пшеровцев все время стоял образ России, распинаемой большевиками, которые террором и обманом пытались строить «земной рай» на развалинах старого мира. Коммунисты верили, что им удастся выжечь из сердец русских людей веру и любовь к Спасителю, Движение на-

деялось, что злоба фанатиков окажется бессильной уничтожить плоды христианского благовестия.

Чувство близости к России было дано конференции докладами и выступлениями главных лекторов, недавних участников в той борьбе, которая шла между ленинистами и верующими на родине. Трое из них произвели на всех особенно сильное впечатление. Это были Булгаков, Бердяев и Карташев.

Отец Сергий был сыном священника. Он потерял веру еще учась в семинарии, и сделался марксистом и профессором экономики. Сначала он преподавал в Киеве, потом в Москве. Он вернулся в Церковь после долгой и мучительной борьбы.[3] Если в молодости он был радикален в отрицании Бога, то придя к вере, он с той же всецелостностью принял истину христианства. Он был членом Церковного Собора в 1917 году и был выбран, как представитель мирян в Высший Церковный Совет. Когда началось гонение на Церковь, он стал священником.

Булгаков приковывал к себе всеобщее внимание своею замечательною наружностью. В нем поражали большой, выпуклый лоб и сосредоточенный взгляд его умных глаз. Он горел огнем творческой, дерзновенной мысли и дышал вдохновением христианской свободы. У него было бесстрашие верного служителя Бога живого. Отец Сергий был мыслитель, учитель, провидец и в то же время иерей, совершитель таинств, любящий и внимательный пастырь своих духовных чад. Он был убежден, что сыновняя преданность Церкви требует смелого обличения всего, что искажает ее истинную природу. В глазах своих противников он был новатор и революционер, но в действительности всем своим существом он был укоренен в Православии. В Пшерове он сразу занял место духовного руководителя, к нему потянулись все, его богослужения производили неизгладимое впечатление.

Николай Александрович Бердяев был тоже проповедником творчества и свободы, но, в отличие от отца Сергия, был глубоко светским человеком. Аристократ по происхождению и воспитанию, он стал рано увлекаться философией. Будучи студентом, он примкнул к марксистам и был сослан на север за свою революционную деятельность. Русские марксисты с их плоским материализмом, умственной ущербленностью и сектантской нетерпимостью к свободной мысли не могли надолго удовлетворить Бердяева. Он продолжал искать истину и нашел ее в Церкви.[4] Став христианином, он не сделался богословом. Он называл себя свободным христианским мыслителем. В своих построениях он отступал иногда от обще-при-

---

[3] См. Автобиографические записки. Париж. 1946.

[4] См. Бердяев. Самопознание — Опыт философской автобиографии. Париж. 1949.

нятых истолкований вероучения, особенно там, где оно соприкасается с философскими проблемами. Он любил подчеркивать свое отличие от толпы и даже приветствовал нападения противников, считая, что подлинный философ не может быть понятым своими современниками и должен ожидать признания от будущих поколений. Бердяев держался в стороне от молодежи на съезде, зато его выступления всегда вызывали оживленные споры. Говорил он блестяще и парадоксально.

По матери француз, Бердяев имел большие темные глаза и красивое, одухотворенное лицо. Он отпускал волосы, носил берет и походил скорее на поэта или художника, чем на профессора философии. У него был нервный тик, время от времени судорога искажала его прекрасное лицо.

Прямой противоположностью Бердяеву был Антон Владимирович Карташев. Его предки были крепостные крестьяне, переселенные на Урал для горных работ. Окончив Духовную Академию в Петербурге, он преподавал в ней церковную историю, но остался мирянином. При Временном Правительстве в 1917 году он был назначен Обер-Прокурором Синода, и был последним лицом, занимавшим этот пост, так как при нем это ведомство было переименовано в Министерство Вероисповеданий. Его энергия во многом сделала возможным созыв Всероссийского Церковного Собора и потому русская Церковь обязана Карташеву восстановлением патриаршества.

Со светло-серыми глазами, и аккуратно подстриженной бородой, он напоминал не то волка, не то северную лису, был весь складный, внимательный, слушал терпеливо собеседника, слегка склонив набок большую голову. Говорить Карташев был мастер. Плавно жестикулируя, прикрывая глаза, он, подобно многоводной реке, властно уносил с собою слушателей, не прибегая к ораторским эффектам, но покоряя их силой мысли, живостью образов, даром исторических прозрений. В его лице члены съезда встретили не только талантливого историка, но и одного из участников событий, решивших судьбы Церкви в России.[5]

Кроме этих выдающихся участников конференции было еще несколько человек, сыгравших значительную роль в ее жизни. Первое место среди них принадлежало Зеньковскому, проявившему исключительный дар примирять и объединять всех. Он был неутомим, как в зале собраний, так и во время прогулок в парке, он убеждал, объяснял, уговаривал. К времени съезда он переехал в Прагу и его близкое знакомство и с белградцами и с пражанами много способствовало их сближению.

Другим лицом, оставившим яркий след в Пшерове, был

---

[5] Некролог о Карташеве напечатан в «Вестнике Р.С.Х.Д.» № 3-4. 1960 г.

епископ Вениамин. Как метеор, он неожиданно на одни сутки появился на съезде, приехав из Прикарпатской Руси. Весь его облик, его рассказы о своей молодости и о жизни Церкви до революции перенесли всех в тот православный мир, который, как многие тогда верили, продолжал существовать под игом коммунизма.

Совсем иная роль выпала на долю молодого швейцарца, Г. Г. Кульманна. Он был покорен силой и красотой Церкви. В своих выступлениях и в частных разговорах он делился своим убеждением в миссии Православия на Западе. Он являлся наглядным примером того, что среди протестантов были люди, ждавшие от православных помощи в их исканиях полноты церковности.

Первым докладчиком в Пшерове был Бердяев. Его темой было сравнение восточной и западной религиозности. Восток, говорил он, рождает религии, Запад их культивирует. Православие воспитало русский народ не нормами жизни, а примерами святости. «Русская идея» не есть создание культуры, а обретение спасения. Нет исторических путей, ведущих в царствие Божие, оно рождается изнутри нас. Запад забыл о конце мира. Восток помнит апокалиптическое завершение истории.

Карташев, в противовес Бердяеву, развернул грандиозный, продуманный план воссоздания русской общественной и государственной жизни на основах Православия. Заключительная речь была предоставлена Булгакову. Он говорил: «Мы провели напряженную, трудную неделю, мы будем помнить о ней. Я хочу выразить то, что сейчас звучит в моей душе, понять значение всего пережитого. Церковь это душа мира, история человечества есть история Церкви. В ее жизни было много разных периодов, каждый со своей особой задачей...

Константиновская эпоха, начавшаяся в 4-м веке, продолжалась для нас до 1917 года. Она кончилась с отречением императора Николая Второго... Бог удостоил нас жить в трудные годы. Мы прошли через гибель, но мы увидали и свет... Раньше в Церкви все было дано и устроено так, что можно было жить пассивно. Но теперь все по-иному и нам приходится творить. Нам необходимо соборными усилиями искать новых форм церковной жизни, включающих в себе всех христиан... Православие есть вселенская Церковь, главным носителем его является сейчас Россия, но если мы не будем достойны, Господь сдвинет свой светильник, как это было в Византии. Мы теперь входим в живое общение с другими вероисповеданиями. Как христианин и как православный священник, я чувствую радость, что в нашей работе участвовали представители других конфессий... Мы живем в творческую эпоху, перед нами стоят большие задания, требующие от нас усилий, жертв и труда. Но

мы не должны бояться, ибо, как сказал апостол Павел: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.»

О. Сергий, с присущим ему прозрением в будущее, определил три основных характеристики нового Движения: (А) — принятие ответственности за судьбы Церкви в России и за рубежом, (Б) — осознание новой евхаристической эпохи (В) — утверждение вселенскости восточного православия и связанное с этим стремление восстановить общение с западными христианами. Р.С.Х.Д., как он предвидел, сыграло значительную роль не только в духовной жизни русской эмиграции, но и в развитии экуменического сознания среди всех восточных христиан.

Подводя итоги Пшерова, следует подчеркнуть его необычайный творческий полет. В нем на равных началах участвовало как старшее, так и молодое поколение. Они вместе искали новых путей для церковной деятельности в изгнании. Обычно на подобных конференциях старшие поучают, а младшие учатся, но в Пшерове роли переменились, инициатива принадлежала студентам. Профессора с интересом и вниманием вслушивались в их голоса. Недавно высланные из России, они остро переживали свою отрезанность от молодежи. В начале двадцатых годов идеологические споры еще были возможны на родине. Одни защищали истину христианства, другие горели желанием уничтожить все достижения христианского гуманизма. Лекции религиозных мыслителей привлекали тысячи слушателей в обеих столицах. Очутившись в Европе, вожди интеллигенции сперва почувствовали себя никому не нужными.

В Пшерове они снова встретили молодежь, правда, отличную от той, которая окружала их в русских университетах, но все же разделяющую их интересы и готовую спорить с ними. В Пшерове нашли друг друга два поколения, одно пришедшее к вере накануне революции, другое обретшее Церковь в страшные годы гражданской войны. Преемственность была сохранена, это имело решающее значение для всего будущего православной культуры, которая не оборвалась со смертью вождей религиозного возрождения начавшегося в XX веке, а была обогащена творчеством новых поколений русских, выросших в изгнании.[6]

В том же Пшерове было достигнуто соглашение между представителями довоенного студенческого движения и руководителями эмигрантских кружков. Новое Движение сохранило старое наименование «христианского», осталось открытым как верующим, так и ищущим студентам, но вся его деятельность стала органически связана с Церковью. Большим достижением Пшерова было то, что на нем не было по-

[6] См. в конце главы Прилож. III

бедителей и побежденных. Только баптист Марцинковский и его верная спутница Бреше не вошли в Движение. Они уехали в Палестину, где отдали себя миссионерской работе среди евреев.[7]

Для меня Пшеров открыл в новом свете значение евхаристии. Хотя я всегда регулярно участвовал в богослужениях, но церковные службы оставались отдельной частью моей жизни. В Пшерове евхаристия заняла центральное место во всем, что происходило на конференции, мы не только молились, но думали, спорили и жили в церкви. На съезде я встретил моих будущих учителей, многих новых друзей и сотрудников и познакомился с Милицей Владимировной Лавровой, моей будущей женой.

Съезд кончился в воскресенье. На последней литургии все причащались. Чувство единства охватило нас. Восемь дней тому назад мы встретились в этом австрийском замке, как незнакомцы, теперь мы стояли вместе, как члены одной семьи. Никто не хотел уходить из этой залы-храма. Все чего-то ждали. Липеровский неожиданно запел «Христос Воскресе», все дружно подхватили пасхальный победоносный напев. Он выразил то, что было в сердце каждого, в эти дни в Пшерове мы встретили Воскресшего Христа. Мы разъехались с верой в грядущее воскресение православной России.[8]

I. ПРИЛОЖЕНИЕ (I)

Основоположником религиозной работы среди русского студенчества был выдающийся человек и ревностный христианин, барон Павел Николаевич Николаи (ум. в 1919 году). Он обладал даром понимать молодежь. Будучи сам лютеранином, он начал свою миссионерскую работу среди студентов-лютеран в Петербурге. Сперва он был далек от Православия и склонялся к пиетизму, не придающему большого значения догматической стороне христианства.

Постепенно он стал интересоваться и православными студентами. Хотя полицейские правила того времени не разрешали религиозной работы вне церкви, Никалаи все же удалось организовать несколько библейских кружков и устроить два посещения России знаменитым пионером христианского студенческого движения, американцем Джоном Моттом (1865-1955).

В первый раз Д. Мотт приехал в 1899 году и был встречен враждебно, так как религиозные вопросы казались многим студентам реакционными и уводящими от революционной борьбы.

---

[7] Марцинковский. «Наука и Религия» и «Достоверно ли Евангелие» Прага 1926. Некролог о нем напечатан в № 101-102 Вестника Р.С.Х.Д. 1972.

[8] Краткий отчет о съезде в Пшерове был напечатан в «Духовном Мире Студенчества» Прага, Декабрь, 1923, стр. 33-41.

Второй раз Мотт был в России в 1909 году и нашел резкую перемену в настроениях молодежи. Его лекции имели большой успех и, в результате, библейские кружки возникли в целом ряде городов. (Петербург, Москва, Харьков, Одесса, Томск, Юрьев и Рига). Эти кружки ставили своей задачей знакомить студентов с Священным Писанием, о котором большинство из них имело только смутное представление. В эти кружки входили как православные, так и протестанты, вопросы вероисповеданий, разделявшие их, не подымались.

Сам Николаи все более входил в дух православной Церкви и старался привлечь к работе в кружках духовенство. Движение начало быстро расти и в 1913 году было принято членом в Всемирную Христ. Студ. Федерацию. После захвата власти большевиками многие его члены кончили свою жизнь мучениками в тюрьмах и концентрационных лагерях.

Живой облик Павла Николаевича Николаи дан в очерке В. Марцинковского «Из истории моего религиозного опыта», напечатанном в № 2 «Духовного Мира Студенчества», Прага, 1923 год. Две статьи П. Николаи были перепечатаны в эмиграции: «Пособие для изучения Евангелия от св. Марка», 1920, и «Может ли современный образованный человек верить в божественность Иисуса Христа», Париж, 1927.

Жизнь и деятельность барона П. Н. Николаи описаны в книге, изданной в Нью-Йорке в 1924 году.
— **Greta Langenskjold. Baron Paul Nikolai, Christian Statesman & Student Leader.**

ПРИЛОЖЕНИЕ (II)

В 1922 году советская власть выслала заграницу около 70 видных ученых, преимущественно либерального направления. До сих пор не выяснено, что побудило большевиков сохранить жизнь этих выдающихся людей и тем самым обогатить человечество плодами их творчества. Вместо принужденного молчания или гибели в тюрьмах они смогли продолжать работать на свободе в Европе и в Америке. Среди высланных были известные философы и религиозные мыслители: Бердяев, Франк (1877-1950), Карсавин (1882-1952), Степун (1884-1965), Вышеславцев (1887-1954) и Иван Ильин (1882-1954). О. Сергий Булгаков был выслан отдельно в 1923 году.

Решающую роль в судьбе большинства этих гуманистов и тем самым в истории русской культуры сыграл Густав Кульманн. Швейцарец по происхождению, юрист по образованию, занимавший в то время пост секретаря американского отдела Христианского Союза Молодых Людей (И.М.К.А.), он был откомандирован для работы среди русских эмигрантов в Германии. Ему удалось найти средства для материальной поддержки высланных ученых и для печатания их трудов. Ему же принадлежала инициатива приглашения Бердяева на съезд в Пшерове.

Описание значения Кульманна для русского церковного пробуждения зарубежом дано в 5 части, главе 12 этой книги.

ПРИЛОЖЕНИЕ (III)

Накануне войны 1914 года перед русской культурой раскрывалась возможность блестящего расцвета. Глухая стена непонимания, которая отделяла воспитанное в западных идеях высшее общество от православной традиции, стала давать трещины. Духовные богатства иконописи, архитектуры, знания внутреннего человека стали открываться перед изумленным взором интеллигенции. Знамением приближающегося коренного перелома явилось принятие священства в 1910 году Павлом Александровичем Флоренским (1880-1943), человеком исключительных дарований. О. Сергий Булгаков сравнивает его с Леонардо да Винчи (1452-1519) и с Паскалем (1623-1662). Флоренский был гений до сих пор не превзойденный в России. Трудно найти область знания, где бы о. Павел не был на высоте полного ее творческого овладения. Он был математик, астроном, физик, изобретатель, специалист по электрификации, музыкант, поэт, искусствовед, лингвист, знавший более 20 европейских и азиатских языков, богослов и мистик.

Он отдал на служение Церкви все свои исключительные дары и нашел призвание в священстве. Его рукоположение должно бы было стать поворотным пунктом в истории русской культуры, если бы не победа большевизма, нанесшая ей смертельный удар.

О. Сергий Булгаков пишет: «Из всех моих современников, которых мне было суждено встретить за мою долгую жизнь Флоренский был величайшим, и величайшим является преступление поднявших на него руку.» (Вестник Р.С.Х.Д. № 101-102, 1972.)

По дошедшим слухам о. Павел был сослан на лесозаготовки и там упавшее бревно раздробило его голову. Его мученическая кончина является одним из самых страшных актов русского богоборчества и отступничества. Возрождение, начавшееся в России было затоптано революцией, но диктаторы не смогли стереть все следы духовного обновления. Они сохранились и приумножились в изгнании, Р.С.Х.Д. сыграло решающую роль в этом процессе и в этом заключается его крупная заслуга перед Россией.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА СРЕДИ РУССКИХ СТУДЕНТОВ В БЕЛГРАДЕ

Н. Зернов

Съезды Р.С.Х.Д. в Пшерове (8-14 сентября 1924 г.) и в Хоповском монастыре (11-17 сентября 1925 г.)

Основание Русского Христианского Студенческого Движения в Пшерове и наше участие в нем одновременно и расширило работу кружка и, в то же время, создало нам многих явных и скрытых недоброжелателей. Их критика находила отклик внутри кружка, некоторые его члены считали, что мы изменили нашим первоначальным задачам и увлеклись внешними успехами за счет внутреннего духовного роста. Найти правильный ответ на эти обвинения было нелегко, и мы неоднократно обращались за советом к нашим иерархам: митрополиту Антонию, епископу Вениамину и архиепископу Феофану Полтавскому (Быстрову, 1873-1943). Последний заинтересовался нашим кружком и стал все чаще посещать наши собрания. Он произвел на нас глубокое впечатление своей молитвенностью и исключительным знанием аскетической литературы. Маленького роста, с тихим голосом, с головой склоненной вниз, он был подлинный мистик, открывавший нам доступ к тем откровениям Святого Духа, о которых мы читали в творениях святых отцов. После одной из его бесед о св. Серафиме, мы решили назвать наш кружок именем этого, всеми нами любимого и почитаемого, святого (19 мая 1924 г.).

Но и архиепископ Феофан, как и другие архипастыри, не давал нам определенных ответов на наши недоумения. Они обычно указывали, что, хотя не надо слишком увлекаться миссионерской деятельностью, но не следует и пренебрегать ею. Поэтому споры у нас не прекращались, но и работа продолжала расти. Кроме регулярных еженедельных собраний кружка, на которые приглашались только его члены, мы стали устраивать открытые воскресные собеседования. Часто на них приходило около ста человек, и они сделали нас известными всему русскому Белграду.

Главным событием этого академического года (1923-1924 г.) был приезд к нам в мае месяце о. Сергия Булгакова из Праги. Это приглашение было вызовом крайнему крылу монархистов, которые не могли забыть его прежнего марксизма. Многие православные, включая архиепископа Феофана, тоже не доверяли богословию этого недавно рукоположенного профессора экономики и открыто заявляли об этом. Поэтому неудивительно, что мы с волнением ждали его публичного выступления. Оно собрало более тысячи слушателей, переполнивших большую залу университета. Никаких враждебных манифестаций не было, но его связь с Движением и нашим кружком послужила поводом для организованной кампании против нас.

Так мы столкнулись в эмигрантской колонии Белграда с той же оппозицией, которую так ярко описала Зинаида Гиппиус (1869-1945) в своих воспоминаниях о религиозно-философских собраниях, которые она вместе с Дмитрием Мережковским (1865-1941) начала в 1903-м году в Петербурге[1]. Как тогда, так и теперь, вскрылся антагонизм между русской интеллигенцией, полной миссионерского рвения, захваченной грандиозными планами переустройства мира и традиционной, семинарски воспитанной, средой духовенства. Они по-своему были преданы Церкви, но в них был глубоко заложенный скептицизм, который тогда еще поразил Мережковских.

Самое трудное для нас было то, что некоторые наши противники не выступали открыто против нас, наоборот, даже сотрудничали с нами. Например, настоятель нашей церкви и его помощник председательствовали на наших открытых воскресных собраниях. Но за спиной они критиковали нас. Им было непонятно, зачем собираться в кружки для изучения христианства? «Разве не достаточно, — говорили они, — церковных служб?» Нас обвиняли и в духовной гордости и в сектантстве. Для нас, молодежи, которая так высоко ставила духовенство и идеализировала жизнь Церкви, эта неискренность была мучительна.

Больше всего нас поразил поступок нашего настоятеля, председательствовавшего на собрании, где гововрил о. Сергий Булгаков. Он публично хвалил и благодарил лектора, а потом пошел к арх. Феофану, прося его обличить нашего гостя в ереси и так рассеять благоприятное впечатление, произведенное бывшим марксистом. Все это было, однако, полезно для нас, мы на опыте изучали зигзаги церковной жизни и знакомились с бытом духовенства. Большую поддержку мы получали от маститого митр. Антония. Ему был глубоко чужд дух «семинарщины», с ее недоброжелательством к светской куль-

---

[1] См. З. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. И.М.К.А. Пресс. Париж, 1951, стр. 92-93.

туре. Он всегда поощрял наше стремление привлечь к Церкви широкие круги молодежи и сочувствовал исканию новых путей служения Православию.

Арх. Феофан был иного умонастроения. Насколько он был опытен в аскетике, настолько боязлив и беспомощен в практических делах. Он всюду видел происки масонов и подозревал в неправомыслии не только о. Булгакова и епископа Вениамина, но даже и самого митр. Антония. Недобросовестные люди часто играли на этой слабости и обманывали его.

Лето 1924-го было отмечено двумя местными съездами Р.С.Х.Д. в Фалькенберге в Германии[2] и в замке Аржерон во Франции.[3] Последний был судьбоносен для Церкви в изгнании. На нем собрался весь цвет русской церковной общественности: Булгаков, Бердяев, Карташев, Вышеславцев, Глубоковский, Зандер, Безобразов. Среди новых участников выделялись князь Григорий Николаевич Трубецкой (1874-1930) и Петр Константинович Иванов (1876-1956)[4]. На съезд приехали также митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868-1946) и еп. Вениамин. Главным событием этой конференции было решение основать в Париже Духовную Академию и привлечь к преподаванию в ней высланных из России представителей религиозного возрождения. Движение было не только вовлечено во все эти переговоры, но явилось той благоприятной почвой, на которой и зародилась сама идея создания высшей богословской школы нового типа.

Осенью того же года снова в Пшерове собрался второй Общий Съезд Движения (8-14 сентября). Представителями от Белграда были выбраны К. Керн, С. Безобразов, моя сестра Мария и я. Второй съезд был построен по образцу первого. Каждый день начинался литургией. Кроме блестящих докладов и их обсуждений, много внимания было отдано улучшению организации нашей работы. Стало ясно, что центром русской эмиграции делается Париж и что туда следует перевести секретариат Движения, тем более, что там же предполагалось открытие Духовной Академии. Этот же съезд показал, какой огромный прогресс был достигнут в течение одного года. Наш скромный кружок не был больше маленькой ячейкой, затерянной в провинциальном Белграде, он был частью широкого церковного пробуждения, захватившего различные слои эмиграции. Перед нами раскрывались новые задачи, требовавшие полного отдания себя для их осуществления.

Зима 1924-1925 года была самая деятельная и бурная в

---

2 Отчет о съезде в Фалькенберге напечатан в № 5 «Духовный Мир Студенчества» Париж, 1925 год.

3 Отчет об Аржероне напечатан в «ПУТИ» № 2, Париж, 1926, а также издан в виде отдельной брошюры. Л. Зандер. «Христианство и Современная Жизнь». Париж, 1925.

4 Автор — «Смирение во Христе». Париж, 1925. «Тайна Святых». Париж, 1949.

истории Серафимовского кружка. Возможность открыть Духовную Академию в Париже всколыхнула русскую колонию в Белграде. Одни приветствовали это начинание, которое приобретало особенно важное значение ввиду закрытия всех богословских школ в России, другие, наоборот, заявляли, что масоны раскрыли наконец свои тайные замыслы и под видом подготовки православных священников в действительности решили создать армию разрушителей Церкви. В доказательство этого они указывали, что профессорами в Академию приглашены такие опасные люди, как Булгаков и Карташев. Многие русские епископы в Сербии разделяли это мнение, что указывало, насколько часть эмиграции была психически потрясена событиями революции. В этой кампании клеветы выявилась, однако, и общая косность нашего общества, его неумение разобраться в фактах и легкость, с которой принимаются на веру самые необоснованные обвинения и подозрения, касающиеся всякого нового начинания.

В ответ на эти нападения мы утроили нашу миссионерскую деятельность. Кроме еженедельных собраний у нас на Сеньяке и открытых воскресных лекций, мы начали устраивать семинарии по догматике, литургике и по истории Церкви. Они привлекли к нам новые круги студенческой молодежи. Вся эта работа брала много сил, но она давала и большое удовлетворение.

В январе 1925-го года я второй раз ездил в Англию на многотысячный миссионерский съезд, раз в четыре года устраиваемый Британским Студенческим Движением. В этот раз он был в Манчестере. Мне стало легче понимать лекции, чем два года тому назад; я стал лучше разбираться в различных течениях внутри английского христианства. Для меня было неожиданным открытием, что многие студенты богословы были лабористы[5] и придерживались левых политических взглядов. Социализм и христианство не были несовместимы в Англии, как во многих других странах!

По дороге в Манчестер я остановился на несколько дней в Париже, где познакомился со многими членами нашего Движения. Особенное впечатление произвели на меня три брата Ковалевские, сыгравшие большую роль в судьбах эмигрантской Церкви.[6]

Вопрос о нашем будущем встал перед нами, мои сестры и я должны были окончить наше ученье осенью 1925-го года. Мой брат, как медик, имел еще год до окончания своего курса. Россия все дальше уходила от нас, приходилось строить свою жизнь в изгнании. Моих сестер привлекала мысль переехать во Францию. Я много думал о монашестве и священ-

---

[5] Члены рабочей партии.

[6] См. конец главы Прилож. (I).

стве, но не считал себя готовым для такого решающего шага. Оставалась возможность преподавания в одной из сербских семинарий, к чему стремились другие русские, оканчивающие со мной богословский факультет. Все эти поиски путей и колебания закончились неожиданно в марте 1925-го года, когда я получил письмо от Зеньковского, предлагавшего мне работу секретаря Р.С.Х.Д. Это означало мой переезд в Париж. Самого меня Париж страшил, но мои родители советовали мне согласиться на эту работу. Митрополит Антоний был того же мнения. Я высказал ему опасение, что меня будут считать лицом, продавшимся иностранцам. На это он в шутку ответил: «Пиши на своих карточках, секретарь с благословения митрополита Антония». О. Алексей Нелюбов[7] тоже благословил меня на этот путь. Я согласился.

Лето 1925 года мы всей семьей провели в Враньской Бане, где мой отец уже второй год работал, как курортный врач, переехав туда из Врньячки Бани. Я готовился к последним экзаменам, но главной заботой была подготовка к съезду Р.С.Х.Д. На этот раз было решено устроить его в Сербии в Хоповском монастыре. Организация подобной конференции требовала больших усилий, так как монастырь не был приспособлен для приема более ста членов съезда. Кроме того, были и другие трудности личного характера. Мы решили просить митрополита Антония принять участие в нашем собрании, но мы не знали, захочет ли он встретиться с о. Булгаковым и другими профессорами. Однако все эти препятствия были удалены. Мы были вдохновлены идеей студенческой конференции под сенью русского монастыря. Мы мечтали о примирении между интеллигенцией и иерархией, о которой пророчествовали Достоевский и отцы религиозного возрождения в начале нашего века. Ободряло нас то сочувствие, которое мы встретили у обоих игумений и у о. Алексея.

Ни у кого из нас не было опыта устройства конференций, и мы пережили несколько тревожных дней, когда казалось, что нам не удастся преодолеть все препятствия — а их было много. Надо было найти сто матрасов, кухонную и столовую посуду, наладить перевоз делегатов. Нужно было также получить визы для участников конференции; большинство из них были, как и мы, бесподданные, и им очень трудно было добиться разрешения на въезд в любую страну. Моя старшая сестра больше всех поработала для устройства съезда, проявляя тут впервые свои организационные таланты, которые она впоследствии использовала для помощи русским во Франции. Ей удалось даже убедить коменданта крепости дать военные грузовики для доставки делегатов в Хопово.

Конечно, внешняя обстановка конференции была очень

---

[7] См. конец главы Прилож. (II).

примитивна, частые дожди принесли холод и грязь, но, несмотря на все это, Хоповский съезд был одним из лучших, и он остался в памяти, как светлое церковное торжество.[8] Он был самый многочисленный из всех общих съездов Движения, на нем было более ста человек, один белградский кружок прислал 26 делегатов, кроме русских на нем присутствовали сербы, болгары, англичане, не считая представителей Федерации и У.М.С.А. — Холлингера, Кульманна и Лаури. Но дело было не в числе, а в том знаменательном факте, что на третьем году своего существования студенческое Движение собралось в монастыре и почувствовало себя в нем, как в своем доме. Два основных вопроса были поставлены перед членами конференции: его взаимоотношение с иерархией и его сотрудничество с инославными.

Движение осознало себя органически связанным с Церковью. Ряд его членов хотели закрепить и углубить эту связь путем преобразования кружков в православные братства, а само Движение — в их союз. Это предложение вызвало горячие споры. Далеко не все считали этот путь правильным и осуществимым, а сами сторонники братств не были согласны между собой относительно характера и цели православных братств. Для одних, братства представлялись небольшими и интимными единицами, подобными духовной семье. Для других братства были церковными союзами людей, стремящихся к одной цели и не затрагивающими внутренней жизни братчиков. Споры вызвал также вопрос об отношениях братств с иерархией. Одни хотели формально подчинить братства епископату, другие считали, что братства должны быть автономны и ответственны сами за свои решения. Как митрополит Антоний, так и о. Булгаков были согласны, что возможны различные формы братств. О. Сергий сказал: «Братство не есть единство воли, в нем должна быть гармония разноголосого хора, ибо каждый братчик должен сохранить свой собственный лик, Господь дал каждому свой талант и почтил всех нас высочайшим даром свободы».

В результате всех этих обсуждений съезд не нашел возможным преобразовать себя в союз братств, но он включил их в состав Движения, как желательное завершение развития кружка. Отношения с иерархией тоже не получили окончательного определения, так как сама организация зарубежной Церкви все еще оставалась незаконченной.

Вопрос об отношениях с инославными был поднят в докладе Кульманна. Он сказал: «Нам, протестантам, легче с православными, чем с католиками, ибо мы не чувствуем в вас враждебности и постоянного осуждения в ереси. Перед вами раскрыты величайшие возможности на Западе. Вы это

[8] См. в конце главы Прилож. (III).

сами знаете, говоря, что Святая Русь несет спасение всем народам. Разве мы можем не любить вас за эти слова! Но кому много дано, с того много и взыщется. Духовно люди подходят ближе друг к другу только в совместном покаянии перед Богом, и для нас полное религиозное общение с вами возможно только в том случае, если вы почувствуете наши грехи, как свои собственные, а мы сделаем то же в отношении вас. Не замыкайтесь в себе, примите нашу помощь вам, как шаг Запада в вашу сторону и, в свою очередь, сделайте шаг к нам».

Митрополит Антоний и проф. Зеньковский выразили от лица всех сознание того, что наша встреча с протестантизмом не случайна, и что на нас лежит задача идти навстречу другим вероисповеданиям, свято храня верность православию.

Радужные надежды, родившиеся в Хопове, оправдались лишь частично. Движение нашло вскоре широкое новое поле деятельности в экуменизме, но идея братств в своей полноте оказалась неосуществимой. Белградский кружок стал братством, в Париже возникло братство св. Троицы, но другие кружки не последовали этим примерам.[9] Много разных причин помешали этому развитию, их описание принадлежит к темам последующих глав.

Хоповский съезд не был похож ни на один из других съездов, так как его участники жили двойной жизнью — конференции и монастыря. Они молились вместе с монахинями, и все богослужения были освящены присутствием в храме чудотворной иконы Курской Знаменья, перед которой произошло чудесное исцеление отрока Прохора, будущего преподобного Серафима (1759-1833). Она была привезена на время съезда из соседнего монастыря, и ее благодатная сила согревала всех и помогала молиться. Очень много дало также участие митрополита Антония в работе конференции. В его лице члены движения встретили одного из самых выдающихся представителей дореволюционного епископата и, хотя его политические взгляды были чужды большинству, его вера, его укорененность в Православии, его сознание вселенскости Церкви, широта его сердца и сила ума покорили всех. Для меня Хопово было тоже отлично от всех других конференций, так как впервые я нес ответственность за организацию съезда, много суетился и сильно уставал.

Последние полтора месяца в Белграде были переполнены событиями. 14-(1-го) октября на Покров я окончил богословский факультет. В воскресенье, 25-го октября, члены кружка имени преп. Серафима вступили в братство. Утром

[9] «Вестник Р.С.Х.Д.» № 97, 1970 г., содержит статью «Как быть?», присланную из России, где доказывается необходимость братств для Церкви в России.

все причащались, в четыре часа мы собрались у нас на Сеньяке. Митрополит Антоний прочел обеты братства перед чудотворной иконой Курской Божьей Матери. Мы все повторяли за владыкой слова молитвы и обещаний. Создание братства совпало с отъездом многих старых членов. Это вызывало опасение за будущее. Но зато десятки новых членов присоединились к нам. Это была молодежь, окончившая или кадетские корпуса или институты, эвакуированные в Сербию с остатками Белой Армии. Они не прошли через испытания гражданской войны, были проще нас, им были чужды переживания людей глядевших в глаза смерти.

Я всецело ушел в работу с этим обещающим молодым поколением, но времени оставалось немного. Моя старшая сестра, получившая стипендию для продолжения учения во Франции, должна была ехать со мной. Рано утром, 30-го октября, мы покинули Белград. Четыре года тому назад, полные опасений за наше будущее, мы приехали в этот незнакомый город. Теперь толпа русских и сербских друзей провожала нас. Мы с болью расставались с ними, столько любви и внимания мы получили от всех них. Мы уезжали во время расцвета нашей работы. П. С. Лопухин и мой брат обещали продолжать ее. Сербия отступала в прошлое, мы выходили на широкие просторы.

ПРИЛОЖЕНИЕ (I)

Я был приглашен в дом Ковалевских, живших тогда в Медоне, около Парижа. Семья состояла из родителей и трех сыновей. Отец, Евграф Петрович (1865-1941), член Думы, педагог, церковный и общественный деятель, был хорошо известен, как среди русских, так и среди французов. Его жена Инна Владимировна, урожденная Стрекалова (1877-1961), была тоже педагогом, преподавала русский язык во французских лицеях. Она была автором книги о Владимире Соловьеве (1851-1900), изданной в Париже в 1922 году. Их дом напоминал старый, культурный, дворянский очаг, был полон книг, старинной мебели и беспорядка. Семья была гостеприимная и принимала у себя весь русский Париж.

Три сына были талантливы и очень церковны. Старший, Петр (р. 1901 г.), окончив Сорбонну, получил докторат. Впоследвии он преподавал в Сергиевской Академии, во французских учебных заведениях и написал ряд книг по истории. В течение многих лет он был главным иподьяконом Александро-Невского собора и ни одно церковное или общественное торжество в Париже не могло обойтись без его участия. Максим (р. 1903 г.), математик, статистик, композитор, был известен, как один из самых талантливых регентов. Младший, Евграф (1905-1970), обладавший редким даром литургического творчества, стал епископом Православно-Католической Церкви во Франции. Прекра-

сный и оригинальный проповедник, он был также ректором богословского института св. Дионисия в Париже.

Во время моего первого посещения этой интересной семьи, я присутствовал на вечерне, пропетой с исключительным мастерством тремя братьями в их домашней часовне. Все они принимали участие в Движении и способствовали росту интереса к экуменической работе среди русских за рубежом.

ПРИЛОЖЕНИЕ (II)

Отец Алексей Нелюбов, (1879-1937) духовник Хоповского монастыря, не отличался ни ученостью, ни даром проповедника, но он был одним из самых замечательных исповедников, встреченных мною. У него был благодатный дар теплого, глубоко-личного подхода к каждому человеку и спокойная мудрость священника, знающего высоту восхождения и глубину падения, свойственных людям.

Самая манера исповеди была у него необычайна. Он, видимо по болезни ног, исповедывал обычно сидя. Начинал он часто с житейских мелочей, расспрашивал о здоровье, о работе, о других членах семьи и только потом подходил к вопросам внутреннего состояния исповедывающегося, проникал в сокровенные тайны его души. Он был и друг, и советник, но также и иерей Церкви Христовой, которому дана была власть вязать и решить. Уходя с исповеди, каждый знал себя лучше, а также получал уверение, что если один из служителей Христовых мог понять и полюбить грешника, то тем более сам Господь готов принять кающегося и снять с него бремя его прегрешений.

ПРИЛОЖЕНИЕ (III)

Отчет о съезде в Хопове был составлен Л. Зандером и напечатан в журнале «Путь» № 2. Париж. 1926, стр. 116-121.

Профессор Троицкий (1878-1972) тоже напечатал свои впечатления о конференции в Белградской русской газете «Новое Время» № 1332, 7-го октября 1925 г. Он писал: «Я пробыл на съезде с начала и до конца, и съезд произвел на меня сильное и радостное впечатление. Как одно мгновение пролетела неделя в Хопове. Неприглядна и даже сурова была внешняя обстановка. Неприхотливая пища, ночевка на соломе «вповалку» в сыром и тесном сарае, усталость от долгих заседаний, сменяемых столь же продолжительными богослужениями, почти непрерывный дождь, превративший все окрестности в липкую грязь, — все это как-то не замечалось, все тонуло в духовной радости. Было сознание, что Господь посетил сердца русской молодежи и призвал ее свидетельствовать о имени Своем.

Против Движения говорят многие. С одной стороны, его упрекают в духовной гордости, с другой стороны, его называют «протестантским и чуть ли не масонским».» Автор статьи, после опровержения этих

обвинений, закончил ее следующими словами: «Словно богомольцы в Великий Четверг, разошлись из Хопова участники съезда, неся свечу чистой духовной радости. Нужно постараться, чтобы ее не затушили ни несправедливые обвинения, ни добродушный смех, ни мефистофельская улыбка скептиков, ни наша гордыня, порочность и леность».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ЖИЗНЬ В ЮГОСЛАВИИ И НАШИ СЕРБСКИЕ ДРУЗЬЯ

Н. Зернов

Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, возникшее на развалинах Австро-Венгерской и Турецкой Империй, переживало трудную переходную пору, когда оно открыло свои двери русским беженцам. Новое государство разрывалось на части соперничеством народов, населявших его. Сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, македонцы, далматинцы и босняки не доверяли и завидовали друг другу. Кроме них, Королевство включало арнаутов, немцев и венгров, стремившихся к национальной автономии. Эти трения усиливались благодаря различиям в религии: на востоке население было православное, на западе — принадлежало к католической церкви, часть его исповедывала ислам.

Нам, русским, было тяжело наблюдать этот балканский сепаратизм, мешавший нашим славянским братьям дружно работать для общего блага. Нам было также чуждо увлечение Францией, которым было охвачено столичное общество. Его политическим идеалом была радикальная, антиклерикальная идеология. Мечтой каждого сербского студента было попасть в Париж. Признаком принадлежности к высшей западной цивилизации считался атеизм. Сербы были упоены своей победой, сделавшей их маленькое королевство государством, с которым считались великие державы. Мы пришли из иного мира, потрясенного большевизмом, и сознавали его угрозу для Балкан, не умеющих найти свое единство. Мы пытались иногда делиться нашим опытом с сербами. Они не верили нашим рассказам и смотрели на нас, как на неудачников, желающих поучать своих счастливых хозяев.

В своей массе сербы были расположены к нам, русским. Они были радушны и гостеприимны, особенно «сельяки»-крестьяне. Но как все, кто долго страдал под иноземным игом, они были подозрительны и завистливы. Жить на сербской земле было легко, но сотрудничать с ними было трудно. Наша семья, как и большинство других русских, испытала тяжесть зависимости от распорядителей нашей беженской судьбы. Наши

студенческие стипендии были под постоянной угрозой сокращений или отмены. Труднее всего было положение нашего отца. У него не было никаких средств для существования кроме его врачебной практики, а она зависела от разрешения из министерства, которое возобновлялось каждой весной. Перед началом сезона начинались у нас волнения. Обычно моя старшая сестра брала на себя хождения по мытарствам. Приходилось искать доступа к влиятельным людям, просить их помощи, объяснять безвыходность нашего положения. Несколько раз ей удавалось чудом добиться в последний момент отмены рокового для нас запрещения практики. Но эти хлопоты имели и свою положительную сторону, благодаря им нам удалось встретиться с великодушными людьми, готовыми оказать помощь бесправным беженцам, которые, кроме искренней благодарности, не могли ничем заплатить за эту поддержку.

Случайная счастливая встреча моей младшей сестры познакомила нас с замечательной сербской девушкой, Надой Аджич (р. 1900). Она помогла нам лучше понять и оценить сербский народ. Наде было 23 года. Некрепкого здоровья, она была человеком большой внутренней силы и чистоты. У нее было красивое, спокойное лицо, большие карие глаза, широко открытые на окружающий ее мир. Она умела делить с другими их радости и горести и потому всегда была притягательным центром для своих многочисленных друзей. У нее было своеобразное сочетание народной мудрости, укорененности в «сербстве» с мягкой, нетронутой соблазнами, девичьей душой. Она была верующей, но по-своему. Например, она удивилась, узнав, что мы ходим на исповедь перед причастием. «В чем же вы исповедуетесь?» — спросила она нас, — «у меня нет грехов.» Ее слова в свою очередь поразили нас, но в ее устах они звучали правдиво. Только много позже, уже строгой и опытной игуменьей монастыря, она встретилась со всеми проявлениями греха в раздвоенной человеческой природе.

У Нады была двоюродная сестра Елица Попович, музыкантша, получившая образование в Париже и ставшая впоследствии профессором консерватории в Белграде. Елица стала устраивать в своем доме встречи между сербской молодежью и некоторыми членами нашего св. Серафимовского кружка. На этих собраниях мы обсуждали литературу, искусство и религиозно-философские вопросы. Таким образом, мы близко узнали многих даровитых и высоко культурных сербов. Среди них была известная поэтесса, Десанка Максимович (р. 1898), Иво Андрич (р. 1892) получивший Нобелевскую премию, и ряд будущих дипломатов и профессоров. Большинство из наших новых знакомых не были похожи на Наду. Они были оторваны от своих церковных и национальных корней. Считали себя принадлежащими к западной цивилизации, искали, но не имели веры и были отчуждены от Православия. Эта сто-

личная молодежь всем интересовалась, обо всем была готова рассуждать, но сама оставалась наблюдателем жизни, а не творила ее. Девушки этого круга нигде не служили, увлекались социализмом, мечтали о равенстве и братстве. Наша вера в обновляющую силу Церкви, наше отталкивание от революционного утопизма были непонятны молодой сербской интеллигенции. С огнем неофитов мы старались открыть им истину Православия. Нам не удалось достичь этой цели, но, несмотря на это, мы стали друзьями. В них была большая душевная привлекательность и в то же время какая-то бескрылость и обреченность. Близко столкнувшись с ними, я с тревогой думал о будущем, ставшей мне дорогой, Сербии. Эта идеалистически настроенная, но не верующая молодежь не могла помочь своей стране, она не имела цели в жизни и не хотела нести ответственности за нее.

Среди наших сербских друзей был только один человек, с которым мы нашли подлинное согласие, это был богослов иеромонах Юстин Попович.[1] Талантливый писатель, оригинальный мыслитель, глубоко верующий христианин, он разделял наши взгляды на Церковь и на задачи, стоящие перед ее членами. Коммунизм в его глазах был прежде всего восстанием секулярного человека против своего Творца. С черной бородой, с серьезным, редко улыбающимся лицом, он был представителем мужественного, бескомпромиссного сербского Православия, отличного от русского, с его большей теплотой и мягкостью. Многие сербы были равнодушны к религии, но те, кто жил в Церкви, были ревностны в соблюдении постов и обычаев и менее терпимы, чем многие из русских. Отец Юстин был одним из этих ревнителей. На наших собраниях он всегда выступал с огнем, его мысль была остра и часто парадоксальна. Сербы считали его фанатиком, сочувствие он находил у нас, русских.

Незадолго до нашего отъезда из Сербии он совершил обряд «побратимства» над Надой Аджич, моими сестрами и мною. Это, теперь почти забытое, таинство является особенностью сербского Православия. Оно связывает братскими узами тех, кто прибегает к нему. Совершив его над нами, о. Юстин дал нам сербскую сестру и, таким образом, породнил нас с сербским народом.

Через Наду мы приобрели и других друзей в Сербии, на этот раз из совсем другой среды. Мы сблизились с группой «сельяков», принадлежавших к движению «Богомольцев». Оно началось среди военнопленных в австрийских лагерях. Сербские солдаты стали там читать Священное Писание, которое произвело на них глубокое впечатление. Среди них нашлись талантливые самоучки, одушевленные истолкователи прочи-

[1] См. в конце главы Прилож. (I).

танного. Вернувшись на родину, они начали устраивать библейские кружки и привлекать на них своих односельчан. Самым замечательным в этом народном движении была его церковность, его участники не хотели создавать секту, но остались верны Православию. Этому во многом содействовал епископ Николай Велимирович. Он взял на себя руководство богомольцами, устраивал для них народные съезды, собиравшие тысячи паломников. Они проводили ночи под открытым небом, вокруг костров, в пении и молитве. Епископ, проповедник исключительной силы, вдохновлял их своими огненными словами.

В Врньячкой Бане, где мы провели два первые лета, во главе богомольцев стоял сельяк Жика. Он был типичный серб, высокий, поджарый, с горбатым носом и с суровым взглядом темных глаз. Местный священник не отличался особой ревностью и он предоставлял Жике возможность проповедовать в церковном дворе после службы. Говорил Жика просто, сильно, с целостной верой в спасительность Евангелия. Нада знала его, он пригласил нас к себе. Вся его семья жила в полном единстве с ним. Мы участвовали в молитвенном собрании в их просторном, безукоризненно чистом крестьянском доме. Православие соединило нас.

Дружба с Надой, встреча с богомольцами, помогли нам понять и полюбить Сербию. Нам стал близок дух ее народа, ее поэзия, ее своеобразная суровая красота. К сожалению, из-за нашей бедности мы не имели возможности побывать в сербских монастырях с их прекрасными фресками. В те годы только начиналось их изучение, и доступ к ним был очень труден, так как большинство монастырей было расположено в малодоступных, отдаленных местах.

В 1923 году мы имели радость соединения с двумя сестрами нашей матери и с нашей двоюродной сестрой. Мария Александровна Богушевская (1863-1937) не имела детей и она перенесла всю свою любовь на нас, став нашей второй матерью. Она, вместе с своей сестрой Елизаветой Александровной Калустовой (1879-1961), осталась жить в нашем доме, когда в 1920 году мы покинули Ессентуки. Они надеялись сохранить его для нас в случае нашего возвращения. Пережив и голод, и холод, и опасности ареста, они получили разрешение соединиться с нами в период ослабления диктатуры, совпавшей с болезнью Ленина. Их приезд восстановил единство нашей семьи.

Рассказы приехавших родственниц были удручающие, всюду царило насилие, разруха, нищета. Все темное, завистливое и жестокое выползло наружу. Густая, непроглядная тьма окутала нашу родину. Церковь раздиралась на части живоцерковниками, доносительство и вражда заразили и христиан. Острым контрастом с этой мрачной картиной была та духов-

ная свобода, которой пользовались мы. Все наши отношения с людьми строились на общности наших убеждений и взаимной симпатии. Мои сестры и я с братом составляли крепко спаянную четверку. Наше единство привлекало к нам другую молодежь. Мы отзывались на все стороны жизни, увлекались и увлекали других. Мы спорили, защищали свои мнения, часто крайние и не всегда до конца продуманные, но зато искренние. Мы жили в Церкви, она вдохновляла нас, открывала перед нами широкие горизонты, помогала осмыслить ту грозную эпоху, участниками которой мы были.

Наша созвучность становилась особенно полноценной каждым летом, когда мы все собирались вместе на курортах, где работал наш отец. Родители жили нашими интересами, и мы находили у них поддержку и мудрую помощь во всех наших начинаниях. Мы перенесли в Сербию тот священный домашний очаг, который создался в нашем доме в Ессентуках в дни красного террора. Мы были молоды, свободны, все вместе. Это было счастливейшее время нашей жизни в изгнании. Природа, окружавшая нас, была почти не тронута человеком. Стоило выйти за границы нашего маленького местечка, как мы попадали в девственный лес с его таинственной жизнью. Мы дышали упоительным, ароматным воздухом, слушали пение соловьев, любовались яркими, красочными закатами, а ночью искали любимые созвездия среди блестящих звезд.

Наше пребывание в Сербии совпало с переходными годами для эмиграции и для советской власти. «Н.Э.П.», болезнь и смерть Ленина, начавшаяся борьба за власть внутри партии указывали на перебои нового строя, давала передышку измученному населению. Люди, покинувшие родину, тоже еще не успели пустить корней заграницей и продолжали надеяться вернуться домой. Их связь с оставшимися была не окончательно порвана, получались письма, счастливцам удавалось вырваться на свободу. Все же росло сознание, особенно у нас, молодежи, что скорых перемен не следует ожидать и что нам нужно готовиться к долгим годам изгнания.

Югославия оказалась лишь этапом в нашей жизни за рубежом, нам предстоял еще долгий и сложный путь, который уводил нас далеко за пределы Европы.

ПРИЛОЖЕНИЕ (I)

Архимандрит Юстин Попович, один из самых выдающихся богословов сербской Церкви, родился 25 марта 1894 во Вранье. После окончания семинарии в Белграде, он учился в петербургской духовной академии, а во время первой мировой войны в Оксфорде. В 1926 году он получил докторскую степень в Афинах за свою диссертацию: «Про-

блема личности и познания у Макария Египетского.» Он принял монашество, когда ему было 22 года. С 1935 по 1944 год он был профессором богословия в Белграде. Коммунисты лишили его права преподавания, и с 1948 года он стал духовником женского монастыря Челие около Вальева. Им издан целый ряд богословских трудов. Среди них следует упомянуть «Догматику Православной Церкви» 2 тома (1932-1935), «Гносеологию Св. Исаака Сирина», «Достоевский, Европа и Славянство» (1940), «Св. Сава и Его Философия Жизни» (1935), «Философские Бездны» (1957). Осенью 1968 года о. Попович получил почетную степень доктора богословия от Владимирской Православной Семинарии в Нью-Йорке. Его краткая биография и список его ученых трудов даны в журнале семинарии: St Vladimir's Theological Quarterly. Vol. 13. № 1-2. 1969.

Семья Зерновых в Париже 1927 г.

Владимир Михайлович, Мария Михайловна, София Михайловна, Милица Владимировна, Николай Михайлович, София Александровна, Михаил Степанович, Мария Александровна Богушевская

Владимир Андреевич Лавро́в (1935)

Александра Никаноровна Лаврова (1935)

Николай Михайлович Зернов

Милица Владимировна
Лаврова-Зернова

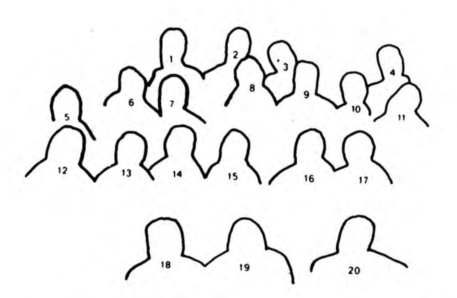
София Михайловна Зернова

Мария Михайловна Зернова-Кульманн

Владимир Михайлович Зернов

Розмари Баумли-Зернова

Белградский православный кружок. 1923



1. Н.М. Зернов 2. П.С. Лопухин
3. К.Э. Керн 4. Д.А. Клепинин
5. Ю.Б. Бек-Софиев
6. С.С. Безобразов 7. Л.Г. Иванов
8. В.М. Зернов 9. И.И. Троянов
10. И.П. Расторгуев
11. Н.М. Терещенко
12. В.В. Зеньковский
13. В.М. Борель 14. М.М. Зернова
15. Кн. А.В. Оболенская
16. С.М. Зернова 17. О.М. Веригина
18. Н.Н. Афанасьев
19. Н.А. Клепинин 20. М.К. Борель

Съезд Движения в Клермоне. 1928 г.
священники в центре: о.А. Калашников, Митр. Евлогий, о.С. Четвериков
о. Лев Жилле.

Густав Густавович Кульманн

Секретариат Движения:
Н.М. Зернов
И.А. Лаговский
Л.Н. Липеровский
В.В. Зеньковский (предс.).
о.С. Четвериков.
С.М. Зернова.

Замок Монжерона - Русский Детский Дом

Русские дети на пути из Парижа
в Швейцарию (1938)

Одна из групп студентов колледжа в Патанамтитта. /Индия 1954/

Освящение постройки Церкви
в Оксфорде
12 ноября - 1972.

После получения Н.М. Зерновым степени
Доктора Богословия в доме Св. Григория
в Оксфорде.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПАРИЖСКАЯ ЭПОПЕЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПАРИЖ СТОЛИЦА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Н. Зернов

В течение 1925-1927 годов наша семья постепенно перебралась из тихой, провинциальной Сербии в шумный, блестящий Париж. К этому времени все самое выдающееся и предприимчивое среди русских собралось во Франции. Наверное около 150-ти тысяч бывших граждан Российской Империи нашли в ней свое убежище, и значительное число их сосредоточилось в Париже и его окрестностях.[1]

Внутри столицы Франции образовался русский городок. Его жители могли почти не соприкасаться с французами. По воскресеньям и праздникам они ходили в русские церкви, по утрам читали русские газеты, покупали провизию в русских лавченках и там узнавали интересовавшие их новости; закусывали они в русских ресторанах или дешевых столовых, посылали детей в русские школы; по вечерам они могли ходить на русские концерты, слушать лекции и доклады или участвовать в собраниях всевозможных обществ и объединений.

В то время пользовался популярностью следующий анекдот: встречаются два старых приятеля. Первый спрашивает другого: «Ну, как тебе живется в Париже?» «Да ничего, отвечает второй, жить можно, город хороший. Одна беда, слишком много французов». Были русские, которые действительно так думали. Они даже не учились говорить по французски, жили исключительно в своей беженской среде. Все их

---

[1] P. Kovalevsky «La dispersion russe» Chauny 1951, page 2. П. Ковалевский. «Зарубежная Россия». Париж 1971. Стр. 31.

интересы были сосредоточены на покинутой родине, и многие из них долгие годы надеялись туда вернуться.

Но одними мечтами жить было нельзя и надо было искать заработка у тех же французов. Франция в те годы нуждалась в рабочей силе и давала иностранцам разрешение на въезд. Однако, они не могли свободно выбирать свою профессию, и на их документах стояла отметка, часто мешавшая им получить лучше оплачиваемый и менее тяжелый труд.

Лиц со средствами среди русских было немного. Еще менее было в первые годы людей, умевших использовать свой капитал. Многие состоятельные русские проживали вывезенные из России деньги, рассчитывая на перемены на родине. Но они были исключением. Большинство беженцев приехало во Францию без всяких средств. К тому же многие не знали языка и не имели подходящих профессий. Все имущество их умещалось в одном или двух дешевых чемоданах. Они были представителями пролетариата, который согласно коммунистической доктрине, должен возродить человечество. Единственно, что они могли предоставить капиталистическому рынку, это свои рабочие руки. Хуже всего пришлось тем, кто попал на заводы в провинцию. Другие устроились на автомобильные фабрики в Бианкуре под Парижем, многие сели за руль парижских такси. Те, кто знал французский язык, получили работу в конторах. Женщины стали портнихами, раскрашивали шарфы, делали игрушки, или существовали на другие случайные заработки.

В массе своей русские показали свою работоспособность, добросовестное отношение к своим обязанностям и выдержку. Только небольшая часть эмиграции не выдержала посланных ей испытаний, спилась, опустилась и пошла ко дну.

Большой моральной поддержкой для русских было сознание, что они выбрали изгнание из-за любви к России, так как не могли примириться с большевистским насилием. Их трудовая жизнь на западе, полная лишений, была свидетельством миру, что среди русских были люди, не подчинившиеся тирании и оставшиеся верными идеалам свободы и чести своей страны.

Эти убеждения помогли эмигрантам не сломиться, сохранить свое достоинство, остаться культурными, мыслящими людьми, несмотря на тяжелый, непривычный труд и неуверенность в своем будущем. Самой тревожной стороной эмигрантского существования была угроза безработицы. Каждый раз, когда начиналось сокращение производства, первыми лишались заработка беззащитные русские, затем другие иностранцы, и только в последнюю очередь французы. Несмотря на все эти трудности, все же материальное положение русских изгнанников по мере их знакомства с языком и условиями жизни в новой стране постепенно улучшалось.

В области политики русская эмиграция не нашла единства. Только решительное отвержение ленинской и сталинской диктатуры объединяло ее. Большинство было настроено демократично. Конституционные монархисты имели свой орган — «Возрождение», основанный А. О. Гукасовым (1872-1969). Его сначала (1925-1927) редактировал П. Б. Струве (1870-1944), потом он же издавал еженедельник «Россия» (1927-1928), а затем «Россия и славянство» (1928-1929). Самая известная эмигрантская газета, «Последние Новости», возглавлялась П. Н. Милюковым (1859-1943), занимавшим более левую, республиканскую позицию. Крайние монархисты печатали свой орган «Двуглавый Орел» в Германии, где был их центр. Социал-революционеры группировались в Чехии, где они получали государственную поддержку. Их орган был: «Воля России».

Эти дореволюционные партии не удовлетворяли многих. Особенно молодежь не умещалась в них. Возникли новые движения, стремившиеся перекинуть мост в Советскую Россию, надеявшиеся на внутреннюю эволюцию режима. Таковой была программа Евразийцев, Младороссов, Утвержденцев и других подобных группировок.

Политика однако захватывала меньшинство, только немногие делались членами партий. Зато большой популярностью пользовались различные общества и объединения, как Обще-Воинский союз, Галлиполийское собрание, Московское и Одесское землячество, общества бывших воспитанников различных высших и военных училищ, кадетских корпусов и женских институтов. Корниловцы, Марковцы, Дроздовцы и имперские полки тоже объединяли своих однополчан. Казаки имели свои «станицы» и своих атаманов. Грузины, армяне, евреи, калмыки имели свои национальные учреждения. Несколько иной характер носили: Общество Врачей имени Мечникова, Союз Инженеров, Торгово-Промышленный Комитет, Академическая Группа и Академический Союз, Союз Писателей и Журналистов. Это были профессиональные объединения, которые соединяли людей по признакам их работы уже во Франции. В эти годы в Париже было более трехсот русских организаций. Все эти общества устраивали заседания, обеды, «чашки чая», служили молебны и панихиды. Приходя на эти собрания, шоферы такси или рабочие завода снова становились полковниками или мичманами флота, портнихи — институтками, скромные служащие — сенаторами или прокурорами.

В эмиграции было много творческих сил, они проявляли себя во всех областях жизни. Видное место занимала литература. Лучшим толстым журналом были «Современные Записки» (1920-1940). Его редакторами были Н. А. Авксентьев (1878-1943), Марк Вишняк (р. 1883), И. И. Бунаков-Фундаминский (1880-1942), В. В. Руднев (1879-1940). Все они были

социал-революционеры в прошлом, но журнал не носил узкопартийного характера и объединял широкие круги демократической, свободолюбивой интеллигенции. Один из редакторов, Фундаминский, исповедовал своеобразное Нео-Славянофильство.

Среди писателей и поэтов, живших во Франции, выделялись И. А. Бунин (1870-1953), Д. С. Мережковский (1865-1941), его жена З. Н. Гиппиус (1869-1945), И. С. Шмелев (1873-1950), А. М. Ремизов (1877-1957), Алданов — М. А. Ландау (1886-1959), Б. К. Зайцев (1881-1972), Тэффи — (Н. А. Лохвицкая) (1875-1952), В. О. Ходасевич (1886-1939), Б. Ю. Поплавский (1903-1935) и Г. В. Адамович (1894-1972).

Одна группа поэтов встречалась по воскресеньям у Мережковских и участвовала в кружке, носившем название «Зеленая Лампа». Другие поэты и писатели объединялись вокруг журналов «Числа» (1930-1934) и «Утверждения» (1931-1932). Последний носил ярко левый политический характер. Альманах «Круг», выходивший в течение 1936-1938 годов, стремился объединить молодых писателей и поэтов с представителями религиозного возрождения. Религиозно-философская мысль имела свой орган — журнал «Путь», издававшийся Бердяевым. Его сотрудники защищали свободу религиозной мысли, необходимость для православных участвовать в социальной и экуменической работе. «Вестник Р. С. Х. Д.» (Русского, Студенческого, Христианского Движения) развивал те же идеи, информировал о церковной жизни за рубежом и давал подробные отчеты о борьбе с религией, которая велась коммунистами в России.

Мир театра, музыки, балета и живописи блистал всемирно известными именами: Ф. И. Шаляпина (1873-1938), С. В. Рахманинова (1873-1943), А. К. Глазунова (1865-1936), Н. К. Медтнера (1879-1951), И. Ф. Стравинского (1882-1971), Анны Павловой (1881-1931), Н. Балиева (ум. в 1939), К. А. Сомова (1869-1939), А. Н. Бенуа (1870-1960), М. В. Добужинского (1885-1957), А. Е. Яковлева (1887-1938), Б. Д. Григорьева (1886-1938), Ларионова (1881-1964), Натальи Гончаровой (1883-1964) и многих других. Кроме искусства, эмиграция во Франции выдвинула выдающихся людей в отраслях науки, техники и промышленности. Вклад в этих областях стал особенно заметен, когда подросло второе и третье поколение, получившее образование во Франции.

Совсем особую роль в судьбах эмиграции и в жизни русского Парижа играла Церковь. Она была главной объединяющей силой, возвышавшейся над партийными разделениями и материальными различиями. В храмах встречались люди разных мировоззрений, удачники и неудачники, те кто упорно продвигался вверх по ступеням благополучия, и те, кто не думал о завтрашнем дне.

Во главе церковного управления стоял выдающийся по уму и по умению объединить вокруг себя творческие силы митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868-1946).[2] В России он был известен, как член Думы, в которой он занимал правое крыло монархистов. В эмиграции он повел Церковь по руслу внепартийности и этим сумел привлечь поддержку широких кругов русских изгнанников. Большой и грузный, с длинной бородой, он принимал всех своих посетителей с лаской и сочувствием. Он охотно давал свое благословение на самые разнообразные начинания и мог легко казаться мягким и на все соглашающимся, но в действительности он был человеком, умевшим добиваться своих целей и правильно разбиравшимся в сложной обстановке, окружавшей его. Он оказался подлинным строителем церковной жизни в эмиграции. Его главным достоинством было сознание, что новые условия изгнания требуют новых форм работы. Он поощрял инициативу, часто выходившую далеко за пределы дореволюционного опыта. Он не боялся нововведений и этим отличался от большинства других епископов и священников, которые со страхом и подозрением относились ко всему, что не было знакомо им раньше.

Главной церковью Парижа был собор Александра Невского, освященный в 1861-ом году.[3] До начала второй мировой войны этот прекрасный храм оставался осколком павшей империи. Среди молящихся в нем можно было увидать высокие силуэты великих князей, вождей Белых Армий, героев великой и гражданской войны, бывших министров, дипломатов, членов Думы. Среди этих сановников выделялась прямая, подтянутая фигура графа В. Н. Коковцева (1853-1943), не пропускавшего ни одной воскресной службы. Писатели, художники и артисты, наряду с другими эмигрантами, образовывали живописную, оживленную толпу, заполнявшую не только обширный храм и церковный двор, но даже и всю прилегающую улицу Дарю. Все, кто хотел встретить знакомых, окунуться в русскую атмосферу, стремились попасть туда.

В самом храме долгое время сохранялись традиции прошлого. Духовенство было старое, не пережившее революции. Протодьякон Тихомиров заполнял своды храма своим прекрасным басом. Хор Н. П. Афонского (1892-1971) пел концертную музыку. Мужчины во время службы, здороваясь, целовали руки дам. Стулья, стоявшие вдоль стен, были отмечены визитными карточками их владельцев, носивших часто громкие и титулованные имена.

---

[2] Его жизнь и деятельность описаны в «Путь Моей Жизни» — Воспоминания Митрополита Евлогия. Париж, 1947.

[3] См. Александро-Невский Собор в Париже. 1861-1961. Париж, 1961.

Собор, однако, не мог удовлетворить потребностей растущей эмиграции. В 1925-ом году митрополиту Евлогию удалось, в день памяти св. Сергия Радонежского, приобрести на торгах большой участок земли на улице Кримэ и создать там Сергиевское Подворье с богословским институтом, который привлек со всех стран рассеяния молодежь, горевшую желанием отдать себя всецело служению Церкви. Во главе академии встали епископ Вениамин и о. Сергий Булгаков. Профессорами были приглашены известные деятели церковного возрождения: Карташев, Вышеславцев, Зеньковский и другие. Состав студентов не был однороден, среди них были и очень традиционно настроенные и искавшие новых путей церковной жизни. Атмосфера, создавшаяся на Подворье, была совсем иная, чем на Дарю. Отец Сергий служил с горением духа и заражал им молящихся. На службы в Подворье стали собираться ревнители благочестия. Оно стало молитвенным центром для членов Движения.

Вскоре стали возникать и другие приходы в разных кварталах русского Парижа. В 16-ом арондисмане жили более состоятельные беженцы, там же сосредоточились русские писатели и артисты. Основная масса поселилась в 15-ом арондисмане и в пригородах Кламара и Медона. В Биянкуре, вокруг автомобильных заводов, обычно в дешевых отелях, селились работавшие на фабриках. Приходы этих районов отражали социальные слои своих прихожан. Храмы устраивались в гаражах, в сараях, иногда в частных домах. Их было около 30-ти в Париже и его окрестностях. Всюду появлялись любительские хоры, были созданы школы для изучения Закона Божия и русского языка. Сестричества убирали церкви и помогали нуждающимся. Кроме о. Булгакова, большой популярностью пользовался о. Георгий Спасский (1877-1934), талантливый проповедник, собравший вокруг себя многих почитателей,[4] и о. Сергий Четвериков (1867-1947), опытный духовник и настоятель Введенской церкви, устроенной позднее Р. С.Х. Движением.[5] Незадолго до второй мировой войны, в Париж приехал архимандрит Киприан Керн (1899-1960), сразу приобретший известность своим уставным служением и исключительным знанием литургического богословия.

Несмотря на утомительный и часто плохо оплачиваемый труд, среди эмигрантов всегда находились люди, готовые отдавать свое время на работу для общей пользы. Русский Париж был полон жизни и деятельности. Источником его вдохновения оставалась Россия, желание помочь и послужить родине объединяло большинство. Боль за то, что

[4] О. Георгий Спасский. Париж, 1938.

[5] Автор многих книг об Оптиной пустыни и ее старцах.

происходит там, сострадание жертвам коммунистического террора, обрекавшего на мучения и смерть миллионы часто лучших русских людей, глубоко переживались всеми.

Небольшая группа пыталась тайком проникнуть на родину и, таким образом бороться с сталинистами, но подавляющее большинство видело безнадежность этих попыток и считало своей миссией сохранение и приумножение ценностей русской культуры, систематически уничтожавшейся коммунистами. Среди более молодого поколения росло сознание, что пребывание в Европе дает возможность многому научиться у Запада и кое-чему научить его представителей. Подобное взаимное обогащение происходило и в области искусства и науки, и еще более в сфере религиозной и философской мысли.

Одной из характерных черт духовной жизни эмиграции была ее полная внутренняя свобода, что составляло резкий контраст с тем, что было в России. Французы совершенно не вмешивались в русские дела. Каждый мог основать свое общество, устроить собрание, начать печатать журнал или издать книгу. Несмотря на ограниченность средств, эмигрантская литература процветала. Свобода пробуждала мысль, приучала к большей терпимости и помогала исканию правды.

Тот дух свободы, которым дышали русские изгнанники, делал в их глазах новый правящий класс, представлявший идеи третьего интернационала не только паразитом, угнетавшим народ, но и жалким прислужником всемогущего диктатора. Эмигранты потеряли родину и все свое имущество, но они были свободны. Советские бюрократы имели все материальные преимущества, но они были рабы, дрожавшие за свою жизнь. По мнению изгнанников они не имели права говорить от лица русского народа. Тогда как сталинисты считали эмигрантов людьми, потерявшими всякую связь с действительностью и окончательно выкинутыми из жизни.[6]

Вторая мировая война внесла изменения в эту оценку. Войной закончился первый, наиболее значительный, период в истории русской эмиграции во Франции. Старое ведущее поколение сошло в могилу, на его смену пришло новое, менее многочисленное, но зато приобретшее то знание Запада, которого часто не хватало их отцам. Хотя оно не утеряло связи с православной культурой и Россией, однако его служение стало носить другой характер.

Значительным фактором явилось также появление новых беженцев из России. Ими были преимущественно те жители Советского Союза, которые были вывезены немцами на работы в Германию и военнопленные, которые не захотели возвращаться под власть коммунистов. Они стали известны под именем «Ди-Пи», то есть «Displaced Persons» (Перемещенные

---

[6] См. в конце главы Прилож. (I).

лица). Своим мировоззрением и социальными привычками они во многом отличались от старой эмиграции. В своем большинстве они быстрее приспособились к экономическим условиям западных стран, будучи сильнее заинтересованными в материальном благополучии. Однако, главным связующим звеном между ними и старой эмиграцией оказалась все та же Церковь.

[6] ПРИЛОЖЕНИЕ (I)

Характерное для советской бюрократии отношение к русским эмигрантам, как потерявшим право называться русскими, находится в статье Цецилии Кан «Страницы Прошлого». «Новый Мир» №№ 5 и 6. 1969. Она и ее муж, Виктор Кан, представлявший ТАСС в Париже (1931-1936), принадлежали к той высококультурной еврейской ителлигенции, которая с энтузиазмом пошла на служение интернациональному коммунизму. Автор описывает своих друзей из среды советских дипломатов, ревностно служивших партии. Среди них она упоминает Марселя Розенберга, Шалома Дворацкого, Виктора Шнейдера, Марка Гельфинга, Матильду Рихтерман. В своих сношениях с французами Цецилия Кан никогда не пропускала случая подчеркнуть, что она и ее друзья были «настоящие русские», а не эмигранты, которые потеряли право называться ими. В конце статьи автор отмечает, что, несмотря на свою преданность Сталину, большинство ее друзей были по ошибке ликвидированы во время «Ежовщины».

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПАРИЖСКИЕ ГОДЫ

Н. Зернов

В октябре 1925 года мы со старшей сестрой очутились в сложном мире русского Парижа. Передо мной встала нелегкая задача расширить и укрепить работу студенческих религиозных кружков и получить духовную и материальную поддержку для нее у русского общества. Хотя моя сестра не считалась секретарем Движения, она отдала себя всецело той же задаче.

Наши скромные студенческие стипендии, обещанные нам всего на год, требовали строгой экономии. Мы сняли маленькую квартирку в Латинском квартале, недалеко от чудесной церкви Сент Етьенн де Монт, где хранились останки Св. Женевьевы (422-500), покровительницы Парижа, и закрутились в новой для нас, напряженной жизни. Посещения кружков, встречи с людьми, переписка с руководителями Движения в других странах Европы, всевозможные организационные собрания брали все наше время. Но энергии у нас обоих было много и мы успевали осматривать Париж и ходить на лекции в Сорбоне, и заниматься иностранными языками. Питались мы в дешевых студенческих столовых, где можно было есть хлеб без ограничения. Весь день на ногах, мы приходили домой поздно ночью, чтобы с утра снова начать нашу деятельность. Мы старались не пропускать церковных служб и, из-за больших парижских расстояний, на это уходило много сил. (Поездка на Сергиевское Подворье, например, брала не менее 2-х часов пути).

Наряду с этой напряженной работой, на нас легла и другая задача, — устроить переезд в Париж остальных членов нашей семьи. Главный вопрос, вставший перед нами, был найти заработок для моего отца. Студенческие стипендии не могли обеспечить всех нас. Официально, иностранным врачам во Франции практика была запрещена, однако власти смотрели сквозь пальцы на тех русских, которые лечили только своих соотечественников, временно, как тогда многим каза-

лось, очутившихся во Франции. Все же необходимо было заручиться и для этого каким-нибудь прикрытием, и нам пришлось потратить много времени и сил для выяснения условий этой, полулегальной, работы. Одновременно мы начали поиски квартиры для наших родителей. Она должна была быть и недорогой, и в центре русской колонии, и с удобными сообщениями. По неопытности, мы сначала сняли дорогую и неподходящую для доктора квартиру, но, к счастью, нам удалось переменить ее на другую, на улице Вожирар, в доме где наша семья прожила более 45 лет. Наши родители с сестрой матери приехали в Париж осенью 1926 года, младшая сестра и брат присоединились к нам, как только они окончили свое ученье в Белграде.

Этот следующий этап в наших беженских странствованиях, как и предыдущие переезды в новую страну, дался нам сначала нелегко. Мы не знали, сможет ли отец развить свою практику в Париже, нам приходилось экономить во всем. Ютились мы в большой тесноте, сестры спали в приемной для больных, мы с братом — в малюсенькой мансарде, предназначавшейся для прислуги. Обстановка была убогая, вещи оставались в чемоданах. Это переустройство потребовало особенно много усилий от старшего поколения нашей семьи. Нашему отцу было уже 70 лет, и ему приходилось начинать все сначала, приспособляться к новым условиям работы, привыкать к новому языку, изучать огромный город. Он прекрасно справился с этой трудной задачей. У него быстро развилась практика среди русских. Больных он принимал и на дому, и посещал пациентов на их квартирах. До конца своей жизни он сохранил полную работоспособность, ездил в душном переполненном метро, подымался по крутым лестницам на мансарды, где часто селились русские беженцы, ходил по дешевым отелям. Медицинская практика требовала от него много сил, но он не мог отказаться и от общественной работы, которой он отдавал себя всюду, куда бы ни заносила его судьба.[1] Его любимым детищем в Париже стало Московское Землячество. Основано оно было в 1922 году, но начало процветать только когда он был выбран его председателем. Он расширил рамки благотворительности Землячества, включив в них всех русских, независимо от их происхождения, считая, что как Москва была сердцем России, так и Московское Землячество должно помогать всем нуждающимся. Передо мною лежит небольшая книжечка, — отчет о работе Землячества за 1936 год. В нем сказано, что за 10 лет председательства моего отца, было собрано более 300,000 франков. Традицион-

[1] Автобиография моего отца, описывающая его общественную деятельность, как в Москве, так и на Кавказе, напечатана в первой книге этой хроники — «На Переломе». Париж. 1970 год.

ный Татьянин бал давал от 10-ти до 12-ти тысяч,[2] остальные средства собирались путем членских взносов и пожертвований.

Крупных благотворителей не было, мой отец верил, что скромные суммы от многих лиц дают возможность оказывать существенную помощь неимущим. Собранные средства шли на стариков, инвалидов и на студенческие стипендии, среди которых 16 были именные: в память Достоевского, Ключевского, Кизеветтера, Платонова, Муромцева, Пирогова, Павлова, братьев Гучковых и других известных москвичей. В своем годичном докладе мой отец писал:

«Во всякой общественной благотворительности, самое трудное задание, требующее энергии, а иногда даже самоотверженности и непременно личной щедрости, это — собирание средств и привлечение сотрудников. Вторая задача, несравненно более легкая, — справедливое распределение помощи. В этом — общественная благотворительность резко отличается от бюрократической, которая получает готовые средства для своей работы».

Отец был убежденным сторонником общественной самодеятельности и он постоянно обращался к русским в Париже, прося их откликнуться на нужды их соотечественников. Его усилия не пропадали даром, он сам показывал пример жертвенности, и другие следовали за ним. Такую же отзывчивость он проявлял по отношению к своим больным, никогда не отказывая в бесплатной помощи нуждающимся, по неписанной традиции дореволюционных русских врачей.

Верной помощницей и постоянной сотрудницей моего отца была наша мать. Она обладала редким даром организатора и была в то же время прекрасным педагогом.[3] В Ессентуках на Кавказе она несла со своим мужем ответственность за ведение благотворительного общества «Санаторий». В Париже она деятельно участвовала в работе Землячества и давала уроки. Особенно она хорошо преподавала любимые ею классические языки. Ее главной заботой была, однако, наша семья. Она вела все наше хозяйство, готовила, убирала, ходила на базар. Жизнь в Париже была нервная и утомительная. Мать волновалась, когда отец долго не возвращался домой, беспокоилась и о нас, беспрестанно путешествовавших по миру. С детства она ухаживала за нами в течение наших частых болезней и продолжала тревожиться о нашем здоровье, хотя мы уже давно вышли из детского возраста.

Долгое время наши родители не уезжали на отдых из

---

[2] Церковь Московского Университета была посвящена Святой Мученице Татьяне. В день ее памяти, 12-го января, в Москве всегда устраивался традиционный бал.

[3] Записки моей матери о ее детстве и юности, а также об ее деятельности в Ессентуках напечатаны в первой книге нашей семейной хроники, «На Переломе» Париж, 1970 год.

Парижа. Только когда моя младшая сестра, выйдя замуж, переехала в Швейцарию, они смогли проводить свои каникулы на берегу чудесного Женевского озера, в гостеприимном доме своего зятя, наслаждаясь обществом маленького внука.

Сестра матери, тетя Маня, вносила свой особый вклад в нашу парижскую жизнь. Она труднее других примирялась с эмигрантским существованием. Ей было тяжело, что моя сестра ходит по Парижу, собирая деньги для работы Движения, что я получил стипендию от иностранцев для моей докторской работы в Оксфорде. Она не могла принять огрубевшего пореволюционного мира, мечтала о старой России. Мы, молодежь, не спорили с ней, мы ее нежно любили, но знали, что прошлое ушло без возврата со всем, что было у него хорошего и плохого.

Переезд и устройство наших родителей в Париже совпало с новыми событиями в нашей семье. Незадолго до их прибытия я стал женихом. Осенью 1927 года была моя свадьба с Милицей Владимировной Лавровой. Осенью 1929 года я уехал на всю зиму в Англию, потом два года я учился в Оксфорде, а в 1935 году мы с женой окончательно перебрались в Лондон.

В 1929 году вышла замуж моя младшая сестра за доктора Кульманна. Сначала они поселились в Дрездене, но в 1931 году он получил пост секретаря Лиги Наций по отделу интеллектуального сотрудничества, и они обосновались в Женеве. До своего замужества моя сестра занималась работой с молодежью. Ей удалось провести некоторое время в Лондоне, где она познакомилась с юношескими клубами. В Париже она изучала методы работы католиков с молодежью. На основании этого опыта она создала Содружество для юношества при Р.С.Х.Д., которое также устраивало по воскресеньям клуб, открытый для всех. Оба эти начинания имели большой успех, но с отъездом сестры их работа постепенно заглохла.

Судьба старшей сестры и брата, наоборот, оказалась тесно связанной с Францией и Парижем. В 1931 году Соня перестала быть секретарем Движения и переключилась на другую общественную деятельность по приисканию труда для русских беженцев. Во Франции в тридцатых годах началась безработица, и в первую очередь лишались заработка русские. Благодаря ее энергии и умению завоевывать доверие в самых различных кругах, включая французскую администрацию, моей сестре удавалось устраивать на работу очень многих русских, а также выхлопатывать нужные им документы, что было иногда сделать труднее, чем что-либо иное. В самое тяжелое положение попадали те русские, которые за какие нибудь часто незначительные провинности, получали приказ выехать из Франции. Другие иностранцы могли вернуться в свою страну, но русским беженцам некуда было ехать. Полиция отправляла их в соседние страны, но там их не принимали

и они были принуждены возвращаться во Францию. Тут их ждала тюрьма в наказание за незаконный переход границы, а затем новая высылка. Эти люди оказывались в безвыходном положении, кочуя из одной тюрьмы в другую. Моей сестре удалось спасти многих из них и дать им возможность вернуться к нормальной жизни. Это была напряженная работа, часто вся судьба человека зависела от успеха в хлопотах сестры. Ей пришлось столкнуться с самыми разнообразными типами беженцев и близко соприкоснуться с их жизнью.[4]

Сначала она действовала от лица Обще-Воинского Союза (1932-1934), а потом создала свой «Центр Помощи Русским в Эмиграции», и стала его секретарем. Кроме этой ответственной работы, она продолжала сотрудничать с Р.С.Х.Д. и с Англо-Православным Содружеством. Ей часто приходилось ездить за границу, включая Америку, где она нашла верных друзей.

Когда моя младшая сестра поселилась с мужем в Женеве, они обе стали организовывать бесплатные каникулы для нуждающихся детей. Вначале это дело находилось в руках еврейских организаций, но швейцарцы охотно согласились приглашать и русскую эмигрантскую детвору. Старшая сестра составляла списки бедных семейств в Париже, младшая находила для детей подходящие места. Работа оказалась живой и полезной для обеих сторон. Швейцарцы, привыкшие к комфортабельной, спокойной жизни, прикоснулись к трагическим событиям, постигшим нашу родину. Для детей поездки в Швейцарию были не только летним отдыхом, но также и встречей с добросердечными людьми, окружавшими их лаской и заботой. Многие из этих детей никогда не выезжали из Парижа и не жили на лоне природы. Число посылаемых детей быстро росло: в 1935 году было послано 50 детей, в 1936 — 130, а в 1939 — 600.[5]

Более взрослую молодежь сестра отправляла на лето в Англию. Знакомство с своеобразными условиями английской жизни раскрывало перед этими юношами и девушками иные перспективы и отрывало их от эмигрантских будней. Усовершенствование в знании языка было для них существенной помощью в их работе.

Брат, приехавший во Францию только в 1927 году начал работать в Пастеровском Институте. Одновременно он приступил к сдаче экзаменов, необходимых для иностранных врачей, желающих получить право практики во Франции. Он добился своей цели в 1935 году. После войны в 1945 году он покинул Институт и всецело отдался работе практикующего доктора.

---

[4] См. в конце главы Приложение I

[5] См. П. Ковалевский. Россия за рубежом. Париж, 1971, стр. 65, и «Возрождение» № 234, июнь, 1971, стр. 130.

Постепенно наша семья разделилась на три части — парижскую, лондонскую и женевскую. Несмотря на это, мы поддерживали самую близкую связь друг с другом и наша квартира на Вожирар осталась центром для всех нас — и не только для нас: она сделалась широко-известной русскому Парижу. Приемная отца и брата была полна пациентами, кроме них постоянно приходили лица, просившие пособия от Московского Землячества. У нас также устраивались разные встречи русской и иностранной молодежи, собирался комитет Землячества и других организаций. Невзирая на скудность нашей обстановки и тесноту, мы все любили приглашать к себе друзей. По пятницам к нам приходили гости. Мама пекла сладкий пирог, и с четырех часов начинал раздаваться звонок, собиралось разнообразное общество, как наши знакомые, так и знакомые родителей. У нас встречались старые москвичи, профессора, студенты богословского института, члены Движения. Приходили и одинокие люди, хотевшие выпить чашку чая и поговорить по душам. Они часто сидели часами, это было утомительно, так как темы, занимавшие их, мало менялись, а посещали они нас каждую пятницу. Наши родители, и особенно тетя Маня, терпеливо выслушивали их и принимали их с теплым гостеприимством.

До конца жизни отец и мать живо отзывались на вопросы современности, глубоко переживали все, что происходило в России, и трудились каждый на своем поприще, но все же в центре их интересов были мы, дети. Они разделяли с нами все наши и удачи и неудачи, принимали к сердцу и мою миссионерскую и литературную работу в Англии, и работу моей жены в лондонском госпитале, и помощь безработным моей старшей сестры, и дипломатическую деятельность доктора Кульманна, в которой ему помогала Маня, и, конечно, медицинские успехи брата.

Мы старались быть вместе на Рождество, на Пасху, и во время летних каникул. Эти семейные встречи давали нам возможность рассказать друг другу о нашей работе, поделиться опытом, заручиться советами. Беседы наши были согреты любовью и трепетным вниманьем наших старших. Родители моей жены были также близки нам по духу, также делили с нами нашу жизнь и давали нам ласку и вниманье. Приезжая в Париж мы с женой попадали в круг двух любящих семейств.

Эта полнота взаимного общения стала подвергаться испытаниям со второй половины тридцатых годов. В 1936 году умер, от рака горла, Владимир Андреевич Лавров, в начале января 1937 года умерла в Сербии старшая сестра матери, Елизавета Александровна Калустова, 29-го апреля скончалась наша любимая тетя Маня, а в 1938 году, от разрыва сердца, умер отец.

Приближался новый период, не только нашей семейной,

но и обще-человеческой жизни. Вскоре началась Вторая Мировая Война.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ (I)

Вот страница из дневника сестры того времени. «24 фев. 1939. Серый день, дождь, просыпаешься с желанием спрятаться под одеяло и не вставать. Утром поехала к министру Тьерри. Он слушал с большим интересом о русской эмиграции, работающей на заводах или как таксисты и нисколько не разбогатевшей. Казалось, что он как будто совсем не знал, что в Париже существует русский город. Он даже спросил, нет ли у меня мемуаров о русской жизни. Я ответила, что напишу их, если попаду в тюрьму.

В 3 часа прием в Бюро. Пришла М., ее муж бежал в Бельгию, его разыскивает полиция. Она скрывает это от своих детей. Вид у нее потерянный, она не уходит, ей не с кем поговорить, показывает его отчаянные письма. Пришла К., ее жених в тюрьме, его высылают из Франции, а ему некуда ехать. Она плачет и умоляет спасти. Пришла мать Пети Арбузова, он умирает от туберкулеза в Давосе, просила переменить его просроченную карточку. Была Петерсон, ее муж умирает, а у нее нет разрешения на работу. Взяла у них всех бумаги, пойду завтра о них хлопотать. Приходил калмык, жена умерла, он слеп на один глаз и голодает. Я поместила двух его мальчиков в Швейцарию. Одна из семей, их приютивших, хочет усыновить одного из них. Он не соглашается, говорит: «Вернемся в Россию, как же я приеду без сына?».

Много других просителей, одни ищут работы, другие выправки документов, третьи рассказывают о своем горе. Сегодня отправила в Швейцарию еще трех мальчиков. Так идет жизнь.»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОМОЛВКА

Н. Зернов

Я встретил свою будущую жену, Милицу Владимировну Лаврову, на первом съезде представителей русских христианских кружков в замке в Пшерове осенью 1923 года. Я слышал о ней от моих сестер, познакомившихся с ней уже летом в Париже. Милица была организаторшей парижского кружка.

Когда опоздавшие делегаты из Парижа появились вечером в зале собраний, я сразу догадался, кто из них Лаврова. Меня поразило ее яркое, очень русское лицо с большими лучистыми глазами. На следующий день мы встретились в парке. Погода стояла осенняя, солнечная, прозрачная. Мы то садились на скамейку, то бродили по дорожкам, шурша многоцветной листвой, густо покрывавшей землю. Мы увлеклись разговором, сразу нашли общий язык, пропустили и библейский кружок и интересный доклад. Я искал ключа, открывавшего дверь в душу этой замечательной девушки. Она оказалась богатой, но и сложной натурой, и это отражалось в ее быстро меняющемся лице и еще более в ее глазах, то загоравшихся горячим огнем, то закрывавшихся какой-то пеленой. Мне казалось, что в ней была смесь неуверенности в себе с готовностью жертвовать собою до конца. Все компромиссное, половинчатое было чуждо ей. В этом она была очень русской. В наш первый разговор я тоже оценил ее ум, открытый, ясный и в чем-то пророческий. Ее интересовали богословские и философские вопросы, она была вся в исканиях и упорно стремилась найти ответы на вопросы жизни.

Наша вторая встреча произошла уже после съезда, когда мы вернулись в Прагу. Мы пошли вместе осматривать город и забрели в большой католический костел, стоявший на берегу реки и окруженный раскинувшимся кладбищем. Внутри он был расписан фресками и чем-то напоминал православный храм. Нам было хорошо вдвоем, мы радовались, что узнали друг друга и стали друзьями.

Я уехал в Белград, Милица в Париж. Началась переписка.

В феврале 1924 года мы снова увидались и опять в той же Праге, где было устроено совещание руководителей кружков. Перед отъездом по домам мы зашли в одно из кафе. Вначале разговор шел с натяжкой, мы оба сознавали, что кроме общей работы в Движении у нас росло и другое более личное чувство, но мы еще не знали, куда оно могло нас привести. Когда я пошел провожать Милицу, эта неловкость исчезла и нам снова стало легко и тепло быть вместе.

В ноябре 1925 года я с сестрой переехал в Париж. Милица и наш общий друг, княжна Александра Владимировна Оболенская, встретили нас на Восточном вокзале. Началась новая напряженная жизнь, протекавшая на фоне столицы Франции с ее контрастами между светом и тьмой. Милица и я часто видели друг друга, но обычно в связи с работой. Я же особенно ждал наших личных встреч. Мы любили вместе видеть красоту природы и искусства. Для меня были очень ценны ее советы и критика моей деятельности, мы все более становились нужными друг другу. Единство рождалось из глубины наших личностей. В 1926 году мы стали женихом и невестой.

Случилось это снова на одном из съездов Движения, опять осенью. 10 октября члены парижских кружков собрались на однодневную конференцию в Медоне близ Парижа. О. Сергий Булгаков отслужил в лесу литургию, потом были доклады и их обсуждения. Погода была чудесная, лес был полон осенних ароматов. На обратном пути мы с Милицей пошли вместе, было уже темно, нас окружала дружная толпа движенцев. Я взял ее за руку, и мы поняли, что наши жизни слились в одно русло. Мы незаметно отстали от других, вышли из леса и очутились в какой-то узенькой уличке этого уже заснувшего городка. Радость, внутренняя тишина и благодарность Богу охватили нас.

Мы решили никому не говорить о нашей помолвке в течение года, тем более, что мои родители еще не приехали из Югославии. Той зимой я много путешествовал, Милица продолжала изучать медицину. Мы встречались на разных собраниях, но нам редко удавалось остаться наедине и у нас завелись две одинаковые серенькие книжки — Милицына чудесная затея — мы попеременно записывали в них все то, что хотелось сказать друг другу. Встречаясь на людях, мы незаметно обменивались ими. Теперь так интересно их читать.

Венчались мы в день Покрова 1/14 октября 1927 года. Это была поистине «движенская свадьба». Движение было тогда в своем расцвете, русская жизнь в Париже била ключом. Рано утром Соня с другими движенцами съездила в «Халл» (Главный рынок цветов и фруктов). Они украсили здание Движения и приготовили там все для приема.

Большая церковь Сергиевского Подворья была переполнена и вся мерцала свечами и лампадами в потухающем вечере. Она казалась особенно прекрасной своей строгой, под

древнюю, росписью Стеллецкого. Милица была в платье, сшитом ее матерью из японского белого шелка, дар братства Св. Троицы, с длинной легкой фатой. Венчал нас О. Сергий Булгаков. Сменяющаяся вереница шаферов, все наших дорогих друзей, окружающие нас любящие лица родителей наших, сестер и брата и многих движенцев, прекрасный, стройный хор студентов богословов, — все это слилось в одно церковное торжество. Старенький, добрейший О. Александр Калашников (1860-1941), настоятель Милициного братства Св. Троицы, благословил нас кратким молебном.

Через весь Париж, с его многочисленными огнями, вез нас с Милицей, Сережа Главацкий, наш родственник, на новокупленном для своей «таксистской» работы автомобиле. На 10, бульвар Монпарнасс всем было весело и дружно. Наши родители потом нам рассказывали, как они сблизились в тот вечер и как все приглашенные долго оставались после нашего отъезда. Для нас двоих был устроен ужин, рядом стоял стол, заставленный подарками, выражавшими любовь, окружавшую нас. Все вышли провожать нас. Долго в глазах стояли лица наших родных и друзей, среди них выделялась высокая фигура брата Володи. Ночным поездом мы уехали в Биарриц, к осеннему океану с огромными волнами, потом были Пиренеи и Лурд. Это не было время, когда его наполняют тысячные толпы паломников, вокруг нас было тихо и пустынно. Только грот, в котором Пресвятая Богородица явилась маленькой Бернадетте (1844-1879) в 1858 году, был залит светом ярко горевших свечей. Благодатная сила наполняла это святое место. Так под покровом Богородицы началась наша совместная жизнь.

НАШ БРАК

Милица Зернова

Мы всегда ощущали наш брак, как предназначенный завет свыше. В нашей любви были как бы не наши, а дарованные нам красота и чистота.

В церковной и экуменической работе моего мужа я была с ним глубоко едина, хотя и считала себя одним из его самых суровых критиков. Как часто он был непонят и осужден своими православными за «либеральность» и даже «неправославность», тогда как его высказыванья были или способом вызывать людей на критический пересмотр привычных традиций или провидениями, идущими впереди своего времени. Наша церковность была глубоко укоренена в русской почве. Недаром наши деды были священнослужителями, муромскими земляками. Без нашего единства и моей поддержки, думается мне, Николай не смог бы совершить подвиг своего служения

Церкви. И в области быта, плоти и вкусов мы были родные и близкие.

Но, при всем этом, эмоциональный климат наших темпераментов был диаметрально противоположен и очень труден и для одного и для другого. В столкновениях, нарушавших мир и творчество нашей общей жизни, сплетались и самые наши лучшие дары и самые коренные недостатки. Вся наша жизнь была поединком, мы боролись за такое единство, в котором обе наши личности завершили бы свое полное развитие. Поэтому мы не могли удовлетвориться компромиссами и уступками, любовь звала нас к внутреннему росту. На склоне наших дней нам хочется свидетельствовать, что в этой борьбе за всецелое единство, как ни неистощима была наша любовь, мы не могли бы достигнуть его без Божией помощи.

Наша жизнь была прекрасна, мы видели величие и красоту мира, много путешествовали, знали выдающихся людей, но она была и сурова, мы часто и подолгу должны были жить в разлуке, Коля постоянно разъезжал, я долго кончала университетское образование, а потом вела напряженную профессиональную работу. Когда мы были вместе, у нас всегда бывало много народа в связи с «Движением», «Содружеством» и созданием различных центров. Бог не дал нам детей. Я была лишена опыта, радости и креста материнства, что было для меня большим испытанием, а Колино отцовство проявлялось в его постоянном интересе, заботе и любви к всегда окружающей его молодежи.

Наша встреча и наше венчание произошли осенью. Теперь, после многих счастливых лет, полных труда, борьбы и достижений, золотая осень нашей жизни поистине является для нас осуществлением тех высоких заветов, которые прозвучали для нас в Сергиевском Подворье в 1927-м году, когда мы пили вино Каны Галиллейской, которое становится все драгоценнее с годами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЕГО ЦЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ

Н. Зернов

Р. С. Х. Движение, было новым явлением для русского общества. До революции студенты в России объединялись либо в политические кружки, либо в землячества, занимавшиеся взаимопомощью. Религиозные вопросы мало затрагивали их. Подчинение Церкви государству и подозрительное отношение правительства ко всем проявлениям самодеятельности среди молодежи не способствовали ее участию в церковной жизни.

Положение в эмиграции было иным. Многие из студентов вернулись в Церковь, были одушевлены желанием послужить ей, хотели осмыслить свое христианское мировоззрение и встать на защиту Православия, преследуемого в России. У многих выросло убеждение, что атеизм, насильственно насаждаемый большевиками, приведет к нравственному огрубению людей и к их духовному порабощению диктаторами. Преодоление безбожия требовало не только личного благочестия, но и знания основ православной веры.

Я всецело разделял эти взгляды и с увлечением приступил к новой для меня работе. Одним из первых моих начинаний было устройство анкеты среди членов Движения. Я просил всех описать цели Движения и указать лучшие, по их мнению, пути для осуществления их.

В анкете приняли участие иерархи, профессора и рядовые члены Движения.[1]

Подавляющее большинство считало целью Движения при-

[1] В своем ответе на анкету Н. А. Бердяев определил задачу Движения, как создание клеток христианского общества, реальное, а не внешне-условное оцерковление жизни. Кончил он свое письмо пожеланием Движению найти творческое отношение к жизни, к любви и к духовной свободе, соединенное с верностью Церкви. Он писал: «Церкви вновь, как в древние времена, предстоит сделаться центром духовной культуры и жизненного творчества, в то время как в миру угашается дух, истребляется истинная свобода и иссякает творчество». «Вестник Р.С.Х.Д.» № 2, стр. 8, Париж 1926.

влечение молодежи к сознательному и ответственному участию в жизни Церкви. Ответ на второй вопрос разбил писавших на несколько групп.

Сторонники библейских кружков считали обращение к вере основной задачей работы. Другие остро переживали крушение православной культуры и видели в Движении силу, способную в условиях свободы, обретенной в изгнании, продолжать и развивать русскую богословскую и религиозно-философскую мысль. Третьи надеялись, что православные братства станут источником обновления эмиграции и окажут духовную и материальную помощь своим членам. Наконец, были и те, кого интересовала работа с детьми и юношеством, устройство летних лагерей, помощь нуждающимся. Они утверждали, что нужно меньше говорить о христианстве, но больше осуществлять евангельские заповеди на деле.[2] Это разнообразие течений внутри Движения отражалось и на составе его руководителей. Самой значительной по своему влиянию была группа профессоров. Среди них выделялись: о. Сергий Булгаков, без совета которого не решалось ни одно дело и В. В. Зеньковский — неизменный председатель, отдавший себя всецело Движению.

Особое место принадлежало духовнику Движения, отцу Сергию Четверикову (с 1928 по 1936). О. Четвериков (1867-1949) происходил из купеческого звания, он принял священство по окончании Духовной Академии. В эмиграцию он попал вместе с Полтавским кадетским корпусом, в котором он был законоучителем. В нем не было яркого пламени и интеллектуальной мощи о. Булгакова. Он светился мягким ровным светом человека, полностью посвятившего себя служению Богу и людям. Будучи близок традиции оптинских старцев, он написал о них несколько книг.[3] Он жил и дышал Православием, был благожелателен к инославным, любил и понимал молодежь. Несколько раз он приезжал на англо-православные конференции. Не говоря по-английски, он не мог выступать с докладами, но его участие в их обсуждениях ценилось англичанами, ощущавшими его молитвенный дар. Когда Движение

---

[2] Общий Пятый Съезд Р.С.Х.Д. в Клермоне в 1927 году, желая согласовать различные тенденции, наличные в Движении, принял следующий устав: «Р.С.Х.Д. ставит своей целью объединить верующую молодежь для служения православной Церкви и привлечь к вере во Христа неверующих. Движение стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников веры и Церкви, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом».

[3] Среди книг о. Четверикова следует отметить: «Оптина Пустынь» Париж 1926. «Путь Чистоты» Париж 1929. «Старец Паисий Величковский» (1722-1794). Петсеры 1938. «Что такое Молитва Иисусова». Сердоболь 1938. «О внутренних препятствиях по пути к Евангелию». Париж 1951.

обвинялось в неправославии, то лучшим доказательством в несправедливости подобных подозрений была ответственность о. Четверикова за его работу.

Специальную роль в работе Движения играли секретари Американского Союза Христиан Молодых Людей (У.М.С.А.), откомандированные для помощи русским. Их опыт и благожелательство были ценны для Движения. С ними сразу установились отношения полного доверия и дружбы. Хотя через руки их проходила финансовая помощь, получаемая Движением от иностранцев, они никогда не держали себя начальством. Наоборот, они были увлечены русским Православием и культурой, хорошо говорили по-русски и отождествляли себя всецело с Движением. Каждый из них был специалистом в своей области. Эдгар Иванович Макнотен (ум. 1933) интересовался юношеской работой, Павел Францевич Андерсон (р. 1894), заведовал книгоиздательством и считался авторитетом по антирелигиозной борьбе в России. Полнее всего вошел во все проблемы Движения Густав Густавович Кульманн. Ему была более понятна богословская сторона Движения, меньше затрагивавшая американцев. Он увлекался идеями русского религиозного возрождения, и ему особенно был близок Бердяев, как мыслитель и как человек.

Главная ответственность за работу лежала на русских секретарях Движения, получавших от него содержание и отдававших ему все свое время. Они тоже представляли разнородную группу, как по своим интересам, так и квалификации. Некоторые из них были специалисты по юношеской работе, как В. С. Слепьян, Н. Ф. Федоров (р. 1895), А. Ф. Шумкина, С. С. Шидловская. Другие вели местную работу в Чехии, в Софии, в Париже, в Риге, в Эстонии. Такими были И. А. Чекан (р. 1893), И. П. Георгиевский (р. 1898), Н. П. Хириаков, Ю. П. Степанов, Г. А. Бобровский, Мать Мария Скобцова. Наконец, в различные периоды, Движение имело и нескольких центральных секретарей: А. И. Никитина (1889-1949), Ф. Т. Пьянова (1889-1961), о. Льва Липеровского (1888-1963), Льва Александровича Зандера (1893-1964), Ивана Аркадьевича Лаговского (1888-1945), мою сестру Софию и меня.

Липеровский был врач по образованию. Он принял священство уже в Париже. Патриарх Тихон дал ему особое благословение на миссионерскую работу среди студентов. Свою церковность о. Лев сочетал с умением вести библейские кружки, чему он научился в дореволюционном студенческом Движении. Таким образом он совмещал в своем лице старое и новое направление нашей работы.

Липеровский имел черты типичные для интеллигента, простоту в обращении, некоторое отсутствие деловитости, идеализм. Он не был богословом, но его искренняя вера делала его хорошим миссионером.

Совсем из другой среды происходил Зандер. Петербуржец, сын лейб-медика, окончивший царскосельский лицей и успевший до первой войны учиться в Германии, он был настоящий европеец. Философ, литературовед, знаток русской и западной поэзии, он был человек многосторонней и большой культуры. Небольшого роста, в золотых очках, он был талантливый педагог, умевший остро и ярко ставить основные темы религиозной философии[4] и разрешать их в духе Православия. Его первой любовью был Достоевский. Попав в Прагу из Владивостока, где он профессорствовал после революции, и встретив там о. Булгакова, Зандер стал его верным учеником. Один из своих значительных трудов он посвятил исследованию богословия отца Сергия.[5] Зандер и его жена Валентина Александровна, урожденная Калашникова (р. 1894) сыграли видную роль в жизни Движения, оба они владели иностранными языками, выступали на международных конференциях и имели многочисленных инославных друзей. Они много сделали для осведомления Запада о православной культуре.[6]

Насколько Зандеры чувствовали себя дома в Европе, настолько Лаговский, третий секретарь Движения, всецело принадлежал России. Иван Аркадьевич, несмотря на годы изгнания, не осилил ни одного из иностранных языков. Он не был шовинистом, сочувствовал экуменической работе, но сам жил только родиной и болел ею. Он внимательно следил за всем, что случалось на антирелигиозном фронте и был лучшим экспертом в эмиграции по этому вопросу. Его статьи регулярно появлялись в «Вестнике Р. С. Х Д», давая исчерпывающую информацию на эту тему. Он был увлекательный оратор, его доклады о России были всегда полны точных фактов и продуманных заключений. Говорил он с неподражаемыми жестами, выделывая руками сложнейшие выкрутасы и придавая лицу самые неожиданные выражения. Переехав в Эстонию, он вел успешную работу среди молодежи Прибалтики. Кончил он свою плодотворную жизнь мучеником. Когда Эстония была захвачена Красной армией, он был арестован и погиб в одном из бесчисленных сталинских лагерей.

Кроме платных сотрудников, профессоров и иностранных друзей, Движение опиралось в своей работе на целый ряд даровитых и церковно настроенных руководителей, которые совмещали или учение или профессиональную деятельность с

---

[4] Зандер написал о Достоевском прекрасную книгу: «Тайна Добра» 1960.

[5] «Бог и Мир» (Миросозерцание о. С. Булгакова) 2 тома Париж 1948.

[6] В. А. Зандер написала ряд книг на французском языке о значении праздников в православной церкви. На русском языке она издала книги: «О русских православных братствах» Париж 1925, «Христос Новая Пасха» Брюссель 1964 и др.

участием в различных кружках и в других начинаниях Движения. Некоторые из них отдавали ему все свое свободное время, как, например, Андрей Вадимович Морозов (р. 1897) в течение многих лет возглавлявший Парижский комитет, или Др. Екатерина Сергеевна Меньшикова (р. 1901). Что же касается меня, то помимо руководства кружками и лекционных поездок, я взял на себя издание печатного органа Движения — «Вестника Р. С. Х. Д.»[7] В программу журнала входили: а) поддержка связи между членами, разбросанными по всему миру, б) помощь им в деле изучения основ православного мировоззрения, в) обзор церковной жизни в России и за рубежом. Первый номер, отпечатанный на ротаторе, вышел 1-го декабря 1925 г. в 300 экземплярах. Число подписчиков стало быстро расти и, начиная с октября 1926 года, «Вестник» начал печататься в типографии в 1000, а потом в 2000-ах экземпляров. Этот журнал оказался одним из самых жизненных моих начинаний. Он продолжает выходить, когда я пишу эти строки (1972). Только во время войны он временно перестал существовать.

Вначале ни у меня ни у моих сотрудников не было опыта работы в новых условиях парижской колонии. Поэтому первые месяцы я провел в напряженных поисках путей, которые могли бы сделать Движение нужным и понятным как студенческой молодежи, так и водителям эмиграции. Я начал встречаться с возможно более широкими кругами русского рассеяния, ища их советов и помощи.[8]

Я особенно старался добиться сочувствия духовенства. Митрополит Евлогий был уже испытанным другом Движения, но другие священники, как раньше духовенство в Белграде, проявили мало интереса к нашим задачам. Многие не понимали, зачем нужны религиозные кружки, считая, что богослужение дает все, что нужно членам Церкви; другие отнеслись к нам даже неприязненно, опасаясь, что мы образуем новую секту. Больше всего меня удивляло отсутствие у духовенства сознания религиозного кризиса. Несмотря на все уроки революции, они продолжали жить в условиях прежней

---

[7] Перед началом издания «Вестника» я обратился к многим друзьям Движения с просьбой помочь мне в выборе подходящего для него названия. Только один Ремизов откликнулся на мою просьбу. Он советовал назвать орган Движения «Барабан Духовный». Я до сих пор жалею, что не решился тогда последовать его совету.

[8] Среди видных представителей русской колонии я нашел сочувствие среди писателей: Бориса Зайцева, А. Ремизова, помощника редактора «Последних Новостей» И. П. Демидова (ум. 1946), редакторов «Современных Записок» И. И. Фундаминского и В. В. Руднева (1879-1940), монархиста графа П. П. Апраксина, евразийца П. П. Сувчинского (р. 1892), церковно настроенного общественного деятеля князя Григория Николаевича Трубецкого (1874-1930) и многих других.

России, где принадлежность к Церкви редко возбуждала какие-нибудь вопросы.

Встретил я недоброжелательность и у мирян. Левые круги продолжали глядеть на Церковь, как на сугубо-консервативную силу, оплот реакции, и наше желание войти глубже в ее жизнь, вызывало недоумение. Правые круги видели всюду происки масонов и других тайных обществ и верили, что мы, получая пособия от иностранцев, находимся под контролем лиц враждебных национальной и православной России. С особой неприязнью относились к нам члены Высшего Монархического Совета, считавшие самодержавие и Православие неразрывно связанными друг с другом. В их глазах мы были «жидо-масонами», предателями Церкви, лицами, продавшимися американцам. Для них, Бердяев был большевик, только прикрывавшийся именем христанина, Булгаков — опасный еретик. Марков Второй, считавшийся в этих кругах специалистом по богословию и по церковным вопросам, напечатал громовую статью против отца Сергия в № 3 «Двуглавого Орла» (1927), органа Монархического Совета. Она была озаглавлена: «Реформаторы Православия» и состояла из перечисления ересей, которые преподаются студентам в Духовной Академии в Париже. Одна из них заключалась в выражении «Пневматологическая Проблема», которую Марков вычитал в одной из книг о. Булгакова. «Ревнитель правоверия» нашел эту фразу не только соблазнительной, но даже кощунственной, т. к. она сближала «Св. Дух с пневматической шиной». Такова была богословская безграмотность некоторых наших обличителей.

Самым удивительным было разительное сходство психологии крайне-правых и крайне-левых. У них было то же желание морально замарать своего идеологического противника, обвинив его в продажности (и непременно американцам), та же смесь самоуверенности, невежества и клеветы.

Наряду с этими недоброжелателями и критиками, Движение нашло ряд верных и самоотверженных друзей. Кроме уже нередко упоминавшихся авторов «Вех», среди наших сотрудников выделялись трое бывших революционеров: Георгий Петрович Федотов (1886-1951), Илья Исидорович Фундаминский-Бунаков (1880-1942), и Мать Мария (Елизавета Юрьевна Пиленко-Скобцова) (1891-1945). Все они были людьми исключительных дарований и любви к России и Православию. Федотов был подлинным рыцарем разбитой и осмеянной интеллигенции. Еще юношей он вступил в партию социал-демократов, был принужден покинуть Россию, учился в Германии и Италии. Вернувшись нелегально на родину, он закончил высшее образование в Петербурге, легализировался в 1914 году и начал преподавать в университете. В первые годы ленинской диктатуры он занимал кафедру в Саратове. Ему пришлось уйти из университета, т. к. он отказался участвовать в одной из манифестаций против бывших союзников

России, которую были принуждены поддерживать все преподаватели. Таким людям не было места под властью большевиков. Ему удалось покинуть Россию в 1925 году и он сразу выделился в среде эмиграции, как блестящий публицист и убежденный общественный деятель. Он был первоклассным историком и совмещал темперамент политического борца с дисциплиной ученого, ответственного за каждое свое слово. Он был тонким ценителем искусства, верным членом Церкви и горячим сторонником примирения христиан. Небольшого роста, всегда подтянутый и сдержанный в словах и жестах, он носил на себе печать элегантности и духовной отточенности. Он любил Россию целостно, страстно, эта любовь делала его прозорливым и беспощадным в обличении пороков русской жизни, в особенности трусости и рабского пресмыкательства перед сильными. Для него, все жестокое, завистливое и богоборческое в русских людях нашло свое воплощение в ленинизме. Федотов не закрывал глаз на кризис в западной демократии, но выход из него он видел не в тоталитаризме, а в возрождении социально-ответственного христианства, защищающего свободу и творческую независимость каждого человека.

Попав во Францию, он вошел в работу Движения, сделался докладчиком на православных и международных съездах, стал руководить кружком по изучению России и одно время был соредактором «Вестника Р.С.Х.Д.» Он особенно много помог содружеству св. Албания и пр. Сергия, часто ездил в Англию и всегда участвовал в его конференциях.

Фундаминский происходил из богатой, консервативной, еврейской семьи. Уже гимназистом он отошел от своей среды и стал увлекаться русской литературой и культурой. В 1900-1902 годах он учился в Германии, там сблизился со многими будущими лидерами социал-революционеров и примкнул к их самому левому крылу террористов. Он рассказал мне, как однажды ему было поручено убить одного губернатора. Решив погибнуть вместе со своей жертвой, он надел жилет, наполненный динамитом для того, чтобы взорвать себя и осужденного человека. Однако ему не удалось осуществить этот безумный план, так как этому помешало присутствие других людей, которых он не хотел убивать. В 1904-1905 году он принимал участие в революционном движении, был арестован за агитацию среди матросов, предан военно-полевому суду и освобожден по формальной причине, как штатский. Избежав таким образом смерти, он бежал за границу, и там начался у него пересмотр его мировоззрения.[9] Ко времени большеви-

[9] Зинаида Гиппиус, с присущей ей остротой, дает следующую характеристику Фундаминского в переходные для него годы (1908). Она пишет: «Илья Фундаминский — еврей, абсолютно непохожий на еврея. Нежный, кроткий, христианский, весь любовь, смутно верующий и веры своей боящийся». «Возрождение» № 220. Стр. 55. Париж. Апрель 1970.

стского захвата власти, он стал глубоким противником террора и революционного насилия. В 1917 году он вернулся в Россию, но вскоре ему пришлось снова спасать свою жизнь: на этот раз не жандармы, а чекисты гнались за ним. Обосновавшись в Париже, он стал одним из лидеров русского религиозного возрождения, основателем «Современных Записок» (1920-1940), принимал живое участие в работе Движения, вместе с Федотовым и с Федором Августовичем Степуном (1884-1965), издавал «Новый Град» (1931-1939), орган лиги Православной Культуры, тесно связанный с Движением. Несмотря на все настойчивые уговоры друзей, Фундаминский остался во Франции, занятой немцами. Он погиб в концентрационном лагере, крестившись незадолго до смерти.

Фундаминский был человеком большого обаяния. Высокий, представительный, с густыми, слегка вьющимися волосами, он напоминал русского барина. У него было широкое, великодушное сердце и редкий дар дружбы. Он был готов на любые жертвы для людей, которых он любил, и ради идей, в которые он верил. Его мученическая смерть завершила его творческую жизнь, отданную на служение евангельской истине, которую он обрёл после долгих сомнений, трудов и подвигов.

Мученической смертью кончила свою жизнь и мать Мария, третий друг Движения из числа бывших революционеров. Она, как Федотов и Фундаминский, была тоже героической представительницей интеллигенции. Поэтесса, богословка, общественная деятельница, она была богатой, талантливой натурой, не умещавшейся в обычные рамки. В молодости она дружила с Александром Блоком, была заочным студентом Петербургской Духовной Академии, одновременно принадлежала к партии социал-революционеров. В 1917 году она была выбрана городским головой Анапы и была первой женщиной в России, занявшей подобную должность. Она была два раза замужем, имела двоих детей, а в 1932 году приняла постриг. В монашестве она осталась такой же необычайной личностью, как и до пострижения. Вместо того, чтобы удалиться в монастырь, она отдала себя всецело помощи отверженным, пьяницам, преступникам, сумасшедшим. Она обходила тюрьмы, дома для умалишенных, всюду выискивая русских. В Париже она устроила общежитие и бесплатную столовую, сама приносила в мешке с главного рынка те остатки мяса, рыбы и овощей, которые ей дарили торговцы. Одно время она была разъездным секретарем Движения во Франции и посещала провинциальные города, где русские рабочие часто были оторваны от церковной и культурной жизни. Ей принадлежала идея Лиги Православной Культуры и связанного с ней Православного Дела.

Она была арестована немцами вместе с сыном и со своим сотрудником, о. Димитрием Клепининым (1904-1944) за то,

что они помогали евреям. Они могли спасти себя, обещав прекратить эту помощь, но они этого не сделали и все трое погибли в лагерях. Их мученическая кончина еще глубже подчеркнула ту пропасть, которая выросла внутри эмиграции во время войны. Одни из русских пошли на сотрудничество с немцами и доносили на своих соотечественников, другие предпочитали погибнуть, но не шли на соглашение с теми, кто заменил свастикой искупительную силу креста.

Движение было также многим обязано и другим представителям русской религиозной мысли, которые выступали с докладами на съездах, участвовали в работе кружков. Среди них выделялись Борис Петрович Вышеславцев (1877-1954), философ, юрист, с отточенной мыслью и законченной фразой, продуманный критик секуляризированного общества. Противоположностью ему был Владимир Николаевич Ильин (р. 1891), бурный, увлекающийся, меняющий свои позиции, обладающий энциклопедическими знаниями в самых неожиданных областях. Богослов, литургист, филолог, литературовед, специалист по паукам и паровозам, он мог импровизировать с оригинальностью и подлинным пониманием своего предмета на все эти разнообразные темы. Константин Васильевич Мочульский (1892-1947), тихий, спокойный, излучавший тепло, проникновенный исследователь Достоевского, Владимира Соловьева, Блока и Андрея Белого. О. Георгий Флоровский (р. 1893), патролог, экуменист, общепризнанный авторитет по Православию на всех интерконфессиональных конференциях. Владимир Васильевич Вейдле (р. 1895) искусствовед, обладающий феноменальным знанием художественных сокровищ Европы и проницательный истолкователь достижений и искажений христианской культуры Запада.

Такую же помощь Движению в Германии оказывали Семен Людвигович Франк (1877-1950), философ, мистик и богослов, и Федор Августович Степун, парадоксальный мыслитель и талантливый писатель. Участие этой блестящей плеяды в жизни Движения придавало значительность и глубину его съездам и собраниям.[10] Мне, как секретарю, удалось

[10] Большинство богословов, православных историков и религиозных философов оформившихся в эмиграции, принимали участие в работе Движения. Среди них следует особенно упомянуть следующих лиц: Прот. Николай Афанасьев (1893-1966), С. С. Жаба (р. 1894), Ф. Г. Спасский (р. 1897), архимандрит Софроний Сахаров (р. 1898), И. К. Смолич (1898-1970), архимандрит Киприан Керн (1899-1960), П. Н. Фидлер (р. 1900), архиеп. Василий Кривошеин (р. 1900), П. Н. Евдокимов (1900-1970), П. Е. Ковалевский (р. 1901), о. Георгий Сериков (р. 1902), А. Ф. Карпов (1902-1938), В. Н. Лосский (1903-1958), Н. Д. Городецкая (р. 1901), С. С. Верховский (р. 1907), С. А. Зеньковский (р. 1907), прот. Алексей Князев (р. 1913), Князь К. А. Андроников (р. 1921), Н. А. Струве (р. 1916), прот. Александр Шмеманн (р. 1921), прот. Иоанн Мейендорф (р. 1926). Все эти лица продолжили и обогатили традицию русской религиозной культуры, расцветшей в XX веке.

познакомиться со всеми ими и найти среди них друзей и сотрудников в моих различных начинаниях.

Наш переезд с сестрой в Париж совпал с поворотной страницей в истории Движения. Зима 1925-1926 года была временем больших перемен и началом его быстрого роста. Секретариат Движения в новом, расширенном составе основался в Париже. Христианский Союз Молодых Людей снял для своего русского отдела просторный особняк, на 10, бульвар Монпарнас и там сразу началась кипучая, разносторонняя деятельность в комнатах, предоставленных Движению. Туда переехало издательство русских религиозно-философских книг, там заседала религиозно-философская академия Бердяева, собирались кружки, устраивались открытые собрания для студенчества и молодежи. Юношеский клуб и четверговая школа для детей тоже имела свои помещения на Монпарнасе.

В бывшей конюшне во дворе поместилась Введенская церковь Движения.[11] Над ней было небольшое помещение для студентов, в котором, во время безработицы, раздавались бесплатные обеды. Библиотекой Движения заведывал Владимир Андреевич Лавров (1867-1936), отец моей жены. Он был большой знаток и любитель книг, всегда готовый помочь советом читателям.

В этом же доме была редакция журналов «Путь» и «Вестник Р.С.Х.Д.» и, благодаря им, нити протягивались из Монпарнаса во все углы русского рассеяния. Обширная переписка с членами кружков брала много внимания и времени у секретарей. Париж все больше становился духовным и умственным центром эмиграции и ее молодежи. Открытие богословского института привлекло во Францию многих руководителей Движения, ставших или преподавателями или студентами Института.

Мы все были настроены оптимистично, казалось, что радужные перспективы ожидают нас, — но, неожиданно для всех, лето 1926 года принесло первую черную тучу, предвестницу грядущих бурь.

---

[11] Милица Лаврова была ее первым старостой и много потрудилась для ее устройства.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ И ОСУЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СОБОРОМ В КАРЛОВЦАХ

Н. Зернов

Летом 1926 года на соборе зарубежного епископата возник острый конфликт между митр. Евлогием и большинством архиереев закончившийся расколом. Он нанес непоправимый удар по единству Церкви в эмиграции и несомненно был встречен как весьма желательное явление руководителями антирелигиозной борьбы в России.[1] Тот же собор вынес осуждение Движению и его миссионерской работе.

Оба эти события произошли неожиданно, хотя почва для них была давно готова. Уже на Первом Карловацком Соборе обнаружилась непримиримость между позицией, занятой по отношению к зарубежной Церкви крайними монархистами и взглядом на ее роль широких кругов эмиграции. Пять лет, прошедших со времени собора, были отмечены постоянными недоразумениями и компромиссами. Патриарх Тихон распустил органы, созданные собором и поручил митр. Евлогию управление русскими приходами в Европе. Последний, однако, пошел на уступки и согласился сотрудничать с собором епископов. Хотя они, как потерявшие епархии, согласно канонам, не имели права распоряжаться участью Церкви, Митр. Евлогий признавал за ними лишь «морально-общественный, но отнюдь не канонический и судебно-административный авторитет»,[2] но сами епископы считали себя высшим органом власти для всей зарубежной Церкви.

Непосредственным поводом для раскола было желание епископа Тихона (Лященко, ум. в 1944), викария митр. Евлогия, стать независимым правящим епископом для Германии. Несмотря на протесты митр. Евлогия, собор удовлетворил

---

[1] Во время Второй Мировой Войны были обнаружены документы указывающие, что советские агенты имели связи с некоторыми лицами, причастными в церковному управлению в Сербии.

[2] См. «Путь моей Жизни». Воспоминания митр. Евлогия. Париж. 1947, стр. 611.

просьбу епископа Тихона. Тогда митр. Евлогий покинул собор и вернулся в Париж, где нашел дружную поддержку духовенства и мирян. Осуждение Движения было вынесено уже в его отсутствие.

На поверхности этот конфликт мог казаться личной ссорой иерархов, не сумевших поделить между собою епархии. Но за этими, как бы случайными, столкновениями лежали другие существенные причины раскола. Одной из них было отсутствие опыта самостоятельной администрации у епископов, воспитанных в духе синодального управления. Они были приучены получать приказания свыше и беспрекословно слушаться обер-прокурора и его чиновников. Даже те из них, кто имел свои мнения, не решались обычно высказывать их. Привыкнув подчиняться государству, они подпали под влияние крайних монархистов, взгляды которых часто совпадали с их собственными политическими симпатиями.

Поэтому конечной причиной раскола была неспособность иерархии стать выше партийных споров и повести Церковь по пути независимости. Эмиграция нуждалась в примиряющей и объединяющей роли Церкви. Она раздиралась на части между теми, кто мечтал о восстановлении самодержавия и хотел зачеркнуть и октябрьскую и февральскую революции, и теми, кто желал видеть в России народоправство и ту свободу, которую пыталось осуществить Временное Правительство.

Церковные же распри, наоборот, углубили и обострили враждебные течения внутри русского рассеяния. Разрыв между митр. Евлогием и собором епископов завершился 26 января 1927 года, когда последние запретили его к служению и таким образом сделали раскол окончательным.

Митрополит Евголий понял необходимость для Церкви оставаться вне политических споров. Большинство эмиграции во Франции стало на его сторону. Карловацкие епископы нашли своих сторонников на Балканах и в лагере монархистов.[3]

Собор 1926 года нанес тяжелые удары по Движению.

---

[3] Обе стороны в этом церковном конфликте желали найти оправдание своих позиций в канонах вселенских соборов. Сторонники карловацкого епископата настаивали, что митр. Евлогий с его духовенством и мирянами лишен благодати таинств, как подпавший под законное запрещение. Это утверждение однако настолько противоречило действительности, что оно подрывало авторитет синодальных иерархов. Ссылки на каноны вообще оказались неубедительными. Многие из них устарели и давно не применялись на практике, другие относились к обстоятельствам, ничего общего не имевшим с условиями русского рассеяния. Большинство русских поэтому выбирали одну из юрисдикций на основании политических воззрений или же симпатий к тому или иному священнослужителю. Многие вообще не обращали внимания на раскол и посещали богослужение в ближайшем к ним храме.

С одной стороны, он разрушил надежду многих его членов найти в иерархах мудрых и ответственных пастырей; с другой стороны, он нарушил внутреннее равновесие между различными течениями в самом Движении. Епископат, осудивший наше сотрудничество с инославными и не пожелавший даже выслушать нас, оказался неспособным руководить молодежью. Правое крыло наших членов отошло от общей работы под влиянием соборных решений, и с его уходом Движение лишилось того вклада, который они вносили в нашу жизнь.

Сам текст постановления вызвал у нас глубокое недоумение, и я привожу его целиком: «Постановили: 1) Относительно американских интерконфессиональных организаций У.М.С.А. и У.В.С.А. (Союз Христианской Молодежи и Всемирная Студенческая Федерация) подтвердить постановление Русского Всезаграничного Церковного Собора 1921 года в Сремских Карловцах, признать эти организации явно масонскими и анти-православными и потому 2) не разрешать членам Православной Церкви организовываться в кружки под руководством этих и подобных им неправославных и нецерковных организаций и быть в сфере их влияний». (Протокол № 8, 30 июня 1926).[4]

Лица составлявшие это постановление были очевидно мало осведомлены об организациях объявленных ими «явно масонскими». У.В.С.А. была Союзом Христианских Женщин, а не Студенческой Федерацией. У.М.С.А. была не американская, а международная организация. Но это были подробности, главным было полное непонимание взаимоотношений между Движением и нашими инославными друзьями. Мы были независимой организацией, управлявшейся нами выбранными органами и никто из иностранцев не руководил нами. Нам было больно и непонятно, как собор не запросил нас, прежде чем вынести нам осуждение за сотрудничество с западными христианами. Эти чувства я выразил в письме к председателю собора, митрополиту Антонию.[5] Я обратился к нему как секретарь Движения, получивший его одобрение на эту миссионерскую работу среди студенчества. Я спрашивал, почему никто не попросил нас представить подробный отчет о нашей деятельности и не поручил какому-нибудь известному церковно-общественному деятелю всесторонне исследовать работу христианских студенческих организаций. Вместо этого собор вынес свое постановление на основе материалов, представленных болгарином Петковым, который никакого участия в Движении не принимал. Я также недоумевал, как сам митрополит, который с таким интересом и симпатией принимал участие в нашем съезде в Хопове и так тепло отзывался о Г. Г. Кульманне, теперь осудил наше сотрудничество с инославными.

---

[4] См. «Вестник Р.С.Х.Д.» № 9, стр. 11 (1926).

[5] Письмо было напечатано в «Вестнике» № 9, стр. 12-19 (1926).

В ответ на мое горячее письмо, митрополит Антоний прислал обращение к членам Движения.[6] В этом документе выразились противоречия этого большого иерарха русской Церкви. Митрополит написал его с подлинным доброжелательством к русской молодежи, в нем проявились и широта его взглядов и теплота его доброго сердца, но, в то же самое время, и его странная безответственность и беспомощность. Сам митрополит заверял нас, что он «не встречал за последние 4-5 лет никакой анти-православной пропаганды в изданиях УМСА», что же касается д-ра Кульманна и Д. И. Лаури, — «то он открыто признает их друзьями православной Церкви, влияние которых на русское студенчество может быть только отрадным». Он также утверждал, что собор не запретил православным быть членами интерконфессиональных организаций и даже занимать в них платные должности; собор «не одобрил только пребывание под их духовным руководством». По его словам, постановление собора было продиктовано полной неосведомленностью его членов об организации, которую они осудили. «Я же *не мог* — прибавил он — *навязать свое убеждение собратьям архиереям*». В заключение он написал: «Зная вашу убежденность, вашу преданность православной Церкви, я смело смотрю в будущее вашей работы».

В этом обращении председатель собора и самый влиятельный его участник настаивал на законности данного постановления и одновременно указывал, что оно было сделано по незнанию членами фактов и из-за их нежелания ознакомиться с ними. Старые, сломленные революционной бурей, иерархи, нашедшие свое пристанище в отдаленных сербских монастырях, хотели управлять Церковью в Европе, Америке, Манджурии и Китае, но для этого им не хватало ни опыта, ни знания. Они оказались пленниками собственных предрассудков и политических интриг лиц, желавших использовать Церковь для своих целей.

Самым тревожным было то, что чувство испуга и растерянности, возобладавшее на соборе, было распространено среди многих эмигрантов. Они хотели объяснить несчастия, обрушившиеся на них, происками таинственных и неуловимых врагов, вроде масонов; они отказывались взять на себя ответственность за события, происшедшие в России, и исследовать те причины, которые привели к падению монархии. Эта масономания принимала иногда до того несуразные формы, что один из делегатов собора в Карловцах, созванного в 1938-ом году, предлагал объявить экуменическое движение вредным и еретическим, так как его учение было «латино-масонским и жидовским».[7]

События 1926-го года вызвали много волнений в нашей

---

[6] «Вестник Р.С.Х.Д.» № 10, 1926 г., стр. 25-26.

[7] См. протоколы собора от 24-го августа 1938 года — № 7.

среде. В июле состоялся третий местный съезд Движения во Франции, в Клермоне на Аргоне, недалеко от Вердена. На нем участвовало около 80-ти человек. Туда приехали митрополит Евлогий и два его викария: епископы Вениамин и Владимир (Тихоницкий. 1873-1959). Съезд прошел исключительно дружно, осуждение и Движения и митрополита сблизило пастырей с паствою. Все единогласно сплотились вокруг иерарха, назначенного патриархом Тихоном управлять приходами в западной Европе.

Более сложное положение создалось на четвертом общем съезде Движения, который состоялся в Бьервилле, во Франции, в начале сентября 1926-го года. В Клермоне все члены принадлежали к епархии митрополита Евлогия. В Бьервилле они съехались из всех стран русского рассеяния. Только год отделял эту конференцию от Хопова, но контраст между ними был разителен. За прошедший год Движение значительно выросло и укрепилось, на съезде были представители кружков из Франции, Бельгии, Англии, Германии, Чехии, Сербии, Болгарии, Польши и Эстонии. Перед нами встал непредвиденный раньше вопрос, сможет ли Движение сохранить свое единство? Студенческий кружок в Софии работал самостоятельно, не имея связи с местным русским епископом Серафимом (Соболевым. 1881-1949). Последний всецело разделял взгляды архиепископа Феофана, считал о. Сергия Булгакова еретиком,[8] а всех инославных христиан — безблагодатными и «неотличающимися», поэтому, «от язычников».[9] Сотрудничество с софийским кружном не представляло никакой трудности. Совсем иное положение было в Белграде, где братство св. Серафима находилось в постоянном общении с митрополитом Антонием и другими иерархами.

П. С. Лопухин и Н. А. Клепинин, главные идеологи подчинения Движения руководству епископов и преобразования его в союз православных братств, продолжали горячо защищать свои предложения на съезде. Для них, как и для большинства, события, происшедшие на соборе, были тяжелым ударом. Принимая в учет раскол, они предложили компромисс, согласно которому каждый кружок будет искать окормления у местного епископа, а все Движение будет раз в год посылать отчет о своей работе зарубежному собору. Они также настаивали, что слово «христианское» следует заменить «православным». Члены съезда горячо спорили на эту тему.

---

[8] См. Епископ Серафим. Новое учение о Софии, премудрости Божией. София 1935.

Епископ Серафим. Защита софианской ереси прот. С. Булгаковым. София 1937.

[9] «Католики, предоставленные только своим естественным силам в борьбе с грехом и в опыте стяжания добродетели не отличаются от язычников», — цитата из книги еп. Серафима. Русская Идеология. 1939 г. Стр. 70-71.

Бердяев защищал свободу, как неотъемлемую от Православия; о. Булгаков говорил, что не должно отрекаться от имени «христианское», которое теперь наше Движение носит. В результате долгой дискуссии было принято примирительное решение: оставить прежнее название, прибавив к нему в скобках — «объединение православных братств и кружков».

Съезд был трудный, напряженный, но, к счастью, единство было сохранено. Среди достижений конференции следует отметить разработку программы занятий в православных библейских кружках, планы начала работы в Америке, Латвии и Эстонии, установление связи с Польшей. Но там все русское и православное было под подозрением, и действовать приходилось с большой осторожностью.[10]. Отчеты о работе кружков в различных странах, заслушанные на съезде, подтвердили неуклонный рост Движения. Бьервилльская конференция была переходной: первоначальная стадия собирания сил была завершена, — перед нами встала задача закрепления нашей работы и расширения ее в двух новых направления, — юношеской и экуменической.[11]

Летом 1926-го года Движение имело также местные съезды в Германии и Чехии. Кроме того его представители участвовали в между-православной конференции, устроенной студенческой Федерацией в Бане-Костенец в Болгарии (6-9 мая). Русские хотели поделиться своим литургическим опытом с балканскими студентами, но им этого не удалось, из-за разделений внутри болгарского епископата. Сначала синод приветствовал созыв съезда, а потом переменил свое отношение к нему и запретил служение литургии. Это было характерно для той атмосферы интриг, подозрений и растерянности, которая царила среди руководителей православной Церкви на Балканах во всем, что касалось отношений к западным христианам.

Самым значительным событием на конференции в Болгарии был доклад Г. Г. Кульманна: «Запад перед лицом Православия», в котором он призывал православных студентов принять свою ответственность за судьбу западных христиан.[12] Несмотря на убедительность его слов, они не произвели ожидаемых результатов. Балканские студенты не были готовы для этой миссии. В своем подавляющем большинстве они увлекались радикальной, секуляризованной Европой, а Православие представлялось им частью их народного быта, но не вселенской Церковью, могущей обогатить все человечество.

---

[10] Моей сестре удалось попасть в Польшу и познакомиться с православной молодежью. Она нашла отклик среди учеников гимназий но политическая и национальная борьба, которая шла в Польше вокруг Церкви, делала работу Движения там почти невозможной. См. «Вестник» № 4, 1928.

[11] Отчеты и впечатления о Бьервилльском съезде напечатаны в «Вестнике Р.С.Х.Д.» №№ 10, 11, 12 (1926).

[12] См. «Вестник» № 8 (1926).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Н.Зернов

Раскол среди русского епископата, в особенности запрещение сослужения, вынесенное Карловацким собором, было тяжелым испытанием для начавшегося церковного пробуждения в эмиграции. Эти распри болезненно отразились на членах Движения, объединившего в своих рядах наиболее активную и церковно-сознательную молодежь.

Несмотря на эти препятствия, желание его участников отдать свои силы служению Церкви не ослабело, и годы 1926-1932 были временем расцвета нашей работы. Она велась как в центрах русского рассеяния, так и в странах, пограничных с Россией. Люди, по-новому осознавшие значение христианства, были разбросаны по всему миру.[1] Среди этих успехов печальным событием был выход из Движения белградского братства имени преподобного Серафима. Оно произошло накануне 5-го общего съезда, собравшегося в Клермоне (12-18-го сентября 1927 г.). Братство известило секретариат Движения письменно о своем решении.[2] Его руководители запросили Карловацкий синод: возможно ли им участвовать в богослужении митрополита Евлогия и его духовенства. Ответ был отрицательный. Наше сотрудничество стало невозможным. Движение выдержало эту потерю, но братство прекратило свою деятельность.

Шестой общий съезд в замке Савэз около Амиена (6-18 сент. 1928) и седьмой съезд в Буаси около Парижа (16-29 сент. 1929) уже не касались острого вопроса о

---

[1] «Вестник Р.С.Х.Д.» № 4, 1929 г. дает следующие сведения о числе постоянных подписчиков: Франция — 349, Прибалтика, Польша и Бессарабия — 306, Америка — 169, Чехия — 153, Балканы — 101, Германия — 87, Англия — 60, Азия — 51, Африка — 15.

Всего «Вестник» издавался в 1350-ти экземплярах.

[2] Переписка секретариата Движения с советом братства преп. Серафима напечатана в «Вестнике» №№ 11 и 12 (1927). Идеология братства была изложена в брошюре «Православный Путь». Белград. 1933 г.

расколе, также перестал стоять в центре внимания вопрос о братствах и о подчинении церковной иерархии. Движение осталось самоуправляемым, в то же время глубоко православным. Его верховным органом был совет Движения, выбиравшийся на общем съезде. Его заседания происходили до и после годичной конференции. На них принимался бюджет, назначались секретари, намечалась программа работы. Движение выросло в крупную церковно-общественную организацию. Особенно разрослась юношеская и детская работа, с летними лагерями и воскресными школами. Возник религиозно-педагогический кабинет, руководимый проф. Зеньковским, имевший своих сотрудников и издававший свою литературу.

Субсидия в 400 долларов, которую в эти годы получало Движение от Студенческой Федерации была недостаточна, она шла главным образом на покрытие расходов по созыву общих съездов. В феврале 1927 года был организован сбор средств для работы во всех ее главных центрах. В Париже удалось собрать 17.000 франков, значительную сумму по тому времени. В других городах сборщики тоже имели успех. По заранее заготовленным адресам они обходили квартиры и комнаты русских эмигрантов. Это был новый способ для русских получать пожертвования, заимствованный у американцев. Эта, так называемая, финансовая кампания, имела двоякую цель — собрать деньги и объяснить русскому обществу характер и цели нашей работы. Прием был различен, одни охотно жертвовали, другие расспрашивали, но ничего не давали, третьи встречали враждебно, но таких было меньшинство. Этот сбор стал повторяться ежегодно. По мере уменьшения помощи от инославных, Движение все больше начало опираться на поддержку русских.

Многие представители старшего поколения заинтересовались нами и стали приезжать на наши местные летние конференции. Они имели особенный успех во Франции, где в течение пяти лет (1926-1930) члены Движения и их друзья встречались в маленьком городке Клермоне в Аргоне. В заброшенных военных бараках собиралась на две недели необычайная группа людей. Большинство состояло из русских парижан, но были и приезжие: и из провинции, и из-заграницы. Тут было и духовенство, и профессора, и представители общественности, но главным образом там была молодежь, учившаяся в средних и высших школах. Один из бараков превращался во временную церковь, и в ней сосредоточивалась духовная жизнь конференции. Богослужение рождало единство, оно связывало всех с Церковью в России. По словам профессора Федотова, на этих съездах происходила подлинная встреча со Христом. Православная Церковь открывалась на них, как родная русская, и вместе с тем, как вселенская. («Вестник» № 9. 1928, стр. 27)

Каждый день начинался Евхаристией, большинство исповедывалось и причащалось, многие подходили к чаше после долгого отрыва от святых таинств. Доклады профессоров, групповые беседы, споры и обсуждения за столом и во время прогулок пробуждали мысль, открывали новые горизонты. Эти съезды нашли творческое сочетание молитвенной атмосферы говения и паломничества с интенсивной умственной работой университетского семинара.

Такие же съезды для Германии, но в меньшем масштабе, устраивались в местечке Сарове в 1928-1929 годах. В Чехии местные съезды созывались в селе Худобине, население которого перешло в Православие. Отец Иоанн Жидек, энергичный настоятель прихода, возглавлявший чешское православное движение молодежи, всячески содействовал успеху конференций. Для русских изгнанников было новым и радостным переживанием находиться в дружеской среде православных чехов.[3]

Самым обнадеживающим событием в эти годы был успех Движения в лимитрофах. Кружки появились в Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и Литве. Православная молодежь охотно откликнулась на призыв Движения войти глубже в жизнь Церкви и познакомиться с ее мудростью, святостью и искусством. Особенно быстро стали расти кружки в Прибалтике. Проф. Зандер с женой переехали в Ригу в 1928-ом году и закрепили связь местного Движения с центром. К тому времени в городе было уже 13 кружков.[4] Под руководством Зандеров собрался в 1929-ом году многолюдный съезд православной молодежи в Псковско-Печерском монастыре. Литургический подход к религиозной работе нашел такой же отзвук в лимитрофах, как у эмигрантского студенчества.[5]

Съезды в Прибалтике начали устраиваться ежегодно, постепенно на них стала появляться крестьянская, а затем и рабочая молодежь. Они были многочисленнее эмигрантских конференций, число участников на них достигало до 300-т человек. Начиная с 1934-го года И. А. Лаговский возглавил работу в Эстонии. Он поднял ее на большую высоту. С его помощью возникло самостоятельное движение среди крестьянской молодежи, решившей издавать свой орган «Путь Жизни». Редакция «Вестника Р.С.Х.Д.» тоже была перенесена в Эстонию.

В 1938-ом году началась работа в Прикарпатской Руси. В том же году был созван съезд в Липшинском женском монастыре. Съехалось около 150-ти человек, преимущественно крестьян в возрасте от 15-ти до 25-ти лет. И тут съезд имел полный успех.[6]

---

[3] «Вестник» № 10. 1928 и № 10. 1929.

[4] «Вестник» № 12. 1929.

[5] «Вестник» № 10. 1929.

[6] «Вестник» № 4. 1938.

Это проникновение Движения в широкие круги крестьянской и рабочей молодежи открывало перед ним большие возможности в деле возрождения Православия в России. Но надежды на освобождение родины не оправдались. Война, уничтожив тоталитаризм в Германии и Италии, не только укрепила его в России, но и распространила его на все соседние с ней страны.

Успехи Гитлера в предвоенные годы были благоприятной почвой для роста шовинизма и нетерпимости во всем мире, что отразилось и на работе Движения. Оно стало подвергаться преследованию. Сначала в Польше, а потом в Латвии, его деятельность была запрещена правительством под предлогом, что она вдохновлена стремлением восстановить русское великодержавие. Начали умножаться препятствия для нашего дальнейшего роста и в эмиграции. Самыми серьезными были перемены в составе русского студенчества. К началу тридцатых годов волна молодежи, участвовавшей в гражданской войне или эвакуированной с кадетскими корпусами и женскими институтами, повсюду спала. На смену им пришло гораздо более малочисленное поколение, получившее свое среднее образование за границей. Оно не имело ни закала, ни напора своих предшественников. Их отношение к России тоже было иным: даже те, кто оставался православным, редко когда горел желанием вернуться в Россию, другие же вообще стремились ассимилироваться в той стране, где они жили. Неизбежно работа Движения начала меняться. Одной из перемен явилось прекращение ежегодных общих съездов, столь существенных для сохранения единства нашей работы. Причиной этого были финансовые затруднения международных организаций, так щедро помогавших нам. Они начали сами испытывать сокращения своих бюджетов и принуждены были уменьшить свои пособия. После общего съезда 1930-го года, следующий съезд собрался только в 1933-ем году, а после него созывался лишь Совет Движения.

Начались и другие трудности в его работе. Параллельно с нами стали возникать другие объединения молодежи, ставившие своей задачей защиту Церкви. Они относились критически к работе Движения, считая его уклоняющимся от политической и церковной борьбы и не готовым принять участие в строительстве по-революционной России. Среди этих соперников особое место принадлежало братству св. Фотия,[7] к которому присоединилось несколько видных членов Движения. Основателем братства был Алексей Владимирович Ставровский (р. 1905) человек властный и боевого темпера-

---

[7] Братство было названо именем Фотия, патриарха константинопольского (810-895), сыгравшего значительную роль в расколе между римской и византийской Церквами.

мента. Целью братства была борьба против внешних и внутренних врагов Церкви.[8] Среди первых они считали самым опасным Рим, среди последних они выделяли о. Булгакова, как экумениста и автора новых богословских идей. Братство было построено по образцу католических орденов. От братчиков требовалось полное подчинение главе братства. Заседания были закрытыми, решения тайными. Братство послало донос на отца Сергия в Москву митрополиту Сергию (Страгородскому (1861-1944), обвиняя ректора академии в искажении догматов. В ответ на этот донос местоблюститель патриаршего престола прислал длинное послание, осуждающее богословские труды о. Булгакова. Сам он не имел возможности познакомиться с ними, так как они были запрещены в России советской властью, как опасная христианская пропаганда.[9] Этот поступок молодых ревнителей Православия был горько пережит многими членами Движения, как еще новое проявление болезненной подозрительности, которая так глубоко въелась в душу русских людей со времени революции.

Недоброжелательно относились к Движению и некоторые другие по-революционные общества, как, например, Евразийцы. Они выработали программу для построения нового социального и политического строя в России. Их левое крыло готово было сотрудничать со Сталиным, надеясь заинтересовать его своей идеологией. Ряд других членов Движения присоединился и к Младороссам. Во главе их стоял Александр Казен-Бек, прекрасный организатор и зажигательный оратор. После войны он вернулся в Россию. Младороссы тоже стремились к политическому активизму, веря, что их обновленная монархическая программа найдет сочувствие у советской молодежи. Всем этим критикам Движение казалось пассивным, устаревшим в своих методах и задачах.

Несмотря на нападки и слева и справа, несмотря на различные препятствия как внешнего, так и внутреннего характера, Движение продолжало расти. Накануне второй мировой войны оно было полно жизненных сил. Доказательством этого послужило возобновление его работы сразу по окончанию военных действий в Европе. Париж стал его духовным и организационным центром. Начал снова издаваться и «Вест-

---

[8] Членами братства были Владимир Николаевич Лосский (1903-1958), Евграф Евграфович Ковалевский (1905-1970), впоследствии епископ Жан, Максим Евграфович Ковалевский (р. 1903), отец Григорий Круг (1908-1969), один из лучших иконописцев в эмиграции и многие другие.

[9] Подробный разбор осуждения о. Булгакова, как митр. Сергием так и Карловацким синодом дан в статье И. Логовского «Догматический Опыт и Догматические Схемы». («Вестник. Р.С.Х.Д.» декабрь 1935 — февраль 1936 г.). Сам О. Сергий написал свой ответ в «Докладной Записке», представленной м. Евлогию и напечатанной в журнале «Путь» № 50, январь-февраль 1936 года.

ник Р.С.Х.Д.» который нашел новых талантливых сотрудников и даровитого редактора Н. А. Струве.

В конце этой главы уместно подвести некоторые итоги роли Движения в том церковном пробуждении, которым были отмечены наиболее творческие годы в истории русской эмиграции. Среди различных организаций, партий и идеологических групп, Р.С.Х.Д. занимает исключительное место не только выдающимся характером своих руководителей, но и своей численностью, и живучестью. Оно одно пережило катастрофу Второй Мировой Войны. Возникшее в 1923 году, оно продолжает существовать, когда я пишу эти строки (1972), несмотря на все изменения, происшедшие за эти годы.

Мне представляется, что главной причиной его жизненности, является его литургичность, — этим оно отличается от других религиозных объединений эмиграции. Движение нашло в Евхаристии неисчерпаемый благодатный источник обновления и возрождения для своих членов. В ней же они обрели и свое единство.

Однако целью Движения было не только духовное возрастание его участников, свое призвание оно видело и в осуществлении задачи оцерковления всей жизни. Этим лозунгом оно выражало убеждение своих членов, что парадоксальная вера в Боговоплощение должна охватывать все виды человеческой деятельности, придавая новый смысл личной, общественной и политической жизни, меняя отношение к смерти, труду, искусству и науке. Оцерковление также означало признание, что человек не автономен, а является созданием всемогущего Творца, без сотрудничества с Которым он не в состоянии достичь подлинного улучшения своего земного существования. Одним из условий этого сотрудничества есть правильное устроение общественного строя, в котором единство совмещалось бы со свободой, а иерархичность не уничтожала бы братства.

Подобный строй, отражающий веру в Боговоплощение, получил в русской богословской традиции имя «соборности». Славянофилы первые ввели это понятие в свое описание христианского общества. В условиях крепостной России в середине XIX века, соборность оставалась неосуществимым идеалом. Движение, обретя в изгнании свободу от вмешательства государства, сделало попытку строить на соборном основании свою деятельность. Опыт, полученный в эмиграции, оправдал чаяния славянофилов и явился ценным вкладом в сокровищницу православной культуры. Он доказал возможность плодотворного сотрудничества среди людей различных взглядов и умонастроений, если они готовы вместе трудиться и мыслить, не прибегая к насилию над меньшинством и полагаясь на реальность водительства Святого Духа. Эта симфония, в кото-

рой голос каждого звучит во всем своем объеме, не заглушая других, находится в непримиримом противоречии с тем принудительным единогласием, который установили ленинисты в России. Не случайно, что соборность осветила жизнь Движения, как раз в то время, когда само понятие соборности стало непонятным для советского населения, загнанного в унизительный и обезличивающий коллектив.[10] Соборность неотделима от духовной свободы, от признания неповторимости личности, созданной по образу и подобию Творца вселенной. Она требует уважения к мнению идеологического противника и несовместима с нетерпимостью, так часто искажающей русскую общественную жизнь.

Отказ Движения от участия в выработке политических программ диктовался не безразличием к будущему строю России, в чем обвиняли его критики, а вызывался сознанием, что ни одна из политических систем не обладает монополией на истину, и что Церковь должна быть местом встречи для лиц, держащихся различных взглядов на социальные и экономические вопросы. Церковь, как мать, призвана духовно окормлять людей, желающих послужить человечеству, но не ее задача диктовать им партийные лозунги. Движение с самого начала было экуменично; оно, сознавая вселенскую миссию Православия, смело пошло навстречу западным христианам, желавшим понять восточную традицию Церкви. Это братское отношение к инославным сделало Движение мишенью для ожесточенных атак со стороны масоно-боящихся кругов эмиграции, но оно же выдвинуло Движение в ряды пионеров в том сближении между христианами, которое стало одним из самых значительных явлений в религиозной жизни современного человечества.

Таковы были те достижения, которыми Движение обогатило церковное пробуждение русского рассеяния. Его основоположники надеялись перенести свою деятельность на родную почву и на ней применить опыт, приобретенный за рубежом. Этим надеждам не привелось осуществиться. Те кадры церковно образованных людей, которые были подготовлены в Сергиевском подворье, в кружках и на съездах Движения, за исключением единиц, окончили свою жизнь в изгнании. Но зато идеи, выношенные ими, не умерли. Они находят все более обнадеживающий отклик среди молодежи в России, выросшей уже после смерти Сталина. Та жестокая борьба, которую ведет советская бюрократия против литературы, вышедшей из-под пера руководителей Движения, свидетельствует об интересе к ней среди интеллектуальной элиты. Опыт евхаристического подхода к Церкви, защита ее независимости от светских властей, признание ценности духовной свободы,

---

[10] В этом я неоднократно убеждался из частных разгворов с советской молодежью. Даже студенты не знают смысла слова «соборность».

необходимость творчества в церковной жизни, готовность сотрудничества с инославными, — все эти основы работы Движения созвучны умонастроениям той молодежи в России, которая обрела истину Церкви, несмотря на гонения и клевету, изливаемые на Православие коммунистическими диктаторами.[11]

---

[11] «Вестник Р.С.Х.Д.» за последние годы (1968-1972) содержит ряд статей, полученных из России, говорящих о популярности идей Движения среди духовно пробудившегося меньшинства русской молодежи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВСТРЕЧИ С РИМО-КАТОЛИКАМИ

Н. Зернов

Работа секретаря Р.С.Х.Д. увлекала меня, я отдавал ей все свое время. Моя жизнь протекала в русской среде, но я все же стремился знакомиться с иностранцами, особенно с англичанами и французами. Во мне росло убеждение, что перед православным зарубежьем стоит неотложная задача — искать примирения с христианским Западом. Эмиграция была лишена возможности принимать участие в той борьбе, которая велась вокруг Церкви в России, но зато она могла осведомлять о ней свободный мир и находить в нем друзей Православия.

Моим первым звеном с римо-католиками был француз Антуан Мартель (1899-1931). Он сам пришел познакомиться со мной. Это был по виду скромный, начинающий славист. Его особенно интересовала Украйна — пограничная область между латинской и византийской культурой. Он успел уже побывать и в Польше, и в России, хорошо знал три славянских языка. Он был человек большой духовной силы, отдававший себя всецело служению страждущему человечеству. Помощь туберкулезным больным и работа по соединению западных и восточных христиан были две цели его жизни. Последняя задача была сопряжена с большими препятствиями для католиков в те годы, ввиду непримиримой позиции, занятой Ватиканом. Безусловное подчинение восточных христиан папскому авторитету считалось единственным путем соединения Церквей. Мартель не был согласен с этим и потому находился под подозрением. Он умер рано, заразившись сам туберкулезом. Он оставил большой след в жизни своей Церкви, теперь поднят вопрос об его канонизации.[1] Мартель мало говорил о себе, и я многого вначале не знал об его необычайной жизни, но он сразу привлек меня к себе своей преданностью Церкви, своей чистотой и скромностью. К сожалению, наша дружба длилась недолго. Я уехал в Англию, он получил кафедру в Лилле и вскоре заболел.

---

[1] Actualité d'Antoine Martel. Paris. 1969.

Ему же я обязан встречей с другим замечательным христианином — аббатом Е. Ф. Порталем (1855-1926), который, в конце XIX века, сделал с лордом Халифаксом (1839-1934) героическую и трагически неудавшуюся попытку сближения англиканской и римской Церкви. В ответ на нее, Ватикан издал в 1896 году буллу, объявившую недействительными англиканские рукоположения. Когда я встретил его, он был уже старик с прозрачным лицом, излучавшим свет и тишину. Он перенес много вражды и клеветы, теперь он был готов к смерти. Ему не дана была возможность увидать плоды своих самоотверженных трудов, но он обладал благодатным ореолом святости, который я ощутил, войдя в его комнату. Порталь был пионер и учитель, Мартель был его верный ученик, вокруг них объединялись католики, молившиеся и трудившиеся для соединения Церквей.

Иная группа встречалась в доме Бердяева. Жак Маритен (р. 1882), глава философов нео-томистов, близко сошелся с русским философом экзистенциалистом, хотя идеологически они занимали во многом различные позиции. В их домах по очереди происходили оживленные интеллектуальные турниры. Кроме русских и французов, на них приходили несколько молодых румын, прекрасно разбиравшихся в сложных вопросах современной философской и религиозной мысли.

По инициативе того же Бердяева в доме Движения на бульваре Монпарнас устраивались богословские собеседования между католиками, протестантами и православными. Только благодаря присутствию русских, французы согласились участвовать в этих собраниях. До тех пор католики и протестанты не встречались друг с другом. Бердяеву удалось привлечь ряд выдающихся представителей обеих Церквей. От лица католиков выступили Маритен, Батифоль (1861-1929), Лабертонер (1860-1932), Бопен, Дюрантель, протестанты были представлены Бёгнером (1881-1970), Вильфредом Моно (1867-1943). Среди русских были о. Булгаков, Карташев, Карсавин, Вышеславцев, Флоровский, Зандер и я. Это было блестящее богословское состязание. Плодотворные встречи кончились по настоянию католиков. Они были смущены тем, что главные споры всегда возникали в их среде. Модернисты и консерваторы ожесточенно нападали друг на друга. Это был наглядный пример того, что богословские различия не совпадают с конфессиональными границами.

К этому же периоду моего знакомства с римо-католицизмом относится и моя поездка в Бельгию (12-18 декабря 1927). Ее главной целью было посещение Бенедиктинского монастыря в Амей, основанного в 1925 году со специальным заданием: работы для сближения с православной Церковью. В этом монастыре были монахи и латинского, и восточного обряда и две церкви, где службы происходили или по право-

славному или по западному ритуалу. Я ехал туда с большим любопытством, не зная, найду ли я там друзей или врагов нашей Церкви, и является ли византийский обряд выражением любви католиков к востоку или же лишь приманкой для уловления православных душ в лоно католицизма.

Был морозный вечер, когда я постучался у глухо запертых ворот монастыря. Земля была покрыта снегом. Привратник попросил меня подождать в приемной; через несколько минут вошел молодой монах, с бородой и длинными волосами, одетый в рясу русского покроя, но заговорил он со мной на прекрасном французском языке. Он отвел меня в комнату, которую я мог бы назвать архиерейским покоем. Старинная тяжелая мебель, огромный письменный стол и кровать с балдахином... Никогда раньше ничего подобного я не видел. Почти тотчас же вышел ко мне сам настоятель — дом-Ламберт де Бодуэн (1873-1960). Это был коренастый монах, гладко выбритый, с проницательными глазами. У него была странная привычка неожиданно смеяться во время разговора, тогда его глаза загорались. Он сразу покорил меня. Без предисловий он начал говорить со мной о препятствиях, мешающих примирению Востока и Запада. Его откровенность, его сердечность, его ум и, в особенности, смелость его высказываний сделали нашу беседу захватывающе интересной. Я не ожидал, что возможно так быстро и так прочно найти глубокое единство с богословом-католиком. Он развивал мысли, ставшие после Второго Ватиканского Собора общепринятыми в его Церкви, но в то время считавшиеся опасным уклонением от правоверия. Он говорил об ответственности епископата, о соборности Церкви, о папе, как председателе Вселенских соборов, имевшим право говорить от лица Церкви только в исключительных случаях. Он был подлинным новатором в области церковного единства, соединяя в своем лице лучшее, что имеется в западной и восточной традиции христианства.[2]

Три дня, проведенные в Амей, показали мне, что вся община жила идеями настоятеля, и ее основание открывало новые возможности для примирения христиан. Но путь, выбранный Бодуэном, был сопряжен с риском и препятствиями. В этом я смог убедиться в первый же день моего пребывания.

Поздно вечером, когда я был один в моей огромной почивальне, кто-то постучал у моей двери. Вошел молодой монах и заявил мне по секрету, что он решил присоединиться к православной Церкви. Он просил меня передать митрополиту Евлогию об его просьбе принять его. Ему было неудобно вступить в переписку самому по этому вопросу, и он хотел сделать меня посредником в переговорах. Когда он ушел, ко мне постучался другой монах с подобной же просьбой.

---

[2] См. конец главы Прилож. (I).

Позже зашел ко мне русский послушник, недавно перешедший в католицизм. Он тоже хотел вернуться в Православие, под влиянием чтения «Вестника Р.С.Х.Д.», давшего ему новое понимание нашей Церкви.

Я был в большом смущении не видя возможности отказаться передать их просьбы; я в то же время чувствовал себя совершающим поступок, который мог повредить монастырю и его настоятелю, так гостеприимно встретивших меня. Я все же сообщил митрополиту имена трех католиков. Они все впоследствии присоединились к нашей Церкви. Судьба их была различна. Один стал епископом, другой отрекся от веры, третий священствовал где-то в Южной Америке.

После Амея я поехал в Лувен и Брюссель, где я участвовал в конференциях, посвященных соединению Церквей. В столице Бельгии я встретился с другой стороной католицизма. Я остановился там в странном доме дамы благотворительницы — мадам де Баршифонтэн. Она не вставала с постели, но властно распоряжалась всем домом. Ее муж и двое сыновей исполняли все ее приказания. Дом был большой, запущенный, когда-то очень красивый. Когда я попал в него, он служил убежищем для разных русских, многие из них были опустившиеся бедняки. Хозяйка занималась спасением их «душ». Она также помогала русским детям. Мне отвели холодную, неубранную комнату, полную распятий и религиозных картин. Хотя я приходил поздно с собраний, я должен был давать подробный отчет хозяйке обо всем, что я делал в течение дня. Больная патронесса всех знала и всем интересовалась.

Я воспользовался моим пребыванием в Брюсселе, чтобы познакомиться с местными русскими и заинтересовать их Движением. Отец Петр Извольский (ум. 1928), бывший обер-прокурор Синода, настоятель прихода, принял меня с сочувствием. Он пользовался любовью и уважением своей паствы и его поддержка была очень ценной.[3] Мне удалось найти несколько подписчиков на «Вестник» и заручиться их обещанием помочь в нашей работе.

Мои, все растущие, связи с римо-католиками, как и вся моя деятельность в Париже оборвались неожиданно. Я получил приглашение провести зиму 1929-1930 года в англиканском монастыре в Мерфильде. Это было началом моей ориентации на Англию и на ее Церковь.

---

[3] П. Извольский принял священство в эмиграции в 1922 году. Он был сторонником соединения Церквей и издал в защиту этой идеи брошюру: «К вопросу соединения Церквей». Мюнхен 1922. Некролог о нем был написан для «Вестника Р.С.Х.Д.» его другом, князем Г. Н. Трубецким. № 1-2 (1929).

В 1927 году я конечно не знал, что мне удалось встретиться в Амей с одним из самых замечательных представителей начинавшегося обновления Римской Церкви. Еще до первой мировой войны, этот бенедиктинец со смеющимися глазами начал успешную борьбу с крайним индивидуализмом, господствовавшим тогда в богослужениях у римо-католиков. В некоторых епархиях было даже запрещено причащать мирян во время литургии, до того сознание соборного участия в совершении евхаристии было утеряно. Причастие давалось из запасных даров до или после службы.

Дом Бодуэн создал литургическое движение, которое совершило переворот в этой области. Во время войны он был одним из самых дерзновенных и неуловимых участников сопротивления против немцев, захвативших Бельгию. После освобождения он увлекся новой задачей — примирения восточных и западных христиан.

На него произвела глубокое впечатление встреча с русским Православием. В 1925 году он был в Почаевской Лавре, где он видел участие народа в богослужении, привлекавшем тысячи паломников. Он понял, что целью экуменической работы должно быть не поглощение православных в недрах католицизма, а взаимное обогащение Запада и Востока, так как каждый из них имеет свои дары. С этой целью он основал монастырь в Амей, сразу привлекший молодых и даровитых монахов. Однако, вскоре начались у него большие трудности. Необычайные мысли настоятеля, которые он не скрывал от окружающих, возбудили против него влиятельных врагов. В 1928 году он был лишен настоятельства, сослан в маленький монастырь во Франции и ему была запрещена всякая экуменическая деятельность. Казалось, что смелый богослов навсегда сошел со сцены церковной жизни. Но это было не так. Дому Бодуэну еще предстояло совершить свое главное дело.

В начале двадцатых годов, еще до своего изгнания, однажды будучи в Риме, он, укрываясь от внезапного ливня, разговорился с итальянским прелатом Ранкалли. Они нашли сходство во взглядах. Время от времени они обменивались письмами. Дом Бодуэн находился в изгнании, а его итальянский друг проходил степени церковно-дипломатической карьеры. В 1959 году, к всеобщему удивлению, Анджелло Ранкалли (1881-1963) взошел на папский престол под именем Иоанна XXIII-го. То обновление Церкви, которое он начал, было во многом вдохновлено идеями, родившимися в голове необычайного бельгийского монаха. Второй Ватиканский Собор (1962-1965), открывший возможности для преодоления вековых разделений среди христиан, в значительной степени обязан дом Бодуэну.

Он возвратился в свой монастырь, который переехал из Амей в Шевтонь, и там провел последние годы своей жизни, окруженный любовью и почитанием своих учеников. Он не дожил до открытия собора, скончавшись в 1960-м году.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ

С. М. Зернова.

В первый раз я увидала Рахманинова (1873-1943) когда мне было 15 лет. Это было в Москве на концерте, на котором исполнялась «Поэма-Экстаз» Скрябина (1872-1915). Я не помню, дирижировал ли Рахманинов оркестром или был у рояля, я помню только его лицо. Сама «Поэма Экстаз» произвела на меня громадное впечатление, я была потрясена ею. Но еще большее впечатление произвел на меня сам Рахманинов. Я никогда не видела более прекрасного человеческого лица.

На обратном пути мы молча шли по улицам Москвы, мой брат, я и Димка Кочетов, друг нашей юности, сын музыканта и сам музыкант. «Вам понравилось?» — спросил он меня. «Да», сказала я и ушла вперед. Снежило, горели зеленоватые фонари, я не хотела ни с кем говорить, мне хотелось плакать. Предо мною неотступно стояло его лицо. «Я его никогда не забуду», — думала я.

Я опять увидала Рахманинова спустя два года на Кавказе, в Ессентуках. Был жаркий день. Я шла по тенистым дорожкам парка, пробираясь среди беззаботной курортной толпы. Вдруг я заметила, что все на кого-то показывают. Я тоже стала смотреть туда. По дорожке медленно шли три человека. Я не могла оторвать от них взгляда. Они возвышались над всеми и все расступались, давая им дорогу. Это были Станиславский,[1] Шаляпин и Рахманинов. У каждого из них была печать гениальности на лице. Они шли медленно, держа в руках стаканы с минеральной водою, не замечая окружающих. Шаляпин рассказывал, вероятно, что-то смешное, и они смеялись, слушая его. «Вот он, кого я решила не забывать никогда», думала я. «Если бы только когда-нибудь я могла встретить его! Но он никогда не узнает, что я живу на этом свете». Правда, с ним был Станиславский, пациент нашего отца, друг нашей семьи, который часто бывал в нашем доме. Мы, молодежь, увлекались им, как и Художественным театром.

---

[1] К. А. Станиславский (Алексеев. 1863-1938). См. «На Переломе» стр. 218.

Он относился к нам с ласковым вниманием, но мы были «дети» для него и я не решилась бы подойти к нему в парке, когда он разговаривал с Рахманиновым и Шаляпиным.

Прошли долгие годы войны, революции, изгнания. Рухнуло все, что казалось раньше надежным в этой жизни. Мы были выброшены в холодный, равнодушный мир. Мы попали в Париж, я работала секретарем центра в Р.С.Х.Д. Потеряв родину, мы нашли иные, вечные ценности и вдохновлялись ими. Мы поняли, что России можно служить и не живя на русской земле, и к этому служению мы звали молодежь. Я должна была ехать на съезд в Прагу, но мне было поручено по дороге остановиться в Берлине и помочь там русской молодежи собрать деньги на их работу. Для меня не было более мучительной задачи, как собирать деньги, но я знала, что это мне было послано в жизни, и что ничего не дается нам выше сил.

Незнакомый город, мрачный, грохочущий вокзал, маленькая комнатка в каком-то немецком пансионе и встреча с русской молодежью, разговоры далеко за полночь: о вере, о России, о нашей судьбе . . . А потом стояние у чужих дверей с подписным листом, волнения примут тебя или не примут, выслушают ли, помогут ли? И упование на Бога, такое всецелое, такое безграничное. Просила я помощи главным образом у немцев, выходцев из России и они почти всегда щедро и широко отзывались на мои просьбы. По вечерам все сборщики встречались, приносили чеки и деньги, обменивались впечатлениями, искали поддержку друг у друга. А с утра снова хождение от двери к двери, смотрение в незнакомые глаза с надеждой и ожиданием.

Там, в Берлине, я вдруг решила осуществить одну мою мечту. Между Берлином и съездом в Праге у меня оставалось два свободных дня. «Уеду, — думала я, — в Дрезден, там меня никто не знает, проживу одна, а потом полечу на аэроплане в Чехию.» В 1926-ом году еще мало летали и это считалось опасным. Моя мать сказала мне один раз: «Пока я жива — ты не полетишь». Но я не могла расстаться с моей мечтой, экономила во всем и откладывала в особый конверт деньги на полет «если это когда-нибудь выйдет».

Я на всякий случай пошла на аэродром и узнала, что в моем конверте скоплена точно та сумма, которая нужна, чтобы оплатить билет на аэроплане из Дрездена в Прагу. В тот же день я уехала из Берлина. На следующее утро в Дрездене я пошла в русскую церковь. Это было воскресенье, церковь в Дрездене прекрасная и я была рада, что накануне, может быть, «смертельно опасного полета», я могла «вымаливать» прощение у Бога за нарушение запрета матери.

Выходя из церкви, я столкнулась с князем Митиком Оболенским. Он бывал на наших съездах и всегда звал меня в Дрезден, но я совсем забыла об этом. Оказалось, что в этот

же день русская колония устраивала танцевальный вечер. У меня не было возможности отказать ему. Он заехал за мной и привез на праздник.

Мы приехали рано. Зал был еще пуст, только оркестр настраивал инструменты и пианист тихо наигрывал вальс. Мой спутник был одним из распорядителей и сразу исчез куда-то. Я сидела одна и мечтала рано уйти. Вдруг открылась дверь и в другом конце зала я увидала чью-то, знакомую и незнакомую, высокую фигуру. Вновь вошедший. посмотрел по сторонам, увидал меня и медленным, спокойным шагом направился прямо ко мне. Остановившись передо мною, он пристально взглянул на меня. Я встала.

«Я — Рахманинов, — сказал он, — это вас я видел сегодния в церкви? — «Да, я была в церкви», — смущенно проговорила я. «Я хочу с вами познакомиться», — сказал он и сел рядом со мною, продолжая пристально рассматривать меня. «Вы ведь состоите в Русском Студенческом Движении? Можно ли вам верить?» — спросил он. «Мне или нам?» — «Вам я уже верю, но можно ли верить вам — русской молодежи? Не обманете ли вы нас?» — «Нет, не обманем. Верьте нам, пожалуйста, верьте нам», — стала я просить его. Он посмотрел на меня задумчиво и внимательно. «Хорошо, буду вам верить. А вы сами-то во что верите?» — «Мы верим в Бога. Мы верим в Россию — нашу родину. Она не может погибнуть и мы служим ей». — «Как же вы служите? Посылаете кого-нибудь туда?» — «Нет не посылаем. Мы по другому служим. Каждый из нас в этом мире, как частица России, настоящей. вечной. Вы ведь тоже служите России, правда?» — «Вы так думаете?» — спросил он. «Да, я так думаю и знаю». Я видела и чувствовала. что он все глубже, все внимательнее слушал мня. «Скажите — как вы верите в Бога?» — «Как мы верим в Бога? Что можно на это сказать? Бог может все. — говорила я. — все до конца. Бог ведет каждого из нас. Мы знаем Его руку в нашей жизни и принимаем все. Бог дал нам великую свободу. Он освободил нас от рабства, от привязанности к материальному миру, отняв от нас все. Даже от родины мы теперь отрезаны. Можно все потерять. но если верить в Бога — то имеешь все».

«Да, я думаю, вы имеете все, — сказал он, — но говорите мне еще и еще. Вы сказали, что вы верите в руку Божию, ведущую вас?» — «А разве вы тоже не испытали этого? Надо только отдать жизнь Богу, позволить Ему вести нас». — «Как отдать?» — спросил он. «Не знаю как, как-то внутренно. принять все, принять нашу трагедию, нашу бездомность, но мы не одни, потому — что всюду Бог, а мы в Церкви. Мы нашли ее и в ней встретили друг друга».

Он слушал внимательно. расспрашивал о нашей жизни, надеждах и мечтах. Он хотел все знать, не пропуская

ни одного моего слова и отзывался на все мои вопросы к нему. «Вы хотите нам верить — говорила я — но и мы верим вам. Вы нам нужны, мы вами гордимся, мы за вас внутренне держимся. Это не напрасно, что вы живете на Западе, вы так высоко подняли русское имя. Ничто не случайно, во всем план Божий, и в большом и в мелочах. Так, не случайно, что я приехала на два дня в Дрезден, и что встретила вас здесь». Я говорила с таким горением, что мне казалось, что я лечу. Я благодарила Бога за эту встречу.

А вокруг нас уже кружились пары, играл оркестр, веселилась молодежь. Несколько раз приходили приглашать меня танцевать, но разве я могла оторваться от нашего разговора? К нам подошли дочери Рахманинова, Ирина и Татьяна, они веселились, а мы продолжали нашу беседу. Когда он посмотрел на часы, было уже два часа ночи, ему нужно было идти, он предложил отвезти и меня на своем автомобиле. Он правил, я сидела рядом с ним и мне хотелось так ехать всю жизнь.

На следующее утро мне позвонила по телефону жена Рахманинова и пригласила к завтраку. За столом я сидела рядом с ним. Когда другие были заняты разговорами, я тихо сказала С. В.: «Я хочу открыть вам один секрет, но только вам: сегодня в шесть часов я лечу на аэроплане в Прагу, это моя заветная мечта, но об этом никто не знает». Он посмотрел на меня и сказал: «Если бы у меня была малейшая власть над вами, я запретил бы вам лететь». Я ему ничего не ответила. Вечером я все же улетела из Дрездена.

Через год я встретила Рахманиновых в Нью Иорке. Они собирались приехать летом во Францию и пригласили меня к себе на дачу. Мой брат Володя и я провели с ними несколько дней на океане. Это было началом нашей дружбы. С тех пор каждое лето мы гостили у них, сперва во Франции, а позднее в их имении «Сенар», на берегу Люцернского озера. Французское имение было в Клерфонтене под Парижем, где был двухэтажный дом, парк с высокими, старыми соснами и с заросшим прудом, где цвели ненюфары. Там была теннисная площадка — место сражений и игр. А вокруг рос чудесный, в даль уходящий лес. Весной мы собирали в нем ландыши, летом и осенью уходили в его тенистую глубину, встречали фазанов и зайцев, забывали заботы и суету городской жизни. В Клерфонтене часто бывали сыновья Шаляпина, Борис и Федор, Гога Сатин (р. 1915), египтолог Миша Малинин (р. 1900), Борис Конюс (р. 1904), ставший потом мужем Тани Рахманиновой (1907-1961). Мы все веселились, играли в шарады, были счастливы в этом гостеприимном доме.

Но, конечно, веселее всего было, когда сам С. В. бывал с нами. Одно его присутствие вносило особый подъем. Он мог радоваться, как ребенок и заражал всех своим весельем. Иногда в такие минуты он обращался к своей дочери Ирине

и просил ее: «Ну, Ирина, ну, милая, представь кенгуру или лягушку, пожалуйста, прошу тебя». И Ирина скакала как лягушка или кенгуру, а С. В. хватался за аппарат и крутил фильм. Помню один из таких счастливых дней. С. В. сидит на шэз-лонг и следит за нашей игрой в теннис, переживая с нами все успехи и промахи. «Ай да, Танюша, — говорит он, — нет, вы посмотрите, как она играет, она всех побьет». Танюша старалась и промазывала мячи. «На этот раз не удалось, — подбадривает он свою дочь, — но, вы увидите, она еще покажет себя». Мы все слушали его комментарии и старались изо всех сил.

С. В. был одарен тонким юмором и поддразнивал тех, кого он любил. Какими только именами он не называл каждого из нас. За хорошую игру мы получали имена мировых чемпионов тенниса, правда, эти имена часто переходили от одного игрока к другому, так как все мы играли приблизительно одинаково, и, несмотря на все наши усилия, были очень далеки от чемпионства.

Но, наряду с весельем, С. В. нес в себе тяжесть своей тоски. Бывали дни, когда она захватывала его с такой силой, что она ложилась на всех окружающих. Почувствовав это, он вставал и уходил играть. Вероятно в музыке он находил облегчение. Обычно он играл каждое утро. Окна его студии были открыты и мы могли слушать, сидя в саду, с книгой в руках или тихо разговаривая друг с другом.

Однажды вечером, когда мы все сидели на площадке перед домом, С. В. отозвал меня в сторону и сказал: «У меня к вам поручение, можете его исполнить?» «Конечно могу», — ответила я. Тогда он сообщил мне, что прочел в газете об одной нуждающейся семье и просил передать им деньги, не говоря от кого. С тех пор он стал давать мне такие поручения, я выполняла их с великой радостью.

Раз он описал мне свою первую встречу с Чеховым (1860-1904). Будучи молодым и неизвестным музыкантом, он аккомпанировал в Ялте уже известному Шаляпину. После концерта к нему подошел Чехов и сказал: «Поздравляю вас, вы далеко пойдете». На вопрос, почему он это знает, Чехов ответил: «Я смотрел на ваше лицо». Рахманинов считал эти слова самой большой похвалой, полученной им за всю его жизнь.

В другой раз он рассказал нам о своем деде, с которым он играл в четыре руки, когда ему было пять лет. Его дед играл прекрасно и, играя, мог иметь рюмку с водой стоявшей на его руке. Вообще же Рахманинов мало говорил о себе.

Один раз я рассказала ему об Андрюше Волконском, (ставшим впоследствии известным композитором в Советской России). Ему было тогда 6 лет, я спросила не хочет ли Рахманинов посмотреть сочинения мальчика, записанные его отцом, Михаилом Петровичем Волконским. «Покажите», сказал Рахманинов. Он посмотрел на них одно мгновение и сказал

«интересно, пусть пишет». Потом был длинный обед, все были оживленные, мы говорили о России. С. В. расспрашивал каждого из нас о нашей работе, сам описывал Америку. Мы разошлись поздно вечером; прощаясь, я спросила его, как он мог судить о сочинении Андрюши, посмотрев на них всего одно мгновение? «Плохого вы мнения о моих музыкальных способностях, София Михайловна — сказал он смеясь — но, чтобы доказать вам, что я кое-что в музыке понимаю, я сыграю вам то, что сочинил Андрюша». Он сел к роялю и сыграл на память то, что я ему показала несколько часов назад. «Верите ли вы мне теперь?» — спросил он, улыбаясь своей ласковой, чуть-чуть насмешливой улыбкой. Все смеялись, глядя на мой смущенный вид.

Однажды за обедом мы говорили о книгах, С. В. любил Пушкина, Толстого, Чехова. Из всех произведений Достоевского он выше всего ставил «Бесы». Самое близкое ему стихотворение было Тютчевское «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои».

Он был требователен к людям и особенно не терпел фальши и самохвальства. Как-то приехал инженер-изобретатель. Он много и самоуверенно говорил о своих достижениях и трудно было разобраться, что было правдой и что — фантазией. С. В. сделался молчаливым и мрачным, мы все тоже умолкли. Инженера не пригласили остаться на ужин, к великому удовольствию нас, молодежи. После его ухода С. В. ни слова не сказал о нем.

Но были и другие посетители. В Клерфонтен приезжали Николай Карлович Медтнер с женой, Ю. Э. Конюс (1869-1942), Н. К. Аверино, пианист Н. А. Орлов, режиссер Михаил Чехов (1891-1955) и много других русских и иностранных друзей, главным образом связанных с искусством. Всех их принимали с большим радушием.

Самым же дорогим гостем всегда был Шаляпин. С. В. умел ценить дарования, но Шаляпин занимал особое место в его жизни. Шаляпин был другом молодости, С. В. не только преклонялся перед его талантом, но и любил его лично. Шаляпин это чувствовал и сам вероятно любил Рахманинова. Когда он приезжал, внимание всех было сосредоточено на нем. Он не переставал говорить, рассказывал анекдоты, представлял сцены и наслаждался, имея перед собою такого ценителя, как сам Рахманинов.

С. В. каждый год давал концерт в Париже. Сбор обычно шел в пользу студентов. Задолго до концерта невозможно было достать билетов. Но он считал, что по-настоящему его понимают во Франции только немногие, с которыми у него была внутренняя связь.

Тот, кто встретил когда-либо Рахманинова, не мог забыть его. Было что-то в его личности, в его облике, что оставляло

след навсегда. Внешне он был сдержан, замкнут, недоступен. Но его взгляд останавливался на всех с вниманием и интересом, как будто он чего-то ждал от каждого человека.

Трудно проникнуть во внутренний мир другого, трудно разгадать, чем он живет. Рахманинов был сложным и многогранным, но в нем не было изгибов, он был цельным во всем, любящим правду и ищущим ее. Раз как-то мы говорили с ним о граде Китеже, о том, что каждый подлинный русский должен нести в своем сердце тоску о святом граде, в котором нет ни страданий, ни зла. Хотя Китеж и опустился на дно озера, но звук его колоколов иногда доносится до нас. Думаю, Рахманинов слышал его часто.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ

С. М. Зернова

«Хотите ехать в Америку?» — «Я — в Америку? Разве это возможно? О да, я хочу!» Это было в 1928 году. Я была в то время одним из секретарей Движения. Кульманн сказал мне, что в Калифорнии будет съезд Христианского Союза Молодых Женщин, и что они захотели пригласить русскую студентку из Парижа. Я должна была бы также участвовать в конференции русских студентов, учащихся в Америке. Кроме того мне хотели поручить собрать 1000 долларов на Духовную Академию в Париже и 500 долларов для нашей работы в Движении.

Я была тогда «ненасытная», от каждого дня ждала чего-нибудь неожиданного и прекрасного, и каждый день был как новая страница, которую открывал передо мной Бог. Весной я покинула Париж. Вокруг меня — океан, бесконечный, синий простор неба и моря. Я совсем одна. Что-то меня ждет в Америке? Найду ли я там друзей? В этой далекой, чужой мне Америке все упование мое на Бога, каждый день, каждую минуту. «Она тоже твоя земля, Господи», говорю я.

Наш пароход медленно подплывал к Нью-Йорку. Вся публика была охвачена радостным возбуждением, а я еще острее чувствовала свое одиночество и «держалась» за Бога. Стоя на палубе я смотрела на маленькие катера, снующие вокруг, на фантастические небоскребы, на статую свободы. В это время ко мне подошла молодая русская и попросила подержать ее трехлетнюю Верочку. Я едва успела взять ее на руки, как она пришла в восторг, протягивала ручки, закидывала головку и смотрела куда-то вверх. Вдруг она прижалась к моему лицу и начала шептать мне быстро на ухо: «Смотри, смотри: ангелы, ангелы!» Это были белые чайки, кружившиеся над пароходом. Я не останавливала Верочку, ее слова несли мне покой. Я так хотела, чтобы ангелы встречали нас в этой громадной стране.

Когда я подошла к столику, где проверялись документы, чиновник сообщил мне, что меня ждут, и я попала сразу в

руки деловой американской организации. Ожидавшая меня молодая американка, Анн Виген, отвезла меня в мой новый дом. Там я была встречена седой дамой с внимательными черными глазами. Я сразу почувствовала, что она приняла меня в свое сердце. В моей комнате все было полно заботой о неизвестной русской студентке, цветы на камине, будильник на столике и, подобранные под цвет стен, полотенца в ванной. Их было двое: мистер и миссис Бэккер. Он был президентом старейшего в Нью Йорке Манхаттанского банка, все их дети были женаты или замужем, они жили вдвоем в большой квартире в центре города на Парк авеню. Миссис Бэккер была почетным членом Союза Христианских Молодых Женщин.

Бэккеры меня удочерили. Они говорили своим друзьям: «У нас четверо американских детей и одна русская дочь». Они окружили меня таким вниманием и любовью, что я не знала, как выразить мою благодарность. Через них я узнала и полюбила Америку, ее величие, ее размах, ее особенную внутреннюю свободу. Передо мной открылись новые формы христианства, и я поняла, что Бог каждому народу указывает его особый путь служения человечеству. Бэккеры были епископалы, они участвовали в бесконечных церковных и прицерковных комитетах. Христианство в Америке — активно и выражается участием в различных благотворительных организациях. Это их своеобразное осуществление церковности.

Когда я вспоминаю мою жизнь у Бэккеров, я вижу каким ровным и мягким светом был залит каждый день. В 8 часов утра мы все собирались в большую гостиную: мистер и миссис Бэккер, две горничных, кухарка, шофер и я. Мистер Бэккер читал Библию, потом он опускался на колени около своего кресла и прочитывал «Отче Наш» и другие молитвы. По окончании их, хозяева и я переходили в столовую к утреннему завтраку. Затем мистер Бэккер уезжал в банк, а миссис Бэккер просматривала почту. Каждый день она получала просьбы о помощи, она их внимательно обдумывала и, если считала правильным, помогала просящим.

Мне они предоставляли полную свободу, но им хотелось, чтобы я встречала их друзей, и они почти каждый день устраивали приемы в мою честь. По вечерам я долго сидела с моей «американской матерью», она переживала каждую мою встречу и давала мне мудрые советы. Наша взаимная любовь была для меня «даром неба», она наполняла меня таким полным и всецелым счастьем.

В первый же день моего приезда в Америку я увидела афишу о концерте Рахманинова. С замиранием сердца я вспомнила, как два года назад, в Дрездене, Сергей Васильевич взял с меня слово, что если я буду в Америке, я дам ему об этом знать. Я обещала, думая, что я туда никогда не попаду.

И вот я в Америке. Помнит ли он меня? Я решила на-

писать ему наугад, на адрес концертного зала. На следующее утро мне позвонила его дочь Таня, сказав, что я найду билет в кассе, а после концерта они приглашают меня на ужин.

Он играл прекрасно, зал гудел от аплодисментов, я не сводила глаз с его рук и жадно слушала каждый звук. Я знала, что в этом зале, самая счастливая, самая благодарная Богу — это я. У них на ужине я очень стеснялась, но Сергей Васильевич был ласков со мной, он сказал, что не забыл наш разговор в Дрездене и пригласил меня к ним во Францию будущим летом.

На следующий день мне трудно было жить, мне было трудно оторваться от звуков, от воспоминаний, от его образа, который все время стоял передо мною. А на душе была грусть. Я не знаю почему, когда чей-то образ стоит перед нами, в нашем сердце живет грусть.

Потом стали чередоваться дни, один за другим, полные новых впечатлений, встреч, я всем этим жила, всем горела, может быть слишком горела... Однажды я пошла в Союз Русских Студентов, к их председателю Алексею Вирен. Я рассказывала ему о Движении. Он слушал внимательно и задумчиво. «Вы должны увидать здесь двух людей — сказал он — Бориса Александровича Бахметьева (1880-1951) и Великую Княгиню Марию Павловну. (1890-1958). Бахметьев очень занятой человек, профессор в Университете, у него большая фабрика, но он русский человек. Я дам вам его телефон, попросите принять вас. Расскажите ему о вашей работе, но не оставайтесь у него больше, чем десять минут, он деловой человек и боится разговорчивых дам. Советую вам также не просить у него денег».

На следующий день я позвонила Б. А. Бахметьеву. Было около 12-ти часов дня. Он спросил меня, по какому делу я хочу его видеть. Я так боялась, что он откажется меня принять, что быстро сказала: «Я приду только на десять минут, я ничего не буду у вас просить, я хочу только рассказать вам о жизни русской молодежи в Париже». Он не сразу мне ответил, я ожидала, что он скажет: «Я очень занят», но он спросил: «Вы можете прийти сейчас?» — «Да, через двадцать минут».

Через двадцать минут я была у него в бюро, он встал мне навстречу и посмотрел на меня тем особым взглядом, который я так хорошо знала потом. «Так вы приехали из Франции?» спросил он. «Да». — «Вы расскажете мне в десять минут, как вы живете?» — «Да, в десять минут», сказала я, смотря на часы. И я стала быстро, немного путаясь, говорить: «Я приехала от Движения, это объединение русской молодежи, нас не очень много, но...»

Он вдруг перебил меня. «Подождите, — сказал он, — вы завтракали или нет?» — «Нет» — «Хотите позавтракать со мной в моем клубе?» — «Хочу». И мы завтракали с ним в

его клубе. Когда мы кончили завтракать было кажется 6 или 7 часов. Он, вероятно, забыл, что он деловой человек. Или может быть это я забыла, что пришла к нему на десять минут . . .

Прощаясь, он просил меня позвонить ему, когда я вернусь из Калифорнии. Так началась наша дружба. В память этой дружбы, я пишу теперь мои воспоминания. Я ему это обещала. За дружбу, вероятно, не благодарят, но за все всегда можно благодарить Бога.

Через несколько дней я послала письмо Великой Княгине Марии Павловне. Я писала ей, что в эмиграции есть группа молодежи, которая хочет служить родине, что сейчас не время упрекать кого то за прошлое, что мы знаем, что впереди нас ждет только труд, только борьба, но мы молоды и верим в Бога, мы зовем всю русскую молодежь, вместе с нами, творчески строить жизнь.

Мария Павловна ответила мне сразу и пригласила меня к себе завтракать. Она жила одна, в небольшой квартире в центре Нью-Йорка. Сама открыла мне дверь и поразила меня своей простотой и естественностью. Она была среднего роста с живыми, серыми, «романовскими» глазами. Она хотела знать все подробности нашей жизни в изгнании. Мне казалось, что я знала ее уже многие годы. У нас был один из тех разговоров, которые не забываются никогда, когда два незнакомых человека становятся вдруг близкими и нужными. Она была старше меня, ее прошлое и мое были так различны, но и она и я потеряли родину, и мы обе не могли забыть России. Мы одинаково оценивали все. Но во мне было много энтузиазма и надежды, что все может измениться, у нее этой надежды не было, у нее было всецелое приятие судьбы.

«Я хочу, чтобы вы поехали со мной к одним моим большим друзьям американцам, — сказала она, — вы увидите какие они удивительные люди, к тому же я хочу показать им вас». Когда я рассказала моим дорогим Бэккерам, как меня встретила Мария Павловна, они решили устроить в ее честь торжественный обед в ресторане на 55-ом этаже, принадлежащем Манхаттанскому банку. Она совсем очаровала их, и Мистер Бэккер просил ее обращаться к нему, каждый раз, когда ей нужно будет помочь кому-нибудь из русских.

Через несколько дней ее друзья американцы прислали за мной автомобиль. У них было прекрасное имение около Нью-Йорка, а дом их походил на музей, повсюду были старинные иконы, русские картины и ковры. Хозяин дома и жена его произвели на меня огромное впечатление. Они были оба красивые, культурные и горели Православием и Россией. Такое горение я встречала лишь среди нас, членов Движения. Они казались даже более русскими, чем мы. Мы поместились в гостиной с прекрасным видом на лужайки и цветники, и они стали «запоем» расспрашивать меня о моей жизни. Они верили,

что возрождение мира начнется, когда люди поймут, что истина хранится в Православии, что оно одно открывает прямой путь к небу и что русские явят Православие другим народам. Они готовы были помогать нам. Мария Павловна обещала быть звеном между ее друзьями и Движением.

Я не знала, что есть такие люди в Америке! Чем Россия полонила их? Как открылось им все то, чем мы жили и горели? Я понимаю, что Марии Павловне было важно показать им меня, такую, какой я тогда была, чтобы не потух тот огонек, который может быть именно она в них зажгла. Для нее я была носительницей «православной идеи». Не сговариваясь, мы вместе служили Православию и России.

На следующий день, я должна была уехать на два дня в Атлантик Сити. Меня пригласила туда русская семья Штернбергов. Они узнали, что я в Америке из «Вестника Р.С.Х.Д.». Их семья состояла из мужа, жены, бабушки и двоих детей. Отец был музыкантом и играл на скрипке в одном из ресторанов, они не были богаты. Было в них что-то особенное, я таких никогда не встречала. Самой большой радостью для каждого члена их семьи было помогать нуждающимся. Они делали это с изумительной простотой и с настоящей, сияющей на их лицах, радостью. Они рассказывали мне, что пришли к вере во время революции и сразу стали применять свою веру к жизни. Так, их маленький мальчик собирал марки для других мальчиков, чтобы доставить им удовольствие, и это было удовольствие для него самого. Их дочка получила к Рождеству от соседей шелковое платье и подарки, она отдала их более бедной девочке, и все они были счастливы этим.

«Странно, сказали мне они, — чем больше даем, тем больше развивается жажда давать». Они все искали, кому бы еще помочь. Я боялась, что люди будут обманывать и эксплуатировать их, но они ничего не боялись: «Не заведем же мы счет в банке, — говорили они, — что же делать с деньгами, если не иметь радости помогать другим». Мир и свет исходил от них. Так же, как и от Франциска Ассизского, думала я.

В Нью-Йорке опять были каждый день собрания и приемы, устраиваемые Христианским Союзом Молодых Женщин. Каждая иностранная студентка должна была выступать на них, рассказывать о своей стране и о религиозной работе. Потом нас обступали, забрасывали вопросами, приглашали в разные дома, показывали достопримечательности города. На этих собраниях меня часто спрашивали, познакомилась ли я с «Питером?» «Кто это?» спрашивала я. «Вы непременно должны познакомиться с ним», — отвечали мне, не удовлетворяя мое любопытство. Под конец мне становилось весело, когда мне все задавали снова тот-же вопрос. Я узнала, что мне говорили о Питере Ван Дузене, молодом, блестящем богослове. (р. 1897).

Приближался день отъезда в Калифорнию. Накануне,

Анна Виген пригласила меня на ужин. Я застала у нее веселую компанию молодежи. В стороне стоял высокий человек и внимательно смотрел на меня. Я сразу догадалась, что это и есть Питер, он был не такой, как все. После традиционного порто и виски нас позвали в столовую для ужина. Весь стол был уставлен всевозможными винами и угощениями, но друг против друга стояло всего два прибора. Все приглашенные, веселясь, заявили, что устроили заговор против «П» и меня, они все идут в театр, а нас «запрут» тут в квартире, предлагая нам поужинать и непременно «подружиться».

Мы не успели ничего сказать, они шумно уехали, сделав вид, что запирают дверь. Мы остались вдвоем. Он был смущен. Я — тоже. «Я так много о вас слыхал» — сказал он. — «Я о вас тоже». — «Анна сказала, что мы должны подружиться, а я никогда, ни с кем не становился другом по приказу». — «У вас много друзей?» — «Это зависит, что понимать под дружбой . . .» — «Один русский философ, Павел Флоренский, сказал, что друг — это «другой я». — «Таких друзей у меня нет», — ответил он. «Но я только так понимаю дружбу» — «Давайте попробуем стать такими друзьями» — сказал он смеясь.

Так начался тот вечер и так началась наша дружба. Я не помню, когда Анна и ее гости вернулись. Кажется было очень поздно. Он отвез меня домой. Я знала, что в этот день и он, и я были счастливыми.

Встречать людей, рассказывать им о нашей жизни, в России, в эмиграции, в Движении, узнавать об их жизни, об их работе, находить друзей, «открывать для себя Америку», — все это давало мне вдохновение и крылья. Только иногда, просыпаясь утром в моей прекрасной комнате, я с тоской думала о том, что мне предстоит собрать деньги, и что я еще ничего не сделала для этого. Я долго не могла решиться сказать об этом Бэккерам. Только Марии Павловне я сказала, но не просила у нее ничего.

Когда я уезжала из Парижа, Г. Г. Кульманн дал мне адреса двух своих друзей в Америке, посоветовал написать им совсем откровенно и сказать, что мне поручили собрать деньги. «Если они смогут, — сказал он, — они помогут вам». Я им написала. Оба ответили сразу. Один предлагал мне приехать в мае месяце на одну религиозную конференцию, обещая содействие там в сборе денег, другой просил остановиться на один день в Кливленде, когда я буду ехать в Калифорнию.

В назначенный день, в 7 часов утра, я была в Кливленде. Я должна была стоять у своего вагона. Тортон Мериам подошел ко мне. Он был выше среднего роста, с белой гвоздикой в петлице. Какую благодарную память я храню в сердце о нем. Ему тогда было 35 лет, он был профессор, у него были серые, немного грустные глаза, во всем его облике была порывистость, как будто он хотел сразу прийти на помощь,

угадать чужую мысль. Он отвез меня в отель, чтобы я могла отдохнуть и взять ванну. В 12 часов он заехал за мною и мы поехали за город. Был чудный солнечный день. Он показывал мне зеленые лужайки и озера и рассказывал о своей дружбе с Кульманном, которая имела большое значение для его жизни. Густав открыл ему Достоевского и научил его «искать». «Чего искать?» — спросила я его. «Всего, и не уставая. Чем больше я ищу, тем больше духовных ценностей открываются передо мною. Я, вероятно, не зная того искал и вас и нашел вас, и опять через Кульманна. Я так благодарен ему, что он дал вам мой адрес и что вы приехали ко мне». — «Я тоже ищу всегда», — ответила я. Потом мы говорили о вере. Он все понимал и был почти православным, принадлежал же он к близкой нам епископальной Церкви.

В 5 часов было собрание на его квартире, куда он пригласил друзей. Я рассказала о Движении, о Православии, но ничего не просила. Когда я кончила, он стал говорить о русской молодежи, обо мне, о нашем героизме, о настоящей вере в Бога. Он благодарил меня за то, что я приехала и закончил тем, что все они будут счастливы помочь нам. Он тут же раздал всем конверты со своей карточкой, прося прислать чеки для Движения.

Вечером мы были в театре. После ужина в 12 часов ночи он посадил меня в поезд, уходивший в Калифорнию. В этом же поезде ехала миссис Бэккер. На следующее утро я должна была рассказать ей во всех подробностях о времени, проведенном в Кливленде.

Через несколько дней мы приехали в Калифорнию. На конференции было две тысячи девиц. Я выступала на третий день, смотря на бесчисленное множество глаз, устремленных на меня. К счастью, я говорила с вдохновением и мой голос звучал так, что он проникал в сердца. Когда я кончила, девицы обступили меня тесным кольцом, я едва успевала отвечать на их вопросы, многие приглашали меня в свои колледжи или к себе домой или на другие конференции. Но у меня не было времени. Я должна была ехать на два дня в город Сакраменто, а оттуда в Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Сеатл и дальше на другие съезды в Канаде и в Соединенных Штатах.

Я тосковала без Церкви, шла наша страстная неделя. В первый день Пасхи я была в Сакраменто. Рано утром ко мне в комнату в отеле постучали. Горничная внесла целый сноп роз. Кто мог бы их прислать? Тут я вспомнила, что Мериам знал, где я буду на Пасху. Я не ошиблась, к розам была приколота его карточка.

Я еще лежала в кровати, как в дверь постучали опять. Не дожидаясь ответа, чья-то голова просунулась в дверь и я услышала женский голос, который спрашивал: «Русская?»

Я ответила: «Да». — «Православная?» — «Да». Через минуту посетительница сидела на моей кровати и, захлебываясь от радости, говорила мне: «Я — Маруся, православная, живу здесь, занимаюсь шитьем, портниха я. И вдруг читаю в газете — приехала русская, молодая, из Парижа, рассказывает, как там люди живут, что там есть молодые и веруют и православные и церковь у них есть. А сегодня первый день Пасхи. Ах, я с вами еще не похристосовалась. Христос Воскресе». Мы поцеловались и я была так же счастлива, как и она.

От нее я узнала, что около Сакраменто есть русский поселок, где живут и православные и баптисты. Православные живут бедно, пьянствуют и воров у них много, но есть среди них и хорошие люди. Маруся иногда ездила к ним. Как только она узнала о моем приезде, она организовала там митинг, назначенный на сегодняшний вечер, так как это первый день Пасхи, а церкви у них нет. Баптисты жили зажиточно, залу пришлось нанять в их молитвенном доме. Теперь все были оповещены, надо было только, чтобы я согласилась приехать и рассказать о Православной Церкви. Я, конечно, обещала приехать.

Маруся осталась ждать Анну. Та пришла в ужас от нашего проекта. Оказалось, что я уже была приглашена вечером на обед, там должны были быть важные люди из Сакраменто; кроме того, поселок пользовался плохой репутацией и туда было опасно ехать вечером одной.

Маруся была в отчаянии. Она все устроила, зала была нанята, неужели я не приеду, неужели побоюсь? . . . Она предложила заехать за мной и привезти еще православного студента. После долгих обсуждений было решено, что я приеду на собрание после официального обеда, к 10-ти часам вечера.

В русской деревне были русские ухабы, и пробраться туда было не легко. В 10 часов вечера, по темным и узким улицам я подъехала к единственному освещенному небольшому дому. Там собралось около 100 русских людей. Это были простые женщины в платочках и мужички, все из старой, еще царского времени эмиграции. Я в первый раз встречалась, вне России, с русским народом. Маруся и «православный студент» ждали меня на улице, перед домом. Бедная Маруся так боялась, что я не приеду . . .

Она провела меня в душную, переполненную комнату, но не позволила никому ко мне подойти, посадила меня за столик и, стоя рядом со мной, громко заявила: «Теперь слушайте, она вам все расскажет, и о Православной вере, и о Церкви, и о родине».

Я говорила с вдохновением о том, что русская молодежь, потеряв родину, поняла, что разрушить веру Православную не может никто, что, даже если и церкви разрушают, то «мы

сами храмы Духа Святого». Я говорила о наших съездах, где каждый день служилась литургия, где все мы исповедовались и причащались, — и они слушали в напряженной тишине. Когда я кончила, поднялась одна женщина. «Дозвольте сказать два слова, — сказала она — вот вы говорите: «Православие», а что такое православие? Был царь — держалась ваша вера, убили царя и развалилась церковь, сняли обручи и распалась она, как бочка. И увидели все, что внутри той бочки пустота, ничего нет, а вот к примеру сказать, православные? Живем мы в одной деревне, ваши православные живут бедно, воруют, пьянство повсюду, а мы баптисты веру соблюдаем, не курим, не пьем. Как понадобилась зала — к нам же пришли просить, кланялись, приехала, говорят, наша православная, дозвольте собраться . . .».

В то время, как она говорила, ее пробовали перебить, выкрикивали: «молчи ты», «не к тебе приехала», «не путайся» . . . Мне стоило больших трудов успокоить их и дать ей договорить, особенно волновался один, сравнительно молодой «православный», он сидел на полу, в углу, и, к сожалению, был совсем пьян. Он порывался вскочить и побить баптистку, его удерживали соседи, но он все время выкрикивал: «побью, видит Бог побью» . . .

Я слушала ее с тоской в сердце. Что я ей отвечу? Сумею ли защитить нашу веру? Когда она кончила, все глаза устремились на меня. Я стала говорить, что многое из того, что она сказала — была правда. Не будем бояться правды. Правда, что православные люди курят и пьют, и грешны во многом, но не будем забывать, что Христос пришел грешников спасти и будем помнить притчу о мытаре и фарисее. Христос не осудил фарисея, он хорошо делал, что молился, помогал бедным, но принял Христос мытаря, за его смиренье, за покаянье. Однако одна вещь, которую она сказала, была неправда. Она сравнивала Православную Церковь с бочкой. Пусть царь и правительство, как обручи держали ее, пусть сняли обручи и распалась бочка, но внутри оказалась не пустота, а золото и несметные сокровища. И эти сокровища блистают и светят нам, как никогда раньше. Мы не своими заслугами будем гордиться, а будем благодарить Бога за наших великих подвижников и святых, за Николая Чудотворца, за Сергия Радонежского, за Серафима Саровского и за всех святых, в России просиявших. Их подвигами и их молитвами спасется наша родина. Пусть баптисты не пьют, не курят, пусть богатеют, но среди них не было ни одного святого, ни одного подвижника. Не осудим их, но будем крепко держаться за Святую Православную Церковь.

Я предложила всем, по случаю великого Праздника Пасхи, спеть всем вместе « Христос Воскресе ».

Все православные встали, баптисты же сидели на скамей-

ках, сложив руки и поджав губы. Одна из женщин поклонилась им в пояс и сказала: «Правду она говорит, грешники мы, но ради праздника Христова Воскресения, встаньте, пропоем вместе».

«Мы уж посидим», — ответила говорившая со мной баптистка. Но другие баптисты почти все встали.

И православные запели: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав . . .»

Пели они какими-то высокими, особенными, бабьими голосами, так вероятно пели в России в деревнях. Потом мы все похристосовались, а Маруся плакала от умиления и радости.

Было уже 12 часов ночи, и опять выступила моя баптистка:

«Хорошо это вы все говорили, — сказала она, — а, чтобы вернуться в ваш отель, повезут вас опять-таки баптисты».

Но здесь запротестовал весь «православный народ». Оказалось, что в деревне живет «православный» слесарь, и у него есть автомобиль. Несколько молодых кинулись будить его, и вскоре появился, довольно дряхлый, «православный» автомобильчик, на котором Марусю, студента и меня благополучно доставили в Сакраменто.

Прошел ровно год. Я получила в Париже, к Пасхе, письмо со многими подписями. Писал мне студент, что после моего отъезда все православные решили строить церковь. Каждый принял участие в этом строительстве. Они писали мне в день освящения их нового храма и благодарили за мой приезд. Теперь еще один православный крест поднимается к небу, пусть не на русской земле, — но вся земля — Господня земля.

Из Сакраменто группа девиц повезла меня на абтомобиле в свой колледж недалеко от Лос-Анжелес. Во всех колледжах — одно и то же: молодые девицы, чаи, обеды, собрания. Я должна была рассказывать о нашей жизни. Я часто говорила с внутренней тоской, мне стыдно было нашего позора, нашей нищеты. Наша жизнь, думалось мне, так чужда им, у них есть родина, богатство, зачем говорить им о нашем одиночестве и потерянности в этом благополучном и сытом мире? Мне хотелось повторять в такие моменты стихи Блока:

> «Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной,
> В твоей тоске — о Русь,
> И даже тьмы ночной и зарубежной
> Я не боюсь!»

И вдруг среди этих чужих людей, встречался мне взгляд глаз, полных такого сочувствия, такого понимания. Откуда было это? Они меня не знают, я пришла и уйду от них опять. Откуда же этот взгляд, глубокий, проникающий в самое сердце? И тогда все сразу менялось и я ощущала любовь и благодарность к ним, пригласившим меня. Я знала, что мы сво-

бодны как птицы, что мы странники и пришельцы на этой земле, и все становилось легко, и наша боль делалась не нашей, а общечеловеческой, боль за людей, восставших против Бога. И тогда мне хотелось протянуть руку всем, кто ищет, кто горит, кто готов забыть себя и помогать другим. Так было со мной в Сеатле, так было и в других городах Америки.

Были у меня и встречи с русскими студентами. Первая произошла как раз в Сеатле. Их было около 30 человек. Я сразу почувствовала враждебность к себе, первую за все время пребывания в Америке. Когда я кончила говорить, мне стали возражать два студента. Один со злобой напал на меня. «Все русские эмигранты просители и бездельники, — повторял он, — Православие учит смирению, поэтому подчиняйтесь коммунистической власти. Поборолись, провалились, теперь надо признать свое поражение». Другой уверял, что Америка не интересуется религией, пусть ею занимается отсталая Европа.

Около меня сидел молодой студент, с очень светлыми волосами и смотрел на меня сочувствующим взглядом. Я знала, что он мой союзник, но он ничего не сказал. Отвечая, я объяснила, что я приехала не от всей русской молодежи, а от тех, кто увидел истину и красоту Православия. Просила я их также не обобщать того, что думает «Америка» и чем интересуется «Европа». Они кажется немного «помягчели», но ушла я с тяжестью на сердце. Таких, на все озлобленных людей вероятно много в России и м. б. нам когда-нибудь придется встретиться с ними.

Моя вторая встреча с русскими студентами произошла на их съезде. Я провела на нем пять дней. Председатель, в своем вступительном слове, сказал, что их объединение «американского типа, а не узко религиозное». Я слушала его с изумлением. Когда правильно понимаешь христианство, в нем находишь и глубину, и простор. Блестящий доклад прочел П. П. Зубов.[1] Он говорил смело и талантливо, зовя молодежь идти по прямому пути веры. Два раза говорила и я о моих странствованиях по Америке и о Движении. Была долгая дискуссия. Руководители студенческого объединения предложили мне остаться в Америке и работать с ними. Я конечно не могла согласиться. Моя жизнь была в Париже с моей семьей и моими друзьями.

После моего доклада, один студент подошел ко мне и сказал: «Я плакал когда вы говорили». Я промолчала, я сама часто внутренне плакала, когда говорила, плакала о поруганной родине, о моем недостоинстве, о неумении применить к жизни те великие дары, которые открыл нам Бог. На съезде был Штернберг. Мы вместе с ним украшали самодельную церковь. Мы вместе исповедовались и причащались. Многие студенты стали членами нашего Движения.

---

[1] Peter Zuboff. Godmanhood as the main idea of Solovyev. N.Y. 1944.

Вернувшись в Нью-Йорк, я снова поселилась у Бэккеров. У меня теперь было много друзей, и они приглашали остановиться у них, но разве я могла променять моих «американских родителей» на кого-нибудь другого. Среди моих друзей был также Дюри, шофер Бэккеров. У него всегда было множество вопросов о России. Когда он вез меня куда-нибудь, у нас начинался оживленный разговор. «Мисс Соня, вы не думаете, что в мире должно-быть равенство?Я очень предан моим господам, они лучшие люди, встреченные мною, но я не могу пойти в церковь, в которую они ходят, потому что я их шофер. Мисс Соня, скажите, очень трудно потерять все, что вы имели? А те люди, которые работали и откладывали, они тоже все потеряли? или это случилось только с богатыми буржуями?» Он вез меня медленно, чтобы успеть меня побольше расспросить. Я для него была русская, а за мной стояла громадная Россия.

В Нью-Йорке я стала получать деньги. Первым прислал 500 долларов на Движение Тортон Мериам из Кливленда. Когда его друзья узнали, что мне нужно собрать эту сумму, они распределили ее между собой. Приходили и другие чеки, часто от неожиданных людей. Я собрала на Движение больше, чем было поручено мне. И была счастлива этим, но у меня оставалась другая, еще не выполненная задача, она лежала камнем на моем сердце, мне надо было найти 1000 долларов для Духовной Академии. Миссис Бэккер видела, что я чем-то озабочена. Расспросив меня, она сказала, что на следующий день посоветует мне, как собрать эти деньги. Утром она дала рекомендательное письмо к одному из самых богатых людей в Америке, другу ее мужа. Но она ничего не сказала Мистеру Бэккеру. Она хотела, чтобы это был «заговор» между нею и мной. Я взяла альбом фотографий Сергиевского Подворья, письмо Миссис Бэккер и, с упованием на Бога, отправилась в банк мистера Д. Моя дорогая «американская мать» сказала, что она останется дома и будет молиться обо мне. Для нее эти слова не были просто словами, я знала, что она верит в силу молитвы, я тоже верила в нее, поэтому я шла легко и весело, забыв про себя и про то, что это *я* должна просить у кого-то помощи и денег.

Я вошла в огромное помещение банка и обратилась к служащему, который давал информацию. Я рассказала ему все и сделала его моим союзником. Я объяснила, что непременно нужно видеть самого мистера Д., что у меня есть к нему письмо, что я хочу попросить у него 1000 долларов для русских студентов, готовящихся стать священниками, что я русская, что мне нужно спешно собрать эти деньги т. к. через несколько дней я возвращаюсь в Париж.

Он внимательно выслушал меня и я видела, что он мне очень сочувствует. «My poor Lady, — сказал он, — видеть

мистера Д. очень трудно, надо заранее написать ему и просить назначить вам свидание, но он так занят, что вообще никого не принимает, хорошо если вам удастся увидеть одного из его секретарей».

Я понимала, что он был прав, и просила его сказать мне, где бы я могла увидеть одного из секретарей. Он вывел меня на улицу и указал на небольшую дверь. В нее никто не должен был входить, но, ввиду того, что я скоро уезжала в Париж, он думал, что имел право указать на этот путь. «Подымитесь по лестнице на второй этаж, — сказал он, — там секретариат мистера Д.» Я шла и молилась. Бог может все. Мы должны молиться обо всем, о важном и о не столь важном. Я это знала так хорошо. Я знала, что Миссис Бэккер молилась за успех моего предприятия . . . «Только бы секретарь принял меня, только бы согласился поговорить с мистером Д. и передал бы ему мое письмо . . .», думала я.

Я медленно шла по лестнице. Во втором этаже было четыре двери, — в какую дверь войти? Я остановилась в нерешительности. К счастью, по лестнице в это время поднимался какой-то господин. Я решила спросить у него совета. Он был среднего роста с небольшой бородой, с проседью. Он сразу внушил мне доверие. Я обратилась к нему и спросила, в какую дверь надо войти, чтобы видеть секретаря мистера Д.

«Это зависит, какого секретаря вы хотите видеть».

«Самого доброго», — сказала я.

Он улыбнулся и ответил, что насколько это ему известно, Мистер Д. выбирает себе только добрых секретарей.

Тогда я объяснила ему, что, по-настоящему, мне надо было бы видеть самого мистера Д., но консьерж в банке мне объяснил, что мистер Д. очень важный, и что видеть его невозможно. Поэтому я хочу попытаться увидать одного из его секретарей. Я также сказала, что мне надо попросить у Мистера Д. 1000 долларов на Богословский Институт в Париже.

Он выслушал меня и сказал мне, что проведет меня к кому надо. Я пошла за ним. Мы прошли через целый ряд комнат, где сидели какие-то секретари и, по тому как они вскакивали со своих мест при виде нас, я поняла, что мой спутник должен быть очень важным. Когда он привел меня в большой и чудный кабинет, он сказал мне, что это он сам мистер Д. и просил рассказать мне про Сергиевское Подворье. Я дала ему письмо Миссис Бэккер, показала ему альбом с фотографиями, рассказала, торопясь и путаясь, о важности подготовки священников, когда в России закрывают семинарии и преследуют религию. Он не перебивал меня и молча слушал, потом вынул чековую книжку, написал чек на 1000 долларов и передал его мне. На каких крыльях бежала я домой! Когда я рассказала все Миссис Бэккер, она заплакала. Она радовалась так же, как радовалась я. Правда, она сказала

мне, что если бы я не получила от Мистера Д. этих денег, она и Мистер Бэккер решили дать эти 1000 долларов от себя на Академию. Теперь они найдут другой способ, как помочь нашей работе.

Позднее, когда был организован в Америке постоянный комитет помощи Сергиевскому Подворью, мистер Бэккер согласился стать председателем этого комитета и привлек туда и мистера Д.

Последние четыре дня перед моим отъездом я провела с Бэккерами. Они решили отменить все приемы и посвятить эти дни только мне. Мы, обыкновенно, уезжали куда-нибудь на целый день на их автомобиле, осматривать красоты окрестностей Нью-Йорка.

В последний вечер, после торжественного прощального обеда, когда мистер Бэккер был в своем лучшем смокинге, а миссис Бэккер и я — в самых красивых вечерних платьях, — они передали мне два конверта. В каждом из них лежало по сто долларов. На одном, от миссис Бэккер, было написано: «Дорогой моей Соне, для ее драгоценной работы с русскими студентами от ее американской матери», на другом от мистера Бэккера, стояла надпись: «Нашей королеве, для нее самой» и мистер Бэккер потребовал, чтобы я дала ему торжественное обещание, что я никому не отдам этих денег, а истрачу их только на себя.

Потом, в день моего отъезда, они провожали меня. Мы ехали на пристань и я сидела в автомобиле, между ними двумя так, как я сидела на всех наших прогулках. Миссис Бэккер крепко держала мою руку в своей руке, а я прижималась щекой к ее руке, такой дорогой и знакомой. Я не знаю, отчего нам вдруг Бог посылает любовь.

Провожали меня все мои друзья, все живущие в Нью-Йорке девицы с Калифорнийской Конференции и те, с которыми я встретилась на других конференциях, и неизменная Анна Виген, и мои русские друзья, и сероглазый Т. Мериам, приехавший специально из Кливленда, чтобы проводить меня. Не пришел только мой друг Питер, он позвонил мне накануне и сказал, что не придет, он не хотел, чтобы все знали о нашей дружбе.

Когда отплыл мой пароход и скрылась статуя Свободы, когда перестали кружиться над нами белые чайки — ангелы, я спустилась в свою каюту. Там я нашла подарки, разные пакеты, коробки конфет, письма, цветы, цветы, цветы и еще небольшой чемоданчик, в котором было шесть пакетов на шесть дней моего путешествия. На каждом пакете была надпись: «открыть в понедельник», «открыть во вторник», и так на каждый день, до того дня когда я буду уже видеть берега Франции и в каждом был чудесный подарок и полное любви письмо от Бэккеров.

Б. А. Бахметьев тоже не пришел меня провожать. Мы оба решили, что так будет лучше. Но я нашла в моей каюте письма и цветы от него. Они мне были особенно дороги. Моя встреча и дружба с ним было самым значительным, что случилось со мной в Америке. Я позвонила ему в первый же день, когда вернулась из Калифорнии. Как я боялась, когда взяла трубку, что вдруг он куда-нибудь уехал, и я не услышу его голос, но он ответил мне сразу же.

«Вы можете прийти завтракать?», — спросил он — «Да могу» — «Когда?» — «Сейчас». — «Хорошо, приходите, я вас жду».

И мы опять завтракали в его клубе, опять до 6-ти часов. Почему это так бывает, что иногда исчезает время? Каждый раз, когда я встречалась с ним, время сразу исчезало, оно возвращалось только тогда, когда он смотрел на часы, но он часто забывал смотреть на них . . .

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЮНОШЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

Мария Зернова

В 1926 году я приехала жить в Париж. Мне хотелось заняться работой с молодежью. Получив для этой цели маленькую стипендию, я начала посещать различные римо-католические организации, чтобы изучать их методы воспитания юношества. Моим первым шагом в этой новой для меня области было устройство елки на Рождество 1926 года. Я решила пригласить на нее ту русскую молодежь, которая была совсем оторвана от церкви и русской культуры. Я стала ходить по трущобам Парижа, по лачугам, выросшим вдоль старых фортов города. Там я нашла несколько русских семейств, живших в полной нищете. Многие из них были обрусевшие французы, недавно приехавшие из России и не имевшие никаких корней во Франции. Больше всего мне обрадовалась семья Оглоблевых. Они были сироты, их было два мальчика и три девочки. Старшему, Жене, было 18 лет.[1] Он опекал остальных. Они были окружены проститутками, бродягами-клошарами с их пьяными драками и непрекращающейся руганью. Оглоблевы не опустились, не погрязли в этой жалкой среде. Они барахтались, стараясь вырваться из нее и с радостью согласились прийти на елку.

В назначенный день в зале дома Движения собралась самая разнообразная молодежь. Большинство из них в первый раз встречались с нами и друг с другом. Мой брат Володя помогал мне. Мы решили устроить шарады, но, когда мы вышли в соседнюю комнату для репетиции, вокруг елки началась дикая драка. Наши приглашенные стали кидать друг в друга елочные украшения и избивать более слабых. Такое хулиганство пробудило во мне горячее желание помочь этим дикарям стать культурными русскими людьми.

---

[1] Е. И. Оглоблев (р. 1908) сделал научную карьеру, став профессором Высшей Школы Физики и Химии города Парижа. В августе 1971 года он получил Золотую Медаль за изыскания в области низкой температуры.

Первым человеком, к которому я обратилась за помощью был поэт и журналист Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг) (1880-1932). Я рассказала ему об елке и о моем решении организовать клуб для юношества. Он охотно отозвался на мою просьбу о сотрудничестве и мы сообща наметили программу работы. Ответственность за нее мы решили возложить на содружество молодежи, готовой служить Церкви и России. Этому Содружеству мы вверяли ведение Клуба, открытого для всех. Каждый содружник должен был привлекать в Клуб других юношей и девушек. Я хотела сделать содружников «ловцами человеков», людьми дисциплинированными, способными к воспитанию себя и других.

На открытие Содружества и Клуба мы пригласили многих известных писателей, артистов и общественных деятелей. С самого начала Клуб имел большой успех, около ста человек сделалось его членами, около 50 присоединилось к Содружеству. Кроме Саши Черного, больше других помогали Иван Билибин (1876-1942), дававший уроки рисования и Мария Николаевна Германова, ставившая спектакли. Серафима Павловна Ремизова, жена писателя, преподавала русскую литературу, а Александр Дмитриевич Александрович (Покровский ум. в 1959 г.) руководил хором. В клуб приходили Куприн (1870-1938), Борис Зайцев (1881-1972), Гречанинов (1864-1956), Оленина-Адельберг (р. 1893) и Надежда Плевицкая. Они все охотно делились своими дарованиями с молодежью, которая со своей стороны горячо встречала их.

Одним из драматических эпизодов нашей работы был приход в наш клуб Володи, бывшего комсомольца. Он жестоко раскритиковал содружников, говоря, что, попав в нашу среду, он надеялся встретить подлинно верующую молодежь, готовую отдать себя на служение родины. Но его ждало разочарование. По его словам, русские парижане только по виду были чистенькими и беленькими, но внутри они были мелкими эгоистами, не думающими ни о Церкви, ни о России. Наши члены слушали его с напряженным вниманим, но когда я предложила кому-нибудь из содружников ответить комсомольцу, наступило тяжелое молчание, ни один из них не решился говорить. Спас положение отец Булгаков, приехавший на наше собрание из Сергиевского Подворья. С его даром пророческого слова он раскрыл перед молодежью образ православной Руси и указал на те вселенские задачи, которые стояли перед русскими в изгнании.

На следующий день я узнала, что после окончания собрания, несколько юношей, пришедших со стороны, напали на улице на комсомольца Володю и избили его. Мне удалось выяснить, что нападавшие были воспитанники кадетского корпуса, недавно приехавшие из Югославии. Я была глубоко взволнована этим поступком и созвала совещание представи-

телей нашей общественности для обсуждения духовного состояния нашей молодежи. Участвовал в нем и генерал Миллер, так предательски погибший в 1937 году. Я считала, что наш долг — серьезно заняться воспитанием нашей смены. Меня поддержал митр. Евлогий, но другие не обратили внимания на мой призыв.

Клуб и содружество процветали в течение трех лет. В 1929 году я вышла замуж и уехала из Парижа. Русское Христианское Движение занялось юношеской работой. Возникли и другие организации: витязи, скауты, сокола, но никто из них, к моему сожалению, не заинтересовался идеей культурной самодеятельности, положенной в основание Содружества и Клуба. После моего отъезда оба они прекратили вскоре свое существование.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ОТШЕЛЬНИЦА СЕРАФИМА

Мария Зернова

Летом 1927 года я впервые попала в Ниццу. Остановилась я у наших друзей Вальневых. Тут я вспомнила слова матери Диодоры, несколько раз повторенные ею: «Когда вы будете на юге Франции, непременно найдите Серафиму Коноплеву и передайте ей мой привет».[1]

Когда я упомянула Марии Дмитриевне Вальневой имя Серафимы Коноплевой, то услышала совсем необычайную историю. По ее словам, Серафима считалась многими святой, она жила одна в горах и приходила в церковь лишь раз в год на пасхальную заутреню. Она пользовалась большим почитанием за свою подвижническую жизнь, по ее молитвам происходили исцеления. Однако, за последнее время о ней стали ходить странные слухи, что эта подвижница живет теперь с казаком по фамилии Тарханов, бродягой, пьяницей, чуть ли не разбойником, недавно выпущенным из тюрьмы. Сама Вальнева была в большом недоумении, не зная, верить ли этим соблазнительным слухам. В это лето я не имела времени приступить к розыскам Серафимы, но просила моих друзей узнать, где живет отшельница и передать ей, что я привезла ей привет от странницы Лидии, ставшей теперь матерью Диодорою.

На следующее лето я снова была на юге Франции. Во время моей беседы с архиепископом Владимиром (Тихоницким), я рассказала ему о поручении, данном мне матерью Диодорой и спросила его, что он знает о Серафиме. Владыка очень заинтересовался моими словами и посоветовал мне непременно разыскать Коноплеву. По его сведениям, она действительно одно время жила с каким-то русским бродягой, но несколько месяцев назад она ушла от него и теперь, по слухам, скрывается где-то около Монте-Карло. Владыка поручил мне передать ей, что он считает, что она должна докон-

[1] См. часть первая, глава двенадцатая: «Поездка в монастырь к матери Диодоре».

чить то, что она начала и что он благословляет ее на брак с казаком. Тем более, что у него был мальчик от другой женщины и Серафима стала воспитывать его. Когда я спросила, где же я смогу найти бывшую отшельницу, то владыка ответил, что ни он, и никто из его знакомых адреса ее не знает, но в Монте-Карло есть какой-то сапожник, который может направить меня к ней. Владыка прибавил: «Если вы готовы посвятить этому делу целый день, то вы наверное найдете ее».

Через неделю я поехала в Монако. Был жаркий, безоблачный день. Я знала, что если Серафима все еще была в Монте-Карло, она должна была скрываться в верхней части города, населенной ремесленниками и беднотой этого маленького княжества. Поднявшись туда, я начала заходить в лавочки, покупать какую-нибудь мелочь и расспрашивать торговок, не знают ли они что-нибудь о русской, раньше жившей в одиночестве в горах, а теперь поселившейся в их городе. Словоохотливые торговки охотно вступали со мной в разговоры, задавали мне вопросы обо мне самой и о моей знакомой, но никаких полезных сведений мне сообщить не могли. Также безуспешны были мои посещения сапожников. Ни один из них не мог мне ничего сказать. Я уже начала терять надежду отыскать Серафиму, как, к моей великой радости, я неожиданно напала на ее след. Один старичок сапожник сказал мне, что он слыхал об этой русской. Сам он не знал, где она живет, но он смог указать мне путь к какой-то портнихе, которая была с русской знакома.

Портниха приняла меня с большим недоверием и сначала ничего не хотела мне говорить. Только когда я сказала, что я прислана епископом с важным поручением, она призналась мне, что она действительно знает Серафиму, но сообщить ее адрес она не имеет права, т.к. ее друг скрывается от всех. В большом горе я объявила ей, что, кроме поручения от владыки, я привезла еще поклон из Сербии и что Серафиме важно было меня повидать. При этих словах портниха воскликнула: «Так это вы передавали ей этот поклон! Серафима говорила мне, что она хотела бы встретить вас, давайте я сразу отведу вас к ней».

Мы пошли по узким крутым уличкам на самый край города и вошли в какой-то двор. В глубине его стоял маленький домик, в нем в очень чистой, но почти голой, комнате я увидала наконец Коноплеву. Она встретила меня без малейшего удивления, как будто ждала меня. У нее было прозрачное лицо с правильными чертами. Трудно было сказать, какого она была возраста, казалось, она была вне его. Ее карие глаза, бесцветные губы, весь ее облик был полон изящества, духовности и бестелесной женственности. Одета она была в простое серое платье; оно было хорошо сшито и шло ей. Мы сразу стали говорить о самом главном, я рассказала ей о моем

разговоре с владыкой и об его благословении. Она выслушала меня спокойно, заметив лишь: «Владыка считает, что я должна выйти замуж! Хорошо, скажите ему, что я вернусь через несколько дней и сделаю то, что он советует».

После этого она рассказала мне о своей необычайной судьбе. С ранней молодости она хотела послужить отверженным и несчастным. Еще в России, молоденькой девушкой, она ходила по тюрьмам, строила планы создать дом для уличных женщин, чтобы помочь им вернуться к лучшей жизни. Тогда же у нее родилось желание посвятить себя молитве. С годами она все глубже погружалась в нее и, наконец, уйдя ото всех, она всецело отдала себя созерцанию. Попав во Францию, она удалилась в горы и жила там одна, наняв домик у одной женщины. Когда та умерла, домик остался ей в наследство. Местное население хорошо относилось к ней и она чувствовала себя в полной безопасности.

Однажды к ней забрел русский бродяга и потребовал у нее ночлега. Она приняла его. Желание ее молодости послужить отверженным осуществилось, но совсем не так, как она это предполагала. Она стала жить с Тархановым, он привел своего сына, и она занялась воспитанием его — ребенок был совсем одичалым. «Чувство, что я может быть смогу помочь этому человеку, спасти его от страшного загула и пьянства и так вернуть ему Божий образ принудило меня пойти по этому пути», сказала она. «Я не знаю, правильно ли я поступила, но молитву я не потеряла, она стала еще горячее в моей душе. Когда же мне передали, что кто-то привез мне поклон от странницы Лидии, то, хотя я и очень обрадовалась ему, но с тех пор потеряла покой, не зная, нужно ли снова жить отшельницей. Я решила все же уйти от Тарханова и с тех пор скрываюсь здесь, так как он повсюду ищет меня. Теперь же я вернусь к нему». Говорила она все это так просто, как будто рассказывала мне историю, случившуюся не с ней, а с кем-то другим. Она прибавила: «Я все хотела спасать погибших женщин, а теперь стала одной из них». Мы простились. Чувство мира и света унесла я от этой удивительной встречи.

Больше Серафиму я никогда не встречала — но это еще не конец моей истории. Некоторое время спустя я получила письмо от Тарханова, в котором он требовал от меня вознаграждения за понесенные им убытки. Он писал, что привет из Сербии, привезенный мною, дорого ему обошелся. Во время отсутствия Серафимы он лишился бесплатного крова и пропитания и ему пришлось к тому же отдать своего сына в чужую семью за плату. Он перечислял все понесенные им убытки и настаивал на их покрытии. На письмо я не ответила и денег не послала.

Что случилось потом с Серафимой — я не знаю, а судьба матери Диодоры была следующая. Во время разрыва отно-

шений между Сталиным и Тито, русские высылались из Югославии. Мать Диодора могла выехать во Францию, куда давались визы духовным лицам. Но она просила выслать ее в Россию, говоря: «Монахи должны искать не покоя, а страдания». Осуществить ее план возвращения в Россию оказалось невозможным; тогда она выбрала Албанию, где, по слухам, продолжает свой монашеский подвиг.

Лондон. 1962.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПАСТЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ

В. Зернов

Я начал работать в Пастеровском Институте в 1927-ом году, когда там еще была свежа память самого Пастера (1822-1895). Во главе Института стоял проф. Ру (1853-1933), его ближайший сотрудник. Большинство лабораторий руководились учениками Пастера или Мечникова (1845-1916). Ру посвятил всю свою жизнь Институту, каждый день можно было встретить там его высокую, слегка сгорбленную фигуру. Он носил небольшую, остроконечную бородку, у него были глубоко впавшие глаза, его шея зимой и летом была закутана серым вязаным шарфом. Он входил во все детали работы: когда я принес ему мою первую напечатанную статью, он попросил меня зайти на следующий день, чтобы поделиться со мною своими замечаниями.

Ежегодно в день смерти Пастера все сотрудники собирались в библиотеке. Все стояли, один Ру сидел. Слабым, хрипловатым голосом он произносил речь, призывавшую с неослабной энергией продолжать научную работу. Он говорил: «Старайтесь достигнуть лучших результатов, я жалею, что будучи неловким и нерадивым, я так мало успел сделать в моей жизни». Все это мы слушали, зная, что перед нами — один из величайших ученых мира, овладевший в совершенстве техникой работы. Он был настоящим аскетом науки, отдавшим все свои средства Институту. Когда он умер, все служащие по очереди днем и ночью несли дежурство у его гроба, стоявшего в часовне, где был похоронен Пастер.[1] Правительство устроило Ру национальные похороны в соборе Нотр Дам.

Его преемник оказался совсем другим человеком. Проф. Мартен (1864-1946) не любил, когда упоминалось имя его предшественника. С новым директором у меня произошел неожиданный конфликт. В 1935 году я окончил медицинский факультет в Париже. Своей тезой я выбрал «Иммунитет». Так как работу для нее я проделал в лаборатории Института,

[1] Пастер был глубоко верующим католиком.

то я представил напечатанный труд Мартену. Получив мою диссертацию и прочитав мою фамилию, директор сухо спросил меня: «Кто вы такой? Я вас не знаю». Я был озадачен и стал объяснять, что уже восемь лет работаю в Институте и неоднократно встречался с ним. «Вы иностранец, как же вы работаете у нас?» — продолжал он свои расспросы. «Да, я иностранец, но еще мессье Ру...» — начал я. Это была фатальная ошибка. «Мессье Ру здесь больше нет, теперь я распоряжаюсь Институтом» — раздраженно прервал меня Мартен. «Почему вообще вы живете во Франции, вам надо возвращаться в Россию, теперь там наука процветает. Мы не можем принимать иностранцев изо всех стран света. Вы получаете жалование?» Я ответил утвердительно. «В таком случае идите к эконому и получите его в последний раз». Этим приказом директор окончил наш разговор.

Я был ошеломлен и чувствовал жгучую обиду не из-за себя, а из-за вопиющей несправедливости. Я вспомнил бюст императора Александра III, стоявший в нашей библиотеке. Он один из первых пожертвовал на Институт 200,000 рублей и выразил желание, чтобы русские всегда могли бы работать в нем.

Я решил зайти в лабораторию проф. Мениля (1868-1938). Это был пожилой, полный и очень важный профессор. Он еще работал с Пастером. При встречах он подавал мне два пальца и доброжелательно бормотал: «Добрый день, молодой человек». Когда я ему рассказал про мой разговор с директором, он очень оживился. «Посмотрим, посмотрим, — начал повторять он — это все-таки так не делается, я переговорю с моими коллегами. Мартен не может так распоряжаться Институтом». На прощание он в первый раз крепко пожал мне руку. Я продолжал работать в Институте еще десять лет.

Пригласил меня туда проф. Сергей Иванович Метальников (1870-1946). Мой отец познакомился с ним незадолго до моего переезда в Париж и он вскоре стал другом нашей семьи. Крупный ученый, добрый и отзывчивый человек, он был образцом рассеянности. Он всегда все забывал, всюду опаздывал. Он дал мне возможность сначала работать под его руководством, а потом я получил штатное место. В то время в Институте было 15 русских научных работников. Метальников был хорошо известен в русских научных кругах и поддерживал дружеские отношения с учеными, приезжавшими в Париж из России. В конце 20-тых годов, я познакомился с зоологом Ивановым. Он работал по искусственному оплодотворению и хотел осуществить скрещение человека с обезьяной, что, по мнению советских главарей, в случае удачи, должно было служить неопровержимым доказательством происхождения человека от четвероногих. Большевики отпустили Иванову огромные средства, его также финансиро-

вало общество называвшееся: «Американская, Антирелигиозная, Атеистическая и Антиклерикальная Ассоциация». Иванов остановился в Париже для подготовки экспедиции за антропоидами и был полон надежд на успех своих опытов. Но его постигла неудача, обезьяны, привезенные им в Сухум, погибли, а он сам попал в концентрационный лагерь.

В другой раз к нам приехал ученый из Петербурга, старый друг Метальникова. Его сопровождал молодой ассистент. Метальников стал расспрашивать его об их общих знакомых, но советский гость отвечал как-то вяло. «Я его не помню, а этого я не встречал». Метальников был удивлен и стал настаивать: «Как, не знали? Вы же вместе работали с ними». Когда ассистент вышел из комнаты, приезжий из России быстро промолвил: «Не расспрашивайте меня ни о ком, это не мой ассистент, а приставленный ко мне агент».

В 1928 году в Париже был академик Иван Петрович Павлов (1849-1936). Он был хорошо знаком с моим отцом, так как принимал участие в создании Московского Научного Института, одним из инициаторов, которого был отец.[2] За обедом у нас, Павлов беспощадно критиковал советскую систему, считая, что большевики уничтожили все живое и лучшее в России. Он сравнивал большевизм с тремя болезнями — раком, туберкулезом и сифилисом. «Самое страшное, — говорил он, — что эти болезни привиты нашему народу маньяком, сифилитиком Лениным». Павлов рассказывал нам, что после смерти Ленина было решено изучить его мозг, как гениального мыслителя. Дело было поручено самым крупным анатомам и неврологам. Они обнаружили в мозгу основателя советской диктатуры характерные изменения сифилитического заболевания, вызывающие маниакальное состояние. «Конечно, — закончил он свой рассказ, — все это хранится в большой тайне, но один из профессоров, мой старый друг, поделился со мною результатами исследования. Вам это я могу передать, так как в завещании Ленина упомянуто мое имя и, думаю, большевики не решатся меня тронуть».

Два года спустя я встретил Павлова на международном физиологическом съезде в Риме. Он был постоянно окружен толпой ученых желавших поговорить с ним. Однажды я подошел к нему и услышал, как он заявлял, что советская власть может одна обеспечить научный прогресс в России.

Утверждение Павлова, что Ленин был сифилитиком было подтверждено из иного источника. Я был знаком с Д. М. Мазе, занимавшейся переводами книг по неврологии. Она встретилась в Париже с проф. Залкиндом, ехавшим на научный конгресс в Америку. Она его хорошо знала, так как они вместе раньше работали у проф. Бехтерева (1857-1927). Залкинд был

---

[2] См. «На Переломе». Семейная Хроника Зерновых. Париж. 1970. Стр. 75-78.

коммунистом, и одним из тех, кому было поручено исследование мозга Ленина. По его словам, мозговая ткань обнаружила черты перерождения под влиянием сифилитического процесса.

Через несколько лет в России происходил съезд неврологов. Мазе поручила знакомому французу, участнику конгресса, передать Залкинду одно поручение. Но тот нигде не мог найти его. Наконец, ему сказали: «Не ищите Залкинда, его уже нет в Москве». Очевидно он был к тому времени ликвидирован.

Немного позже, уже в начале тридцатых годов, в Пастеровском Институте читал доклад один известный ученый из Москвы. Он говорил, что Ленин «предвидел» значение иммунитета, а «наш гениальный учитель» товарищ Сталин указал путь, по которому должна была развиваться наука. После доклада он зашел в лабораторию Метальникова. Тот спросил его, какое отношение к иммунитету имеют Ленин и Сталин? «Очень прямое, — ответил докладчик, — без упоминания имен вождей, я не мог бы оставаться во главе моей лаборатории и выступать в Париже».

Пришлось мне встретиться и с академиком Орбели (р. 1882). Он был другом моего дяди Дмитрия Степановича Зернова (1858-1922), директора Технологического Института в Петербурге. Орбели охотно общался со мною. Он был оптимистически настроен. «Теперь идет острая политическая борьба внутри партии, рассказывал он мне, — бесконечно это насилие над страной длиться не сможет. Сейчас возвращаться невозможно, но скоро родина позовет вас. Такие люди, как вы, нужны нам. Интеллигенция уничтожена, а с нами сотрудничают или, вернее, нам мешают работать не только некультурные, но просто безграмотные люди». Он ошибся, как и большинство представителей образованного класса. Террор не прекратился, наоборот, все расширяясь, он захватил все более разнообразные круги населения, включая партийную бюрократию и командный состав Красной Армии. Моему поколению эмиграции не было дано возможности вернуться для работы в России.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ЛАВРОВ

М. Лаврова-Зернова

Жизнь моих родителей в изгнании, в их далеко немолодом возрасте, была трудная. Уехали они из Тифлиса потому, что им просто не стало больше места в новой жизни. У них отняли последний угол в нашей прежней квартире, они жили за шкафом в папиной канцелярии.[1]

В Константинополе они прожили около года, жестоко бедствуя и занимаясь непосильным трудом. Когда мне наконец удалось выписать их в Париж, мы с сестрой мало могли им помогать. Сначала они оба работали в русском госпитале в Вильжуиф, где отец был заведующим хозяйством и санитаром, а мать исполняла должность повара. Я настояла, чтобы они бросили эти тяжелые для них обязанности, и мы поселились в большом доме на площади «Руль», в двух мансардных комнатках на седьмом этаже с «черного хода». Готовить надо было на «примусе», освещаться и отопляться керосином, подыматься к себе по крутой, темной лестнице, — но мы были наконец все вместе, и даже в этих убогих условиях родители сумели создать уют и ласковое гостеприимство, всегда окружавшее их.

Заработок родителей был случайный и грошовый, французский язык они знали плохо. Отец разносил шляпки для русской мастерской, мать брала починку белья, помогала по хозяйству в разных эмигрантских домах. Большим утешением для них было то, что совсем рядом с нами была бывшая посольская русская церковь на улице Дарю. Там они забывали свое изгнанничество, невзгоды и лишения, там они молились о родине, судьбой которой они жили. Отец любил торжественные службы соборной церкви, с прекрасным пением и многочисленным духовенством. Он стоял всегда в одном месте, в

---

[1] Мой отец (1867-1936) кончил Петербургскую Духовную Академию, был глубоко церковным и идейным человеком, но не приняв священства, учительствовал в духовной семинарии. Потом, бросив преподавание из-за препятствий в проведении новых методов педагогики, поступил Податным Инспектором в Министерство Финансов. См. «На Переломе» стр. 259.

сторонке, сосредоточенно и прямо как свечка, смотря на иконостасную икону Спасителя, держащего раскрытую книгу.

Когда Русское Студенческое Движение выросло и финансово окрепло, мой отец получил предложение заведывать его маленькой библиотекой и дежурить по вечерам, обслуживая различные собрания. Хотя вознаграждение было маленькое, эта работа была для него большим утешением. Она давала ему возможность общения с профессорами, с которыми у него было много общего, и с молодежью, которую он так любил. Многие и сейчас с любовью вспоминают его разговоры, и строгие, и заботливые.

Библиотека Движения была его любимым детищем. Он привел ее в образцовый порядок, своим особенным четким почерком написал ее каталог, всячески привлекал новых читателей, давал советы в выборе книг. Папа любил книги, как живые существа. Эта любовь восходила у него к богословским источникам его веры в Бога-Слово. В последнее время у него развилась широкая деятельность по приисканию и продаже редких, исчезающих богословских книг. Это была своего рода миссия, которая теперь ведется разными издательствами.

Из священников собора ближе всех папе был отец Иаков Смирнов (наст. собора с 1898 по 1936). Оба они были воспитанниками Петербургской Духовной Академии, были земляками (беседовали о «волках лесов, разделявших их уезды»), оба умерли от рака. Много было у них общего в стихии их веры, целостной и трезвенной. Вся их жизнь была связана с Церковью, так же как и у нашей матери. У папы, как и у отца Иакова, при суровой внутренней самодисциплине, было много скрытого огня, сердце его было способно на нежную ласку и трепетную любовь. Мама же, особенно под конец своей жизни, была вся полна светящейся доброты буквально ко всем окружающим.

Папа обычно говел на Страстной. Раз как-то он пошел на исповедь к отцу Иакову в алтарь перед самой Пасхальной Заутреней. Был он ею потрясен. Только одно спросил его отец Иаков: «Всем ли простили? и большевикам?» и тогда папа «простил всем» (конечно, не за себя, а за Россию).

Папина болезнь, жестокая и неожиданная, поразила его как Божия стрела, на 68-ом году жизни, бодрого, полного жизненных сил и душевной юности. Он не знал физической старости, и всегда его считали моложе его лет. Жизнь любил всесторонне и трепетно, как любят ее в 17 и в 70 лет. Диагноз его болезни, — рак пищевода, — был поставлен ровно за год до его смерти. Мы ему тогда не сказали об этом, он сам, постепенно, с развитием болезни, понял неизбежность конца. Силы его стали неумолимо подтачиваться, есть становилось

все труднее, а боли к началу Великого Поста уже больше его не оставляли. На первой неделе поста папа увидел в церкви отца Иакова, вернувшегося к жизни после паллиативной операции. Он воспринял это как чудо, и решил говеть в это необычное для себя время. После исповеди пришел какой-то особенный и вдохновленный, рассказывал нам, что духовник его долго с ним молился особенными молитвами. Папа тогда решил: «Или я, или он умрет», а было так, что они оба умирали.

Начался для папы последний этап его жесточайших испытаний. До самой Страстной он не прекращал своей вечерней работы, возвращаясь домой за полночь по метро через весь Париж. Эта работа выпивала последние капли его сил, но и помогала переносить страдания. Как-то на работе он сказал одному из своих друзей: «Никто не знает, как я страдаю». Когда же мама сказала ему, что умереть не страшно, лишь бы не страдать, он ответил: «Надо пострадать». И в самые страшные припадки спазмодической боли, когда лицо его темнело, а воля напрягалась, он сам подбадривал себя словами: «Надо быть храбрым до конца».

Одновременно с ухудшением его физического состояния, с Великого Поста, произошли у папы незаметные внутренние сдвиги. Он весь просветлел, и все больше стала чувствоваться в нем какая-то сокровенная мысль о себе, о смерти, о подвиге, который возложил на него Господь. Очень мало он говорил об этом с нами, жалел нас, но с посторонними, как мы узнали потом, просто и спокойно прощался. Вместе с терпеливым принятием страданий и надвигающегося конца, сильны были в нем его любовь к жизни и к людям, его доверчивая вера, что Господь силен его восстановить. Нервы его были натянуты до последней степени, он мог иногда волноваться по пустякам, но тревоги и тоски никогда не было в нем. Он находил силы не только переносить все, но и нас успокаивать. Раз как-то, измучившись глядя на его мучения, я сказала ему: «Папочка, ты как Иов многострадальный», на что он воскрикнул: «Что ты, что ты! Я в чистоте и в тишине, а Иов был на гноище». Любимым папиным выражением было: «собранность духа». В его внутреннем душевном равновесии был тот мирный дух, которому так часто поражались мы с сестрой.

На Страстной, я устроила ему недельный «отпуск» с «наградными», которые по секрету от него сама внесла в кассу И.М.К.А. Это было для папы большой радостью. Он в изгнании жил бедно и от нас принимал помощь лишь в крайности. (На эти деньги папа осуществил свою мечту и купил пластинку Шаляпина на слова «Ныне отпущаеши»). В эту неделю произошло с ним чудо, — боль совсем его оставила. Он был дома, отдыхая, готовясь к Пасхе, ухаживая за своим растением, выросшим из лимонной косточки, выращивая травку

в тарелке для пасхальных яиц. Силы его заметно убывали. Худой, тихий, прозрачный, с огромными светящимися глазами, он весь сиял и удивлялся посланному ему покою. Теперь кажется почти невероятным, что мы смогли повезти его на его любимейшую Литургию Великой Субботы, в переполненную соборную церковь на улице Дарю. Приложившись к Плащанице, папа и мама оба приобщились Святых Тайн Тела и Крови, тогда как уже неделями он почти ничего не мог глотать.

Заутреню мы слушали по радио возле его постели, одетые в светлые платья, с зажженными свечами. Пасхальные три дня папа много спал глубоким сном изнеможения и покоя. Но продолжались, по его словам, и «чудеса». Были у него и Владыка Евлогий и отец Сергий Булгаков.

На четвертое утро «посетил его Господь милостью» — к нему пришла смерть. Вместо возможной, при его болезни, длительной и мучительной агонии, она была, как легкое дуновение жизни нездешней. С субботы он ничего больше не пил, а тут вдруг попросил маму дать ему варенья, присланного ему его любимой племянницей Юленькой, проглотил его и вскоре сказал: «Сашура, я умираю»! Видно какой-то большой сосуд разорвался и началось внутреннее кровоизлияние. Папа лежал высоко на подушках, страшно бледный, с очень слабым дыханием, но совершенно спокойный. Я сказала ему: «Папочка, молись!» Он перекрестился широким крестом и попросил позвать священника. Смог приехать о. Сергий Булгаков. Папа выразил желание исповедоваться «за всю жизнь», еле слышным голосом, но с величайшим присутствием духа. После чего он приобщился и стал радостным, всех приветствовал: «Христос Воскресе». Мы все, и сестра Иоанна, приехавшая с о. Сергием, с ним похристосовались. О. Сергий уезжал служить Пасхальную Литургию: «Проводите со славою и честию», сказал папа. Это были его последние слова. Светлый, торжественный, устремив свой взгляд на иконы, лежал он. Прильнувшую к нему маму утешал, вытирая ее глаза своим платком.

Отец Сергий сказал нам: «Теперь не тревожьте его, он будет совершать свое таинство». Так мы все трое, — мама, сестра и я, — были около него в молчании и молитве, а его взгляд уходил все дальше и дальше. Отец Сергий совершал Литургию, и, когда пели «Тебе поем», как мы установили потом, папочка вздохнул в последний раз, и глаза его остановились. Так и не прощались мы с ним прощанием в смерть, а лишь приветствовали друг друга обетованием жизни — «Христос Воскресе». И не чувствовалось смерти около его светлого, упокоенного лика.

Слово сказанное у тела в день кончины

Христос Воскресе! Дорогой раб Божий Владимир!

Сегодня я прощаюсь с тобой для разлуки и для встречи в вечности. Лишь несколько часов тому назад, когда Господь посетил тебя в св. Причастии, я приветствовал тебя пасхальным приветом и благословил тебя на смерть иконой Воскресения, тобою для того нарочито приготовленной.

Совершилось торжество кончины праведника, и светло около твоего тела. С благодарностью вспоминаю я твой светлый образ, как и неизменную ласку и любовь твою. В скромной доле ты был как живая совесть, которая пробуждала и судила, при встрече с тобой, со строгой проверкой себя. И в твоей требовательной, хотя и ласковой, честности было нечто возвышающее. В согласном хоре окружения семьи своей, ты был образом христианина, покорного Промыслу и верного в путях своих.

С благодарной любовью провожаем мы тебя в тот мир, куда ты перешел так благостно и вдохновенно. И ныне, молитвенно напутствуя тебя в страну живых, я не имею другого слова, кроме слова радости пасхальной: Христос Воскресе!

Протоиерей Сергий Булгаков.

Выдержки из писем написанных в память В. А. Лаврова

Воспоминание о Владимире Андреевиче Лаврове останется для меня одним из самых светлых. Это был прекрасный человек, трогательный, очень добрый, скромный, внимательный. Когда я приходил по вторникам на мои лекции и видел Владимира Андреевича, у меня от одного его вида делалось хорошее настроение. От него излучалась какая то благостность. И меня всегда очень трогало его отношение к устройству моих лекций. Я никогда не встречал такого заботливого человека. Мои слушатели его очень любили. У него был большой интерес к вопросам, о которых я читал, к некоторым курсам особенно. С большой грустью переживаю я его уход из жизни. Память о нем я всегда сохраню, как об одном из лучших людей.

Николай Бердяев.

...Никогда не забуду последних дней жизни Владимира Андреевича. и благодарю Бога сподобившего меня приобщиться благодати этой блаженной христианской кончины праведника. Он научил нас умирать... А всю жизнь своим примером он учил нас жить для вечности: для него не было ничего не важного; силой своей глубочайшей веры он знал, что каждый шаг наш здесь отпечатывается в вечности. Всегда примером нам была его во всем тщательность и добросовестность...

Его внимательное и любовное отношение к окружающим в минуты после предсмертного Причастия было поразительно и глубоко поучительно. По вере Церкви душа не тотчас далеко уходит от тела, но в течение первых трех дней находится близ него. Это чувствовалось очень во время чтения над Владимиром Андреевичем Псалтыри, так глубокомысленно им подчеркнутой на поразивших его местах. В те часы я как бы находилась в духовном общении с ним и духовно питалась от этого общения . . .

Сестра Иоанна Рейтлингер.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СМЕРТЬ ОТЦА

Н. Зернов

Отец умер внезапно 31 января 1938 года. До последнего дня своей жизни он работал, как врач и общественный деятель. Он был счастливым человеком и в семейной жизни и в работе. Отдавая себя на служение другим, он нашел в этом источник радости и смысл своего существования. Он закончил свою автобиографию следующими словами: «Высшая заповедь Христа, возлюби ближнего как самого себя, открывает нам дорогу, приводящую к высокому моральному удовлетворению, которое есть человеческое счастье».[1]

Моя мать так описала смерть нашего отца: «Он умер сразу, стоя. Когда упал, то был только труп — он ушиб голову, кровь не пошла, она уже свернулась. А всего за полчаса он вошел в столовую и, облокотясь на буфет, спросил: «Володя, что же Аитов не едет?»

«С утра он чувствовал себя неважно. Мы решили пригласить д-ра Аитова. Тот приехал, внимательно осмотрел М. С., нашел все в порядке и уверял, что недомогание скоро пройдет. «Хотел бы вам верить», — ответил ему мой муж. Уже в передней, прощаясь, Аитов спросил: «А как вы себя сейчас чувствуете?» «Вот здесь комок» сказал он, указывая на сердце и упал. Такой это был удар громкий, казалось, все упало. «Что это упало?» спросила я. «Это папа» — крикнула мне Соня, вбегая в переднюю. Я бросилась туда и увидала, что Аитов, Володя и Соня несут бездыханное тело. Я сразу поняла, что бездыханное. Напрасно Аитов срывал галстук, расстегивал рубашку и давал движение рукам. Я знала, что напрасно. На мой вопрос: «Конец?» — ответил: «Боюсь, что да». Поклонилась ему я земно, закрыла голубые, чудные глаза навек, поблагодарила за всю нашу жизнь и прощение попросила, если была в чем виновата. Мы трое — Володя, Соня и я все сделали, что полагается, и известили других. Поняли ли, что случилось? Нет, не поняли, а все же все перевернулось в нас. Он ушел

---

[1] См. «На Переломе». Париж. 1970. Стр. 78.

от нас, чтобы всегда быть с нами, но не телесно, а чем-то другим. И он теперь с нами неразлучно. Я его постоянно чувствую и в своих поступках сообразуюсь с тем, как бы он поступил. В мелочах — нет, в мелочах я поступаю сама, а в более важном, более глубоком, нравственном. Он был лучше меня, я более житейская, и потому первое время меня брал страх, что наши души не встретятся, никогда не соединятся, его душа повыше, а моя будет пониже, но теперь я как-то успокоилась.

«С дня его ухода я не переставала думать, что Господь оказал Свою великую милость, даровав ему такую кончину. Он не дал ему пережить самого себя — для него было бы это тяжело. За что Господь вознаградил его? Разве непременно должно быть «за что»? Не знаю, но хочется верить, что за то, что он никогда не думал о награде ни от Бога, ни от человека; за то, что сердце его было чисто и исполнено добротой. Он был добр, потому что всем сердцем входил в положение каждого, с кем имел дело, каждому делал, если мог, все, что было нужно. Он нередко возмущался неправильными действиями людей, но не любил осуждать их в разговоре с другими, зато лично часто высказывал им свое мнение и иногда в очень резкой форме. Но правда его чувствовалась, и из-за этого на него не сердились. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь сказал: «Какой добряк Михаил Степанович». Но зато как часто про него говорили, что он редкостно добрый человек. При раздаче общественных денег, он не был щедрым, а скорее скуповат, в особенности, если не был уверен в возврате просимой суммы. Он нередко предпочитал оказать помощь из своих личных средств. Справедливый, праведно добрый, кристально чистый, безгранично скромный для себя, вместе с тем полный энергии, неутомимый большой общественный деятель, — вот главные его черты».

В день смерти отца я был на одной из моих лекционных поездок. Я должен был говорить о русской церкви в маленьком городке Сент-Хеленс, недалеко от Ливерпуля. Остановился я в доме священника, моего друга Амвросия Ривса. Был вечер, внезапно началась страшная буря, заревел ветер, в окна хлестал ледяной дождь. Я сидел в кабинете хозяина и готовился к моему выступлению. В шесть часов зазвонил телефон, вызывали меня. Я очень удивился, ведь я никого не знал в этом городке с однообразными, одноэтажными домиками, выросшими вокруг угольных шахт.

Говорила Милица: «Коля, телеграмма из Парижа о папе, я прямо не знаю, как сказать». Я сразу ответил: «Он умер?» Милица сказала: «Да, сегодня утром». От очень сильного удара боль не ощущается сразу. Меня окружал все тот же мир. Большой стол, электрическая лампа, вой ветра снаружи. Мои мысли сосредоточились на практических вопросах, как

и когда я мог бы скорее попасть в Париж. Но сейчас надо было идти на собрание. Я шел с провожатым по улицам незнакомого города, о чем-то говорил, а внутри тихо, но упорно ныло сердце от растущей боли. Мысль повторяла: «Папочка, дорогой, любимый умер».

После лекции завязалась интересная беседа, и я провел ее. Ночным поездом я вернулся в Лондон. Вечером вместе с женою мы были в Париже. Знакомый, неповторимый запах метро, подъезд нашего дома, скрипучий лифт до четвертого этажа. Мы застали всю семью в сборе. Младшая сестра уже приехала из Женевы.

Отец лежал в приемной на своей кровати. У него было совсем восковое лицо, спокойное, прекрасное. В комнате царили мир и тишина. Меня поразила стройная сосредоточенность всех членов семьи. В этот вечер мы все вместе молились около нашего отца так, как мы это делали в далеком детстве. На следующее утро его положили во гроб. Мы читали поочереди псалтырь, я понял глубокую мудрость нашей Церкви, установившей это правило. Начались панихиды, приходило столько народу, что люди стояли на лестнице.

Похороны состоялись 3 февраля, в храме св. Александра Невского. Наш скромный кортеж быстро пересек самый прекрасный и самый безразличный город мира. Наш отец был чужестранцем в Париже, посвятившим себя всецело помощи трудящимся русским и принесшим во Францию почву родины. Но он не был провинциалом и был готов отозваться на все подлинное в мировой культуре и потому хорошо было, что его отпевали в столице Европы.

«Последние Новости» (4 фев. 1938) дали следующее описание похорон: «Вчера, при огромном стечении молящихся в Александро-Невском храме, состоялось отпевание старейшего русского врача в Париже — председателя Московского Землячества М. С. Зернова. Явились отдать долг покойному представители многочисленных общественных организаций, и в первую очередь союз врачей имени Мечникова и различные землячества и все те, с кем соприкасался за свою долгую жизнь покойный и кто неизменно оставались его друзьями.

Заупокойная литургия началась в 11 ч. 15 м. в присутствии всех членов семьи и многочисленных молящихся. Позже, во время отпевания, в храм можно было проникнуть лишь с большим трудом. Во время литургии прочувственное слово произнес митр. Евлогий, отметивший исключительные душевные качества покойного, его любовь к людям и бескорыстное служение им в течение всей жизни. Прекрасно пел хор Афонского. Во время литургии были исполнены вещи особенно любимые покойным: Симоновская Херувимская, Милость Мира Архангельского, Отче Наш Шереметьевского. Нет никакой

возможности перечислить всех бывших в храме. Мы однако заметили... (Здесь следует список 120 имен).

Отпевание закончилось в 1 ч. 30 м. В два часа похоронная процессия прибыла к воротам Медонского кладбища, где ко многим приехавшим из Парижа, присоединились русские медонцы. Здесь были произнесены речи проф. К. С. Агаджаньяном, В. Ф. Малининым, проф. С. И. Метальниковым и д-ром И. Н. Коварским».

Похороны отца обратились в большое церковное торжество. Его отпевали три архиерея — митр. Евлогий, арх. Владимир Ницский и еп. Сергий Пражский, бывшие тогда в Париже, десять священников и трое дьяконов. Это был день папиной славы. Он ушел от нас, когда только что начинался упадок его сил, окруженный всеобщей любовью и уважением. Русские люди проявили единодушно свою благодарность за его труды. Мы были согреты этими чувствами признательности. Наша семья еще теснее сплотилась за эти дни.

Удивительный некролог поместил в «Последних Новостях» (1 февр. 1938) П. Н. Милюков. Он назвал его «Смерть Праведного», и эти слова прозвучали неожиданно в устах далекого от религии человека. Он писал: «Одна тяжелая потеря за другой. Вчера скончался Михаил Степанович Зернов. Трудно мне говорить о нем, о старом товарище с гимназических лет и верном друге, теперь уже можно сказать до гроба. Третьего дня мы сидели рядом за столиком на балу Московского землячества. Я любовался на его бодрый вид, а когда сказал об этом его супруге, она, понизив голос, ответила: «Да, но с сердцем у него что-то не ладно». А вчера я получил от него письмо — милое, доброе, как все его письма, как все его отношения к людям. Он в ласковых выражениях благодарил за статью, за личное посещение, выражал надежду, что скоро «устроим свидание». Сегодня звонок: умер Михаил Степанович. Счастливая смерть — на посту. Для него счастливая, для нас — не так. Вообще не бывает счастливых смертей. Уход от нас всегда ужасен. Он смягчен тем, что сразу не веришь в него, нет, жив человек, он с нами, источающий из себя благожелательство, примиряющий, утешающий одним своим присутствием. Весь какой то не свой, а наш общий, всегда думающий о других и умеющий всех расположить так думать. С миру по нитке скопивший благосостояние Московского Землячества. Конечно, тут Москва — москвичи. И сам Михаил Степанович — всем нутром московский, сын протоиерея от Николы Явленного на Арбате, где ребятами на заднем дворе мы в бабки играли. И потому единственный, теперь таких больше не будет. Там, в России, размах для него был иной — широкий. Там же «с миру по нитке» создал он и свою лечебницу-санаторий в Ессентуках на благо людям. Здесь, среди эмигрантской бедноты, по тому же принципу, хоть и в сокращенном масштабе,

создал Московское землячество. А сколько труда положил, сколько неустанного внимания, сколько раз подстрекал совесть земляков, напоминая им о долге благодарности отошедшим в вечность. Теперь отошел и сам. Устало и его неутомимое сердце от всех этих непрерывных, напряженных забот о других. О всех других: потому и чужда была ему «политика». Но общественником он был до мозга костей, и в пределах доброжелательства, врагов у него не было и быть не могло. Что бывают и злые, он, кажется, не мог допустить, но когда встречался со злом, боролся упорно — и побеждал своей правотой, а не непротивлением. Весь он был праведный, не могу подобрать другого слова, а этого — он заслуживает. Мне кажется, и память о нем будет излучать то же умиряющее действие, которое производил он сам».

Другой некролог был написан Владимиром Федоровичем Малининым (1873-1943), товарищем председателя Московского Землячества. Он был напечатан в журнале «Иллюстрированная Россия» 12 февр. 1938 года, № 8. Привожу несколько выдержек из него: «М. С. Зернов избирается председателем Московского Землячества в начале 1927 года. Вся эта почти одиннадцатилетняя деятельность покойного протекала на моих глазах. Я поражался его огромной работоспособностью, соединенной с неустанной горячностью. В нем, несмотря на уже наступивший восьмой десяток лет, чувствовался дух как бы прежнего московского студента, в лучшем смысле этого слова, дух курсового старосты, каким он был в своей молодости. Особенно загорелся М. С. при организации празднования 175-летнего юбилея Московского Университета в 1930 году, и это празднование он соединил с добрым делом — созданием особого фонда для выдачи стипендий студентам.

Активность добра у него была такой высоко-напряженной, что мы, его сотрудники по Московскому Землячеству, буквально поражались ею. Сколько писем с просьбами о помощи было написано им — не перечесть. Очень мало адресатов оставались глухими на призыв старого москвича — хотя он просил не только для московских уроженцев, а для всей русской молодежи.

За время председательства М. С. число студентов стипендиатов достигло 150 человек. В последние годы М. С. был озабочен помощью старикам. Буквально за год до смерти он был избран товарищем председателя как О-ва врачей имени Мечникова, так и Совета общественных организаций.

Высокой гармонией отличалась вся семейная, трудовая и общественная жизнь Зернова. Высоким идеалом был он проникнут. Случайно мне сделались известными слова покойного, написанные им сыну, когда тот поступил на медицинский факультет в Белграде. «На своем тяжелом посту всегда руководись только любовью и желанием помочь всякому, кто к

тебе обратится». Этот завет прекрасно характеризует ушедшего от нас праведного человека».

Комитет Московского Землячества устроил собрание в память нашего отца. «Последние Новости» напечатали следующий отчет о нем. (20 мая 1938 г.)

«Память д-ра М. С. Зернова торжественно чествовалась 18 мая. С речами и личными воспоминаниями выступили П. Н. Милюков, А. А. Титов, Н. В. Тесленко, А. М. Ремизов, К. С. Агаджаньян, В. Ф. Малинин. Собрание закончилось музыкальным исполнением С. Постельникова, окончившего с наградой парижскую консерваторию со стипендией, учрежденной Зерновым.

Первым выступил Милюков, который поделился воспоминаниями детства. Он вместе с Зерновым готовился к поступлению в первый класс гимназии. Титов рассказал об участии Зернова в создании Московского научного Института, после разгрома Московского Университета в 1911 году министром Кассо (1865-1914).[2] Большую речь произнес Тесленко. Он около 40 лет встречался с М. С. и сотрудничал с ним в разных областях. С проникновенным чувством он нарисовал образ русского общественного деятеля, каким был Зернов. Он подчеркнул, что это явление было чисто русское, только здесь на чужбине стало это нам понятно. Мировоззрение М. С. было глубоко православно. Охарактеризовав его несколькими примерами, Тесленко перешел к описанию всех тех организаций, в которых участвовал Зернов. Кроме создания курорта в Ессентуках и такой же работы в Сочи, М. С. был в течение 20 лет гласным московской городской Думы, членом врачебного совета при Управе, членом училищной комиссии, членом комиссии общественного здравия и комиссии польз и нужд общественных. Зернов также принимал участие в работе пенсионной комиссии, на обязанности которой лежало обеспечение уходящих в отставку многочисленных городских служащих. Особенно близко его сердцу было Арбатское попечительство о бедных той части города, где его отец был настоятелем церкви Николы Явленного, и где он сам всегда жил. Во время войны он работал в Союзе Городов и создал лазарет в своем доме в Хлебном переулке. К политике М. С. не имел склонности, однако он примкнул к партии Народной Свободы (К. Д.), стоявшей на платформе широких реформ. В ужасе он отвернулся от «октября». Уехав на Кавказ в Ессентуки, он учредил там о-во помощи Добровольческой Армии, собирал для нее деньги и белье. С концом Белого Движения он покинул Россию. «В Зернове — закончил свою речь Тесленко — поражали цельность, яркость характера, упорство в доведении начатых дел до конца. Он бодрствовал всю жизнь и даже умер на ногах».

---

[2] См. «На Переломе». Париж. 1970. Стр. 75.

Вся наша семья присутствовала на этом собрании, зал был переполнен сотрудниками отца, его пациентами и нашими друзьями. Этот вечер подводил не только итоги его деятельности, он завершал также целую эпоху в жизни эмиграции и нашей семьи. Мы приблизились к преддверью Второй Мировой Войны.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА В АНГЛИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ ПО СБЛИЖЕНИЮ МЕЖДУ АНГЛИКАНСКОЙ И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВАМИ

Н. Зернов

Моя первая встреча с англиканами в 1923 году произвела на меня такое сильное впечатление, что я тогда же начал убеждать руководителей Брит. Студенч. Христ. Движения созвать специальный англо-православный съезд. Мое предложение, как я описывал в шестой главе первой части, было решительно отклонено. В Англии в то время мало кто интересовался русской Церковью и едва ли кто верил, что она переживет выпавшее на ее долю гонение. В 1925 я снова был в Англии, на этот раз в Манчестере, на огромном студенческом съезде, и снова убедился в необходимости встречи между православными и англиканами. Опять мои усилия не привели к желаемым результатам. Моя третья и успешная попытка была сделана в Дании.

Туда я попал летом 1926. Сначала я участвовал в интерконфессиональном съезде, организованном Христ. Союзом молодых Людей (У.М.С.А.) в Финляндии. Я никогда раньше не был так далеко на севере. Мне полюбились его мягкие убегающие краски и долгие не умирающие закаты. Близость России волновала, когда наш пароход шел из Ревеля в Гельсинфорс, я все время смотрел на восток, надеясь увидать низкие берега родины. Съезд в Гельсинфорсе имел более 2000 членов, представлявших 45 стран. Я был гостем на нем, меня интересовала главным образом основная цель этой мощной организации, которая имела в Америке более 500 платных секретарей.

В некоторых русских кругах У.М.С.А. считалась масонской и враждебной Церкви. Я убедился в необоснованности

подобных подозрений. Ее руководители находили вдохновение, как стало ясно мне, в христианстве. Это особенно сильно звучало в речах Джона Мотта, генерального секретаря. Запомнилось мне также выступление знаменитого архиепископа упсальского Натана Содерблома (1866-1931). Он рассказал, как, будучи студентом, он встретил Джона Мотта (1865-1955), молодого американца, горевшего идеей международного объединения студентов для евангелизации всего мира. Эта встреча навсегда определила путь жизни Содерблома и сделала его пионером экуменического движения. В 1925 году, уже будучи архиепископом, он созвал в Стокгольме всемирную конференцию по вопросам практического христианства, которая явилась важным этапом на пути создания в 1949 году Мирового Совета Церквей.

Вместе с Г. Г. Кульманном из Финляндии я поехал в Данию на собрание Генерального Комитета Студенческой Федерации в Ниборг Странде. Оно длилось две недели. Насколько я оставался лишь наблюдателем в Гельсинфорсе, настолько я был увлечен работой комитета. На его программе был поставлен вопрос о взаимоотношениях нашего Движения с Федерацией. Русское зарубежное Движение отличалось от других национальных студенческих объединений, входивших в Федерацию, своей церковностью. Мы черпали свое вдохновение в православной литургии, стремились помочь молодежи полнее войти в жизнь Церкви. Другие же ассоциации, наоборот, старались освободить себя от зависимости от протестантских конфессий, они ставили своей целью пробить брешь в тех стенах, которые раньше мешали студентам разных вероисповеданий сотрудничать друг с другом. Федерация называла себя интерконфессиональной и этим она хотела показать, что она открыта для молодежи всех Церквей. Чтобы добиться этого — вопросы догматики не обсуждались на собраниях, богослужение ограничивалось чтением священного писания, импровизированными молитвами и пением гимнов. Таким образом, была создана как бы нейтральная версия христианства, лишенная каких бы то ни было вероисповедальных отличий. После конца первой мировой войны эта традиция перестала удовлетворять многих. В Англии, как англо-католики, так и евангелики[1] стали искать возможности внести в работу кружков свой особый подход к христианству. В Германии, Карл Барт (1886-1968) пробудил среди протестантов сознание важности догматов и значение их конфессиональных отличий. Раздались голоса, что жизнь федерации может обогатиться через вхождение в нее христиан, укорененных в своих традициях. Наше Движение представляло яркое выражение подобного подхода к экуменизму. Большинство его участников были убежденными членами православной Церкви, но они готовы

[1] Одно из направлений внутри англиканской Церкви.

были сотрудничать с инославными и делиться с ними своим опытом.

Генеральный комитет отдал много времени на обсуждение этого вопроса. Некоторые старшие руководители Федерации боялись, что тесная связь национальных движений со своими Церквами подорвет единство их международной ассоциации. Главным защитником позиции, занятой нашим Движением, был Г. Г. Кульманн. Он пользовался большим авторитетом и был первым кандидатом на пост генерального секретаря Федерации. Однако он снял в последнюю минуту свою кандидатуру и избранным оказался голландец Висер т' Хуфт (р. 1900), ставший первым секретарем Всемирного Совета Церквей. После долгих споров наше Движение было принято, как член корреспондент Федерации.

Я использовал свое участие в работе комитета для новых попыток созвать англо-православную конференцию. На этот раз я встретил понимание и сочувствие. У меня была поддержка д-ра Кульманна, да и я уже не был неизвестным студентом из Сербии, каким я был в 1923 году. Я мог говорить от лица Русского Студенч. Движения. Зоя Ферфильд, которая не обратила внимания на мое предложение в Суонике, теперь заинтересовалась им. По ее инициативе, Британ. Студ. Движение взяло на себя расходы по созыву съезда, он должен был собраться в начале следующего года в Англии.

Мне была поручена задача составить русскую делегацию. Это удалось мне сделать без труда. Митрополит Евлогий еще до войны был дружески расположен к англиканской Церкви и охотно дал свое благословение на эту встречу.[2] Главную помощь я получил от о. Булгакова. Он не только согласился возглавить делегацию, но даже отслужить литургию с нашим антиминсом, но на англиканском престоле. Вступительный доклад был поручен С. С. Безобразову, лучше других знавшему английский язык.

Часть ноября я провел в Англии, ознакомляя англичан с предстоящим съездом. С этой целью я провел 4 дня в Оксфорде. Моя первая встреча с городом, в котором мне было суждено провести большую часть жизни, произвела на меня глубокое впечатление. Это был своеобразный и очаровавший меня мир. Вместе с тем он ударил по мне своим контрастом с моим эмигрантским существованием. Город принадлежал молодежи, избранной из всей Англии. Студенты без шапок, с полосатыми шарфами разных цветов вокруг шеи, с черными академическими накидками поверх обычной одежды, наводняли улицы. В этой оживленной и красочной толпе мелькали студентки в таких же накидках и в забавных четыреугольных ша-

---

[2] См. Н. Н. Ладыженский и П. Б. Мансуров. Материалы из отчетов Общества Ревнителей соединения Восточно-Православной и Англиканской Церквей (1906-1910). С. Петербург 1912.

почках. Все торопились с одной лекции на другую, так как они происходили в разных зданиях колледжей. Сами колледжи напоминали монастыри. Окруженные высокими стенами, с тяжелыми вратами, за которыми виднелись обширные дворы, украшенные арками и скульптурами, они сохранили в неприкосновенности свой средневековый дух. Они были созданы в эпоху, когда Оксфорд был центром ученого монашества, но теперь не монахи, а талантливая, веселая и спортивная молодежь наполняла старинные здания, молодежь, готовившаяся к занятию руководящих постов в Британской Империи.

Я был гостем молодого, красивого англиканского священника, Оливера Кларка (р. 1898), которому предстояло быть председателем нашей конференции. Он предложил мне показать некоторые из колледжей. Первым, в который мы попали, был колледж Иоанна Предтечи, одно из самых гармоничных созданий английской архитектуры. (Он строился между 1437 и 1636 годами). Был вечер, косые лучи солнца упали на теплые желтовато-розовые стены и осветили аркаду с ее барельефами. Я был заворожен красотой, открывшейся передо мною картины. Мне казалось, что жить и учиться в этом избранном месте должно быть исключительной привилегией, дающей вдохновение для любой работы. Мой спутник, однако, был другого мнения. Он заявил мне, что собирается покинуть Оксфорд и поселиться в Индии в «ашраме», жилище нищих аскетов, надеясь найти там ту подлинность и полноту жизни, которая ускользала от него в благополучии и комфорте университетского существования. Дни в Оксфорде были заполнены посещением преподавателей и студентов. Мне удалось заинтересовать некоторых из них задачей съезда и заручиться их обещанием приехать на него.

Следующим этапом на моем пути был англиканский монастырь Келхам. При нем имелся богословский колледж. Монахи и семинаристы жили вместе, совмещая молитву, учение и физический труд. Каждый из них по очереди подавал на стол, мыл посуду, работал в саду, убирал комнаты. Настоятель и профессора разделяли послушания с студентами. Это была совсем новая для меня форма монашества, в которой сочетались деятельность с созерцанием и умственная открытость к новым идеям с верностью традиции прошлого. Здесь, как и в Оксфорде, я смог заручиться обещанием прислать нескольких студентов на конференцию.

Съезд открылся 11 января 1927 года в маленьком городке Сент-Албансе недалеко от Лондона. В нем участвовало 30 англичан и 12 русских. Английская чинная публика была удивлена в этот день, увидав на станции необычайную группу приехавших путешественников. В центре ее выделялась характерная фигура о. Булгакова, в тяжелой рясе русского покроя, с длинными волосами и седой бородой. Вокруг него тол-

пились другие профессора и студенты из Парижа. Отдельно от них стояла английская делегация, среди нее привлекали внимание англиканские монахи из Келхама с красными веревочными поясами. Экзотику прибывших увеличивало присутствие черного индуса, члена православной Церкви Индии и смуглого копта из Египта. Эта разношерстная компания отправилась в епархиальный дом близ огромного собора, построенного в честь св. Албания († 305), первомученика Англии.

Начало съезда было нелегким. Никто из англичан не говорил по-русски, их французский тоже был слабоват. Еще хуже был английский большинства русских из Парижа. Но за этим внешним препятствием вскоре обнаружилась и другая, более серьезная преграда: англичане и русские принадлежали к двум различным эпохам, им трудно было обсуждать те же проблемы, так как они видели задачи Церкви в иной перспективе.

Англичане все еще пребывали в довоенном либерализме XIX века. Они верили, что человечество приблизилось к осуществлению своих чаяний, что социальная справедливость и экономическое процветание обеспечено для всех народов, что Лига Наций сделала невозможным повторение разрушительных войн и что христиане, поняв, наконец, свою ответственность не только за духовное, но и за материальное благополучие человечества, обратят к истине и тех, кто до сих пор сопротивлялся ей.

Мы же, русские, пережившие бунт людей против Бога, на опыте испытавшие реальность демонических сил, знали, что человечество приблизилось к новому роковому периоду великих испытаний и соблазнов, и что не мир, а потрясения ожидают нас.

Эти расхождения обнаружились после первого доклада Безобразова о положении Церкви в России. Во время прений англичане стали оправдывать «Живую Церковь», как ищущую новых путей служения народу. Они объясняли нам, что гонения на верующих вызваны суевериями православных и их безразличием к социальным проблемам. Мы горячо возражали, говоря, что большевики стремятся не реформировать христианство, а выжечь из сердца народа образ Христа и заглушить голос Евангелия, что живоцерковники — предатели и карьеристы, и что вся антирелигиозная пропаганда ленинистов основана на сознательном обмане. Англичане вежливо выслушивали наши доводы, но ими не убеждались, наверное, думая, что мы ушиблены революцией и не способны объективно отнестись к ее событиям.[3]

Последующие доклады о православном отношении к ино-

[3] См. в конце главы Прилож. I.

славию, о библейской критике и о социальной ответственности христиан обнаружили новые расхождения, но и некоторые существенные согласия. Так, например, доклад епископа Гора о таинствах вызвал полное одобрение со стороны русских. Однако свое подлинное единство мы нашли не в зале собраний, а в часовне в часы молитвы. Англичане были захвачены стихией древнего благочестия, православные напевы взволновали их, наше богослужение, столь отличное от более прозаичного западного, познакомило их с тем догматическим богатством и той религиозной поэзией, о которых они раньше не имели представления. В то же время на нас произвела большое впечатление набожность англикан. Эти здоровые, жизнерадостные юноши простаивали на коленях наши длинные службы, благоговейно прикладывались ко кресту и надолго оставались в часовне в молчаливой молитве. Главным, решающим фактором в нашей духовной встрече с англиканами оказалась евхаристия. Ею начинался каждый день, англикане и православные служили ее по очереди на том же престоле и это сыграло большую роль в нашем сближении друг с другом. Англо-католическая месса с традиционными облачениями священнослужителей, с каждениями, с процессиями и свечами во многом напоминает римский ритуал, но она более доступна из-за английского языка. Молитвенное участие в ней было для многих из нас откровением того, что западный обряд, как и восточный, ведет к той же цели — к личной встрече со Христом, осуществленной через соборное действие Церкви и в свете этого знания стало не так важно, что англикане придавали большое значение библейской критике, которая менее затрагивала нас, что их смущало наше непосредственное обращение к Богородице и к святым за помощью и утешением, а нам не хватало у них молитв об умерших. Мы нашли друг друга во время преломления хлеба, наше единство было дано нам свыше и его реальность не могла быть подорвана нашими богословскими и литургическими отличиями. Англичане причащались каждый день, мы приобщились Святых Таин в последний день съезда.

Для многих англикан общение с православными оказалось поворотным пунктом в их жизни. Председатель конференции писал: «Перед нами открылся новый для нас мир, но не чуждый нам, так как мы почувствовали себя в нем дома. И все же мы были потрясены его новизной. Прежде всего я хочу отметить его всеобъемлющий характер — он включал и прошлое и настоящее, а также и вневременное. Мы встретились не только с новым движением XX века, но и с вечным духом вселенской Церкви».[4]

Для нас, русских, встреча с англиканами тоже имела боль-

[4] Вестник Р.С.Х.Д. № 3 (1927). Стр. 12.

шое значение. До тех пор мы чувствовали себя одинокими среди западных христиан. Римо-католики старались убедить нас, что все наши несчастья — результат нашего отказа признать главенство пап. Протестанты обвиняли нас в потере чистоты библейского учения. Англикане были первые христиане на Западе, которые не пытались переучивать нас. Они хотели познакомиться с нами, понять наше богословие и со вниманием вслушивались в наше истолкование христианства. Они были готовы учиться у нас и делиться с нами своим опытом. Нас сближало признание ценности отеческого предания и любовь к духовной свободе, которая вдохновляла руководителей нашего Движения.

Первая конференция была настолько удачна, что было решено повторить ее в следующем году. Второй съезд собрался в том же Сент-Албансе от 28 дек. 1927 года до 2 января 1928. На нем было уже 25 православных и 40 великобританцев. Среди новых участников выделялся епископ Вальтер Трурский, (Фрир. 1863-1938). Крупный ученый, литургист, монах и аскет, он был старый друг русской Церкви.[5] Он сразу завоевал симпатии всех русских. Второй съезд прошел с еще большим успехом. На заключительном собрании пресвитерьянский пастор Вильям Тиндал (1899-1965) предложил создать содружество из лиц, участвовавших в обоих собраниях. Эта идея нашла полное сочувствие и так родилось Содружество св. Албания и преп. Сергия Радонежского. Его председателем был выбран епископ Трурский, а вице-председателем о. Булгаков. Содружество оказалось жизнеспособным и стало впоследствии одной из самых деятельных неофициальных организаций, работающих для сближения восточных и западных христиан. В моей жизни эти два съезда сыграли большую роль. Во мне родилось убеждение, что мне следует заняться серьезным изучением англиканства и посвятить себя именно этой работе.[6]

[3] ПРИЛОЖЕНИЕ I

В двадцатых годах Запад был еще менее способен разобраться в значении сознательной лжи для советского режима, чем в настоящее время (1972). Ленин захватил власть обманом и на нем же зиждится атеистический строй, созданный им. Замечательно, что это поняли

[5] Вальтер Фрир посетил Россию в 1912 году. Он прочел там цикл лекций об англиканской Церкви. Они были изданы в Париже в 1931 году под заглавием: «Жизнь Англиканской Церкви». Он является также автором книги: «Some Links in the Chain of Russian Church History.» London 1918.

[6] Описание первого съезда в Сент-Албансе находится в «Вестнике Р.С.Х.Д.» № 3 (1927), в «Пути» № 7 (1927). Статья о втором съезде напечатана в журнале «Путь». № 10 (1928).

вожди религиозного возрождения в России уже в самом начале революции. С. А. Аскольдов (1870-1945) в своей пророческой статье, в сборнике «Из Глубины», изданном через шесть месяцев после захвата власти большевиками, писал: «Не разбушевавшаяся стихия звериных инстинктов — главное зло так называемого большевистского переворота, а та ложь и тот обман, тот поток фальшивых лозунгов и фраз, которые наводнили сознание народа... Ложь и обман сознательно проводимые уродуют и искажают душу. Являясь более глубоким слоем зла, они делаются долговечным фактором будущих беззаконий. Слова в конце концов больше связывают и закрепляют чем дела. («Из Глубины». Второе издание. Париж. 1967. Стр. 61).

Через 50 лет другой проницательный наблюдатель России, на опыте испытавший все особенности советской системы, всецело подтвердил слова Аскольдова. Он писал: «Я боюсь, что вирус лжи и лицемерия, растворенный в крови российских жителей, лучше всего помогает современным диктаторам удерживать власть». Л. Владимиров (Финкельштейн). Россия без прикрас и умолчаний. Франкфурт. 1969. стр. 297. См. также Ж. Медведев и Р. Медведев. «Кто сумасшедший?» Лондон 1971.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В АНГЛИКАНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Н. Зернов

Три удачных англо-православных съезда,[1] начало работы Содружества св. Албания и преп. Сергия, мое все увеличивающееся участие в различных интерконфессиональных конференциях — все это поставило передо мною неотложную задачу улучшить мой английский язык и приобрести больше знаний о западном христианстве. Мои новые друзья из Британского Студенческого Движения пришли мне на помощь, выхлопотав мне приглашение провести зиму в англиканском монастыре Воскресения. Зоя Ферфильд устроила мою жену, только что сдавшую свои экзамены по медицине, в семью англиканского священника, у которого был пансион для трудных детей. Средств у нас для жизни в Англии не было и потому мы с благодарностью приняли эти предложения.

Настоятель монастыря Эдуард Талбот (1877-1949)[2] прислал мне коротенькую записку, сообщавшую мне, что его община будет рада, если я приеду к ним. Движение дало мне отпуск. В начале октября 1929 года я покинул Париж, а на следующий день быстрый поезд красного цвета мидландской железной дороги доставил меня на север Англии в местечко Мерфильд, вблизи которого был расположен монастырь. Молодой послушник отвез меня в большой дом, раньше принадлежавший какому-то фабриканту и ничем не напоминавший монастырь. Рядом с ним однако строился большой готический собор из красного камня, вокруг него были здания, где разместился богословский колледж руководимый монахами.

Община Воскресения была основана епископом Чарлсом Гором, в Оксфорде в 1892 году. Среди первых шести священников, давших монашеские обеты был Вальтер Фрир.

Монастырь всегда имел среди братии крупных ученых и

---

[1] Третий съезд состоялся в Хай-Ли вблизи Лондона, он был гораздо более многочисленен, чем два предыдущих. В нем участвовало уже около ста человек. (3-8 апреля 1929 года).

[2] См. в конце главы Прилож. I.

выдающихся миссионеров, его отделы были разбросаны в разных странах. Главная работа велась в Южной Африке, где монахи организовали школы и семинарии для негров. В 1898 году община переехала в Мерфильд и тогда же началась постройка собора, которая закончилась только незадолго до Второй Мировой Войны.

Мне отвели большую комнату, с широким окном, открывавшим вид на высокие, зеленые холмы. Меня сразу охватила живительная и умиротворяющая атмосфера этого места, насыщенного молитвой и умственным трудом. Правила общежития были несложны. День начинался в 6 часов, литургия служилась в 7 часов, монахи причащались ежедневно. До часа дня соблюдалось полное молчание. Оно возобновлялось с пяти часов вечера. В 10 часов читалось повечерие, после чего все расходились по своим комнатам. Семь раз в сутки монахи собирались в церковь на службы, четыре раза на общую трапезу. Остальное время каждый отдавал своим занятиям и выполнению послушаний. Многие из них писали книги, другие преподавали в колледже, иные часто уезжали, чтобы проповедовать в приходах и читать лекции. Дух братской любви и сотрудничества царил среди них. В монастыре была прекрасная библиотека, в ней я нашел несколько книг по-русски, так как Вальтер Фрир знал наш язык.

Так началась моя новая, непривычная для меня жизнь. В первый раз за все мои 30 лет я получил возможность думать, читать, заниматься ничем не отвлекаясь. До тех пор я всегда старался выполнять одновременно несколько задач, должен был учиться, зарабатывать, нести ответственность за судьбу семьи. В Мерфильде я был свободен от всех забот. Поток мыслей наводнил меня. Все что я пережил в годы революции и работы в Движении стало связываться в нечто целое. Особенно во время моих одиноких прогулок я иногда так ярко видел ответы на занимавшие меня вопросы, что останавливался под напором новых идей, переживая радость их творческого вдохновения. Зима, проведенная в монастыре, была решающей для формирования моего мировоззрения. Все, что я пытался осуществить в последующие годы, было подготовлено в эти месяцы молчания, чтения и умственного труда.

Природа, окружавшая меня, показалась мне сначала мало располагающей к самоуглублению и молитве. Основатели общины не хотели отрываться от современной жизни, поэтому они поселились в центре индустриального района. Но вскоре я полюбил своеобразный мир, в котором очутился. Высокие, пологие холмы окружавшие монастырь, были покрыты вереском или зеленой травой и изрезаны долинами. Вдоль них тянулись во всех направлениях бесконечные линии улиц, застроенных двухэтажными, кирпичными, друг на друга похожими домами. Эти улицы часто упирались в пустыри, где паслись овцы или коровы. Среди улиц подымались уродливые

здания фабрик, с высокими дымящимися трубами. По вечерам, когда зажигались фонари, гирлянды огней причудливо вились по склонам холмов, одни вершины оставались в темноте. Это было странное место, не похожее ни на что, раньше виденное мною: сочетание нетронутой природы с огромным городом, раскинувшимся на многие километры. Вся эта причудливая местность была пересечена железнодорожными путями, и стук колес поездов гулко и печально отзывался в долинах. Этот особый звук, не прекращавшийся ни днем ни ночью, больше всего связан в моей памяти с жизнью в монастыре. Тонкая северная тоска была разлита повсюду, о ней говорили черные от угольной копоти камни и стволы деревьев, и высокие голые холмы и монотонные дома рабочих и закопченные фабричные здания и печальные закаты. На этом суровом фоне я остро наслаждался одиночеством и отрезанностью от тревог общественной работы.

В Мерфильде, разделяя жизнь англиканских монахов, участвуя в их регулярной молитве, я встал вплотную перед вопросом церковных разделений и перед тайной единства Церкви, которое существует, несмотря на раздоры среди ее членов. То, что я лишь предчувствовал раньше, стало для меня очевидностью, проверенной на опыте. В том же Мерфильде я понял моральную ответственность христиан за распри и расколы в их среде.

Ни подчинение папскому авторитету, ни верность отеческому преданию, ни ссылки на непогрешимую Библию не могут оправдать отсутствие братолюбия и обелить вражду к тем, кто по-иному истолковывает тайну Боговоплощения. Подлинная причина потери единства открылась мне, как страх свободы, дарованной христианам. Члены Церкви хотят найти гарантию спасения в соблюдении своих вероисповедальных особенностей и потому не решаются вступать в братское общение с теми, кто отличается от них. В верности форме, а не духу они ищут признак принадлежности к Церкви. Формы необходимы, но они не единообразны. Вселенская Церковь всегда включала и будет всегда включать разнообразие обрядов и преданий. Вот те мысли, которые родились во мне в Англии.

Рождество мы провели в Париже. Я спешил поделиться своими идеями с друзьями по Движению. Некоторые сочли, что я подвергся влиянию протестантизма, они не знали, как далеки были мерфильдские монахи от богословия реформации. Больше всего сочувствия и понимания я нашел у о. Булгакова.

Вернувшись в монастырь я начал писать работу о расколе между Римом и англиканством. Меня особенно интересовал вопрос о природе англиканского священства. В 1896 году папская булла объявила англиканские рукоположения безблагодатными, православные же богословы разделились

по этому вопросу, который остается не решенным нами до сих пор. Меня удивило, что труды о реформации в Англии обычно описывают действия государственной власти, постановления конвокаций духовенства, мнения отдельных богословов, но не принимают во внимание церковный народ. Он рассматривается как пассивная масса, с которой короли и прелаты могут поступать по своей воле, то приказывая верующим стать католиками, то протестантами. В моей работе я старался уяснить отношение мирян к переменам в ритуале и вероучении и в свете этого объяснить себе ту многоликость современного англиканства, которая является его характеристикой.

Как ни сосредоточена была моя жизнь на богословских занятиях, я все же старался приглядеться к нравам страны, приютившей меня. Большое впечатление на меня произвело, «английское воскресенье», так живо описанное А. С. Хомяковым (1804-1860) в его «Письме из Англии». Когда я жил в Мерфильде оно еще соблюдалось на севере. По утрам, население, одетое по праздничному, шло в церкви. Пороги домов были тщательно начищены, улицы подметены, даже собаки выглядели по-особенному. После воскресного обеда все отдыхали, город вымирал. В пять часов, после чая с закуской (хайти) двери домов открывались и население вновь выходило на улицы, одни шли снова на вечернее богослужение, другие встречались с друзьями. До позднего вечера на углах главных улиц видны были группы мужчин, обсуждавших свои дела. Никаких развлечений не полагалось по воскресеньям. Это был день отдыха и молитвы.

Иногда студенты колледжа брали меня на собрания, которые они устраивали для встречи с рабочими. Последние были хорошие спорщики и любили обсуждать религиозные и политические вопросы. Бывал я и в гостях у них. Ближе всего я познакомился с молодым кочегаром паровоза. У него был живой ум, жена его была хорошая музыкантша. Жили они в маленьком домике. В нем царила образцовая чистота, обстановка была людей среднего достатка: буфет, диван, мягкие кресла, пианино. Он расспрашивал меня о советской России и не мог представить себе нищеты населения при коммунизме, думая, что рабочие в стране торжествующего социализма должны жить лучше его.

В апреле я покинул монастырь с чувством глубокой благодарности к тем, кто так великодушно принял меня — чужестранца. За эти плодотворные для меня месяцы созрели мои глубочайшие убеждения, я значительно расширил свои богословские знания, разобрался в сложной структуре англиканства, полюбил эту Церковь, ощутил ее созвучность во многом с Православием и приобрел нескольких подлинных друзей, как среди монахов, так и студентов.

[2] Приложение I

В ту зиму, когда я жил в Мерфильде, к моему огорчению, отец Талбот был в Африке. Мне удалось узнать его уже позже, когда я стал секретарем Содружества. Он был одним из самых замечательных представителей англиканства, встреченных мною. Происходил он из старинного, знатного рода, давшего Англии многих государственных деятелей и полководцев. Его отец был епископом Винчерстерским. Эдуард Талбот получил традиционное образование в Оксфорде и принял священство, но в 1907 году, когда ему еще не было 30 лет, он круто изменил направление своей жизни, став монахом. Благодаря своим исключительным дарованиям, в течение 18 лет (с 1922 по 1940) он был избираем настоятелем своей обители.

Высокий, полный энергии, он производил большое впечатление с первой встречи. От него исходила благодатная сила, его вера в Бога была непоколебима, ему было дано опытное знание божественной любви к людям и оттого он всегда был радостен и окрылен. Он был хорошо известен, как мудрый и все понимающий духовный руководитель.

Когда возникло Содружество, о. Талбот стал одним из его видных членов, и я неизменно находил у него поддержку наших планов. Встреча с ним — человеком столь подлинной духовности и церковности, была для меня убедительным свидетельством благодатности англиканства, в лоне которого могут рождаться люди подобные отцу Талботу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОТРЯСЕНИЯ В РОССИИ И РАСКОЛ В ЭМИГРАЦИИ

Н. Зернов

Зима, проведенная в мерфильдском монастыре, была началом решающих перемен в моей жизни, приведших нас с Милицей, после переходных лет, проведенных в разлуке, к нашей жизни в Англии. Они совпали с временем страшного лихолетия в России, отразившегося и на Западе. Русская Церковь на родине восходила на крест вместе с Россией, а в эмиграции она была поражена новым расколом.

Первая попытка осуществить коммунизм, сделанная Лениным, его знаменитый «прыжок из мира необходимости в царство свободы» кончился полной разрухой. Партийным вождям пришлось дать передышку измученному населению. В 1929 году новый владыка России, Сталин, возобновил ломку, начав массовую коллективизацию сельского населения. При Ленине красный террор уничтожал культурную, свободолюбивую элиту страны, при Сталине новой жертвой стали крестьяне. При Ленине гибли сотни тысяч, при его преемнике — миллионы. Жуткая одержимость охватила тех, кто все еще верил в ложные обещания партии построить рай на земле. Карательные экспедиции, посланные из городов в деревни, зверски расправлялись с беззащитным населением. Вереницы ограбленных крестьян потянулись на восток и север. Как и при Ленине, этот эксперимент вызвал страшный голод, результат безжалостной реквизиции хлебных запасов, вплоть до посевных семян.[1]

Кровавый туман заволок родину, мы могли только догадываться о том, что происходило там. Размер катастрофы оставался скрытым от остального мира, но и то, что доходило до нас, указывало на огромность бедствия. Поход против крестьян сопровождался решительной попыткой уничтожить христианство, заменив его культом непогрешимого секретаря партии.

---

[1] См. описание коллективизации на Украине у Василия Гроссмана «Все Течет». Посев. Франкфурт. 1970.

Новый закон о религии, опубликованный в 1929 году, разрешал лишь безбожную пропаганду. Каждая попытка публично защищать веру в Бога теперь каралась, как уголовное преступление. Сталин на опыте убедился в ошибке Ленина, считавшего, что в споре между верующими и неверующими победа всегда обеспечена атеистам, и потому допускавшим в законодательстве как антирелигиозную, так и религиозную пропаганду. Началось повсеместное закрытие церквей и систематическое уничтожение верующих.

На этот раз гонения на христиан вызвали протесты на Западе. Они раздались особенно громко в Англии. Архиепископ Кентерберийский Космо Ланг (1864-1945) призвал всех членов англиканской Церкви принять участие в молитве о жертвах преследования. 16 марта 1930 года был выбран днем всенародного моления. Главная служба была совершена самим архиепископом в Вестминстерском аббатстве. На ней присутствовал митрополит Евлогий, приехавший из Парижа. В тот день, знаменательно, вся Англия, как далекая Россия, в первый раз в ту бесснежную зиму, оказалась занесенной снегом.

Эти протесты не остались незамеченными Сталиным. Митрополиту Сергию было приказано принять иностранных журналистов и передать им заранее отпечатанную декларацию, в которой отрицалось гонение на верующих. При этом свидании митр. Сергий уклонился от всяких объяснений.

Интерес к Православной Церкви среди высшей иерархии англиканской Церкви отразился на нашем англо-православном Содружестве. На ее четвертую конференцию, происходившую в Хай-Ли (25-30 апр.) приехал архиепископ Кентерберийский, был на ней и митр. Евлогий. Этим было подчеркнуто значение нашей неофициальной и только что начинавшейся работы. Архиепископ, в своей лиловой рясе, с белоснежными волосами и с лицом английского аристократа казался старцем, но когда он заговорил о своей вере в возможность соединения наших двух Церквей-сестер, его голос зазвучал с силой молодости. Митр. Евлогий отвечал ему так же вдохновенно.

На этом съезде смогла быть Милица. Епископ Фрир неоднократно беседовал с нами. Он внимательно расспрашивал меня о моих занятиях в Мерфильде и советовал продолжать изучение церковной истории. Был упомянут Оксфорд, как одно из мест, где мне следовало бы заниматься. Все это было так неожиданно, идея казалась прекрасной, но неосуществимой. У нас не было никаких средств и я не имел ни малейшего представления об условиях поступления в этот университет, трудно доступный даже для избранного английского меньшинства.

Однако судьба вела нас своими путями в этот влекущий меня к себе город. На конференции мы узнали, что Зоя Ферфильд, как мудрая фея, устроила для нас месячное пребы-

вание вдвоем в небольшой деревушке, недалеко от Оксфорда в доме своей знакомой, Уинфрид Тойнби. Сама хозяйка куда-то уехала, предоставив в наше полное распоряжение маленький флигель в саду. Это был сказочный месяц, как в раю. В саду пели соловьи, все было полно ароматом весенних цветов, в условный час вкусная еда появлялась на нашем столе. Большую часть времени мы проводили в Оксфорде, бродя по его колледжам и паркам, встречаясь с друзьями, знакомясь с богословами, интересующимися соединением Церквей. Я встретил старого друга по Белграду, Н.М. Терещенко, работавшего над своей диссертацией. Он был прекрасно осведомлен о правилах приема в университет и посвятил меня в эту сложную и необычную систему.

Мысль о возможности продолжить мое образование в Оксфорде все более увлекала меня. Я начал стучаться в разные двери, послал письмо в общество помощи русской Церкви, но нигде не встретил поддержки. Накануне отъезда я зашел проститься с доктором Киддом (1864-1948), возглавлявшим Кибл колледж. Он был специалист по церковной истории. Неожиданно он сказал мне, что был бы готов принять меня в свой колледж, если я найду средства для учения. Это обнадежило меня, я покинул Оксфорд с чувством, что одна из дверей немного приоткрылась.

В Париже нас резнул контраст между привольной, налаженной жизнью Оксфорда и напряженной атмосферой, царившей в русской колонии во Франции. Назревал новый церковный раскол. Моления англиканской Церкви о страждущих христианах в России возбудили ярость их гонителей. Митр. Сергий, под давлением власти, потребовал от митр. Евлогия принести покаяние в том, что он принял участие в службе в Вестминстерском аббатстве, а также его подписки, что он не повторит подобного проступка. Объяснения, которые митр. Евлогий послал в Москву, были признаны неудовлетворительными.

В это критическое время собралось на Сергиевском Подворье очередное епархиальное собрание (29 июня - 4 июля). Я был одним из его участников. Подавляющее большинство клира и мирян встало на защиту своего любимого первоиерарха. Несмотря на то, что я всецело разделял отношение большинства к назревшему конфликту, все же у меня осталось тяжелое воспоминание от того в каком тоне обсуждался сложный и глубоко всех затрагивавший вопрос о канонической связи с гонимой Церковью в России. Небольшая, сплоченная группа, при пассивном попустительстве большинства, внесла в совещание атмосферу политического митинга, напоминавшую первые месяцы революции. Она извергала грубые обвинения против митр. Сергия и не давала никому другому высказать иной подход к спорному и болезненному вопросу.

В Движении мы привыкли относиться с уважением к своим идеологическим противникам и искать соборно ответы на недоуменные вопросы. Это желание понять позицию меньшинства совершенно отсутствовало на епархиальном съезде. Я был принужден прийти к грустному заключению, что наше рядовое духовенство и миряне не были по настоящему готовы к подлинному осуществлению соборности.

Почти сразу после епархиального собрания состоялся очередной местный съезд Движения во Франции в Клермоне (13-21 июля 1930). Конференция была многолюдной, в центре всех обсуждений стоял вопрос об отношениях с Москвой. Кроме митр. Евлогия среди нас было два епископа: Сергий и Вениамин. Последний все больше склонялся к мысли принять все условия, поставленные митр. Сергием, чтобы сохранить связь с Россией. Среди руководителей Движения такую же позицию занимал И. А. Лаговский. Но все мы хотели спасти наше единство; к счастью нам удалось добиться этой цели. Движение в Западной Европе в своем большинстве встало на сторону митр. Евлогия, но оно осталось открытым для сторонников Москвы. Лаговский, после долгих колебаний, остался в Движении, продолжая вносить свой ценнейший вклад в наше общее дело, но Клермон 1930-го года был последним съездом, в котором участвовал еп. Вениамин.

Отход владыки от нашей работы был для нас большой потерей. Он был особенно хорош с молодежью, умея лично подойти к каждому. Его яркие талантливые рассказы о монастырях, старцах и православном быте знакомили эмигрантское юношество со всем тем лучшим, что церковная жизнь давала нашему народу до революции. Вскоре (июль 1930) получен был указ из Москвы, устраняющий митр. Евлогия от управления епархией и назначающий арх. Владимира (Тихоницкого 1873-1953) на его место. Однако арх. Владимир отказался вступить в управление, т. к. всецело разделял позицию митр. Евлогия. Окончательный разрыв произошел в начале 1931 года, когда митр. литовский Елевферий согласился взять на себя окормление тех немногих приходов в Западной Европе, которые решили остаться в каноническом подчинении Москве.[2] Сам же митр. Евлогий со своими двумя викарными епископами Владимиром и Сергием пражским (Королевым 1871-1952) были приняты в юрисдикцию патриарха константинопольского его грамотой от 17 февраля 1931 года.

Таким образом русская зарубежная Церковь разделилась на три части. Сторонники Карловацкого синода смотрели на себя, как на единственных представителей русского Православия, а митр. Сергия называли предателем и агентом советской

[2] См. Митр. Евлогий «Путь Моей Жизни». Париж. 1947. Стр. 622-628.

власти. Небольшая группа, возглавлявшаяся в Париже еп. Вениамином, осталась в общении с митр. Сергием. Большинство же признало своим архипастырем митр. Евлогия. Он воздерживался от осуждения действий местоблюстителя патриаршего престола, но вместе с тем отстаивал необходимость для зарубежной Церкви иметь свободу от вмешательства в ее жизнь советской власти.

В эти трагичные для русской Церкви месяцы моя жизнь была на перепутье. Движение продолжало увлекать меня, но в то же время во мне росло убеждение, что для русской Церкви сближение с западными христианами, в особенности с англиканами, является одной из самых существенных задач. Гонимая, обескровленная, она нуждалась в друзьях, знающих об ее нуждах, понимающих ее положение и готовых бескорыстно помочь ей.

Вопрос о природе Церкви, об ее границах и о путях преодоления разногласий среди ее членов встал с еще большей отчетливостью передо мной во вторую половину лета 1930 года, которую я провел на различных международных конференциях. На одной из них, организованной Студенческой Федерацией в местечке Вомаркюс в Швейцарии (16-22 авг.) решилась моя судьба. На этом съезде собралась интересная молодежь, принимавшая живое участие в обсуждении докладов. Я был одним из главных лекторов, моей темой была «Церковь». Я говорил с подъемом обо всем том, что Бог даровал человечеству в Церкви и ее таинствах. Доклад произвел сильное впечатление, меня закидали вопросами. Я отвечал сжато, попадая в цель. В тот же день говорил американец, Франсис Миллер (р. 1895), председатель Федерации. Он призывал молодежь работать для восстановления единства христианского мира. Наши оба выступления гармонировали друг с другом. Он пригласил меня на прогулку, расспрашивал о моих планах. Вечером был «костер». Студенты пели свои национальные песни. Русские пропели несколько церковных песнопений, унесших всех в иной духовный мир. Я сидел задумавшись у костра. Миллер подошел ко мне, отозвал в сторону и сказал, что, после совещания с другими лидерами Федерации, он предлагает мне 70 английских фунтов для «начала» учения в Оксфорде. Он прибавил, что по окончании моей работы, он надеется видеть меня одним из секретарей Федерации. Так этой звездной ночью намечался новый путь моей жизни, но он был полон вопросов. Смею ли я принять предложение этой стипендии, не дающей не только возможности нам с Милицей жить вместе в Оксфорде, но не достаточной и для меня на полный курс учения? Зов в Оксфорд требовал жертв и героических усилий. Милица, как всегда, всей душой поддержала меня. Она оставалась в Париже доканчивать свою медицинскую диссертацию и нашла хороший заработок, который

помогал нам во время длинных оксфордских каникул, когда я мог возвращаться домой.[3]

Знаменательное для меня лето кончилось общим съездом в Монфоре около Парижа (12-23 сен.). Я участвовал на нем в последний раз как секретарь Движения. Много перемен произошло за восемь лет. Движение перестало быть содружеством небольшой, горящей верой молодежи, руководимой и поощряемой старшими представителями русской религиозной мысли. Оно распространилось, включило в свой состав и не студенческую молодежь и лиц среднего поколения. Его культурный уровень понизился, но зато оно стало доступнее широким кругам церковного общества. Оно имело значительный успех в Прибалтике, особенно в Эстонии, где нашло благоприятную почву для своего развития среди русского населения, проникнув там даже в среду крестьянской молодежи.[4]

Съезд в Монфоре имел иностранных гостей, болгарина, профессора Стефана Цанкова (1881-1965), православного чеха о. Жидека. Многочисленную делегацию из Эстонии возглавлял еп. Иоанн Печерский. Присутствие нерусских православных было ценным свидетельством единства православного мира. Оно указывало также, что литургический подход к работе с молодежью, открытый нами, завоевал себе признание и вне эмигрантских кругов.

В последний день съезда, когда его участники делились своими впечатлениями, я тоже выступил с речью, благодаря всех за то, что получил за годы совместной деятельности. Мой уход из секретариата совпал с сокращениями бюджета. Восьмой съезд был поэтому переломным не только для меня, но и для многих других. Следующий съезд был созван лишь в 1933-м году. Он собрался уже в иной атмосфере, возникшей в Европе, благодаря победе Гитлера в Германии.

В Париже мои сотрудники по Движению устроили мне теплые проводы. Покинув Францию 9 октября, на следующий день я был в Оксфорде. Открылась новая страница моей жизни.

---

[3] См. главу моей жены «Русская Студентка» (часть пятая, глава восьмая).

[4] Местные съезды Движения в Эстонии привлекали большое число молодежи. На них приезжало до 200 и больше человек. См. Вестник Р.С.Х.Д. № 10 (1930), № 8-9 (1931), № 1 (1935), № 6-7 1935).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Работа для получения докторской степени. 1930-1932 год.)

Н. Зернов

Я попал в Оксфорд в первый раз в 1926 году. Я был тогда случайным посетителем, недавно пережившим крушение великой империи и очутившимся в знаменитом центре христианского гуманизма. Вековые устои в нем оставались непоколебимыми, жизнь продолжала течь по своему привычному руслу. Я не мог привыкнуть к этому контрасту. Оксфорд казался мне обреченным на уничтожение.[1]

Прошло четыре года, и я снова был в Оксфорде, но на этот раз не как посторонний наблюдатель, а как один из избранных, допущенный в это древнее святилище науки. Я был зачислен кандидатом на соискание докторской степени. Для получения ее я должен был предварительно быть принятым членом в один из колледжей и провести не менее 6 семестров, т. е. двух лет резидентом в городе. По истечении этого срока я имел право представить мою диссертацию, но большинство кандидатов на степень доктора остаются в Оксфорде три или четыре года. Моя маленькая стипендия не давала мне этой возможности. Мне удалось закончить мою работу в минимальный срок. В конце пятого семестра я подал ее в трех экземплярах. В середине шестого семестра я выдержал экзамен и 23 июня 1932 года стал доктором философии Оксфордского университета. Своей темой я выбрал: «Единство Церкви и соединение Церквей». Я подошел к ней с исторической точки зрения, исследовав этот вопрос на протяжении первых четырех веков.

Оксфорд не похож на другие университеты, он свое-

[1] Я пишу эту главу через 40 лет после получения мною доктората. Большую часть этого времени я провел в Оксфорде, но и теперь, как и в мое первое посещение, я ощущаю себя пришельцем в этом, ставшем столь дорогим мне, городе. Я думаю, что человек, видевший кровавый лик революции и одержимость толпы, никогда не сможет освободиться от сознания хрупкости культуры и всех земных достижений.

образен, так как сохранил многое из своего средневекового прошлого. Я опишу его таким, каким я нашел его в начале тридцатых годов. В то время он состоял из 20 мужских и 5 женских колледжей. Университет является федерацией и его коллегиальное устройство составляет его главную особенность. Каждый колледж независим, имеет своего главу, своих «фелло»-«содружников» (преподавателей) и студентов, свой бюджет и свои традиции. Одни колледжи богаче других, некоторые имеют репутацию высокого академического уровня, другие славны спортивными трофеями, иные хранят аристократические традиции прошлого. Студент, принятый в один из колледжей, мог ходить на лекции в другие, но свое основное обучение он получал обычно у «тютора» назначенного его колледжем. Тогда в Оксфорде было около 5 тысяч студентов и тысяча преподавателей и профессоров.

Старейшие из колледжей были основаны в 13 веке, каждое последующее столетие прибавляло новые колледжи к их числу и это продолжается до сих пор. Оксфорд никогда не был разрушен войной или революцией и он представляет поэтому единственное в мире собрание архитектурных памятников. Многие из колледжей исключительно красивы. Они не являются мертвыми остатками прошлого, а живыми центрами культуры, так как продолжают служить образованию молодежи и помогают развитию научных знаний. Жизнь Оксфордского университета развивалась в течение столетий без скачков и потрясений, она строилась на традициях, проверенных долгим опытом. Новые веяния сочетались с старыми не уничтожая их.

Сидя за длинными обеденными столами в своих колледжах студенты видели на стенах портреты своих предшественников, сделавших вклады в историю человечества. Одни из них были одеты в строгие пуританские костюмы 17 века, другие в напудренные парики 18-го, третьи в прозаические пиджаки нашего времени. Студенты были преемниками славных дедов и прадедов и их связь с предками выражалась в тех же академических черных безрукавках, которые из поколения в поколение носили все члены Оксфордского университета. На лекциях, во время вечерних трапез в колледжах и на улицах с наступлением темноты поверх обычной одежды надевались эти «гауны». Они — разной длины и покроя. Самые короткие давались молодым студентам. Если они преуспевали в науке, гауны удлинялись. Более импозантные гауны носились баккалаврами и магистрами. Самая длинная полагалась канцлеру. Во время университетских торжеств ее подол должен был нести паж. В таких случаях доктора облачались в разноцветные мантии, обозначавшие их научную дисциплину.

Лекции не были в центре преподавания в Оксфорде. Оно

сосредоточивалось во время еженедельных встреч с преподавателем — «тютором». Студент приносил с собой заданное ему сочинение — «эссей» (пробу), читал его, выслушивал критику и вместе с тютором обсуждал те вопросы, на которые ему придется отвечать на письменных экзаменах в конце университетского курса. Последние подводили итог работы, проделанной в течение трех лет. На основании этих выпускных сочинений студент получал степень баккалавра первого, второго, третьего или четвертого класса. Если студенту не удавалось кончить учение в три года и он оставался на более долгий срок, степень давалась ему «без класса», ради справедливости в соревновании. Первый класс считается редким отличием и тому, кто добивается его, обеспечен успех в его дальнейшей карьере. Этот метод обучения приучал к самостоятельной мысли, к навыку разбираться в материалах, в различных, иногда противоречивых мнениях авторов, он помогал выработке своего мировоззрения и способствовал умению защищать его.

Расписание времени у студентов было своеобразно. Утром до часа дня шли лекции. Они не были обязательны, однако большинство выбирало некоторые из них. В это время другие работали в библиотеках, писали свои «эссеи» или обсуждали их с тюторами. От двух до четырех университетская часть города затихала. Молодежь занималась спортом. В парках, на зеленых полянах в любую погоду происходили состязания. Спортивные успехи, закаляющие характер, засчитывались студентам наравне с их академическими достижениями. С пяти до семи библиотеки вновь наполнялись читателями. Для старших студентов устраивались семинары. После ужина с восьми до десяти происходили собрания всевозможных клубов и обществ, на которых как преподаватели, так и студенты спорили на политические, религиозные, общественные и научные темы. Эта деятельность, особенно ее организация, тоже имела значение для аттестации студента.

В 11 часов массивные врата колледжей запирались. Опоздавшие должны были стучать, пока ночной привратник, звеня огромными ключами, не отворит им двери. Полагался штраф за опоздание. Звонков Оксфорд не признавал, проводить ночь вне колледжа не позволялось. Стены их были высоки и полны препятствий, но некоторые предприимчивые юноши умели находить способы проникать в колледж, незамеченными начальством. По средневековой традиции городская полиция не имела права контроля над членами университета, которые поэтому и должны были по вечерам носить свою академическую одежду. Университет выбирал (и сейчас выбирает) двух прокторов, которые, в сопровождении мускулистых помощников, обходили университетские кварталы города, и если нужно было, наводили порядок.

Религия занимала значительное место в воспитании, получаемом в колледжах. Каждый из них имел свою часовню и капеллана, обычно ученого богослова. Кроме преподавания, он вел и пасторскую работу среди студентов. Раньше посещение ежедневных богослужений было обязательно, в мое время это было отменено. Однако на всех службах всегда бывали студенты, а по воскресеньям часовни были полны. Капелланы колледжей были священники англиканской церкви, но римо-католики, пресвитерьяне и методисты тоже имели своих капелланов, обслуживающих весь университет. Только православные не были представлены.

Большое впечатление на меня произвел личный подход к каждому студенту, на котором была построена вся система преподавания. Учителя и ученики образуют в колледжах единую общину. Они знают друг друга, вместе обедают, делают совместные прогулки, а главное еженедельно встречаются на «тюториях». Это постоянное общение молодежи с профессорами помогает быстрому созреванию студентов и превращает неопытных юношей и девушек, за три года интенсивного обучения, в людей, способных брать на себя ответственность за работу в самых разнообразных областях жизни. Оксфорд налагает печать на своих членов, которая обычно никогда не стирается. «Оксфорд ман» — человек из Оксфорда, выражение понятное каждому образованному англичанину. Оно указывает на выдержку, умственную дисциплину и известные моральные устои.

Таким я нашел Оксфорд сорок лет тому назад. Многое с тех пор переменилось в его жизни. Вместо пяти тысяч студентов, теперь насчитывается более одиннадцати. Это делает личную связь между членами университета более затруднительной. Мешает ей также пестрое социальное происхождение учащихся. Для некоторых из них весь уклад жизни в Оксфорде находится в резком контрасте с их семейной обстановкой. В шестидесятых годах рядом с обычными студентами появилась «длинноволосая» молодежь, умышленно грязно одетая, требующая всеобщей нивелировки жизни и стремящаяся к отмене тех традиций, которые выделяют Оксфорд из других университетов. Обычаи важные и неважные, курьезные или красивые, свято соблюдавшиеся в течение столетий, подвергаются ломке. К этому прибавляются политические застрельщики, устраивающие демонстрации по разным поводам.

Самое серьезное в создающемся переходном и критическом положении — капитуляция перед этими «нигилистами» многих преподавателей, считающих бесполезной борьбу против подобных тенденций и потому готовых идти на все уступки. Зато более обнадеживающим является сопротивление этим разлагающим влияниям другой части студенчества. Во многих колледжах подавляющее большинство студентов от-

казывается быть на поводу у крикунов. В настоящее время трудно еще сказать, какая сторона победит и сумеет ли Оксфорд творчески пережить смуту, проникшую в его академическую и общественную жизнь.

Я попал в Оксфорд из совершенно другого мира и сначала мне было не легко разобраться в незнакомой обстановке. Только благодаря Н. М. Терещенко я добился, ко всеобщему удивлению, того, что меня, окончившего никому не известный Белградский университет, Оксфордский факультет признал кандидатом на степень доктора философии, а Кибл колледж, по обещанию доктора Кидда, принял меня в свои ряды, без чего я не мог бы вступить в университет. Этот колледж, основанный в 1868 году, носящий имя Джона Кибла (1792-1866), вождя католического возрождения его Церкви, всегда был оплотом англиканства, и я был в нем исключением, не будучи членом этой Церкви.

Мои друзья нашли мне комнату на окраине города, в доме пожилой вдовы. Это сокращало мои расходы. Миссис Тарлинг хорошо относилась ко мне и часто выражала беспокойство обо мне, так как я проводил все время за книгами и, вопреки оксфордской традиции, совсем не занимался спортом. Я счастливо провел под ее кровом все два года. Рано утром на велосипеде я мчался в город и большую часть дня проводил в читальном зале, помещавшемся в большом круглом здании, называемом «камера».

Она стояла в самом центре города рядом с величественной средневековой церковью университета (14 века). Дерзновенный шпиц церкви св. Марии подобно стреле был направлен к небу. Ее готика говорила о желании человека найти свое завершение в небесных сферах, о горении духа, о свободе от земных забот и страстей. Камера была построена в середине 18-го века, на четыреста лет позже церкви. Ее прекрасный, гармонический купол провозглашал торжество человеческого разума и его власть над космосом. Камера не стремилась к небу, она хотела охватить всю землю, включить природу в круг своих точных наук. Эти два здания, стоявшие рядом друг с другом были символичны для Оксфорда. Богословие, гуманитарные и точные науки не боролись, а сотрудничали в его ограде.

Оксфордская библиотека, наравне с Лондонской — наилучшая в Англии. В ней хранятся все книги, изданные в стране и многочисленная иностранная литература на всех языках мира. Моей первой задачей было научиться плавать, а не тонуть в этом океане книг. Я не имел навыка в научной работе, никто меня здесь этому не учил. Кандидат на докторскую степень считался обладающим опытом научных исследований. Зима, проведенная в Мерфильде, была мне очень

полезной и к концу первого семестра я стал разбираться в огромном каталоге и в выборе нужного мне материала. Другой моей задачей было научиться писать по-английски и это было труднее всего. Вначале я унывал, не замечая прогресса; я боялся, что не смогу написать диссертацию. Однако и тут медленно, но неуклонно наметилось движение вперед. Помогли мне мои английские друзья, терпеливо поправлявшие мои писания и дававшие мне частные уроки языка. Третьей моей задачей было найти людей, с которыми я имел общие интересы в области церковной истории. Университет назначил мне руководителя занятий (сюпервайзора), пожилого, приветливого профессора церковной истории, д-ра Ватсона (1859-1936). Латинские тексты интересовали его больше, чем проблема церковного единства. Я ходил к нему каждую неделю. Он выслушивал мною написанное, поил меня чаем и никогда не делал никаких замечаний. Только раз он проявил интерес к моему чтению и поправил меня — это было когда я сделал ошибку в латинской фразе. Гораздо полезнее были для меня встречи с д-ром Киддом. Он был автором трехтомной истории ранней Церкви и его указания всегда были ценны. Больше всего я нашел понимания и сочувствия у Эдуарда Евери (р. 1909). Он был тогда молодым студентом, захваченным, как и я, задачей примирения Востока и Запада. Мы могли часами говорить на эти темы и плодотворно делиться нашими знаниями и мнениями.

Круг моих знакомых и друзей начал расти. Я должен был два раза в неделю ужинать в колледже. Большинство студентов было на десять лет моложе меня, за столом они обсуждали спортивные события и свое ученье. Я казался им странным человеком и они обращали на меня мало внимания. Но и среди них я нашел постепенно друзей. С другими студентами я знакомился через Британское Христианское Студенческое Движение, которое тогда процветало в университете. К весне у меня было сравнительно много знакомых. Мы приглашали друг друга на чай, делали прогулки в прекрасных парках Оксфорда, катались на лодках.

Я все больше увлекался моей работой и мог читать и писать часами. Мысли постоянно рождались в моей голове. Мне удалось найти новый подход к некоторым спорным вопросам церковной истории и эти открытия доставили мне большое удовлетворение.[2] Но ни мое вдохновение, ни мой напор не были бы достаточны для предоставления моей диссертации

---

[2] Моя последующая работа не дала мне возможности продолжить эти мои исследования по истории древней Церкви. Все же мне удалось напечатать несколько статей на темы, занимавшие меня во время писания диссертации: см. «Eusebius and the Paschal controversy». Church Quarterly Review April 1933. «St Stephens and the Roman community». Church Quaterly Review January 1934.

в кратчайший срок, имевшийся в моем распоряжении. Я мог это сделать только благодаря жертвенной помощи моих английских друзей в Лондоне и Оксфорде, которые исправили мой текст и помогли мне привести его в должный вид.

В начале мая 1932 года я подал мою диссертацию. Она выглядела учено, как полагалось в Оксфорде, с обширной библиографией и множеством примечаний. Двое профессоров были назначены прочитать ее. Я был вызван на устный экзамен. Мои объяснения и все, мною написанное, было сочтено удовлетворительным. В конце июня я был участником торжественной церемонии, возводившей в различные степени кандидатов, представленных разными колледжами. Все мы были облачены в академические тоги. Дошла очередь и до меня. Вицеканцлер положил мне на голову Бибилю и произнес традиционную латинскую формулу. На меня надели красную шелковую мантию с синими рукавами и я стал «доктором философии».

Был солнечный прекрасный день. Я был счастлив и благодарил Бога. Вся моя жизнь в Оксфорде, сама возможность попасть туда и получить степень казались чудом. Только об одном я жалел, что ни Милица, и никто из моей семьи не был со мной в этот знаменательный для меня день. Это осуществилось тогда, когда в 1966 году я получал степень «Ди-Ди», высшую по богословским наукам.[3]

---

[3] «Ди-Ди» — степень доктора богословия. См. описание в части V гл. 6.

ГЛАВА ПЯТАЯ

МЕЖДУ ПАРИЖЕМ И АНГЛИЕЙ

Н. Зернов

Два года, проведенные мною в Оксфорде, были отданы учению, я не нес ответственности за работу Движения и Содружества. Но мой интерес к ним не уменьшался и я участвовал во всех их конференциях. Пятый англо-православный съезд собрался в Хай-Ли весной 1931 года (16-21 апр.). Он был очень удачен. Русские профессора все лучше овладевали английским языком, а их идеи становились более понятными англичанам. Глубоко продуманный доклад о. Булгакова о Церкви был по заслугам оценен англиканами. Г. В. Флоровский прекрасно изложил православное учение об авторитете. А. В. Карташев говорил об отношениях между Церковью и государством. Большим приобретением было присоединение д-ра Керка (1886-1954), выдающегося богослова, ставшего впоследствии епископом Оксфорда.

Следующий, шестой съезд Содружества был в Лондоне (30 мар. - 4 апр. 1932). На нем блестящую лекцию прочел Н. А. Бердяев; присутствовали также представители Студ. Христ. Федерации, Г. Хенрио (1887-1970) и Виссер т'Хуфт. Начались обсуждения моего будущего, планы были разные — работа секретарем студенческого Движения в Греции, пост в Женеве, возвращение в Париж, однако никаких конкретных предложений мне сделано не было. Епископ Фрир хотел, чтобы я оставался в Англии. Меня это тоже привлекало, особенно потому, что, будучи в Оксфорде, я загорелся идеей создания там православного центра с часовней и общежитием для студентов.

Мне хотелось назвать его домом св. Василия Великого, много потрудившегося для примирения восточных и западных христиан. В Оксфорде были православные и среди преподавателей и среди студентов, но они не были связаны друг с другом и не могли познакомить с нашей Церковью интересующихся ею. Наличие подобного интереса выявилось во время православной литургии, которую мне удалось органи-

зовать 22 мая 1932 года в часовне Кибл колледжа, самой большой в университете. Служил ее по-английски иеромонах Алексей ван дер Менсбругге, один из тех бенедиктинских монахов, который заявил мне о своем желании присоединиться к Православию во время моего посещения Амей в 1927 году. Проповедником был профессор Керк, хор состоял из английских студентов. Церковь была переполнена, было наверно более пятисот человек. Служба произвела глубокое впечатление. Для большинства она была первой встречей с Православием и долго потом я встречал людей, говоривших мне о значении для них этого участия в восточной литургии.

Подав свою диссертацию, я был свободен до экзамена. Этот последний месяц в Оксфорде я отдал попыткам заинтересовать влиятельных людей в создании православного центра. Я посетил епископа в его прекрасном дворце за городом, ряд профессоров и церковных деятелей. Повсюду я встречал полное одобрение этому благому начинанию, а также полное отсутствие желания что-либо сделать для его осуществления. Только Норман Сполдинг (1877-1965), который впоследствии сыграл такую большую роль во всей моей работе, был уже тогда готов помочь. Мой план был приведен в исполнение только через 20 лет, когда я сам стал преподавать в Оксфорде.

Покинув Англию, я вновь стоял на перепутьи. 1932-1934 были годы тревог и неуверенности в Европе. Победа Гитлера (1889-1945) на выборах в Германии повлекла за собой цепь событий, приведших к катастрофе Второй Мировой Войны. Начавшийся кризис неблагоприятно отразился на работе интерконфессиональных организаций, их бюджеты стали сокращаться. Одно время я ожидал, что Студенческая Федерация пригласит меня быть ее первым православным секретарем, об этом ее руководители думали, когда они частично финансировали мое учение в Оксфорде. Но тут встретилось много препятствий. Главное было отсутствие единомыслия среди православных и наши обычные соревнования. Греки не хотели русского, мои сотрудники по Р.С.Х.Д. не поддержали моей кандидатуры, очевидно считая, что другие имеют больше оснований для занятия этого привлекательного поста. В результате, Федерация отказалась от мысли иметь православного секретаря.

«Мировой Союз Международной Дружбы при посредстве Церквей» пригласил меня стать секретарем для юношеской работы среди православных, но без стипендии, а Богословский Институт в Париже выбрал меня ассистентом при кафедре сравнительного богословия, тоже без содержания. Единственным источником дохода было небольшое пособие от Британского Студенческого Движения, пригласившего меня, но только на семь месяцев, быть разъездным лектором отдела работы в богословских колледжах, разбросанных по

всей Англии. Я принял все три предложения, надеясь, что я смогу их совместить.

Так началась моя кочевая жизнь. Я делил мое время между Парижем и Англией. Переезд из одной страны в другую, несмотря на то, что я совершал его регулярно, не переставал удивлять меня своим контрастом. В Париже я был всецело погружен в русскую стихию: там была моя семья, мои друзья, Движение со всеми его проблемами и задачами, Церковь с ее молитвенной жизнью и ее расколами. В Англии все было по иному. Я был один, без постоянного места жительства, все время в пути, проводя два, три дня то в одном колледже, то в другом. Моей задачей было заинтересовать профессоров и студентов в англо-православных съездах и познакомить их с положением гонимой Церкви в России.

В начале тридцатых годов даже среди богословов было мало лиц, знакомых с восточным христианством. Я часто был первым представителем Православия, которого встречали мои собеседники. Принимали меня повсюду с интересом и сочувствием к нашей Церкви. Это было для меня большой нравственной поддержкой, но работа эта не легко мне давалась и требовала неослабного напряжения. Надо было постоянно встречать новых людей, находить темы для разговоров, убеждать их оказать помощь новому для них начинанию. Путешествуя по Англии, я втягивался в хорошо налаженную, обеспеченную жизнь, общался с людьми, которые делали планы на будущее. Вынимая из карманов записные книжки, они указывали мне, что намеревались делать через шесть месяцев или через год. Вся их жизнь текла по ясно начертанному руслу, — я же принадлежал к иному миру, полному неуверенности, препятствий и непредвиденных перемен.

Это постоянное перекидывание из одного темпа в другой, как и участие в международных конференциях заставляли меня видеть события ,совершавшиеся в Европе и за ее пределами, в новых перспективах, расширяли мой горизонт, жизнь раскрывалась мне в ее разнообразии и контрастах. В мае 1933 года я был одним из докладчиков в Бухаресте на конференции, организованной там Советом Международной Дружбы, секретарем которой я считался. Главными темами были: ответственность Церквей за социальный строй своих стран, коммунизм и отношение к нему христиан. Представители православных Церквей на Балканах мало интересовались социальными вопросами, предоставляя эту область государству. Они рассматривали коммунизм, как чисто политическую партию и борьбу с ней считали делом полиции. Моя попытка раскрыть религиозно-демонический характер ленинизма окончилась неудачей. Православные богословы находились под влиянием западного рационализма начала века и были глухи к голосу русских религиозных философов, прошедших

через увлечение марксизмом и на опыте познавших богоборческий характер этого социального утопизма. Православные Церкви на Балканах были так же не готовы к встрече с агрессивным безбожием, как была не готова русская Церковь накануне революции.

Вопрос о быстро растущей угрозе христианской культуре был поднят и на съезде Христианской Студенческой Федерации в Копе в Швейцарии (3-9 авг. 1933). Лидеры Федерации были глубоко встревожены событиями в Германии. Волна гонений на христиан, поднявшаяся в России в 1917 году докатилась теперь до сердца Европы. То, что считалось проявлением варварства, присущего русскому народу, стало уделом культурных немцев. Характерно, что среди докладчиков глубже и ярче всех проанализировала причины германского конфликта русская монахиня Мария Скобцова. Она лучше самих немцев описала психологию нацистов, столь знакомую нам по опыту большевизма.

Еще одна конференция, на которой я участвовал был третий съезд Содружества (Хай-Ли, 23-29 июня 1933). Он ознаменовался дерзновенным выступлением о. Сергия Булгакова, выносящим рассуждения о путях соединения Церквей из области теоретических предположений и пожеланий к радикальному пересмотру многих общепринятых до сих пор понятий о границах Церкви и о роли и значении таинства Евхаристии. Это было его знаменитое предложение допустить к причастию англикан (partial intercommunion), вызвавшее горячие споры в Содружестве. Он пророчески наметил те пути, по которым пошли западные христиане в наши дни.[1] Отец Сергий считал, что среди некоторых членов Содружества было достигнуто столь подлинное единство в исповедании православных догматов, что он предлагал просить иерархов православной и англиканской Церквей благословить их общение с нами в таинствах.[2]

Члены съезда были глубоко взволнованы предложением о. Сергия. Оно встретило сильные возражения как со стороны православных, так и среди англикан. Главным оппонентом был о. Георгий Флоровский. Он настаивал, что Евхаристия есть не средство, а увенчание единства церковнаго, что не может быть его постепенного восстановления. Были у о. Сергия и горячие защитники, Карташев и Федотов. Они говорили, что кроме ереси в толковании догматов есть ересь сердца, — враждебность и неприятие инакомыслящих. Обе ереси нуждаются в божественном врачевании, которое нужно искать в общении в таинствах.

---

[1] После второго Ватиканского Собора римо-католическая Церковь радикально переменила свое отношение к intercommunion и стала допускать к причастию, при известных условиях, членов других Церквей. То же делает англиканская Церковь.

[2] См. в конце главы Прилож. I.

Последний съезд этого занятого лета был общий съезд Движения, собравшийся около Парижа (12-24 сен.) Мы праздновали десятилетие со времени его основания и чествовали нашего бессменного председателя В. В. Зеньковского, который нес главную ответственность за его судьбы, неизменно примиряя все разногласия в его среде.

Осенью 1933 года нам с женой случайно удалось найти маленькую квартиру на улице Лакретелль. До сих пор мы ютились по мансардам и в случайных помещениях, это была наша первая настоящая квартира, поэтому мы увлеклись ее устройством, выкрасив стены в яркие цвета: темно синий в моем кабинете, нежно-зеленый в столовой, оранжевый, цвета солнечного пляжа, в главной комнате. Мебель купили на толкучке. Вид с балкона нашего седьмого этажа на Париж был вдохновительный, квартира казалась нам прекрасной. В ней стали собираться наши русские и иностранные друзья, но прожили мы в ней всего один год. Моя работа звала нас в Англию, на новые и новые перемены. «Фонд помощи русской Церкви и Духовенству» приглашал меня разъездным лектором и организатором, а Содружество избрало своим секретарем. Оба предложения были сделаны только на год, а мы должны были решаться на переезд в Англию, отрываться от всего, что у нас было в Париже.[3] Мы не побоялись это сделать, веря что в Англии нам будут даны новые возможности служить Церкви и людям.

[2] ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отец Сергий в своем докладе на съезде говорил: «... господствующая формула гласит: общение таинств, т. е. единение в *таинственной жизни*, должно иметь условием *предварительное* догматическое соглашение. Но так ли бесспорна эта мнимая аксиома, которая никогда не проверялась? Здесь на одной чаше весов мы имеем различие *некоторых* христианских догматов и богословских мнений и веками сложившееся и закрепившееся отчуждение и соперничество, но на другой — единство таинственной жизни и, прежде всего, Трапезы Господней. Почему же считается необходимым предварительно согласиться во мнениях, а не наоборот, не в единстве ли таинства надо искать пути к преодолению этого различия?[4]

---

[3] До войны, во время ее и по ее окончании, все мои приглашения на работу были на год или два, не давая мне уверенности в будущем. Только в 1956 году положение изменилось, когда мое лекторство в Оксфордском Университете было включено в регулярный бюджет Университета.

[4] См. «Христианское Воссоединение» Экуменическая Проблема в Православном сознании, сборник статей, Париж 1933. Статья о. Булгакова: «У Кладезя Иаковля», (О реальном единстве разделенной Церкви в вере, молитве и таинствах). Стр. 30.

Отец Булгаков поставил православных участников Содружества лицом к лицу с основным вопросом: кем являются для них инославные, членами ли соборной, апостольской Церкви или они — вне ее ограды? Для него они были наши братья, хотя и утерявшие полноту предания. Те из них, которые обретают подлинно православную целостность веры, призваны, по его мнению, восстановить с нами евхаристическое общение и помочь остальным членам своей Церкви ее обрести.

Содружество не могло осуществить предложение О. Сергия Булгакова, но его призыв продолжает будить и проверять нашу христианскую совесть.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЖИЗНЬ СТРАНСТВУЮЩЕГО ЛЕКТОРА

Н. Зернов

Осенью 1934 года мы с женой переселились в Англию, чтобы заново в новой стране строить свою жизнь. Мне было 36 лет, Милице 35. Я начинал новую деятельность, беря ответственность за две организации, Милица снова поступила в университет, а потом созидала свою профессиональную работу. Это были не легкие годы, мы были бедны, бездомны, в частой разлуке, трудились с наивысшим напряжением наших сил, но Англия и англичане сделали наш путь вдохновительным.

Получение права на постоянное жительство и труд уже было большим облегчением, в наших путешествиях не надо было постоянно хлопотать о разрешениях и визах. Когда же в 1936 году, по ходатайству друзей, нам, раньше положенного срока, дали подданство, мы почувствовали Англию «своей» страной.[1] Поселились мы в доме Зои Ферфильд, сняв две комнатки в квартире ее друзей. С ними мы жили до самого того времени, когда сестра Мария с мужем переселились в Лондон, а «своя собственная» квартира у нас появилась только, когда, Милица 60-ти лет, вышла в отставку и переехала ко мне в Оксфорд.

Две организации, пригласившие меня, были весьма различны. «Фонд» был благотворительным обществом, соби-

[1] Получив английское подданство, я отнес в полицию мои беженские документы, которые в течение 15 лет я должен был всегда с собой носить и предъявлять. Полицейский («Бобби»), взяв их от меня, сказал, что я могу идти. Я был удивлен и просил выдать мне новое удостоверение, как гражданину Великобритании. «Оно вам не нужно, — ответил он, — поскольку вы живете в своей стране, вам не требуется удостоверение в вашей личности». Когда я вышел на улицу, у меня было неловкое чувство, что меня раздели, и только медленно я понял, что в первый раз во всей моей жизни я был свободен и не нуждался в защите документов с печатями и подписями полицейских чинов.

равшим деньги для помощи русской Церкви.[2] Во главе его находились три лица не совсем доверявшие друг другу и сложно относившиеся к русским. Содружество было создано по моему почину людьми близкими мне по духу с целью сближения между восточными и западными христианами. Я замыслил мою работу так, чтобы она шла одновременно от лица обеих организаций. Мне удалось покрыть всю Англию местными комитетами, ответственными за сбор средств и за устройство информационных собраний и проповедей в церквах. Мои лекционные поездки обычно брали от трех до пяти дней и были тщательно подготовлены местными комитетами. Мне часто приходилось говорить по несколько раз в день на самых разнообразных собраниях: духовенства, профессиональных объединений, в школах, приходах, в частных домах. Я имел специальное разрешение, как чтец православной Церкви, от архиепископа Кентерберийского, проповедовать в англиканских церквах. Но кроме того я каждый раз испрашивал от местного епископа благословение на мою проповедь.[3]

В 1937 году характер Фонда изменился, сбор денег был передан в руки профессионального сборщика, к этому времени Содружество сильно возросло, благодаря проделанной мною работе и оно предложило мне всецело заняться его деятельностью, обеспечив меня скромным жалованием.

За время моего сотрудничества с руководителями Фонда я многому научился. Все они были по своему выдающимися людьми. Майор Тюдор-Поль, секретарь общества, для меня и для моих друзей был полной загадкой. Сдержанный, он никогда не высказывал ни одобрения, ни критики моей деятельности, но тщательно следил за ней. Считалось, что он занимался посредничеством по коммерческим делам, в его конторе помещалась наша канцелярия, но я редко видел у него каких-нибудь посетителей. Только много лет спустя

---

[2] Фонд помощи русской Церкви и духовенству возник после Первой Мировой Войны. Его основателями были лица с положением, консерваторы, большинство принадлежало к духовенству. Сначала средства шли на помощь гонимому духовенству в России. Когда я начал сотрудничать с Фондом, деньги посылались преимущественно в Париж, на поддержку богословского института и Рус. Студ. Движения.

[3] Краткие отчеты о моей деятельности, напечатанные в журнале «Соборность» № 6 и № 7 (1936) дают представление о характере этой работы. Мои поездки включали: Норвич (17-22 янв.), Ньюкастл (30-6 ф.), Лидс (11-17 ф.), Личфильд (19-24 ф.), Ноттингам (26-29 ф.), Уэлс (5-6 м.), Севенокс (18-19 м.), Шотландия (23-27 м.), Париж (5-14 ап.), 10-тый англо-православный съезд в Дигсуэл (16-23 ап.), Богословское совещание в Мерфильде (27-3 май). Местный съезд в Уэкфильде (3 май). В связи с ним было произнесено 10 православных проповедей в одно и то же воскресенье в разных церквах Лидса. Местный съезд в Гильфорде (10 мая), Киддерминстер (14-15 мая), Линкольн (31-7 июнь). Конференция в Кромере (22-23 июнь). Местный съезд в Бедфорде (2 июль). В этот период я поддерживал интенсивную переписку с членами комитетов и Содружества. Мною было послано более 500 писем.

я узнал, что Тюдор-Поль был хорошо известен среди оккультистов, имел замечательный дар ясновидения и написал ряд книг на эзотерические темы.

Полной ему противоположностью были два других руководителя Фонда. Оба они были заворожены Востоком, он их и притягивал и отталкивал. Они были воплощением того противоречивого отношения к России, которое существовало в Англии со времени Крымской войны (1853-1856). Первый из них, сэр Бернард Пэрс, несколько раз бывал в России. В 1898-м он год учился в Московском университете, был в Петербурге во время революции (1904-1905), в Первую Мировую Войну он был корреспондентом на фронте, после победы Ленина вернулся в Англию. У него было много личных русских друзей, его симпатии были на стороне кадетской партии, он даже считал себя принадлежащим к ордену русской интеллигенции, думая, что возможно совместить с этим его подлинную английскую натуру. Он сочувствовал разбитой, либеральной России, но где-то в глубине наверное презирал своих друзей-либералов за их поражение. Ему импонировала грубая сила Сталина и он готов был пойти на сотрудничество с победителями. Он был уверен, как многие англичане, что анархия и деспотия, разыгравшиеся в России, были бы немыслимы в Англии.

У сэра Бернарда Пэрса была репутация лучшего знатока русских дел. Человек властный, прекрасный организатор, привыкший занимать командные посты, с ним можно было работать, лишь подчиняясь ему. Мысль пригласить меня работать с Фондом наверно принадлежала ему. Он же назначил меня лектором в Школе Славянских Языков. Это внештатное лекторство обязывало меня время от времени читать лекции по русской церковной истории. Я также участвовал в преподавании в некоторых богословских колледжах, которые все чаще приглашали меня.[4] Урывками я готовился к ним в библиотеке Британского музея, с наслаждением погружаясь в ее тишину, в которой растворялись заботы и суета моей трудовой жизни. Мою связь с богословскими колледжами я использовал для устройства в них студентов богословов из Балкан. Тут пригодилось мне знакомство с балканскими православными Церквами; обычно мне удавалось устраивать ежегодно бесплатно до десяти их воспитанников.

Тюдора-Поля привлекал восточный мистицизм, Пэрс был связан с русской интеллигенцией, Каноника Дугласа, третьего руководителя Фонда, вдохновляла Византия с ее неумирающей традицией, и надежда получить от иерархов православной Церкви признание законности англиканских рукоположений. Он был одной из самых красочных личностей, встреченных мною в Англии. Большой, грузный, с малень-

---

[4] См. в конце главы Прилож. I.

кими, остро смотрящими глазами, он напоминал мне человека 18-го века, с редким для современной Англии сочетанием искренней набожности с беспринципностью и даже цинизмом. Он легко мог сказать неправду, преподнести комплимент, который был бы обиден, обещать многое и ничего не выполнить. Он вырос в Константинополе и чувствовал себя как дома среди православных патриархов и митрополитов, любил носить дарованные ими разукрашенные кресты и наслаждался интригами их восточной дипломатии. Дуглас был типичным представителем той Великобритании, которая вела извилистую политику в пределах Оттоманской империи, то заигрывая с христианами, то поддерживая турок и всегда с опаской посматривая на север, где находилась ее главная соперница — самодержавная Россия.

Ватикан в 1896 году осудил англиканское священство, как не имеющее апостольского преемства. Тогда многие члены Церкви Англии стали обращать свои взоры на Восток, надеясь там найти желательную поддержку. Дуглас возглавлял эти попытки, он отдал этой задаче все свои незаурядные силы. Но он шел путями компромиссной церковной дипломатии. Ему удалось добиться того, что патриарх константинопольский Мелетий (1921-1923) официально заявил, что англиканские рукоположения могут считаться настолько же законными, как и римо-католические. Оправдание этого суждения основывалось на теории «экономии», по которой церковная власть, в целях целесообразности, будто бы может отступать от буквы канонов и даже объявлять несуществующее существующим. Это решение однако должно было быть подтверждено другими автокефальными Церквами и тут начались затруднения. Большинство Церквей воздержалось, ссылаясь на молчание русской, гонимой Церкви.

Как раз когда велись эти сложные переговоры, в Англии неожиданно появились русские эмигранты-богословы. Они считали, что сложное и хитроумное учение о «экономии» — искусственно и богословски двусмысленно. Русские руководители Содружества были готовы идти дальше греков на пути сближения с англиканами, но не путями дипломатии, окрашенной политическими влияниями, а путем смелого и искреннего обсуждения всех догматических и канонических препятствий к соединению.

Дуглас встретил русских с противоречивыми чувствами. С одной стороны он помогал Фонду и с самого начала участвовал в Содружестве, но он никогда не пропускал случая, чтобы не подчеркнуть того, что исконное православие — греческое, а «парижане» — все интеллигенты, недавно вернувшиеся в Церковь, и их идеи «не приняты на Востоке». Особенно насторожен он был по отношению к о. С. Булгакову и его предложению вступить в общение в таинствах с англиканами,

которое смешивало все его карты. Так же двойственно было отношение Дугласа ко мне. В течение моего сотрудничества с Фондом он то расхваливал, то нападал на меня, делая это обычно за моей спиной.

Мои поездки по Англии, проповеди и выступления дали мне совсем особую возможность узнать, понять и полюбить англичан. Проповедывал я обычно на две основные темы. Во-первых я старался объяснить причины и характер гонений на Церковь в России, во-вторых описать сходства и различия между западными и восточными традициями христианства. В ранний период моей работы мои выступления наверное казались многим голосом из средневековья. Для либеральной, терпимой и религиозно тепло-хладной Англии тридцатых годов сама идея кровавого преследования идеологических инакомыслящих казалась невероятной. Когда начались гонения на Церковь в Германии, мои слушатели стали более внимательно относиться к моим словам, но все же большинство продолжало твердо верить, что в их культурной стране никогда не могли бы случиться события, описываемые мною.

Англиканская религиозность отлична от русской. Англичане терпимы, не любят крайностей, они считают, что верующий человек должен проявлять свое христианство в отношениях с людьми, не осуждать других, быть скромным, оказывать помощь нуждающимся. Собирать средства на доброе дело в Англии легко, люди охотно жертвуют на дела благотворительности, на госпитали и приюты. Дары святости, прозорливости, старчества не влекут к себе рядовых христиан, зато редко встречаются в Англии примеры одержимости злом, жестокости и издевательства над личностью другого, которыми полна русская действительность. Может быть, самое главное достижение английского христианства это то, что оно научило народ уважать свободу и достоинство личности.

Сближает англиканство с православием его сознание вселенскости Церкви, свободы и ответственности каждого ее члена, именно то, что мы называем соборностью, термином, ставшим таким центральным для всех членов Содружества. Англиканская Церковь, несмотря на ущербы, понесенные во время реформации, не страдает от узости и сектанства, как другие протестантские вероисповедания. Уже в середине XIX века началось в англиканстве возрождение: искание полноты церковного предания, интерес к патристике, расцвет монашества. Вся моя работа в Англии была вдохновлена этим созвучием между нашими Церквами.

За двенадцать лет моей работы секретарем содружества и беспрерывных лекционных поездок я мог наблюдать по-

степенное изменение английской социальной жизни. Я почти всегда останавливался в частных домах лиц разного материального достатка. Это дало мне возможность познакомиться с бытом различных классов английского общества.

Большое впечатление производили на меня посещения резиденций епископов. До Второй Мировой Войны большинство из них жило в настоящих дворцах. В них сохранялся дух прошлого. Огромные комнаты, мягкие ковры, устоявшаяся тишина. На стенах — портреты бывших иерархов, то в широких крахмальных воротниках 16 века, то в черных кафтанах 17-го, то в пышных мантиях и напудренных париках 18-го. Эти портреты и прекрасные библиотеки с тяжелыми фолиантами в кожаных переплетах, рядом с которыми стояли книги современных богословов, часто дерзновенно критикующих основы христианства, говорили о церковном преемстве. Как ни менялись нравы, как ни перестраивались социальные и политические формы, Церковь продолжала давать устойчивость и сознание единства народу. Согласно англиканской традиции, епископы должны быть учеными богословами и пастырями народа. Они принимают участие в управлении страной, будучи пожизненными членами палаты лордов. После войны многие епископы были принуждены переселиться в более скромные дома, так как они больше не могли оплачивать расходы по поддержке дворцов с десятками комнат.

Когда меня приглашали в частные богатые имения, меня окружала спокойная аристократическая изысканность специального английского устройства домов, продуманная, но свободная красота их садов, составлявших одно целое с окружающими их всегда зелеными холмами и ветвистыми как будто в воде растущими могучими дубами и гладкоствольными буками. Прислуга занималась моим скромным чемоданом, раскладывая мои вещи по ящикам и шкафам. При комнате была отдельная ванна для гостя. В спальне по вечерам зажигался газовый камин и я засыпал между чистейшими, приятно пахнувшими, простынями. Рано утром, еще в кровати, я получал чашку чая с молоком. Позже, независимо от состояния моих хозяев, я получал всегда тот же английский утренний завтрак (breakfast): большую тарелку овсянки с молоком, заправленную сахаром (а в Шотландии солью), поджаренную ветчину с яйцом и чашку крепчайшего чая. Когда у меня было время, я любил беседовать с моими хозяевами, людьми культурными, церковно настроенными, принимавшими меня с большой простотой и сердечностью.

Совсем другая обстановка ожидала меня, когда я ночевал в квартире молодого священника ,помощника настоятеля прихода, или в домах горожан среднего достатка. Там в нижней общей комнате бывало жарко от ярко горевших углей в ка-

мине, зато в маленькой спальне наверху царил ледяной воздух, никакого отопления в них не полагалось. Быстро раздевшись, надо было забираться в постель с сырыми простынями. Спасала грелка с горячей водой, но нос оставался на холоду, так как окно всегда было полуоткрыто.

Английское гостеприимство глубоко трогало меня. Жил ли я во дворце епископа или в маленьком домике скромной вдовы, я встречался всюду с тем же вниманием и радушием. У англичан создалась репутация холодных, расчетливых людей, редко и с трудом выражающих свои чувства. Я встречался преимущественно с верующими членами англиканской Церкви и с ними я обычно легко находил общий язык. Англичане редко делают первый шаг к сближению, но я нахожу, что они охотно отзываются на желание ближе познакомиться с ними. Мое положение иностранца было особенно благоприятно, я мог безнаказанно задавать моим хозяевам такие вопросы, на которые не отважился бы обычный англичанин. Он называет свой дом — крепостью, в него не имеет права войти без его позволения даже полицейский, но раз вы к нему приглашены, он принимает вас, как близкого знакомого, почти члена семьи.

Когда начиналась работа Содружества, только очень немногие англикане знали о Православии, книги на эту тему были редки и часто значительно устарели. К концу тридцатых годов положение сильно изменилось. Почти каждый студент богослов имел возможность слышать лекции о восточном христианстве, встретить лично представителя православной Церкви, присутствовать на службе. Те же возможности были доступны и рядовому духовенству и мирянам, благодаря нашим местным съездам, всегда начинавшимся с православной литургии. В конце этого периода стали появляться на книжном рынке произведения, написанные членами Содружества, в которых я участвовал.

Я старался регулярно писать статьи об экуменической работе и об англиканской Церкви для православных журналов, обычно мало осведомленных в те годы о положении Церкви на Западе. Мои статьи печатались в Греции, Румынии, Сербии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Польше и в эмигрантских журналах Франции, Бельгии и Америки. Моя информация о положении Церкви на Востоке печаталась в Англии и в других западных странах. В 1937 году вышла в печать моя первая книга на английском языке «Москва Третий Рим». В это время острый политический кризис захватывал всю Европу. Тоталитаризм, родившийся в России, нашел свой новый оплот в Германии. Вся система европейского равновесия стала распадаться. Война становилась неминуема. Но она не только не прекратила существование Содружества, но наоборот — открыла перед ним новое поле деятельности.

[4] ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Богословские колледжи Англии отличаются от богословских факультетов и семинарий других стран. Они разбросаны по всей стране, часто находятся вблизи соборов, что дает возможность студентам принимать участие в богослужениях. Курс в таком колледже длится от одного до двух лет, в зависимости от предыдущей подготовки студента. Некоторые из них попадают в колледж уже окончив богословский факультет, другие не имеют высшего образования или же решают принять священство в пожилом возрасте, обладая одной из светских профессий. Каждый из них поэтому по-разному подготовляется к рукоположению. Личное внимательное отношение к каждому является одним из положительных достижений англиканского обучения пастырской работе.

Во главе колледжа стоит принципал, опытный священник, ему помогают двое или трое молодых богословов. Число студентов колеблется от 30 до 40 человек. Колледж живет как дружная семья, все вместе собираются на трапезу и на молитву, которая совершается три или четыре раза в день.

Я придавал особое значение моим лекциям в богословских колледжах, как англиканских, так и других вероисповеданий. Они давали мне возможность знакомить с Православием будущих руководителей этих Церквей. Некоторые из этих лекций мне удалось впоследствии издать в виде книг.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛЕТО 1939 ГОДА

Н. Зернов

В сентябре 1938 года Европа со страхом и трепетом стояла перед угрозой новой мировой войны. В последний момент ее начало было отсрочено. 29 сентября в Мюнхене Англия и Франция согласились на расчленение Чехо-Словакии, Гитлер (1889-1945) и Муссолини (1883-1945) добились победы. Одержимый, кричащий и всем угрожающий человечек с маленькими подстриженными усиками, утвердившийся в Берлине, с фанатическим упорством толкал человечество в бездну войны, которая должна была поглотить миллионы жизней во всех концах мира. Самое страшное было то, что Гитлер нашел столько поклонников и последователей не только в Германии, но и в других странах, которые с злорадством предвкушали новую бойню. Среди его пособников первое место принадлежало «мудрому и любимому отцу народов» Иосифу Сталину (1879-1953). Он надеялся, что столкновение в западной Европе откроет путь для расширения его деспотии. Его ожидания оправдались, но заплатить за это России пришлось дороже, чем он предполагал.[1]

Страшные тучи нависли над миром, но жизнь продолжала идти своим чередом. Все мы старались не смотреть на приближающуюся катастрофу и отдавать себя нашей обычной деятельности. Политические события неслись однако со все ускоряющимся темпом. Каждая неделя приносила свежие доказательства неизбежности войны. 14 марта 1939 под германским давлением Словакия провозгласила свою независимость.

[1] См. в конце главы Прилож. I.

16 марта Чехия исчезла как самостоятельное государство, приняв протекторат Германии. 7 апреля Италия захватила Албанию. 28 апреля Гитлер аннулировал договор с Польшей о ненападении. 23 августа он подписал соглашение о дружбе со Сталиным. Через семь дней немцы двинулись на Польшу.

В эти решающие месяцы важным событием в жизни нашей семьи было переселение Кульманнов в Лондон. Муж моей сестры получил пост помощника Верховного Комиссара по делам беженцев. Они купили дом на Ладбрук Гров и мы с женой переселились к ним весной 1939 года. Эта перемена направила мою деятельность по новому пути, сделав возможной покупку соседнего дома для Содружества во время войны.

В течение весны и лета я продолжал энергично работать для осведомления англикан о православной Церкви. Среди моих постоянных лекционных поездок мне пришлось посетить Ирландию. Этот зеленый остров, из которого св. Патрик (377-460), его небесный покровитель, изгнал всех змей, полон особого очарования. Ирландия живет в своем мире, она провинциальна, ее темп замедлен, она почти на сто лет отстает от остальной Европы. В Дублине церкви полны не только по воскресеньям, но и в будничные дни. На ее севере католики и протестанты продолжают драться друг с другом. Англиканская Церковь в Ирландии тоже дышит атмосферой XIX века, но небольшая группа в ней серьезно интересуется православием и ее члены пригласили меня.

С 29 июня по 7 июля состоялись очередные англо-православные съезды в Хай-Ли. Студенческая часть была посвящена вопросу достижений и потерь реформации, съезд же Содружества имел своей темой «Бог, который говорит». Обе эти конференции подвели итоги нашей предвоенной работы и еще раз собрали выдающихся богословов обеих Церквей, вместе с интересной и живой молодежью. Около 250 человек перебывало на них. Среди докладчиков со стороны русских выделялись о. Кассиан Безобразов, о. Георгий Флоровский, Г. П. Федотов и Л. А. Зандер. Со стороны англикан выступал наш новый председатель Роллинсон, епископ Дарбский (1884-1960) и бенедиктинский монах дом Григорий Дикс (1901-1952), один из самых талантливых литургистов своей Церкви. Молитвенная жизнь конференции была поручена священнику Эрику Абботту (р. 1915), человеку глубокой духовности, ставшему впоследствии знаменитым настоятелем Вестминстерского Аббатства. Содружество все более становилось международной организацией. В 1939 году в Хай-Ли были сербы, румыны, делегация из Швеции, возглавлявшаяся энергичной молодой богословкой Гунвор Салин (р. 1905). На съезде участвовал вартопед армянской церкви Тиран Нерсоян, выбранный после войны патриархом Иерусалимским. Большой потерей для всех было отсутствие двух основополож-

ников Содружества, епископа Вальтера Фрира, умершего в 1938 году и отца Булгакова, только что перенесшего операцию рака горла.[2] Особенно его никто не мог заменить. Ему одному были присущи дерзновение и вера провидца будущего примирения Востока и Запада. Несмотря на эти потери, Содружество продолжало расширять свою миссионерскую работу. В связи с общими съездами были организованы мною три местных конференции с участием лиц, приехавших из заграницы. Они состоялись в Корновалисе, в Шрюсбери и в Хартфорде. На них служились православные литургии, хоры состояли из англичан, певших по-английски русские церковные мотивы.

В конце июля я был приглашен на частное совещание нескольких церковных и общественных деятелей Англии с известным пастором лютеранской Церкви Гансом Лилие (р. 1899), приехавшим специально для него из Германии. Наш хозяин был Филипп Кар (1882-1940) — маркиз Лотсианский, будущий посланник Великобритании в Соединенных Штатах.

Одно из наших собеседований происходило на лужайке парка. Мы все сидели в кругу. Рядом с маркизом поместился немецкий гость. С большим волнением он рассказывал о гонениях на Церковь, о том невыносимом положении, в котором находятся его здравомыслящие и свободолюбивые соотечественники. Закончил он свою речь драматическим восклицанием: «Катастрофа приближается, а Европа продолжает спать». Сказав это, он обратился лицом к хозяину, — тот тоже спал под лучами летнего солнца.

Замок, где мы собрались, был полон художественных сокровищ, все участники совещания были высококультурными людьми, исполненными благих намерений, но не в их руках находилась судьба мира. Вожди тоталитаризма были ее вершителями. Отрекшиеся от христианства массы вознесли их на вершину власти и тем обрекли себя на гибель и страдания.

Сразу после встречи с Гансом Лилие, я поехал в Амстердам на Экуменический съезд Христианской Молодежи. (24 июля-4 августа 1939.) Это был для меня первый международный съезд, в организации и в ведении которого я принимал ответственное участие. Около 2000 человек из 77 стран собралось в Голландии в самый канун войны. Так как не только Церкви, но и юношеские объединения могли послать своих делегатов в Амстердам, то и наше Движение было хорошо представлено и мы имели возможность внести наш литургический вклад в это преимущественно протестантское собрание. День начинался на подобных конгрессах обычно так называемой экуменической службой. Она состояла из чтения Библии, пения гимнов и молитв. По своей форме она была протестантской, ее экуменизм выражался толь-

---

[2] См. Автобиографические Заметки. Пар. 1946.

ко тем, что ведение ее поручалось лицам разных конфессий. Я предложил включить в программу конференции четыре евхаристии, согласно с православной, англиканской, лютеранской и кальвинической традицией, заменив ими безличное, внеконфессиональное богослужение. Мое предложение вызвало поддержку Л. А. Зандера, тоже участвовавшего в комиссии по подготовке съезда. Нашло оно также сочувствие у нескольких англикан, членов нашего Содружества. Но явились и упорные противники подобного плана. Строгие кальвинисты заявили, что, согласно их учению, молитвенное участие в евхаристии без причастия недопустимо, так как Христос присутствует не в освященном хлебе и вине, а лишь в душе причащающегося верующего. Американцы тоже протестовали, считая, что непривычные формы богослужения и невозможность всем причащаться на всех службах может смутить делегатов и расхолодить их пыл к экуменической работе. После долгих споров мое предложение все же было принято, так как большинство согласилось с необходимостью быть реалистами и не закрывать глаза на наличие различных истолкований заповеди Спасителя «преломлять хлеб и пить из чаши в воспоминание его искупительных страданий». Таким образом в первый раз на экуменическом съезде голос Православия прозвучал в богослужении. Наша литургия была отслужена тремя священниками и двумя дьяконами в огромном концертном зале. Пел прекрасный хор, приехавший из Парижа. Все русские делегаты причащались, к нам присоединилось несколько румын.

Никто из греков не подошел к чаше, а сербы студенты-богословы даже не пришли на службу. Их руководитель, проф. Душан Глумац из Белграда, считая, что недопустимо совершать литургию в присутствии инославных, запретил им участвовать в богослужении. Так в Амстердаме еще раз обнаружилось наше неумение действовать вместе и поддерживать друг друга. Наша евхаристия произвела глубокое впечатление на молодежь, собравшуюся со всех концов света. Это было подлинное торжество Православия. Среди делегатов нашего Движения было много приехавших из Прибалтики. Мы тепло простились друг с другом, не сознавая, что это была наша последняя встреча. Вскоре большинство из них попало в руки советской власти и погибло в тюрьмах и лагерях.

Из Голландии я отправился в Вандею, в маленький приокеанский городок Сент-Жан-де-Монт. Там вся наша семья соединилась для летних каникул. Велик был контраст между напряжением мировой конференции с ее блестящими ораторами, богословскими спорами, встречами с людьми всех цветов и наций и тишиной глухой французской провинции. Мы жили в просторном доме на самом берегу океана. В первый раз

после Сербии наша мать была с нами на общем летнем отдыхе. Когда жив был отец, они оставались в Париже, во время отсутствия брата на его каникулах. Наступила прекрасная солнечная погода. Мы купались в больших спокойных волнах океана, делали длинные прогулки по песчаному пляжу, уходившему на многие километры в обе стороны от нашего дома, вдыхали живительный аромат приморских сосен, читали вслух Братьев Карамазовых. Каждый день приносил нам радость семейного единства. Вокруг нас царил невозмутимый покой. Но в эти же дни в столицах Европы делались последние судорожные попытки оттянуть начало войны. Вопреки голосу разума, сердце все еще хотело надеяться на чудо, что страшное, бессмысленное уничтожение людей и городов не начнется и кто-то, власть имущий, рассеет надвинувшуюся мглу человеческой одержимости. Так проходили наши дни, залитые солнцем и красотою и отравленные мучительным ожиданием новостей. По вечерам, вернувшись с берега океана, мы садились слушать радио. Известия становились все более тревожными. Никто из нас не представлял себе, какие формы может принять война, больше всего страшили нас удушливые газы. Однако не было у нас ни паники, ни отчаяния, особенно бодро держала себя наша мать. Мы все верили, что Бог силен спасти нас, как Он сохранил нас невредимыми в страшные годы красного террора и гражданской войны.

24 августа была объявлена мобилизация. Со слезами, матери и жены провожали сыновей и мужей. Крестьяне повели лошадей на сборные пункты. В воздухе чувствовалась обреченность, не было того возбуждения и подъема, которые часто сопровождают объявление войны. Франция казалась побежденной даже до начала военных действий. В тот же день Кульманн получил телеграмму, вызывающую его немедленно возвращаться в Лондон. Маня решила ехать с ним, оставив маленького сына Мишку на попечение матери. Старшая сестра тоже уехала в Париж, чтобы организовать помощь русским детям.

Первого сентября немцы перешли польскую границу, через два дня Франция и Англия объявили войну Германии. Прекратились колебания, наступило время действий. На семейном совете было решено, что наша мать с внуком останется пока в Вандее, а мы с женою поедем с Володей в Париж, чтобы оттуда пробираться в Англию. 5 сентября рано утром, на автомобиле брата мы двинулись в путь. Никаких известий о том, что делается в Париже, у нас не было. Мать со слезами проводила нас. У каждого в сердце стоял вопрос, встретимся ли мы еще в этой жизни. Густой туман покрывал дорогу. Долго никто не встречался нам. Война казалась дурным сном в этой нерушимой тишине. Только когда мы приблизились к нарядной долине Луары туман поднялся и мы увидали нео-

бычайный автомобиль. Он был нагружен детьми и пожитками, на его крыше был привязан огромный матрас, защита от воздушной атаки. Война сразу приобрела свою жуткую реальность. Вскоре появились другие машины, подобные первой, их число стало быстро расти, они начали двигаться сплошной лентой. Чем ближе мы приближались к Парижу, тем беспрерывней становился поток автомобилей с матрасами на крышах. Они уже ехали в два, три ряда, мешая друг другу и замедляя движение. Мы одни направлялись в противоположном направлении, — навстречу неизвестности. Мы недоумевали, почему начался такой панический исход из столицы. Воображение рисовало разрушенные дома, горящие здания, скорченные трупы жертв газовой атаки. Не было времени начинать расспросы, мы стремились как можно скорее соединиться с сестрой и, если возможно, помочь ей.

Около 5 часов вечера мы остановились у нашего дома. Париж выглядел по-старому, только у всех автомобилей фары были выкрашены в синий цвет, у полицейских были каски на голове, а у каждого прохожего висел на плече противогаз. Сестры не было дома, но консьержка объяснила нам причину массового бегства парижан: вчера ночью была воздушная тревога, вражеские авионы, однако, бомб не бросали.

Наконец, пришла Соня. За эти немногие дни она похудела, но была полна энергии, начались рассказы. Ей удалось наладить эвакуацию русских детей из Парижа, которые не были включены, как иностранцы, в общую схему, организованную французским правительством. Это было большое достижение сестры, успокоившее родителей. Вдоволь наговорившись, усталые и полные впечатлений этого длинного дня, мы поздно легли спать, радуясь нашей встрече. В 2 часа ночи завыли сирены. В темноте, с нервной дрожью, мы быстро оделись. Согласно инструкциям, мы спустились в подвал. Он был грязный, жаркий и душный, бóльшую его часть занимал огромный котел центрального отопления. Если бы бомба попала в наш дом, мы все бы сгорели в этом жутком помещении. Французы — жители других квартир, надели газовые маски и выглядели, как кошмарные привидения. Нам было неприятно, что у нас не было масок, не имел их и наш сосед — тоже русский. Он нервно пил воду. Остальные молча стояли вдоль стен. Сесть было некуда. Так мы провели больше часа времени. Не слыша стрельбы, мы вернулись в свою квартиру, но как только мы разделись, начали раздаваться отдаленные взрывы. Мы снова оделись, но остались у себя. В 4 часа сирены запели отбой.

Мы все встали рано, сестра и брат, даже не выпив кофе, ушли из дома. Мы с женой отправились в Британское консульство. Там мы узнали, что пароходное сообщение с Англией не прервано, нам посоветовали поскорее возвращаться в Лон-

дон. Выходя из консульства мы увидали высоко на синем небе облачка разрывающихся снарядов и услыхали отдаленную стрельбу. Сирены молчали, прохожие, закидывая головы, в недоумении смотрели наверх. Наконец, раздался сигнал тревоги и мы спустились в ближайшее убежище. Оно было хорошо устроено, все сидели молча на скамейках, только одна женщина тихо плакала в углу. Сирены скоро загудели и мы вернулись домой.

Сведения, собранные за этот первый день, были утешительные. Брат пока не был мобилизован, муж сестры Милицы получил место шофера в американском посольстве. Ему удалось отвезти свою семью и мать Милицы в Нормандию. Это известие было большим облегчением для нас. Следующий день я провел на различных совещаниях о судьбе Богословского института и Р.С.Х.Д. Павел Францович Андерсон, представитель У.М.С.А., обещал продолжать помощь этим организациям и они решили не прекращать своей работы.

Накануне отъезда я пошел в центр города. Мне хотелось проститься с Парижем. Никогда, ни раньше, ни позже я не видел его в такой красоте. Движения почти не было, толпы поредели, особенно бросалось в глаза отсутствие детей, зато было много людей в военных формах. Знакомые здания Лувра, Оперы, Комеди Франсез были залиты золотом вечернего, осеннего солнца, его лучи играли на гладкой поверхности Сены, вдали подымался шпиц Сент-Шапель и виднелись контуры Нотр Дам. Париж был в этот день старым другом. Неужели, думалось мне, немцы посягнут на этот город чудо, неужели современным варварам непонятны и больше ненужны гениальные создания великой культуры христианской Европы.

Вести из Польши были самые неутешительные, немцы одним ударом сокрушили поляков, зато на западном фронте военные действия так и не начинались. Мы покинули Париж 10 сентября, ехали без всяких приключений и высадились в Нью-Хевене. Первое впечатление от Англии было неожиданное: как будто из страны, охваченной войной, мы попали в мирное государство. Пляж в Нью-Хевене был усеян купающимися, удобный английский поезд с его мягкими сидениями третьего класса был полон пассажирами в обычной летней одежде. Только подъезжая к Лондону мы увидали необычное зрелище: в небе парили сотни серебряных, продолговатых воздушных балонов, предполагавшаяся защита против вражеских налетов. Лондон был все тот же: двухэтажные красные автобусы, множество автомобилей, магазины, полные товаров. Однако концы тротуаров были выкрашены в белый цвет и многие женщины были одеты в различные формы вспомогательных отрядов и самообороны. Тяжелая атмосфера, давившая нас во Франции, осталась позади. Там мы ви-

дели заплаканные лица женщин, тревожные взгляды мужчин, здесь все шло своим привычным темпом, страна не сознавала, что ей вскоре предстояло пережить смертельную опасность.

[1] ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Сотрудничество двух вождей тоталитаризма было вызвано не одними тактическими соображениями. Несмотря на свое соперничество, они были органически связаны друг с другом, будучи порождены одним и тем же соблазном, возникшим в недрах христианского человечества — страхом свободы и ответственности за свою жизнь. Жертвы этого недуга стали искать спасения в подчинении вождям, в растворении в коллективе. Одни из них видели в коммунизме осуществление своих чаяний и назвали Ленина и Сталина вождями «прогрессивного человечества», другие возлагали свои надежды на Гитлера. И советские и нацистские диктаторы и их последователи ненавидели Богочеловека Иисуса Христа и ту свободу, которую Он принес людям. Они горели желанием сокрушить гуманистическую культуру Европы и считали, что они смогут обеспечить благоденствие своих сторонников, только после уничтожения всех непослушных, а среди последних самая многочисленная группа состояла из христиан. Поэтому эти «благодетели» двадцатого века сосредоточили всю свою энергию на создании мощной полиции и огромной армии. Представители западных демократий, из-за своего религиозного релятивизма и скептицизма, не были способны понять демоническую природу тоталитаризма и потому совершили столько дорого обошедшихся им ошибок в сношениях со Сталиным. Они же продолжают делать их и в переговорах с его учениками и преемниками.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

М. Зернова-Кульманн

В середине сентября я вернулась за сыном в Вандею и провела там три недели с ним и с моею матерью. Это были незабываемые дни жизни в трагической, обреченной Франции. Лицо народа изменилось. Мужчины ушли на фронт, остались старики, женщины и дети. В сердцах у всех — только война, все мысли и чувства переполнены ею. Все переживают ужас и тревогу. Наша семья с новой силой ощутила свое единство; даже отношения с незнакомыми стали братскими. Мой шестилетний сын Мишка до странности трепетно относился к самому слову «война». Он никогда не произносил его и густо краснел, когда мы о ней говорили. Я пыталась несколько раз освободить его сердце от этого страха и мирно рассказать ему о войне, но он всякий раз убегал, крича: «Не надо говорить, не хочу слушать.»

Нашими ближайшими соседями были философ Б. П. Вышеславцев с женою и вдова генерала Миллера, похищенного большевиками. С ней жил ее внук, Аник Чекан, ставший неразлучным другом Мишеньки. Аник, как и другие дети, играл только в войну. Миша втянулся в эти игры, но как во что-то тайное и запретное. Когда я его спрашивала: «Во что вы играете?» он ничего не отвечал.

8 октября брат Володя приехал из Парижа за мной и сыном. Наша мать должна была еще остаться на месяц в Вандее с Миллерами, так как все боялись налетов на Париж. Я настояла однако на нашем общем отъезде, не желая оставлять дорогую мамочку одну, оторванную от всех ее детей, — вся ее жизнь была в нас. Никогда не забуду, как иногда по вечерам, когда я уходила к соседям слушать радио, раздавался стук в дверь и появлялась ее фигура. Она то приносила фонарик, то просто хотела узнать, почему я долго не возвращаюсь. За несколько дней до отъезда, она пришла и говорит мне: «Ты мне прости, что я пришла, мне так захотелось увидать твое лицо, когда то я его еще увижу». Когда она это

говорила, ее глаза выражали такую беспредельную любовь, что я готова была поклониться ей низко, до самой земли, целовать без конца ее драгоценное лицо, глаза и руки.

Мой брат согласился со мною и мы увезли ее с нами в Париж. Поэтому уезжать из Сент-Жан было светло, оно осталось позади, как драгоценное место нашей семейной встречи. Но уезжать было пора, мне с Мишкой в Лондон, бабушке в Париж к Соне и Володе. По дороге мы видели много солдат на автомобилях, особенно английских. Мишка на них внимательно смотрел, но вопросов не задавал. Он начал рассказывать мне про своего любимого «слоника». «Мама, он прислал мне телеграмму, он едет с нами на своем автомобиле в Лондон». «Где же он нас встретит?» «В Шартре». Приехали мы в Шартр, вошли в собор, такой любимый, а теперь траурно скорбный со снятыми витражами. Уезжая из города я сказала: «Мишка, а где же слоник?» Мишка сразу ответил: «Он был в соборе, но он молился, я не хотел его беспокоить. Он нас встретит в Париже.» Мы пробыли в Париже три дня. Мишка ходил со мною повсюду — в швейцарское посольство, в английское консульство, в министерства, я хлопотала о необходимых документах для отъезда. Выехали мы на Покров 14 (1) октября. Я почти не спала всю ночь, путешествие с Мишкой волновало меня. Началась настоящая буря, ветер завывал. Мы встали в 5 часов утра. Родилось соменение — ехать ли нам. Все же решили поехать на вокзал и там узнать о погоде. Сели по русскому обычаю, помолились, простились с ненаглядной бабушкой. Мишка взял своего медвежонка и красный чемоданчик, спустились вниз, нашли такси, было еще совсем темно. Соня и Володя поехали провожать нас. Бабушка стояла у окна и крестила нас.

На вокзале царила военная атмосфера. Когда я спросила контролера о море, он усмехнулся: «Узнаете в Булони.» Было чувство покорности судьбе; утешало, что мы ехали в день Покрова . Сели в вагон; долго смотрела в дорогие глаза Сони и Володи, сознавая всю важность этого прощания. Поезд двинулся, Мишка и я следили за удаляющимися и кивающими нам Володей и Соней. Когда они исчезли, я стала плакать, прощаясь с ними, с драгоценной мамой, с Парижем, со всей безвозвратно уходящей частью моей жизни. Мишка притих, не говорил ни слова, как будто понимал мое горе.

Ветер все усиливался, деревья гнулись, ехавшие с нами предупреждали, что нас будет здорово качать. Мишка прижимал к себе медвежонка и старался успокоить меня: «Мама, не волнуйся, поехали так поехали. Пароходы редко тонут. Я не боюсь, я еще никогда не ездил в бурю.» В Булони все, и носильщики, и пограничники, и солдаты особенно нежно отнеслись ко мне из-за Мишки с его медвежонком и красным чемоданчиком. Вошли на пароход — огромный, совсем непохо-

жий на тот, который перевозил нас в Англию в мирное время. Матрос принес нам спасательные круги. Когда мы тронулись и все надели их Мишка вдруг побледнел, глаза его стали темными, обращенными внутрь. «Зачем это? — спросил он меня, — я начинаю беспокоиться». «Не беспокойся, Мишенька, — ответила я, — ты перекрестись и молись Божьей Матери, сегодня Ее праздник. Все будет хорошо, через час мы приедем в Англию».

Пароход трещал, взлетал и падал, но он был большой и сильный и быстро нес нас. Часто встречались военные суда. Я внутренно молилась и чувствовала Покров. Я знала, что Мишка тоже молился и по-новому, в первый раз не по-детски, ощущал зависимость от Бога. Он старался ободрить меня, говоря: «Это ничего, что нас качает, наш пароход очень хороший». Увидав английскую землю он весь просиял. «Мама, смотри, земля — сказал он мне, — когда приедем, сразу пошлем телеграмму бабушке — приехали благополучно, но была буря.»

Было великое счастье выйти на землю. Мишка перекрестился. Густав встретил нас в Лондоне, дома нас радостно ждали Коля и Милица. Это была годовщина их свадьбы. Во время торжественного обеда с вином и тостами Мишка сказал: «У меня есть тост за мир.» Сегодня у него произошло соприкосновение с хрупкостью нашего земного существования, связанного со странным словом «война».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЗЯТИЕ ПАРИЖА

С.А. Зернова

Париж, 14-ое июня 1940 г.

Сегодня в 5 часов утра немцы вошли в Париж. В течение нескольких дней я наблюдала из моего окна бегство парижан. Прежняя самоуверенность французов в своей непобедимости сменилась полнейшей безнадежностью. Наступил момент, когда они поняли, что нет ни малейшей надежды спасти Париж. Тогда их охватил ужас и стремление как можно скорее бежать из столицы. Им казалось, что все их спасение зависело от ухода от немцев. Начался великий трагический исход. Враг был еще далеко, поэтому паники не было. Потянулись бесконечные вереницы автомобилей, с неизменными матрасами на крышах, перегруженные до последнего предела, и всевозможные повозки. Я видела тележки, запряженные не только лошадьми, но и осликами и собаками, громадные крестьянские колымаги, фантастические, собственными силами сооруженные платформы на колесах, массу детских колясок; многие ставили свои вещи на ролики, на которых раньше катались их дети, люди толкали свои мотоциклеты и велосипеды, нагрузив их багажом. Но большинство шло пешком, все двигались медленно, сберегая силы. Вперемежку с толпой попадались солдаты-дезертиры, растерянные, озлобленные, часто пьяные. У всех было одно общее выражение потерянности и скорби. Из моего окна я могла наблюдать французов среднего и ниже среднего сословия, как бежало правительство и сильные мира сего — я не знала.

Меня поразили рассказы двух знакомых. Один видел, как какой то лавочник стал в отчаянии кидать на улицу весь свой товар и звал всех разбирать его. Он не хотел, чтобы его продукты достались врагу. Другой был свидетелем, как одна молочница вынесла на площадь бидоны с молоком, села на землю и молча, бесплатно разливала драгоценную жидкость всем, подносившим свои кувшины.

В последние два дня много мчалось камионов — грузовиков с эвакуированными рабочими. Проехало несколько танков, нагруженных багажом и людьми.

Уже вчера поток уходящих и уезжавших стал прерываться; одними из последних шли с поклажами на велосипедах почтальоны нашего квартала в их обычной форме, всех их я узнала. С какой радостью я их встречала, когда они приносили мне письма из Лондона. Накрапывал мелкий дождь, черный от обложившей все небо копоти чего-то горевшего. На улицу стали выходить люди, большею частью женщины, и собирались в кучки. Послышался шум приближающихся тяжелых автомобилей, это были ярко-красные пожарные машины с лестницами на крышах. Остающиеся кричали, что их оставляют без пожарных, без докторов, без лавок. Разгорались страсти, инстинкты зависти, искали виновников поражения, злоба начала входить в сердца. Париж становился жутким, фонарей не зажигали, царила полная темнота. Горели резервуары с нефтью, взрывались заводы, дрожали стекла в окнах, вдали слышалась канонада. В воздухе было напряженное ожидание грозных событий.

Накануне 14-ого мы рано пошли спать. Выстрелы прекратились. Стало необычайно тихо, не слышно было ни гудения аэропланов, ни городского шума. На следующее утро я проснулась рано. Все было безмолвно. Не было ни треска мотоциклетов рабочих, ни грохота бидонов около молочной напротив нашего дома. Парижа не стало. Я подошла к открытому окну. Люди стали появляться осторожно и не спеша. Они шли не за покупками, а из любопытства: узнать, спросить, посмотреть не открыта ли булочная, на молоко уже не надеялись. Я не видела в руках обычных кувшинов. Около 8-ми часов я решила спуститься за хлебом и сразу узнала, что немцы здесь и что над министерством авиации уже развевается свастика. Я засуетилась, вошла в русскую лавочку. Казалось, что необходимо как можно скорее что-то покупать, а то будет поздно. Там уже толпился народ, все тоже спешили что-то купить. При мне одна дама взяла все лимоны. Я подумала: зачем ей столько лимонов? А другая заявила, что не может решить, что необходимо купить, и взяла чаю, хотя он у нее еще был. Я поспешила домой, но забыла о лифте, вбежала по лестнице и запыхавшись, объявила Соне и Володе, что немцы уже здесь.

Сначала не верилось в это, — уж очень было все тихо. Однако через полчаса прогремел автомобиль, полный немцев. Прошли два французских «ажана» (полицейских), затем промчалось несколько мотоциклистов-немцев. Час спустя 4 немца прикатили пушку и стали устанавливать ее на тротуаре у итальянского магазина. «Кого же это они расстреливать хотят, — нас, что ли? — подумалось мне, — вот уже и дуло

открыли». Но дуло было направлено не на наш дом, а вдоль улицы Вожирар. «Это антитанковая пушка, — объяснил Володя, — верно, они ждут, что французы будут везти танки через Париж». Эта пушка пробыла против нас до 8-ми часов вечера.

Тяжело было смотреть на огромные камионы, перегруженные «гард мобиль», которых везли в немецкую комендатуру. Там сначала их обезоружили, но потом немцы разрешили этой французской полиции вернуться на свои места и иметь оружие, находя, что их наблюдение за порядком без всякого вооружения бессмысленно. Немцы нашего района расположились за «Порт де Версай», заняв павильоны выставки. Мы, одни из первых русских, узнали об их приходе. В двенадцать часов В. А. Маклаков (1870-1954)[1] еще не знал об этом и, по телефону, просил Соню поехать в префектуру за справками, но Соня объяснила ему, что перед нашим домом установлена немецкая пушка, и что она предпочитает повременить ехать в префектуру.

Столько поползло слухов; передавали: «один немец сказал», — «французы говорят», — «какой-то русский видел своими глазами . . .».

Я не могу описывать в систематическом порядке всего, что пришлось услышать и пережить. Про нас скажу, что нам удалось сохранить спокойствие духа и даже заражать им других. Перемена власти в Париже прошла так быстро и гладко, что в пятницу вошли немцы, а в ту же пятницу в пять с половиной часов вечера к нам собрались друзья, обычно встречавшиеся в этот день в нашем доме: П. В. Семичев. В. Ф. Малинин, Марина Львовна Богушевская, Мария Владимировна Попова, София Николаевна Горбова. Мы делились впечатлениями, высказывали предположения, надежды, но не страхи. У всех была примиренность и покорность неизбежному.

Понедельник, 24-го июня 1940

Сегодня слыхали по радио условия перемирия. Маршал Петэн (1856-1951), ставший во главе правительства, в утешение французам говорил, что условия тяжелые, но не позорные. Будет ли согласен с ним рядовой француз?

Новая власть чувствуется повсюду. Издан приказ перевести все часы на час вперед. Все немедленно это сделали. На некоторых магазинах часы не покорились приказу, из-за отсутствия хозяев; поэтому их циферблаты замазаны синей краской. Двери приказано запирать в 10 часов вечера. Метро ходит до 9 ч. 45 м. Без пяти десять все должны быть у себя

[1] Бывший посол во Франции, возглавлявший русскую колонию, с которым сотрудничала моя дочь.

дома. Все слушаются беспрекословно и благодарят, так как получили в подарок целый час.

Мимо наших окон проходят немецкие солдаты, они закупают все, что можно. Напротив нас в булочной: пирожные, торты; за углом: бананы, клубнику, апельсины, консервы ананасов; в башмачном магазине: дамские туфли для своих невест и жен; в «унипри»: духи, мыло, шарфы; в больших магазинах («гран магазэн») офицеры покупают последние новинки моды, шелковые материи, чулки, предметы искусства. Склады с провизией пустеют, распродается то, что осталось в лавках. Овощей почти нет, так как нет подвоза; камионов нет, а железные дороги еще бездействуют. Рестораны полны немцами, платят франками и марками, курс установлен.

Аэропланы огромные все время летают над нашим домом, треск их не французский, неслыханный нами доселе. Летают как-то особенно внушительно и низко, а после их полета поднимаются с крыши стаи птиц, недоумевающие, что это за чудища рассекают воздух, и зачем им надо внедряться в область, испокон времен принадлежащую пернатым. Воробьи с особой жадностью теперь набрасываются на крошки хлеба, которые я бросаю на подоконник: кроме нас, ведь, на нашем дворе никого не осталось.

Главное событие парижской жизни, однако — не распоряжения новой власти, а массовое, беспрерывное возвращение бежавших парижан. Оно обозначилось не сразу. Автомобили с матрасами стали появляться только с третьего дня. Они ехали медленно, большая часть их была не в полной исправности, и их было сравнительно мало. Преобладали велосипедисты и пешеходы, те, кто не успел далеко уйти. Число машин стало увеличиваться с каждым днем. С пятого и шестого дня шли более дальние и гораздо более пострадавшие.

Вид их был ужасен. Если бы я стала описывать их с первого дня их возвращения, то у меня не хватило бы красок на последние дни. Тогда они мне казались дошедшими до последней точки утомления, но их нельзя было сравнить с теми, кто появился позднее. Я видела тележку, нагруженную скарбом с 3-мя матрасами, покрытыми как бы ледяной коркой от растаявшего сахара. Женщина шла в разных башмаках, маленькая босая девочка держалась за ее юбку.

Вчера долго около нашего дома стояла лошадь с настолько понурой головой, что я ее приняла за ослика. Нога ее была перевязана, вокруг шеи была обмотана веревка, привязанная к низенькой детской колясочке, полной какого-то тряпья. Женщина и мальчик гладили и целовали эту лошадь. Если они внешне не плакали, то рыдали, вероятно, их сердца. Потом они двинулись на улицу «Круа Нивер», их спасительница едва переступала.

Володя видел в 19-ом аррондисмане 2 огромных камиона,

привезенных немцами. Там сидели сотни детей и несколько женщин. Вернувшиеся утверждают, что дороги усеяны свежими могилами, что умирали младенцы от голода, так как не только молока, но и воды нигде не могли достать.

25-го июня

Возвращающиеся беженцы все идут и идут, с ними приходят уже не слухи, а рассказы очевидцев и свидетелей ужасов пути. Из всех городов, лежащих близ Парижа, первыми бежали мэры. Прекратились электричество и газ, а главное — вода. Стали брать за стакан воды по 10 фр., радиаторы автомобилей нечем было наполнить, ехали по 25 километров в час и меньше, поэтому была страшная трата бензина, купить его не было возможности. Автомобили останавливались, из них выходили люди и шли пешком. Ночью у многих автомобилей стали бить стекла и через окна их грабили. На дорогах рождались дети, на дорогах заболевали, умирали, мокли под двухдневным дождем и опалялись солнцем.

Я беседовала с троими солдатами, вернувшимися с фронта. Все трое ставят поражение французов в полную зависимость от недостатка авионов и танков. «У немцев их были тысячи, у нас — сотни», а дух французского войска, по их словам, был выше всякой похвалы. Все трое были в разных частях и местах, и все они описывали одну и ту же картину наступления немцев на их части: летят аэропланы в три слоя, небо меркнет, кажется, что их не тысячи, а десятки тысяч. Страшный гул, треск, темнота; первый слой летит совсем низко, он бреет; второй выше, он режет; наконец, третий — верхний слой с высоты бросает бомбы, добивая павших. Но это еще не конец, это предварительная чистка, после этого появляются чудовищные танки, они без разбора давят все на пути, уничтожают деревни, женщин, детей. В довершение всего, летят в тыл авионы и сбрасывают огромное количество парашютистов, которые закрепляют всю местность, и часть оказывается окруженной, — спасения нет. «Я видел ад, я видел месиво костей, тел, крови, обломков, камней, деревьев: это был неописуемый ужас!» говорил мне замечательно милый солдатик 25-ти лет, племянник С. Ив. Метальникова.

26-ое июня

Возвращающиеся не привлекают уже общего внимания, они стали обычным явлением. Поражают больше дети, исхудалые, изможденные. Довольно часто проезжают какие-то полуоткрытые камионы и платформы, управляемые немецкими шоферами; они часто наполнены сотнями детей и женщинами. Со вчерашнего дня стало возобновляться местами

железнодорожное движение. Ощущается недостаток в некоторых продуктах. Исчез картофель, нет масла, яиц, мало мяса, всюду образуются очереди за провизией. С 10-ти часов вечера до 5-ти часов утра Париж замирает. Как будто этот порядок не раздражает парижан, — все нуждаются в каком-то покое и отдыхе после воздушных налетов, после натянутых нервов перед оккупацией, а главное после великого исхода и ужасов обратного пути.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВОЙНА

(Из писем к другу)

С. М. Зернова

Вы ужасно далеко. Я может быть никогда больше не увижу вас. Я хочу рассказать вам о годах войны. Переписать вам некоторые страницы из моего дневника.

Война объявлена. Не хочется останавливаться на этой мысли. Война — безумие и ужас. Но теперь отступления нет. Все дни проходят в хлопотах и в заботах о детях. Париж ждет газовой атаки. Всем французам выдают противогазовые маски. Для русских их не хватило. В нашем бюро мы решили мастерить их сами. Это и бессмысленно и смешно, но русские довольны. Достаем марлю, какой-то уголь, шьем, раздаем. С утра до вечера приходят люди, выслушиваю повести о человеческом горе. Каждому хочется пожаловаться, рассказать о своих несчастьях, и он ждет, чтобы его выслушали и помогли.

Но больше всего меня заботят дети.

Издан приказ — эвакуировать всех детей из парижской зоны. В мэриях и коммунальных школах устроены центры эвакуации. Ко мне приходят матери. Их мужей берут во французскую армию, а для детей места нет.

В Париже паника. Все стараются покинуть город. К вокзалам невозможно подойти. Люди ночуют на улице в ожидании поезда. Автомобили и такси на вес золота. Как быть? Куда эвакуировать детей? Детские приюты Земгора и Красного Креста закрылись, они не хотят нести ответственность за детей во время войны. Все дети, а их было шестьсот, которых я посылала в Швейцарию, спешно возвращаются. Их всех привозят к нам в Бюро. Швейцарцы боятся, что дети будут оторваны от родителей, многие из которых уехали в отпуск. Мы с Катей Меньшиковой звонили кн. Мещерской в ее стар-

ческий дом. Она согласна уплотнить стариков и освободить для детей дом в Вильмуасоне. Послали заметку в газеты «Возрождение» и «Последние Новости», просим русских шоферов такси помочь нам вывезти детей.

Перед Бюро длинный ряд машин. Погружаем туда детей и отправляемся в Вильмуасон. Так приятно видеть лица русских шоферов и знать, что они сразу откликнулись на наш зов. А в эти дни они могли бы заработать тысячи. Это все офицеры Белой Армии. В Вильмуасоне разместили детей на полу на матрасах, (кроватей нет), но родители счастливы, что «спасли их детей от газовой атаки». Кн. Мещерская присылает еду из старческого дома.

Ездила в министерство эвакуации. Там страшный беспорядок. С трудом добилась увидеть шефа. Объяснила ему наше положение. Он благодарил нас за «инициативу». Они «забыли» распорядиться об эвакуации русских детей. Назначили нам плату за каждого ребенка, как и в других центрах эвакуации. Приезжали два чиновника из министерства. Завтракали у нас в столовой с детьми. Спрашивали сколько детей французских подданных. Я сказала, чтобы все дети французы встали. Никто не поднялся. Я была изумлена. Я позвала к нашему столу Верочку С., ей 10 лет. Говорю ей: «Ведь ты француженка»; она отвечает: «не хочу». Она, смело смотря в глаза чиновников, сказала им, что, когда ее мать привела ее в центр эвакуации, ее не взяли, говоря что она не настоящая француженка; теперь она больше не хочет ею быть.

Просыпаюсь утром с тоскою и холодом в сердце. Потом все до конца отдаю Богу. Произносишь уставную молитву, а где-то в глубине, другой голос просит молиться о тех, кого любишь.

Живем в большой дружбе: мама, Володя и я. Я целый день провожу в Бюро, стараюсь найти русским работу или езжу в Вильмуасон к детям. Володя принимает больных. Мамочка нам готовит, окружает нас любовью и лаской. Сегодня к нашему дому подъехал черный полицейский автомобиль. Мы с недоумением смотрим в окно — что могло у нас случиться? Два инспектора позвонили у нашей двери и предложили мне следовать за ними, отвезли во Второе Бюро[1] и допрашивали в течение пяти часов. Только в самом конце выяснилось, что меня обвиняли в шпионаже в пользу немцев. Оказывается, что шесть лет тому назад, я устроила одного русского работать в немецкое бюро по устройству французских студентов в Германии. От меня требовали назвать имя этого юноши. Я не помнила, кого я туда устроила. Инспектор мне не верил, грозил посадить в тюрьму и советовал чистосердечно назвать имена всех, кто участвовал в моей «шпионской организации». Все это было так нелепо, что даже не

---

[1] Второе Бюро — контршпионажа.

трогало меня. В конце концов другой инспектор вызвался отвезти меня в мое Бюро и поискать карточку этого «опасного шпиона». Мы просмотрели все карточки за шесть лет в наших архивах и к счастью нашли то, что искали. Опасный шпион был Николай Деревицкий, который был теперь мобилизован во Французскую Армию. Когда мы вернулись во Второе Бюро, я узнала, что только-что звонил Пажэс, один из главных начальников в министерстве Внутренних Дел, и дал распоряжение меня немедленно выпустить. Володя позвонил Пажэсу, который был глубоко возмущен, что так поступили с «его другом, за которого он готов был отвечать, как за самого себя».

Вся жизнь теперь иная. Все напряжено и трагично. Но этот трагизм мне ближе, чем обывательское существование. Все люди вдруг стали братья. Особенно русские. Хочется каждому помочь, каждого утешить. Только сердце все время полно тоской. У меня никогда не было таких приступов тоски, как в эти, первые, дни войны. Мой самый большой друг и утешитель был И. И. Фундаминский. Я часто звоню по телефону и говорю ему: «Илья Исидорович, у меня на сердце такая тоска»! И как чудесно слышать его голос, всегда бодрый, всегда ласковый: «Как тоска? Тогда увидимся. Хотите сейчас? Через полчаса. Хотите в кафе, около вас? Я сразу приеду».

И он сразу приезжает. И тоска уходит сразу. Силы его изумительной личности, горение его черных глаз, тепло и покой переливаются в мое сердце. Он верит в победу правды на земле и он заражает меня своей верой.

Иногда я встречаюсь и с К. В. Мочульским. Он тоже друг. С ним тоже исчезает время. Он говорит о своем духовном опыте, о своих мистических восхождениях к Богу; и разговор с ним, как молитва.

Немцы подходят к Парижу. Французская Армия разбита и сдалась в плен. Из Парижа все, кто может, бегут. Взорваны пороховые склады и мосты, где-то подожгли резервуары с мазутом и над городом стоит густое облако, на все садится липкая сажа. Мрачное апокалиптическое небо, клубы черного дыма на горизонте. В нашем доме, из квартирантов, мы остались одни. Консьержка еще не уехала, но ждет, что с минуты на минуту из префектуры приедет грузовик, который будет эвакуировать всех консьержек... Всюду циркулируют фантастические слухи, говорят, что «боши» будут поджигать дома и расстреливать население. Но все равно, нам некуда уходить. Я стою у окна, смотрю на этих жалких, испуганных людей и плачу. Бедная, бедная Франция...

Немцы входят небольшими отрядами, они с опаской оглядываются по сторонам и устанавливают пулеметы на углах улиц. Всюду мелькают их серые мундиры, их круглые каски и слышится их гортанный говор.

Вскоре мы видим француженок, они подходят к немецким солдатам, заискивающе улыбаются и предлагают им бананы. Солдаты сначала отказываются (вероятно, они думают, что бананы отравлены, я тоже это думаю). Но очень скоро дружба между ними устанавливается. За французскими женщинами следуют коммерсанты, они зазывают немцев в свои магазины, угощают их и проявляют свое «гостеприимство». Бедная, бедная Франция . . .

Так началась наша жизнь под немецкой оккупацией. Вначале я продолжала ходить в мое Бюро, ходила в Префектуру хлопотать о документах, открыла кантину для безработных, доставала продукты, хлопотала о детях в Вильмуасоне, ездила туда на велосипеде, попадала под бомбардировки, пряталась, прижавшись к стенам каких-то домов. По ночам были тревоги, мы редко спускались в подвал. Старались быть вместе.

Однажды мне сказали, что немцы ворвались к И. И. Фундаминскому, устроили у него обыск и реквизировали его библиотеку, — его детище, плод трудов всей его жизни. Вечером я позвонила ему.

— «София Михайловна, голубушка, сегодня я в таком унынии, что не могу видеть вас». «Как, — говорила я — я вам друг или не друг? Если вы в унынии и горе, я сразу приеду к вам». — «Нет, только не сюда. Я не хочу, чтобы вы видели этот разгром, эти пустые и сломанные полки и шкафы. Я буду ждать вас в кафе, там, где мы раньше встречались». Мы долго говорили с ним, теперь я вливала в его сердце тепло и покой. — «Разве мы не готовы отдать все? — спрашивала я его — все до конца, не только книги, но и нашу гордость и нашу жизнь. Вы говорите, что вас оставил Бог, а не должны ли мы, как та евангельская женщина, сказать Иисусу Христу: «да, но и псы собирают крошки, падающие со стола своих господ».»

Он вдруг весь переменился, из серого, потухшего, опущенного стал вдохновленным и горящим. «Да, — говорил он — вы правы, нет границ, нет предела тому, что я готов отдать. Все отдать за те крохи, которые Он дает нам каждый день, каждое мгновение моей жизни. Он все отнимает, все и бесконечно больше дает». Господи, какой это был разговор! Это был гимн Богу, где все исстрадавшееся сердце И. И. пылало огнем любви.

Вскоре его арестовали и послали в лагерь. Там он крестился. В тот день он написал мне письмо. Не знаю, каким

способом ему удалось переслать его мне. Он благодарил меня за последний наш разговор и писал, что он крещен, что большего счастья в мире нет, теперь ему все равно жить или умереть, потому что он знает, что такое благодать. Он погиб в лагере в Германии. Но я верю в нашу встречу в жизни вечной.

Однажды мне позвонили по телефону: какой-то таинственный незнакомец просил встретиться со мною на пять минут, в кафе, около нашего Бюро. У меня была надежда, что он принесет мне письмо от наших из Лондона и я пошла в кафе. Он рассказал, что работает с немцами и недавно был приглашен к ним на обед. Случайно он сидел с другим русским. Оказалось, что, когда и тот и другой жили в бедности, им обоим помогла я. Они решили сделать мне «небольшой» подарок. Дома, мы нашли в коробочке кольцо с зеленым камнем. Мы решили, что это хризопаз. Моя мать была очень тронута этим рассказом и пошла показать кольцо ювелиру. Оказалось, что зеленый камень — драгоценный изумруд.

Через месяц после этого мне сообщили, что немцы сделали обыск моего Бюро и запечатали все двери. Я побежала туда. Пока я была там, они приезжали домой, чтобы арестовать меня. Моя мать была в большом волнении. Я позвонила одному русскому другу. Он работал с немцами и вначале верил им. Он был встревожен и обещал сразу идти хлопотать. Через несколько дней я встретилась с ним, «как будто случайно», на условленной улице и, когда никого из подозрительных прохожих около нас не было, подошла к нему. Он сказал, что князь Горчаков и его компания написали на меня донос, в нем говорилось, что я масонка, «жидовка», работаю в английской разведке и торговала оружием с красной Испанией. Моему другу удалось меня спасти. Ему обещали меня не арестовывать, — но добиться, чтобы мне разрешили продолжать работу, он не смог. Никто не знал, из какого учреждения приехали немцы и запечатали мое Бюро. Я решила добиваться сама. Я не хотела прятаться и молчать. Сначала я пошла в «тайную полевую полицию». Ко мне вышел довольно культурный офицер. Он сказал, что не знает, кто запретил мою работу, и не может помочь мне.

«Ничего, — сказала я, — я пойду в другие полиции и буду добиваться, потому что вы, немцы, не имели права закрывать мое Бюро.» — «Права? — переспросил он меня, — но у нас есть власть, значит есть и право.» — «Как интересно», сказала я ему. — «Почему интересно?» — «Потому что это точно так, как в Советской России. Их право — власть, и поэтому они убивают и расстреливают. У вас та же мораль. » — «Вы не коммунистка?» — спросил он. — «Если бы я была комму-

нисткой, то, вероятно, имела бы у них, на моей родине, большой пост, а я живу здесь и помогаю русским эмигрантам». — «Мы можем предоставить вам тоже большой пост, хотите, работайте с нами?» — «Как работать?» — «Давать нам информацию о русских и коммунистах». — «Вы плохой психолог, — сказала я ему, — разве вы не видите, что у меня не вид информаторши и шпионки». — «Нам именно такие лица, как ваше, и нужны». — «Вы разве не поняли, что я русская и никогда не буду служить врагам моей родины, а вы, немцы — враги моей родины!»

Я говорила ему прямо и смело и видела, что это ему нравилось. Он вдруг закрыл руками свои погоны и спросил меня, какие знаки отличия были ни них. Я ответила, что не обратила внимания, но он не хотел верить. Ему было трудно себе представить, что его, очевидно, высокий ранг не произвел на меня большого впечатления. Прощаясь, он мне заявил, что открыть мое Бюро он не может, но если мне *лигно* будет грозить опасность, он мне поможет. Я поблагодарила его и хотела узнать его фамилию. «Фамилию знать вам не надо, спросите старшего офицера». Я улыбнулась, старший офицер оказался трусом. «Вот вам моя карточка, — сказала я, — мы не знаем, что нас ожидает, сейчас вы победители, может быть не всегда так будет и, если вам *лигно* будет угрожать опасность, я тоже постараюсь вам помочь». Тогда он вынул свой бумажник и протянул мне карточку со своим именем и адресом. Ни я к нему не пришла, ни он ко мне не пришел после поражения немцев.

Все мои дальнейшие хлопоты не привели ни к чему. Мне не позволяли возобновить мою работу. В это время приехали в Париж из Германии муж и жена Сиверсы — специалисты по русским делам, снабженные большими полномочиями. Однажды к нам на квартиру пришла красивая, высокая молодая брюнетка с огромным букетом чудесных цветов. Это была госпожа Сиверс. Она оставалась у нас два часа, рассказывала мне свою жизнь, уверяла меня, что Россия и Германия две родные сестры, что Гитлер спасет нас от коммунизма, что я и она — две женщины, любящие свою родину, что мы должны работать вместе, что она много слышала обо мне и предлагает мне большой пост в России. Ее муж уедет на днях на Украину и будет организовывать жизнь там. Мне казалось, что она была искренна со мной. Она плакала, когда говорила о своей любви к Германии и о своем обожании Гитлера, который так возвеличил ее страну. Я тоже была искренна с ней и ответила, что хочу верить ей, но не верю в немецкую политику в России и никогда не поеду работать с немцами.

Я рассказала, что Бюро мое опечатано и что мне не разре-

шено помогать русским. Это ее как будто удивило и она уверяла меня, что это было недоразумение. Через два дня, немцы опять приехали ко мне в Бюро. Их было пятеро военных, они обыскивали все наши столы и рассматривали карточки. Меня они приняли сухо и уехали, опять наложивши печати на двери и отказавшись сказать мне, от кого зависит запрет моей работы.

Через неделю г-жа Сиверс пригласила меня на «очень важный» обед. Она встретила меня в салоне, в своем отеле, и еще раз подтвердила, что не знает почему и кто запечатал мое Бюро. Потом был мучительный обед. Были немцы, говорящие по-русски и целый ряд русских, бывших военных. Многих из них я знала и была поражена встретить их. Произносились тосты за Гитлера, за освобождение России и еще за что-то. Я не могла этого вынести. Я встала, подошла к г-же Сиверс и сказала, что должна уйти.

Я быстро направилась к выходу, к маленькой двери, ведущей в боковую улицу. Г-жа Сиверс кинулась за мной «Не туда, — говорила она — пожалуйста, не в ту дверь», но я не сразу поняла ее, я думала, что она хочет убедить меня остаться, и я еще быстрее побежала к выходу. У маленькой двери, караулом, стояли те пять военных, которые приезжали обыскивать мое Бюро . . . Я обернулась к г-же Сиверс: «Вот, кто закрыл мое Бюро», — воскликнула я. Она вся покраснела, злобно посмотрела на меня и сказала: «Я говорила вам, что это выход не для вас, вас могли арестовать здесь». Я ничего ей не ответила и пошла к главному выходу. Я вышла на улицу и медленно шла по знакомым бульварам. Париж был все тот же блистательный, только что-то мутное окутывало город во время немецкого владычества над ним.

Мое Бюро осталось закрытым до конца оккупации, Сиверсы уехали на Украину. Мне говорили, что он вскоре был там зверски зарезан партизанами. Там же, от руки партизан, погиб и Никита Мещерский, спасший меня от ареста. Он успел «прозреть» и убедиться в лжи и ненависти немцев к самой России.

В день Успения, в 1942-ом году умерла моя мать. За несколько недель до этого, она исповедовалась у отца С. Булгакова. Он сказал, что эта исповедь была большим событием в жизни их обоих, это была «встреча», которая была послана свыше. Он говорил также, что не случайны дни, в которые Бог призывает каждого из нас, и что не случайно моя мать умерла в день Успения, потому что она была «настоящая мать». Бог призвал ее в день, когда покинула землю мать всего человечества.

28-го марта 1943 года я услышала по радио из Англии о смерти С. В. Рахманинова. Это было такое большое горе. Я позвонила в деревню его дочери Тане. К счастью, к телефону подошел ее муж, Борис Конюс. На девятый день, в Сергиевском Подворье отец Киприан Керн и отец Сергий Булгаков служили панихиду. Таня купила много цветов, и в церкви было особенно хорошо. Отец Сергий говорил о том, что Сергей Васильевич служил искусству и красоте, а красота — это отражение Бога на земле, и из всех искусств самое высокое — это музыка, потому что ангелы ею славословят Бога.

Таня была моим близким другом. Она прятала у себя, спасавшегося из немецкого плена, Мишу, которого я послала к ней. Мы доставали также одежду, чтобы переодевать других советских мальчиков, бежавших из немецкой армии. Мы брали себе «крестников», советских раненых в немецких госпиталях, относили им еду. Они радовались, рассказывали свою жизнь. Встречая их, мы прикасались к Русской земле.

По воскресеньям иногда мы с братом ходили к Н. А. Бердяеву. У него собирались французы и русские. Всех угощали чаем без сахара и яблочным пирогом. Ник. Ал., всегда гостеприимный, блестящий, полный жизни, говорил о судьбах России, культуры христианства. Я почему-то очень стеснялась на этих собраниях, я не могла внутренно найти там «свое место». По-другому я чувствовала себя на лекциях Ник. Ал. Там я была публикой, и мое место было законным, у него же дома я не была ни достойным собеседником, ни другом семьи, ни одной из его поклонниц.

Так проходила жизнь. Казалось, войне не будет конца. Немцы жестоко бомбардировали Лондон. Мы каждый день ждали известий от родных оттуда, но они доходили до нас с долгими перерывами. Мы то получали краткие открытки через Красный Крест, то кто-то присылал из Испании или Швейцарии записку, что мой брат с женой и сестра с мужем и сыном здоровы и продолжают жить в Лондоне. Наша тревога за них особенно усилилась, когда немцы стали посылать на Англию ракеты. Боязнь за них была постоянной болью. Младшая сестра Кульманна, мужа моей сестры, Алис, была замужем за немцем Карлом Эптингом, директором Немецкого Института в Париже. Он развивал большую деятельность, открывал всюду курсы немецкого языка, устраивал у себя приемы, старался завести дружбу с представителями французской культуры. Кульманн, работавший для помощи беженцам-евреям и живший в Англии, в его глазах, сделал неверный выбор и мешал его карьере. Алис любила нашу

мать и часто приходила к нам, иногда приходил и ее муж. Я была холодна с ним, мать и брат были добрее и более приветливы при встречах. Один раз я, случайно, встретила его на улице. Он подошел ко мне торжествующий и самодовольный. «Теперь все будет скоро кончено, — сказал он, — я жалею вас, я знаю, вы любите вашу сестру, но от Лондона скоро не останется камня на камне, что за безумие было со стороны Кульманна связывать свою судьбу с Англией. Сидел бы он спокойно в Швейцарии. Он сам во всем виноват. Они все погибнут, как погибнет и Англия». Я молча выслушала его, повернулась и ушла. Ему, кажется, стало стыдно. Он потом звонил несколько раз, приглашая меня на свои приемы. Но я не шла... На его приемах бывали французские художники, писатели, поэты. Там лилось шампанское, пили за франко-немецкую дружбу. Карл Эптинг, вероятно, искренно в нее верил. Только один раз я согласилась пойти к ним на обед. Моя мать просила не обижать их, они все же были «родственники». За обедом, кроме меня и моего брата, были еще военные немцы и два профессора из Института. Один из них был симпатичный, молчаливый и культурный. После обеда, все прошли в салон пить кофе и шампанское. Карла Эптинга раздражало мое молчание. Он встал и принес из другой комнаты старинную русскую икону-складень. Передавая ее мне, он сказал: «Посмотрите, какую красивую икону мне привезли из нашей «Восточной Провинции».

— «Вы хотите сказать из России?» — ответила я.

— «Да, но теперь это наша «Восточная Провинция».

Я долго рассматривала икону: « Когда вы будете бежать из Парижа, — громко заметила я, — оставьте эту икону мне». Наступило неловкое молчание. Карл Эптинг нервно засмеялся, другие не знали, как поступить. Тогда он налил два бокала шампанского и просил меня пройти с ним в другую комнату, т. к. он хотел выпить со мной особенный тост. Мы вошли в соседний салон. Там стоял большой бюст Гитлера.

— « Поклонитесь ему в ноги» — сказал он.

Я повернулась, чтобы уйти, но он преградил мне путь.

— «Хотите выпить тост за Англию?» — вдруг сказал он.

— «Да, хочу.» Он выпил свой бокал до дна. Я больше никогда не пошла к ним.

Однажды, кто-то рано утром позвонил в нашу дверь. Мой брат пошел открывать. Через минуту я услышала его крики: «Соня, Соня...» и я видела как он убежал в свою комнату. Я кинулась в переднюю. Передо мной стоял Густав Кульманн. Я сразу вообразила, что все убиты. Я закрыла руками лицо и заплакала. Он был взволнован, стал меня утешать. «Почему ты плачешь — говорил он, — ничего не случилось, я все расскажу вам».

Оказалось, что он был послан с миссией в Швейцарию и получил транзитную визу через Францию. Он не имел права заезжать в Париж, но решил рискнуть и заехал к нам на один день. Поездка его была полна приключений. В вагоне-ресторане он сидел за одним столиком с двумя немцами и французом-журналистом. Заказывая обед, он положил на стол открытым футляр от очков, на котором стояла марка: «Лондон 1943 г.» Французский журналист положил руку на футляр, закрыв надпись. После обеда, он подошел к Кульманну, сказав, что он догадался, что Густав едет из Лондона. Кульманн поверил, что француз не предаст его, и рассказал ему все. Журналист работал с немцами, но не сочувствовал им. Он обещал помочь Густаву, тем более, что, по его словам, было совершенно невозможно, без специальной протекции, получить билет в Париже на поезд, уходящий в Швейцарию. Он взял наш номер телефона, сказав, что позвонит в час дня. Мы с волненьем ждали его телефона. Он позвонил ровно в час и дал «пароль». Было условлено, что я поеду на Лионский вокзал и там в маленьком кафе встречу «Альфреда». Он передал мне билет на спальное место Париж-Женева. Поздно вечером, мы проводили Густава.

На следующий день ко мне пришел отец Виктор Юрьев (1893-1966), священник из прихода рядом с нами.[2] От него мы узнали, что один русский просил предупредить нас, что ему поручено следить за нашим домом т. к. накануне к нам приехал какой-то иностранец. Он советовал скрыть иностранца как можно скорее. Когда-то я помогла этому русскому, и он хотел мне отплатить добром за добро.

[2] Настоятель Введенской церкви и председатель Р.С.Х.Д. (1944-1965).

ГЛАВА ПЯТАЯ

АНГЛИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Н. Зернов

Контраст между спокойной и казалось почти не затронутой войной Англией и смертельно пораженной ею Францией, столь поразивший нас в день нашего возвращения из Парижа в Лондон, подтвердился, когда мы начали выяснять наше положение. Англичане стремились как можно меньше разрушать привычные формы жизни, поскольку они не препятствовали военным усилиям. Мобилизация коснулась мужчин до сорокалетнего возраста. Мне уже исполнилось 42 года. Военные власти не нуждались в лицах без специальной подготовки и я остался свободным в выборе моей работы. Милица продолжала зубоврачебную практику.

Передо мною встал вопрос — сможет ли наше неофициальное общество развивать свою деятельность во время войны или же будет более благоразумным прекратить ее? В 1939 году Содружество св. Албания и пр. Сергия имело за собою уже 12 лет существования. Его преимуществом были искренняя отданность его членов делу примирения восточных и западных христиан и наличие среди них ряда выдающихся руководителей Церкви. Слабой его стороной была его малочисленность и преобладание молодых англиканских священников: большинство из них только еще начинали работать и их финансовое положение не позволяло им оплачивать труд секретаря.

Комитет Содружества, собравшийся сразу после моего приезда, единогласно решил продолжать нашу работу, веря, что в это трагическое время особенно важно делать все, что в наших силах, для преодоления разногласий среди христиан. Хотя в распоряжении комитета было всего сто английских фунтов, его члены обратились ко мне с просьбой взять на себя ответственность за нашу организацию. Было разослано письмо ко всем сочувствовавшим нашим задачам, с призывом о помощи. Около 700 человек отозвалось. Мне была обещана маленькая стипендия. Вместе с жалованием моей жены она была достаточна для наших потребностей.

Вскоре моя младшая сестра со своим сыном вернулась в Лондон из Вандеи. Ожидавшиеся бомбардировки Лондона не осуществились и мы зажили в неожиданном благополучии в гостеприимном доме Кульманнов.

В первую зиму войны сама Англия не была непосредственно затронута ею. Борьба происходила на море и в других частях света. Немецкие подводные лодки топили союзные пароходы. Западный фронт ожидал событий. Было ясно, что Гитлер готовит новые удары, но никто не знал, где и когда они обрушатся. Жизнь в Англии шла привычным темпом, правда, были введены карточки на еду и одежду, но снабжение по ним было прекрасно организовано, цены не подымались, черный рынок не был заметен. Единственно, что было ново, это полное и строго соблюдавшееся затемнение страны. Зимой, в тумане, Лондон погружался в непроницаемую мглу. В нем можно было заблудиться даже в двух шагах от своего дома.

Мы наладили регулярную переписку с Парижем. Там тоже наступило успокоение, война до того отступила на задний план, что нам удалось даже съездить в Париж на Пасху 1940 года. Мы провели там две счастливые недели. Париж, как и Лондон, жил в иллюзии безопасности, созданной странным началом войны. Все же он сильнее переменился, чем Лондон, в нем было больше мужчин в военных формах, зато отсутствовали «женщины солдаты», столь многочисленные в Англии. Париж был особенно прекрасен в эту весну, движение на улицах было менее напряженным, воздух был чище и прозрачнее. Для нас эта неожиданная поездка была прощанием с целым периодом нашей жизни в изгнании, со всем тем, что невозвратно ушло во время немецкой оккупации Франции. В последний раз мы увидали мою мать, отца Сергия Булгакова и весь тот яркий, талантливый русский Париж, который оскудел и рассеялся после войны.

В Париже мы отдавали все время родным и церквам. Русские храмы были переполнены молящимися, среди них было много молодежи во французских военных формах. Никогда эмиграция не казалась такой многочисленной и полной сил. На заутреню мы пошли в Александро-Невский собор. Ввиду военного времени она началась в 8 часов вечера. Толпа заполнила храм, церковный двор и всю прилегающую улицу. Хоругви и иконы крестного хода несли молодые русские офицеры. Меня обрадовало, как литургичны были их движения, как естественно благоговейно было их поведение. Эта молодежь, выросшая во Франции и одетая в французские мундиры, безошибочно вливалась в ритм православного благочестия, она продолжала принадлежать к русской церковной культуре.

Исповедовался я у отца Сергия в последний раз в моей

жизни. Он горел духом. Хотя его голосовые связки были вырезаны, но он научился говорить и без них. Я был глубоко тронут тем, что он приехал на собрание членов Содружества, на котором я рассказывал о положении в Англии. Это был его первый выезд из дома после операции, так близко к сердцу он принимал все, что касалось сближения с англиканами.

Дни, проведенные в кругу наших семейств, были озарены любовью и взаимным пониманием. Их материальное положение оказалось лучше, чем мы предполагали. Призыв брата в армию был отложен. У него развилась большая практика среди русских. Сестра все свои силы отдавала детскому приюту и помощи нуждающимся. В семье моей жены тоже все было благополучно. Валерьян Антипович Меркуров (1895-1950), муж ее сестры, продолжал работать при американском посольстве. Он нашел новую удобную квартиру. Мы были до того оптимистичны, что даже строили планы провести лето вместе в Вандее. В таком бодром настроении мы покинули Париж накануне катастрофы. Крепко поцеловал я мою мать, она, как всегда, смотрела из окна, когда мы садились в такси, отвозившее нас на вокзал Сен-Лазар.

Подлинный лик войны открылся нам через четыре дня после нашего возвращения в Лондон. 10 мая немцы обрушились на Голландию и Бельгию. Их молниеносное продвижение ошеломило всех, но еще большей неожиданностью оказалась неподготовленность французской и британской армий. Пресловутая линия Мажино была обойдена, союзники разбиты. Британский экспедиционный корпус был отброшен к Северному морю. Началась трагическая эпопея Дюнкерка. В течение шести дней (27 мая-3 июня) беззащитные остатки армии, потерявшей свое вооружение, скопились на огромных пляжах, ожидая своей перевозки домой. Стояли чудные солнечные дни, немцы были заняты преследованием разбитых французских частей, в это время все наличные пароходики, катера и частные лодки совершали беспрерывно свои рейсы. Вся Англия с замиранием сердца следила за этой эвакуацией. Ее неожиданный успех закрыл от многих страшную реальность полного поражения союзной Франции. Для меня эти дни были невыносимо мучительны. Не только тревога за наших родных и друзей в Париже угнетала меня. Я с болью сознавал, что новая волна варварства заливает Европу и живо представлял себе немецкие авионы и танки уничтожающие прекрасную, беспомощную Францию. Моя мечта, что родится новая объединенная Европа, в которой Франция и Англия найдут свое единство, была потеряна. 14 июня Париж без боя был занят немцами. Франция капитулировала. Она пошла на все унижения и на измену своим союзникам ради того, чтобы сохранить видимость своей независимости. Особенно поразило всех в Англии,

что французский флот не попытался вырваться из рук немцев и что большинство колоний признало маршала Петэна своим законным главой, хотя он был всецело в руках победителей. Значение одинокой фигуры генерала де Голля (1890-1970) открылось лишь много позже.

В дни французской агонии я был в постоянных разъездах, мне приходилось выступать в колледжах, школах и на публичных собраниях. Я говорил на обычные для меня темы, но внутри жгло сознание, что Франция была не только поражена на фронте: в ее лице потерпела крушение либеральная, демократическая Европа, повсюду торжествовал тоталитаризм. Англия была теперь предоставлена себе самой. Сможет ли она противостоять новому строю, захватившему континент?

Англичане не поддались панике. Они стали энергично и дружно готовиться к неравной борьбе. Высадка немцев была неминуемой. Повсюду спешно строились укрепленные пункты, воздвигались противотанковые заграждения, все названия городов и улиц были сняты или замазаны. Страна сделалась безымянной, мало кто знал, что она была и безоружной. Однако немцы теряли драгоценное для них время. Очевидно, Гитлер надеялся, что Англия, признав безнадежность сопротивления, сложит оружие. Так прошел июль месяц. Битва за овладение островом открылась восьмого августа. Сотни немецких авионов начали систематическую подготовку для высадки десанта. Судьба страны оказалась в руках нескольких сот молодых людей, мчавшихся по первому сигналу к своим авионам и бросавшихся навстречу вражеским бомбовозам.[1] Отчаянные воздушные бои решили эту первую фазу второй мировой войны. Немцы терпели огромные потери, бывали дни, когда 150, даже 180 бомбовозов сбивалось англичанами. Они сами тоже теряли десятки истребителей. В эти переломные дни большую помощь Англии оказали польские и чешские пилоты, продолжавшие борьбу в Англии, после поражения своих стран. Победа досталась англичанам. Немцам не удалось сломить противника. Десант был отменен. Война, вместо «блитца», превратилась в затяжной, изнурительный поединок. В первый раз Гитлер не мог похвалиться молниеносной победой.

Август месяц мы провели в лагере, устроенном Содружеством. По вечерам мы с трепетом слушали сводки радио о ходе воздушных боев, сознавая все их значение не только для Англии, но и для всего свободного мира. Лагерь кончился 8 сентября, пора было возвращаться в Лондон. К этому времени начались ночные налеты на город, длившиеся до

---

[1] Их легкие и быстрые «спитфайеры», гениальное изобретение английского инженера, нападали на тяжелые немецкие бомбовозы, как Давид на Голиафа.

конца октября (7 сент.-31 окт.). Наступили для нас дни испытаний. Днем было все тихо, но с наступлением темноты неизбежно раздавался рев сирен. Вскоре слышалось гудение вражеских моторов, свист падающих бомб, взрывы и гул обрушивающихся зданий. Мы снесли наши матрасы в подвальный этаж и там проводили эти изнурительные ночи. Иногда вокруг нас разрывалось столько бомб, что, казалось, наш дом один все еще стоит на месте. Однако, выйдя утром наружу, мы видели все те же знакомые улицы В этот первый «блитц» уничтожались только единичные дома, а не целые кварталы, как это стало позже.

В первые ночи немецкие бомбовозы безнаказанно летали над Лондоном, но вскоре англичане начали открывать оглушительную пальбу против них. Пользы она приносила не много, но зато давала моральное удовлетворение. Исключительное значение не только для лондонцев но и для всей нации в те дни имели речи Винстона Черчилля (1874-1965). Он воплотил дух упорного сопротивления, охвативший Англию, о который в конце концов разбился нацизм.

В первую зиму Лондон оказался передовым постом на фронте воздушной войны. Удивительно, как люди могут приспособляться к самым трудным условиям жизни. Днем город выглядел нормально. Магазины торговали, фабрики работали, конторы были открыты, красные двухэтажные автобусы двигались по улицам, все еще полным частными автомобилями. Только там и здесь въезд в некоторые из улиц был прегражден по утрам. Это означало, что она не была еще очищена от обломков разрушенных предыдущей ночью зданий. Напряженность возрастала ближе к вечеру. Все стремились скорее вернуться домой. У входов на станции подземной дороги выстраивались очереди людей с мешками и матрасами. Это были те, кто предпочитал спать в безопасности под землей. Каждая ночь приносила смерть или увечья многим сотням людей, но население оставалось на своих постах, не поддаваясь ни панике, ни унынию.

Для нас эти изматывающие нервы ночи длились сравнительно недолго. Член нашего Содружества, Вир Даккер, настоятель прихода в Хартфорде, маленьком городке близ Лондона, предложил нам переехать в его большой церковный дом. Мы с радостью согласились и прожили у него благополучно до октября 1941 года. Милица и Густав ездили каждый день на работу в Лондон, я же перевез в Хартфорд канцелярию Содружества и оттуда продолжал руководить его деятельностью.

Вокруг нас образовалась небольшая колония русских. Мы решили устроить пасхальную службу в Хартфорде и пригласили из Лондона о. Льва Жилле (р. 1893) православного француза, отслужить литургию. Мы выбрали для нее не-

большой барак со стеклянной крышей. Обычно ночные рейды происходили вдали от нашего местечка. Только красное, зловещее зарево над ночным Лондоном говорило нам, что немцам еще раз удалось прорваться через заграждения и зажечь город. Однако, неожиданно для всех, немецкие бомбовозы сделали Хартфорд мишенью для своего нападения, как раз в пасхальную ночь. Как только мы начали петь: «Христос Воскресе» наше хрупкое здание стало сотрясаться от взрывающихся бомб. Мы все же продолжали службу, стараясь пением ободрить себя. Никто не покинул нашей импровизированной церковки. О. Лев окончил заутреню и приступил к служению литургии, бомбардировка все усиливалась, вокруг нас рушились здания, все было предельно напряжено внутри каждого из нас. И вдруг случилось чудо: как только он начал читать Евангелие, воцарилась полная тишина — рейд кончился. Когда мы подошли к чаше, раздались радостные звуки отбоя. Свет Христова воскресения в эту памятную ночь был соединен в наших сердцах с благодарностью Богу за наше спасение.

Весна 1941 года принесла поражения Югославии и Греции. Еще раз англичанам пришлось пережить героическую, но тягостную эвакуацию под давлением превосходных сил противника, на этот раз она имела место на Крите. Беспрерывные успехи создавали Гитлеру славу гениального полководца. Казалось, не было больше силы в этом мире, способной противостоять ему. Его одержимость своим мессианским призванием не знала границ. Утром 22 июня, в день памяти святых на земле русской просиявших, мы услыхали по радио потрясающую новость: Гитлер внезапно напал на своего союзника, Сталина. Первая мысль, родившаяся во мне, была надежда, что это столкновение двух мегаломанов приведет к гибели их обоих. Затем пришли иные мысли — о новых миллионах русских людей, обреченных на страдания и смерть, о страшном роке, висящем над Россией, делающем ее население жертвой массовых избиений и периодических нашествий то с востока, то с запада. Гитлер нарочито выбрал дату, полную особого значения: Наполеон перешел русскую границу тоже 22 июня в 1812 году. Гитлер, очевидно, хотел показать, что он мог победить там, где великий корсиканец потерпел поражение.

Открытие восточного фронта принесло передышку Англии. Воздушные налеты прекратились. Ураган войны бушевал теперь далеко на русской равнине. Небывалое поражение Красной армии, о мощи которой так долго трубили сталинцы, было полной неожиданностью для большинства. Немцы с молниеносной быстротой продвигались вглубь страны по широкому фронту, окружая и захватывая в плен целые армии. Миллионы советских солдат оказались в руках германцев.

Осенью Гитлер был накануне блистательной победы. 4 сентября он начал осаду Ленинграда,[2] 19 сентября он захватил Киев, 6-го октября началась битва около Москвы, там возникла паника среди начальства, вспыхнули беспорядки, советская власть зашаталась. Но тут случилась первая роковая неудача у Гитлера. Сталин бросил в бой свежие войска, только что прибывшие из Сибири, неожиданно ударил сильный мороз, у немцев стали замерзать танки, не хватало топлива, солдатам не успели доставить теплой одежды. Гитлеру взять Москвы не удалось, это решило судьбу кампании и спасло Сталина от гибели.[3]

7-го декабря того же года произошло другое решающее событие этой необычайной войны. Японцы, внезапным воздушным нападением, нанесли сокрушительный удар по американскому флоту, находившемуся у Гавайских островов. Они повторили свой план, столь удавшийся им в 1904 году, когда они без объявления войны 6-го февраля атаковали русскую эскадру в Порт-Артуре. Россия тогда так и не смогла оправиться от этого поражения и потеряла войну. На этот раз японцы просчитались, они не только сами были разбиты, но и способствовали гибели своих союзников, Гитлера и Муссолини. Американское вступление в войну решило ее исход, хотя вначале японцы одержали ряд блестящих побед, захватили весь Дальний Восток, включая все английские колонии и уничтожили часть британского флота.

Осенью 1941 года мы покинули Хартфорд, но не вернулись в Лондон. Моя сестра, ради своего маленького сына, сняла дом в одном из пригородов в Норсвуде и мы там провели еще два года, до весны 1943. Зимой 1941-1942 года война приобрела всемирный характер. Люди всех наций и всех цветов кожи избивали друг друга в России, на Дальнем Востоке, на островах Тихого Океана, в пустынях Северной Африки; но в Западной Европе наступило затишье. Осенью 1942 года наметился перелом в войне. 7 августа американцы высадились в Гвадалканале на Соломоновых островах, а в ноябре они нанесли тяжелое поражение японскому флоту в Тихом Океане. Тогда же союзникам удалось занять Марокко и Алжир. В сентябре разыгралась битва вокруг Сталинграда, окончившаяся в феврале 1943 года сдачей в плен 80,000 изможденных немцев, остатков окруженной армии.

Этот год принес надежду на полное поражение неприятеля. Немцы, несмотря на свое упорное сопротивление, при-

[2] Осада города длилась 900 дней, в течение ее погибло, главным образом от голода, более миллиона людей. Тут еще раз советская власть проявила свою неспособность защитить население. См. Н. Криптон. Осада Ленинграда. Нью-Йорк. 1952. Также Siege and Survival. Elena Skrjabina. USA.

[3] См. более подробный анализ в Приложении I к главе первой, части пятой.

нуждены были начать отступление повсюду: в России, в Северной Африке и в Сицилии. 3 сентября союзники высадились в Италии, которая сдалась на милость победителя. После трехлетнего отсутствия, мы вернулись той же осенью в наш лондонский дом.

27 января 1944 года кончилась осада Петербурга, а в апреле русские вошли в Польшу и Румынию. Все с напряжением ждали высадки союзников во Франции. Она произошла 6 июня, ее успех дал надежду, что конец войны уже не за горами, но Гитлер не намеревался сдаваться. Он сделал последнюю отчаянную попытку уничтожить Лондон, тот город, который продолжал сопротивляться ему, когда в 1940 все столицы Европы находились в его власти.

В ночь с 16 по 17 июня мы были разбужены сиренами, давно не тревожившими нас. На этот раз налет не был похож на предыдущие воздушные атаки. Зенитные орудия молчали, зато непрерывно слышался какой-то незнакомый шум моторов, отличный от обычных бомбовозов. Часто этот шум замолкал и тогда раздавились оглушительные взрывы. Означало ли это, что вражеский авион был сбит или что-то иное — никто из нас не мог понят. Налет длился всю ночь. Он не прекратился с рассветом, только к полудню прозвучал отбой. В это время Густав позвонил из своей конторы и объяснил, что налет был сделан беспилотными авионами, («летающие бомбы»), новым орудием истребления, изобретенным немцами. Когда мотор замолкал, авион падал на землю и приносил разрушения, несравнимо большие тех, которые мы испытали в начале войны. К этим авионам вскоре присоединились страшные дальнобойные ракеты. Взрыв от них происходил раньше, чем звук их полета достигал слуха. Мнения лондонцев разделились. Один «предпочитали» внезапность ракет, другие — предупреждение о приближающейся опасности беспилотных авионов.

Первая неделя нового «блитца» была мучительна. Днем и ночью происходили взрывы. Сирены мало помогали и на них мы перестали обращать внимание. Все же и на этот раз Гитлеру не удалось уничтожить Лондон. По мере освобождения Франции, интенсивность атак стала спадать. Продвижение союников в глубь Европы сначала медленное, начало ускоряться. 25 августа 1944 года Париж был освобожден от немцев, он чудом мало пострадал и на этот раз. Вскоре нам удалось наладить переписку с нашими родными. Мы уже знали о смерти матери. Сестра с братом продолжали жить на старом месте и вести свою обычную работу. Семья моей жены тоже была вся в сборе в Париже.

Последние месяцы войны были окрашены для нас встречей с русскими военнопленными. Их привезли из Франции англичане. Некоторые из них были в немецкой форме, боль-

шинство же было захвачено на работах на германских укреплениях против союзного десанта. Так как Сталин не признавал договора о защите военнопленных, то немцы безнаказанно и произвольно распоряжались участью миллионов советских солдат, попавших в их руки.

Англичане намеревались отправить их как можно скорее на родину, но выяснилось, что многие русские решительно отказываются возвращаться под власть Сталина. Так как все эти пленные не говорили по-английски, то нам удалось стать посредниками между ними и администрацией лагерей. Русские, находившиеся в госпиталях в Лондоне, когда могли, приходили к нам на дом. У нас с ними были искренние и сердечные беседы. Кое-кто из них рвался вернуться назад, но другие были готовы покончить с собою, если их заставят ехать обратно. Большинство же покорно ожидало решения своей горькой судьбы. До войны ими командовали «они» (так солдаты называли коммунистов), потом они оказались в плену у немцев, теперь же ими распоряжались англичане. По возвращении на родину их ждала все та же участь покорных рабов. Ничего хорошего дома они не ожидали, но и на Западе им не было места.

Однажды к нам пришли на завтрак несколько молодых парней, они были углекопы из Донецкого бассейна. Все в доме сестры вызывало их восхищение и удивление: размеры комнат, картины, мебель и еда. Когда что-нибудь им особенно нравилось, они говорили: «Это совсем, как было в старое время, при царях». Это выражение озадачило нас. Мы думали, что большевистская пропаганда внедрила в их сознание лишь мрачные представления о царской России.

Наш священник, о. Владимир Феокритов (1881-1950) несколько раз ездил в лагеря. Сначала он опасался, что будет враждебно принят военнопленными, но он был потрясен всеобщим желанием исповеди и причастия. Эти несчастные жертвы изуверского атеизма коммунистических аппаратчиков никогда не читали Евангелия, запрещенного в России, имели путанное представление о Церкви и ее таинствах, но они продолжали считать себя православными и жаждали очищения и духовного преображения.

Советские представители в Англии рассматривали этих солдат, как свою собственность и всячески препятствовали общению пленных со свободным миром. Англичане не могли поверить, что по возвращении на родину, пленные будут посланы в концентрационные лагеря, так как Сталин объявил их изменниками родины. Англичане были так же наивны, как тот адмирал, который обрек на гибель доблестного русского офицера связи, прислав ему по окончании войны подарок с благодарственной надписью.[4] Моя сестра особенно остро переживала русскую трагедию. Ей удалось спасти не-

скольких из этих пленных, но это была лишь капля в океане человеческих страданий, рожденных войной и революцией.

Получив еще до войны английское подданство, мы с женой делили радости и скорби страны, которая приняла нас в число своих граждан. Мы восхищались стойкостью ее населения, его умением организовать свою жизнь и подчинить свои частные интересы общей пользе.[5] Мы также не могли не чувствовать нашу связь и с Францией, а в моем случае и с Сербией, оказавшими нам гостеприимство и с которыми переплелись судьбы наших семей. Но мы оставались русскими и жили родиной. Все, что там происходило за время войны переживалось нами с болью, с гордостью, с сочувствием или негодованием.

Война достигла наивысшего напряжения в последние свои месяцы. Красная армия освобождала Европу от нацизма, одновременно она несла новые бедствия, грабя и насилуя население. Агония Германии длилась целый год. Люди продолжали избивать друг друга, хотя все знали, что немцы разбиты. Накануне конца войны возобновились ракетные атаки на Лондон, они особенно били по нервам. Последняя ракета разорвалась над Англией 27 марта, а 7 мая германская армия сложила оружие.

6 августа 1945 года Хиросима была уничтожена атомной бомбой. Через четыре дня Япония сдалась на милость победителей. Конец военных действий, однако, не обещал умиротворения. Новая страшная угроза гибели всего человечества нависла над миром. Но хотелось думать не о ней, а радоваться хотя бы временному прекращению массового убийства и разрушения.

---

[4] Солженицын в рассказе «Один день Ивана Денисовича» описывает капитана Буйновского, откомандированного в Англию во время войны и, из-за подарка, присланного ему знакомым англичанином, получившего 25-летний срок в лагере. КГБ сочло это доказательством шпионажа в пользу Англии.

[5] Характерно, как во время войны мы невольно заражались английской психологией. Судьба флота всегда занимала первенствующее значение в обороне страны. Эпизоды морских сражений, поэтому, производили на меня особенно сильное впечатление. Вместе со всей Англией я напряженно следил за драматической морской дуэлью между немецким броненосцем «Граф Спе» и тремя британскими крейсерами «Эксетер», «Айякс» и «Ахилес», происшедшей 13 декабря 1939 года около Монтевидео. Я вместе с английской толпой с энтузиазмом присутствовал на параде победителей в Лондоне. Страна была потрясена гибелью дредноута «Худа», потопленного 24 мая 1941 броненосцем «Бисмарком», сумевшим прорвать блокаду. Еще большим ударом была гибель двух лучших дредноутов «Принс Уэльс» и «Репалс», доказавшая беззащитность морских гигантов от воздушной атаки. Это был триумф японской авиации и новое свидетельство полного овладения военной техники азиатскими народами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ СОДРУЖЕСТВА И ДОМ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ

Н. Зернов

Решение комитета Содружества продолжать экуменическую деятельность во время войны оказалось правильным. Содружество стало быстро расти и к концу военных действий оно имело не только двух платных секретарей, но и собственный дом в Лондоне. Его бюджет возрос от ста до полторы тысячи фунтов. Война пробудила среди английских христиан интерес к сближению с другими Церквами. Трагическая судьба России тоже оказалась в центре всеобщего внимания.

На меня посыпались приглашения выступать на различных собраниях и проповедовать в церквах. Темы моих выступлений были все те-же, но отношение к ним моих слушателей резко изменилось. Англичане перестали быть наблюдателями событий, которые непосредственно не затрагивали их. Теперь они были вовлечены в борьбу, решающую все их будущее. Они хотели знать, в чем состоит сущность коммунизма, в чем заключается разница между сталинской и гитлеровской диктатурой, почему христиане преследуются и в России, и в Германии, и наконец, есть ли что-либо общее между православным и западным христианством и насколько возможно их примирение.

Я не считал себя ни компетентным, ни призванным говорить на политические темы, но я готов был описывать психологию сторонников тоталитаризма и объяснять причины их ненависти к Иисусу Христу, их упорное стремление заглушить голос Евангелия. В своих проповедях я призывал верующих молиться и трудиться для воссоздания единства и указывал, что западные и восточные христиане нуждаются друг в друге.

С начала войны меня особенно настойчиво звали выступать в провинции, которая меньше Лондона чувствовала войну. Новым полем для моей деятельности стали «паблик скулс» — так называются лучшие закрытые учебные заведения Ан-

глии, где получают среднее образование юноши и девицы состоятельных семейств. Я читал лекции ученикам старших классов и проповедовал в их часовнях. Каждая из таких школ состоит из нескольких «домов», возглавляемых учителем. В каждом живет около 30 мальчиков разного возраста, от 13 до 18 лет, образующих своеобразную коммуну. Они пользуются известным самоуправлением и эта система воспитания развивает ответственность и самостоятельность в молодежи. Лекции и проповеди в часовнях этих школ ознакомили меня с дотоле мало доступной мне стороной английской жизни. Среди «хэдмастерс» (директоров) этих школ, я встретил ряд крупных личностей, которые впоследствии играли значительную роль в академической и общественной жизни Англии.

Эти школы обычно расположены вдали от больших городов в красивой местности. В них сохраняются традиции прошлого и, посещая их, часто трудно было представить, что страна была вовлечена в разрушительную войну. Юноши выпускных классов, однако, не забывали о ней, так как сразу после окончания учения они уходили в армию.

Иллюзия безопасности была столь широко распространена в это время, что наш комитет решил устроить в июле 1940 года очередной съезд и мы выбрали Лондон для его созыва. Парижская группа Содружества строила подобные же планы для конференции во Франции, намереваясь пригласить английских гостей.

Полный разгром Франции в июне 1940 года потряс всех. Англия вступила в единоборство с торжествующим и, казалось, непобедимым врагом. Но, несмотря на эту угрозу, жизнь сохраняла по возможности свои привычные устои. Одна из членов нашего Содружества, Мерси Коллинсон, предложила вместо отмененного съезда, устроить лагерь для помощи фермерам в сборе урожая. Таким образом наши члены, не призванные в армию, могли совместить летний отдых и работу на общую пользу со встречей друг с другом. Я с радостью приветствовал эту идею. Мисс Коллинсон прекрасно справилась с поставленной задачей. С 20 июля до 8 сентября около 60 членов Содружества, принадлежавших к 12 различным национальностям, жили в школьном доме в местечке Хейнс, недалеко от Лондона. Лагерь оказался поворотным пунктом в жизни Содружества: он дал нам опыт совместной работы, привлек новых членов и расширил круг лиц, заинтересованных в нашей деятельности. Участники лагеря убирали урожай, готовили себе еду, по вечерам делали доклады, устраивали концерты. Каждый день, как на наших конференциях, начинался литургией, православной или англиканской. На этом лагере план создания дома св. Василия Великого, родившийся у меня в 1932 году в Оксфорде, получил, наконец, всеобщее сочувствие и поддержку.

Осень и зима 1940-1941 года были критическими для Англии. Немцы безжалостно бомбардировали Лондон, но страна не падала духом. Университеты и колледжи продолжали свои занятия, я по-прежнему получал приглашения проповедовать и читать лекции. Опасность пробудила у многих религиозные чувства и церкви были полны молящихся.

Летом 1941 года Содружество организовало снова лагерь для помощи фермерам в Эссексе. С внешней стороны он был менее удачен чем первый. Помещение было неудобным, приходилось готовить на открытом воздухе, а главное лил непрерывно дождь, так что нам даже редко удавалось работать в поле. Несмотря на это, лагерь имел большой успех. Стиснутые в маленьком, промокшем домишке, мы начали рассказывать друг другу свои биографии и это оказалось плодотворной темой. Перед нами прошла жизнь каждого из нас, людей разных национальностей, классов и религиозных традиций. На этих живых примерах мы смогли убедиться, как различна роль Церкви в Англии, в Западной Европе и в православных странах, и все же всегда и всюду христианство зовет людей к той же конечной цели — полюбить, принять в сердце пресветлый, неповторимый лик Христов и идти по пути, указанным Им всему человечеству.

Хотя дождь и сырость мучили нас, но зато мы могли спать спокойно. Наша деревушка лежала вдали от бомбардируемых городов и все участники лагеря наслаждались отдыхом от дежурств для гашения зажигательных бомб и от бессонных ночей.

Успех лагерей был таков, что летом 1942 года мы смогли устроить два лагеря.[1] Приток новых членов и доход, полученный нами от полевых работ, настолько улучшили наше финансовое положение, что мы пригласили в помощь мне второго секретаря, молодого англиканского священника Мартина Пирса. До войны он учился богословию в Румынии и был знаком с Православием. Он пробыл с нами до весны 1943 года. После своей женитьбы, он вернулся к приходской работе. Его заместил другой англиканский священник, Джон Финдло (1915-1970), женатый на русской, Ирине Кайгородовой. Он прекрасно говорил по-русски и его семья была счастливым осуществлением чаемого англо-православного единства. Он пробыл с нами три года. Всю свою остальную жизнь он посвятил экуменической работе, завоевав всеобщую любовь к себе, как среди православных, так и католиков.[2]

---

[1] Первый лагерь с 1 по 20 августа был организован в Абингдоне, около Оксфорда. Мы жили в монастырской школе и могли пригласить более ста людей. Второй имел место в христианской земледельческой колонии св. Хилды в Сосексе.

[2] См. Соборность (журнал Содружества). № 34. Ноябрь 1946. Стр. 15. Некролог о Джоне Финдло был напечатан в Соборности. Серия 6. № 2. 1971.

В течение зимы Содружество продолжало вести свою богословскую работу путем устройства конференций с участием высококвалифицированных докладчиков. Так, например, в декабре 1943 года был организован съезд в Оксфорде на тему «Единство богословского опыта». В нем приняли участие — известный писатель Чарлс Вильямс (1866-1945), д-р А. Фаррер (1904-1968), проф. Демант (р. 1893), проф. Х. Ходжес (р. 1905), со стороны православных на нем выступали армянский вартопед Тиран Нерсоян, иеромонах Алексей Менсбругге (р. 1899), Евгений Ламперт (р. 1915) и я. Летом 1944 года был созван другой съезд на тему «Государство и Церковь». Зимой мы устраивали однодневные конференции в Лондоне. В центре нашего внимания был вопрос о свободе.

Мы стремились также следить за событиями церковной жизни в оккупированной Европе. Сведения доходили до нас нерегулярно, но мы все же знали, что богословский институт в Париже продолжает существовать. Получили мы и известие о смерти о. Сергия Булгакова 12 июля 1944, почти накануне освобождения столицы Франции.

В конце войны произошло большое событие в жизни Содружества. Нам удалось приобрести дом в Лондоне. Летом 1943 года мы с женой уехали на несколько дней отдохнуть на берег океана. Там мы получили письмо от моей сестры — рядом с ее домом продавался дом, подходивший по размеру и положению для предполагавшегося центра Содружества. Я сразу почувствовал, что настал решительный момент для осуществления плана, о котором я думал и молился в течение многих лет. Но у меня недоставало решимости взяться за это дело. Спасла положение жена. Она настояла, что мы должны сразу же по возвращении в Лондон приступить к сбору денег. Их у нас не было, город продолжал подвергаться воздушным налетам, время для покупки домов, казалось, было самое неблагоприятное. Дом стоил 4,000 фунтов. Я написал письма более состоятельным членам и получил отовсюду отказ. Все же мы решили не отступать. Комитет, созванный нами, поддержал наше намерение и разослал всем членам призыв о пожертвовании. Около 300 человек отозвалось на нашу просьбу. Мы собрали 4,500 фунтов, часть денег была дана взаймы, но без процентов.

30 декабря 1943 года Содружество стало владельцем дома на 52 Ладбрук Гров. Ввиду продолжавшихся бомбардировок нам удалось купить дом за 2,500 фунтов, но здание было в плохом состоянии и мы затратили еще 2,000 фунтов на его ремонт и меблировку. Из-за войны получить разрешение на это было очень трудно. Тут снова помогла Милица. Несмотря на свою напряженную работу в госпитале, она отдала много энергии и времени на хлопоты и добилась необходимого позволения. Дом был открыт в октябре 1945 года.

Новый центр содружества имел часовню[3] с православным и англиканским алтарями, библиотеку, зал для собраний. В нем поместилась канцелярия и архив Содружества. Другие комнаты были предоставлены секретарям и приезжающим членам. Часть помещения сдавалась и плата за нее шла на покрытие расходов по дому. Приобретение его укрепило и расширило деятельность Содружества. Оно сделалось более реальным для своих членов: будучи в Лондоне, они могли останавливаться в доме св. Василия, пользоваться его библиотекой. По окончании войны его участники из других стран находили в нашем центре гостеприимный прием.

С приближением конца войны стал меняться характер моих выступлений. Вместо богословских колледжей, число которых постепенно сокращалось по мере призыва студентов в армию, я начал получать приглашения говорить о России и Балканах в военных частях. Они были разнообразны: офицеры Ирландской гвардии, солдаты батарей воздушной обороны, женские вспомогательные отряды. Церковные руководители в то же время стали устраивать экуменические собрания для обсуждения социальных и политических проблем послевоенного мира. Они часто привлекали большое число слушателей. Я участвовал в этих собеседованиях, как член православной Церкви.

Многие надеялись, что грозный опыт войны отрезвит христианское человечество, откроет ему глаза на реальность его греховной природы и исцелит людей от их легкомысленной самоуверенности, на почве которой расцвел секуляризм, получивший свое логическое завершение в тоталитаризме.

Вновь загорелась надежда, что международные отношения смогут очиститься от корыстных вожделений и грубой демагогии, что христианское учение о братстве людей, укрепленное и подтвержденное восстановленным единством членов Церкви, ляжет в основу взаимоотношений среди наций. Политические вожди Англии и Америки неоднократно заявляли во время войны, что они не ищут территориальных приобретений и распространения власти над другими народами. Они выступали, как защитники свободы и справедливости для всех людей и употребляли выражения, созвучные христианскому гуманизму.

Но все эти оптимистические ожидания разбились о горькую действительность. Западные демократии были связаны со Сталиным, который неуклонно стремился к распространению своей неограниченной власти над остальным миром. Истощенная Европа представлялась ему легкой добычей. Как только кончилась война, он сразу приступил к захвату соседних территорий и к уничтожению в них свободы. Его цинизм

---

[3] Часовня расписана Сестрой Іоанной Рейтлингер, ученицей О. Сергия Булгакова.

и политическая несостоятельность демократий дошла до своей кульминационной точки во время Нюренбергского трибунала. На нем сталинцы оказались судьями нацистов и осудили своих подражателей и учеников на смерть за те же преступления, которые они сами продолжали совершать в странах им подвластных.

Только немногие политические и церковные деятели обладали достаточной проницательностью, чтобы видеть двусмысленность сотрудничества Сталина с свободными странами. Их предупреждающие голоса тонули в громком хоре восторженных поклонников коммунистического эксперимента. Подавляющее большинство поверило пропаганде, что советский тоталитаризм является новым выражением демократизма, и что всякий критицизм сталинского режима — есть оскорбление доблестного союзника. Я не разделял иллюзий об изменении внутри России и оставался в одиночестве среди тех, кто надеялся на дружбу с коммунистами. Горькие плоды этого оптимизма стали очевидными для всех раньше, чем я предполагал.[4]

Наше Содружество старалось следить за событиями церковной жизни в оккупированной Европе. Конечно для многих наших членов особый интерес представляло будущее русской Церкви. Трудно было разобраться в противоположных сведениях, доходивших из России. В 1943 году архиепископ Йоркский Кирилл Гарбетт (1875-1955) в сопровождении двух священников, членов нашего Содружества, посетил Москву. Они вернулись под сильным впечатлением религиозного подъема и невероятной нищеты населения. Духовенство было настолько запугано, что оно все время повторяло об отсутствии каких-нибудь гонений на верующих со времени прихода к власти коммунистов, и о полной свободе предоставленной Церкви. Эти же утверждения были напечатаны в книге, изданной в Москве в 1942 году под громким заглавием «Правда о религии в России». Со времени Ленина слово «Правда» отождествилось с большевистской пропагандой. Содержание книги, переведенной в 1944 году на английский язык, соответствовало этому новому истолкованию «Правды». Книга была выпущена в разгар германских успехов, когда Сталин зависел от помощи союзников. Напечатанная на прекрасной бумаге с многочисленными иллюстрациями, она должна была создать впечатление, что Церковь процветает под мудрым руководством любимого вождя.

«Соборность», журнал Содружества, в июньском номере 1945 года напечатал подробную рецензию на нее. В ней отмечалось, что весь тон книги напоминает заявление заключенного, сделанное под бдительным взглядом тюремщика. Среди похвал и выражений признательности своему стражу, заклю-

---

[4] См. в конце главы Прилож. I.

ченный все же старается намекнуть о своем истинном положении. Поэтому книга полна недомолвок и противоречий. Принудительная ложь перемежается с полуоткрытыми признаниями. Самое главное, о чем говорит книга, это потрясающий факт, что Церковь не погибла, несмотря на небывалое по своей жестокости гонение.

Война разрушила надежду большевиков, что им удастся вытравить христианство из душ русских людей и заменить его раболепным преклонением перед вождем партии. Хотя власти и удалось убить у многих веру в Бога и лишить население доступа к участию в церковных службах, все же значительное число не отреклось от Христа и Его Церкви. Об этом свидетельствовала выпущенная в Москве книга и этим оправдывалось ее претенциозное название: «Правда о религии в России».

Годы войны были для меня временем постоянных лекционных разъездов. Я исколесил Великобританию вдоль и поперек. Краткие описания моих поездок я помещал в журнале «Соборность» под заглавием «Дневник Секретаря».[5] Я старался, среди моих выступлений и интенсивной переписки, находить возможность писать и издавать книги. За годы войны я издал четыре: «Церковь Восточных Христиан», (1942), «Три Русских Пророка — Хомяков, Достоевский и В. Соловьев», (1944), «Сборник Восточных Православных Молитв» (1945), «Русские и их Церковь» (1945). Эти книги помогали в моих выступлениях. Из них мои слушатели могли узнать то о нашей Церкви, о чем я лишь кратко упоминал в моих проповедях и лекциях. Интерес к России вырос в Англии во время войны и мои книги прошли через несколько изданий. Я мог так много работать только благодаря самоотверженной помощи, которую я получал от членов Содружества и моих английских друзей. Я останавливался в их домах, они снимали помещение для лекции и организовывали мои выступления, их сочувствие давало мне силу часто говорить по несколько раз в день. Совсем незаменимой помощницей была моя жена. Хотя она несла ответственность за трудную хирургическую работу в госпитале, она всегда находила время для участия во всех видах моей деятельности. Без нее я никогда не имел бы возможности справиться со всеми задачами, стоявшими передо мною.

[3] ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Увлечение Сталиным и преклонение перед его «гениальностью», охватившии широкие массы на Западе, в особенности левые круги,

---

[5] Так, например, с ноября 1943 до июня 1945 года я выступал 224 раза. См. «Соборность» № 31 (1945) и «Соборность» № 34. (1946).

имели глубокие психологические причины. Их нельзя объяснить одной умелой пропагандой. Они питались верой современного человечества, что, изменив социальную и экономическую структуру общества, оно сумеет создать рай на земле. На почве этих мечтаний и вырос культ Ленина, Сталина, Мао и других вождей коммунистических партий. Их поклонники наделили их знанием и силой, необходимыми для достижения всеобщего счастья.

Сталин особенно импонировал радикалам и социалистам своей решимостью в проведении классовой борьбы. Миллионные жертвы его террора оправдывались грандиозностью поставленной цели. Его гонение на христиан приветствовалось, как дерзновенный вызов буржуазной морали. В глазах своих поклонников Сталин был мудрым учителем, открывавшим перед человечеством новую и светлую страницу истории.

Начало холодной войны и разоблачения Хрущева (1894-1971) нанесли тяжелый удар по культу Сталина. Результаты применения ленинизма на практике оказались неожиданными. Граждане первого в мире «социалистического» государства не обрели ни равенства, ни свободы, ни материального благоденствия, но зато они очутились в крепких руках грузных аппаратчиков с четыреугольными лицами и с твердой уверенностью в незыблемости своего привилегированного положения. Вездесущая тайная полиция со всеми новейшими орудиями массового уничтожения характеризуют строй, основанный на утопии марксизма. Его сторонникам, однако, трудно признать ошибочность радужных предсказаний своих учителей. Радикалы и социалисты предпочитают утешать себя, что их противники преувеличивают отрицательные стороны советской действительности и что главная ответственность за них лежит на самих русских — отсталых, ленивых и привыкших к принуждению и к кнуту.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПАРИЖ ПОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИЕЙ

В. Зернов

«Мы победим, потому что мы самые сильные», гласили афиши, расклеенные по Парижу. На них в яркие цвета были окрашены территории Франции и Великобритании со всеми их владениями и колониями, а Германию изображало маленькое черное пятно, затерянное в середине Европы. Афиши были убедительные и успокаивающие. Все знали, что Гитлер только блефирует и угрожает, знатоки даже уверяли, что на парадах он выпускает танки, сделанные из картона. Кроме того, Францию защищала линия Мажино, которую ни один враг не мог преодолеть. Катастрофический разгром Польши не поколебал оптимизма. Первое сомнение закралось, когда Гитлер в апреле 1940 года захватил Норвегию и Данию. Но тут помог его успеху предатель Квислинг (1887-1945). Когда 9 мая германцы молниеносно обрушились на Голландию и Бельгию, почувствовалось даже общее удовлетворение. Теперь, наконец, немцы встретят настоящего противника — франко-британские войска — и германская армия будет уничтожена. Этого, однако, не случилось. Победители Первой Мировой Войны сплоховали. Но и тут нашлось объяснение: виноватым оказался «король изменник» Леопольд Бельгийский (1934-1951). От него были отобраны все французские ордена и награды. Затем начали возлагать ответственность за все неудачи на генерала Корапа, его сменили. Новому военачальнику, кажется, толковому генералу, было уже некем командовать, армии больше не существовало. Англичане спешно увозили остатки своих дивизий.

Тут, наконец, был найден настоящий виновник всех случившихся катастроф — им была «пятая колонна» — нечто неопределенное и неуловимое — это были все иностранцы, живущие во Франции, коммунисты, крайне правые «когуляры», а также воображаемые парашютисты, которые спускались, переодетые священниками и монахинями. Их задачей было поджигать военные склады, сигнализировать наступающему врагу, сеять панику и вызывать беспорядки. По-

дозрения падали на самых неожиданных людей. Старый, весьма полный митрополит Евлогий, со своими длинными волосами и седой бородой, вышедший на прогулку, был арестован по подозрению, что он переодетый немец. Правда, его очень скоро отпустили. Та же участь постигла священника Липеровского. Хотя у него все документы были в порядке, но полицейский отвел его к начальнику станции метро и приказал тому сторожить арестованного, а сам побежал задерживать других иностранцев. Отец Лев просидел около двух часов, но так как полицейский больше не появлялся, то ему было разрешено вернуться домой.

На улицах Парижа были расклеены воззвания. В одних утверждалось, что город не будет сдан, и что столица Франции превратится в непобедимую крепость. В других, наоборот, обещалось, что Париж будет объявлен открытым городом и потому избежит бомбардировок.

Все русские эмигранты призывного возраста были мобилизованы. Люди до 30 лет были призваны в армию, остальные же, пройдя медицинский осмотр, должны были ждать дальнейших распоряжений. К этой категории принадлежал и я. Накануне оставления Парижа был издан приказ всем иностранцам, подлежавшим призыву, явиться к Орлеанским воротам, чтобы отступать в походном порядке на юг. Видя полную дезорганизацию, я счел это распоряжение неосуществимым. Мой сотрудник по Пастеровскому Институту, также обладавший эмигрантским паспортом, был более законопослушным и явился в назначенное место. Не найдя там никого, он решил двинуться пешком в личном порядке. По дороге он повсюду расспрашивал, куда надо отступать, что показалось подозрительным. В результате всего, он был арестован и отправлен в концентрационный лагерь в Пиренеи. Выпустили его только много месяцев спустя, не найдя состава преступления.

Утром 14 июня 1940 года меня разбудила моя мать, сказав, что над Эйфелевой башней развевается немецкий флаг. Улица была пуста и казалась безмолвной после волнений и шума, вызванных уходившим накануне населением. Было жутко покинуть порог дома, чудилось, что враг притаился за углом. Мне представлялось, что если я выйду на улицу, то изменю Франции, признав этим победу немцев. Вскоре спокойно, неспеша проехало четыре немецких солдата-велосипедиста. Напротив нашего дома появилась пушка. В этот момент с другой стороны ко мне подъехал на велосипеде мой приятель Резщиков и радостно заявил: «Дела идут лучше, стрельба затихла, очевидно немцев прогнали». «Они тут, за

вашей спиной» — ответил я ему. Он повернулся и был поражен, увидев немцев.

Постепенно из домов стали выползать жители. Они окружили солдат, предлагали им папиросы, фрукты, пытались завязать разговор. Мне захотелось узнать, что происходит в центре. К моему удивлению, метро оказалось открытым. Поездов было мало, пассажиров еще меньше, билетов не продавали. Выйдя на площади «Согласия», я увидал немецкие грузовики полные солдат. Войска имели безукоризненный, свежий и торжественный вид. Всюду царил идеальный порядок. По Елисейским Полям двигался военный оркестр с начищенными трубами и огромными барабанами. В это время на площадь спустился маленький авион. К нему подбежали офицеры и стали рапортовать вышедшему из него генералу. Оркестр продолжал играть свой победоносный марш. Историческая картина, думал я, крушение старой Европы. Вот это настоящие победители, они пришли сюда, как на парад, как будто бы и не было войны. Мои мысли невольно возвращались к России. Только благодаря предательскому пакту, заключенному Сталиным от ее лица, Гитлер смог пожинать лавры своих головокружительных побед. Мне казалось, что Россия покрыла себя несмываемым позором и свою вину она никогда не сможет искупить. Как бы в подтверждение моих мыслей, я увидал группу французских рабочих коммунистов, с радостью протягивающих руки для рукопожатий немецким солдатам со словами: «комрад», «комрад». Они, очевидно, были послушны директивам Москвы и смотрели на немцев, как на союзников Сталина.

Жизнь стала налаживаться, появилось электричество, после долгого затемнения засветились окна домов, на улицах зажглись фонари. Началось обратное течение бежавших парижан. На третий или четвертый день после занятия города, к нашему дому подъехал защитного цвета автомобиль, из него вылез штатский. «Неужели к нам?» — сказала наша мать. Она оказалась права. Это был д-р Карл Эптинг, женатый на сестре Кульманна. Он работал до войны в Париже по франко-германскому культурному сближению. При объявлении войны он спешно покинул Францию, теперь он так же спешно вернулся сюда. Германский посол Абец дал ему большие полномочия, ему было поручено в срочном порядке организовать «Немецкий Институт» и привлечь к сотрудничеству с ним культурную элиту Франции. Железнодорожное сообщение еще не было налажено и Эптинг приехал из Германии на военном автомобиле.

«Через несколько дней война будет кончена — заявил он нам — мы ждем с минуты на минуту капитуляции Англии. События несутся таким быстрым темпом, что они застигают нас иногда врасплох. Если бы у вас были какие-нибудь за-

труднения, то я постараюсь вам помочь». В его словах и во всем его виде чувствовалось упоение победителя. С его стороны приезд к нам был знаком внимания, но все же мы его встретили сдержанно.

Ни он, ни мы не могли в тот день представить, что через 5 лет он будет посажен французами в одиночную камеру с крысами в тюрьме Шерш-Миди, а мы будем помогать ему, посылая продуктовые посылки. Пробыв там больше года, он был отпущен на свободу за отсутствием состава преступления.[1] А спустя еще 15 лет мы обедали у него на берегу озера Маджиоре. Почетным гостем был Абец, только что освобожденный из французской тюрьмы. В годы оккупации он был полновластным господином Франции. Он диктовал свою волю маршалу Петэну, ему беспрекословно повиновался Лаваль (1883-1945), как личному представителю самого фюрера. «Что вы думаете о Гитлере?» — спросил я его. — «Он был сумасшедшим — психически больным» — не задумываясь ответил Абец, его ближайший сотрудник.

На следующий день после визита Эптинга, я решил пойти в Пастеровский Институт. Там была полная пустыня. Почти все опытные животные погибли, их никто не кормил. Когда я уже уходил, меня поймал запыхавшийся служитель. «Мессье Зерноф, скорей, скорей, вас очень хочет видеть мессье Бернард». В его кабинете сидели, вытянувшись, два немецких офицера. Заместитель директора Института очень мне обрадовался и стал в самых горячих выражения расхваливать меня. Немцы, видимо, плохо понимали его, но одобрительно кивали головами, повторяя «я», «я». Обратившись ко мне, Бернард объяснил, что немцы хотят восстановить бактериологический и химический контроль водопровода в Париже, без которого возможны эпидемии, что было бы ужасным бедствием. Закончил он свою речь заявлением, что я назначаюсь на эту должность с сохранением моего жалования в Пастеровском Институте. Я попробовал задавать вопросы, но профессор указал мне на немцев: «Они вам все объяснят, а нам вы окажете огромную услугу». Озадаченный внезапно полученной должностью, я принужден был ехать с немцами в лабораторию в Парк Монсури. Мои спутники были обрадованы, что я говорил по-немецки и что им удалось достать «опытного» специалиста. К моему счастью, я нашел в покинутой высшим персоналом лаборатории двух служителей. Их присутствие обнадежило меня. Я совершенно не представлял, в чем должны были состоять мои обязанности и как нужно было наладить контроль воды. Служители сразу поняли мою неопытность и дружелюбно начали помогать мне. Сперва работа шла медленно, но постепенно я втянулся в нее. Вскоре началось возвращение бежавшего персонала.

---

[1] Karl Epting. Aus dem Cherchemidi. (1947-1949). Bonn 1953.

Позже всех появился сам директор. Он уехал первым на автомобиле лаборатории, увезя все казенное белье, чтобы оно не досталось врагу. Так как лаборатория подпадала под категорию учреждений, не подлежавших эвакуации, то, вернувшись, начальник сразу приступил к расследованию вопроса, кто и почему покинул свой пост. Каждый лаборант должен был представить письменное объяснение и прислать его заказным письмом. Так как из-за войны был введен режим экономии, то все заявления должны были быть написаны на одном листе бумаги. Те, кто присылал по ошибке на двух листах, были обязаны составлять письмо вторично. Сам начальник, оказалось, ездил в командировку, а все остальные нашли законные причины, потребовавшие их срочного отъезда из Парижа как раз накануне его занятия немцами.

Когда все служащие вернулись, то у нас стало больше времени для обсуждения политических событий. Нашелся новый виновник французских неудач — им оказался коварный Альбион. В вину англичанам ставилась эвакуация Дюнкерка. Позже все были возмущены бомбардировкой французского флота в Мерс-Эль-Кебире. В лаборатории я проработал три месяца, а потом снова вернулся к занятиям в Институте и к врачебной практике.

Приближалась зима. Центральное отопление прекратилось. Все обзавелись маленькими печурками, но доставать уголь было почти невозможно. Частные автомобили были запрещены, даже врачи попали в ту же категорию. Я с большим трудом приобрел велосипед. Поскольку существует черный рынок — нет ничего окончательно невозможного. Им занимались многие, все что-то продавали, обменивали, покупали. Один мой пациент, бывший рабочий на автомобильном заводе, переехал на прекрасную квартиру, угощал меня изысканными напитками. Оккупация сделала его богачом. Другие мои пациенты так разбогатели, что скупали без разбора золото, бриллианты, дома. Кое-кто из новых миллионеров сумел вовремя бежать из Франции и сохранить свое богатство.

Оккупация изменила характер моей врачебной практики. Многие врачи покинули Париж. Среди них были и те, кто обычно прописывал рецепты морфинистам. Последние стали обращаться ко мне, готовые идти на все, чтобы получить желанные ампулы. Однажды в моем кабинете я увидал безногого нищего, обычно сидевшего на тротуаре недалеко от нашего дома. «Я вам буду хорошо платить, — уверял он меня, — мне нужен морфий каждую неделю».

Началась регистрация евреев, потом на них надели желтые звезды, а много позже их стали куда-то увозить. Мало кто знал тогда, что их конечное назначение был крематорий.

Этого сначала не понимали и сами евреи. Так, например, накануне падения Парижа ко мне пришел д-р Коварский, секретарь общества врачей имени Мечникова. Узнав, что мы остаемся, он заявил, что он решил тоже не уезжать. «Может быть Париж и не будет сдан, — рассуждал он, — а если даже немцы займут его, то не надолго. Ведь не может же Франция погибнуть?» — «Илья Николаевич, — ответил я ему, — не будем сейчас обсуждать вопрос о будущем Франции, одно ясно, немцы безусловно будут в Париже через несколько дней. Если бы я был евреем, то я уехал бы, не теряя минуты». Он крепко пожал мою руку: «Спасибо, я последую вашему совету». Коварский не был исключением.

Когда началась высылка евреев, меня однажды спешно вызвали к моей пациентке еврейке. Она просила дать ей успокоительные капли. У нее только что были два немца и хотели увезти ее. Видя ее крайнее волнение, они приказали ей собрать вещи, сказав, что они вернутся за ней через два часа. «Дарья Давыдовна, — сказал я ей, — успокаивающего я вам не дам. Возьмите ваши деньги и золото, если оно у вас есть, и сразу уходите. У вас есть родственники, пусть они вас спрячут». — «А, как же квартира, — стала она возражать, — а все мои вещи, я не успею перевезти их». — «Квартира все равно пропала, разве вы не понимаете, что вопрос идет о вашей жизни?» Она начала суетиться и рыться в комодах. Я настойчиво потребовал, чтобы она немедленно ушла. Через два часа приехала целая команда немцев, они опечатали квартиру, но хозяйки не нашли.

В другой раз ко мне прибежала другая пациентка еврейка. Ей удалось ускользнуть через черный ход. У нее не было ни денег, ни документов. Я нашел русскую семью А. А. и Н. А. Терентьевых, членов нашего прихода, которая взяла к себе Глафиру Яковлевну и, с огромным риском для себя, скрывала ее, делясь с нею своим пропитанием. Мы не могли спрятать ее у себя, квартира врача была у всех на виду.

Самый драматический случай был с подругой моей сестры, Ольгой Липман. Она решила, что наилучший способ избежать опасности, это пойти ей навстречу. Она прекрасно говорила по-немецки и ей удалось стать секретаршей офицера, работавшего в комендатуре Парижа. Каждый день в течение четырех лет оккупации, она приходила в отель Крийон, куда пускали далеко не всех арийцев. За несколько недель до ухода немцев в ее бюро пришел незнакомый ей офицер. Он внимательно оглядел ее и заявил: «Как вы сюда попали, вы ведь еврейка, как ваша фамилия?» Ольга ответила спокойно: «Моя фамилия Липман, я прибалтийская немка». Незнакомец продолжал: «Фамилия ваша еврейская, но это не важно. Я никогда не ошибаюсь в определении евреев. Вы будете сейчас же арестованы». Начальник Ольги хорошо

относился к ней. «Оставайтесь пока здесь — сказал он, — мы сегодня выясним этот ворос. Я вернусь через полчаса». «Это было время перерыва на завтрак, Ольга попросила разрешение пойти закусить. Получив его, она спокойно вышла из здания комендатуры, а затем помчалась к себе на квартиру, и вместе с матерью скрылась у друзей. Немецкая полиция оцепила ее дом часом позже.

Вскоре ко мне стали приходить на лечение немецкие офицеры, как-то узнавшие, что я говорю по-немецки. Почти все они считали своим долгом, кроме гонорара, приносить мне какой-нибудь подарок, или папиросы, или конфеты, считавшиеся большой роскошью. С некоторыми из них у меня завязались дружеские отношения. Одним из таковых был лейтенант Лютэ. Он интересовался всем русским и был расположен к нам. Когда началась война с Россией, он был искренне убежден, что она ведется против коммунистов и что, освобожденная от них, наша родина станет великой, независимой державой. Мы могли откровенно говорить с ним. Когда стало известно, как немцы обращаются с русским населением, он пришел в ужас. «Если это не переменится, Германия погибла, — говорил он, — все это скрывают от фюрера, когда он узнает правду, все переменится».

В 1942 году умерла моя мать. На следующий день после ее смерти я встретил его на улице. «Что с вами, доктор, вы больны?» — спросил он меня. Я поделился с ним моим горем. «Что могу я для вас сделать? Может быть вам нужны деньги?» — «Денег мне не нужно, — ответил я, — у меня есть брат и сестра в Лондоне, я хотел бы известить их, но это невозможно». Лютэ задумался, а потом сказал: «Принесите мне письмо сегодня вечером, через несколько дней вы получите ответ». Я думал, что письмо надо будет написать по-немецки, но он заверил меня, что я могу писать на любом языке. Действительно Лютэ вскоре передал мне ответ от моей сестры из Лондона. Когда после войны я увидел ее, она рассказала, что к ней зашел незнакомый человек, передал письмо и сказал, что вечером зайдет за ответом.

Перелом в отношениях с немцами произошел после начала войны с Россией. За месяц до нее немецкие части стали покидать Францию. Говорилось, что немцы двигаются на восток, чтобы помочь Сталину построить лучшие дороги для доставки зерна, угля и другого сырья из России. Некоторые радовались этим слухам, видя в этом рост мирного сотрудничества двух великих держав и оправдание мудрой политики гениального грузина.

22 июня 1941 года положило конец этим досужим домыслам. После нападения на Россию, французские коммунисты и коммунизаны начали борьбу с немцами. Участились

покушения на отдельных солдат. Немцы ответили расстрелами и репрессиями. Отношения между ними и населением стали портиться. Возобновились ночные налеты союзников, было введено затемнение. Жизнь становилась все тяжелее. Люди, скомпрометированные сотрудничеством с завоевателями, искали перестраховки. После первоначальных германских побед, известия с фронтов стали менее благоприятными для Гитлера.

Наконец произошла успешная высадка союзников в Нормандии. Немцы стали готовиться к отступлению из Парижа. На улицах воцарилось странное оживление. Встречались вереницы уходивших немецких машин. Кое-где строились баррикады из перевернутых автомобилей, из мешков песка, а иногда из срубленных деревьев, украшавших парижские улицы. Однажды я шел к пациенту, с интересом рассматривая сооружаемые заграждения. Неожиданно рядом с мною круто остановился автомобиль: «Доктор, я хочу с вами проститься и теперь уж навсегда». Это был Люте. «Все пропало, моя жизнь кончена, буду искать смерти». Мы крепко пожали друг другу руки.

День ото дня Париж принимал все более тревожный облик, все ждали американцев. Хотя немцы все еще были в городе, на стенах появились приказы каких-то командиров сопротивления. Против нашего дома, люди внушавшие мало доверия, начали строить баррикаду. Они, к величайшему негодованию хозяина гаража, где я раньше держал свою машину, выволокли оттуда все автомобили, с невероятным грохотом перевернули их и стали набрасывать поверх всякую рухлядь. Мне представлялось, что подобное сооружение разлетится при первом попадании снаряда и убьет неопытных бойцов. Удивляло меня отношение немецких патрулей. Они останавливались, делали критические замечания, но не мешали работе.

В нашем доме поселился французский офицер, он был сначала с Петэном, потом куда-то исчезал и снова появлялся. У меня создалось впечатление, что он имеет какое-то отношение к нашей баррикаде. Я решил поговорить с ним. Мое воображение рисовало бой против нашего дома, немецкие танки, стреляющие в неумелых защитников, взрывы ручных гранат, горящие дома. Нам нужно покинуть нашу квартиру, пока не поздно, думал я. «Никакого сражения не будет, не беспокойтесь — разуверил меня француз. — Через несколько дней придут американцы, нам надо показать, что мы тоже боролись для нашего освобождения».

Через несколько дней после этого разговора в сумерках началось оживление на баррикаде. Раздались выстрелы, сперва редкие, потом учащающиеся. Спать мы не могли от ружейной, а потом и пулеметной стрельбы. Время от времени

раздавались крики. Я боялся появлений немцев, но их не было, сражение стало затихать. Вдруг оно возобновилось с большей силой. Я подошел к окну и увидал колонну немецких бронированных автомобилей. Они остановились за углом улицы. Немцы пытались сдаться, долго кричали «камрад, камрад», но стрельба продолжалась до утра. Только на рассвете капитуляция была принята и немцев заперли на складе молочных продуктов. Один из автомобилей подожгли и он несколько дней стоял обгорелый за углом.

На следующий день в Париж вошли американцы и регулярные французские войска. Тут нам пришлось познакомиться с Ф.Ф.И. (Французские, внутренние силы сопротивления). В этом движении было все смешано, и подлинные патриоты, и коммунисты и просто преступные элементы. Население находилось в руках вооруженных шаек, расправлявшихся со всеми по своему произволу. В этот тревожный период однажды я возвращался на велосипеде поздно вечером от больного. Недалеко от моего дома в полной темноте кто-то закричал. «Стой, руки вверх». «Но, велосипед?» — спросил я». — «Бросай велосипед», — потребовал незнакомец. Я бросил его посредине улицы. С поднятыми руками, подталкиваемый в спину дулом винтовки, я был приведен в сарай, где за большим столом, уставленным бутылками, сидело несколько полупьяных людей. Это был штаб Ф.Ф.И. «Твои документы» — заорали они на меня. Я хотел достать их, но они снова закричали, чтобы я держал руки вверх. Тут они попытались обыскивать меня. Я почувствовал, что надо переходить в контратаку. «Я доктор, я был у больного, вы не имеете права так обращаться с докторами, я буду завтра жаловаться в Орден врачей». Мой решительный протест воздействовал. Мне разрешили опустить руки. Обнаружив из документов, что я русский, старший из допрашивавших меня спросил: «Какой, красный или белый?» — «Ни красный, ни белый — ответил я, — а прежде всего доктор и французский доктор». Они стали совещаться, что со мною делать. Один из них предложил сделать обыск на моей квартире, но видимо никому не хотелось уходить из-за стола. Я начал еще решительнее протестовать, они отпустили меня, записав адрес и обещав прийти с обыском на следующий день. С трудом я нашел свой велосипед. Это была трудная для меня ночь, только что я двинулся дальше, как меня снова остановили какие-то вооруженные люди. На этот раз я так энергично стал спорить, что мне удалось отвязаться от них. Еще долго происходили бесчинства под прикрытием борьбы с коллаборантами и прислужниками немцев.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СМЕРТЬ МАТЕРИ

С. М. Зернова

Понедельник 31-ое августа 1942 года. Сегодня были похороны мамочки. Наш первый одинокий вечер с Володей в пустом доме. Прошлую ночь, как и предыдущие, с нами была Александра Никаноровна Лаврова. Мы все втроем по очереди читали над гробом псалтырь. Комната была наполнена цветами, воздух был душистый и прохладный от больших чанов со льдом. Мы пошли с Володей на раннюю литургию в Введенскую церковь и оба причащались. Вернувшись домой мы оставались у гроба. Все больше присылалось чудных цветов. В 1,45 пришли люди за гробом. О. Киприан Керн отслужил краткую литию. В последний раз мамочка уходила из нашего дома. Так горько было сидеть в большом черном автомобиле, увозившем навсегда нашего самого близкого друга, бывшего центром всей нашей жизни.

Отпевание в соборе Александра Невского было изумительно красиво, оно неслось как на крыльях. Народу было очень много: Володиных пациентов, маминых и моих друзей, членов Московского землячества. Были и французы, наша консьержка в шляпе с замысловатыми цветами, обитатели дома, хозяева соседних лавочек, стояли рядами дети из Вильмуасона с руководительницами. Служил о. Ктитарев вместе с о. Сергием Тумаковым, Киприаном Керном, Львом Липеровским, Георгием Сериковым, Виктором Юрьевым, Борисом Старком, Дмитрием Клепининым, Александром Чеканом и Архимандритом Никоном. Прекрасно пел хор под управлением Н. П. Афонского. В церкви было то же чувство благодатной молитвы, как при отпевании папы. Мамочка, его верный друг и спутник, всюду шла его путем. О. Ктитарев сказал короткое, горячее слово о том, каким человеком, несущим в мир добро, была наша мать. Свидетельством этого было то, что десять священников пришло отпевать ее и что столько людей явилось, чтобы помянуть ее память и что так хорошо и светло сейчас в церкви.

На Медонском кладбище в последний раз видели мы ее

гроб, но дух ее, легкий и любящий, был с нами. Ее могила была, как райский сад. Около креста лежал громадный венок из оранжевых астр и георгинов от Володи. Таких же цветов он подарил ей в день ее рождения за пять дней до ее смерти. Она так обрадовалась им. Думаю она еще более радовалась им, смотря на нас из другого мира. Домой к нам на ужин приехали Александра Никаноровна, Малинин, Варшавский и о. Липеровский. Отец Лев пропел вечную память и все ушли.

Мы остались одни с Володей и думали только бы дожить до встречи с нашими в Лондоне. Мы прочли мамочкино завещание — ее слова любви к нам. Утешением был ее портрет, ее дорогие глаза, смотрящие на нас. Последние дни ее жизни вставали в памяти. Она постепенно уходила от нас. Все чаще вставала из-за стола и шла, чтобы полежать, у нее мелькали «круги» в глазах и бывало головокружение. Но несмотря на это, мы жили такой счастливой жизнью. Вечера проводили вместе. Мама раскладывала пасьянсы, мы читали вслух. В 10 часов мы слушали радио из Англии. Когда раздавался звон часов, мамочка крестилась. «Почему ты это делаешь?» раз спросила я ее. «Наши там в Лондоне слушают», ответила она. Она всегда просила рассказать ей все, что передавалось по радио и всем живо интересовалась. Она была в последнее время удивительно кроткой и ласковой. Часами просиживала у окна, ожидая нашего возвращения, волнуясь и думая о всех, кого она так умела любить. На ее комоде стояли фотографии Коли с Милицей, Мани с Мишкой и лежал конверт с последними письмами из Англии.

В воскресенье 23/10 августа был день ее рождения. Как всегда она испекла пирог с капустой, хлопотала по хозяйству и была особенно благостной. «Как странно, говорила я ей, 77 лет тому назад ты родилась в далекой Москве, а через 77 лет никого из нас не будет, а сейчас мы вместе и нам так хорошо, но мы не знаем, что принесет нам следующий день».

В ту ночь ровно без десяти минут два я проснулась, как от стрелы в сердце. Я сразу вскочила и зажгла электричество и в эту минуту я явственно услышала зов мамы: «Соня, Соня». Моя первая мысль была — мама умирает. Я решила спуститься из моей квартиры на седьмом этаже к маме и Володе. Но потом раздумала, боясь, что это была только моя мнительность. Я решила лечь, но лишь только я задремала, как опять такая же стрела в сердце и мамин голос, полный тоски: «Соня, Соня». Я снова зажгла электричество — было два часа ночи. Тут я поняла, что мамина душа дает мне знать, что маме надо причаститься.

Утром я с трепетом спустилась вниз. Мама уже встала. Как обычно я спросила ее: «Как ты спала?» — «Ничего, — ответила она, — я спала не плохо, но видела тревожные сны: Маню, всех лондонских и вас». День начался как обычно. Володя уехал к больным, я собиралась в банк. Вдруг мама позвала

меня, я бросилась к ней. Она лежала на постели и, глядя на меня испуганными глазами, повторяла: «Мне нехорошо, мне нехорошо». Пульс у нее был ровный, но немного учащенный, как от испуга. Приехал Володя. Мама рассказала нам, что она начала вытряхивать простыни за окном и почувствовала, что ей нехорошо. Мы оба упрекали ее, что она не должна делать усилий, просили соблюдать покой. Весь день она не отпускала меня от себя. «Не уходи, посиди со мною», говорила она, держа все время мою руку. Наконец она заснула. Проснувшись, она сказала: «Я видела смерть». Тогда я рассказала ей о том, что было со мною ночью и спросила ее, не хочет ли она причаститься. «Пожалуй», ответила она. Я обещала позвонить о. Киприану. Вечером она напомнила мне о нем. Я звонила, но не застала его дома. Мама хотела отложить причастие до субботы, надеясь что ее слабость пройдет. Я посоветовала причаститься в пятницу. Она посмотрела на меня и сказал: «Ты думаешь, что до субботы я не доживу?» Меня поразили эти слова. Я не думала об ее смерти.

На следующий день ей было не хуже, но она больше дремала. Один раз я вошла в ее комнату. Она лежала с открытыми глазами и смотрела с такой тоской. «Мамочка что с тобою? О чем ты думаешь?» «Как вы останетесь, неустроенная ты, — ответила она и прибавила, — консьержке отдай мое лучшее шерстяное платье и теплые туфли». Я не хотела слушать ее и повторяла: «Ты сама отдашь ей все что хочешь». В четверг маму осмотрел французский доктор и подтвердил Володин диагноз — небольшое кровоизлияние в мозговой оболочке. Он уверил нас, что дней через десять мама будет совсем здорова.

После его ухода она тихо лежала, большей частью с закрытыми глазами. Когда я подходила к ней, она брала мою руку и гладила ее с такой нежностью и любовью. Мы решили, что я лягу в маминой комнате. Когда я уже готовилась ко сну, у мамы начался странный приступ кашля. Он повторялся через каждые десять минут. Она не страдала от него и относилась к нему как-то равнодушно. Володя вставал несколько раз, давал маме лекарство, но ничего не помогало. Приблизительно без двадцати минут два я спросила мамочку не хочет ли она выпить свои любимые капельки: валерьянки с мускусом. Мамочка сказала: «Пожалуй», она выпила маленький глоток, потом еще больше закашляла, сделала усилие, чтобы сесть и вдруг закинув голову перестала дышать. Я позвала Володю, пульс был ровный и полный, Володя посмотрел и сказал: «Конец». Мы звали мамочку, хотели разбудить ее, надеялись, что она услышит нас. Еще целых десять минут билось сердце, но все тише и реже. В два часа оно остановилось, точно в тот момент, когда я услышала ее вторичный зов пять дней тому назад. Была тихая ночь — праздник Успения. Мы обмыли и одели ее, положили в зал,

поставили к изголовью ее любимую икону Тихвинской Божьей Матери, унаследованной от ее отца. Мамочка лежала молодая, красивая, особенно прекрасен был ее высокий без единой морщины лоб с выдающимся мысиком волос. Выражение лица было чуть-чуть озабоченное, а тонкие руки с синими жилками, сложенные крестом, были как живые. Казалось, что их можно было согреть нашими слезами и поцелуями. Мы провели всю ночь около нее в горе, тишине и молитве.

Утром приехала Александра Никаноровна и Нина, сестра Милицы. Они остались у нас на целый день и окружили нас такой заботой и любовью, что мы никогда этого не забудем. Александра Никаноровна что-то нам готовила, что-то перешивала, плакала над мамой, говорила ей ласковые слова, читала псалтырь. В три часа приехал о. Киприан, но уже не причащать маму, как он раньше хотел, а служить панихиду. Вечером приехал о. Сергий Булгаков с двумя студентами из Академии. Было жарко, он был усталый после долгого путешествия в метро. Из-за его операции горла трудно было понимать его возгласы. Но перед концом панихиды он сказал слово, обращенное к нам оставшимся. Он стоял, как пророк с горящими глазами и говорил так, что мы забыли про его сдавленный хрип и могли понимать каждое его выражение. Он говорил так прекрасно, что если слова могут нести утешение, то это утешение он нам принес.

На следующее утро в субботу маму положили во гроб. Были только Ал. Ник., Володя и я. О. Киприан отслужил панихиду. Мы поцеловали ее прекрасный, похолодевший лоб, ее дорогие руки, окружавшие нас такой заботой и любовью. Наступила оторванность и тишина. Мамочка уже была в ином, недоступном для нас бытии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ФРАНЦИИ

С. М. Зернова

Был жаркий августовский день. Весь город был охвачен лихорадочной радостью, люди выходили на улицу, останавливали прохожих, передавали друг другу новости и слухи... Вдали слышались выстрелы, говорили, что кто-то стреляет с крыш... Это была таинственная «пятая колонна»... Кто была эта «пятая колонна» — никто точно не знал, но, произнося эти слова, каждый представлял себе гнездо заговорщиков. Они должны были бросать бомбы, стрелять по мирному населению и прятаться на крышах домов. Мне почему-то, при мысли о пятой колонне, представлялся маленький француз, портной с нашей улицы, который в день занятия немцами Парижа, радостно их встречал, низко кланялся и зазывал их в свой магазинчик...

Но очень скоро выяснилось, что большинство французов, не зная вначале кого поместить в «пятую колонну», кончили тем, что зачислили в нее русскую эмиграцию.

Володя и я были охвачены этой общей лихорадочной радостью. Говорили, что в 4 часа дня в Париж с разных сторон, одновременно, войдут союзные армии. Мы собирались идти на Порт д-Орлеан встречать англичан. Самое главное было — не пропустить этот торжественный исторический момент. У нас кружилась голова от восторга. Неужели это конец войны — начало новой жизни, соединение с нашими родными и друзьями из Лондона, Швейцарии и Америки?..

В это время раздался звонок — Володю вызывали спешно к больной. На соседней улице у русской дамы случился сердечный припадок. Казалось, так не вовремя... Хотя бы сегодня дали нам возможность попраздновать с другими день освобождения! Я с нетерпением стала ждать возвращения Володи. Опять звонок. Неужели опять больные? Нет, на этот раз спрашивают меня. Какой-то русский передает мне, что на соседней улице построен помост, на нем бреют головы женщинам за их «коллаборацию» с немцами. Когда он проходил мимо, то видел, как одна из них перекрестилась по православ-

ному, перед тем как ее посадили на стул позора. Он просил меня помочь ей. Почему меня, я не знала ее, что могла я сделать для нее? Я так хотела идти встречать армию-освободительницу! Но в глубине души я ощутила, что все кончено, что армию встречать я не пойду, потому что нельзя было допустить, чтобы французская толпа издевалась над русской, над одной из нас, все равно — виновата она или нет. Я не могла вынести этого.

Когда вернулся мой брат, то вся картина выяснилась передо мной. Сердечный припадок был у вдовы генерала К. Это ее дочь вытащили из дома, раздели и обрили, а теперь повели, глумясь, по улицам Парижа. Я ее знала. Она приводила к себе на квартиру русских подростков, завербованных в немецкую армию, переодевала их в штатское платье и помогала им бежать. Она несколько раз приходила ко мне и я доставляла ей одежду. Теперь консьержка донесла на нее, сказав, что та принимала немецких солдат.

Я решила искать ее и позвонила Маргарите Рош-Загоровской. Она согласилась пойти со мной.

Куда было идти? На каких улицах мы могли ее найти? Как вырвать ее из рук толпы? По дороге мы встречали таких же бритых, полуголых женщин, в них бросали гнилыми яблоками и томатами, и толпа жестоко насмехалась над ними. Та толпа, которая несколько недель тому назад кланялась подобострастно немцам и искала покровительства у этих женщин . . .

Мы шли от одного центра «фи-фи»[1] к другому, сперва в Мэрию, потом в коммунальную школу, в одну, другую, третью, — повсюду мы встречали разнузданных людей, неизвестно откуда выплывших на поверхность. Мы всюду спрашивали: не знают ли они, где находятся уведенные толпою женщины? Никто ничего не знал, и никому не было дела до нас, ни до обритой ими русской женщины. Особенно грубо меня встретили в коммунальной школе, около улицы Коммерс. Маргарита Загоровская осталась меня ждать на улице, и я вошла туда одна. Это был коммунистический центр, и первое, что меня спросили: русская ли я и какая русская — красная или белая? Когда они узнали, что я «белая», они стали выкрикивать, что им достаточно 5-ых колонн, что надо и мне сразу обрить голову, чтобы показать, что они освобождают Францию не только от немцев, но и от белых реакционеров и продажных женщин . . . Разговаривать с ними было бессмысленно. Я хотела уйти, но они преградили мне путь. Один из них крикнул: «Несите бритву!» Тут я поняла, что мое дело плохо.

---

[1] Forces Françaises de l'Intérieur, так назывались французские партизаны, многие из отрядов которых находились под контролем коммунистов.

Вероятно, в минуты опасности у нас являются инстиктивные силы самозащиты, и мы действуем, не размышляя, как поступить. Я подошла к главному «фи-фи» вплотную и, смотря ему в глаза, стала говорить: «Как», говорила я, «вы, французы, хотите осмелиться прикоснуться ко мне, русской? Вы — трусы и изменники своей родины. Что вы сделали, чтобы сбросить немецкую оккупацию? Было ли хоть одно восстание? Вы появились сейчас с вашим оружием, когда немцы разбиты. Да, я русская. Но что вы знаете обо мне? Я белая русская, но о том, как вели себя белые русские по отношению к немцам, мы сами будем говорить с красными русскими. Откройте мне дверь. И, если вы принесете бритву, то *я* обрею все ваши головы, а не вы мою». Я говорила с таким гневом и силой, что они немедленно открыли мне дверь...

Под вечер, в здании Мэрии 18-го аррондисмана, за железной решеткой, среди других полуголых и бритых женщин, мы нашли дочь генерала К. Мы вошли в Мэрию, стараясь найти начальника «фи-фи». К нашему счастью, мы встретили молодого французского офицера с умным и милым лицом. Мы объяснили ему, кто была г-жа К. и каким образом ей обрили голову. Я сказала ему, что ее отец был русским генералом, сражавшимся в 14-ом году за Францию и Россию. Он повел нас в подвал, наполненный женщинами, вызвал г-жу К. и, выпуская ее сказал ей: «Мадам, от имени Франции, я прошу Вас простить нас». Мы вышли на улицу. Г-жа К. была толстая, с круглой, большой, бритой головой, на ней был надет лифчик и короткие нижние панталоны, ее голые ноги были черны от пыли парижских улиц, на ее щеках и груди красными чернилами была нарисована свастика...

Нам предстоял долгий путь пешком через весь Париж. Мы смело пустились в дорогу. За нами бежали люди, насмехались, выкрикивали что-то. Маргарита им отвечала, стыдила их, и этим еще более их раздражала. Наш путь был мучительный, среди враждебной, грубой и ликующей толпы. Уже поздно вечером мы привели О.В.К. домой.

Союзные Армии без меня вступили в освобожденный Париж... У меня на душе не было больше ни ликования, ни восторга...

На следующее утро началась моя работа... С утра стали приходить какие-то соседи, чтобы сказать, что в их доме арестовали русских, не предъявляя им никаких обвинений, но называя их 5-ой колонной. Все русские, которые работали у немцев, а за компанию и те, которые не работали, уводились в неизвестном направлении.

В русской колонии уже знали, что накануне я освободила дочь генерала К., и поэтому все шли ко мне, прося отыскать и спасти их близких и друзей, арестованных «отважными» «фи-фи».

Я решила опять идти к французскому офицеру в Мэрию 18-го аррондисмана. Он встретил меня, как старую знакомую. Узнав о повальном аресте русских, он ушел куда-то, с кем-то долго совещался, и, наконец, принес мне записку, адресованную молодому судье «резистанс», орудующему в лицее Бюфон в 15-ом аррондисмане.

Не легко было добиться этого судьи. Лицей Бюфон походил на большой штаб армии. В здание то и дело входили и выходили отряды солдат, и вооруженные с головы до ног «фи-фи». С важным и деловым видом, они отгоняли толпы испуганных обывателей, пытающихся проникнуть внутрь, и наводили на всех страх. Сперва я «присматривалась» к обстановке, думая войти в дом «легально». Но очень скоро я поняла, что надо действовать решительно и смело . . . Проходя мимо солдат, преграждающих всем путь, я сказала, что у меня есть пропуск к главному судье и, таким образом, проникла в здание и стала так же решительно проходить из комнаты в комнату, отыскивая моего «судью».

Я нашла его, — окруженного толпой людей. Каждый старался объяснить ему что-то и просил его выслушать. Я стояла в стороне, пристально смотря на него и стараясь встретиться с ним взглядом. Наконец, мне удалось это, и он сам подошел ко мне. Узнав, что у меня есть к нему дело, он попросил, чтобы я его подождала в соседней комнате. Вскоре он пришел ко мне. Он был совсем молодой, среднего роста, с умными, карими глазами. К сожалению его обезображивала зашитая верхняя губа, из-за нее он говорил не совсем внятно.

Я объяснила ему все. «Я знаю, — сказал он мне, — это полное отчаяние, они продолжают арестовывать и приводить ко мне белых русских, я не знаю куда их помещать, они здесь все вместе: мужчины и женщины, без обвинений, без досье . . . Сегодня утром мне привели одного совсем голым, одна из ваших компатриоток сняла с себя юбку и дала ему. Можете ли вы мне помочь рассмотреть каждый случай и освободить тех, кто не виноват? Не можете ли вы придти завтра, ровно в 12.15, когда «фи-фи» уходят завтракать?»

Со следующего дня, каждый день, я приходила к нему в лицей Бюфон. Мы вместе вызывали арестованных русских, записывали их имена, адреса и «наличие преступления», т. е. мы составляли им досье. Я была переводчицей и консультантом. Господин де Мароль спрашивал меня — думаю ли я, что подсудимый действительно виноват? Я этого обычно не думала, так как, если они и работали у немцев, то для того, чтобы просуществовать и часто сами французы посылали их на эти работы. Большею частью он быстро подписывал освободительный акт и пропуск, и мы наскоро выпускали заключенного, прося его выйти из здания через заднюю дверь

и поскорее. В 13 часов «фи-фи» возвращались с завтрака, и я незаметно исчезала...

Наша дружная работа продолжалась 9 дней. Многие за эти дни вышли на свободу и потерялись в недрах Парижа... На 10-ый день, когда я, как всегда, подъехала на своем велосипеде к лицею Бюфон, я увидала г-на де Мароль, ожидавшего меня у входной двери. «Не входите! — сказал он мне, — у нас вчера была комиссия от группы советских патриотов, они узнали, что вы работаете здесь со мной. Они могут вас арестовать, они сидят внутри здания и ждут вас. Кроме того, я уже ничего не могу сделать, всех русских перевозят сегодня в лагерь Дранси, туда, где раньше были евреи. Постарайтесь проникнуть туда. Могу ли я прийти к вам?» Мы условились о месте и времени нашей встречи.

Я решила пробираться в Дранси. Путешествие было длинное, через весь Париж. Лагерь был окружен колючей проволокой. У ворот стояли часовые с винтовками. Я положила на землю мой велосипед и смело направилась к ним. Они потребовали пропуска, в лагерь никаких посетителей не пускали. Я решила просить у В. А. Маклакова, представлявшего русскую эмиграцию, необходимое мне письмо. Он охотно мне его дал, прося в нем пропустить меня в лагерь. Подписал он его: «бывший русский посланник». На слово «бывший» случайно попала большая круглая печать. Сперва это меня смутило, но потом я решила, что нечего вводить французов в историю наших разделений. Письмо было написано на хорошей бумаге и выглядело внушительно.

На следующее утро я снова была в Дранси. Часовые согласились отнести мое письмо к директору лагеря. Через несколько минут я была в его кабинете. Он принял меня изысканно вежливо и заявил, что ворота Дранси будут для меня всегда открыты и что он дает в мое распоряжение автомобиль с громкоговорителем, чтобы я могла проехать по всему лагерю, обратиться к русским на моем языке и собрать их всех в главном дворе, под часами. Такой предупредительности я совсем не ожидала. Радуясь, что имя Маклакова так импонирует французам, я отправилась на маленьком специальном автомобильчике по всем внутренним дворам Дранси...

Мне было ужасно неловко говорить в громкоговоритель, мой голос звучал чуждо и громко, и я была рада, когда наш объезд кончился, и мы остановились на главном дворе. Там уже собралась большая толпа. Все меня обступили, наперерыв задавали вопросы и обращались с просьбами. Я не знала, кому отвечать и что делать со всеми этими людьми. Особенно энергичны были француженки-консьержки, которые прибежали тоже, считая, что они пострадали оттого, что в их доме жили русские. Они требовали, чтобы я их освободила, сразу шла к директору лагеря хлопотать о них. Видя мою

растерянность, несколько русских пришли мне на помощь. Они предложили мне начать регистрацию всех арестованных русских. Мы начали работу. Я записывала наспех их имена, облокотившись на столб, боясь, что директор лагеря может пожалеть о своем «благородном жесте» и попросит меня уйти. Мне надо было успеть переписать всех, взять все адреса и хотя бы известить родственников об их месте пребывания. Никто не прерывал моей работы и я уехала к вечеру, увозя с собой длинные списки арестованных русских и всех тех, кто мог подойти под рубрику русских. Там были сербы, греки, румыны, армяне, грузины, латыши, поляки, чехи, украинцы и всевозможные французы, связанные дружбой или соседством с русскими беженцами. Я ощутила «великодержавие» всего русского и не отказывала никому, кто находил предлог попросить защиты и помощи у «русских беженцев»...

На следующий день я опять была в Дранси. Меня сразу пропустили. Очевидно, часовые получили об этом специальное распоряжение. Моя работа состояла теперь в подготовке «досье» и передаче писем арестованным. Последнее было запрещено, но, пользуясь особым вниманием всего персонала, я набивала свою сумку и карманы записочками, а иногда и длинными посланиями. Меня не обыскивали.

Так я ездила в Дранси каждый день. В то же время, мои молодые помощницы, Наташа и Женя, работали в Париже над «досье». Они печатали на машинке «курикулум витэ» каждого арестованного, основываясь на сведениях, которые привозила им я. Если что-нибудь было им неясно, они ездили по их адресам, чтобы проверить эти сведения и расспросить родных, консьержек и соседей. Таким образом, постепенно, почти у каждого, образовалась папка с его «делом». Самое тяжелое впечатление среди толпы арестованных производили бритые женщины, среди них были какие-то актрисы, просто проститутки и мало привлекательные и подозрительные француженки. Бритых русских женщин в Дранси, к счастью, не было.

Так проходили дни в напряженной работе. Клиенты мои все увеличивались т. к. кроме меня никто не получал пропуска в лагерь. Каждому хотелось дать знать своим близким, что они живы. Однажды утром, приехав как всегда на своем велосипеде, я нашла у часового записку, приглашавшую меня немедленно явиться к директору. Он принял меня очень сухо и спросил, каких русских я представляю и от какого посланника было мое письмо. Узнав, что Маклаков «бывший» посланник и что я представительница «эмигрантов», он резко заявил, что вход в лагерь мне запрещен. Он провел меня сразу в специальное бюро, где меня попросили раскрыть мою сумку, чтобы проверить, нет ли там писем. Они были найдены и отняты, а я была выведена за пределы лагеря. К счастью,

самые длинные послания были рассованы по моим карманам, знавшие меня служащие меня не обыскали.

Русские видели меня издалека, махали мне из окон и, вероятно, думали, что я пострадала из-за писем. Мой приятель часовой старался утешить меня. Он сообщил, что через несколько дней в лагерь будет приезжать комиссия, состоящая из юристов французского сопротивления и они будут разбирать «досье» заключенных. Их сборный пункт будет в Префектуре и оттуда в 8 утра будет отходить автокар в Дранси.

Через несколько дней мой верный велосипед привез меня к 8-ми часам к воротам Префектуры. Я увидала группу молодых, оживленных французов вокруг автокара. В первый раз я только издали присматривалась к ним. На следующее утро, выбрав одного из самых активных и симпатичных (он всех торопил и всем распоряжался), я подошла к нему и объяснила, что мне поручено защищать интересы русских эмигрантов и я хотела бы поговорить с ним. «Я очень занят, — ответил он, — мы сейчас уезжаем, не согласились ли вы поехать с нами в Дранси. Мы обо всем поговорим в дороге». Недолго думая я поместилась с ним рядом на автобусе, бросив на произвол судьбы велосипед, не успев даже запереть его. По дороге мы условились о процедуре работы. Я въехала снова с торжеством в широко открытые ворота лагеря.

Русские радостно приветствовали меня, они не подозревали о моих мытарствах. В большой центральной комнате были расставлены столики для членов комиссии. Когда мы вошли, мой спутник вскочил на стул и громогласно заявил: «Среди нас есть эксперт по русским делам. Я предлагаю выделить всех русских и поручить рассматривать их досье специальной комиссии. Мы попросим мадмуазель Зернову принять участие в этой работе в качестве консультанта. Есть ли среди вас желающие заняться русскими делами?» Сразу вызвались двое. Один заявил: «Я хочу, я читал Достоевского». Второй сказал: «Я читал Толстого, к тому же я корсиканец, а Наполеон был в Москве». Оба они были молодые и очень веселые.

Работа у нас закипела. Ввиду того, что я уже успела собрать фактические данные почти для всех русских, мы сразу смогли приступить к допросу арестованных. Большинство из них были освобождены. Представитель Префектуры должен был только проверить, не было ли у кого еще какого нибудь досье во французской полиции. Только если оно обнаруживалось его посылали в тюрьму.

Каждое утро в 8 часов я была в Префектуре, каждый вечер автокар привозил меня обратно к моему велосипеду. Когда мы кончили работу в Дранси, наша комиссия переехала в другие лагеря и тюрьмы: в Сен-Дени, Шарантон, Френ. Меня попросили работать и там. Самая страшная была военная

Тюрьма в Сен-Дени. Я получила оттуда письмо с многими подписями еще до того, как наша комиссия начала там работать. Русские писали мне, что они узнали обо мне от одного из стражников и просили помочь им. Они сидели там уже несколько месяцев без возможности известить своих родных, не меняя белья и не имея табака. Моя комиссия выдала мне удостоверение и я поехала в Сен-Дени на моем неизменном велосипеде. Теперь я больше не боялась комендантов, грубых надзирателей и грозных часовых. Мой пропуск открывал мне все двери. Я получила список всех русских. На одной площадке лестницы для меня поставили столик и ко мне стали приводить арестованных. Я была первым человеком, пришедшим им на помощь. Все с радостью отвечали на мои вопросы, не спрашивая ни мое имя, ни откуда я приехала. Но когда ко мне привели капитана. З., он сухо ответил: «В вашей помощи я не нуждаюсь и никаких ответов на ваши вопросы вам не дам». «Почему? — спросила я, — ведь я приехала помочь вам!» Он ответил, что предпочитает не зависеть от неизвестных ему «благотворительных дам». «Кроме того, — прибавил он, — мы уже написали одному человеку, который не откажет нам в своей помощи». — «Кто это?» — спросила я. «Вы ее не знаете. Это София Михайловна Зернова». Я стала смеяться, он решил, что я над ним насмехаюсь, но когда, наконец, я объяснила ему, кто я, мы сразу стали друзьями.

На следующий день я привезла им «передачи», а через неделю началась наша обычная работа и в Сен-Дени. Среди членов Комиссии был молодой еврей-коммунист, представитель сопротивления. Он не был юристом, но имел большой вес, его все побаивались. Мне посоветовали «подружиться» с ним. Он мог воспротивиться моему участию в комиссии. Я села с ним рядом в автокаре и начала смело говорить с ним о разных «правдах» и о разном понимании служения родине. Я предложила ему поднять вопрос о моем исключении из работы. В ответ на мою откровенность, он попросил меня обращаться к нему лично во всех трудных случаях. Я сделала это два раза, когда мои сотрудники не решались подписать освобождение и взять на себя ответственность за это решение. Он, оба раза, почти не рассматривая «досье», освободил осужденных.

Спустя год, когда наша работа была уже закончена, я попыталась еще один раз проникнуть в тюрьму Шарантона, воспользовавшись моим старым пропуском. Меня попросили похлопотать за князя и княгиню Г. В этот день должны были рассматривать их дело, и наши общие друзья боялись, что их приговорят к тюремному заключению. До тех пор все хлопоты об их освобождении не привели ни к чему. Мне не очень легко было идти хлопотать за них, они активно работали с немцами, и, кроме того, я знала, что они подписали ложный

донос на меня, обвиняя меня в масонстве, в работе для английской разведки и еще в каких-то небылицах. Но теперь все это было в прошлом и я решила попробовать помочь им.

Меня пропустили в тюрьму, но перед входом в залу, где заседала комиссия, меня остановили. Никакие убеждения не действовали на неприступных блюстителей тюремных порядков. Я все же решила остаться в коридоре, не зная на что я могу рассчитывать. Вдруг открылась дверь из залы заседаний, и я увидала моего приятеля коммуниста. Мы кинулись друг к другу, как будто мы были родными. Через минуту я уже была в судебной зале, он представил меня, как свою сотрудницу по разбору русских «досье» и собственноручно подписал освобождение князя и княгини Г. Я позвала его к нам обедать и увидала, что сильнее его увлечения коммунизмом была его любовь к Достоевскому и ко всему, что связано с Россией.

Во время моей работы по тюрьмам и лагерям, образовалась специальная комиссия при Маклаковском комитете по освобождению русских заключенных. Ее члены ходили к мэрам разных аррондисманов и от лица эмигрантских организаций протестовали против неоправданных арестов. Я могла теперь отойти от этой напряженной деятельности и вновь открыть то Бюро для помощи русским, в котором я работала до начала войны.

Я была глубоко изумлена, когда меня вызвал к себе Маклаков и объявил мне, что его группа не дает мне позволения работать самостоятельно. Он предложил мне стать секретаршей Кровопускова, члена комитета Земгора. (Объединение земских и городских деятелей.) По его словам я сделалась слишком популярна и это вредит его группе. «Кто это — ваша группа, — спросила я, — и какую власть имеете вы запрещать мне работать для помощи русским?» Оказывается его группа состояла из К. Р. Кровопускова (1881-1958), А. А. Титова (1878-1961), Я. Л. Рубенштейна, И. Г. Савченко, и Тер-Погосьяна (1890-1967). Маклаков объяснил мне, что ничего неправильного в моей деятельности он лично не находит, но боится, что если я начну собирать деньги, то это повредит его сборам. Несколько позднее я была по делу у Г. Л. Нобеля. Он мне рассказал, что Маклаков просил его не помогать финансово моей работе, а все пожертвования направлять ему. Невзирая на запрещение я все же открыла мое Бюро. Не желая портить отношений с Маклаковым я вначале избегала просить русских помогать моей работе.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КОНЕЦ ВОЙНЫ И ПРИЕЗД ЦЕРКОВНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ МОСКВЫ

Н. Зернов

Зима 1944-1945 года была окрашена напряженным ожиданием теперь уже несомненной победы союзников. Положение настолько улучшилось, что моей жене удалось даже до прекращения военных действий получить разрешение на поездку в Париж для свидания с матерью. Она уехала в апреле, я пошел провожать ее на станцию «Виктория». Длинный поезд был полон солдат-англичан, американцев, канадцев, поляков. С толпой военных несколько французских семейств возвращалось на родину. После пятилетнего перерыва вновь открывался столь знакомый нам путь в Париж.

Наступила страстная неделя. В великую пятницу германская армия сложила оружие в Скандинавии. На Пасху Кульманны устроили розговенье на 45 человек в своем доме, кроме близких друзей они пригласили православных американских солдат и трех красноармейцев. Мы все ожидали объявления мира. Трех русских юнцов отпустили в церковь из госпиталя, где они лечились. Они все исповедовались и причащались. К удивлению госпитального персонала они пошли в церковь натощак. Кто мог научить их всему этому? Видимо глубоко вошел в сознание русского народа дух православного обряда.

На второй день Пасхи было торжественно объявлено ждать выступления Черчиля. На следующий день он кратко сказал, что военные действия в Европе кончены. Это было 8-ое мая. После него говорил король. Я провел весь этот день в городе. Утром был в переполненном молящимися соборе св. Павла. Все улицы были полны дружеской толпой, дома украсились флагами, никаких демонстраций не было. Все хотели

просто быть вместе, привыкнуть к мысли, что угроза смерти и разрушения миновала, и что можно снова строить мирную жизнь.

9-го мая вечером я пошел к Букингамскому дворцу. Лондон был прекрасен, он казался сказочным, после долгих лет затемнения. Главные здания были иллюминированы, небо озарено бегающими лучами сотен прожекторов. Около королевского дворца собралась многотысячная толпа. Когда стемнело, на ярко освещенный балкон вышел король с королевой и двумя дочерьми. Восторг охватил всех, люди кричали, пели, скакали, махали руками. Каждому хотелось участвовать в этом стихийном выражении радости. Королевская семья была символом народного единства. Король и королева долго оставались на балконе, видно было, что и они захвачены всеобщим энтузиазмом.

Попытка Гитлера стать верховным распорядителем судеб человечества, столь дерзновенно начатая им 1 сентября 1939 года не удалась. Он сам погиб в огне зажженного им пожара, но его подсобник Сталин не только сумел удержаться у власти, но даже распространить ее на большую часть средней и восточной Европы. Он предстал перед миром, как мудрый правитель и гениальный стратег.[1] Союзники в полном ослеплении забыли о существовании сталинской деспотии и об его поведении в начале войны. Они согласились на раздел Европы и Азии на сферы влияния и отдали в руки кремлевского владыки поляков, немцев, чехов, венгров, румын, югославов, болгар, албанцев, и корейцев. Все эти нации попали в школу обучения к «отцу народов», который сразу организовал во всех подвластных странах секретную полицию, тюрьмы и лагеря с их пытками заключенных, по уже твердо выработанному методу тоталитарного управления народом. Одновременно, американцы и англичане силой и обманом вернули под контроль чекистов сотни тысяч русских, оказавшихся за рубежом.

Кончилась война, она принесла свободу одним и рабство другим. Мы с тревогой видели рост сталинизма далеко за пределами нашего многострадального отечества. Единственно, что обнадеживало нас, было улучшение положения Церкви в России. Сталину пришлось отступить на том фронте, где, как раньше казалось, он успел одержать полную победу.[2] Он склонился перед непреодолимой волей народа и позволил выбрать патриарха, открыть семинарии и вернуть верующим их храмы, включая Троицко-Сергиевскую Лавру. Еще раз враги Церкви Христовой не смогли одолеть преграды, воздвигнутой безымянными страдальцами за веру.

Православным иерархам пришлось дорого заплатить за

См в конце главы (1) Прилож. I (2) Прилож. II.

те уступки, которые советская деспотия принуждена была сделать верующим. Они должны были по приказу своих беспощадных врагов восхвалять своих гонителей, отрекаться от мучеников, погибших в коммунистических застенках и лагерях, и уверять западный мир, что им дана религиозная свобода.

Всем нам в эмиграции хотелось понять, что происходит с Церковью в России, мы пытались расшифровать декларации, исходившие от патриарха, проникнуть в намерения тех, кто взял на себя ответственность за сотрудничество с агентами секретной полиции. Вскоре по окончании войны нам неожиданно была дана возможность личной встречи с двумя выдающимися представителями восстановленной московской патриархии. Мы узнали, что в середине июня (11-21) ожидается приезд в Лондон церковной делегации в составе митрополита Крутицкого Николая (Бориса Дорофеевича Ярушевича 1892-1961) и настоятеля Елоховского собора в Москве, протопресвитера Николая Кольчицкого (1890-1961).

Все что касалось их приезда было окружено большой тайной. Хотя программа пребывания делегации в Англии была в руках нам хорошо знакомых англичан, они не только не посвятили нас в свои планы, но, наоборот, дали нам понять, что русские иерархи приезжают для встречи с англиканами и что у них не будет времени для бесед с эмигрантами. Моя сестра и мы с женой все же решили во что бы то ни стало пробиться через все препятствия и увидать посланников из Москвы. Судьба нашей Церкви стояла в центре всех наших интересов, кроме того, один из делегатов нам был хорошо известен. О. Кольчицкий жил одно время в нашем доме в Ессентуках, был нашим духовным отцом и руководил юношеским кружком, собиравшимся у нас.[3]

Как только мы узнали о приезде делегации, моя сестра позвонила в отель, где они остановились. О. Кольчицкий пригласил нас немедленно приехать. Мы были в большом волнении, совершенно не представляя себе, какой прием ожидает нас. Сперва сестра одна поднялась в его комнату, через несколько минут были позваны и мы. Отец Николай был неузнаваем, так сильно он изменился за 25 лет — и каких лет — сталинского террора. В 1920 году ему было 30 лет, он весь горел тогда верою, ее жар обжигал тех, кто приближался к нему. Теперь это был потухший вулкан. Как и тогда, перед нами стоял исключительный человек, волевой, умный, но отныне закрытый непроницаемой броней. За все время его пребывания в Англии, о. Николай ни единым словом не обмолвился о том, что пережил он за годы сталинизма, да и

---

[3] Описание нашей первой встречи с отцом Николаем дано в книге «На Переломе» (Хроника Семьи Зерновых) Париж. 1970. Стр. 344-347.

нас он мало расспрашивал. Говорили мы о задачах их миссии, рассказывал он нам о религиозном подъеме народных масс в России, интересовался положением Церкви на Западе.

Во время нашей беседы в комнату вошел митрополит Николай. Мы обменялись с ним всего несколькими словами, но и эта мгновенная встреча произвела на нас неизгладимое впечатление. Особенно его светло-голубые, прозрачные глаза, глубоко проникавшие в душу собеседника, поразили нас. В нем чувствовалось огромное внутреннее напряжение человека, взявшего на себя трудный подвиг и несущего его, не сгибаясь под его непомерной тяжестью. Казалось, он один мог рассказать, что происходит с Церковью в России, что он один был способен приподнять ту завесу, которая скрывала ото всех истинное положение Православия под пятой советской власти. Митрополит отнесся с интересом к нам. Видимо, он знал, что я был зачислен коммунистами в число врагов Советского Союза за мою защиту Церкви. Нашу беседу прервал приезд англичан. Они были удивлены и не очень довольны, встретив нас в гостях у русской делегации, которая должна была сразу ехать в Ламбетский дворец для представления архиепископу Кентерберийскому. Прощаясь, о. Николай просил нас приехать к нему еще раз в тот же вечер.

Начались дни всевозможных попыток продолжить наши беседы с делегатами. Это была скачка с постоянными препятствиями. Мы старались попасть на официальные приемы, увидать их по вечерам или между собраниями, но нам почти никогда не удавалось поговорить с ними спокойно: или они опаздывали на свидание, назначенное ими же, или их вызывали в советское посольство, или «кто-то» появлялся «оттуда».

Я часто внутренне досадовал на англичан, которые занимали время делегатов пустыми разговорами, мало зная о подлинном положении Церкви в России. Для нас троих это был вопрос первостепенного значения. В первый раз за всю нашу эмигрантскую жизнь мы встретились с руководителями той Церкви, судьба которой так глубоко касалась нас. Мы узнали во время этих урывочных встреч о тысячах причастников, о сотнях крещений, о большом числе молодых людей, стремящихся попасть во вновь открытые семинарии. Для меня было тоже важно почувствовать, что та работа, которую я вел все эти годы для сближения с англиканами, встретила сочувствие у митроп. Николая. Делегаты были настроены оптимистически, они надеялись на дальнейшее облегчение положения верующих и на более свободное общение с внешним миром. Все наши попытки узнать о том, что было пережито Церковью в прошлом, встречали полное молчание.

Самым неожиданным оказалось для нас их желание посетить русский приход. Наш настоятель, о. Владимир Фео-

критов имел длинную беседу с митрополитом, который принял приглашение приехать в нашу церковь. Там он обратился к молящимся с горячим призывом вернуться в лоно матери-Церкви и признать своим главой патриарха Алексея (1877-1970). Его слова нашли отзвук в сердцах многих прихожан. Теплый прием, оказанный ему в Лондоне русскими, так обнадежил митрополита, что он решил поехать в Париж и вступить там в переговоры с митроп. Евлогием и другими руководителями Церкви в столице русской эмиграции.

Знакомство с московской делегацией было для меня первым опытом общения с официальными представителями Церкви из Советского Союза. Впечатление, создавшееся в этот раз, неоднократно повторялось и впоследствии: они вели себя как лица, находившиеся под постоянным наблюдением каких-то невидимых надсмотрщиков. Непреодолимая стена отделяла их от людей, принадлежащих к свободному миру.

Целых десять дней мы жили в неослабном напряжении, стараясь не пропустить ни одной возможности узнать больше о Церкви в России. Было ясно, что ведущая роль принадлежала митр. Николаю. Он производил впечатление человека подлинной веры и преданности Православию, в то же время было ясно, что именно он нес связь с агентами НКВД, неотступно следившими за каждым шагом делегатов. Чем лучше узнавали мы его, тем сильнее рождалось ощущение его обреченности. Она проявлялась особенно в его пламенных проповедях, в них звучала нота надрыва. Огонь его слов странно диссонировал с холодом его умных глаз. Он, наверное, яснее всех сознавал риск и двусмысленность пути, по которому он так смело и решительно шел. Его таинственная и очевидно насильственная смерть была ли искупительной за всех нас? Она была также предупреждением для всех, кто соглашался на сотрудничество с советской властью. Мой друг, Джон Финдло, назначенный переводчиком к митрополиту Николаю и живший рядом с ним, рассказал мне, как, однажды, случайно он был свидетелем ночной молитвы владыки. Он был потрясен ею.

Уступки советской власти, легшие столь тяжким бременем на ответственных руководителей Церкви в России, дали в то же время сотням тысяч верующих возможность крестить своих детей, исповедоваться и причащаться. Тем из нас, кто оказался на свободе, не дано права судить и, еще менее, осуждать тех, кто поставлен перед роковым выбором — согласиться или отвергнуть компромисс с врагами Церкви.

Приезд церковной делегации приоткрыл нам окно в Россию и оттуда дохнуло на нас леденящим страхом, царящим на нашей родине. Одновременно мы узнали о силе веры и готовности на мученичество тех, кто не покорился красной пятиконечной звезде. Война не освободила Россию от тирании, но она вызвала сдвиги. Сам приезд делегации был бы немы-

слим до событий 1941 года. Церковь оставалась плененной, но она вышла из подполья и ее голос, правда приглушенный, раздался в свободном мире.

Призыв московской делегации признать каноническую власть восстановленной патриархии, был по-разному воспринят эмиграцией. Одни начали смотреть на правящих архиереев, как на агентов НКВД, называя их «чекистами в рясах». Другие наоборот, с радостью согласились на это обращение, надеясь, что новая эра патриотизма одушевляет советскую бюрократию. Третьи заняли выжидательную позицию, не желая судить подневольных иерархов и вместе с тем не доверяя их утверждениям о дарованной им свободе. Наконец, нашлись и такие, которые, вполне сознавая, что церковные руководители обязаны действовать по указке своих поработителей, все же пошли им навстречу. Их решение было основано на желании помочь верующим в России. Всякое общение с внешним миром облегчает положение заключенного; советским тюремщикам, думали они, будет труднее душить тех, чьи имена станут известными на Западе. Еще не пришло время для выяснения, кто прав среди эмигрантов, ни одна из перечисленных позиций не может претендовать на безусловную правоту. Слишком запутанно и парадоксально положение Церкви под большевиками. Наш Лондонский приход вошел в юрисдикцию московской патриархии, но другая часть русских в Англии осталась в синодальной Церкви, непримиримо настроенной по отношению к Москве.

[1] ПРИЛОЖЕНИЕ I.

Сталин поставил своей целью создание мощной армии, способной распространить его неограниченную власть над свободными народами. Несмотря на все его усилия, он потерпел полную неудачу. Это задание, стоившее, как и все его другие предприятия, непомерных жертв русскому народу, провалилось. Красная армия не только не могла завоевать соседние страны, но оказалась даже неспособной защитить свою территорию. Предоставленный самому себе Советский Союз был бы несомненно разбит Германией. Немцы обладали и лучшим вооружением, у них был и более высококачественный офицерский состав. Политические комиссары, доносительство, жестокая чистка командного состава, разрушительные последствия насильственной коллективизации подрывали боеспособность русских и привели к массовой сдаче красноармейцев в начальные месяцы войны.

Все же Гитлеру не удалось разбить Сталина. Главной причиной этой неудачи была безумная политика немецкого диктатора, желавшего поработить и уничтожить русский народ. Она вызвала геройское сопротивление всей страны. Спасла Сталина и мощная поддержка, оказанная ему Америкой, приславшей танки, авионы и бесчисленные

военные и пищевые припасы. Помогли ему и ранние, жестокие морозы 1941 года, помешавшие немцам занять охваченную паникой Москву.

Сталин умело использовал помощь союзников для укрепления своей пошатнувшейся диктатуры и при первой возможности возобновил свою борьбу с ними. Парадокс Второй Мировой Войны заключается в том, что победа западных демократий отдала в руки сталинского тоталитаризма те страны, защита независимости которых вызвала мировой конфликт.

[2] ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Однажды в начале войны я слышал доклад в Лондоне известного государственного деятеля сэра Страффорда Крипса (1889-1952). Он утверждал, после своей поездки в Россию, что Церковь окончательно разбита, что христианство не сможет возродиться там раньше ста лет и что если это все же случится, то формы церковной жизни будут совершенно иными, чем традиционное Православие. Крипс пришел к этим заключениям после бесед с руководителями партии и на основании личных наблюдений. Сам он был верующий христианин. Несмотря на свой большой государственный опыт, на этот раз он ошибся. Как только насильственное давление на верующих прекращалось на территориях занятых немцами и их союзниками, вся русская равнина освящалась церквами, восстановленными населением. Богослужение в них стало совершаться согласно исконному Православию.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ БЕЖЕНЦЫ ВО ФРАНЦИИ

С. М. Зернова.

Положение русских беженцев во Франции в течение 1945-1946 годов было тревожным. Их число сильно возросло, многие из них были вывезены немцами из России на принудительные работы, другие были военнопленные бежавшие из лагерей. За ними охотились советские агенты, стараясь как можно скорее изолировать их от остального населения. В Париже орудовала Советская Военная Миссия. Ее представители чувствовали себя как дома, они могли нагрянуть в любое место, сделать обыск и насильно увезти свои жертвы. Французское правительство не сочувствовало подобному произволу, но не решалось протестовать, может быть оно было связано каким-то тайным договором. Французская полиция в свою очередь арестовывала русских по спискам, даваемым советскими властями и передавала их в советское консульство.

Открыв в конце 1945 года снова «Центр Помощи Русским в Эмиграции», я старалась всеми способами облегчить трудное положение беженцев, доставая им работу, и, что тогда было самое важное, устраивая им нужные документы в Префектуре. Еще до войны у меня установились дружеские отношения с крупным чиновником Марселем Пажесом. Во время оккупации, как не сочувствующий немцам, он был отстранен от всякой деятельности. Общие взгляды еще более сблизили нас. Когда Франция была освобождена, он сразу получил большой пост директора иностранного отдела Министерства Внутренних Дел. Префектура фактически зависела от него. Он исключительно внимательно относился к моим просьбам, веря, что я прошу за людей, достойных помощи. Его рекомендательное письмо и даже краткая записка открывали передо мною многие двери, но я старалась как можно реже беспокоить его.

Ко мне обращались за содействием и протекцией самые разнообразные лица. Тут были и эмигранты, покинувшие родину после конца гражданской войны, и русские, раньше жившие в лимитрофах, захваченных Сталиным, и советские люди,

не желавшие возвращаться под его власть. Помощь последним была сопряжена с большим риском, а именно они больше всего нуждались в ней. Отказать им я не могла, но принуждена была действовать с большой осторожностью. Положение было сходное с тем, которое мы испытали во время немецкой оккупации, когда евреи старались спастись от своих гонителей и просили защитить и скрыть их.

У меня выработался следующий «метод осторожности». Когда ко мне обращались люди, прося «спасти» их, устроив для них документы, то я спрашивала их, какой они национальности, где жили до войны, какие имеются у них удостоверения личности. Большинство этих загнанных, запуганных людей уверяли меня, что они старые русские эмигранты, жившие в течение многих лет или в Польше или на Балканах, но что они потеряли все документы во время бомбардировок. Эти заявления открывали мне возможность оказать им помощь. Никакой закон не запрещал мне хлопотать за русских беженцев, пострадавших во время войны.

Но были случаи, когда приходившие «Д. П.»[1] отзывали меня в сторону и конфиденциально сообщали мне, что они « советские», но не хотят возвращаться и просят достать им новые документы. Таким я всегда отказывала. Каждый из них мог быть провокатором. Позднее я узнала, что действительно были и такие.

Особенно запомнился мне один из них — нарядный, упитанный господин, приехавший на собственном автомобиле. С ним была советская девица, тоже расфранченная и накрашенная под «парижский стиль». Он отвел меня таинственно в угол и стал умолять добыть для девицы паспорт, так как над ней висела смертельная опасность в случае ее возвращения в Советский Союз. Он готов был оставить ее у себя в качестве прислуги. Я уверила его, что помогаю только старым эмигрантам и что он просит невозможного. Он не хотел уходить. Когда я стала разговаривать с другими, он вызывающе заявил: «Я знаю, что вы помогаете советским, я докажу, у меня есть примеры». Я ответила ему возмущенно: «Приведите ко мне этих людей, значит, они обманули меня».

Каждый день я была окружена нашей русской трагедией. Не легко было сопровождать всех этих «старых русских беженцев» в Префектуру, не легко было служить им переводчицей и направлять их рассказы по правильному руслу. Особенно я боялась натолкнуться в полиции на инспектора-коммуниста, а в те годы их было не мало.

Для того, чтобы получить документ, надо было пройти через подробный допрос. Часто этих «старых русских эмигрантов» спрашивали, на какой улице они жили в Варшаве

---

[1] «Диспласед персонс» (перемещенные лица) — жертвы коммунистического тоталитаризма.

или Белграде, при каких обстоятельствах пропали все их документы, каким путем они добрались до Франции. Мое знание нескольких улиц в этих городах оказывало большую помощь моим «клиентам». Некоторые из них совсем теряли голову и приходили в полное отчаяние. Один из таких «выходцев из Польши» от страха забыл все: имя отца и матери, год своего рождения и город, где, предполагалось, он жил и учился. На все вопросы он отвечал: «Не помню, не знаю; забыл». Я подсказывала ему, как могла, но он вдруг не выдержал и, поддавшись панике, заявил: «Все равно, вижу, что догадались, пусть берут, расстреливают, пропало все.» «Что он говорит?» — спросил инспектор. Я объяснила, что мой клиент чуть не попал в плен к советам, но что он этого режима не знает, так как под ним не жил. Потом тем же деловым тоном переводчицы я приказала ему не впадать в истерику и отвечать хотя бы что-нибудь на вопросы инспектора, с тем, что я сама буду истолковывать его слова.

Так я работала, пользуясь моим опытом, часто полагаясь на интуицию, получая поддержку в Министерстве Внутренних Дел. Мне удавалось помочь очень многим. Несмотря на все предосторожности моя деятельность не могла не привлечь внимания советских агентов и их бесчисленных информаторов. Однажды меня вызвали в Министерство и мои друзья там спросили меня, не намереваюсь ли я поехать в какую-нибудь другую страну на месяц или два. С удивлением спросив, почему меня хотят удалить, я узнала, что Советская Миссия просила Министерство отстранить меня от всякой общественной деятельности, указывая на то, что я помогаю советским невозвращенцам. Министерство не могло гарантировать мою безопасность, хотя оно заверило Миссию, что моя работа им известна и ничего предосудительного они в ней не находят. Как раз в это время я получила от моих американских друзей приглашение приехать к ним погостить и я могла поэтому обещать уехать в первых числах мая 1946-го года в Нью-Йорк.

Приблизительно за месяц до моего отъезда В. А. Маклаков попросил меня зайти к нему. Надо было спасти человека. Какой-то журналист бежал из советского посольства и теперь скрывался в одной французской семье под Парижем. Маклаков предполагал, что у меня были связи с американским посольством, что американцы заинтересуются книгой этого журналиста и спасут его, дав ему возможность уехать в Америку. Никаких связей с американцами у меня не было, но я знала одну русскую, Наталью Александровну Ильину, работавшую в посольстве. Я показала ей рукопись, она попросила оставить ее у нее. Когда я пришла за ответом, она заявила, что американцы решили заняться устройством документов журналиста и организацией его отъезда. Было условлено, что я возьму у Маклакова адрес и план, как прое-

хать к Корякову,[2] и буду сопровождать к нему какого-то американского капитана разведки. Время и место нашей встречи были обставлены большой тайной. Я должна была получить в запечатанном конверте кусок разорванной бумаги и при встрече с капитаном показать ему эту бумажку; у него находилась вторая часть того же листка, мы должны были составить вместе оба кусочка, и если они подходили, мы могли вместе ехать на розыски Корякова.

Я назначила ему свидание в моем Бюро на следующий день в 11 утра. Ввиду того, что Бюро наше было открыто для публики только от 3-х часов, я была уверена, что капитан не встретит там никого, кроме меня. Ровно в 11 я была в Бюро. Я ждала его до часу. Он не пришел. После завтрака я пошла в Посольство. К моему изумлению я узнала, что несмотря на всю таинственность, которой американцы обставили нашу встречу, капитан, придя в Бюро, прежде всего обратился к консьержке; она сказала ему, что Бюро бывает открыто только с 3-х, и он ушел, не позвонив даже в мою дверь, несмотря на то, что я точно объяснила, что буду его ждать в первом этаже направо в квартире с надписью на двери: «Центр Помощи Русским в Эмиграции». Все это было для меня смешной игрой. Я в первый раз встречалась с разведкой. Эти разорванные бумажки, все меры предосторожности, таинственность, представлялись мне ненужными.

После выяснения недоразумения с «консьержкой» я, наконец, встретилась с капитаном, опять в 11 утра в моем Бюро.

Бумажки наши подошли, мы могли «доверять друг другу» . . . Он вышел из квартиры первый и ждал меня на улице за углом; я терпеливо оставалась в Бюро еще 10 минут, потом вышла и я, как ни в чем не бывало . . . Мы сели в его автомобиль и двинулись через весь Париж на самый север. Несколько раз мы не знали в какую улицу повернуть, я предлагала спросить у полицейского, но капитан считал, что это было «опасно». Для кого опасно — я так и не поняла . . . Заботился ли он обо мне, или хотел скрыть свою капитанскую форму. Но почему тогда он вообще не был в штатском?

Деревня, в которой скрывался Коряков, была в 40 или 50 километрах от Парижа. Мы оставили автомобиль на какой-то улице и с «независимым видом» пошли отыскивать указанный на плане дом. Я произнесла «пароль», нам открыли и привели к нам небольшого роста, довольно плотного господина, в черных очках и с отрастающей бородой. Мне все это продолжало казаться каким-то забавным театром. Но остальные относились ко всему этому с большой серьезностью. Коряков удалился с капитаном и они час или два совещались.

[2] Michail Koriakov. I'll never go back. London. 1948.

По дороге в Париж я пыталась поговорить с капитаном, но он отвечал неохотно, я поняла, что ему не полагается разговаривать, и мы всю дорогу ехали молча. Я только спросила его, помогут ли они Корякову, он мне сказал, что они «им займутся», и, что я могу быть спокойной. Я хотела знать каким образом, в случае надобности, я могла бы найти этого капитана и просила его дать мне номер телефона, но он ответил, что это невозможно. Я дала ему мой телефон, он обещал позвонить мне, сказав, что нашим паролем будет фраза: «Я хочу помочь четырем девочкам из вашего детского Дома».

Прошло 2 недели, я ничего не слышала о Корякове и думала, что дело его спасения продвигается. Поэтому для меня было большой неожиданностью сообщение, полученное от Маклакова, что Коряков очень волнуется, так как капитан долго не приезжает. Я зашла к Ильиной. Та меня уверила, что если американцы взялись за дело, то доведут его до конца. Она советовала Корякову спокойно ждать. Я передала все это В. А. и мы снова успокоились. Американцы казались нам всемогущими и мы не могли усомниться в данном ими слове.

За два дня до моего отъезда в Америку, в час дня, кто-то по телефону выразил желание «помочь 4 девочкам из моего Дома». Я назначила ему прийти точно в два часа в банк, где я должна была менять деньги. Я очень торопилась, так как у меня еще не был заплачен билет в Америку и надо было выполнить ряд формальностей.. Я целых полчаса ждала капитана на улице, около банка. Он подкатил на своем автомобиле в 2.30 и заявил, что не смог устроить паспорт с выездной визой для Корякова. Он просил моей помощи, предлагая любую сумму за это. «Вы можете заплатить мне 500,000 франков?» спросила я его. «Мне было сказано предложить вам любую сумму», — ответил он. — «В таком случае идите за мной». Я не могла больше терять ни минуты и теперь приказывала ему. Уведя его в глубь банка, я продиктовала ему письмо. Он должен был через 20 минут доставить мне его, отпечатанным на бумаге американского посольства. В нем я обращалась к самой себе от имени посольства с просьбой спешно достать паспорт и выездную визу поляку Липскому, который только что приехал из Германии, заболел, но должен был на следующий день лететь в Америку. В конце письма стояло, что посольство надеется, что Префектура не откажет выдать паспорт в тот же день. Я тут же сочинила год и место его рождения и адрес, где он остановился в Париже. Фамилию, имя, возраст я выдумала сразу, по вдохновению, и также сразу отель пришел мне на ум, но тут мое вдохновение иссякло, я не могла придумать ни одной улицы, кроме той, на которой я сама жила.

Через 20 минут капитан привез мне напечатанное письмо и дал мне фотографии Корякова-Липского. Он отвез меня в Министерство Внутренних Дел. Я бросилась там к знакомому чиновнику, открыла ему всю правду и попросила его помочь мне спасти Корякова. Он внимательно выслушал меня, взял письмо посольства и на полях написал всего одно слово «d'accord» — согласен. «Теперь действуйте, но будьте очень осторожны, — предупредил он меня. — Этого человека повсюду ищут, его фотография послана в Префектуру, он может быть на черном листе».

Я бегом бежала по улицам к метро. В то время такси в Париже еще не было, и автомобили были роскошью, доступной только американцам. В Префектуре, не дожидаясь очереди, я вбежала в Бюро директора паспортного отдела и, путаясь и спеша, стала объяснять ему дело поляка Липского. Письмо Посольства и надпись директора из Министерства Внутренних Дел произвели на него впечатление, и я видела, что он хотел помочь мне, но он не мог выдать паспорт человеку, у которого не было карты — права на жительство во Франции, это было против всех правил. Я стояла перед ним растерянная и несчастная; как раз в этот момент, в его Бюро вошел директор отделения, где выдавали карты. Мы ему объяснили все, и он повел меня к себе наверх и, позвав одну из служащих, просил немедленно выдать право на жительство «больному поляку» . . . Я боялась верить своему счастью. Но когда она стала заполнять бланк, выяснилось, что «поляк» въехал во Францию без визы, и право на жительство можно было ему выдать только, если он заплатит штраф. «Сколько это?» — спросила я. Это было 2.000 фр. У меня в кармане было ровно 2.000 фр., мне это казалось чудом. Я хотела дать ей эти деньги, но оказалось, что платить надо было в Министерстве Иностранных Дел. Ехать туда и обратно на метро с пересадками и возвращаться для получения карты и потом паспорта — как я могла успеть? Префектура закрывалась в 6 часов. На следующий день в 9 утра американский капитан должен был встретить меня в кафе.

У меня не было другого выхода и я сразу кинулась в метро. Я бежала и молилась, все время повторяя: «Ты еси Бог, творяй чудеса». Я знала, что Бог все может, может остановить время, может помочь мне не ждать не пересадках метро и вернуть меня вовремя обратно в Префектуру. Так и случилось. Я ни разу не ждала метро. Как только я входила на платформу, поезд подъезжал и мчался дальше. В Министерстве Иностранных Дел была очередь в 20 или 30 человек. Я пробежала вперед. «Я уезжаю завтра в Америку, я должна сегодня получить паспорт, простите меня, позвольте мне быть первой», — говорила я всем. Я думаю, что они поняли по моему лицу, что я не лгала, что я действительно должна

была быть первой. Я заплатила штраф. Получив расписку, без 10 минут шесть, я вбежала в паспортный отдел Префектуры.

Публика уже разошлась, и чиновница, готовясь уходить, красила себе губы. Я стала объяснять ей, что мне необходимо получить сегодня, сейчас же, этот паспорт. Сперва она не хотела даже разговаривать со мною. Ее кто-то ждал в 6 часов. Я не помню, что я говорила, я обещала ей привезти кофе из Америки, показывала ей письмо посольства, надпись из Министерства. Наконец, она согласилась и, раздраженная, стала заполнять бланки. «Где ваш поляк?» спрашивала она. «Он дома, он болен», — отвечала я. «Где свидетельство от доктора?» — «Я принесу, когда вернусь из Америки». — «Где удостоверение, что он живет именно в этом отеле?» — «Я не успела взять». — «Какие его отличительные черты, его рост, цвет волос, цвет глаз?» Я на все отвечала без малейшего колебания. «А можете вы поручиться, что он не на черном листе и что его не разыскивает полиция?» Я знала, что она не имела права выдать паспорт, не проверив имени и фотографии. «Вы проверите завтра, — молила я ее, — если он окажется на черном листе, то завтра же арестуйте меня». Наконец, она уступила моим просьбам и оформила паспорт. Я передала ей две фотографии, одну для опросного листа, которую она положила в папку для завтрашней проверки, вторую для паспорта. Когда она повернулась ко мне спиной, я быстро вытащила из папки фотографию, надеясь что на следующее утро она решит, что фотография затерялась. А имя несуществующего Липского она на черном листе не найдет. Я не могла поступить иначе, я боялась поставить в тяжелое положение моего друга в министерстве.

В 9 утра я была у кафе моего дома. На этот раз американец меня уже ждал. Я положила перед ним паспорт Липского с фотографией Корякова и с выездной визой в Америку. Он с изумлением посмотрел на меня. «Это чудо», — сказал он. «Да, это чудо, — ответила я — когда я доставала этот паспорт я все время молилась, зная, что одна я не смогу сделать этого, но Бог может все. А теперь я хочу сказать вам, что я о вас думаю. Вам, американцам, надо учиться работать у нас, русских женщин. Я в первый раз встретилась с представителем разведки и я презираю ваши методы и вас самого. Вы не доверили мне даже вашего телефона, а чем вы рисковали? У вас есть все — власть, деньги, положение. У меня нет ничего. Я только русская эмигрантка, без денег, без защиты, но у меня было горение в сердце спасти человека, и была вера в Бога. Я рисковала всем, но не побоялась достать этот паспорт. А вы еще смели предлагать мне деньги». Когда я кончила говорить, он молча вынул из кармана свою карточку и положил ее передо мною. «Если когда-нибудь я могу быть вам полезным, дайте мне знать», — сказал он.

На следующий день я уехала в Америку. Капитана я

больше не встречала, те две тысячи, что я заплатила за Корякова, мне никто не вернул, хотя денег у меня тогда совсем не было. Позже Маклаков мне рассказывал, что американцы долго еще тянули дело Корякова и сперва отправили его в Бразилию, а только после взяли его в Соединенные Штаты.[3]

Это была моя четвертая поездка в Америку. Я провела там несколько месяцев среди дорогих мне людей, отдыхая от всего пережитого в Париже во время и после оккупации. Мне удалось также собрать средства для Центра Помощи и приюта. Вернувшись во Францию, я нашла более спокойную атмосферу, жизнь начала входить в нормальные берега. Охота за людьми стала сокращаться и я смогла продолжать работать для помощи русским, не страшась угроз советского посольства.

---

[3] М. Коряков описал этот эпизод своей жизни в «Русском Новом Слове» (Нью Йорк) 30 января 1972.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВСТРЕЧИ НА ОКЕАНСКОМ ПАРОХОДЕ

С. М. Зернова

Кончилась война, мой друг Алиса Скоддер прислала мне билет для поездки в Америку, она настаивала, чтобы я отдохнула у нее.

Весной 1946 года я снова пересекала Атлантический Океан. Пароход был одного класса, все могли знакомиться друг с другом. Я обратила внимание на группу молодых русских женщин, жен американских солдат. Они вышли замуж в Германии, куда их вывезли на работу немцы из оккупированной России. Среди них выделялась одна — высокая, стройная, с серыми красивыми глазами. Она не походила на других. Звали ее Роза, она была сибирячка. Отец, ярый коммунист, дал ей имя цветка, а сестру ее назвал Идеей. Ее тянуло ко мне. Однажды, когда мы остались одни, она спросила меня: «Как зовут Бога?» Я удивилась вопросу. Тогда она объяснила мне, что с детства отец учил ее, что Бог не существует, но она не верила этому и утром в кровати, закрывшись одеялом, обращалась к Богу с молитвой, говоря Ему: «Бог, которого я не знаю, прости мои прегрешения и помоги мне». Я дала ей Евангелие и сказала, что Бога зовут Иисус Христос. Она вся погрузилась в чтение Священного Писания и прибегала ко мне, чтобы рассказать о том, что особенно поражало ее. Впоследствии она крестилась. Мы переписывались с ней.

Раз, подходя к каюте, я была остановлена маленькой девочкой. Шутя я сказала ей по русски: «Пропусти меня». Она ответила: «Ладно, иди». «Кто ты»? — спросила я — «Я американка, мой папа говорит по-русски, хочешь, я отведу тебя к нему» — продолжала болтать девочка. Мы пошли. Ее отец был Джордж Кеннан (р. 1904) — американский посол в Москве. Он понимал и любил Россию. Говорить с ним было большим вдохновением. По вечерам русские пели хором, он аккомпанировал им на гитаре.

Днем мне было бы приятно остаться одной, но ко мне все время подходил один еврей из Нью-Йорка. Ему хотелось поговорить со мной по русски. Однажды я спросила его:

«Много ли русских на пароходе?» — «Много» — ответил он и показал на других евреев. — «Нет, — сказала я — не таких, а других русских, Петровых и Ивановых». «А, — заявил он, — если вы хотите таких русских, то и они здесь есть, с нами едет один советский генерал. Вон он там сидит и играет в шахматы со своей секретаршей». Мы пошли посмотреть на них, и я решила попробовать поговорить с ними. Два дня я не могла встретить их, они не появлялись совсем. В воскресенье вечером, уже накануне приезда, я их наконец увидала. Они медленно вошли в залу и направились в дальний угол к дивану. Я быстро подошла к ним. Мне казалось, что в этой громадной комнате, полной богатыми, толстыми людьми, играющими с утра до вечера в карты и пьющими коктейли, советский генерал и я были из другого мира. Мы представляли идеологию, он — коммунистическую, я — христианскую. Он — раб, я — свободная. Я спросила: «Вы русский?» Он посмотрел недоверчиво и сказал: «Русский». — «Я тоже русская, можно с вами поговорить?» — «О чем же нам говорить?» — «Есть о чем», — настаивала я. Он неохотно согласился, мы все сели на диван. С ним была секретарша, милая, молоденькая, с курносым носиком и румяным лицом, женственная и серьезная. Он же был коренаст, лицо в мелких морщинах, сосредоточенное и напряженное. Глаза у него были небольшие, глубоко посаженные, скорее умные, но недоброжелательные. Он смотрел на меня пытливо: «Кто вам сказал, что я русский?» — «Здесь один русский еврей» — ответила я — «Маленький такой» — «Да, — подтвердила я — я спросила его, нет ли здесь настоящих русских, он указал на вас». — «Понимаю, понимаю — и, кивнув на секретаршу, он прибавил. — Мы с ней настоящие русские». — «Ко мне здесь все пристает один негр, — продолжала я, — он просит устроить ему визу в Москву. Я говорю, что не могу, потому что я эмигрантка, а он мне отвечает: «Это мне все равно, только визу устройте и комнату резервируйте в Москве на два дня. Я вернусь в Америку и буду всем рассказывать, что был в Москве». Я ему объясняю, что это невозможно, а он не понимает». Генерал рассмеялся: «Так и просил резервировать комнату в Москве»?

«А вы откуда? Из Москвы?» — спросил он. Я: «Из Москвы» — Он: «А можно вас еще спросить? Или боитесь? Вы ведь думаете, что мы все чекисты какие-то, опасно с нами говорить». Я: «Я никого не боюсь кроме...». Он: «Кроме кого?» — «Я скажу, но сначала скажу вам три вещи обо мне». Он: «Скажите». Я: «Первое, — я настоящая русская, второе, — я настоящая эмигрантка, третье, — я верю в Бога. Теперь скажу, кого я боюсь — никого кроме Бога. А вы в Бога верите?» — прибавила я. Он: «Нет, я по Дарвину, все мы животные, предки наши были обезьянами, а умрем, ничего не будет». Я: «Я про ваших предков не знаю, кем они были.

Вам лучше знать, а мои предки обезьянами не были, а про Дарвина новейшие ученые уже давно нашли, что Дарвин своей теорией ничего не объяснил, и она теперь считается устарелой». Это ему как будто не понравилось. Я продолжала: «Странно, вы говорите, что настоящий русский, а в Бога не веруете. Настоящий русский человек без Бога не может, ему всегда надо большего, ему вечность нужна. Ну ничего, умирать будете, узнаете, что Бог есть, это еще не поздно. Знаете, у нас в православной церкви есть такой рассказ, как один человек в Бога не верил, и когда он был при смерти, увидел он великий свет и успел еще ужаснуться своему неверию и воззвать к Богу, и Бог простил его». Он слушал меня молча, потом говорит: «Ну, а еще можно вас спросить?» Я: «Конечно можно». Он стал спрашивать: когда я уехала из Москвы, на какой улице жила, какой № дома, чем занимался мой отец, есть ли у меня родители, братья, сестры, где они, зачем я еду в Америку, где всегда живу, есть ли у меня муж, чем занимаюсь. Я: «Мой отец был против интернационала, он был за Россию, таких вы убивали, а теперь вы сами к этому пришли и стали националистами и погоны надели. А я теперь наоборот совсем без родины, совсем свободная». Он: «Где же вы себя чувствуете больше всего дома, самой свободной?». Я: «Здесь». Он: «Где здесь?». Я: «На корабле, когда вокруг меня океан, свободный, никому не принадлежащий». Он: «Мы не за интернационал были, а за то, кто будет стоять у власти — пролетариат или гнилой буржуазный класс». Я: «Это у вас все слова — гнилой буржуазный класс. А по-моему, класс — это не важно, важно, чтобы у власти были честные люди, любящие родину». Он: «Почему вы уехали, вы ведь молодая были?» Я: «Я в Бога верила, а вы бы за это меня расстреляли». Он: «У нас теперь свобода, верь в кого хочешь». Я: «Теперь не знаю, а тогда не было свободы». Он: «Тогда тоже можно было тихо, у себя дома молиться, никому не говоря». Я: «Может быть, но как можно ожидать от меня в 20 лет, чтобы я молчала. Я тогда была приучена к свободе. Я всюду бы громко заявляла, что в Бога верю». Он: «Да, тогда надо было уезжать». Я: «Вы меня много спросили, теперь я у вас спрошу». Он: «Спрашивайте», и вдруг стал мрачный и смотрел на меня как-то злобно. Тогда я почувствовала, что я эмигрантка, без родины и денег, без власти и защиты на земле, свободная и вольная, и мне нечего бояться, нечего скрывать, а он, важный генерал, представитель сильнейшей страны, боится меня. Я: «Как ваше имя? Отчество?» Он: «Петр Филиппович» и смотрит, что я буду еще спрашивать. Я: «Это все. Теперь расскажите о России». Он посмотрел на меня как-то рассеянно; я думаю он понял, что тем, что я спросила только имя отчество, я дала ему понять, что нам известно, как они боятся давать о себе сведения. Он: «Вы

вероятно сами все знаете». Я: «Знаю, что Россия таинственная и непонятная страна и там таинственный народ». Он: «Почему таинственный? Народ, как народ». Я: «Мы после войны многих русских встречали, новых беженцев. Есть среди них такие замечательные, и есть страшные, и никак их не поймешь. А уж европейский мир совсем не может русских понять». Он: «А вы много новых беженцев из России встретили?» Я: «Очень много». Он: «Это вы их распропагандировали, чтобы в Россию не возвращались?» Я: «Нет, не мы их, а они нас. Многие русские эмигранты верили, что после войны в России будет свобода и мечтали вернуться. А те, кто приехал из России, нам рассказывали, как там мучают народ. Советская пропаганда трубит, что Россия — самая свободная и счастливая страна и вы все должны повторять заученные фразы, я ведь знаю, что вам опасно сказать правду. Вас все боятся, и вы всех боитесь. Какая же это свобода». Он: «Я вот в старое время был грузчиком, а потом красным отрядом командовал против белых. Какие жестокие были белые». Я: «Да были жестокие и белые и красные. А во время войны с немцами многие русские эмигранты советским пленным помогали и скрывали у себя». Он: «Знаю, помогали, а потом шли с немецкой армией, и там русских детей живыми бросали в костры». Я: «Нет, это неправда. Будем говорить правду. С немецкой армией часть пошла, но оттого, что уж очень хотелось в Россию вернуться. 25 лет этого дня ждали и думали, что одна есть возможность в России переменить режим, это идти с немецкой армией. А детей не мучили». Он: «Знаю, что мучили. Сам видел». Я: «Ну что, если и был такой случай, то знаете, как мы таких людей называем? Или лучше не говорить?» Он: «Сегодня говорите все, уж пошло на то». Я: «Белый чекист». Он: «Теперь Чека больше нет». Я: «Да, нет, но...» Он: «Что но». Я: «Ничего, вы сами понимаете, зачем называть именами то, что понимаешь. А знаете, кто за таких белых чекистов виноват?» Он: «Кто»? Я: «Вы и я». Он: «Отказываюсь от вины». Я: «Не можете отказываться. Когда Линдберг перелетел через океан, это была слава каждого американца, и если среди нас русских есть люди, которые способны бросать живых детей в огонь, это позор каждого из нас. Мы этот позор несем». Он: «За белых не понесу». Я: «Хорошо, тогда вы несите позор и ответственность за всех невинно замученных православных священников, которых погубила советская власть. А я буду нести позор за каждого русского, я не отказываюсь. Вы знаете стихотворение о замученных священниках, которое нашли на одном убитом красноармейце». Он его не знал. Я прочитала его.[1] Он слушал

---

[1] Ссыльные священники
Цинготные, изъеденные вшами
Сухарь изглоданный в руке,

внимательно и сосредоточенно, и потом тихо спросил: «На убитом нашли?» Потом он еще спросил: «Сколько вам лет? Когда родились?» Я: «В сочельник родилась». Вдруг у его секретарши вырвалось: «Я тоже». Я: «А когда вы именинница»? Она: «17-го Сентября». Я: «Вас вероятно Любочкой зовут?» Она: «Да, как вы догадались?» Я: «Сама не знаю как, оттого наверно, что многое, что я говорю, вы понимаете, а я это чувствую. Вы мне как сестра», и я протянула ей руку. Она робко пожала ее и спросила: «Нужели можете тут так жить? Неужели не хочется вернуться?» Я: «Раньше очень хотелось, трудно было, а теперь оторвалась, теперь все равно. Теперь подала прошение, чтобы стать француженкой». Она: «А ходили просить, чтобы вернуться?» Я: «Нет, не ходила и не пойду. У каждого из нас русских своя судьба. Я перед советской властью голову не гну». Он: «А вину за них несете?» Я: «Это другое. Не за них несу, а за каждого русского, который носит русское имя. И я несу и вы несете.» Здесь в первый раз он посмотрел мне в глаза долго и молча. И где-то наши взгляды встретились, где-то за пределами политических расхождений и человеческой ненависти. «Я думаю, вы уже пропустили ваш обед, — сказала я, — вы ведь обедаете в первую очередь». «Да», — сказал он и они быстро встали. Любочка просила меня прийти после обеда, чтобы поговорить еще. Я пришла, но они не появились.

На следующий день, при высадке, мы случайно стояли почти рядом. Я посмотрела на них. Они знали, что я на них смотрю, но сделали вид, что меня не видят. Потом он вынул какую то бумагу и дал четырем людям, стоящим с ним. Когда те нагнулись, чтобы прочитать, он тихо повернул голову в мою сторону и быстро и незаметно кивнул мне головой. Я их больше не видела.

Когда я рассказала о этой встрече моей сестре, она мне сказала, что Петр Филиппович был Ротовым, советским представителем на многих международных съездах в Лондоне. Поплатятся ли они за разговор с эмигранткой? Думаю, что они-то друг другу верили и не донесут. Но может быть, кто-

---

Встаете вы нестройными рядами
И в русских святцах и в моей тоске.
В бараках душных, на дороге в Коми,
На пристанях, под снегом и дождем,
Как люди плакали о детях и о воле
И падали, как люди под крестом.
Вас хоронили запросто без гроба,
В убогих рясах, так, как шли,
Вас хоронили наши страх и злоба
И черный ветер северной земли.
Без имени, без чуда, в смертной дрожи,
Оставлены в последний час.
Но палит ваша смерть, как пламень Божий,
И осуждает нас.

нибудь другой видел, ведь за ними всегда следят. Еще он меня спросил: «Вот много лет живете в эмиграции, денег накопили?» Я: «Да — имею большое богатство — отец по наследству оставил». Он: «Сколько?» Я: «Отец честное имя оставил, его имя передо мной все двери открывает, а это больше чем деньги, а советский режим сделал русское имя ненавистным для многих, хорошо еще, что вы себя редко русскими называете, а больше советскими.» Он все слушал и Любочка слушала и у нее горели глаза.

Я эту встречу не забуду и они наверное не забудут ее.

Господи, как трагична наша русская судьба!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВЛАСОВЦЫ

М. Кульманн

Мой муж занимал пост помощника Верховного Комиссара по делам беженцев. Мы жили в Лондоне во время войны. После освобождения Франции в Англию стали привозить многих военнопленных, которые работали у немцев, как бесправные рабы. Однажды я видела военный «документальный» фильм, в котором было показано, как «власовцы»[1] переходили на сторону англичан. Меня глубоко поразила одна сцена: три русских женщины, упав в ноги офицеру, начали громко по-бабьи умолять его, крича: «Ради Бога, не убивайте наших мужей. Они не по своей воле служили у немцев». Мы с мужем были растроганы их горем. У меня промелькнула мысль, как я бы хотела встретить этих женщин и узнать, что им пришлось пережить во время войны, и тут же у меня родилась уверенность, что я их увижу.

Вскоре к моему мужу обратился представитель Министерства Внутренних Дел с просьбой, чтобы я, как говорящая по-русски, посетила лагерь, где находятся русские, привезенные из Франции. Он подчеркнул, что это деликатное поручение, об этом не следует никому говорить. Все привезенные должны были быть отправлены в Советский Союз, по договору, заключенному со Сталиным. Я сразу стала готовиться к поездке и уже на следующий день с волнением отправилась в городок Редфорд в двух часах езды от Лондона.

Заведующий лагерем принял меня с радостью. Его особенно беспокоили три «эмоциональные особы», как выразился он, которые плачут весь день по непонятным ему причинам. Заведующий пытался успокоить их, уверяя, что их скоро отправят на родину, но эти заверения вызвали у них еще больший плач. Он надеялся, что я смогу выяснить причину их горя. Я сразу отправилась к ним и была потрясена, встретив именно тех русских, которых я видела с их мужьями в филь-

---

[1] Генерал Власов (1900-1946) возглавлял тех русских, которые сражались против Сталина в рядах немецкой армии.

ме. Мои первые слова к ним были: «Я уже вас знаю». Трудно передать их радость, когда они поняли, что могут поделиться со мною всем пережитым. Их мучения были из-за их мужей. Они были уверены, что их расстреляют, как только они попадут в руки «чекистов», так как они служили у немцев. У всех трех женщин было по младенцу. Их мужья были взяты в плен немцами, там они присоединились к власовцам и с ними вернулись на оккупированную русскую территорию. Тогда они и поженились. При отступлении жены пошли с своими мужьями и разделяли с ними походную жизнь и все ее опасности. Когда они сдались в плен англичанам, то их сразу отделили от мужей. Те попали в специальный лагерь для «власовцев», который был в ведении Министерства Военных Дел, а жены очутились в другом лагере, где я их и нашла. Они получили письма от мужей, которые извещали, что их на днях под конвоем отправляют в Советский Союз. Они были в смертельном ужасе, зная, что мужей больше не увидят.

Я старалась, как только могла, утешить их и мое теплое сочувствие в их тревоге принесло им некоторое успокоение. При прощании я спросила их, что бы они хотели получить от меня в мой следующий приезд? Они в один голос ответили: «Ничего нам не нужно, кроме нательных крестиков». Я была удивлена и сказала: «Разве коммунисты не отучили вас думать о церкви и крестиках?» «Что вы, что вы, мы же крещеные и хотели бы крестить наших младенцев, а пока хотя бы крестики на них надеть», — заверили они меня.

Эти женщины произвели на меня впечатление, что они остались теми же русскими крестьянками, какими были их матери в старое время. Они так же убаюкивали своих младенцев; когда они плакали, качали их теми же древними движениями, приносившими успокоение. Они распевали старинные колыбельные песни своими грудными голосами, и изливали ту нежность и тепло, которым полно русское материнское сердце. Уезжая я сказала заведующему, что все три женщины ни на что не жалуются, а плачут они, потому что тоскуют по своим мужьям. Что мог этот англичанин понять в нашей трагедии!

Мне удалось еще несколько раз съездить в Редфорд. Я познакомилась с другими русскими из этого же лагеря. Кроме тех жен «власовцев» там были самые разнообразные люди, привезенные англичанами после конца военных действий. Среди них я нашла несколько выдающихся личностей, с некоторыми из них я сблизилась и имела значительные разговоры. У них были самые разные настроения. Многие были партизанами, сражавшимися в тылу у немцев. Я стала привозить им книги. Когда я спрашивала, какого писателя они предпочитают, то все они указывали на Пушкина. Ценили они не только его прозу, но и стихи. Меня удивило, как любовь к классикам проникла внутрь народа. Книги читали все и так их

зачитывали, что их уже нельзя было возвращать в библиотеку. Стихи были особенно популярны.

Однажды директор встретил меня при входе и сказал, что все русские собрались в зале и ждут меня там, чтобы задавать мне какие-то вопросы. Я ответила, что не хочу встречаться со всеми русскими, а их было там около 50 человек, так как я приезжаю, как частное лицо и не могу отвечать на их вопросы. Я была готова говорить со всеми только отдельно и лично. Директор был согласен со мной, но все же просил меня пойти в зал, так как там царило большое возбуждение. Я взяла себя в руки и вошла в большую комнату, полную народа. В ней царила атмосфера митинга, все говорили громко, перебивая друг друга. Как только меня увидали, кто-то очень вызывающе крикнул мне: «Мы слышим, что вы не хотите отвечать на наши вопросы». На это я ответила спокойным и твердым тоном: «У меня нет никакого авторитета отвечать на ваши вопросы, потому я и не хотела приходить к вам». Тогда тот же человек заявил: «Мы хотим остаться в Англии, скажите нам, как это сделать?» — «Этот вопрос меня не касается, — сказала я, — он зависит от соглашения между советским правительством и Англией. Я тут, к сожалению, ни помочь, ни советовать вам не могу». Когда они услышали это, то началось нечто невообразимое. Все стали кричать, не слушая друг друга. До меня доносились отдельные восклицания. Один обвинял меня: «Вы даже не хотите выслушать нас, вы нас боитесь, а мы думали, что вы приезжали к нам, как свой родной человек!». Другие просто кричали: «Мы не хотим возвращаться! Спасите нас!» Когда общее возбуждение немного затихло, я услышала горькую повесть о советской действительности, из-за которой большинство лагерников не желало покидать Англии. Мне говорили: «Вы не знаете, что происходит в России. Сталин говорит нам, что жизнь становится лучше и веселее и мы обязаны повторять эту ложь. На самом же деле мы все нищие. Тут в Англии мы увидали, как живут люди. Зарплата у них такая, что недельная достаточна для покупки костюма или велосипеда, а если хорошо работать, то за год можно даже дом приобрести. Мы от работы не отказываемся, готовы на любую идти, англичане поражаются, как быстро и складно мы можем все сделать.»

В этом гуле иногда я различала отдельные фразы, поражавшие своей остротой и сердечной болью, звучавшей в них. Так, кто-то кричал мне: «Сталин хотел нас от Бога отлучить. Тысячу лет жили мы с Богом и не советской власти разрушить то, что веками стояло». Другой повторял: «Если протестуешь, то сразу в тюрьму или в лагерь, объявляют тебя врагом народа. Вернешься из лагеря, все открещиваются от тебя, никто не хочет иметь с тобой дела.» Еще кто-то все порывался рассказать мне свою историю, был он беспризорным, родителей его раскулачили, остался он совсем один.

«Куда мне возвращаться? — спрашивал он, — у меня в России никого нет».

Я слушала все эти жалобы молча. Когда все высказались и немного успокоились, я сказала: «Теперь дайте слово мне. Всему, что вы говорите я верю и вас до конца понимаю. Я знаю, что ваша жизнь очень тяжела. Война принесла новые великие бедствия, наша жизнь в Англии, да и во всей Европе, счастливая и благополучная по сравнению с тем, что выпало на вашу долю. Все это я говорю лично от себя, не имею права вмешиваться в вопрос вашего возвращения, он решается главами государств. Я могу только одно сказать — я ваша сестра, я понимаю ваши страдания и мне стыдно, что я, как русская, не разделяю вашу участь, а живу в Англии свободная, сытая, благополучная. Позвольте мне прибавить еще одно самое главное, что у меня на сердце — может быть Бог любит русских людей и потому посылает им такую судьбу, может быть те, кто работает, чтобы иметь все материальные блага, не призваны к тому, к чему призваны мы русские.»

Я говорила все это, все более тихим голосом, вслушиваясь в то великое волнение, которое росло в моей душе. Мне было страшно произносить эти слова, чтобы они не прозвучали лицемерно, чтобы не показалось, что я призываю их терпеть, боясь взять ответственность за них.

Когда я кончила, наступила полная тишина, она продолжалась долго. Наконец встал один юноша, его звали Костя, он сделался потом моим большим другом. Он был очень взволнован и начал быстро говорить: «Спасибо вам, вы все поняли и мы поняли вас, нечего больше говорить. Вы сказали, что вы наша сестра, так позвольте мне как брату вас поцеловать, мы не останемся, мы поедем, этот поцелуй будет прощальным». Он поцеловал меня, за ним пошли другие. Один за другим целовали меня — эти мои русские братья. Совершался священный обряд. Я была потрясена и поражена, как русский человек принимает неисповедимость своего страдного пути.

Послесловие

Н. Зернов

Так кончается запись моей сестры о ее встрече с русскими военнопленными. Она не успела закончить ее. От себя я могу прибавить, что когда этих русских англичане отправляли насильно в Советский Союз, то происходили душераздирающие сцены. Многие старались избежать этой высылки, некоторые пытались бросаться с парохода в воду. Совсем чудесным образом моей сестре удалось спасти нескольких из них. Один из власовцев остался с женой и сыном в Англии. Он оказался даровитым человеком и скоро нашел применение своим способностям в новой стране. Сын его блестяще окончил университет в Англии и пошел по научной дороге.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЕМ СОДРУЖЕСТВА

Н. Зернов

Первые два года после войны были отмечены оптимизмом во всем западном мире. Все энергично принялись за восстановление разрушений. Только что пережитые испытания духовно пробудили многих, стал заметен религиозный подъем. Стойкость христиан, среди которых было много героев сопротивления против оккупантов, подняла авторитет Церкви. Сознание, что технический прогресс не способен сам по себе возродить человечество, тоже помогло некоторым найти путь к христианству. Желание примирения получило широкое распространение среди членов Церкви. Наше Содружество продолжало численно расти. Меня постояно приглашали читать лекции и проповедовать. Богословские колледжи возобновили занятия. Большинство студентов вернулось с фронтов и были духовно зрелыми людьми. Читать лекции и беседовать с ними давало мне удовлетворение, многие становились членами Содружества . . .

В январе 1947 года я был приглашен прочесть курс лекций в необычайном колледже. Он состоял из бывших военнопленных немцев. В нем было около 200 студентов богословов и 5 профессоров. Это была моя первая встреча с послевоенной Германией, и я с большим интересом готовился к ней. Немцы жили в солдатских бараках. Один из них был превращен в лекционный зал. Когда я вошел в него и увидал молодых людей, одетых в военные формы, которые в течение пяти лет мы привыкли считать отличительной чертой неприятеля, то в первую минуту я растерялся, не зная как начать мое выступление. Но как только я стал говорить, эта неловкость покинула меня. К моему удивлению, я осознал, что передо мною находится молодежь похожая на английских студентов богословов. Вопросы будущих немецких пасторов были теми же, что и у кандидатов на англиканское священство, только говорили они с тяжелым немецким акцентом и знали о Православии еще меньше англичан.

Во время перерыва я стал расспрашивать немцев. Многие из них сражались в России. У меня создалось впечатление, что огромные ее пространства испугали их. Они чувствовали себя потерянными и незащищенными в этом чуждом и непонятном им мире. Многие говорили мне о подлинности христианской веры среди русских, в особенности среди женщин крестьянок, которые были готовы помочь врагам, делясь с немцами своими скудными запасами. Несколько студентов сказало мне, что православная народная стихия открыла им сущность Церкви и обратила их к вере. Двое из них впоследствии присоединились к православной Церкви и окончили Богословский Институт в Париже.

Тема России, конечно, интересовала не одних немцев, она привлекала внимание и многих англичан, понимавших, что ближайшее будущее зависело от сотрудничества победителей. В первое время иллюзии, созданные военной пропагандой, продолжали владеть многими. Мало кто сознавал, что победа над Гитлером не избавила человечество от тоталитаризма. Однако вскоре стали появляться тревожные признаки, что кремлевский диктатор решил вернуться к своей привычной подрывной работе. Слишком поздно открылись на это глаза. Железный занавес упал и разделил мир на две несообщающиеся и враждебные друг другу сферы. Началась холодная война.

Линия, взятая нашим Содружеством, не изменилась ни с началом войны, ни с ее окончанием. Его руководители верили, что восстановление единства между восточными и западными христианами было необходимо для полноты жизни Церкви. Они знали, что за железным занавесом живут не одни коммунисты, но и верующие христиане, с которыми свободный мир имеет общий язык. По мере усиления холодной войны отношение англичан к моим выступлениям стало меняться. Раньше всякая критика советской системы встречалась с недоверием, все русское считалось героическим и достойным восхваления, теперь наоборот, мне приходилось защищать русских людей и объяснять, что от их лица говорит коварный и беспринципный тиран, сумевший террором достичь абсолютной власти над огромной страной.

Одной из главных задач в моей работе с Содружеством в послевоенные годы было восстановление сотрудничества с нашими русскими членами во Франции. С этой целью я провел апрель 1946 года в Париже. Русские церковно-общественные круги были в большом возбуждении и она отражалось и на нашей среде.

Сразу после освобождения Франции, волна патриотизма, окрашенного симпатией к Советскому Союзу, прошла по эмиграции. В. А. Маклаков (1870-1957), бывший посол Временного Правительства, возглавлявший неофициально русскую колонию в Париже, был на приеме у советского посла. Мно-

гие стали брать советские паспорта, желая вернуться на родину. После посещения Парижа митрополитом Николаем в августе 1945 года, митрополит Евлогий, доживавший свою долгую и плодотворную жизнь, с радостью согласился вернуться в лоно московской патриархии. Большинство его духовенства было готово последовать за ним. Это увлечение длилось не долго. Эмиграция скоро убедилась, что советский строй не желает меняться. Энкаведисты, приехавшие из Москвы охотились за советскими гражданами, не хотевшими возвращаться домой, как за своей законной добычей. Заняв Прагу, они сразу же занялись массовыми арестами русских эмигрантов. То же происходило в Югославии и в других странах, захваченных Сталиным. Началась реакция. После смерти митр. Евлогия 8 августа 1946 года, русские приходы в западной Европе отказались признать своим епископом митр. Серафима (Лукьянова. ум. 1959 г.) назначенного Москвою и остались в юрисдикции константинопольского патриарха. Преемником митр. Евлогия был выбран митр. Владимир (Тихоницкий. 1873-1959). Таким образом русская церковь и после войны осталась разделенной на три юрисдикции: московскую, константинопольскую и синодальную.

Мое пребывание в Париже совпало с нашей страстной и пасхальной неделями. Я с головой окунулся во все проблемы эмиграции. Русский Лондон был тихой провинцией, по сравнению с Парижем, где церковная жизнь била ключом, всюду было много молящихся, включая молодежь. На Благовещение в Александро-Невском соборе было более 300 причастников. Я обошел моих старых друзей — Бердяева, Карташова, епископа Кассиана (Безобразова), архим. Киприана (Керна), Флоровского, Зандера, Зеньковского. Всюду шли споры о церковной политике Москвы. Все больно переживали новые разделения. Я присутствовал на нескольких собраниях Содружества, они проходили бурно, так как перед нами встала новая проблема, которая не существовала до войны. Раньше только те русские сочувствовали нашей работе, которые входили в митрополию, возглавлявшуюся митр. Евлогием. Ни так называемые Карловчане, ни сторонники московской юрисдикции в экуменических встречах не принимали участия. Теперь положение изменилось. Митр. Николай одобрил интерес к экуменизму и те русские, которые следовали за ним, выразили свое желание приехать на наш съезд, тем более, что большинство русских членов Содружества в Англии тоже стали частью московской патриархии. Во главе этих парижан находились члены фотиевского братства, среди них выделялся своими богословскими дарованиями молодой профессор Владимир Николаевич Лосский (1903-1958). Его приезд на нашу конференцию несомненно был бы очень желателен. Но многие старые члены Содружества в Париже не одобряли подобного

сотрудничества. Они не могли забыть того доноса на о. Сергия Булгакова, который в начале тридцатых годов был послан митр. Сергию в Москву членами фотиевского братства. Я делал все, что было в моих силах, чтобы примирить обе партии. Наш лондонский комитет был готов сотрудничать со всеми православными, независимо от их юрисдикций. После долгих переговоров представители обеих ориентаций согласились встретиться в Англии на съезде, но вести общую работу в Париже они не захотели.

Живя в Париже я старался побывать в возможно большем числе русских церквей, чтобы познакомиться с тем, как война отразилась на религиозной жизни эмиграции. В городе и его окрестностях было в то время около 30 приходов. Большинство их принадлежало к юрисдикции константинопольской патриархии, возглавлявшейся митрополитом Владимиром. Собор московской юрисдикции помещался в подвале дома, вблизи мэрии 15 аррондисмана. В нем чувствовалась сильнее исконная Россия. Значительную часть его прихожан составляли старушки, которые, несмотря на годы, проведенные во Франции, казались никогда не покидавшими свою родину. Были среди них и так называемые «советские патриоты», поверившие в коренную перемену сталинизма и мечтавшие вернуться в Россию, были там и ревнители канонов, считавшие, что московская патриархия — единственная законная власть для всех русских.

Совсем иным был приход св. Женевьевы, покровительницы Парижа. В нем собрались профессора, артисты, студенческая молодежь. Службы были по-французски, прекрасный хор сочетал древние и новые напевы. Принадлежность к московской юрисдикции обозначала там не привязанность к матери-Церкви, а указывала на вселенское призвание русского Православия. Сама церковка обреталась в трущобах латинского квартала и находилась в глубине темного двора, окруженного притонами и подозрительными кафе.

Самой оригинальной была церковь о. Евграфа Ковалевского. Он выделялся среди эмигрантского духовенства своими литургическими дарованиями и миссионерскою ревностью. Он шел своим путем, не считаясь с привычными устоями церковной жизни и имел большой успех у французов, но немало было у него и врагов. Служил он с огнем и вдохновением, создав свой ритуал, в котором сочетались элементы древней галликанской литургии с византийским обрядом. О. Евграф переменил много юрисдикций, кончил он свою жизнь епископом Жаном своей общины, не признанной однако другими православными иерархами.[1]

Я убедил моего брата и сестру пойти на его пасхальную

[1] См. Jean de Saint Denis (1905-1970) in memoriam. Paris 1971.

службу, начавшуюся в 8 часов вечера. Его храм на бульваре Огюст Бланки был переполнен молящимися, преимущественно французами. О. Евграф громко, почти выкрикивая, делал свои возгласы. В церкви чувствовалось напряжение, одни горячо молились, другие с недоумением следили за необычайным богослужением, третьи перешептывались и даже подсмеивались. На моего брата все это произвело настолько неприятное впечатление, что он стал торопиться домой; к моему сожалению, я не смог остаться до конца службы. Заутреню мы все отстояли в нашей приходской Введенской церкви, где царила радостная традиционная атмосфера пасхальной службы.

Поездка в Париж показала мне, что православная колония выдержала успешно трудное испытание войны, хотя она и потеряла многих из своих выдающихся представителей. Это, конечно, не могло не отразиться на работе Содружества и на характере летних съездов в Англии. В первые послевоенные годы они происходили в маленьком городке Абингдоне около Оксфорда. На них встречались христиане разных национальностей, профессий, возраста и образования. Состав их был пестр до крайности. Кроме студентов и духовенства, монахов и известных богословов,[2] на них приезжали и целые семейства с детьми и подростками. Особый дух придавала им шумная, мало дисциплинированная молодежь из Парижа, подросшая в годы оккупации и впервые встречавшаяся с англо-саксонским миром. После годов войны, когда все были отрезаны друг от друга, съезды давали возможность общения в мыслях и в молитве и они потому привлекали многих.

Наряду с русскими и англичанами, в съездах участвовали греки, сербы, болгары, православные арабы, копты, армяне, немцы-лютеране, французы-католики. В центре соборной жизни находилась, как всегда, евхаристия, ею начинался каждый день, она обновляла и объединяла всех, привлекала новых членов. Уровень богословских докладов оставался высок, но обсуждение спорных вопросов было лишено той целеустремленности, которую придавал им до войны о. Булгаков. Для него съезды Содружества были ступенями, ведшими к насущной задаче — к установлению общения в таинствах между англиканами и православными, к этому первому шагу для примире-

---

[2] Среди богословов, участвовавших в послевоенных конференциях, следует отметить следующих людей: о. Георгий Флоровский, Лев Зандер, В.В. Вейдле, В.Н. Лосский, о. Василий Кривошеин (р. 1900), о. Антоний Блюм (р. 1914), о. Владимир Родзянко (р. 1915), о. Борис Бобринской (р. 1925), о. Алексей ван-дер-Менсбругге, о. Лев Жилле Михаил Рамзей (р. 1904), (будущий архиепископ Кентерберийский), епископ Джон Роллинсон (1884-1960), Остин Ферар (1904-1968), Лайнол Торнтон (1884-1960), Габриел Хиберт (1886-1963), Херберт Ходжес (р. 1905), Эрик Маскол (р. 1905), Дервас Читти (1900-1971), Доналд Аллчин (р. 1930), Патрик Томпсон (р. 1907).

ния Востока и Запада. После его смерти никто не обладал ни его верой, ни его дерзновением, нужными для продолжения начатого им дела. Кроме того русские участники конференций оказались расколотыми на две юрисдикции, что мешало им говорить с авторитетом. Удельный вес парижской делегации также пострадал из-за отъезда в Америку молодых даровитых богословов С. С. Верховского (р. 1907), о. Александра Шмемана (р. 1921), и о. Иоанна Мейендорфа (р. 1926). Зато большим приобретением для Содружества оказалось участие в его работе двух новых лиц, принадлежавших к московской юрисдикции: одним из них был уже упомянутый В. Н. Лосский. Его доклады на съездах стали их главным богословским событием, другим был доктор медицины Андрей Борисович Блюм, в монашестве Антоний. Он переехал в Англию и в 1948 году принял священство для работы в Содружестве. Вскоре однако он был назначен настоятелем прихода в Лондоне, в 1958 году посвящен в епископы, а затем получил высокое назначение быть экзархом московской патриархии для западной Европы. Его выступления по телевизии, участие в разнообразных международных конференциях и его книги сделали его одним из наиболее известных представителей Православия в Европе и Америке.

Съезды Содружества продолжали быть интересными, часто богословски значительными, но основной вопрос об общении в таинствах после войны на них больше не подымался.

Новым фактором в жизни Содружества сделался после войны лондонский центр — дом св. Василия Великого. Мы с женой поселились в нем и вскоре оказались вовлеченными в кипучую деятельность. Кроме ежемесячных собраний с лекциями, мы устраивали вечерние приемы. Милица, несмотря на свою занятость работой зубного врача в городском госпитале, умудрялась находить время для приготовления импровизированного ужина на 30-40 человек. Эти собеседования имели большой успех. Обычно беседу начинал приглашенный гость. Кто только ни перебывал на них! И греческий митрополит Германос (1872-1951), и лондонский епископ Уонд (р. 1885) и члены парламента, и молодые дипломаты, и моряки, ездившие с конвоями в Россию. Особенно интересны были заграничные гости, которые делились с нами своими переживаниями в оккупированной Европе. Все радовались, что можно было снова встречаться с представителями других наций и вместе искать путей к лучшему будущему. Мы старались предугадать, какова будет роль России и Америки, смогут ли христиане преодолеть свои подозрения и разделения.

Помимо собраний, дом был всегда полон посетителями, как англичанами, так и иностранцами. Среди них к нам неоднократно заходил наш старый знакомый, Норман Спол-

динг (1877-1953). Он был замечательный человек, философ, поэт, отдавший себя идее примирения Востока и Запада.[3] Он верил, что только на духовной основе человечество сможет преодолеть свою вражду. Его особенно увлекала Индия с ее древней религиозной культурой. Он считал, что Запад нуждается в мудрости Востока. Человек со средствами, он основал в Оксфорде кафедру «Восточной Религии и Этики». Но он интересовался не только Индией. Весь Восток, Православие и Россия постоянно привлекали его внимание. В двадцатых годах он помогал издательской деятельности Евразийцев. Содружеству он всегда сочувствовал, обе его дочери были его активными членами. Сполдинг однажды посетил дом Св. Василия и подробно расспрашивал меня о нашей растущей деятельности и моих литературных планах. Они произвели на него такое сильное впечатление, что он загорелся желанием создать в Оксфорде лекторство для изучения православной культуры и экуменический центр, который был бы возглавлен мной и Милицей. Такой центр создать ему не удалось, но план лекторства был одобрен университетом и меня выбрали на этот пост.

Мне было уже 47 лет, когда произошел этот перелом в моей работе. Более 25 лет моей жизни я отдал миссионерской деятельности, сначала как секретарь Р.С.Х.Д. (Движения), а потом англо-православного Содружества. Я потерял надежду на выполнение моего всегдашнего желания посвятить себя так же и академической работе, поэтому неожиданное назначение в Оксфорд я пережил как дар, полученный свыше.

Летом 1947 года я закончил свое секретарство Содружества. Моими преемницами были выбраны гречанка Хелле Георгиадис и англичанка Джоанна Форд. Передав им все дела, я приступил к новым обязанностям лектора по православной культуре в Оксфордском Университете.[4]

Мой переезд в Оксфорд сначала частично разлучил нас с Милицей, так как она не могла оставить свою госпитальную работу в Лондоне. Мы, однако, проводили вместе концы недели и те шесть месяцев в году, когда в университете не бывает лекций. В 1958 году она вышла на пенсию и соединилась со мною, что дало нам возможность осуществить план создания экуменического центра при университете.

---

[3] Автор книг: Civilization in East & West. 1939. The Divine Universe. 1958.

[4] ПРИЛОЖЕНИЕ.

В эти переходные годы я урывками писал книгу о Вильяме Пальмере (1811-1879), выдающемся пионере в деле единения православной и англиканской Церквей. Пальмер был первым богословом, который

поднял вопрос первостепенной важности и большого практического значения, а именно — при каких условиях дозволительно вступить в общение в таинствах тем членам разделившихся общин, которые обладают единством веры. Сам Пальмер всецело принимал православное вероисповедание, но так как он не хотел порывать со своею матерью-Церковью, то его просьба о допущении к святой чаше вызвала глубокое смущение в официальных православных кругах. Непонятый ни русскими, ни греками, Пальмер в конце жизни перешел в римское католичество. (см. мою статью «Англиканский богослов в России императора Николая Первого». Журнал «Путь» № 57, Париж. 1938).

Странная была судьба этого англиканского друга православной Церкви. Глухая стена недоверия и непонимания окружала его всю жизнь. Она преследовала его и после смерти. Он написал много ценных книг, главный его труд был посвящен патриарху Никону (1605-1681). Когда в 1945 году я выписал в библиотеке Британского музея шесть тяжелых томов его исследования раскола, я нашел страницы неразрезанными. За 70 лет, протекших со времени издания книги, ни один человек не заинтересовался ею. Из всех книг, написанных мною, только посвященная Пальмеру осталась в рукописи, я не смог найти издателя для нее. А вместе с тем его переписка с Алексеем Хомяковым (1804-1860) является одним из наиболее ценных документов, выясняющих истинные причины, мешающие примирению восточных и западных христиан, (см. Полное собрание сочинения А. С. Хомякова. Том второй. Москва. Третье издание. 1886).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРЕПОДАВАНИЕ В ОКСФОРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(1947-1966)

Н. Зернов

Оксфорд с первой встречи с ним осенью 1926 года покорил меня своей одухотворенной красотой. Его прекрасный собор с надгробными памятниками ученым, рыцарям и знатным дамам, его средневековые церкви, его колледжи с парками и садами, толпы студентов в их черных академических накидках (гаун) — все это осталось в моей памяти, как видение иного чудесного мира. Мне тогда казалось, что он навсегда останется закрытым для меня. В 1930 году, он неожиданно открыл передо мною свои тяжелые старинные врата. Я провел в нем два года, работая над докторской диссертацией. В этот короткий срок я не имел возможности глубже войти в сложную жизнь университета. Двадцать лет после моей первой встречи, в 1947 году, я снова вернулся в Оксфорд, на этот раз — одним из преподавателей. Мне представлялось, что теперь я смогу всецело отождествить себя с университетом и найду в нем широкое поле для применения моих сил. Эти ожидания оправдались лишь отчасти. Я вскоре убедился, что мне, человеку пришедшему со стороны, нелегко было проникнуть в замкнутый круг той элиты, в руках которой находилось управление колледжами.

Оксфорд сочетает два начала, типичные для общественной жизни Англии; широкую демократичность и продуманную иерархичность. Все преподаватели имеют степень магистра и право голоса на собраниях «конгрегации». Все решения, разработанные в различных комитетах должны получить одобрение конгрегации, которая регулярно созывается во время занятий в университете. Однако, за исключением спорных вопросов, конгрегация принимает обычно без подробного обсуждения предложения выработанные в комиссиях, доверяя опыту лиц, избранных для участия в их работе.

Эта демократичность балансируется автономностью колледжей, только их «фелло» (содружники преподаватели) имеют

право принимать участие в их управлении. Таким образом, фелло составляют правящий класс, своеобразную аристократию университета. Особенно влиятельной группой среди них являются главы колледжей. Они принадлежат к очень разнородным профессиям, среди них можно встретить ученых с мировыми именами, государственных деятелей, дипломатов, лиц с административным опытом. Их участие в жизни университета связывает его с общими проблемами страны. Правительство часто обращается за помощью к ним, поручая разработку государственных проектов, назначая их председателями «королевских» комиссий.

Так как я был избран сначала лишь на три года и мое лекторство носило экспериментальный характер, то я не оказался в числе фелло моего колледжа Кибл. Однако, я получил приглашение участвовать в трапезах с фелло и таким образом мне удалось хорошо узнать многих из них. В последний год моего преподавания я был выбран старшим фелло другого колледжа, Святого Креста. Это дало мне возможность познакомиться с административной стороной жизни университета, о которой я раньше мало знал.

Оксфорд и консервативен и открыт новым идеям. Эту двойственность я испытал на моей судьбе. Восточное христианство и православная культура не входили раньше в круг предметов, преподававшихся в университете. Инициатива создания лекторства по этому предмету исходила от частного лица, Нормана Сполдинга. Моей задачей было доказать, что это лекторство, связанное с двумя факультетами, заслуживает постоянного места в программе и это мне удалось под конец сделать.

Свою работу в Оксфорде я начал с посещения профессоров богословского и исторического факультетов, выбравших меня в число своих членов. Я хотел заручиться их советами в выборе тем для моих лекций и семинаров. К моему удивлению я услышал от них, что мне предоставлена полная свобода в моем преподавании. Единственно, что требуется от меня это извещать канцелярию университета, где, когда и на какую тему я предполагаю читать мой курс. Этой независимостью я пользовался в течение 19 лет лекторства в Оксфорде.

Предоставленный себе, я создал следующую систему: для богословского факультета я выбирал темы связанные с различиями между Востоком и Западом в их истолковании Христианства. Кроме того я говорил о представителях религиозно-философской мысли в России: о Хомякове, Достоевском, Соловьеве, Булгакове, Бердяеве и других христианских мыслителях. Для исторического факультета я читал лекции о тех периодах русской истории, которые выявляли значение Церкви: как, например, крещение Руси в X веке, споры нестяжателей и иосифлян в XУ столетии, старообрядческий раскол

в XVII-ом, церковные реформы Петра Первого. Больше всего слушателей привлекали мои лекции об иконах, которые я обильно иллюстрировал диапозитивами на экране.

Удалось мне одно нововведение: интерконфессиональные семинары. Они имели значительный успех и вошли в традицию университета. Я стал приглашать для совместного руководства ими англиканских и римо-католических богословов. До моей инциативы подобное сотрудничество считалось невозможным. Эти семинары были примерами примиряющей роли восточных христиан среди расколовшихся западных вероисповеданий.

Я стремился познакомиться лично с каждым из моих студентов, приглашал их к себе на чай, оставлял время после лекций для беседы и вопросов. Мне обычно удавалось устанавливать дружеские отношения с моими слушателями. Многие из них, желая лучше понять Православие и его роль в русской культуре, приходили на наши церковные службы и так прикасались к восточной стихии христианства.

Первые три года моего преподавания промелькнули быстро. Встал вопрос о моем будущем. Сполдинг надеялся, что университет возьмет на себя оплату моего лекторства. Это предложение нашло сочувствие в академических кругах, но не все оказались расположены ассигновать на это нужные средства. Был найден компромисс, — Сполдинг согласился продолжить мою стипендию еще на год, а после этого я был избран уже на семь лет и мое лекторство было включено в регулярный бюджет университета. Оксфорд стал первым высшим учебным заведением Англии, сделавшим изучение восточного христианства частью своей программы. Ему потребовалось несколько лет, чтобы прийти к этому решению.

Помимо академической деятельности Оксфорд привлекал меня своими людьми. Он дал мне возможность соприкоснуться с интеллектуальным цветом Англии. Всю мою жизнь я интересовался психологией и мировоззрением других людей. Среди преподавателей университета я встретил немало блестящих и оригинальных личностей, специалистов по всем отраслям знания. Лучшим способом знакомства с ними было приглашение их на обед в колледже. Эти вечерние трапезы происходят в торжественной обстановке, в больших залах, где собираются как профессора, так и студенты. Фелло обедают за особым «высоким» столом. Сначала они и их гости встречаются в отдельной комнате, когда студенты займут свои места за столами, преподаватели входят в зал, в своих академических мантиях, процессией, возглавляемой начальником колледжа. Трапеза начинается и оканчивается молитвой. После обеда фелло переходят в третью комнату, в ней все снимают мантии, что дает право начать курить. Обычно эта последняя часть вечера проходит в оживленной беседе за стаканом портвейна. Разные колледжи хранят свои обычаи

для приема гостей. Эта любовь англичан к традиции, часто большой древности, придает университетской жизни своеобразную прелесть.[1]

В Оксфорде культивируется искусство легко и остроумно говорить, не затрагивая острых тем, могущих вызвать разногласия. Деньги, женщины и личные пересуды обычно исключаются из этих дружеских бесед. Обедая годами с англичанами, участвуя в их разговорах, я удивлялся, как редко они осуждали друг друга и передавали сплетни. Чувство уважения и доброжелательности к коллегам преобладали. Конечно, эти положительные черты имели и обратную сторону. Иногда беседы становятся поверхностными, люди с большим опытом и блестящим умом говорят о пустяках, чтобы не касаться спорных вопросов. Я не мог уложиться в эти рамки. Меня интересовали мои гости, как личности. Я хотел понять их, поделиться с ними моими убеждениями, проникнуть в их мировоззрение. Мои попытки начать более значительный разговор иногда удивляли моего собеседника, но в большинстве случаев они охотно шли мне навстречу и у меня создался круг близких друзей. Я убедился, что за редкими исключениями только люди с христианским опытом готовы были говорить на основные темы жизни. Лица неверующие обычно избегают их и ограничивают свое общение с другими обсуждениями профессиональных интересов или спортивными рассказами.

Для большинства я был вероятно странным и мало понятным пришельцем. Я был иностранец, поздно начавший свою академическую карьеру, преподававший новый предмет. Моя предыдущая жизнь, мой опыт революции, мои убеждения с трудом умещались в обычные рамки. Несмотря на это я ни разу не почувствовал ни неприязни, ни предубеждения против меня. Инициатива для сближения однако, всегда исходила от меня, но в ответ на нее я часто получал подлинное расположение и дружбу. Оксфорд принял меня с терпимостью и недоумением, смешанным с признанием некоторых из моих достижений.

Начало моего преподавания совпало с периодом, когда университет начал входить в нормальное русло занятий после потрясений войны. Молодые профессора и студенты недавно вернулись с фронта. На них еще лежал отпечаток пережитой катастрофы. Некоторые обрели веру, у других же война произвела духовное опустошение. Коммунизм, фашизм и либерализм потерпели крушение. Большинство членов университета были высоко культурными людьми, признавав-

---

[1] Академическая жизнь в Оксфорде полна красок. Устраиваются торжественные собрания, процессии, приемы. В особых случаях, доктора университета, вместо обычных черных тог, надевают мантии разных цветов, согласно их дисциплинам.

шими нравственные устои христианства, но они предпочитали называть себя агностиками. У них отсутствовало понятие о конечной цели жизни. Они сами никуда не шли и не хотели никого вести за собою. Профессора любили свои предметы, часто были хорошими учителями, с вниманием относились к студентам и добросовестно исполняли свои обязанности. Меня огорчала из бескрылость, их трагическое непонимание значения того дара, который принесла человечеству вера в Боговоплощение.

Оксфорд был благоуханный цветок, выросший на почве христианского благовестия. На Европу надвигалась тьма нового варварства, порожденного людьми, отрекшимися от Бога. Но этого не сознавали, за немногими исключениями, те, кому была вручена судьба университета. Вековые традиции Оксфорда стали ломаться в последние годы моего преподавания, но описание новых веяний не входит в тему этой главы.

В заключение я хочу упомянуть нескольких людей, с которыми у меня возникла дружба или установилось более тесное сотрудничество. Среди них первое место принадлежало известному писателю Клайду Луису (C. S. Lewis) (1898-1963). Хотя и ровесники, мы были во многом противоположны друг другу. Наше воспитание, темперамент, профессиональная карьера не были ни в чем сходны. Луис был типичный оксфордский «дон» (слово означающее профессора в студенческом словаре). Он всю свою жизнь провел в Оксфорде, преподавая английскую литературу в колледже св. Магдалины, был большим специалистом в этой области, но широкую известность приобрел во время войны богословскими писаниями. Он создал новый жанр апологетики, сочетавший богатство воображения с строго продуманными богословскими аргументами и проницательным психологическим анализом. Его рассказы раскрывали христианское учение о человеке на фоне фантастических межпланетных путешествий или под видом переписки двух дьяволов, в которой более опытный черт наставляет своего начинающего племянника.

Сам Луис был не только остроумен и блестящ, но обладал также и подлинным религиозным опытом, добытым им после лет отрицания истины христианства. Внешне он напоминал скорее фермера, чем профессора, философа и поэта. Небрежно одетый, с крупным, красным лицом, он любил громко смеяться за кружкой пива в кругу друзей. Но за этой прозаической наружностью скрывался человек рыцарского благородства и глубокой духовности, умевший проникать в тайники души. Дружба с ним была для меня источником неиссякаемого вдохновения. Жена моя тоже полюбила его. Он часто приходил к нам на ужин. Иногда мы приглашали студентов встретить знаменитого писателя. Он был увлекательным собеседником и все ловили каждое его слово.

Жизнь Луиса сложилась необычайно. В конце первой мировой войны он дал обещание умиравшему другу взять на свое попечение его пожилую мать. Луис свято выполнил свое обязательство, но оно оказалось гораздо более трудным, чем он ожидал. Мать друга была женщиной с придирчивым характером, она постоянно требовала услуг Луиса. Жила она очень долго и умерла лишь в 1951 году. Более тридцати лет своей жизни он отдал заботам об этой нелегкой особе. Все его друзья считали Луиса убежденным холостяком, но и тут он удивил всех, женившись в 1957 году на американке Джой Давидман (1915-1960).

Она была писательница еврейского происхождения, обращенная в христианство его же книгами. Брак был совершен в госпитале, у кровати тяжело больной женщины. Доктора предсказывали ее скорую смерть от рака костей обеих ног. Луис хотел облегчить тревогу умирающей за будущее ее двух мальчиков, сыновей от первого брака. Луис обещал ей взять на себя их воспитание. Но все вышло по иному. Госпожа Давидман чудесным образом оправилась, выписалась из госпиталя и даже смогла совершить свадебное путешествие в Грецию. Брак дал им обоим подлинное счастье. Луис умер от рака крови через три года после смерти жены. В своей последней книге он описал ту агонию, которую он пережил потеряв жену. Духовный кризис, испытанный им, углубил его веру.

Луис был самой яркой звездой на моем горизонте. Совсем иным был другой выдающийся профессор английской литературы, с которым познакомился я. Это был лорд Дэвид Сесил (р. 1900). Аристократ по происхождению и по своему духовному облику, он был таким же и по наружности.

Высокий, худой, он казался отрешенным от повседневности и погруженным в мир своих идей. Род Сесилей выдвинулся в XVI веке и с тех пор его представители продолжали играть видную роль в судьбах своей страны. Один из дядей лорда Дэвида был лидером консервативной партии в Палате Лордов, другой был епископом, третий — общественным деятелем, большим другом русской Церкви. Сам Дэвид был талантливым литературоведом, кроме английской литературы, он хорошо знал и русскую. Мы часто говорили с ним об описании родового дворянства в романах Льва Толстого. Лорд Дэвид находил много общего у русской и английской аристократии, но была между ними и существенная разница. Крепостное право наложило свое клеймо на наш правящий класс. Рабовладелец, лишая других свободы, сам отрекается от нее.

Одновременно с Лордом Дэвидом, я познакомился с его другом, Исаем Марковичем Берлином (р. 1909). Еврей по происхождению, он был привезен еще мальчиком в Англию из Риги. Здесь он получил свое образование и, благодаря

своим исключительным способностям, быстро выдвинулся и стал неотъемлемою частью Оксфорда. Трудно было представить большую противоположность, чем английский аристократ и выходец из Прибалтики. Лорд Дэвид был почти невесом, весь устремлен ввысь, Берлин широк в плечах, крепко укоренен на земле. Но это первое впечатление весомости сразу исчезало, как только Берлин начинал говорить. Какую бы тему он ни затрагивал — литературную, политическую, философскую — он покорял своих слушателей, увлекая их за собою. Говорил он с неподражаемой быстротой и это особенно подчеркивало блеск и оригинальность его мысли.

Несмотря на остроту своих определений и откровенность своих высказываний, Берлин не имел врагов. Он был всегда готов помочь людям и обладал редкой благожелательностью. Он достиг всех возможных отличий: профессорства в одном из лучших колледжей, титула сэра, а в 1967 году он был выбран «президентом» вновь основанного колледжа Ульфсона, для которого он собрал крупные средства среди своих многочисленных английских и американских друзей.

Встречи с ним были для меня всегда интеллектуальными праздниками. Мы несколько раз подымали тему о судьбе еврейского народа, избранного по учению Церкви. Берлин был агностик, но его взгляд на жизнь был окрашен религиозным чувством, унаследованным им от своих ортодоксальных предков. Он был большим ценителем русской поэзии, особенно он любил Иннокентия Анненского (1865-1909) и Анну Ахматову (1889-1966), которую он встречал в России.

Кафедру русского языка и литературы в мое время занимал Сергей Александрович Коновалов (р. 1900). Сын известного фабриканта, либерального общественного деятеля и министра Временного Правительства, он напоминал русского боярина своей крупной, немного тяжелой фигурой. Кафедра была создана лишь в 1945 году и С. А. много потрудился в этой области. Ему удалось развить работу, число студентов и преподавателей сильно возросло. При нем университет отметил заслуги ряда русских, наградив Ахматову, Чуковского, Шестаковича и проф. Лихачева почетными докторатами.

Кроме Коновалова, в Оксфорде преподавали еще князь Дмитрий Дмитриевич Оболенский (р. 1918) и Надежда Даниловна Городецкая (р. 1901). Оболенский перешел в Оксфорд из Кембриджа, где он получил докторскую степень за работу о Богомилах. Он вскоре стал профессором средневековой русской и византийской истории. Эта кафедра была специально создана для него, так высоко ценились университетом его личность и знания. Он и его жена, Елизавета Николаевна урож. Лопухина, выросли в эмиграции, но остались верными членами православной Церкви и представителями русской культуры. Мы много сотрудничали на церковном поприще.

Большую поддержку в этой же области я получал от Н. Д. Городецкой. Ее академическая судьба сложилась необычайно. Из-за революции она не успела получить аттестат зрелости. В Париже она занималась журналистикой и литературным трудом. Я познакомился с ней через Р.С.Х.Д. и мне удалось устроить ее на год в один из женских богословских колледжей в Бирмингаме. Ее успехи в занятиях были таковы, что ее друзья нашли для нее стипендию в Оксфорде, где она получила степень бакалавра литературы за диссертацию «Уничижение Христа в русской мысли». Одной из особенностей оксфордского университета является возможность, в исключительных случаях, лицу, не имеющему нужных аттестатов, представить письменную работу для соискания степени баккалавра. Этой возможностью и воспользовалась Городецкая. В 1938 году она переехала в Лондон, где продолжала научно работать, участвуя одновременно в работе Содружества. У нее родилась идея создать центр для подготовки православных девушек из разных стран для религиозной и общественной деятельности. Этот план нашел сочувствие среди руководителей богословских колледжей, расположенных в Селли Ок близ Бирмингама. Несколько православных иерархов дали свое благословение на это дело. В начале 1939 года был куплен для этой цели небольшой дом в Селли Ок, были выбраны студентки, и назначено открытие на 7 октября. Война разрушила все планы.

В 1941 году Н. Д. вернулась в Оксфорд, а в 1945 получила там степень доктора за работу о св. Тихоне Задонском (1724-1738) и в том же году была приглашена преподавать в университете. В 1956 она перешла в Ливерпуль, где была первой женщиной профессором, получив кафедру русского языка и литературы. Попав в Оксфорд я нашел в лице. Н. Д. опытного советника и благодаря ее помощи осуществился план создания экуменического центра в Оксфорде.

Многому я научился в Оксфорде, многое я получил от знакомства с его преподавателями, но больше всего дала мне дружба с верующими профессорами и студентами разных вероисповеданий. Общение с ними углубило мою религиозную жизнь и помогло лучше понять вселенскую природу Церкви.

Заканчивая описание моей работы в Оксфорде, я хочу упомянуть о моей литературной деятельности. В течение 19 лет преподавания, я постоянно писал. Кроме многочисленных статей, я издал несколько книг. В 1952 году на русском языке вышла в Париже «Вселенская Церковь и Русское Православие», ее целью было ознакомить эмигрантскую молодежь с церковной историей и задачами экуменического движения. В том же году появилась на английском языке книга «Реинтеграция Церкви», в которой я развивал мысли о. Булгакова о месте евхаристического общения в деле примирения христиан. В 1954 году была напечатана в Дании

«Русская Церковь и Церкви Севера». Она была переведена на шведский язык в 1956 и на финский в 1958. В 1956 в Дели в Индии вышла книга «Христианский Восток». В ней я описал Церковь малабарских христиан, православную по духу и вере, но не находящуюся еще в общении с церквами византийской литургической традиции. В 1961 был издан мой труд «Eastern Christendom» — иллюстрированный обзор восточного христианства. Эта книга была переведена на итальянский и испанский языки. В том же году вышла другая книга «Orthodox Encounter», в которой я сравнивал восточный и западный подход к христианству. В 1963 году было издано мое исследование роли русской интеллигенции в судьбах Православия в России под заглавием «Русский Религиозный Ренессанс XX века». В этой книге я рассказал о том религиозном пробуждении, которое дало христианскому миру таких выдающихся богословов и философов как Флоренский, Булгаков, Бердяев, Струве, Франк, Зеньковский, Вышеславцев, Иван и Владимир Ильины, Николай и Владимир Лосские, Карсавин, Флоровский, Арсеньев и Зандер. Р.С.Х.Д. и Англо-Православное Содружество и вся церковно-общественная работа моего поколения в эмиграции находилась в орбите этого религиозного возрождения. Описывая его я хотел также выразить мою признательность этим замечательным людям, большинство которых я лично знал.[2]

В 1966 году я вышел на пенсию, моим преемником был выбран молодой богослов Тимофей Уэр (р. 1934), принявший Православие в 1958 году и ставший иеромонахом Каллистом. В том же году, когда я окончил преподавание я получил степень доктора богословия, высшее академическое отличие, даруемое оксфордским университетом.

---

[2] Эта книга переведена на русский язык и готовится к изданию.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ДОМ СВ. ГРИГОРИЯ И СВ. МАКРИНЫ В ОКСФОРДЕ

Н. Зернов

Преподавание в Оксфордском университете было для меня продолжением миссионерской работы по сближению восточных и западных христиан, но уже в рамках академической жизни.

Уходя с поста секретаря Содружества св. Албания и пр. Сергия я имел удовлетворение передать моим преемницам дом св. Василия в Лондоне, созданный моею женою и мною. Переехав в Оксфорд, я сразу стал исследовать возможности для устройства подобного же экуменического центра на новом месте. Идея эта возникла у меня еще в 1930 году, когда я писал докторскую диссертацию. Тогда моя попытка заинтересовать этим планом церковные и академические круги окончилась полной неудачей. В то время православная Церковь была известна только ограниченному числу лиц, а те немногие, которые интересовались сближением с ней, смотрели на Константинополь, как на верховный авторитет для восточного христианства. Русское Православие казалось многим обреченным на исчезновение.

Вернувшись в Оксфорд через 17 лет, я нашел иную картину: русская Церковь вновь вошла в общение с внешним миром, Содружество проделало значительную работу и среди профессоров и студентов было немало наших членов, одновременно возросло и число православных в городе. Тут были и греки киприоты, приехавшие в Англию в поисках заработка и лица разных национальностей, не желавшие возвращаться в свои страны, захваченные коммунистами. Среди них было особенно много сербов.

Поселился в Оксфорде и необычайный православный священник — архимандрит Николай Гиббс (1886-1963), бывший воспитатель цесаревича Алексея (1904-1918). Он привлекал всеобщее внимание своей оригинальной наружностью. С седой бородой и длинными волосами, он одевался как до-революционный русский батюшка, носил камилавку, длинную рясу, в руке его был посох. Ребятишки принимали его за деда-мо-

роза, студенты, читавшие «Братья Карамазовы», считали его олицетворением старца Зосимы, но в действительности это был природный англичанин, однако связавший свою судьбу с Россией. Он разделял изгнание царской семьи, но избежал смерти. Ему удалось вернуться в Англию через Дальний Восток. В 1934 году он стал православным и принял священство. Одну из комнат своего дома он обратил в часовню, где и совершал богослужения. У него было много ценных икон и других вещей вывезенных из России. Его часовня однако не могла вместить всех желающих помолиться и Содружество устраивало время от времени служение православной литургии по английски в одной из англиканских церквей, на которую собиралось много студентов, включая греков, не имевших своего прихода в Оксфорде, несмотря на свою многочисленность.

Таково было положение, которое я застал по приезде. Необходимость в расширении православной деятельности стала мне очевидной и я вступил с этой целью в переговоры с православными преподавателями университета и с лицами благожелательно настроенными к нашей Церкви среди инославных. В результате моих усилий, в январе 1948 года в кабинете главы Кибл колледжа, Харри Карпентера (р. 1901), будущего епископа Оксфорда и известного богослова, собралось около 20 человек для обсуждения вопроса о создании обще-православного дома в Оксфорде. Все собравшиеся выразили свое одобрение этого начинания. Я предложил назвать центр «домом св. Григория Нисского (330-395)», брата св. Василия Великого, покровителя подобного же центра в Лондоне. Наше собрание случилось в день памяти этого святого и его жены св. Теосевии. Мой проект был одобрен и все участники разошлись с чувством, что первый шаг к осуществлению нужного дела был сделан.

К сожалению, этот оптимизм не был оправдан, двое из влиятельных православных профессоров вскоре обнаружили свое нежелание помочь центру. Наладить сотрудничество между греками и русскими оказалось более трудным, чем мы ожидали. Греки имели средства, русские — инициативу, но греки тогда не были склонны жертвовать на обще-православное предприятие, не окрашенное их национальными интересами. В течение нескольких лет, несмотря на все трудности, комитет, созданный на совещании, все же продолжал собираться. Однако его члены постепенно пришли к заключению, что без содействия западных друзей, они одни основать обще-православный центр никогда не смогут. Инославные охотно отозвались на призыв о помощи. Был создан новый комитет с участием англикан, римо-католиков и протестантов. Его председателем был выбран в 1957 году каноник Эрик Абботт (р. 1915), новый глава Кибл колледжа. Человек с исключитель-

ным даром объединять и вдохновлять людей, он сдвинул дело с мертвой точки. Было составлено обращение к жертвователям, объясняющее задачи дома. Он теперь должен был быть не только обще-православным, но и экуменическим центром.

Начали поступать средства, решающим фактором в сборе денег явилась передача в распоряжение комитета 2000 фунтов профессором Городецкой. Эта сумма была получена от продажи дома св. Макрины в Бирмингаме, так как планы его основания не осуществились из-за войны. Вместе с этими деньгами было собрано всего около 5000 фунтов. 23/10 января 1959 года в день памяти св. Григория Нисского была куплена аренда за 3500 фунтов на дом на Кентерберийской улице. Он был назван домом св. Григория и его сестры св. Макрины. Потребовалось 11 лет неослабных усилий, чтобы достичь желанной цели. Хотя дом был снят всего на 10 лет, труды не пропали даром. В нем сразу началась оживленная деятельность. Образовался русский приход, в одной из зал была устроена часовня, в ней начались регулярные богослужения. Другая зала была отведена для лекций и собраний. Остальное помещение было использовано как студенческое общежитие. Плата за комнаты покрывала расходы по дому. Все члены комитета отдавали много сил и времени на устройство центра. Милица, выйдя в отставку, взяла на себя заведование общежитием. Ее бесплатные услуги дали возможность откладывать деньги на покупку дома по истечении 10-летнего срока аренды.

Собственником дома стало вновь созданное благотворительное общество, его членами могли быть христиане любого вероисповедания. Целью этого общества было углубление взаимного понимания между восточными и западными христианами. Комитет попросил меня быть директором дома, позднее Дональд Аллчин (р. 1930), англиканский священник и богослов, сделался моим со-директором. Первым настоятелем прихода был ученый афонский монах о. Василий Кривошеин, вскоре возведенный в сан епископа Брюссельского. Его заменил англичанин о. Кирилл Тэйлор, а потом другой англичании и мой преемник по преподаванию православного богословия в Оксфорде, архимандрит Каллистос Уэр. Несмотря на малочисленность русской колонии, приход оказался притягательной силой для других православных, — греков и сербов. Англичане тоже начали приходить на службы и петь в хоре. Несколько из них присоединились к православной Церкви. Благодаря участию в жизни прихода преподавателей университета он вскоре стал известен в академических кругах. Молодежь, заполняющая часовню, сделала Оксфордскую церковь отличной от многих других. Постепенно, кроме церковно-славянского, были введены в богослужение и греческий и английский языки. Сотрудничество греков и русских, редкое в Европе и Америке, помогает православным в Оксфорде прео-

долевать национальную рознь, так часто мешающую их духовной и литургической жизни.

Также успешно развилась и академическая деятельность дома. Лекции и собеседования начали привлекать как студентов, так и другие слои населения и часто большая зала не могла вместить всех слушающих. Среди докладчиков были самые известные профессора университета.

В 1969 году в истории дома произошло важное событие. Он был куплен вместе с соседним домом. Эта покупка обошлась в 28,000 фунтов; 18,000 были собраны среди друзей или же получены от умелой эксплуатации помещения в течение предыдущих десяти лет. Недостающие 10,000 были даны в долг без процентов Костой Каррас (р. 1938), молодым греком, окончившим Оксфордский Университет и принимающим живое участие в создании православного центра в Оксфорде.

Эта покупка открыла новые возможности для роста работы. Наметились планы постройки церкви в саду обоих домов[1], устройство библиотеки, создание стипендий для богословов, интересующихся сближением восточных и западных христиан.

Основание домов св. Григория и св. Макрины представляется мне одной из наиболее полезных задач, осуществленных моей женой и мною. Конечно, мы ничего не могли бы сделать без помощи сотрудников и жертвователей. Их имена написаны на большой доске, висящей при входе в дом св. Григория. Я верю также, что успех дела связан с тремя небесными покровителями Григорием, Макриной и Теосевией. Их икона, написанная талантливым иконописцем Тамарой Ельчаниновой, украшает лекционный зал. Новый экуменический центр сделал возможным для православных участвовать, наряду с другими христианами, в жизни университета, собирающего учащуюся молодежь со всех концов света. Многие из тех, кто попадает в эти дома, становится другом православной Церкви, столь нуждающейся сейчас в искренних доброжелателях.

---

[1] Церковь Благовещения была построена в 1973 году на средства собранные как среди православных разных национальностей, так и среди инославных друзей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РУССКАЯ СТУДЕНТКА

М. Лаврова-Зернова

Маленький пароходик «Сиркасси» уносил меня к далеким берегам Франции в марте 1921 года.[1] Мне только что исполнился 21 год, я покидала родину совершенно одна. В кармане у меня была чудом полученная виза и 100 франков, оставшиеся после покупки билета до Марселя из той небольшой суммы, которую мои героические родители собрали от продажи последних, имеющих какую-либо ценность вещей.

Не беженкой уезжала я из независимой грузинской республики. Я ехала учиться, влекомая традиционной жаждой знания русских студентов и студенток, не боявшихся голода и холода ради «вступления в Храм Науки». Когда я простилась с родителями в Тифлисе, я оставляла их в мирной стране, открытой Западу. Неожиданно и грозно обрушился между нами «железный занавес»,[2] и я очутилась в Батуме в волне беженцев.

Все время пути я сидела на высоком остром носу «Сиркасси» и мне казалось, что это ковер-самолет несет меня. Голова кружилась от фантастики этого полета и не верилось, что я отрываюсь от родины, лишь сердце сжималось от страха за дорогих родителей. Мой ковер-самолет влек меня в полную неизвестность, мимо всех первых этапов русского рассеяния, мимо Константинополя, Сербии, Германии, Чехии, прямо во Францию, будущий центр русской диаспоры.

Там начались долгие годы моей борьбы за высшее образование. Мой путь не был исключением. Сотни молодых русских эмигрантов моего поколения прошли через те же мытарства и многие из них впоследствии внесли творческий вклад в научные достижения тех стран, которые их приняли. Глядя на мою жизнь в эти годы учения, мне ясно, что удалось мне осуществить мои задачи не только благодаря упорной настой-

---

[1] См. историю моего отъезда, а также отъезда семьи Зерновых в книге «На Переломе».

[2] Тифлис был взят 25 фев. 1921 г. красными войсками.

чивости, но и благодаря той разнообразной помощи, которая неизменно мне посылалась в самые трудные моменты.

В Марселе я взяла самую дешевую комнату в захудалом отельчике и поспешила послать мое единственное рекомендательное письмо в Париж к старой русской эмигрантке Гуковской. Ответ пришел скоро, но увы, она советовала оставаться на юге... Это был неожиданный удар, я растерялась. Однако, к счастью, в Марселе все еще функционировало старое русское консульство, и я отправилась туда за советом. Там я встретила даму, ищущую нянюшку к своей годовалой дочери. Для бедной Милицы «все были жребии равны». Мадам де Сабле принадлежала к аристократической французской семье, живущей в Экс-ан-Прованс. Жалованье мое было маленькое, потянулись длинные, пустые дни. Французы мной не интересовались, я с ними и не ела, целыми днями возила колясочку по бульварам, копила свои гроши и строила планы ехать в Монпелье, где был медицинский факультет. Де Сабле не пускали меня, говоря, что никто во Франции не учится без денег, но я все же от них уехала ранней осенью на сбор винограда. Я воображала, что заработаю много денег для начала ученья.

Как раз в это время моя сестра Нина направлялась к своим друзьям в Германию и мы должны были встретиться с ней в Марселе. У нас был всего один день, а мы так давно не видались, так много надо было переговорить и обсудить. Свидание наше ознаменовалось странным происшествием. На пароходе ехал старый русский генерал. Во время путешествия он познакомился с Ниной и очень к ней привязался. Встретя на пристани и меня, он захотел отпраздновать наше свидание и пригласил нас в ресторан. В старое дореволюционное время он видно часто бывал заграницей и жил там широко. Он угостил нас на славу, мы пили за успех наших молодых жизней... Но конец нашего завтрака был плачевный: старик не рассчитал и у него не хватило денег — большая часть моих сбережений пошла на уплату счета и я никогда больше не слышала о нашем бедном генерале.

Отправив Нину, я поехала в Монпелье. Денег у меня оставалось как раз на два дня в самом дешевом отеле. На следующее утро со страхом я пошла наниматься на сбор винограда. На площади было масса народа. Толстые владельцы виноградников нанимали большие группы. Все, как я узнала, должны были спать вместе в сараях, а было много среди них пьяниц и бродяг. Скрепя сердце я пошла обратно в отель. На следующее утро на площади не было почти никого, но, о счастье, собственники небольшого виноградника искали трех помощников. Они с радостью обещали, что я буду спать в их доме, а двое других были «клошары» (бродяги) муж и жена. Они спали в сарае, вечно ссорились и к вечеру выпивали.

Работать мне с непривычки было очень тяжело. Вставая

до восхода солнца, до самого заката мы резали грозди крупного ароматного винограда. Большого капитала я не накопила, но навсегда сохранила память об этом времени беспрерывного, все исключающего физического труда, насквозь пропитанного солнцем. В Монпелье мне надо было искать другого заработка. Я взяла временную работу основательной уборки квартиры одного профессора.

Теперь когда вспоминаешь прошедшую жизнь, удивительными кажутся эти мои первые шаги — будто ангел хранитель, по молитвам родителей, направлял их к исполнению самого важного. Нужно же мне было не поехать сразу в Париж, нужно было попасть в Монпелье и работать именно у этого профессора!

Убирала я их квартиру с величайшим старанием, чем возбудила интерес к себе хозяйки дома. Она была так мила, что я поведала ей мои заботы. Родителям моим, в короткий период некоторых льгот, удалось уехать из Тифлиса. Они находились в Константинополе и не могли получить визу во Францию без поручительства кого-нибудь из французов. К моей неописуемой радости и без всякой с моей стороны просьбы, эта семья поручилась за них.

Поверила я им и вторую мою «невозможную» затею — учиться медицине. И тут эти добрые люди нашли одну бедную вдову, которая была готова дать мне кров и стол за помощь по дому. Я уже собиралась поступать в университет, как неожиданно пришло письмо от Гуковской, предлагавшей мне освободившуюся в ее домике в окрестностях Парижа, комнату, вместе с тарелкой супа по вечерам. Я, конечно, с радостью и благодарностью приняла приглашение и помчалась в Париж.

Там, с помощью Гуковской, нашлась русская женщина-врач, которая научила меня общему массажу. Неофициально делая его для русских, я весь год училась в школе и стала дипломированной массажисткой. С тех пор эта специальность позволяла мне распределять работу для заработка в неучебные часы. Вначале большинство моих клиенток были русские дамы, у которых были еще деньги. Я делала им общий массаж для похудения. Только худела больше я сама, а мои пациентки, предаваясь сидячему образу жизни и лакомствам, редко теряли надобность в моих услугах.

Комитет Федорова распределял небольшие стипендии из средств, собираемых среди русских беженцев. Когда узнали, что я хочу учиться медицине, мне отказали, говоря, что недоучусь семи лет, выйду замуж, деньги будут пропащими. Я решила учиться, продолжая зарабатывать массажем и переехала в Париж в маленькую каморку под крышей, без всякого отопления, с каменным полом и окошком в небо. Таких «мансард» много в старых французских домах — они предназначались для прислуги. Поступая в университет мне надо было

решить трудный вопрос: начинать ли сразу медицинский курс для получения диплома для иностранцев или сначала сдавать экзамены на французский баккалореат, так называемое «башо», славящееся своими провалами, но дающее возможность получения диплома с правом практики во Франции. Тогда была у нас всех жива надежда вернуться на родину, я решила учиться на диплом для иностранцев.

Первый год был особенно трудным. С шести часов утра я шла на массаж, после него весь день проходил на обязательных лекциях и практических занятиях.[3] Чтобы «свести концы с концами», я экономила на всем, включая сантимы на метро. По вечерам, приходя в холодную мансарду, в изнеможении я валилась на жесткую койку. На чтение учебников не оставалось никаких сил.

В конце года, чтобы получить удостоверение, необходимое для продолжения медицинских занятий, надо было выдержать все четыре подготовительные экзамена. В последний месяц я прекратила всякий заработок и засела за книги. Я работала с величайшим напряжением всех моих сил, в каком-то самогипнозе. Например накануне экзамена физики у меня оставалась еще одна большая глава, даже никогда не прочитанная. С нечеловеческим усилием я «пробежала» ее, именно она досталась мне на экзамене и я с ясностью вспомнила ее во всех деталях. Результаты экзаменов превзошли все мои ожидания. С гордостью понесла я их в комитет Федорова и мне определили половину и без того маленькой стипендии.

Я, продолжала учиться и подрабатывать массажем. Это было не легко, кроме работ в анатомичке и лекций, необходимо было заниматься дома. Мне стали попадаться чисто медицинские случаи массажа. Часто пациенты говорили мне, что у меня «магические» руки. Позже я выдержала конкурс на «экстерна», что дало мне возможность проходить клинические работы не в толпе студентов, а неся ответственность, как за установление истории болезни и диагноза, так и за лечение.[4] Мой первоначальный интерес к психологии, с которым я поехала в 1917-м году в Московский Университет, находил место в медицине. Я начала с увлечением готовиться к конкурсу на «интернат» и мечтала о применении на практике традиции, глубоко заложенной в русской медицине: подход к пациенту как к «единственному» случаю, а к его болезни, как к особому явлению, имеющему корни во

---

[3] К счастью, в детстве я свободно говорила по французски с нашей гувернанткой и потому быстро освоилась с языком, правда звучащим совсем по-новому.

[4] Целый год я проработала в лучшей во Франции акушерской клинике, другой год по ночам единолично несла ответственность за госпиталь, сосредоточивавший все случаи заболеваний взрослых-дифтеритом, свинкой и прочими заразными болезнями.

всей сложности его натуры, как физической, так и психической и духовной.

Учение занимало все больше моего времени. Я вела суровую, перегруженную жизнь. Годы лишений и переутомления не преминули сказаться на моем здоровье: после острого припадка апендицита, меня свезли в госпиталь с гнойным перитонитом. Это было еще до изобретения пенисилина. Долго не решались делать операцию, долго я поправлялась. Тогда мне дали полную стипендию, на этот раз американскую (Уитимора), и я могла все свои силы отдавать клиникам и лекциям.

Пророчество федоровского комитета сбылось, я вышла замуж до окончания курса, но это не помешало моему учению. Мой муж всегда поддерживал меня на моем длинном медицинском поприще и вдохновлял на всякую самостоятельную и творческую деятельность. В 1930 году я окончила медицинский факультет Парижского Университета. Пришло время писать тезу. В это же время моему мужу предложили ехать в Оксфорд на скромную стипендию, чтобы готовиться к докторату. Мне надо было оставаться в Париже и снова искать заработок, т. к. моя стипендия кончилась. Меня очень устроило место ассистентки по радиографии и физической терапевтике у знаменитого американского зубного врача. Работая у него, я могла собирать материал для тезы по действию ультрафиолетовых лучей в полости рта.

Халлей-Смит оказался выдающимся человеком, хирургомноватором и артистом в своей профессии. В его клинике на площади Вандом был большой штат служащих, а клиентура состояла из королей, примадонн театров и миллионеров. В октябре 1934 года с большим волнением мы ждали приезда сербского короля Александра, но так и не дождались. Он был трагически убит в Марселе революционером хорватом. Зато мне привелось снимать радиографию Альфонсу Тринадцатому. Меня предупреждали, что он плохо переносит эту процедуру, но я так быстро радиографировала все его зубы, что он был изумлен и разговорился со мной. Узнав, что я эмигрантка, он сказал мне со своей своеобразной улыбкой: «Мы с вами оба беженцы». Лечился у нас русский художник Яковлев. Он написал и подарил мне мой портрет.

Раз Халлей-Смит застал меня за необычным занятием — я пробовала делать специальную чистку зубов одному из моих коллег. Он стал наблюдать за мной и заявил, что я могла бы быть хорошим зубным врачом. Было бы преступлением, говорил он, не употребить дарования моих рук для точной хирургической работы. Кроме того у меня была нужная для этой трудной профессии физическая выносливость. Сразу был оборудован для меня отдельный кабинет и я стала делать «хирургическую чистку» зубов всем его пациентам. Это случайное расширение моей работы изменило в будущем направление всей моей медицинской деятельности.

В 1932 году я защитила свою тезу и получила диплом. Но путь в Россию был закрыт и надо было добывать право практики. Два года пошло на «башо», потом я снова передерживала клинические экзамены, в довершение всего вышел новый закон: чтобы иметь право практики, надо было принимать французское подданство... Но все это было оставлено позади: мужа приглашали в Англию, и мы решили в 1934 году переехать в Лондон.

Перед отъездом Халлей-Смит устроил в мою честь торжественный обед. На нем были все его служащие. Около моего прибора был подарок — томик Теннисона, а в нем чек на тысячу франков «на продолжение учения». Халлей-Смит был прав, моя «скачка с препятствиями» далеко не прекратилась.

По приезде в Англию мне хотелось получить право медицинской практики и специализироваться по психиатрии. Это оказалось невозможным. Условия, поставленные мне для этого были: пройти снова половину всего медицинского обучения, очень дорогого в Англии. Следуя советам Халлей-Смита, я поступила в зубоврачебную школу, а окончив ее, стала специализироваться по всем отраслям лечения и исправления детских зубов. Работа эта в клинике Истман стала меня увлекать. Дети так и «шли мне в руки». Скоро ко мне стали посылать всех испуганных, нервных и избалованных детей. К моему собственному удивлению, я могла, как по колдовству, делать с ними все, что хотела. Я решила создать свою особую зубоврачебную клинику для всестороннего лечения исключительно детей. Этот план шел тогда вразрез с установившейся практикой в Англии, но во многом применяется теперь.

Война помешала его осуществлению. Мне надо было, не рискуя приобретением кабинета, искать заработка. Я обратилась к заведующему зубоврачебным обслуживанием всех городских клиник и госпиталей. Он, будучи передовым человеком и узнав о том, что я окончила медицинский факультет, рассказал мне о своей мечте поднять зубоврачебное дело в госпиталях до уровня других отраслей медицины. Мне была предложена должность зубного врача в большом городском госпитале «Паддингтон», находящемся в бедном районе Лондона. Так началась моя «пионерская» работа в английских госпиталях. Шел второй год войны. У входа в госпиталь лежала невзорвавшаяся бомба. Вначале мне не дали даже настоящего кабинета и сестры. За 18 лет работы мне удалось создать целое зубоврачебное отделение, состоящее из нескольких, первоклассно оборудованных кабинетов, с ассистентами и полным штатом сестер, собственным радиографическим и техническим обслуживанием и консультациями для зубных врачей всего округа. Мы участвовали в установке диагноза болезней всех больных, принимаемых в госпиталь; делали хирургические операции в области рта и лица

под общим наркозом, специализировались в лечении зубов сердечных больных, больных гемофилией, диабетом и пр. и пр. Был у меня и кабинет для детей, о котором я мечтала когда-то. Военное положение способствовало тому, что мне приходилось браться за такие сложные случаи переломов и ранений городского населения, о которых я знала только по книгам. Мои медицинские знания давали мне и смелость и авторитет настаивать на важности участия зубного врача в самых разнообразных сторонах медицинского лечения. Надо было убеждать и побеждать и пациентов, и сестер, и врачей, и администрацию. Недаром прошли мои студенческие годы в Париже!

Пациенты мои были большею частью бедные и простые. Я полюбила их и часто расспрашивала о их жизни. Жалко было одиноких стариков. По установившейся в Англии традиции и из обоюдного желания «не мешать друг другу», они никогда не живут в семьях своих детей. Все они конечно догадывались, что я не англичанка, но это не мешало им иметь ко мне полное доверие. Сидит такой «кокней» (лондонский пролетарий) в кресле и говоришь ему: «Надо вам ложиться в палату и делать операцию под общим наркозом». Он смотрит как-то косо: «А кто будет делать?» . . . Мое сердце падает и я осторожно говорю: «Я», а он обрадованно: «О, гуд, гуд, ол райт» и я облегченно вздыхаю. Удивляются когда каждый раз я рассказываю, что буду делать им во рту — не привыкли к этому. Часто застенчиво они решались спрашивать, из какой я страны, а я предлагала им угадывать и никогда их воображение не залетало так далеко как в Россию.

Госпиталь по-разному переживал чередующиеся фазисы войны. В период «летающих бомб», которые разрушали целые кварталы и ранили летящими осколками стекол, в палатах, при звуке летящей бомбы больные укрывались подушками, а я ставила моего пациента с собой в угол. Была у меня замечательная сестра, она упорно отказывалась отходить от окна, говоря, что если она будет прятаться, то ей станет страшно. Англичане всех слоев общества поражали нас своей выдержкой, и единством. Мы никогда не видели ни паники, ни эгоизма в самые тяжелые и безнадежные периоды войны.

О моей работе в госпитале во время войны мне неожиданно пришлось рассказывать королеве Елизавете, жене короля Георга. Раз мы приехали к мисс Буллер, основательнице института для конференций студентов и профессоров, находящегося в парке близ Виндзорского королевского дворца. Наш друг рассказывала нам об интересе к ее центру королевской семьи, которая часто неофициально его посещает. И вдруг вышло так, что королевская чета с гостями неожиданно появилась в саду. К нашему смущению, король и королева, поздоровавшись с мисс Буллер, отделились от

остальных и направились к нам. Мы забыли правила этикета, которым Эми нас учила «на всякий случай», так просты и сердечны были они оба. Коля говорил королю о Православной Церкви и о России, а королева расспрашивала меня о моей работе в госпитале Паддингтон в годы войны. Я сказала ей как во время войны, разделяя с ее подданными тревоги и страдания, мы все больше чувствовали единство с английским народом. После этого разговора нам стала понятна та искренняя любовь, которой была окружена королевская семья, не покинувшая Лондона во время воздушных бомбардировок и часто посещавшая потерпевших от них жителей.

Когда в 1952 году в Англии была введена система «национального здравообслуживанья», я была признана достойной высшего звания «консультанта»,[5] а мой французский диплом врача был регистрирован без всяких добавочных экзаменов. Так наконец я получила полные права медицинской практики.[6]

В самый разгар развития работы нашего зубоврачебного отделения, когда меня назначили быть консультантом и в других госпиталях, судьба снова позвала меня круто переменить всю мою жизнь, бросить медицину, выйти в отставку и окончательно переехать к мужу в Оксфорд. Весь медицинский персонал моего госпиталя провожал меня очень тепло, с подарками и пожеланиями «не скучать» в Оксфорде без моей интересной и ответственной работы. А мы с Колей только посмеивались — так многочисленны были наши планы на Оксфорд! Мне предстояла задача поставить на ноги только что основанный дом Св. Григория, я мечтала заняться иконописью, а главное, наконец, мы с мужем могли создать свой дом, открытый многочисленным нашим друзьям.

---

[5] Я была одной из первых женщин консультантов по зубному делу.

[6] У меня есть подарок от мужа с торжественной надписью: «В ознаменование завершения университетского учения - 1917 - 1932 - 1938 - 1952 - Москва - Париж - Лондон - 35 лет».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ИСКАНИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ

М. Лаврова-Зернова

В моей сознательной жизни были две движущие силы: искание Бога и стремление понять смысл и назначение женщины.

Мы с сестрой учились в замечательной частной гимназии Левандовского. Мне и моим подругам и товарищам и теперь кажется, что это была поистине «школа радости, творчества и свободы». Каждый из нас получал в ней властный зов к развитию своей индивидуальности, независимо от того, была ли это девочка или мальчик. Классы у нас были небольшие, новеньких не принимали с середины курса, мы росли как братья и сестры, привыкая к богатству сочетания наших разных дарований, без особого подчеркивания специфически женских или мужских качеств.

Нужно ли было развивать в нас анализ наших различий? Интеллектуально мы были безусловно равны, а в средних классах девушки шли скорее впереди (мы с моей подругой Натаней Кафьян были все время первыми). Мы, девочки, не учились ни шитью, ни кулинарии (жизнь научила нас им позже), мы увлекались столярничеством, играли в футбол и в разбойники, росли и развивались скорее мальчишками. Нашим сверстникам мы были товарищами, без ореола очарования, но зато мы никогда не чувствовали себя «вторым сортом».

Вопрос о назначении женщины встал для меня с неожиданной остротой после окончания гимназии. Мне попались книги, в которых цель жизни женщины сводилась к выполнению половой функции и продолжению рода, а по сущности своей она представлялась лишь «проекцией» мужчины. Меня начал мучить вопрос, почему за всю историю человечества женщина никогда не достигала вершин творчества в музыке, литературе, философии.

Тут меня постиг удар, оставивший тяжелый след в моей жизни того периода. Раз, собирая растения для ботанической коллекции, я забрела к «Черепашьему Озеру» в горах около

Тифлиса. Там на меня напал дикий человек, я едва от него спаслась. Долго всюду мне мерещилось это искажение. Всем своим здоровым инстинктом я знала, что половая жизнь имеет таинственные и священные корни в творческих глубинах человека, но душа моя была ранена, гордость молодого сознания жестоко оскорблена. В моей героической борьбе за высшее университетское образование было, кроме стихийной жажды знания и надежды послужить родине, упорное стремление доказать себе и другим, что я не «второй сорт». В ней было искание смысла жизни, посвящение себя миссии женского служения миру.

Другой стороной моей жизни были поиски веры. С детства, наша с сестрой церковная жизнь питалась глубокой верой наших родителей. От законоучителей гимназии и от священников наших приходов не осталось в памяти особого следа. Исключением было краткое пребывание в нашей гимназии С. С Троицкого, того друга Отца Павла Флоренского, к которому обращены письма его гениальной книги «Столп и утверждение истины». В преподавании Сергея Семеновича «Закона Божия» было что-то большое и насущное. Учитель истории и литературы, Александр Викторович Ельчанинов был другим человеком, имевшим на всех нас огромное духовное влияние. В эмиграции он принял священство.[1]

Несмотря на эти положительные влияния, детская вера постепенно иссякала, хотя душа все еще бессознательно питалась благодатью церковных служб. Несколько кратких месяцев, проведенных в Москве, были совсем особыми. Всем моим существом я воспринимала образы древнеге русского благочестия исчезающей России, инстинктивно сохраняя их как бы на всю жизнь.

Заграницей первые трудные годы борьбы за высшее образование я провела в полном одиночестве. В Париже, залитом первой волной русских беженцев, я мало соприкасалась с жизнью эмигрантской колонии. Селясь в холодных мансардах под крышами, скитаясь по городу пешком, я почти не встречалась со сверстниками. Когда на время экзаменов я переехала в приемную больнички, находящейся при студенческом общежитии, там, в самом здании, жили русские и сербки. По вечерам из их комнат раздавались песни и звуки гитары, но мне было не до них. Вся моя жизнь была сосредоточена на учении.

Но шел в глубине души моей другой процесс, требовавший всех моих сил. Это было искание Бога. Начавшееся еще

---

[1] А. В. Ельчанинов (1881-1934) принял священство в 1928 г. У него был большой дар духовного руководительства, оссобенно молодежи. Он принял большое участие в Р.С.Х.Д. После его преждевременной смерти его жена издала записи его мыслей и наблюдений. «Записи свящ. А. Ельчанинова» Париж 1935 и 1962, немец. пер. 1964, анг. пер. 1967.

в России, с потерей родины, оно приобрело особую силу. Оно продолжается и теперь, но тогда я была поистине «в пустыне». Всегда одна, всегда со своими мыслями и вопрошаниями. Иногда я заходила в церковь. Раз я пошла на исповедь, но «доказательства» истинности веры, которые священник полагал в том, что «столько интеллигентов и ученых веруют», вызвали во мне только бурный протест. Я искала такого «знания», которое устояло бы, если бы даже все ученые мира не веровали бы. Меня озадачивало и влекло загадочное и кажущееся противоречивым утверждение Достоевского словами Шатова: ... «если бы математически доказали ..., что истина вне Христа», то он «согласился бы лучше остаться со Христом, нежели с истиной». Я начинала понимать, что вера в Бога есть мистический опыт, стоящий выше обычных человеческих категорий и истины, и даже любви.

Пришел для меня час такого опыта. Это было на улице Св. Иакова, в будничный день. Я подымалась вдоль серого университетского здания Сорбонны, возвращаясь с лекции. И вдруг, в одно мгновение, душа была сожжена ощущением присутствия Божия. Это был исключительно внутренний опыт, он даже не отразился внешне ни в чем. Я продолжала идти по улице, кругом была толпа занятых людей. Но с этого началась моя новая жизнь. Позже я писала об этом в дневнике: «Вся жизнь осветилась внутренней верой. Никогда раньше не переживала я так ощущение очищения, и вместе с ним появилось острое чувство несовершенства применения веры в жизни. Но навсегда возникший внутри свет и тепло не зависят больше ни от чего ... Победа над гордостью, новый идеал просветленного смирения стали новой задачей ...».

Все для меня радикально переменилось: мое учение, мои вопрошания о значении женщины, мои тревоги о будущем и постоянная тоска о России. Я стала открыта к людям, я больше не была сосредоточена на себе, тишина и радость снизошли в мое сердце. В церкви я стала находить все больше ответов на мои недоумения. Как будто покров Божией Матери осенил меня. Она была женщина, но смиренная из смиренных, какое место имела она в Церкви!

С тех пор, несмотря на свою занятость, я стала подбирать единомышленников. У нас образовался «кружок». Неопытные, мы читали Евангелие. Его строки горели для нас, от них мы недоумевали, они были как семена, падающие на нашу невозделанную почву, часто в ней умирая, чтобы дать росток когда-нибудь позже. Раз мы пошли к владыке Евлогию просить советов. Так ярко запомнился его простой и теплый прием. Эти первые шаги были быть может самыми решительными для многих из нас.

Я не пишу здесь истории начала Русского Студенческого Христианского Движения в Париже, но лишь только свои отрывочные воспоминания. Вначале наш кружок получал

поддержку от Французской Федерации. С другими русскими я бывала на некоторых их собраниях и съездах. Мы на них сомневались, надо ли нам присоединяться к их молитве, «ведь они еретики», думалось нам. Пастор Мироглио и Наташа Брюнель, будущая жена Павлика Евдокимова, были нам и нашему кружку неизменными друзьями. Потом стали приезжать к нам посланники из других стран, от «кружков», подобных нашему. А. И. Никитин из Болгарии, Проф. В. В. Зеньковский с сестрами Зерновыми из Белграда, Л. Н. Липеровский из Праги. Я носилась с приглашениями, развешивала афиши. Постепенно наш кружок увеличивался, появлялись и другие группы.

Для меня большой поддержкой был приезд в Париж семьи Калашниковых. С двумя сестрами, Валей, будущей женой Льва Александровича Зандера, и Наташей, будущей женой Аркадия Александровича Терентьева, у меня сразу образовалась крепкая связь. Они были людьми глубоко церковными, их отец стал священником на 63-м году жизни. С Катей Сериковой, будущей женой Николая Николаевича Меньшикова (род. 1899) и ее братом Георгием мы были друзьями. Гораздо позже, под водительством отца Александра Калашникова, наш кружок вырос в «Троицкое Братство», существующее и теперь. Среди его членов были Петр Евграфович Ковалевский, Павел Николаевич Евдокимов, Николай Михайлович Федоров, Лев Александрович Зандер, Отец Лев Липеровский, Иеромонах Андроник Елпединский,[2] уехавший впоследствии миссионером в Индию, Сережа Сахаров, ставший потом Иеромонахом Софронием, уехавшим на Афон, а теперь возглавляющим монастырь в Англии.[3] Были в братстве братья Агищевы, не говоря уже о Сериковых, Калашниковых, Георгии Морозове и других.

В 1923 году организовывался первый общий съезд Движения в Чехии. Я поехала на него делегаткой от нашего кружка. Это было огромным событием для всех нас. Съезд был не только ответом на наши искания путей к вере и церкви и вдохновением на создание постоянной общей организации «Движения». Важно было то, что на этом съезде участвовали самые выдающиеся представители русской интеллигенции «серебряного века». Наши неумелые, часто провинциальные «кружки» были вынесены в широкое культурное русло русской эмиграции и в свою очередь могли в последующие годы послужить той роли эмиграции, которая имеет уже и сейчас решительное значение для мыслящей России.

За Пшеровским съездом последовал Аржеронский, во Франции, — красивый и яркий. Одновременно с изучением

[2] См. О. Андроник Елпединский (1894-1958) «18 лет в Индии» Буэнос Айрес 1959.

[3] См. О. Софроний Сахаров (род. 1896) «Старец Силуан» Лондон 1958.

медицины и благодаря полной стипендии, я горячо отдалась участию в Движении. Это было для меня время самого яркого душевного цветения, я жила вновь обретенной верой, была окружена множеством замечательных друзей. Я всю себя отдавала «служению», загораясь все новыми идеями, ничего не ища для себя.

После свадьбы многое изменилось, мое участие в Движении отошло на второй план, я снова решала мою старую задачку о смысле существования женщины, только теперь совсем по-другому. Лишенная материнства, я с особой остротой пережила значение места женщины в браке. При всей активности моей природы, я всем существом моим знала, что призвание жены — быть помощницей мужу, часто отказываться от самостоятельной роли в жизни. Может быть как раз оттого, что мой муж, Николай, не был властным и всегда поддерживал мою независимую деятельность, моему сердцу было сладко и легко переставлять иерархию своих стремлений и ответственностей. Парадоксально, мне казалось правильным «бояться своего мужа», отступать на второй план. И вместе с тем этот опыт смирения открывал для меня совсем новые ценности значения женщины, ее особую и, по-своему, руководящую роль.

Мой опыт медицинской работы приводил меня к тем же заключениям. Уже с самых первых шагов, когда я занималась массажем, мне становилось ясно, как важно было чувствовать больного, «переключаться» на него. Позже, работая в госпитале, я все больше убеждалась, что женщине дана в медицине своя особая роль и что далеко не найдены еще лучшие формы ее работы. Она большей частью принуждена следовать формам работы мужчины, часто ей физически непосильным и не раскрывающим ее лучших даров.

Лично я не страдаю самоуверенностью, и скорее преувеличенно переживаю чувство всякой ответственности. Это свойство могло бы сделать меня беспомощной в медицинской работе, если бы не незаслуженный дар, всегда меня самое поражавший — это то неизменное доверие, которое я находила в своих самых разных пациентах (и это при общем в Англии в то время недоверии к профессиональной женщине!). Это доверие давало мне чувство спокойной власти. Думаю, было много чисто материнского в моем отношении к больным, недаром меня прозвали «Заботницей». Мои руки действительно могли казаться «магическими». Легкие и точные, что в хирургии полости рта так важно, они становились частью пациента. Но тут было нечто большее, чем ловкость. Важно было уметь, забыв себя, делаться как бы проводником интуиции о состоянии больного, а в трудных случаях опираться на молитву. Часто мне казалось, что всякий врач должен быть и «целитель».

Во время моей работы в госпитале, все больше и больше

я убеждалась, что лечение есть искусство, а болезнь — явление, касающееся всех сторон человека. Для того чтобы угадать причины болезни и оценить взаимоотношение внутренних сил больного, нужно, чтобы рациональные предпосылки не затемняли, а помогали интуиции и чутью врача. И оттого у женщины — свои особые дары и возможности и на путях диагноза и в способах лечения.

Теперь, на склоне наших лет, яркие воспоминания о первых этапах моей жизни кажутся лишь предисловием к длинному пути, который подходит к концу и смысл его, несмотря на сложность, богатство и разнообразие всего пережитого, все более сосредоточивается для меня в вере, в стоянии перед Богом, в участии в жизни церковной. Все же остальное — отношения с людьми, медицинская работа, общественная деятельность, — сохраняют пребывающее значение только если они были освещены верой, непременное условие которой есть любовь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ДЕТСКИЙ ДОМ В МОНЖЕРОНЕ

(История строительства)

С. М. Зернова

Кончилась война и немецкая оккупация. Франция вновь была свободной, жизнь постепенно возвращалась в свое русло. Только наши русские дети продолжали ютиться в Вильмуасоне. Уже много раз получали мы предписание из мэрии (городской управы) вывезти детей в другое место. Но куда? «Это ваше дело — отвечали мне французы, — пожарная комиссия запрещает держать детей в вашем помещении. Если будет пожар, детей невозможно будет спасти». Они были правы. Вильмуасон был совсем неподходящим. Дом мальчиков отстоял далеко от главного здания, а нам приходилось носить еду им четыре раза в день. Дети должны были ходить по длинной, узкой улице, где постоянно проезжали автомобили, на ней было темно и скользко зимою.

Пять лет мы старались переехать, но все безуспешно. Я обращалась в различные агентства, собирала средства. Люди мало верили, что мы сможем купить дом. Мне говорили: «Ни денег не соберете, ни дома подходящего не найдете!» Но я не унывала и продолжала искать.

Иногда мы помещали воззвания в русских газетах. Нам присылали небольшие пожертвования. Некоторые обещали помочь, если мы найдем дом. Однажды к нам в бюро пришел бедно одетый старик. Мы с моей верной сотрудницей Анной Тихоновной Шмеман приняли его за просителя. «Что мы можем для вас сделать?» — спросили мы его. «Собираете деньги для деток? Вот вам 5,000 франков» — ответил он. «Это от кого?» — «От меня». — «Как от вас? Разве вы работаете?» — удивились мы. «Я уже старик, не работаю — объяснил нам посетитель, — но я собираю бумаги в пубельках (сорных ящиках) и продаю. Нас много этим промышляет, все больше французы, их «клошарами» зовут, вот и я попробовал, ничего, жить можно. Отложил 5,000, прочел в газете

— на деток собираете, в России я учителем был, деток люблю, не обижайте старика — возьмите деньги».

Редко кто из богатых давал нам 5,000, а этот нищий старик их сам принес и был такой ласковый и радостный. Мы горячо поблагодарили его, дали ему листовку с фотографиями детей и с просьбой жертвовать на покупку дома. Вскоре после Рождества Николай Алексеевич Лебедев снова пришел к нам. Он тихонько приоткрыл дверь и, увидав, что у нас не было посетителей, робко вошел в бюро и положил на стол опять 5,000 франков. Тут он рассказал нам целую историю на своем своеобразном французском языке. «Принес я старьевщику, как всегда, бумагу для продажи и говорю ему: «демэн муа па венир». (завтра я не приду), а он спрашивает: «пуркуа туа па венир?» (почему ты не придешь?) «Демэн — Ноэл» — отвечаю я, а он смеется и говорит: «Се куа Ноел?» (что такое Рождество?). Я ему объясняю: «Дье нэ». (Бог родился). А он все свое: «Бога нет» — тут я удивился, как так Бога нет? Ну и поспорили и другие клошары стали говорить. «Кто же победил?» — спросили мы. — «Ну, конечно я — ответил Лебедев — все согласились, что Бог существует, только они одно слово прибавили, сказали — «Дье рюс экзист» (Русский Бог существует). С тех пор они меня поддразнивают, не злобно, а так, пройдут мимо и скажут: «Бонжур Дье рюс», а я им сразу листовку показываю и говорю: «Анфан рюс па де мэзон» (русские дети не имеют дома). Вот они и собрали на деток 5,000 франков, это не от меня, а от французских клошаров».

Этот рассказ привел нас в большой восторг. Поблагодарили мы Николая Алексеевича и сказали ему, что теперь мы верим, что соберем деньги дружными усилиями. Мы стали разрабатывать планы, как найти средства. Мне было поручено пойти к графине В. и попросить ее стать почетной председательницей комитета по сбору денег. Ее муж был важный француз, стоявший во главе алюминиевого треста. «К сожалению, я должна отказаться, — ответила мне графиня, — муж не хочет, чтобы я принимала участие в благотворительных комитетах». Я понимала ее. Она была слишком богатой, чтобы возглавлять комитет для помощи русским беженцам. Прощяясь, я рассказала ей про Лебедева. На следующий день она прислала чек на 100,000 франков. В письме она написала: «Если клошары дали вам 5,000, то я должна дать вам 100,000».

С той же просьбой я обратилась к другой русской, замужем за виконтом де-Т. Она также отказалась и я снова рассказала ей про клошаров. Она дала нам золотой браслет с изумрудами, чтобы продать его на лотерее. Так Лебедев помогал нам собирать средства. У нас накопилось 2 миллиона, но подходящего дома мы не могли найти. Он должен был быть недалеко от Парижа, нам нужно было два помещения,

одно для мальчиков, другое для девочек (этого требовал французский закон), нам необходимо было иметь поблизости школу и лицей, куда мы посылали бы наших детей. Как могли мы рассчитывать найти все это, да притом еще за недорогую цену?

Вскоре одно из агентств показало мне поместье, во многих отношениях подходящее для нас. Наш комитет решил купить его, хотя денег еще не хватало. На следующий день я позвонила хозяину дома. «Для каких детей и какой религии нужно вам мое поместье?» — спросил он. «Для русских эмигрантов, мы православные», — ответила я. «Я хороший католик и православным еретикам дома не продам». — Услышав это, я ушам не поверила. «Мы спасаем детей от улицы, принимаем всех, без различия вероисповедания и национальности», — стала я объяснять ему, но он не захотел меня слушать. Мы обратились за содействием к отцу Люмон, представителю Папы для сношения с русскими в Париже. Он обещал все уладить, но ответа от него не было. Я решила еще раз позвонить хозяину. Он грубо повторил, что еретикам дома не продаст, а потом прибавил, что дом уже продан. «Когда?» — спросила я — «Сегодня» — и повесил трубку.

Все было кончено. Надежды найти дом для детей не было никакой. Вдруг для меня стало все ясным. Нет Божьей воли для православного детского приюта во Франции. Уже 7 лет мы бьемся над этим и ничего не выходит. Мы столько молились, так просили у Бога помощи — и вот последняя возможность рухнула. У меня на сердце воцарились грусть и покой.

На следующее утро как всегда я читала Послание и Евангелие. Мне открылось Послание к Евреям вторая глава стих 13-тый — «Я буду уповать на Него. Се я и дети, которых дал мне Бог». Эти слова поразили меня и я заплакала над ними. Неужели это мне указание? Может быть, мы недостаточно уповали на Господа? Через несколько дней мне сообщили, что продается поместье около Парижа, с тремя домами, рядом был и лицей и школа со свободными местами. Там было все, что нам было нужно, — но имение стоило 15 миллионов, а у нас наличными было только два. Такой огромной суммы мы собрать не могли. Сперва я даже не хотела ехать смотреть поместье. Но оказалось, что его владелица русская, Н. П. Нобель, и я решила позвонить ей. Узнав, что дом нужен для русских детей, она согласилась уступить его за 6 миллионов. Мы энергично принялись собирать деньги. Это стало теперь легче делать, так как мы нашли наконец то, что нам было нужно. В 1953 г. нам удалось купить дом. Он назывался Мулэн де Санлис т. е. мельница Санлиса. Я удивилась этому имени. Санлис был город на север от Парижа, имение было расположено на юге от него. Я заинтересовалась историей этого места — и мне стало ясно, что недаром, после

всех бесплодных исканий, наш детский дом нашел свой приют именно в этом прекрасном поместье.[1]

В центре его возвышался красивый замок, рядом были другие строения, вокруг был парк, его пересекала река, оканчивавшаяся прудом. Все было живописно, но страшно запущенно. Не было ни электричества, ни канализации. Во многих комнатах потолки были провалены, одно из помещений был огромный амбар, в котором имелась лишь крыша.

Первыми обитателями были графиня Ольга Александровна Бутеньева, русские плотник и каменщик. Они начали ремонтировать помещение, она кормила их, наблюдала за работой. Главной задачей было провести электричество. Француз запросил миллион, при нашем материале. Мы сделали объявление в газете, прося русских электротехников помочь нам. На него отозвался Клавдий Петрович Турчанинов. Он жил на пенсии в 6.000 франков в месяц. Он поселился у нас, трудился целый год и никакой платы не взял.

В 1954 году мы устроили первый «Рождественский Базар» и заработали 600,000 франков. Мы решили послать Клавдию Петровичу 50,000 в подарок от детей. Он взял их, поблагодарил, но когда мы напечатали воззвание для помощи детям слабого здоровья, первым отозвался на него все тот же Клавдий Петрович. Для поездки детей в горы он принес нам конверт с его 50,000 франками. Есть в нашей жизни такие неведомые миру герои.

Нам нужно было достать материал для проводки электричества. Русский инженер В. Юргенс посоветовал мне обратиться за помощью к господину Гарнье, владельцу завода, где он работал. В назначенный час я была у него. Он сразу меня принял. (Важные люди любят заставлять просителей подождать). Я рассказала ему о нашем доме и попросила дать нам 10 метров провода. «Что вы будете делать с 10 метрами? Это же ничто», — сказал он. Тут я объяснила мой план: «Мы иностранцы, французы не любят помогать чужим, потому я хочу просить немного в разных местах и так постепенно собрать нужный нам материал». Он, видимо, одобрил мою идею и обещал попросить знакомых прислать что-нибудь. «А пока дайте мне список всего, что вам нужно», — прибавил он, прощаясь со мною. Когда я благодарила его, он заявил, что это он признателен мне за привлечение его к нашему делу. Все в нем, каждый его жест, манера говорить и слушать носило печать той французской культуры, о которой я читала в книгах, но которая так редко встречается в жизни.

Через пять дней большой грузовик привез нам весь материал, который нам был нужен. Вероятно его стоимость

[1] История поместья. См. Приложение в конце главы.

была полмиллиона франков. Слава Богу, что такие люди есть во Франции.

Начали поступать к нам крупные вспомоществования. Бюро помощи беженцам в Женеве, Французская Касса Помощи Семьям и другие общества пришли нам на помощь. Мы провели воду, построили центральное отопление, купили самую необходимую мебель.

Осенью 1955 года наши дети переехали в новый дом. В солнечный день камионы, нагруженные веселыми, возбужденными детьми с их воспитателями и багажом вкатили в ворота Санлисской Мельницы. Началась иная жизнь. Замок очаровал всех. Комнаты были свежевыкрашены, всюду было тепло, светло, прекрасные ванные и души помогали держать детей в чистоте. В кухне была плита, самая дорогая, но и самая экономная, пожертвованная супругами Д'Агиар. Но многого еще не хватало, не было линолеума на полу, не доставало столов, стульев, кроватей, матрасов, одеял, постельного белья, посуды. Дом мальчиков тоже не был еще перестроен. Но мы не унывали: главное было достигнуто, у нас был чудесный замок, достаточно большой, чтобы поместить всех детей. Их мы записали в соседние школы и они скоро втянулись в ученье.

Каждый год перед Рождеством мы стали устраивать «Рождественские Базары». Благодаря помощи М. К. Ляпорт, жены главного врача Дома «Шель», нам стали давать бесплатно огромное помещение в нем около Елисейских Полей. Весь наш комитет и еще целый ряд дам приняли горячее участие в устройстве этих Базаров. Каждый год они становились все более известными и приносили нам значительные средства для работы с детьми.

Мы жили бедно, но сводили концы с концами. Трудно рассказать о внутренней жизни дома. Об этом можно было бы написать целые тома. 100 детей — 100 проблем, 20 служащих — 20 трудностей, а кроме детей их родители, часто с бесконечными претензиями и требованиями. И все-таки мы жили, ссорились, мирились, обижались, прощали друг другу, уходили и возвращались вновь... Чего только не было в истории нашего дома! Но всегда, в самые трудные моменты, когда, казалось, не видно никакого выхода, всегда помогал Бог.

В 1956-ом году мы начали перестраивать дом мальчиков. Нам надо было надстроить еще один этаж. Было лето, дети уехали в лагеря, наш постоянный помощник и строитель Алексей Петрович Щебляков приступил к работе. К августу она была почти закончена, но счета не были заплачены, и денег не было. Нам не хватало 3 миллионов. Я верила, что мы общими усилиями эти деньги соберем, но не сейчас, т. к. в августе Париж пустой и не к кому было обращаться за помощью. Я собиралась уехать в отпуск. За два дня до отъезда, я позвонила нашей председательнице Людмиле Алексан-

дровне Гаргановой (1895-1957) и сообщила ей, что скоро уезжаю, не расплатившись с долгами. «Вы не можете уехать, — ответила она — достаньте сперва нужные средства, и тогда отправляйтеся на отдых». Я была согласна с ней, и решила попробовать заложить дом. Я обратилась в три банка, мне повсюду отказали, в случае неуплаты, закон запрещает выселять детей. Все двери передо мною были закрыты.

В тот вечер я молилась, просила у Бога помощи, и дерзая, говорила Ему: «Ведь в Евангелии сказано, что если просить во имя Твое, то дастся нам. Нашим детям нужно три миллиона». На следующее утро я пришла в Бюро. Под дверью я нашла письмо. В нем было написано, что голландская молодежь решила помочь какой-нибудь беженской организации. Они выбрали из списка, присланного из Женевы, наш Детский Дом и собрали для него как раз три миллиона. Я сидела и плакала, пришла моя незаменимая помощница Анна Тихоновна Шмеман и решила, что у меня горе. Я показала ей письмо. «Ты еси Бог, творяй чудеса!»

В 1957 году мы решили строить церковь. Первые 200,000 франков дала Л. А. Гарганова — и мы сразу приступили к постройке, не дожидаясь остальных денег. Построил наш храм тот же А. П. Щебляков, с помощью одного из наших мальчиков Ники Васильева. За образец мы выбрали одну из византийских церквей на Охридском озере в Македонии. Сделали мы это в память Анны Ярославны, у которой бабушка была византийская принцесса. Расписал нам иконостас замечательный иконописец Григорий Круг (1918-1969). В церкви была красота.

Оставалось еще устроить для детей площадку для игр. Они увлекались футболом и неизбежно разбивали окна замка. Рядом с нами продавался пустырь, весь в ямах, весной его часто заливало водой. Я подняла вопрос об его покупке на нашем комитете, но меня никто не поддержал. Тогда я спросила, не будет ли кто-либо иметь против, если я узнаю цену за какую продается земля. «Конечно, — ответили мне, — узнайте, если вас это интересует». Я пошла к хозяину. «Земля уже продана, — сказал он мне, под кладбище автомобилей». — «Но это невозможно! Перед красотой нашего замка!» — стала я протестовать. — «Что же делать, — ответил он мне, — мне нужны деньги, впрочем, я готов продать вам, если вы сегодня скажете, что покупаете землю, а через 10 дней принесете мне два миллиона». Что мне было ему ответить? Выхода не было. Я сказала, что мы покупаем землю. Но где найти два миллиона, да еще через десять дней!

Я решила устроить акционерное общество и продать двадцать акций по 100,000 каждую. Проценты покупатели смогут получить «на том свете». Первую акцию купила я сама. У меня было отложено 100,000 на мои похороны. В крайнем случае похоронят меня «на спортивной площадке»,

решила я. В тот же день я попросила помочь нам вдову художника Кандинского. Она сразу, с радостью дала мне 100,000. Потом я позвонила С. Н. Джанумову (Ум. 1972), члену нашего комитета, — он вообще, вероятно, никогда в жизни никому не отказывал. «Жалею, что не могу дать больше» — сказал он, передавая мне 100,000. Следующим к кому я обратилась был князь Игорь Трубецкой. «Я дам вам ответ завтра» — сказал он. Когда я позвонила ему на следующий день, то он попросил заехать к нему. В конверте было не 100,000 а 400,000. Таким образом на второй день у меня было уже собрано 700,000. Тогда я пошла к директору кассы «Помощи Семьям» М. Боэр, и попросила его тоже дать нам 100,000, «У нас это так не делается, — ответил он, — но пойдите к Мишон — директору сберегательной кассы, и поговорите с ним». Я испугалась, что тот меня не примет, тогда Боэр позвонил при мне Мишону и попросил его принять меня, сказав, что это «стоит сделать».

На следующий день я была у Мишона. Он расспросил меня о наших целях и планах. Через два дня у них должно было быть собрание директоров, для распределения благотворительных средств. Он попросил написать для него сведения о нашей работе, не указывая суммы, нужной нам. Я с нетерпением стала ждать его ответа, в то же время продолжая собирать деньги.

Русский гараж И. И. Ионцова дал 100,000 А. Г. Тер-Кеворков уверял меня, что денег я не соберу, однако, в случае удачи обещал быть последним жертвователем. Через пять дней я получила ответ от Мишона, к его письму был приложен чек на миллион франков. Одна американка дала 300,000, Тер-Кеворков, как он обещал, прислал 100,000. Через десять дней я принесла 2 миллиона — земля около замка стала нашей.

Теперь надо было превратить ее в спортивную площадку и это было сделать нелегко. Мы обратились за помощью к американской армии, стоявшей в Фонтенебло. К нам приезжали их инженеры, обещали, но после года ожиданий прислали нам совет обратиться к французской армии. В это время шла война в Алжире, мы не решились этого сделать. Так прошло несколько месяцев. Один из наших воспитанников хотел поступить в военную школу. По рекомендации кн. Э. Дадиани я пошла к полковнику Р. переговорить по этому делу. К сожалению, он не мог помочь, т. к. мальчик не был французским подданным. Он принял меня любезно, заинтересовался нашей работой. При прощании спросил, не мог ли он быть нам полезным. «Нет, ничего . . . » начала говорить я — и вдруг вспомнила, как американцы советовали нам просить помощи французов. Я рассказала о наших затруднениях и полковник Р. обещал сообщить об этом генералу Кениг. Вскоре мы получили уведомление, что, в виде исключения, саперы французской армии устроят нам спортивную площадку.

Их приезд был сенсацией для всего округа. Их было 6 человек, они поселились в нашем доме. Дети были в восторге. Большие мальчики играли для них на балалайке, девочки пели русские песни, маленькие спешили вернуться из школы, чтобы пожать руку сержантам. Изредка им позволялось прокатиться на бульдозере по ухабам поля. Все мальчики решили стать военными. Мы не знали, как благодарить новых друзей.

Повесть строительства нашего дома длинная и сложная. Все легко, когда есть миллионы, когда же денег нет, тогда приходится рассчитывать на жертвенность людей, — а больше всего на помощь Бога.

История нашего дома — история человеческого добра. Конечно, были и тяжелые удары, но не хочется вспоминать о них, нужно только не забывать уроков, чтобы не повторять прежних ошибок. Но все трудное тонет в тех утешениях и радостях, которых у нас было так много. Один из этих необычайных случаев связан в моей памяти со словом «матрас». Когда мы собираемся на какой-нибудь праздник, мне всегда хочется поднять первый тост за «матрас».

Однажды неожиданно привезли в Монжерон двух детей. Отец не мог оставить их на ночь в комнате отеля, где лежала только что умершая мать. «Принимать ли детей? — запросили меня по телефону, — места для них у нас нет». «Конечно принимайте», — отвечаю я и сразу отправляюсь в приют. Кровати мы для них нашли на чердаке, отыскался один матрас, наш эконом В. К. Айзов согласился временно уступить свой. «Я надеюсь однако, — шутя сказал он, — что мне не придется спать на железных прутьях сегодня ночью». Я обещала ему сразу купить матрас и бросилась к воротам, но там я столкнулась с дамой, приехавшей просить достать ей девочку, которую она могла бы удочерить. Я вернулась с нею. Когда мы вошли в комнату самых маленьких, одна из малюток кинулась к ней на шею с криком: «мама, мама». Приезжая сразу решила, что она возьмет эту Катюшу, хотя я отговаривала ее, так как мать девочки была душевно-больная. В этих переговорах я не заметила, что пропустила время и все магазины уже закрылись. Я была в большом смущении. Неожиданно посетительница, прощаясь со мною, сказала: «Ах, я чуть не забыла спросить вас, не нужен ли вам случайно матрас?» — «Да, — ответила я, — как раз сегодня он нам очень нужен». Тут мы вытащили из ее автомобиля совсем новый матрас, который, казалось, был специально заказан для кровати эконома, и она рассказала нам следующую необычайную историю: «Я ехала к вам, меня обогнал мчавшийся автомобиль, — и вдруг на повороте с его крыши слетел матрас. Я стала гудеть, пробовала его догнать, но он куда-то скрылся. Тогда я вернулась и подобрала матрас. Я так рада, что он вам может пригодиться.» Так как подымать

тосты «за руку Божью», помогающую человеку в трудные минуты, нельзя, то мы пьем обычно за «матрасы, падающие с неба». Так строился наш дом. Когда я была в России в 1966 году, я спросила у одного замечательного священника: «Есть ли у вас чудеса?» Он указал на окружавших его молодых людей, горевших верой, и ответил: «Вот наше чудо». В жизни Монжерона были другие, но тоже подлинные проявления Божьей помощи.

Однажды приехала посмотреть наш дом княгиня Наталья Александровна Андроникова. Она привезла с собою приятельницу в надежде, что та заинтересуется нашей работой. Приятельница не заинтересовалась, но Наталья Александровна приняла Монжерон в свое сердце. Она вошла во всю его жизнь, и я не знаю, как могла бы продолжаться работа, если бы ее не было с нами. Весной 1969, по состоянию моего здоровья, я была принуждена снять с себя ответственность за дом. Я счастлива, что я могла передать мои обязанности княгине Андрониковой и членам нашего комитета.

[1] **ПРИЛОЖЕНИЕ — История дома.**

Мулэн де Санлис связан с историей замечательной русской женщины, Анны Ярославны, королевы французской. Король Франции, Генрих Первый (1031-1060), не имел детей от первого брака. Он посватался к одной из дочерей Ярослава Мудрого (1019-1054), и Анна была послана отцом в далекий Париж. Она была красива, умна и образована. Кроме русского, она знала греческий и латинский языки. Во время своего долгого пути она успела изучить и французский. Свой брачный контракт она подписала сначала по латыни «Регина Анна», а потом по славянски «Ана». Ее королевский супруг поставил только крест, очевидно, он не умел писать. Анна привезла с собою прекрасное славянское Евангелие и все французские короли до революции давали присягу на нем, не зная, на каком таинственном языке оно было написано.

Киев того времени был одной из лучших столиц Европы. Париж, по сравнению с ним, был грязным местечком. Анна не захотела жить в нем и выбрала своей резиденцией Санлис, город, окруженный дремучими лесами. Будучи прекрасной наездницей, она любила охотиться в его окрестностях. Она родила сына Филиппа (1060-1108), названного в честь Филиппа Македонского, так как рюриковичи считали себя в родстве с императорами Византии. Последние годы своей жизни королева Анна отдала делам благотворительности, тогда же она основала аббатство в Санлисе. У этого аббатства были земли в других частях Франции. Монжерон был одним из этих владений. Когда там была построена мельница, то ее назвали Мулэн де Санлис.

Анна была первая русская, приехавшая во Францию. Это случилось в 1053 году, 900 лет спустя часть ее владений снова попала в русские руки и стала приютом для обездоленных детей.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

РУССКИЙ ВРАЧ В ПАРИЖЕ

В. Зернов

Весной 1927 года я окончил медицинский факультет в Белграде и уехал в Париж, где в это время жила вся наша семья. Мне казалось, что диплом, полученный мною, открывает передо мною широкую дорогу, но по приезде во Францию мои иллюзии скоро рассеялись. Мой отец успел на собственном опыте узнать, как трудно врачу иностранцу устроиться и он настойчиво советовал мне сделать все, чтобы получить право практики. Для этого надо была сдать экзамены французского аттестата зрелости, состоявшего из двух частей, снова пройти последние 4 года медицинского факультета и представить докторскую диссертацию. Все это брало 6 лет. Вскоре я принялся за подготовку к экзаменам, одновременно начав научную работу в Пастеровском Институте. В 1935 году мне удалось сдать все экзамены и получить право практики, незадого до того, когда был проведен новый закон, запрещавший всем иностранным врачам работать по их специальности.

За 37 лет моей медицинской работы в Париже передо мною прошла целая история эмиграции. Мне, как доктору, приходилось близко подходить к политическим, церковным, общественным деятелям, писателям, художникам, артистам, к богатым и бедным, к знатным и незнатным русским людям. Многих из них уже нет, но они воспитали новое поколение, продолжающее нести на чужбине русскую культуру. Моя работа русского врача имела мало общего с практикой французского доктора. Особенно вначале мои пациенты были почти все русские. Иногда мне приходилось встречаться с очень неожиданными больными.

Однажды, вскоре после окончания войны, меня вызвали по телефону к больной, но предупредили в дом не входить, а ждать у входа. Я нашел дом в одной из улиц Латинского квартала. Меня там встретил человек. «Одному вам входить опасно, — предупредил он — вас могут пырнуть ножом, но меня здесь знают и со мною с вами ничего не случится». Это предупреж-

дение меня удивило, не еще более удивила меня лестница. Она была не освещена и невероятно грязна. Видимо она никогда не убиралась. Я с трудом поднялся на 4-ый этаж, шагая по грудам отбросов. Больная находилась в хорошо прибранной комнате, освещенной керосиновой лампой. Топилась печка, на стенах висели фотографии, в углу была маленькая икона. Осмотрев пациентку, я хотел дать ей принесенное мною лекарство. «Спасибо, — сказал мой провожатый, — лекарство вы дайте другим. Я сейчас сам пойду их купить в аптеку, деньги у нас есть». Он снова довел меня до выхода. Прощаясь, я спросил его, кто живет в этом странном доме. «Бандиты, — ответил он — раньше дом был реквизирован немцами, а теперь занят нами, полиция пока нас не тревожит, а чужому человеку в дом нельзя войти, ему плохо будет. Каждый здесь по-своему промышляет, мы с женой больше по автомобильной части. Дверцы открываем, зарабатываем не плохо, но доход не надежный. Ну, бывайте здоровы. Спасибо, что приехали».

Вскоре после этого случая, посреди ночи, меня разбудил телефон. Женский голос умолял меня сразу приехать, «она была отравлена». Она дала мне адрес одной из лучших улиц Парижа, но просила консьержку ни в коем случае не будить, на лестнице электричества не зажигать и прямо подняться к ней, не привлекая ничьего внимания. С некоторыми опасениями я исполнил все эти странные инструкции. Не успел я позвонить, как дверь бесшумно отворилась и чья-то незримая рука, схватив мою, повлекла меня в полную темноту. «Идите за мной, но ничего не говорите», — шептала мне на ухо незнакомка. «Будьте добры зажечь свет, — решительно запротестовал я — дальше я никуда не пойду». Я зажег мой карманный фонарик и разглядел большую квартиру. Хозяйка стала водить меня по комнатам, быстро открывая шкафы и комоды и повторяя: «нюхайте, нюхайте». Ее преследовали страхи, что ее соседи пускают ядовитые газы, но прекращают это делать при посторонних. Не в силах совладать со своей тревогой, она вызвала меня.

Врачу приходится постоянно встречаться со смертью. Большое впечатление произвел на меня конец жизни художника К. А. Сомова (1869-1939). У него был аневризм аорты и он сознавал, что ему оставалось недолго жить. «Собираюсь в дальний путь, — сказал он мне, — но вот хотел бы закончить портрет, он почти готов». Через несколько дней он снова позвал меня, ему было совсем плохо, я старался обнадежить его, хотя вероятно в этом не было надобности. Он довольно равнодушно слушал меня. «Я зайду к вам вечером» — сказал я прощаясь. «А я попробую еще поработать над портретом», — ответил он. Когда я вернулся, его уже не было в живых. Смерть застала художника за мольбертом.

Врачебная традиция советует скрывать от больного близость смерти. Но, вероятно, это не всегда надо делать. Раз

меня пригласили к больному. В бедной комнате, я нашел изможденного человека. Слабым, едва слышным голосом, он объяснил мне, что только что приехал из госпиталя. Там ему сказали, что наступило улучшение и у него нет больше необходимости лечения. Сам же он думал, что его прислали домой умирать. Исследовав его я убедился в правильности его предположения, но все же стал утешать его. «Вы доктор хотите ободрить меня, — ответил он, — я человек верующий, смерти не боюсь, думаю, что она близка, но мне надо знать, когда она приблизительно наступит. Если вопрос нескольких дней, то я сниму комнату в Сент-Женевьев, близ русского кладбища, где у меня уже куплена могила. Перевозить гроб из Парижа дорого стоит, я же хочу оставить больше денег жене». Говорил он спокойно, прямо глядя мне в глаза. Я почувствовал, что обманывать его нельзя. «Что же, надо думать о переезде» — посоветовал я ему. — «Спасибо, уеду туда на этой неделе, а вы зайдите в церковь в Бианкуре, посмотрите мои иконы. Жаль не успел их закончить» — сказал он прощаясь. Умер он через несколько дней.

Алексей Михайлович Ремизов был один из самых оригинальных людей, встреченных мною. Он не укладывается ни в одну из обычных категорий. Между ним и его женой, Серафимой Павловной, был разительный контраст. Она была неподвижной, огромных размеров с розово-белым, немного кукольным лицом, окаймленным тоже как бы кукольными светло-соломенными кудряшками. Он же был маленьким, сгорбленным, с морщинистым смуглым лицом. Рот у него был большой, нос маленький — пуговкой, брови мохнатые, остро изогнутые. Казался он не то колдуном, не то таинственным лесным человечком. Жили Ремизовы в довольно большой квартире, загроможденной как будто ненужной мебелью и какими-то предметами без определенного назначения. Несмотря на все это, квартира казалась странно пустой. На стенах красовались произведения Алексея Михайловича, наклеенные на картон кусочки разноцветной бумаги-его абстрактное творчество. Через всю его комнату была протянута нить, на которой висели причудливые предметы, перышки, камушки, рыбий хребет, клык какого-то животного. Меня все эти украшения в восторг не приводили, я невольно отводил от них мой взгляд. А. М. терял зрение, читать он уже не мог, но умудрялся писать своей причудливой вязью. Под конец жизни он напряженно и вопросительно всматривался в приходящих, но не узнавал их. После смерти жены его жилище стало приходить в запустение, хотя вокруг него всегда находились друзья.

Однажды во время приступа кашля, он стал извлекать из-под подушки носовой платок, усиленно в него сморкаясь. Платок казавшийся непомерно большим — был ночной рубашкой.

Ремизовы всегда жили в бедности. Им полагалось помогать и они ожидали эту помощь ото всех. Они постоянно обращались за ней к разным учреждениям и лицам. Я тоже писал им разные удостоверения. Особенно во время оккупации, выхлопатывал им увеличение рационов топлива, давал рецепты на парафиновое масло, которое шло на заправку салата. Ремизовы ждали помощи от всех знакомых, зато в противоположность другим своим собратьям по перу, А. М. никогда ни о ком плохо не отзывался. Был он неизменно ласков и доброжелателен. Относился ко всему, даже к смерти со свойственным ему юмором. «Моя консьержка купила меня с моей квартирой» — говорил он мне. Она действительно приобрела его квартиру, чтобы въехать в нее после его смерти. Когда я приходил навещать его, она всегда проявляла особый интерес к состоянию его здоровья. «Ну, как бедный мессье Ремизов? Я думаю теперь уже недолго» — с подчеркнуто-сокрушенным видом, говорила она.

Накануне своей кончины А. М. прерывающимся голосом сказал мне: «Там, — показывая на соседнюю комнату, где собрались его друзья — все ждут события, а событие не наступает». При этом на его лице показалась его хитрая, но теперь уже едва уловимая улыбка.

Ремизов всегда говорил медленно, голос у него был хрипловатый. Но когда нужно было выступать, он преображался. Откуда-то появлялся сильный, красивый голос. Чтение его захватывало слушателей. Я слышал, как он читал «Страшную Месть» Гоголя, я совершенно по-новому понял и полюбил это произведение. Читая, А. М. стоял слегка выставив правую ногу и отбивая ею такт. Он говорил мне, что его самого удивляет, откуда в нем рождается сила звука. Он записывал каждое утро свои сны. Особое значение он придавал снам в красках. «От моих снов зависит весь последующий день» — сказал он мне однажды. В его творчестве сны причудливо перемешивались с действительностью.

Полученное мною право на медицинскую практику во Франции было потеряно мною, но всего на один день. Однажды во время немецкой оккупации я получил повестку, с требованием явиться в районный комиссариат полиции. Чиновник показал мне бумагу с длинным текстом и потребовал, чтобы я расписался на ней. Я хотел ее прочитать, но он настаивал, чтобы я сперва подписал ее, при этом торжественно заявил мне: «Это указ правительства: как иностранец, вы лишаетесь права практики и это навсегда.» Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться и я подписал документ. Вернувшись домой, я стал телефонировать моим коллегам, очутившимся в том же положении. Мне посоветовали ехать в Министерство Здравоохранения и требовать восстановления моих прав. Я приготовился к упорной борьбе и к длительным спорам с каким

нибудь важным чиновником, от которого зависела моя участь. Прийдя в Министерство, я обратился к швейцару, прося направить меня в нужную мне канцелярию. «Вы врач иностранец, — спросил меня служитель, — в таком случае, вот Вам временное разрешение, вставьте только Ваше имя и продолжайте работать». Он сунул мне в руки маленький листок бумаги.

Утром я лишился моих прав декретом правительства, вечером швейцар восстановил их для меня.

В конце войны в эмиграции, как и внутри России, возникли надежды на радикальные перемены. Эмигрантов стали звать возвращаться на родину. Я был приглашен, как секретарь русского медицинского общества в советское посольство для переговоров об устройстве советского госпиталя в Париже. В короткий срок я был там одиннадцать раз по этому делу. В это же время ко мне неоднократно обращались за медицинской помощью советские служащие. Мой собеседник по делу устройства госпиталя был личный врач Молотова. Мне сказали в посольстве, что он обладал большим влиянием, чем министр здравоохранения. Вместе с тем меня удивляло его зависимое положение. Однажды он попросил меня купить для него аппарат для измерения давления крови. В послевоенные месяцы на эти аппараты была большая очередь. По моей рекомендации, ему, как врачу Кремлевской больницы, было предложено приобрести его сразу. Но он не решился этого сделать, не позвонив сперва в Москву. Думаю телефонный разговор с Москвою стоил тогда дороже аппарата.

Одним из моих первых вопросов при этих переговорах был каких размеров предполагается госпиталь и сколько для его устройства может быть ассигновано денег. Мой влиятельный собеседник ответил: «Для государства, как Советский Союз, нет разницы между миллионами и миллиардами, важно, чтобы госпиталь находился в лучшем районе Парижа и чтобы он был так устроен, чтобы не только французы, но и американцы приходили учиться советской медицине.» Мы подробно обсуждали лучшие способы привлечения французских врачей к работе в предполагаемом советском госпитале. Когда были намечены парижские знаменитости по всем отраслям медицины, мой собеседник задал мне вопрос: «А кто у вас пищевик?». «Это специалист по желудочным заболеваниям?» спросил я. «Нет, это специалист по отравлениям», разъяснил мне мой коллега, «например, у нас могут лечиться видные сановники, если кто-нибудь из них будет отравлен, то дело пищевика определить каким ядом произведено отравление. Конечно весь материал может быть немедленно отправлен в Москву, но надо, чтобы и на месте было произведено исследование компетентным специалистом». Видя мою полную неосведомленность в этой области, он перевел наш разговор на

другую тему. Только позже, когда были арестованы в Москве «врачи отравители», мне стало ясно, что в кремлевских больницах имелись специалисты, как по отравлению, так и по борьбе с ядами.[2]

В одно из наших свиданий доктор из Москвы сообщил мне: «Вчера я имел длинный разговор по телефону с Москвою. проект получил одобрение. На днях я еду домой, но очень скоро вернусь, чтобы приступить к его осуществлению». На следующий день он попросил меня устроить посещение одной из крупнейших фармацевтических лабораторий Франции. Я заехал за ним, чтобы отвезти его туда, но кремлевский врач просил меня сперва зайти в его кабинет.

Поместившись у окна, он начал разговор о различных деталях проекта. Я напомнил ему, что мы опаздываем на назначенное свидание. В ответ он заметил: «Я смотрю на автомобиль Вячеслава Михайловича. Покуда он находится в посольстве, я не могу сам располагать моим временем.» Так мы и не попали на назначенное свидание.

Мой собеседник предложил мне вознаграждение за мое участие в разработке проекта. От него я отказался, но согласился на ящик последних медицинских книг, которые он обещал мне прислать из Москвы. Книг я никогда не получил и больше о проекте госпиталя ничего не слыхал. Но то были времена Сталина!

Многое изменилось с тех пор. Когда-то медицинское русское общество насчитывало более 200 членов, теперь оно закрылось, так как старых врачей, не имеющих французских дипломов больше не осталось в живых, а молодые врачи русского происхождения не чувствуют необходимости подобного объединения. Старшее поколение эмигрантов доживает свои дни в хорошо устроенных старческих домах, рассеянных главным образом вокруг Парижа. Русская общественная жизнь заметно затихает. Становится меньше число моих русских пациентов, но нередко среди французов, обращающихся ко мне я встречаю теперь людей, которые хотят лечиться у русского врача, так как они или изучают русский язык или имеют особый интерес к России и к эмиграции.

[2] Н. Хохлов («Право на Совесть» 1957) рассказывает как агенты КГБ отравили его неизвестным на Западе ядом, от которого чудом спасли его американские доктора.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

И. А. БУНИН (1870-1953)

В. Зернов

Я лечил Бунина в продолжение пяти лет, с осени 1948-го года до дня его смерти 8-го ноября 1953-го года. До того, как мне пришлось встретиться с Иваном Алексеевичем, как с пациентом, я видел его всего несколько раз.

Однажды — на сцене Парижского театра «Елисейских Полей» в 1933-м году. Бунин — лауреат Нобелевской премии, его чествуют, мы им гордимся, он только что вернулся из Стокгольма. После долгого периода лишений, на склоне лет, он получил мировое признание. Он элегантен, в новом фраке, с белым цветком в петлице, у него бледное, суховатое и торжественно-сдержанное лицо. Речи, приветствия, цветы, аплодисменты.

В этот же период я встретил Бунина на обеде у Рахманинова. Сергей Васильевич слушает внимательно и словно немного снисходительно, как Бунин рассказывает про свой древний род, про свою поездку в Стокгольм, и кажется мне, что Бунину нужны и его древний род и торжество его признания. Рахманинов слушает его, как царь, владеющий безграничным царством, для которого вся эта слава — только «суета и томление духа». Он слушает доброжелательно, с живым интересом, иногда вставляя немного шутливые замечания.

На тех же обедах я встречал Шаляпина. Слава окружает его, его нельзя не слушать, жаль пропустить единый его жест, единый взгляд, единое слово. Если он великолепен на сцене, то также великолепен и в жизни. Сидеть с ним за обеденным столом не менее интересно, не менее увлекательно, чем видеть его в театре. Рахманинов слушает и смотрит на своего старого друга с нескрываемым восхищением. Бунин стремится занять такое же положение, но у него нет той уверенности в себе, которая дана Шаляпину.

Несколько лет спустя я снова встретил Бунина, сгорбленного, с поднятым воротником пальто, страдающего одышкой. Он возвращался со своего последнего публичного выступления. Это был ненастный октябрьский вечер 1948-го года. День-

ги, полученные от Нобелевской премии, были давно прожиты, авторских не хватало на жизнь. Его друзья устроили вечер в маленьком концертном зале, чтобы собрать необходимые средства. Бунин был на нем, как всегда, резок в своих отзывах. Они были не только остры, но и язвительны. Может быть его горечь была усилена и из-за неоправдавшихся надежд на широкий успех, после получения Нобелевской премии.

Через несколько дней, 10-го ноября, в газете «Русская Мысль» появился фельетон под заголовком «Ему Великому». Он начинался так: «Великий сидел и пил чай. Да, самый обыкновенный чай, который пьют все смертные. Но, если бы это был сам Зевс и вкушал нектар, его лицо не могло бы быть величественнее. Великий говорил: «Без меня не было бы ни Пушкина, ни Льва Толстого, они мои прямые предки, неважные писатели, но упомянуть их все-таки можно».

В этом пасквильном фельетоне злобно и непристойно высмеивался Бунин, и автор, скрывшийся под подписью «Удостоившийся присутствия», так закончил свою статью: «Публика, расходясь в недоумении с литературного вечера Бунина, говорила: «Что же это такое? Один всего порядочный писатель у нас был, да и тот — круглая бездарность, но зато изрыл весь задний двор литературы.»

Глубоко возмущенный содержанием этой статьи, я послал Бунину письмо. В нем я писал, что русские читатели ценят его талант и негодуют на тон этого анонимного фельетона.

В этот же период я лечил журналиста С. В. Яблоновского (Потресова, 1870-1953), работавшего в «Русской Мысли». После моего медицинского совета, я обратился к нему с возмущенной речью, как он мог допустить, чтобы в его газете была напечатана статья, оскорбляющая большого русского писателя, старого, больного, да, вдобавок находящегося в бедности. А если уж бить, то открыто, а не прячась за анонимностью. Мой пациент выслушал меня, не проронив ни слова, и сразу перешел к расспросам, как ему проводить курс лечения. Неужели это он автор? подумал я, но отогнал эту мысль, так как был искренне расположен к престарелому журналисту.

При моем следующем визите Яблоновский несколько торжественно обратился ко мне со словами: «Владимир Михайлович, знаете ли вы, что такое пасквиль?» Тут он начал объяснять мне, что пасквиль высмеивает недостатки для их исправления, что такое сатирическое произведение имеет воспитательное значение и служит для пользы того, о ком оно написано. Сделав короткую паузу, мой пациент заявил: «Я — автор этого гротеска».

Мне было неприятно обижать старика, но я не хотел отказаться от своего мнения и подтвердил свое убеждение, что воспитывать Бунина поздно. По-видимому, результатом этого

разговора было появление в «Русской Мысли» новой статьи Яблоновского, в которой он открыл свой аноним и старался объяснить, почему он написал «маленький фельетон», называя его уже не пасквилем, а памфлетом. Все это дело прошлого, умер и старый журналист, умер и Бунин, но творчество Бунина осталось, и живет то, что он принес в мир.

Вскоре я получил ответ от Бунина на мое письмо. Он писал: «Горячо благодарю Вас за ту сердечность, которой полно Ваше письмо, и которой Вы меня очень тронули. Глупая и гадкая статейка меня возмутила бессовестной ложью.»

Через некоторое время Бунин обратился ко мне за медицинской помощью. Он страдал эмфиземой легких и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности. Постепенно здоровье его слабело. Сначала он мог передвигаться по комнате его скромной квартиры, но позднее я видел его все чаще лежащим в кровати. «Вот вы еще молодой, — говорил он мне, — вы полны жизни, вы не можете понять, что значит быть больным и старым. Раньше для меня все было нипочем, а теперь добраться до стола — настоящее событие». Несмотря на слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранял острый ум, память и меткость суждений, таивших в себе желчность и даже озлобленность. Но, наряду с этим, у него было много сердечности в отношении к окружающим. Скажу — он был озлобленным, но не злым.

Раз я пришел к Бунину с моим сыном, которому тогда было 4 года. Иван Алексеевич, худой, изможденный, одетый в белую пижаму, сидел на кровати. Мой сын сказал: «Это Дед Мороз, но больной Дед Мороз». В этом детском определении было что-то меткое. Хотя Бунин не носил бороды и усов и не имел ничего общего с обычным изображением Деда Мороза, но в нем, в последние годы, было все то, что для ребенка воплощается в Деде Морозе; и некая торжественность, и сердечность, и строгость, а главное — необычайность. Все это было в красивом его лице, его нельзя было не заметить.

Иван Алексеевич, больной и умирающий, страстно любил жизнь. Он ждал каждого моего посещения, надеясь, что я смогу вернуть ему здоровье. Когда я приходил, он брал палку, всегда лежавшую около его кровати, и стучал в стену, чтобы позвать свою жену. Если она не появлялась сразу, то звал ее: «Вера, Вера, иди поскорее, слушай, что будет говорить доктор». Но, как только торопливо прибегала Вера Николаевна, уже плохо слышавшая и плохо видевшая, но готовая исполнить все для своего Яна, он нетерпеливо отсылал ее, говоря: «Ну, что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и приходи потом.»

Был ли Бунин трудным больным? Хотя болезнь была мучительной, он переносил ее терпеливо, без жалоб. В 1950 году он подвергся серьезной операции и вынес ее стойко. Отдавая себе отчет, что жизнь приходит к концу, он относился к этому,

как к неизбежному. И свое материальное положение, и состояние своего здоровья, если не принималось им примиренно, то переносилось мужественно. Незадолго до своей кончины, он говорил мне: «Разве можно примириться со смертью, с тем, что мое тело будут есть черви? Этого принять я не могу». Принять не мог, но говорил спокойно, хотя с тем же чувством, с которым он относился к плохо написанному литературному произведению.

Часто наши разговоры возвращались к родине. И. А. горячо интересовался всем, что происходило в России, его тянуло туда. «Если бы я вернулся, то быть может поместили бы меня в дом литераторов, и даже дали бы дачу в Крыму, но за это я должен был бы восхвалять «Гениального». Нет, уж лучше останусь здесь нищим, но свободным», — говорил он.

Вечером 8-го ноября 1953-его года меня вызвали к Бунину. Он задыхался, сердце слабело, приближался конец. Я сделал необходимые впрыскивания, успокоил больного и Веру Николаевну, обещал приехать попозже. Ночью меня вызвали снова. Бунина я не застал в живых. По его желанию, верная В. Н. закрыла его лицо платком. Он не хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти. Для меня она приоткрыла его. В последний раз я увидал его красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он увидал что-то, что разрешило ему загадку, мучившую его всю жизнь.

Я помог привести в порядок тело и перенести его в другую комнату. Шею покойного Вера Николаевна повязала шарфиком. «Я знаю, — сказала она, — это ему было бы приятно, этот шарфик подарила ему . . . », и она назвала женское имя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ И МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЛЬМАННЫ

Н. Зернов

В 1923 году на съезде Р.С.Х.Д. в Пшерове моя старшая сестра и я встретили молодого швейцарца Густава Густавовича Кульманна. Он произвел на нас, как и на других русских, глубокое впечатление своим пониманием Православия и своей любовью к русской культуре. Вскоре с ним познакомилась и моя младшая сестра.[1] Мы все сблизились с ним, встречаясь на различных студенческих конференциях, собиравшихся в то время в Германии, Франции и Чехии. Переехав в Париж мы стали сотрудничать с ним, так как ему было поручено Союзом Христ. Молод. Людей быть звеном с нашим Движением. Мы все работали в одном доме, 10 бульвар Монпарнас.

Кульманн был одним из тех людей Запада, для которых встреча с русской эмиграцией оказалась поворотным пунктом в жизни. Православие помогло ему найти себя и оформило его мировоззрение. Увлечение Россией началось у него еще в юности. Прочтя «Детство и Отрочество» Толстого, когда ему было 12 лет, Кульманн был покорен тем духом подлинной человечности, которым полна эта книга. Этот зов был настолько силен, что в 1918 году Кульманн удивил всех неожиданным поступком. Он блестяще защитил свою докторскую диссертацию при Бернском Университете и сразу получил предложение занять пост юрисконсульта в одном из главных страховых обществ Швейцарии, но вместо этого хорошо обеспечивающего поста, он принял другое назначение — работать с американ-

[1] Их знакомство произошло в 1924 году при следующих обстоятельствах. Моя сестра опоздала на поезд, отвозивший делегатов на Съезд в Пшерове Был уже вечер, когда она оказалась одна на маленькой станции, находившейся в нескольких километрах от замка, где происходила конференция. Она не знала ни языка, ни дороги, но тут на помощь ей пришел Кульманн, тоже опоздавший на поезд. Они пошли вместе и так началась их дружба, завершившаяся их браком.

ским Союз. Христ. Молод. Людей. Ему была поручена помощь иностранным студентам, среди которых находилось много выходцев из России, оказавшихся отрезанными от родины благодаря войне и революции. Руководители У.М.С.А. быстро оценили исключительные способности молодого швейцарца и послали его в Америку, для изучения методов социальной работы. Там он познакомился с англо-саксонским миром, приобрел многих друзей и расширил свои горизонты. Вернувшись в Европу, он поселился в Берлине. Германия в те годы была полна русскими. Одни из них, бывшие военнопленные, стремились на родину, другие, уже испытавшие на опыте плоды коммунизма, бежали из нее. Кульманну была поручена помощь студентам. Он проявил огромную энергию и устроил более 1500 русских в различные высшие учебные заведения Германии. Одновременно он занимался русским языком и вскоре овладел им с тем же совершенством, которое было дано ему в немецком, французском и английском языках.

Кульманн был не только организатор, его еще больше интересовали религиозно-философские вопросы. В 1922 году около 70 крупных ученых были высланы из России, среди них были выдающиеся представители христианского мировоззрения. Кульманн первый понял значение тех мыслителей, которые в глазах советского правительства были слишком опасны, чтобы оставаться на свободе в России. Ему удалось убедить известного христианского деятеля и филантропа Джона Мотта (1865-1955) найти деньги в Америке для создания Религиозно-Философской Академии, куда были приглашены русские изгнанники. Ему же принадлежала идея издательства книг этих авторов. Благодаря ему, православные богословы смогли мыслить, писать и печатать свои произведения в условиях полной свободы, не стесняемые никакой цензурой. Их книги приобрели известность далеко за пределами эмиграции и были переведены на все главные европейские языки. Русская религиозная мысль оплодотворила Запад, она проникла и за железный занавес. Несмотря на все наказания и все меры пресечения, предпринимаемые советскими диктаторами, книги зарубежных мыслителей находят доступ в Россию. Интерес и понимание корифеев православной культуры растет среди молодежи, но мало кто из них знает, кому обязаны русские люди рождению зарубежной богословской литературы.

Религиозно-Философская Академия сперва была открыта в Берлине. В 1925 она была переведена в Париж. В том же году переехал туда и Кульманн. Он быстро занял центральное положение в церковно-общественной жизни русской колонии. Все хотели заручиться его советами и помощью, и Р.С.Х.Д., и Богословский Институт на Сергиевском Подворье, и Бердяев, вместе с которым он стал издавать журнал Путь (1925-1939).

Кроме того Кульманн приобрел репутацию лучшего истолкователя русской религиозной мысли для западных христиан. Будучи прекрасным оратором, он постоянно приглашался для лекций в различных странах Европы и Америки. Сам он все глубже входил в жизнь и учение Православия и в 1928 году стал членом русской Церкви.

Параллельно с этим процессом шел и другой — все растущая созвучность между ним и моей младшей сестрой. Кульманн был женат и имел трех дочерей. Его увлечение Россией и Православием, его встреча с моей сестрой стали источником семейной драмы, одним из тех духовных конфликтов, любое решение которого наносит неизбежный жестокий удар по лицам вовлеченным в него. Развод и женитьба на моей сестре потребовали отхода Кульманна от экуменической работы. Полем для своей новой деятельности он выбрал международную помощь нуждающимся. Тут он применил свое знание языков, свое знакомство с западной и восточной культурой, свои способности организатора и умение находить точные формулировки юридических и философских проблем.

Сначала он занимал пост директора института международной студенческой помощи в Дрездене. В 1931 году ему было предложено стать секретарем Лиги Наций в отделе интеллектуального сотрудничества. В 1936 году он переключился на работу с беженцами и был назначен представителем генерального секретариата Лиги Наций для связи с Верховным Комиссаром до делам беженцев из Германии. Ему было также поручено сотрудничество с Нансеновским комитетом, окормлявшим русских эмигрантов. В 1938 году жертвы как сталинского, так и гитлеровского тоталитаризма были объединены в одну группу. Верховный комиссар, возглавивший новую организацию для защиты политических изгнанников, пригласил Кульманна быть его помощником. Это назначение вызвало переезд семьи из Женевы в Лондон. Начало войны и массовое уничтожение евреев потребовало героических усилий. Несколько раз Кульманн ездил в Португалию, ему удалось даже раз попасть в оккупированный немцами Париж. После войны появились в Европе новые толпы беженцев, спасающихся от торжествующего коммунизма. Их численность и сложность политического положения сделали необходимым реорганизацию дела помощи им. Кульманн принял ответственное участие в этой работе, став главой юридической секции верховного комиссариата для беженцев, образовавшегося при Объединенных Нациях. Его особой заслугой было создание паспортов для новых эмигрантов и формулировка международных соглашений для защиты их интересов. Характерной чертой его деятельности было отсутствие всякого бюрократизма, умение помнить о судьбе отдельного человека, когда решались вопросы государственного масштаба.

Много найдется людей во всех частях мира, которые обязаны ему своим устройством в свободных странах. Он служил людям своим умом, волей, а главное сердцем. Эта напряженная деятельность для легализации политических эмигрантов подорвала его силы. В 1953 году по совету врачей он перешел на более спокойную должность представителя комиссариата Объединенных Наций при английском правительстве. В 1955 он вышел в отставку. Последние годы своей жизни он посвятил Пушкинскому клубу в Лондоне, созданному его женой. Умер он 12 ноября 1961 года после трудной болезни сердца, приковавшей его надолго к постели.[2]

У него был особый дар дружбы. Среди русских самым близким ему был Бердяев. Он во многом разделял мысли русского философа. Многосторонняя деятельность не дала Кульманну возможности писать. После него остались лишь отдельные статьи и письма.[3]

Моя сестра не только разделяла интересы своего мужа, но и творчески участвовала в его работе. Ее всегда занимали богословские и идеологические проблемы. Она была одарена интеллектуально, религиозно и интуитивно.[4] У нее была горячая, никогда не угасавшая любовь к России, но это не помешало ей всецело войти в жизнь тех международных организаций, с которыми был связан Кульманн. Она понимала и ценила Европу, сознавала свою принадлежность к ней, а все же жила она родиной. Она внимательно следила за всем, что происходило там, читала журналы, покупала книги, была знакома с многими писателями и артистами, приезжавшими в Англию. Особенно близко ее сердцу было все, что касалось Церкви, поруганной, гонимой, но неумирающей.

У нее было редкое сочетание сильных, даже страстных

---

[2] См. Некролог. Новый журнал. № 70. Нью Иорк. 1962.

[3] После смерти мужа, сестра стала собирать материалы для его биографии. Ее болезнь и скорая смерть не дали возможности закончить эту работу. Многое из собранного находится в Архиве Русской и Восточной Европейской Истории и Культуры при Колумбийском Университете в Нью Иорке. Лица, интересующиеся этими материалами могут обращаться за сведениями в этот архив. Его адрес: 800 Butler Library. Columbia University. New York City. N.Y. 10027.

[4] Обе мои сестры обладали даром предвидения и были интуитивны, они унаследовали эти черты от матери (см. На Переломе стр. 81). Так например, однажды младшая сестра гостила в Париже у родителей. Через несколько дней к ней должен был приехать из Женевы ее муж. Накануне его приезда, когда она ложилась спать, ее охватило стихийное чувство страха за него. Она промучилась всю ночь и рано утром поехала на вокзал. Поезд приходил в 6 часов и Густав никак не ожидал увидать жену на платформе, но в действительности он чуть не погиб в эту ночь. Он вышел прогуляться на единственной остановке поезда, тот двинулся внезапно, Густав успел вскочить на одну из подножек вагона, но дверь в него оказалась запертой. Всю ночь он был принужден оставаться на скользких ступеньках, цепенея от холода. Поезд мчался не останавливаясь до самого Парижа. Ему удалось каким-то чудом удержаться от падения и так спасти свою жизнь.

убеждений, которых она никогда не скрывала, с готовностью встречаться с людьми самых противоположных направлений. Она ценила искренность, отданность людей идее, ей было трудно только с людьми приспособляющимися к обстоятельствам, легко меняющими свои позиции. С открытым противником она всегда была готова встречаться, спорить, выслушивать его и защищать свои убеждения. Эти ее черты помогли ей стать основательницей Пушкинского клуба, единственного в своем роде во всей эмиграции.

Клуб был открыт в 1954 году, его целью было объединить лиц, интересующихся русской культурой. Он стал местом, где встречались писатели, ученые и артисты, как приезжающие из советской России, так и принадлежащие к эмиграции. Среди лекторов и членов можно было найти также иностранцев — англичан, американцев, французов и немцев, экспертов по русским вопросам. Несмотря на подозрения, клевету и недоброжелательство со стороны многих русских, клуб стал успешно развивать свою деятельность под руководством Марии Кульманн, а после ее смерти в 1965 году, под председательством ее верного друга и сотрудницы Ольги Сергеевны Шипман, с неизменным участием Марии Яковлевны Рамберт.

Из длинного списка лиц выступавших на собраниях клуба следует отметить Константина Паустовского (1893-1968), Суркова (р. 1899), Федина (р. 1892), Твардовского (1910-1971), Евтушенко (р. 1933), Солоухина (р. 1924), Георгия Адамовича (1894-1972), Сергея Маковского (1877-1962), Тамару Карсавину (р. 1885), Николая Лосского (1870-1965), Барона А. Мейендорфа, Аарона Штейберга (р. 1882), М. В. Добужинского (1885-1956), Н. Д. Городецкую, митрополита Антония, Сэра Джона Лоренса (р. 1907), Сэра Исайя Берлина (р. 1909), Сэра Чарлса Сноу и Сергея Лифаря.

Каждый из выступавших был свободен выражать свои убеждения, в то же время должен был готов выслушивать и критику и возражения. Кроме лекций и бесед, клуб устраивал концерты, выставки картин, ставил пьесы. Три раза он организовывал поездки в Россию. Моей сестре удалось добиться финансовой независимости клуба, приобретя для него дом, служащий общежитием для студентов. Доход от него, вместе с членскими взносами, обеспечивает его работу.

До самой смерти она отдавала все свои силы любимому делу. Она верила в истину Православия, верила в силу свободного слова и в светлое будущее России. Кульманны были удивительной парой, примером счастливого сочетания Запада и России. Дополняя и обогащая друг друга, они вместе служили вселенской, христианской культуре.[5]

---

[5] Некролог о М. М. Кульманн помещен в Вестнике Р.С.Х.Д. № 81. Париж. 1966.

СМЕРТЬ СЕСТРЫ

С. Зернова

Как только я получила известие, что у моей сестры случился новый удар, я уехала в Лондон. Я нашла ее без сознания в больнице. В продолжение сорока дней я сидела у ее изголовья, приходя рано утром и оставаясь до позднего вечера. Покидала я ее днем только для обеда и ужина. Я читала ей Симеона Нового Богослова и другие духовные книги. Она часто задыхалась, тогда я звала сестру и та прочищала ей горло. Она ничего не могла проглотить, ей давали искусственное питание. Иногда приходил о. Александр Беликов и читал над нею молитвы. Никаких изменений в ее состоянии не происходило. В начале августа доктора решили прекратить искусственное питание.

8 августа, после прихода священника, Маня вдруг открыла глаза и начала смотреть на меня светлым, сияющим взглядом, полным сознания и любви. Из глаз ее потекли слезы. В этот момент вошла сестра милосердия. «Она пришла в сознание!» — с изумлением воскликнула она. Тогда я подошла к Мане и стала говорить ей: «Ты умрешь сегодня, ты увидишь папу, маму, твоего любимого Густава, Пушкина, всех тех, кто ушел раньше тебя и кого ты так любила». Сестра повернула Маню в другую сторону и она закрыла снова глаза. Казалось, она заснула. Было 5 часов. Она тихо спала до 9-ти. Мне надо было уходить. Я подошла к ней и сказала: «Если тебе надо умереть, то умри сейчас, до того как я уйду, чтобы я могла присутствовать при твоей смерти». Ее лоб стал сразу холодеть, потом все лицо стало холодным, и она без всяких движений и звуков перестала дышать.

Я пошла к докторше, но она не поверила мне, что Маня умерла. Она недавно видела ее и думала, что я говорю под влиянием нервной усталости. Я стала убеждать ее, что я права. Тогда она оставила меня в своей комнате и пошла к Мане. Сразу начались волнения, привезли какой-то аппарат. Вскоре докторша вернулась и подтвердила, что Маня умерла. Мы переодели ее и отнесли в морг. Через несколько дней были ее похороны. Ее гроб положили в могилу ее мужа. Младший брат приехал из Парижа, а старший с женой были далеко в Австралии.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СОФИЯ МИХАЙЛОВНА ЗЕРНОВА

Н. Зернов

Моя сестра скончалась до выхода в свет второй части нашей семейной хроники, для которой она много написала. Смерть завершает образ человека, подводит итоги того, что он успел осуществить. Ее личность и деятельность раскрываются в ее собственных записках, мне хочется прибавить здесь только несколько слов от себя. Сестра имела много даров: энергию, смелость, самоотверженную готовность помогать людям, умение находить сотрудников и друзей. Она горячо любила Россию и героически служила ей. Но ее главной движущей силой была непоколебимая вера. Она предстояла перед Богом, никогда не забывала, что наша жизнь в Его руках.

Эта вера вдохновляла всю ее деятельность, давала ей чувство неповторимости и значительности каждого дня. Она не знала ни праздности, ни скуки, ни уныния. Несколько раз она подвергала себя смертельной опасности. Когда ей было 18 лет, она решилась, для спасения арестованного, идти в логовище красных бандитов, к садисту товарищу Шкурину.[1] Это не был поступок «бесстрашной героини», она была вся пронизана страхом, но она шла с молитвой и верой, что «Бог все может». Много раз в жизни она была свидетельницей чудес, когда по человечески невозможное — осуществлялось.

Это же предстояние перед Богом окрашивало все ее отношения с людьми. Она знала, что каждый человек сотворен по образу и подобию своего Творца. Она могла быть требовательной и далеко не все находили легким работать с нею. Она ожидала от себя самой и от других лучшего, что они могли дать. Несмотря на эту требовательность, она всегда была окружена друзьями и верными сотрудниками, она вдохновляла их и сама вдохновлялась ими. Она сумела пробудить человеческое чувство в немецком офицере гестапо, и в русском генерале чекисте. Ее смелость и жертвенность заражали дру-

---

[1] См. «На Переломе» стр. 294.

гих и поэтому она так часто получала помощь от самых неожиданных людей.

Главы этой книги, написанные сестрой, касаются преимущественно ее работы. Но она была не только общественной деятельницей. За ее деловой внешностью скрывались мечтательница и романтик, человек с чутким сердцем и певучей душой. Об этой стороне ее личности говорят стихотворения, которые я привожу в конце этой главы. Они далеки от совершенства, но они выражают то ее сокровенное «Я», которое она сама редко открывала даже близким друзьям.[2]

В последние годы ей пришлось много физически страдать. В 1959 году у нее обнаружился рак и она подверглась операции. Оправившись, она продолжала вести свою ответственную работу. 14 марта 1966 года она проснулась с чувством, что ее ожидает смерть. Она привела в порядок свои бумаги и поехала, как обычно, в Монжеронский приют. Подъезжая к нему, она была вовлечена в столкновение двух автомобилей, которое ей невозможно было избежать. Она была потрясена страшным ударом, у нее была переломлена нога. Но смерть не наступила сразу, как она ожидала, она пришла шесть лет позже. Начался новый период ее жизни, отмеченный все более обострявшимися страданиями. У нее возобновился раковый процесс, постепенно лишивший ее возможности пользоваться левой рукой. Несмотря на это, она сначала не сократила своей деятельности, даже продолжала управлять своим маленьким автомобилем.

10 мая 1969 года у нее был удар, поразивший ее правую сторону.[3] Вопреки прогнозу врачей, ее силы настолько восстановились, что она могла снова ходить и даже поддерживать переписку с друзьями во всех концах света. Однако работать она уже больше не была в состоянии.

Ее здоровье стало резко ухудшаться с осени 1971 года. Три последних месяца своей жизни она провела в госпитале Кошен, окруженная внимательным уходом медицинского персонала. Умерла она в 4.30 пополудни в сочельник Богоявления (по старому стилю). Родилась она тоже в сочельник, но Рождества, последнего в XIX веке.

Отпевание состоялось в соборе Александра Невского. Более 500 человек пришло проститься с сестрою. Церковь была полна цветов. Вокруг гроба стояли воспитанники приюта.

---

[2] См. Приложение I в конце главы.

[3] Брат лечил сестру неустанно в продолжение ее длительной болезни, делая все, чем современная медицина могла помочь ей, хотя сестра всегда просила не продлять ее жизнь. Первое время после удара моя жена взяла на себя уход за ней, не отходя от нее днем и ночью. Ей неоднократно приводилось заменять брата тогда, когда силы сестры до известной степени восстанавливались. В последние месяцы болезни, Милица снова отдала себя умиравшей сестре. Эти страдные дни и часы еще глубже связали их.

Младшие были во всем белом и они причащались за заупокойной литургией. Десять священников участвовали в богослужении. Вся русская колония была представлена. Тут была и молодежь, и люди среднего возраста, и глубокие старики. Было много также французов. Все те, кто пришел помолиться, где-то и когда-то встретились с сестрою: одни из них отозвались на ее просьбу помочь нуждающимся, других она устроила на работу, или достала им нужные документы, или освободила из заключения, или посылала детьми в Швейцарию, или юношами в Англию. Бывшие воспитанники приюта вынесли ее гроб из церкви. Русский Париж с теплой благодарностью проводил на вечный покой Софью Михайловну Зернову, так всецело и бескорыстно отдававшую себя на служение другим.[3]

[2] ПРИЛОЖЕНИЕ I

Я мечтала в детстве
Стать рисовальщиком
Печатлеть для вечности
Красоту земли.
Это не исполнилось
Это все фантастика...
Только и осталось мне
Что писать стихи...
Но я бесталанная,
Я не ваша братия,
С умными поэтами
Мне не по пути.
Я тропинкой узкою
В гору очень трудную
С ношею тяжелою
Так хочу взойти.
Спотыкнусь наверное,
Не взберусь без помощи,
Потому что горы те
Очень высоки.
Может быть поможете?
Люди — мои братия
Очень было б дорого
Помощь мне найти...
А взамен готова я
По старинно русскому
Низко поклониться вам
До сырой земли.
Если прегрешила я
Если чем обидела —
Каждому в отдельности
Говорю прости.

[3] См. Приложение II в конце главы

Лики ангелов

Это совсем не грех любить
Страшно любовь не услыхать и убить
Это совсем не грех — ночей не спать
Страшно глухим и мертвым стать...

Есть в лице человеческом
Единственная красота
Это лик ли ангела
Смотрит с высока —
Это лик ли ангела —
Так властно нас зовет,
В тоске к земле сгибает
И вновь покой несет.

Но видать красоту неизменную
Только редко кому дано,
Ибо ангелы наши смиренные
Прикрывают крылами лицо
Ибо ангелы наши хранители
Не хотят себя выявлять
Красота их так упоительна
Что могла бы сердце сжигать.

Есть в жизни человеческой
Беспредметная тоска
Это тоже ангелы
Зовут издалека,
Это тоже ангелы
Тоскою полонят
В свои края небесные
Влекут, зовут, манят...

Есть в сердце человеческом
Особенная глубина
Она в минуты смертные
Бывает лишь видна.
Там не живут волнения
Гордыня, ложь и лесть
Там нет тоски сомнения
Там знанье Бога есть.

И человек, весь в трепете,
Готовится к концу,
Чтоб в первый раз осмелиться
Взглянуть в глаза Творцу.

Моя жизнь

Я в моей жизни свое излюбила
Свечку свою дожгла до конца
Долг пред людьми, как могла — уплатила
Чашу свою до дна испила...

. . . .

Господи, может быть это довольно?
Может быть можно уйти?
Ветер, холодный и снежный, сегодня
Все заметает пути.

. . . .

Господи, я, как цветок придорожный,
Шагом прохожих изломана вся,
Господи благостный, может быть можно
Мне отдохнуть у Тебя?

. . . .

В роще зеленой блаженного рая
На самой последней черте
К ризе пресветлой Твоей припадая
Все расскажу я Тебе...

. . . .

[3] ПРИЛОЖЕНИЕ II

Некрологи и воспоминания о С. М. Зерновой появились в «Русской Мысли» (Париж) № 2878, 20 янв., № 2879, 29 янв., № 2880, 3 фев. 1972 года, в «Новом Русском Слове» (Нью-Йорк) 30 янв. 1972, в «Русской Жизни» (Сан-Франциско) № 7442, 17 фев. 1972, в «Вестнике. Р.С.Х.Д.» (Париж), № 101-102, 1972, в «Новом Журнале» (Нью-Йорк), № 106, 1972, в «Соборности» (Лондон) № 5, 1972.

В некрологе, написанном М.Н. Энденом, имеется следующее описание личности сестры.

«С. М. обладала удивительным даром зажигать сердца, как своих соотечественников — часто людей малоимущих, самоотверженно помогавших ей своим трудом — так и состоятельных жертвователей — русских и иностранцев — материально содействовавших ее начинаниям. В личных отношениях с людьми, она производила незабываемое впечатление своим обаянием и тем, что некоторые называли «даром дружбы» — свойством, редким в нашу эгоистическую эпоху, самозабвенно отдавать свое внимание и время людям, близким ей по духу. Но когда спрашиваешь себя откуда происходила та удивительная убедительная сила, которая позволяла ей «двигать горами» и которая была ей присуща наравне с отличавшей ее энергией — что делает ее смерть незаменимой утратой для русского рассеяния — явственно видишь ее источники: укорененность в вере, преданность России, владевшая всем ее существом и, наконец, никогда не угасавшее чувство сострадания к ближнему, в особенности же к тем, за кого каждый из нас продолжает нести моральную ответственность — нашим братьям по плоти, страждущим сынам нашего земного отечества». (Новый Журнал. № 106. Стр. 290).

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ВСТРЕЧИ С РОССИЕЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СНОВА НА РОДИНЕ

В. Зернов

Я уехал из Москвы 13 лет, а из России, когда мне еще не минуло 16-ти. 45 лет моей жизни я провел во Франции и вместе с тем всем моим существом я ощущаю себя русским и москвичом. Весной 1960 года создалась благоприятная обстановка для поездки в Россию. Казалось, что Советский Союз вступил на путь сотрудничества с Западом. Хрущев (1894-1971) ездил в Америку, президент Эйзенхауер (1890-1970) был приглашен в Москву. Я решил поехать с женою на родину. Мой эмигрантский паспорт почти не представил затруднений для нашего путешествия, назначенного на конец мая. Перед самым нашим отъездом, на территории Советского Союза был сбит секретный «шпионский» аэроплан американцев. Международное положение сразу изменилось. Поездка президента была отменена. Все мои друзья считали, что ехать сейчас в Россию неблагоразумно. После долгих колебаний мы все же решили продолжать подготовку к отъезду. В 1960 году мало кто из эмигрантов имел возможность посетить родину, я был одним из первых русских парижан, предпринявшим путешествие за железный занавес.[1]

---

[1] В течение 1960-1966 года всем членам нашей семьи удалось увидать снова нашу родину, кроме младшей сестры, которая из-за болезни не смогла осуществить это свое горячее желание. Она с особенной силой переживала все события, происходившие в России и была лучше других подготовлена к этой поездке.

Многое из того, что было услышано и увидено нами, не может быть опубликовано в настоящее время из-за политических условий. Полный текст наших воспоминаний находится в Архиве Русской Истории и Культуры при Колумбийском Университете в Нью-Йорке.

Мои впечатления о поездке в Россию я напечатал в журнале «Соборность» Лондон. Серия 4, № 4. 1961. (Н. Зернов).

26 мая мы вылетели из Орли в Москву. Через несколько часов мы увидали огни столицы. Авион спустился на русской земле, перед нами большими красными буквами загорелась надпись «Москва». Любопытство, радость и неопределенный страх смешивались во мне в какое-то волнующее ощущение. Вокруг меня русские люди, русская речь. Среди толпы нас разыскивает представитель Интуриста и обращается к нам по-французски. По-видимому говорить ему на этом языке не так просто, он мешает французские и английские слова. Я смотрю на него с опаской. Собираясь в Москву, я думал, что лучше будет не показывать, что я русский, так как я не был уверен, как отнесутся в Советском Союзе к эмигранту. Но как-то само собою выходит, что я перехожу на русский язык, к немалому удовольствию нашего гида. «Вот это приятно, вы так хорошо говорите по-русски, так-то будет проще разговаривать». Среди сутолоки спешивших, невзрачно одетых людей, нас находит шофер и проводит к роскошному автомобилю. Уже совсем темно. Шофер торопится и мы едем в Москву через еловые аллеи. Хвойный лес кажется бесконечным и в голове Розмари мелькает мысль, а вдруг он везет нас не в Москву, а куда-то в совсем другое место? Но вот мы выезжаем из леса и едем по широкой и длинной улице. Я вступаю в разговор с шофером, он предлагает провезти нас мимо Кремля.

Кремль, освещенный яркими прожекторами, удивительно красив и кажется мне сном. Мы подъезжаем к «Ленинградской Гостинице» — высотный дом в 30 этажей. Огромный вестибюль, с мраморными, или под мрамор, колоннами, с причудливыми лампами в венецианском стиле, лестницы устланы коврами, переходы, залы, все нарочито роскошно, грандиозно и безвкусно. Это стиль конца 19-го века. Во всей отделке этого колоссального здания есть оттенок провинциализма и того, что называется «нуво риш». Вместе с тем, огромный вестибюль производит не радостное, а скорее мрачное и даже зловещее впечатление.

Мы долго ждем. Какие-то девицы записывают нас, что-то спрашивают и под конец заявляют, что нам придется подождать. После долгого ожидания, мы узнаем, что нам будет отведен «аппартамент люкс», но только на одну ночь, а завтра нам дадут постоянную комнату. В продолжение нашего пятидневного пребывания в Москве, мы так и остаемся в этом аппартаменте. Нам кажется, что нас поселили туда нарочно, что там лучше устроены микрофоны, о существовании которых нас столько раз предупреждали в Париже.

Во всяком случае, во все время нашей жизни в Москве, мы соблюдали самое суровое молчание в нашей комнате. Если нужно было что сказать, то говорили мы шопотом друг другу на ухо. Комнаты наши со множеством мебели, этажерок, диванов, столиков, ковров представляли из себя то, что, вероятно, кажется роскошью советским гражданам.

В Советском Союзе постоянно встречаешь контрасты и несоответствия. Таким несоответствием с «роскошностью» спальни и салона была ванная комната. Изразцы ее стен, потрескавшиеся и пожелтевшие, производили неприятное впечатление. Вода в добротном умывальнике не проходила, и нам пришлось мыться над ванной. В углу стояла погнутая корзина из почерневшей, прогнившей проволоки, которую не взял бы и старьевщик с парижского «блошиного рынка».

На следующее утро я проснулся на рассвете и выглянул в окно нашей комнаты 9-го этажа. Крыши, множество крыш, с таким же множеством антенн телевидения, нелепые очертания двух или трех высотных зданий, из моего окна не видно ничего, что могло бы порадовать глаз. Но это Москва! Москва, к которой годы и годы летели и возвращались мои мысли. Москва, где я родился, где мы жили когда-то, которая осталась для меня чем-то дорогим, любимым, с которой я связан кровно всем моим существом. И вот в Москве вдруг я почувствовал себя дома, у себя! Почувствовал, что все, что здесь я вижу, принадлежит мне, и никто отнять этого от меня не может!

Нашим первым выходом было посещение патриаршего Елоховского собора. Было воскресенье. В большой церкви было много народа, большинство женщины в платочках, среди них мало молодых. Мужчины составляли всего одну десятую часть молящихся. Вся церковь крестилась и клала поклоны, так, как молились у нас в деревенских церквах. Пел прекрасный хор. «Отче Наш» и «Верую» пела вся церковь, и меня захватила могучей волной эта общая молитва. Я почувствовал себя единым с Россией, с русской Церковью, с русскими людьми и мой голос сливался с голосами оторванных от нас, но родных нам людей.

С жадностью рассматривал я лица, на которых, казалось мне, лежал горький отпечаток усталости и тяжелых переживаний. Как на меня, так и на Розмари, произвели неприятное, и даже жуткое впечатление некоторые лица в церкви, с жестокой складкой рта, что-то суровое, непримиримое легло на них. Впечатление от священников — тоже неприятное. Какието уж очень они упитанные, довольные, нарядные. В конце службы — неистовый, истошный крик перед самым алтарем. Я спрашиваю моего соседа, что это такое. «Да это бесноватая», — как бы удивляясь моему недоумению, отвечает он. Крик не вызывает никакого движения среди молящихся, очевидно здесь это обычное явление.

Так началась наша жизнь в Москве. Перед нами стояли многие задачи: найти прежних друзей, исполнить поручения парижан, посетить знакомые места, почувствовать жизнь современной России. Мы отправились в Хлебный переулок, чтобы увидать дом, где мы жили когда-то и где протекло мое детство. В наше время это был хороший дом, теперь мы нашли его в печальном состоянии. Парадная дверь была заделана.

Нужно было входить через двор. На лестнице стоял острый запах не то какого-то варева, не то каких-то животных. Красивая входная дверь в нашу бывшую квартиру была заменена досчатой, вроде тех которые делаются в сараях. На стене около двери было несколько звонков, и таблички с многочисленными именами обитателей. Я позвонил наугад. Мне открыла какая-то женщина. Я объяснил, что хотел бы взглянуть на ту квартиру, в которой я жил 40 лет тому назад, и что я приехал из Парижа. Она смотрела на меня с подозрением, но, когда я предложил ей английские папиросы, она впустила меня. «Что же вам показать? Пойдемте на кухню» — предложила она. Мы пробрались по коридору, заставленному какими-то ящиками. Кухня оказалась перегороженной на 6 кабинок, в каждой стоял примус и большое ведро для отбросов. «Живем тесновато, но не ссоримся, у нас шесть семейств» — прибавила она. Потом она приоткрыла дверь в свою комнату, когда-то бывшую моею. «Тут живем мы с мужем, да бабушка и двое наших детей» — объяснила она. Мою комнату нельзя было узнать, она была вся загромождена и заставлена какими-то бесформенными предметами. Мне вдруг захотелось скорее, как можно скорее уйти, убежать. Уже не заглядывая в другие комнаты, я поспешно простился с обитательницей этой квартиры.

Выйдя на улицу я начал фотографировать наш дом, но тут появились две женщины и стали требовать, чтобы я шел с ними в милицию. Меня это возмутило. Благодаря моему решительному протесту, они отступили, но продолжали ворчать, упоминая про многочисленных шпионов.

Возвращаясь из Хлебного переулка, мы прошли мимо нашей приходской церкви Симеона Столпника, упомянутой в Евгении Онегине и связанной с памятью о Гоголе. Ее трудно было узнать. Купола и колокольня были снесены, я отворил плохо прикрытую дверь и увидал в беспорядке нагроможденные доски и ящики, а от одной стены к другой был протянут красный плакат с надписью: «Пролетарии всех стран соединяйтесь».

Шесть лет спустя я снова был в Москве и, к моему величайшему удивлению, увидал, что эта церковь реставрируется. Вернувшись в Париж, я прочел статью в одном из французских журналов о заботе советской власти о религии. Как доказательство таковой была помещена фотография восстановленной церкви Симеона Столпника. В ней в настоящее время устроен аквариум!

Среди других моих задач было посещение патриархии. У меня имелось рекомендательное письмо к А. С. Буевскому, секретарю отдела внешних церковных сношений. Я позвонил ему, он выразил желание встретиться со мною, но только после четвертого звонка назначил мне свидание. Патриархия

помещается в маленьком уютном домике в Чистом переулке. Меня провели в канцелярию Буевского. Вслед за мною в ту же комнату вошел священник и сел в углу. Меня с ним не познакомили, но он оставался с нами до конца разговора. Буевский заверил меня, что Церковь пользуется полной свободой и поддержкой властей, что работа ее расширяется.

На следующий день я собирался поехать в Троицко-Сергиевскую Лавру, где когда-то учился и преподавал мой дед.[2] Я спросил, не могли бы мы с женой позавтракать в монастыре. Эта просьба очень смутила Буевского. Он обещал, однако, позвонить по телефону и устроить для нас посещение академии. Когда мы приехали в Лавру, я встретил студента и объяснил ему, что о нашем посещении наверное их известила патриархия и что нам было обещано показать академию. Он сразу куда-то исчез и после долгого отсутствия принес альбом с фотографиями, который мы у него купили. В академию нас не пустили. Мы могли увидать только церкви. Профессор, которого я хотел встретить, вначале был «очень занят», а потом оказался «больным».

Из Москвы мы поехали на 5 дней в Петербург. Лежа в полумраке уютного купе медленно идущего поезда, под мерное постукивание колес, я вновь переживал впечатления, полученные в Москве. В моей памяти стали всплывать давно забытые стихи Блока:

«Опять, как в годы золотые»,
«Три стертых треплются шлеи»,
«И вязнут спицы росписные»
«В расхлябанные колеи».
... ...

«Тебя жалеть я не умею»,
«И крест свой бережно несу . . .»
«Какому хочешь чародею»
«Отдай разбойную красу!»

«Пускай заманит и обманет, —»
«Не пропадешь, не сгинешь ты»
«И лишь забота затуманит»
«Твои прекрасные черты . . .»

В столице империи я не бывал раньше. Мы приехали туда в период белых ночей. В последний вечер накануне нашего отъезда я предложил Розмари войти в первый попав-

---

[2] См. На Переломе. Степан Иванович Зернов и его деятельность. Стр. 15-31.

шийся трамвай и поехать куда бы он нас ни повез. Не хотелось расставаться с красотой Петербурга. Кондукторша удивилась нам. «Странный человек, — сказала она, — входите в трамвай, а не знаете куда он идет». Я объяснил ей, что мы из Парижа и хотим повидать город. «Ну это другое дело, — ответила она, — я с вас за билеты не возьму, а вы нам расскажите, как в Париже люди живут». Это был как сигнал, со всех сторон вагона посыпались вопросы. Я с женой едва успевал отвечать. Нас спрашивали, какие цены на продукты, сколько зарабатывают рабочие, расстреливают ли коммунистов, какая жилплощадь на человека, можно ли ездить заграницу, будет ли война. Наше трамвайное приключение превратилось в информационное собрание. Люди повскакали со своих мест, чтобы лучше слышать ответы. В это время поднялся маленький, сухой человечек с большим портфелем и проталкиваясь к выходу, громко заявил: «Граждане, вам нужно больше читать Маркса и Энгельса и меньше слушать праздные разговоры». Все сразу притихли. Мы вышли на следующей остановке. За нами выскочил какой-то юноша. Он просил нас прийти в его студенческое общежитие. «Мы ведь ничего не знаем, — говорил он, — а тому, что нам дает пропаганда, мы давно уже не верим». Мы объяснили ему, что завтра уезжаем.

Год спустя мы с женой, сестрой и сыном снова были в России. На этот раз мы решили поехать в Сочи, где когда-то у нас было образцовое садоводство и розарий. За 44 года Сочи стали неузнаваемыми. Из маленького элегантного курорта, где было всего несколько отелей и красивых дач, они превратились в самый популярный курорт Советского Союза, куда ежегодно съезжается более миллиона человек. Гостиница, где мы остановились, оказалась, как и все советские здания, смесью потуг на роскошь и отсутствия самых элементарных условий комфорта. В первый же день мы отправились в наше бывшее имение. Найти его было не легко. Раньше оно было окружено девственным лесом, теперь оно стало одной из окраин разросшегося города. Наш сад был знаменит величественной кипарисовой аллеей, между деревьями росли пальмы и розы, хрустящий гравий покрывал дорогу. Эта аллея была единственной, что оставалось от прошлого, хотя и она много пострадала. Пальмы и розы исчезли, многие кипарисы были вырублены, другие же сильно разрослись. Между их стволами на веревках висело белье, всюду были кучи отбросов. Аллея теперь называлась улицей Ленина, по ее сторонам в беспорядке были разбросаны лачуги, сколоченные из ящиков и другого «легкого» строительного материала. В конце ее мы нашли домик нашего садовника, имевшего три комнаты с террасой. Он казался «паллацо» по сравнению с новыми постройками. Сочинское имение было увлечением отца. У нас было 40,000 кустов роз, тысячи гвоздик и мно-

жество декоративных растений. Мы продавали в Москве цветы и чернослив, а уже перед войной, отец посадил 4000 мандариновых деревьев. Все это исчезло без следа, все заросло непроходимой колючкой, только кое-где виднелись бетонные остатки оранжерей.

Во время одной из наших экскурсий, экскурсовод заявил с гордостью, что советские ученые обещают через несколько лет снабжать население сочинскими мандаринами. Желая его обрадовать и поддержать, я сообщил, что уже сорок лет назад в Москве продавались мандарины из нашего имения. Это известие произвело на него обратное впечатление, он замолк. Потом он мне сказал, что сразу увидал, что я «бывший аристократ».

Во время моих путешествий в Советском Союзе, меня поражало безропотное подчинение советских граждан начальству. Иностранные туристы являются привилегированными лицами, им дозволяется то, что запрещено советским гражданам и это не вызывает ни ропота, ни недовольства.

В 17-ти километрах от Сочи на горе Ахун есть «роскошный» ресторан, куда высокопоставленные посетители Сочи ездят кутить. Рядовому советскому гражданину попасть туда трудновато, так как на все столики заранее кладутся записки «занят». Шофер, везший нас туда, предупредил нас об этом, но посоветовал говорить по-французски. Так мы и сделали. Нарочно громко говоря, мы расположились за столиком, на котором лежала карточка «занято». К нам сразу подбежал метрдотель, приведя с собою одну из подавальщиц и говоря ей: «Ты лучше понимаешь иностранные языки, прими заказ». Подавальщица поняла, что я хочу курить и принесла папиросы и спички, но в конце концов нам дали и меню и мы смогли пообедать в недоступном для советского гражданина ресторане.

Однажды вечером мы решили пойти в Сочи на эстрадный концерт. Мы пришли с запозданием и, чтобы получить места, Розмари сказала, что она переводчица, состоящая при семье иностранцев. Это произвело на кассиршу сильное впечатление. Она послала за директором, сказав: «Пришла группа иностранцев с собственной переводчицей». Прибежавший директор сразу снабдил нас билетами, провел в первый ряд, высадив четырех покорных советских граждан, расположившихся послушать концерт. Меня весь вечер мучила совесть из-за невинно пострадавших театралов.

Главным украшением Сочи в то время были памятники Ленину и Сталину то по отдельности, то вместе. На одном из них Ленин сидит развалившись и держит в руках книгу повидимому «Капитал» Маркса, а Сталин стоит, почтительно склонившись и слушает объяснения великого учителя. На другом, очевидно, позднейшем, Ленин и Сталин сидят рядом одинаково непринужденно. Наконец, Сталин стоит уже один,

с устремленным взглядом ввысь, его рука по-наполеоновски заложена за борт длинной военной шинели — это уже «отец народов». А Ленин все еще изображается с книжкой или тетрадкой, как будто он должен доказывать или защищать свои положения. Сталину уже не нужно спорить ни с кем, его авторитет признан всем «прогрессивным» человечеством.

Во время нашего путешествия по Черному морю, капитан предложил советским туристам показать пароход. В этот момент я разговаривал с одним из них и он, взяв меня под руку, увлек меня со всей группой. Нам показали и «красный уголок». Это был салон вроде домашней часовни, с бюстом Ленина, барельефом Маркса, с большим в красной раме портретом Хрущева, и с несколькими полотнищами красного бархата, на которых золотыми буквами были написаны цитаты из творений Ленина и Хрущева. Это небольшое помещение очевидно предназначалось для медитации.

Показывая пароход, капитан объяснил, что сейчас Советский Союз находится в периоде социализма, а по словам Никиты Сергеевича (Хрущева) в 1980 году наступит эпоха коммунизма. К тому времени на пароходах не будет классов, при каждой кабине будет отдельная ванна и все будет чрезвычайно комфортабельным. В настоящее время советские пароходы имеют пять разных классов: люкс, 1, 2, 3, и палуба. Палубных пассажиров не пускают ни в салон, ни в ресторан.

Летом 1966 года я в третий раз поехал в Советский Союз, чтобы участвовать в конгрессе микробиологов. Летели мы с сестрой с большой партией французов. Представитель туристического бюро обратился к нам с краткой речью перед нашим отъездом, предупреждая нас воздерживаться от всяких критических замечаний, так как при малейшем нарушении советских правил каждый из нас может быть немедленно выслан из пределов Союза. По окончании конгресса мы поехали на несколько дней в Пятигорск, нам хотелось увидать Ессентуки, где мы пережили начало большевизма. Кроме нашего дома, у нас был небольшой участок земли, на окраине станицы. Из него открывался вид на далеко уходящую степь. Оказалось, что доступ к нему запрещен, он был включен в секретную военную зону. Не менее этого нас удивило и то, что в середине одного из лучших курортов России построен пивной завод. Зато от прекрасной церкви св. Пантелеймона не осталось ни следа. Ее внутренняя отделка из очень ценной мозаики перенесена во вновь построенные бани. Шофер такси сказал нам, что публика неохотно ходит в них: «Или уже в церковь идти или в баню». Видели мы наш бывший дом, ходили по знакомому курортному парку. Прощались с ушедшей навсегда жизнью.

Ездили мы и в Кисловодск. Я обратил там внимание на

памятник жены коммиссара Ге. В 1919 году приехали на Минеральные Воды из Москвы с особыми полномочиями два комиссара, Аксельрод и Александр Ге с женой. Говорили, что она была русская, дочь полковника. Ге руководил террором, по его приказанию люди исчезали бесследно. Но вскоре стало известно, что был способ избежать расстрела, для этого нужно было иметь драгоценности. Деньги тогда не имели значения, но золото и бриллианты, вовремя переданные госпоже Ге, могли спасти жизнь заложника. Когда пришли белые, сам Ге успел бежать, а его жена была арестована. У нее нашли чемодан с драгоценностями. Ее повесили, а теперь ее памятник украшает кисловодский парк.

Когда мы были в Одессе, нам удалось попасть на службу в Собор. Я молился перед прекрасной, чудотворной иконой Касперовской Божьей Матери. Я ждал ответа, что же будет с Россией, с русской Церковью? В это время священник стал читать Евангелие о том, как Спаситель с учениками плыл по бурному озеру; когда Он заснул, то испуганные ученики разбудили Его, Он укротил бурю и сказал им: «Где вера ваша?» (Лука VIII. 25).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЦЕРКОВНЫЕ ЛЮДИ В РОССИИ

(Первая поездка. Август 1961 года)

С. М. Зернова

Когда мой брат Владимир с женой и сыном решил ехать в Сочи, я присоединилась к ним. Мне хотелось увидать «Саднаш», который в дни нашей молодости казался нам райским садом,[1] а также узнать насколько вера в Бога сохранилась на нашей родине.

Одиннадцатого августа в бурную, дождливую погоду мы добрались до пристани в Венеции. Нас ввели в мрачную комнату, где находились другие пассажиры — какие-то плохо одетые брюнеты. Они молча сидели на своих узлах и корзинах. Мы их приняли за греков. Началась проверка документов, потом посадка. Теплоход «Литва» весь белый и чистый. Администратор-дама — молодая, полная блондинка, без улыбки, с модной высокой прической, вид у нее вульгарный. Ее помощник с приветливым лицом. Он обращается к капитану: «Вот группа иностранцев, не знаю, как с ними объясняться?» — «Говорите с нами по русски», отвечаю я. «Неужели русские! — с радостью восклицает молодой моряк, — ну теперь, значит, все в порядке, выбирайте любую каюту, а потом прошу в столовую». Нас угощают хорошим борщем, несъедобным мясом и замороженной водой-«мороженым».

На следующий день мы знакомимся с другими пассажирами — «греками». Большинство оказывается армянами, получившими разрешение провести десять дней в Венеции. Многие из них актеры или художники. Мы объединяемся с несколькими из них, они говорят с нами запоем, радуясь, что могут «вылить душу». Они избегают трафаретных фраз, — какое теперь идет строительство, как не узнать их городов. Мы узнаем о трудности их жизни, об отсутствии свободы.

[1] Описание нашей жизни в Сочи до революции находится в книге «На Переломе». Париж. 1970. Стр. 224-226.

Однажды, когда я осталась с одним из русских, я спросила его, не может ли повредить ему, что он так много общается с нами. «Говорить с вами такая радость, что я не могу лишить себя ее» — отвечает он.

Через день мы останавливаемся в Дураццо в Албании. На берег нас не выпускают. На пароход входят новые пассажиры. Главный среди них советский генерал, подтянутый, со стриженой головой, у него милая, молодая жена и два мальчика. Их провожают расфранченные и раскрашенные дамы и толстые мужчины с бритыми головами под «Хрущева», с букетами цветов и приятными, сладкими улыбками. Все это на фоне оборванных, полуголых албанцев, которые втаскивают на пароход автомобиль генерала и бесконечные ящики и чемоданы советской миссии. Вечером новые пассажиры и провожающие ужинают на пароходе. Им накрывают большой стол с белой скатертью, подают обильные закуски, водку и шампанское. Они произносят тосты, чокаются, целуются.

Неожиданно, к нам подходит один из армян, в их группе сегодня есть именинница, они хотят приветствовать нас коньяком и приглашают присоединиться к ним. Мы радуемся, что они включили нас в свой праздник и дарим имениннице флакончик парижских духов. Армяне усаживаются в полукруг на палубе и начинают танцевать и петь национальные песни. Звездная, теплая ночь, пароход быстро рассекает море, мы слушаем их песни и прикасаемся к стихии народа и отличного и вместе с тем близкого нам.

На следующее утро, через 8-летнего Юру, мы знакомимся с генералом и его женой. Юра круглолицый, всегда улыбающийся, сразу победил наши сердца. Генерал подсел к нам с Володей. Отрывисто, без улыбки спросил: «Когда уехали из России?» — «40 лет назад», — отвечаю я. — «Россию не узнаете. В Москве были? Надо туда поехать. А через 5 лет и совсем не узнаете, если не будет только войны. Положение сейчас напряженное, Берлина мы не отдадим. Армия наша непобедимая, мы никого не боимся, тянуть так не будем. Америка хочет войны, но мы постоим за свое. Русь никто не побеждал и не победит». Я отвечаю, что и Америка не хочет войны. Он слушает меня недоверчиво. «Вы что же, белые эмигранты будете?» — задает он новый вопрос. «Да» — подтверждаю я. — «В гражданскую войну, я полком командовал, шел против «белых», за коммунизм умирал». — «А мы шли умирать за Россию», — отвечаю я. Он очевидно не ожидал такого ответа и не нашелся, что мне сказать. Брат поспешил прекратить разговор, упрекал меня в неосторожности, но мне было все равно.

Однажды утром я разговорилась с нашей уборщицей. «Вы замужем, есть у вас дети?» — «Есть сынок» — «А крещен он у вас?» — «Крещен», — «У вас разве крестят детей?»

— «Да, крестят». — «И церкви в Одессе есть?» — «Как же есть». — «Сегодня праздник» — прибавляю я — «Какой праздник?» — «Преображение». — «Вот спасибо, что сказали, пойду скажу девушкам и мы не будем работать, а то в свободное время мы работаем в своих кабинках, шьем, штопаем, а когда праздник, то уже не шьем. А не скажете ли вы какой это праздник?» Я ей объяснила, что когда мы умрем, то у всех нас будет тело преображенное, как у Христа на горе Фаворской. Она слушала меня внимательно, поблагодарила, а потом шопотом прибавила: «Когда под румынами были, в школах учили Закон Божий, я тогда много знала, но я еще маленькой была, а теперь некому мне объяснить».

В Одессе таможенный чиновник, в фуражке с зеленым околышком, просматривает небрежно наши вещи и задает нам всего лишь один вопрос: «Сколько у вас Евангелиев?» К счастью он спрашивает Розмари, она отвечает, что она швейцарка и у нее одно Евангелие на немецком языке. Меня он не спрашивает и я молчу. У меня их три.

Наш пароход остается в Одессе до следующего утра, но ночевать мы должны в своих каютах и потому вернуться уже вечером. Найти такси невозможно. С великим трудом мы втискиваемся в переполненный тролейбус и едем до вокзала. Недалеко видим большую церковь, подходим к ней. Золотой крест на ней сломан, на запертой двери крупными буквами надпись: «клуб». Мы стоим растерянные. С нами заговаривает какая-то женщина и объясняет как пройти к «действующей» церкви. Мы находим ее, у свечного ящика встречаем старика с культурным лицом. Мы объясняем, что мы из Парижа, спрашиваем, где находится женский монастырь, мы знаем там одну монахиню. Он смотрит сперва на нас с осторожностью, потом не выдерживает, закрывает лицо руками и начинает плакать. Торопясь и оглядываясь по сторонам, он быстро шопотом рассказывает нам, что женский монастырь только что разогнали, кажется некоторые монахини скрываются в мужском монастыре. Крест на большой церкви сломали, сперва нагнали евреев, но они отказались ломать его, прислали солдат, те тоже отказались, тогда ночью привезли молодых комсомольцев, они сломали крест, вывезли все из церкви и открыли там клуб. Другую церковь закрыли после того, как один крупный коммунист крестил там своего ребенка. Мы не знали как его утешить. Но он сказал нам, что доход от свечей все равно от церкви отбирают. «Мы гибнем — говорил он, — и вы ничем не можете нам помочь».

Мы решили ехать в мужской монастырь. Трамвай идет медленно и долго, его трясет, бросает, вокруг серость и грязь. Против нас на скамейке спит мальчик лет восьми. Я сую ему в руку жевательную резинку, он сразу просыпается и с удивлением смотрит на нас. Услыхав, что мы спрашиваем у кондукторши — как найти мужской монастырь, он сразу

вызывается нас туда провести. Рядом с монастырем его школа, сам весь оборванный, в рваных сандалиях.

Монастырь благоустроенный, окруженный зеленым, свежевыкрашенным забором. Мы входим в калитку, в это время подъезжает автомобиль и монах-привратник кидается открывать ворота. Из автомобиля выходят два важных, упитанных монаха, с длинными расчесанными бородами и в нарядных рясах. Я подхожу к одному из них и объясняю ему, что мы приехали из Парижа и хотели бы узнать, что стало с женским монастырем и каково вообще положение Церкви. Он смотрит на меня холодно: «Живем хорошо, — говорит он, — узнавать вам нечего, если хотите молиться, идите в церковь, через час будет служба». И они оба уходят, оставив нас в недоумении.

Вдруг я замечаю в глубине сада молодого человека, который набирает воду из крана. Я быстро подхожу к нему и говорю: «Мы люди верующие, разыскиваем женский монастырь, у нас там приятельница, помогите нам».

Он быстро взглядывает на меня, так же быстро оглядывается по сторонам и тихо говорит: «пройдите прямо, там за домом три монашки». За маленьким белым домиком я вижу скамейку и на ней три женщины, одна лежит больная, две сидят около нее. Я объясняю кто я и откуда приехала. Одна из них оживляется, начинает рассказывать, как разогнали их монастырь, нагрянули ночью, увезли монахинь неизвестно куда, не позволили взять с собой ни одной вещи, молодые разбежались, но не знают как будут жить, их нигде не прописывают. У нее тонкое, смиренное лицо и мистические глаза. Я говорю ей: «Веру только не потеряйте». Она улыбается: «Веру то не потеряем, Господь помогает, но последние времена пришли . . . Пещеры в Киеве закрыли, Господи, что делается . . .» Она говорит быстро, тихо и все оглядывается. Недалеко от нас ходит взад и вперед какой-то человек среднего возраста и все на нас поглядывает. Наконец, он подходит к нам. «Вы иностранцы? — спрашивает он, — православные?» Я едва успеваю ответить ему, он говорит быстро, стараясь успеть все высказать: «Церковь гибнет, скажите там всем, церкви закрывают, семинарии закрывают, за каждым нашим шагом следят, у церкви два врага, самый страшный ее враг — это внутренний враг. Вы понимаете? Этот монастырь только для видимости, здесь нет ничего настоящего, положение Церкви ужасное. Кричите, говорите всем, что мы гибнем, патриарх в плену, он уже ничего не может сделать . . . »

Здесь я совершила непростительную ошибку — я, попросив его подождать, побежала за братом, который остался около церкви. Когда мы почти бегом возвращались к белому домику, два рыжие монаха, приехавшие на автомобиле, заметили нас через окошко и один из них, разъяренный и красный от гнева, накинулся на нас. Он приказал нам следовать за ним в кан-

целярию. Наш собеседник пошел с нами, объясняя громким голосом, как и зачем построены различные здания монастыря. Вдруг он нагнулся ко мне и стал шептать: «Патриарх стар, он три года добивается свидания с Хрущевым, уход Николая Крутицкого — громадная потеря, 68 % всех церковных доходов идет государству, но не это самое страшнос, только 10 % священников — подвижники, а остальные губят Церковь. Наша единственная надежда, что мы вошли во Всемирный Союз Церквей».

Тут к нам подошел монашек и сказал нашему спутнику, что его зовет настоятель монастыря. Мы умоляли его еще раз встретиться с нами, но он ответил, что это невозможно, его ни на минуту не оставят теперь вне наблюдения. «Поднимите шум, может быть это нам поможет» — быстро промолвил он, прощаясь с нами. Мы вышли из монастыря, потрясенные. Я успела всунуть монашке теплую ангорскую кофточку и попросила ее молиться за нас.

Ялта. Жаркий, солнечный день, бесконечно стоим в очереди за такси. Едем в домик Чехова. На дверях вывешено, что вход новым посетителям воспрещен. Пробираемся к экскурсоводу и говорим, что мы из Парижа. Нас сразу пропускают, встречают приветливо, расспрашивают про жизнь во Франции. Потом долго бродим по городу, всюду масса гуляющих. Люди с лицами «плоскими, как тарелки, без всякой тайны», как выразился о советской толпе один иностранец. На пляже лежат один около другого полуголые тела.

Сочи. Нас помещают в отель. Погода чудесная, всюду пальмы, громадные здания. Город полон пестрой, оживленной толпой. Мужчины разгуливают в пижамах, кажется, это считается здесь верхом элегантности. На следующий день идем в церковь. Она закрыта, на калитке висит большой замок. Мы решаем искать священника. В саду играют мальчики 8-9 лет. Я спрашиваю: «Здесь живет священник?» — «Здесь — отвечает один из них, — а вам зачем?» — «Не твое дело» — перебивает его мальчик побольше и указывает на дверь. Вхожу в квартиру. Никого не видно. В комнате бесспорядок, но обстановка неплохая, стоит большой холодильник. Наконец откудато появляется женщина. От нее я узнаю, что о. Гавриил простужен и только что заснул. Жена его недавно вернулась из госпиталя и больна. Она ее сестра и приехала за ней ухаживать. Я спрашиваю ее — верующая ли она? «Нет, — отвечает она — хотя чтобы совсем неверующая — не скажу, может быть и есть Бог, но у нас как-то все это не принято и в церковь я не хожу.» — «А батюшка верующий?» — продолжаю я свои расспросы. «Он верующий — подтверждает она, — вы позвоните завтра, я скажу, что вы из Парижа, он должно быть непременно захочет вас повидать, а сейчас я не смею будить его.»

На следующий день я позвонила, как было условлено. Ответил мне чей-то голос: «Вам отца Гавриила? Если вам что-нибудь нужно — идите в церковь.» — «Но церковь закрыта — отвечаю я, вы мне сами сказали позвонить вчера, я хотела бы встретить о. Гавриила.» — «Видеть его вам незачем» — холодно повторяет голос. — «Это я с вами говорила вчера?» — спрашиваю я, — «С кем вы говорили — вас не касается, больше ничего я вам сказать не могу» — она резко обрывает разговор и кладет трубку.

К вечеру мы пошли в церковь, на этот раз она была открыта. Где-то в глубине крестили девочку лет 5-ти. О. Гавриил стоял у свечного ящика. Он сказал нам, что все у них обстоит хорошо, служат они свободно, крестят детей, хоронят, венчают, получают из патриархии Евангелия и молитвенники.

Я спросила, сколько Евангелий они получили, оказывается 15, а приход обслуживает приблизительно миллион людей. Я рассказала про закрытие женского монастыря в Одессе, про церкви обращенные там в клубы со сломанными крестами. Он уверил меня, что все это клевета, что в Сочи недавно приезжал из Одессы митрополит Борис и утверждал, что там 25 действующих церквей и полная свобода.

Я поняла, что его сердце «не обливается кровью». Вид у него был благополучный, новый костюм, автомобиль, квартира в 3 комнаты. Говорить с ним нам было больше не о чем.

На следующее утро мы пошли разыскивать наше бывшее имение. Оно было в 4-ех километрах от Сочи. Нашли мы его в «предельном» запустении, все фруктовые деревья были вырублены, все розы погибли, все заросло лианами и колючкой. Мы постучали в дверь домика, где когда-то жил наш садовник. К нам вышла женщина армянского типа и на наш вопрос — что это за земля и кому она раньше принадлежала — ответила, что этого она не знает, так как живет здесь всего 20 лет, что в каждой комнате находится по семейству, что земля принадлежит совхозу, но ее никто не обрабатывает, из-за нехватки рабочих рук, им же дали всего маленький участок, где они посадили два фруктовых дерева, 15 кустиков помидор и столько же картошки. Тут она прибавила, что долина, которая спускается к морю называется почему-то «Зерновская Балка», а почему «Зерновская» она объяснить не может. Тут я сказала — что это мы, Зерновы. Она пришла в восторг, кинулась звать своего мужа и двух мальчиков сыновей. «Зерновы приехали — быстро повторяла она, — старые хозяева приехали». Она не знала чем угостить нас, что подарить нам на память.

Мы еще раз навестили ее, принесли разные подарки. Она рассказала, что работает с мужем учителями, но заработок не позволяет им купить башмаки детям и дома они ходят босиком. Рассказала она нам также о старушке, которая уверяет,

что когда-то здесь все было полно роз и других цветов, но ей никто не верит и говорят, что эти розы приснились ей во сне.

В этот же вечер, в мою дверь кто-то тихо постучал. Вошла пожилая женщина. «Я видела у вас иконку, неужели вы верующая?» — «Конечно верующая» — ответила я на ее робко заданный вопрос. — «Слава Тебе, Господи» — промолвила она и начала меня расспрашивать: позакрывали ли церкви во Франции, преследуют ли там веру? Она никак не могла поверить, что мы приехали из свободной страны. На мой вопрос, как она живет, она рассказала, что у нее все благополучно, семья у нее дружная, живут они в одной комнате, старушка ее мать, дочь с мужем и сыном и она, а сейчас еще пришел странник из Киева и тоже поселился у них. Все они верующие. Хотели,чтобы мальчик пел в церкви, но об этом узнали в школе и запретили, грозили выгнать. Так они теперь у себя, дома, по вечерам поют церковные песнопения. Дочь знает церковно-славянский язык и ходит читать над покойниками «грешников вымаливает», молится за их души, не принявшие Бога. Я подарила ей Библию и Евангелие, она не знала как меня благодарить и быстро спрятала их. Показала она мне книжечку, с которой она никогда не расстается. Она была вся замусолена, в ней было объяснение некоторых молитв и евангельских событий. Мы встретили в церкви ее дочь, скромную и умную. Она была мне очень благодарна за переписанный мною для нее акафист св. Серафиму.

Встретила я также в церкви культурную даму из Ленинграда и спросила ее, есть ли верующие среди молодежи? Она сказала, что у нее три сына и все верующие, но в церковь ходить не могут, как их судить? им надо жить жизнь!

Каждый раз в церкви меня поражал один человек, с прекрасным лицом. Он стоял как столб, не шевелясь, не крестясь, смотря не отрываясь на иконы. Только в последний день перед нашим отъездом, я решила поговорить с ним. Когда он узнал, что мы из Парижа, то он объяснил, что он тоже приезжий издалека — из Сибири. «Крестят ли там детей?» — спросила я. «Да, крестят.» «А вы своих крестили?» «У меня нет детей». — «А жена у вас есть?» — «И жены у меня нет», — ответил он. Потом, посмотрев на меня, он прибавил: «Я вам верю, я — монах, только не православный, я из пограничной области с Польшей, я католик. Монастырь наш закрыли, монахов разогнали. Во время войны я был санитаром и подобрал раненого немца, как в притче о милосердном самарянине, и получил за это 8 лет лагеря» — «Тяжело там было?» — спросила я, — «Да, немногие выжили» — «А были в лагере священники?» — «Конечно были и вера у них была сильная» — ответил он. Я смотрела ему в глаза и не могла оторваться от них, у него были светящиеся, синие глаза.

«Что я могу сделать для вас?» — спросила я его. «Скажите там, чтобы соединили Церкви, — горячо ответил он

мне, — еще в Галиции умирал один православный и просил, чтобы я позвал священника, я мог найти только католика, но человек не хотел у него причаститься. «Не могу стать перед смертью католиком» — сказал он мне. А теперь я в таком же положении, живу без причастия. Хожу в православную церковь, но не смею причащаться, ведь я монах!»

Он рассказал мне, как в Сибири умирала молоденькая комсомолка, позвала свою мать и просила крестить ее. Мать отказалась помочь, тогда дочь заявила, что у нее нет больше матери и просила всех в больнице быть милосердными и устроить ее крещение. Владимир привел священника, комсомолка крестилась и через два часа умерла очищенная и счастливая. Он просил нас прислать ему молитвенник и Евангелие, многие хотели научиться у него православным молитвам, но он знал только католические и по латыни. Он дал нам адрес родственника в Польше, кому мы могли послать эти книги. Кроме того он рассказал нам, что в лагере он сидел с французским священником, которого выпустили, звали его Жан. Владимир надеялся, что мы разыщем Жана (фамилии его он не знал), и тот сможет достать для него разрешение причащаться в православных церквах, оставаясь католиком. Мне удалось встретить Жана, который получил необходимый документ для Владимира. Я переслала его вместе с Евангелием и молитвенником в Польшу, надеюсь, что все это дошло до нашего нового друга.

На обратном пути мы опять остановились в Ялте, ездили в Ливадию, видели дворец Воронцова, проезжали мимо таинственных, охраняемых солдатами стен, за которыми отдыхают «члены правительства». В 5 часов мы пошли в церковь. Она была еще закрыта, но на скамейке сидели три женщины, в ожидании молебна с акафистом. Мы разговорились. Одна из них, узнав, что мы из Парижа, спросила, не знаю ли я Загоровских. Она вся просияла, когда я сказала ей, что они мои друзья. В глазах ее появился тот же свет, который я видела в глазах Владимира. Она оказалась приезжей из Харькова и была раньше духовной дочерью отца Николая Загоровского. Она знала, что он уехал во время немецкой оккупации, чтобы пробраться к сыну во Францию. Она всегда надеялась получить вести об о. Николае. Для нее встреча со мною была чудо, великая милость Божия.

Перед воротами церкви стояла старушка. Мы спросили ее, хороший ли у них священник? «Священник хороший, — ответила она — живет благополучно, имеет автомобиль, отдельную квартиру, службы знает, в Бога не верит, голос у него красивый и мы ему благодарны. Все же есть у нас священник и есть службы!» Мы с изумлением слушали ее. «Как же в Бога не верит?» — спросил ее брат. — «А у нас это часто», — ответила старушка. Узнав, что мы из Парижа, она сказала нам, что у нее была сестра и племянник в Париже,

но она не имела их адреса и не могла их найти. Оказалось, что мой брат знал ее племянника, нашел его и они стали переписываться и он мог посылать ей посылки.

На молебне поет вся церковь, это пение невозможно забыть. Священник с прекрасным голосом, с холодным непроницаемым взглядом. Выйдя из церкви, я подхожу к седому господину и спрашиваю у него — каково положение церкви? Он отвечает, что он профессор Богословской Академии из Ленинграда, что в России теперь всюду имеются семинарии и монастыри, священник в Ялте прекрасный, он его ученик по заочным курсам. Он утверждал, что в Одессе женский монастырь не закрыли, а только перевели его в другое место, где монахиням будет лучше. Советовал нам не верить тому, что говорят, т. к. Церковь, по его словам, пользуется теперь полной свободой.

Опять Одесса. Приехав в Одессу — мы сразу идем в собор. Там идет литургия. Почему-то я не становлюсь, как обычно, рядом с моим братом, его женой и сыном, а отхожу от них и становлюсь одна, у правой стены. Недалеко от меня — женщина молится на коленях, перед иконой Николая Чудотворца, рядом с ней мальчик, лет пяти. Икона повешена низко и мальчик стоит перед нею, прислонив к ней лоб. Так они проводят всю литургию. Служат несколько священников, но главный из них имеет такое лицо, что смотря на него, я начинаю плакать. Во время службы мой брат подходит ко мне и говорит, что на левой стороне находится моя любимая, чудотворная икона Касперовской Божьей Матери. Он также указал мне на замечательное лицо одного из молящихся и я решила, что непременно познакомлюсь с ним после службы.

Когда кончилась литургия, я подошла к чудотворной иконе и стала ждать, когда народ приложится к ней и уйдет. Я долго оставалась перед нею одна и уже собиралась уходить, когда я увидала снова ту женщину, которая стояла перед иконой Николая Чудотворца. С ней был ее маленький мальчик и другой побольше, лет девяти. Этот старший держал в руке веточку, макал ее в лампадке и ставил крестик на лбу матери, на свой и маленького брата. Вид у них был очень бедный и я решила дать им немного денег. Зная, что у меня в портмонэ была мелочь, я сказала женщине, что хочу помочь ей. К моему удивлению, мелочи у меня не оказалось, я нашла только бумажку в три рубля, которую я ей и дала. Она взяла ее, потом вдруг вернулась и спросила не ошиблась ли я, дав ей так много? «Нет, — ответила я — возьмите, это от меня.» Тогда она закрыла лицо руками и стала плакать. «Не вы дали — говорила она — Николай Чудотворец дал.» Я узнала от нее, что она приехала из деревни, чтобы привезти детей в церковь, но у нее не хватило денег на обратный проезд. Она пошла «к ним», но когда «они» узнали, зачем она приехала в Одессу, то заявили, что завтра мальчиков от нее отберут и

отправят их в детдом. У нее была одна лишь надежда, что Николай Чудотворец поможет. «Знаете ли вы — прибавила она, — что вы дали мне ровно столько, сколько мне надо на билет!»

Я слушала ее и благодарила Бога. Я сказала ей веселым тоном: «Ну, и слава Богу, теперь все хорошо, уезжайте спокойно.» Я могла только так говорить, чтобы не начать рыдать с нею.

После этой встречи я пошла отыскивать «незнакомца». Он еще оставался в церкви. Я сказала, что мы из Парижа и хотим знать сколько церквей в их городе. Он ответил, что сейчас открыто четыре — собор, Успенская около вокзала, Архиерейская и Кладбищенская. На собор наложили миллион рублей налога, но его не закрывают из-за иностранцев. «Простите меня и поймите, — прибавил он — больше я с вами не могу говорить, так как вы приехали из Франции.» Я все же стала просить его дать мне еще 10 минут в любое время и в любом месте. Тогда он предложил мне прийти в 5 часов в Архиерейскую церковь на всенощную и акафист Успению.

На этот вечер у нас были билеты в оперу, я решила попасть туда с опозданием, и к 5-ти часам, на дребезжащем, грязном и полуразваленном трамвае отправилась в Архиерейскую церковь. Церковь была небольшая, окруженная садом, калитка была еще заперта, на тротуаре сидело несколько женщин. Я подсела к одной из них. Она рассказала, что уже одиннадцать лет поет в хоре. На мой вопрос — хорошие ли у них священники — она ответила, что их они не судят, но тот главный, который служил литургию в соборе — тот святой. «Если вы хотите исповедоваться или панихиду служить — вы к нему наверное идете?» — спросила я ее. «Зачем к нему? — ответила она, — народ понимает, к нему никогда не ходим, бережем его, чтобы его у нас оставили, к другим священникам ходим.» — «А как вы живете?» — Работаю домработницей, живу в подвале без окна, дом разваливается, трудно живу» — ответила она.

У меня был чемоданчик с вещами, я дала ей его, прося взять себе, что ей нужно, а остальное распределить между теми, кто пострадал за веру. Она трогательно стала благодарить меня, обещая раздать тем, кто еще более нуждается, чем она.

Началась служба. Народу было очень много, трудно было пошевелиться, пела вся церковь. Пели так, что казалось, что их голоса проникают через стены и летят прямо к небу. Я стояла рядом с молоденькой девушкой с ангельским лицом. Когда вынесли плащаницу Успения весь народ ринулся навстречу митрополиту, вышедшему из алтаря. Он был высокий, толстый, с громадной бородой, мрачного вида. Моя соседка не подошла к нему под благословение. Я не пошла тоже. Потом я увидала двух молодых монашек, которые, стоя в

толпе, все время что-то тихо говорили народу, я продвинулась к ним, и услышала: «идите, прикладывайтесь к святым иконам, зачем идете к владыке, вы Богу молиться пришли, а не руку у него целовать». И народ сразу слушал их и продвигался к иконостасу. Служба кончилась в 8.30. Ко мне опять подошла женщина, с которой я говорила, чтобы спросить, когда я уезжаю. На мой вопрос, что я могла бы ей еще дать? — она попросила Евангелие. У меня только оставалось одно, мое личное, мы уезжали на следующее утро в 6 часов. Она предложила, что придет в 5 и будет меня ждать на улице, недалеко от пристани.

Я не знала вспомнит ли обо мне незнакомец, но осталась его ждать. Наконец, быстрыми шагами он прошел мимо меня и тихо сказал: «Я выхожу». Почти бегом он скрылся в каком-то переулке, вокруг была темнота наступившего вечера. Я наугад бросилась за ним. Он стоял, прислонившись к стене. «Это вы мне сказали, что вы выходите?» — спросила я его. — «Да, вам — ответил он, — я вам поверил, хотя моя жена боится, что вы меня погубите, если вас сюда пустили приехать — значит вы коммунистка, я 10 лет сидел в лагере за веру и моя жена тоже, мы там и встретились. Мы не смеем говорить с иностранцами, за нами все время следят». Я спросила его — можно ли верить священникам, которые сегодня служили? «Мы священников не судим, каждый делает, что может», ответил он. «А мне митрополит Борис показался странным» — прибавила я. «А мы не судим» — еще раз повторил он. На прощание он сказал, что монах, который помазывал елеем на службе был большой подвижник. Я поблагодарила его за доверие, он просил меня не выходить сразу из переулка и быстро скрылся.

Подождав я пошла маленькими уличками к остановке трамвая. Он дребезжа и дрожа только что ушел. Мне было одиноко стоять одной на темной улице, далеко от города. Трамвай очень долго не шел. Наконец я добралась до вокзальной площади. Чтобы попасть в театр нужно было взять троллейбус. Я стала в бесконечную очередь. Когда я собиралась уже влезать, мне сказали, что ехать нужно было в противоположную сторону. Я пересекла площадь и стала в новую длинную очередь. Я чувствовала себя усталой и потерянной. Как будто нарочно у меня были неудачи одна за другой. Я решила, сказать по французски, что я туристка и пройти первой. Как только я хотела войти в троллейбус, я услыхала за собой чей-то голос: «Встаньте, пожалуйста, в очередь». Я обернулась. Сзади меня стоял мой незнакомец. «Вы здесь?» — с изумлением сказала я. «Да, вот видите, — ответил он — переходил улицу и случайно увидал вас», — «Для людей верующих нет случайности». — «Вы тоже это знаете, — сказал он. — Когда мы расстались я подумал, Господи, я не сказал ей правду, я был не-

прав, я не знаю, кто она, где ее найти, но если это не против Твоей воли, дай мне еще раз встретить ее». Тут он признался мне, что я была права, когда мне показалось, что митрополит Борис не внушает доверия. Митрополит Николай много сделал для Церкви, патриарх слишком стар и сам уже ничего не может сделать. Моему безымянному другу надо было уходить. Он вдруг обнял меня и поцеловал: «Вы совсем, как сестра», были его последние слова. Я попросила его молиться обо мне.

«Так странно все, — думала я — теперь я понимаю, почему я так долго не могла найти пути к театру, это все было оттого, что этот человек разговаривал с Богом и просил еще раз увидать меня». Такова вера в России. Это была великая ко мне милость Божия, что мне дано было ее увидать.

На следующее утро я встала в 5 часов и сошла на берег, сказав капитану, что хочу еще раз походить по русской земле. Вдалеке, в маленьком садике, на скамейке меня ждала моя новая приятельница, поющая в хоре.

Почему-то утром я вдруг стала сомневаться — правильно ли я сделала, что дала ей для передачи другим разные вещи и немного денег. Я ее совсем не знала, не подведу ли я кого нибудь? Зная, что я отдам сейчас ей мое Евангелие, я открыла его «на прощание», прося помощи — правильно ли я поступила, что поверила ей. Мне открылись послания: «посылаю вам брата моего, проверенного и сильного в вере, ему верьте». Я прочла эти слова Валентине Михайловне и она горько плакала, вытирая ладонями слезы.

Евангелию моему она несказанно обрадовалась, готова была бы всюду за ним пойти, заплатить сколько угодно, боялась верить своему счастью и все целовала мою книжечку. Она рассказала мне случай, который произошел у них в Одессе: в Страстную пятницу пришла группа комсомольцев к собору, привели джаз и устроили танцульку. У одной из девиц запоздал ее кавалер, тогда она вошла в собор, сняла икону Николая Чудотворца и стала с этой иконой, прижав ее к груди, танцевать. Женщины вышли из церкви и говорили ей: «побойся Бога», а она им ответила: «если ваш Бог существует — пусть меня накажет». И вдруг ее разбил полный паралич. Милиционер, который там стоял, поседел от страха. Родители ее послали тлеграмму патрирху и каждый день служили молебны. Патриарх ответил: «Бог наказал, Бог и простит». 3 месяца ее искусственно питали, через 3 месяца она поправилась, но ее выслали из Одессы, потому что народ стал к ней ходить и очень многие тогда уверовали. А она сама и родители ее совсем уж стали верующими. А когда танцевала с иконой, все говорила Николаю Чудотворцу: «ты мой кавалер». Когда я была в Париже О. Сергий Шевич подтвердил мне, что этот случай был описан в журнале Наука и Религия, где

было сказано, что у одной из девиц сделался во время танцев нервный удар, который был приписан «фанатическими старушками» наказанию Божиему.

Подойдя к пароходу я увидала, что он окружен войсками и никого к нему не подпускают. К счастью, меня увидал капитан, он сказал мне, чтобы я поскорее взяла свой паспорт и шла в здание морского вокзала, где проверяют всех пассажиров. Мой паспорт оставался в моей каюте, капитан провел меня туда, прося не смотреть по сторонам. Я все же видела, что солдаты, в шапках с зелеными околышками, обыскивают все каюты, все шкафы, все закоулки. Я достала своей паспорт и меня провели на вокзал. Там в зале I-го класса были собраны все пассажиры нашего парохода, многие из них были в пижамах. Оказывается, их спешно разбудили и отправили всех на вокзал, пока солдаты КГБ искали на пароходе, якобы, спрятавшегося беглеца. Все иностранцы, ехавшие с нами, были потрясены этим неожиданным событием.

В 7 утра наш пароход отплыл из Одессы. Мы расстались с русской землей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЦЕРКОВНЫЕ ЛЮДИ В РОССИИ

(Вторая поездка, лето 1966 года)

С. Зернова

Я попала второй раз в Россию летом 1966 года, сопровождая брата Владимира — участника научного конгресса в Москве. 23 июля наш самолет спустился на аэродром-Шереметьево. Я была в той Москве, где я родилась. Это было как сон. Только в автокаре, смотря на лес по обе стороны дороги, я поняла, что это русский лес и у меня упало сердце. Вдруг вспомнилось, как мы уезжали из Москвы в холодный ноябрьский день в 17-том году, почти 50 лет назад. Мы ехали на извозчицких саночках, моя сестра и я. Она горько плакала и все повторяла. «Никогда, никогда не вернусь в Москву!» А Москву она так по особенному любила. Она и не вернулась, умерев в прошлом году. А я теперь в Москве. Как это возможно? Тогда начиналась жизнь, теперь она кончается. Москва в 17-том году была темная, мучительная, напряженная, больная, а теперь? Я смотрю на длинный ряд плакатов вдоль дороги: КПСС несет вам счастье, КПСС несет свободу, КПСС несет мир . . . как ненужно звучат все эти повторяющиеся слова и как ясно видишь через них просвечивающееся одно властное слово — «ЛОЖЬ».

Мы подъезжаем к университету. Громадное, мощное здание, нам дают комнаты. Все чуждо, нереально. Мы идем в столовую. Толпа иностранцев, приехавших на съезд, приветливые подавальщицы, белые скатерти, русская речь. Так начинаются 8 дней нашей жизни в Москве.

На следующее утро мы с братом идем в Елоховский собор. Там, как во всех русских церквах, преобладают женщины — старые, молодые, и среднего возраста, все в платочках, истово крестящиеся и отбивающие земные поклоны. Но есть и другие. Около меня стоит женщина с культурным, красивым лицом, стоит прямо, чуть-чуть вытянувшись, не сводя глаз с большой, прекрасной иконы Божией Матери. Что-то есть в ее лице, во всем облике такое, от чего хочется плакать.

Какой-то трепет перед Богом. Так как она молилась — молились когда-то мы, во время гражданской войны в Ессентуках. В такой молитве нет преграды между человеком и Богом.

В 6 часов мы едем на торжественное открытие конгресса. Длинный ряд речей, скучных, формальных, никому ненужных. Один упитанный советский представитель сменяет другого и читает по запискам приветственную реч. «Дорогие товарищи, господа и дамы . . . » — «Уважаемые дамы, коллеги, товарищи . . .» Все одно и то же. Тысячная толпа всех наций безразлично внимает этим безличным словам. После мучительно долгого перерыва танцует Свердловский балет — хорошо, но недостаточно талантливо, чтобы захватить нас. Толпа вяло аплодирует и спешит к автокарам, везущим обратно в университет.

На следующий день мы встречаемся с Катей и Петей. Она высокая, широкого сложения блондинка, вся дышит крепостью и здоровьем. Ее синие глаза смотрят прямо и все время смеются. Катя героическая русская женщина, большой смелости и упорства. Петя худой, издерганный, он только что выпущен из лагеря в Мордовии, и это лежит как клеймо на всей его фигуре. Прежде чем сказать что-нибудь, он быстрым поворотом головы оглядывается во все стороны. Вскоре и я приобретаю этот же жест. Мы идем в Кремль. Я как будто в первый раз сознаю его величавую красоту. Мы входим в соборы, ставшие музеями, останавливаемся перед гробницами царей, рассматриваем роспись на стенах, сливаемся с толпой, тупо следующей за гидами. Я обращаюсь к коренастому парню с плоским лицом: «Вы бы сняли шапку, — говорю я ему — все же церковь». Он смотрит на меня наглым взглядом, нехотя стягивает шапку и говорит: «Какая там церковь, у нас этого больше нет!» Я подхожу к военному, к молоденькому с симпатичным лицом: «Вы бы сняли шапку», — повторяю я. Он быстро снимает фуражку, виновато улыбается и говорит: «Спасибо, что сказали». Подхожу к другим. «Даже иностранцы снимают, а русские нет», мои слова производят впечатление, все молча, поспешно снимают шапки. Это нужно говорить, многие это делают сами, а те, кто не чувствуют в какое здание входят — разве они виноваты? Кто вообще виноват? Упустили Россию, промотали ее, а теперь, снявши голову по волосам не плачут . . .

В Кремле я подходила к разным группам, большинство были приезжие из провинции, прислушивалась к тому, что говорили гиды. Вероятно я выбирала неподходящие моменты, каждый раз первые слова, которые я слышала были: «Владимир Ильич любил отдыхать в этом саду . . . или — Владимир Ильич гулял по этой улице . . . » Наверное, несколько лет тому назад эти же гиды повторяли: «Товарищ Сталин нас учит . . . » Я хотела бы знать проникают ли эти слова о Ленине в души человеческие или скользят по поверхности.

Катя рассказывает, как трудно молодежи проникнуть в Церковь, как трудно узнать об ее учении и обрядах. «Я не знала, что такое Покров, но я пришла в церковь, только не было платка на голове. Какая-то старушка на меня напала, она была такая злобная, что я поскорее ушла». «А я, — говорит Петя, — попросил в Загорске у старого монаха дать мне житие св. Сергия, он меня грубо прогнал, сказав, что таких книг больше нет». Я слушала и думала о той громадной ответственности, которую несут верующие люди. Еще вероятно не достаточно очистил нас огонь гонений!

После Кремля, мы пошли в Хлебный переулок, в дом, где у нас была квартира. Около ее входной двери было много звонков. Я позвонила подряд во все. Только один звонок «откликнулся». Дверь открыл мальчик лет 9-ти. Он жил с бабушкой в комнате моей сестры. Они встретили меня радушно, жалели, что я не могла пройти по всей квартире, но на каждой двери висел замок. В каждой комнате жило по семейству. Они хотели угостить нас чаем с пирогом, но я не осталась, дала мальчику разные подарки. Он сунул мне в руку маленький перочинный ножик. «Возьмите, непременно возьмите», — повторял он. В квартире, где раньше мы жили вшестером, теперь ютилось около двадцати человек с одной кухней и одной ванной.

Вечером мы были приглашены в гости к церковным людям. В их доме мы попали в иной мир. Открытые, гостеприимные, они дали нам то тепло, которое могут дать только люди, связанные верою или любовью. Конечно, наш разговор сосредоточился на положении Церкви. По их словам, главная опасность исходила от внутренних врагов, от того духовенства, которое соблазнилось, пошло на сговор с властью и разрушает Церковь изнутри. Они показали нам письмо, составленное двумя московскими священниками.[2] «Мы бы написали по-другому», — сказали наши новые знакомые. Я поняла, однако, что, несмотря на эту критику, их сочувствие на стороне авторов письма. Положение последних трагично: их сняли с регистрации, запретили служить, женам не дают работы. Многие им помогают материально и духовно. В Москве есть церкви, где запрещенные священники могут причащаться в алтаре.

В многих приходах разрушителями церкви являются старосты, назначаемые советской властью. Они следят за священниками, доносят на них, записывают имена отцов крещаемых детей и те подвергаются гонениям за это. «Мы боремся на три фронта, — говорили нам наши хозяева, — с

---

[2] Письмо, подписанное Николаем Эшлиманом и Глебом Якуниным от 15 XII 1965 было адресовано Подгорному, Председателю Президиума Совет. Республик.

антирелигиозной пропагандой, с невежеством огрубевшего, потерявшего веру народа, и с предателями среди церковников. Помогите нам! — повторяли они. — Если бы вы знали, как вы нам нужны, какая вы для нас поддержка. Нам важно знать, что там, в свободном мире, есть друзья, которые думают и веруют, как мы. Присылайте нам книги. Передайте от нас О. Владимиру Родзянко в Б. Б. Си, что мы слушаем его и слышим каждое его слово. Передайте Владыке Иоанну Шаховскому, говорящему по «Голосу Америки», что мы часто его не понимаем, мы просим его говорить проще, больше говорить о жизни святых, объяснять праздники, давать примеры христианской жизни из современности. Передайте О. Шмеману, что его радиопередачи «Свобода» глушатся на 100 %; мы ловим каждое его слово, но это бесконечно трудно. Его слова нам так нужны. Не может ли он говорить по радио «Голос Америки», их не глушат. Мы просим его также не путать политики с религиозными вопросами, для нас это губительно». Они показывали нам заграничные книги, перепечатанные ими на машинке и переплетенные.

Как можем мы помочь им? Они думают и верят, что за рубежом есть то же горение веры, что и у них... Что можем мы дать им? Мы, живущие в довольстве, благополучии, равнодушии и теплохладности... Поздно вечером мы разошлись. Это был незабываемый разговор. Перед нами встала во всей своей сложности трагическая картина современной церковной жизни, в которой вера и крепость одних и малодушие других сплелись друг с другом.

28-го, в день Володиных именин мы с утра поехали с экскурсией Интуриста от нашего конгресса, в Загорск. Я когда-то, когда мне было 12 лет, дала «обет», что побываю в Загорске, тогда — в Троицко-Сергиевской Лавре. Это был детский, глупый обет, но меня всегда мучило, что я его не исполнила. Я ходила тогда в гимназию раз в неделю на уроки естествознания. Моя мать думала, что так. обр. я «постепенно» привыкну к гимназии. Это, конечно, была ошибка. Раз в неделю я не могла привыкнуть к девочкам и они ко мне. Я каждый раз бывала «новенькой». В первый день ко мне отнеслись с любопытством, но затем на меня уже никто не обращал внимания. Я обыкновенно стояла одиноко где-нибудь у стенки, ожидая звонка к уроку и очень стеснялась. На уроке я не знала где сесть, все парты были заняты, все девочки сидели со своими подругами и не хотели уступать мне свое место на один час. Я была одинокой и несчастной. Однажды я, к своему ужасу, обнаружила, что выучила не тот урок. Я совсем не знала того, что спрашивала учительница и я переживала заранее тот позор, который ожидал меня, если меня спросят. И тут, с отчаянья я дала «обет» — поеду в Троицко-Сергиевскую Лавру, если меня не спросят сегодня. Меня не спросили,

но к Троицко-Сергиевской Лавре я поехала только 54 года спустя...

Я сразу пошла в церковь. Шла литургия. Опять белые платочки, женщины и женщины. Они кланяются, крестятся, поют, они вымаливают грешников, молятся за Русскую землю безбожную, богохульную, святую теми неизвестными миру подвижниками, омывшими ее своей кровью. В церкви было много молящихся, где-то у левого предела выкрикивала кликуша, никто не обращал на нее внимания. Был день Св. Равноапостольного Владимира, в своей проповеди священник прекрасно говорил о силе и благодати крещения. После окончания литургии я пошла поклониться мощам Преп. Сергия. Там непрерывно служат молебны, поют русские женщины: «Заступница усердная, Мати Бога Вышняго...» И мне казалось, что моя молитва, сливаясь с их голосами, уносилась ими ввысь. Я стояла и горько плакала, иногда слезы бывают как молитва и не нужны никакие слова...

Наш гид предложил всей группе осмотреть Академию. Мы шли за ним по анфиладе комнат, сплошь увешанных иконами, крестами, иконостасами. В застекленных шкафах скульптурные слепки разрушенных церквей и древние облачения патриархов и митрополитов. В залах стояли юноши, очевидно студенты. Я стала подходить к ним. «Я из Парижа, хочу знать каково положение Церкви». Их можно было сразу различить по чему-то неуловимому, сквозившему в их облике, по выражению их глаз. Первый, с которым я разговорилась, посмотрел на меня многозначительно. «Постарайтесь сами все понять» и отошел от меня. Второй сказал: «Все нормально, учимся здесь, в Москве много действующих церквей». — «А разрушенные церкви? У нас сердце кровью обливается, а вы разве не замечаете их?» После этих слов, глаза у семинариста загорелись: «Ничего не можем сделать, — тихо ответил он, — должны все терпеть, может быть потом будет лучше, буду бороться, когда стану священником». В это время к нам подошли еще два студента, один смотрел зло, другой был какой-то неопределенный. Последний спросил: «Вы из Парижа? Интересуетесь нашей жизнью?» — «Конечно, интересуюсь всем, а особенно положением Церкви». Я стала раздавать им карандашики. Вдруг появился еще новый и резко оборвал наш разговор: «О чем вы тут разглагольствуете? живем, как живем». Я поняла, что им не полагается разговаривать с иностранцами и ушла в соседний зал. Там никого не было. К моему удивлению студент напавший на нас, быстрыми шагами нагнал меня. «Будьте осторожны, предупредил он меня, те два с которыми вы разговаривали только недавно присланы к нам, мы им не доверяем, положение здесь ужасное, не знаешь кому верить. Я уже здесь 4 года теряю время. Читали ли вы письмо двух священников? Они посмели сказать

правду, вокруг нас сплошная ложь, они наша надежда». В это время мимо нас прошел какой-то монах и быстро метнул на нас взгляд. Через минуту появился юноша и сказал моему собеседнику: «Вас зовет отец архимандрит и поскорее». Мы отскочили друг от друга, как два заговорщика. Домой я возвращалась с тоской в сердце. Наш автокар был полон американцами, равнодушными, ничего не понимающими, озабоченными, чтобы не опоздать на обед. Шел мелкий, осенний дождь.

У нас оставалось еще два дня до отлета на Северный Кавказ. В один из них у меня была знаменательная беседа с удивительным юношей. Я встретила его при входе в церковь. На его лице был тот особый отпечаток, который я привыкла находить у подлинно верующих людей в России. Я решилась тут же на месте спросить его не семинарист ли он? Я угадала. Тогда я попросила его поговорить со мною. Он скорее неохотно ответил, что я могу спросить его после службы, что меня интересует. Он нерешительно подошел ко мне, но когда узнал, что я православная из Парижа, то все переменилось. Все преграды рухнули и он стал говорить с огнем и вдохновением: «Вы читали письмо двух священников? Это наша надежда. Мне было очень трудно попасть в семинарию, меня долго не хотели принимать. Половине преподавателей и студентов нельзя доверять. Им поручено разрушать Церковь изнутри. Но как замечательно, что вы все понимаете и готовы помочь, что вы с нами. Как я благодарен, что вы подошли ко мне. Это Бог мне послал вас». — «Вы думаете стать священником? Есть у вас невеста? Вообще можно такому как вы найти невесту?» — спросила я. — «Ой, найти можно. В Загорск приезжает много девушек, которые хотят выйти замуж за священника, только я решил идти один, так лучше можно служить Церкви. Опыт говорит, что многие жены не выдерживают, сперва все идет хорошо, а потом становится им слишком трудно. Мы не смеем звать их на такой путь!» Долго говорили мы, ходя по улице, он все не хотел уходить. Я обещала постараться прислать ему книги о Православии. Он знал молодежь, которая интересовалась религиозно-философскими вопросами и стремилась лучше понять христианство. Для меня он был еще один подарок с неба, как и все пребывание в России.

На следующий день мы улетели на Минеральные Воды. Рядом сидела гражданка с накрашенными губами и ногтямя, гордящаяся путевками, санаториями и другими достижениями советской власти. Теперь все живут не так как в «старое время». Церковь больше никому не нужна, они достаточно «культурны», чтобы знать, что религия это обман, через несколько лет они достигнут достатка во всех областях жизни. В ответ я заметила, что чем культурнее нация, тем больше

у нее мыслителей, верующих в Бога, а что примитивные народы признают только то, что можно увидать глазами или потрогать рукой... Она очевидно не ожидала таких моих слов.

Из Мин. Вод автомобиль доставил нас в Пятигорск. Я смотрела на синие, такие знакомые горы Кавказа — Бештау, Машука, Змейка, Юца, Джуца... Они стоят как раньше, та же величавость Бештау, те же мягкие очертания Машуки, те же знакомые облики других далеких гор...

В тот же вечер мы пошли в церковь. Это было 1-ое августа, день Св. Серафима. Церковь на горе, недалеко от нашего отеля. После вечерни священник служил молебен Николаю Чудотворцу и Св. Серафиму. В день нашего отъезда из Ессентуков, 46 лет назад, О. Николай Кольчицкий, молодой, пламенный, объединивший всех нас — молодых, служил нам напутственный мобелен Николаю Чудотворцу и Св. Серафиму. Он говорил нам, чтобы мы всегда молились этим двум святым, которые нас никогда не оставят[2]... И вот в день нашего возвращения на Кавказ — опять молебен этим двум святым... Давая народу крест священник говорил им, что будет молиться о них и м. б. когда-нибудь приедет к ним, он просил их не унывать т. к. неизвестно, что принесет нам следующий день, христианин должен жить, уповая на Бога и принимая то, что ему посылается... Возвращаясь домой, мы подошли на дороге к двум женщинам, и спросили их, сколько еще было церквей в Пятигорске и почему священник прощался с народом. Они сказали, что есть еще одна действующая церковь в Пятигорске, что священника их перевели в другой город т. к. здесь он был слишком любим народом, но что «все это должно быть» т. к. «в последние времена» должны наступить гонения и мало останется верных до конца... Мы были и в другой церкви, в станице, священник там был новый, только что переведенный из другого города, так нам сказала женщина, очевидно бывшая монашка, живущая при церкви.

На следующее утро мы поехали в Ессентуки. Электрический поезд останавливался, как раньше, на станциях Скачки, Золотушка, Минутка и мчался через засаженные подсолнухами поля. И вот знакомый, мало изменившийся вокзал. По другую сторону железной дороги Голицынский-Английский парк. И перед глазами встает все детство, вся юность...

Мы выходим на нашу Кисловодскую улицу, мы сейчас увидим наш дом, наш дорогой, такой знакомый дом, в котором мы провели самые страшные годы гражданской войны и революции. Мы подходим к нему — и не можем узнать: балконы срезаны, террасы уничтожены, сада больше нет, дом стоит как обрубленная со всех сторон коробка, чужой и не-

---

[2] См. «На Переломе» П. 1970, стр. 346.

знакомый. Вместо сада и магазинов — большая асфальтовая площадь, посередине которой маленькая каменная дощечка указывает, что здесь в будущем будет стоять памятник Ленину... Мы вошли в наш бывший дом. Там теперь стоматологический институт. Во всех комнатах работают дантистки. Мы просим разрешения посмотреть дом. Румяная полная девица с любопытством рассматривает нас: «Посмотреть дом? Почему вас это интересует?» — « Потому что когда-то этот дом был наш, — говорю ей я, — мы жили здесь 46 лет назад и приехали теперь туристами, из Парижа». Наши слова производят на нее впечатление разорвавшейся бомбы, она бежит в другую комнату, зовет своих сотрудниц, рассказывает им про нас и ведет нас по дому, открывая одну дверь за другой... Она спрашивает нас, что здесь было раньше? «Здесь был кабинет нашего отца, а наверху — детская, здесь была комната моих братьев, и с балкона был виден Эльбрус»... Всюду нас встречают с любопытством и с радушием, расспрашивают о жизни в Париже, просят непременно прийти опять; мы обещаем и под проливным дождем идем в парк. Источники воды № 17, № 18, № 20. Мы пьем эту воду такого знакомого, немного железистого вкуса и возвращаемся в Пятигорск. Через день мы опять едем в Ессентуки, чтобы проститься с местом, где было столько пережито в нашей молодости. Мы знаем, что мы больше никогда не вернемся туда. Ничто нас больше в Ессентуках не притягивает, все стало чужим, далеким, мучительным, все, кроме гор... Наша любимая Пантелеймоновская церковь взорвана. Нет больше казаков, в их черкесках и бурках, нет той полной приволья и довольства жизни, в которой было так много красоты.

Мы поехали в станицу, в Николаевскую церковь, говорили там с сидящим у свечного ящика старичком. Узнав, что мы из Парижа, он вдохновился, стал расспрашивать о жизни там, сказал, что в старое время он был волостным писарем, что, бывало, пишет на имя губернатора прошение о выдаче паспорта для поездки заграницу «пишу бывало»: «Ваше Высокопревосходительство...» и через 15 дней ответ, и паспорт, и поезжай куда душа просит... а теперь что? Я спросила его про священника и дьякона, он молча указал на них. Дьякон — коренастый, стоял у своего автомобиля... К священнику я подошла было, сказала, что приехала издалека и хотела бы с ним поговорить, но он даже не остановился, сказал, что ему некогда и прошел мимо.

На обратном самолете в Москву я сидела рядом с румяным, веселым, черноглазым мальчиком Пашей. Ему было 12 лет, но легко можно было дать и 15. Мы всю дорогу разговаривали. Он интересовался всем и рассуждал как взрослый. Он знал и о гражданской войне, и о жестокостях Сталина и о войне в Вьетнаме, и о советском строительстве и о полетах в пространство, и о всех советских самолетах со всеми особен-

ностями их устройства. Со многими его рассуждениями я не была согласна, Паша внимательно слушал мои возражения, все понимая, соглашаясь с тем, что по его мнению была правда. Он думал, что в Добровольческой Армии были только помещики и «буржуи», которые сражались только за возврат им их имений, что остальные солдаты были наемники, что все они хотели вернуть «старый режим» — все это он прочел в своем учебнике. Паша помнил, что большевики подписали сепаратный мир и согласился, что если бы в последнюю войну американцы, французы и англичане подписали сепаратный мир и Россия осталась бы одна защищать свою страну, то он первый осудил бы союзников, не сдержавших своих обязательств. Этот умный мальчик с внимательным взглядом своих черных глаз, знал, что газеты и учебники могут лгать, могут восхвалять Сталина, когда это выгодно, и бранить его, когда это позволено. Он чувствовал, что надо самому разбираться, где правда и где ложь, что хорошо и что плохо. Мы расстались с ним большими друзьями.

В последний день в Москве мы познакомились с молодым инженером. Он спросил нас, не встречали ли мы случайно в эмиграции Николая Зернова, нашего однофамильца. Когда мы сказали ему, что этот Зернов наш брат, он был поражен, т. к. он читал его книгу о Русском Религиозном Возрождении XX века.[3] По его словам, эта книга заинтересовала многих. Кто-то перевел ее на русский язык и вся она была много раз перепечатана на машинке. «Познакомиться с Николаем Зерновым, — заявил он нам, — было бы равносильно встрече с Анной Ахматовой, если бы она встала из гроба». Мы были поражены, как горячо желание у некоторых русских восстановить духовное общение с людьми, живущими в других странах мира.

Я рассталась с Россией унося в сердце ноющую тоску о родной земле.

---

[3] The Russian Religious Renaissance of XX century. London 1963. Русский перевод этой книги готовится к печати.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ПО ВЕРЕ

Милица Зернова

Я покинула Москву в 1917-м году. В 1963-м пришел мой черед посетить Советский Союз. Я приняла участие в студенческой экскурсии, организованной Лондонским Пушкинским Клубом. В этой группе было только двое русских: София Владимировна Сатина, племянница Рахманинова, и я, большинство же ее участников были англиканские студенты богословы во главе с тремя священниками. Они задумали эту поездку, как паломничество, изучали Православие, часто посещали нашу маленькую церковь в Оксфорде. Следующие мои две поездки были в качестве организатора экскурсий Общества Английского Национального Художественного Фонда — обе летом 1966-го года.

Поезд Брест-Москва. За окнами знакомая русская природа: поля, березки, телеги на земляных, ухабистых дорогах и небо высоким и широким шатром. Отчего от нее так щемит сердце? Отчего так хочется походить по этой земле? В коридорах маячат англичане, они тоже в большом возбуждении.

Москва. Нас поместили в гостинице «Национальной» — перед нами Кремль с его блистающими на солнце, как новенькие, золотыми главами соборов, а за ними фантастика очертаний Василия Блаженного. Все кажется сном.

У наших англичан было условлено, что они будут время от времени служить свою литургию. В первое же утро, в отельной комнате наших священников, вполголоса совершается эта знакомая, стремительная служба. Они употребляют для нее русский черный хлеб и грузинское вино. Эта евхаристия, с такой любовью принесенная в Россию, бедную Россию, где душится православная вера, потрясла меня. Все, что было запрятано глубоко в сердце, прорвалось наружу, мне трудно было сдерживать рыдания. Я почувствовала реальность того невероятного для меня события, что после полустолетнего отсутствия я снова была в России. Сердце мне говорило, во-

преки всему, что это была не какая-то «Совдепия», а моя родина.

Вечером мне хотелось одной походить по улицам и я отправилась пешком через всю Москву разыскивать старую приятельницу Зерновых. Меня охватили поэзия московского вечера и музыка русского говора, быстрого, ласкового, врастяжку. Обнявшись, школьницы возвращались домой, юноши, взявшись за руки, делились впечатлениями дня, и всюду слышны были отчетливые и тоненькие голоса малых деток. У Саши — узкая комната с массой икон на окне. Мы знакомимся и она решает, что я «совсем Зернова».

Встречи. Российская Империя обрушилась так стремительно,[1] Советский Союз был настолько иным миром, а наши посещения так коротки, что я заранее ставила себе задачей не делать обобщений на основании мимолетных впечатлений. Но поневоле каждый, даже самый случайный разговор приобретал для меня особое значение — я встречалась с родными русскими людьми! Одни — ласковые и непосредственные, как женщины, прислуживавшие в ресторане поезда, называвшие наших студентов «сынками», или водители автокаров, делящиеся со мной ужасами осады Ленинграда. Другие — сдержанные и настороженные, как та молодая пара в театре, у которых все было «прекрасно», и работа, и дача, и путевка, или как наши «переводчицы», всегда отвечавшие на вопросы во множественном числе: «Мы все неверующие», или «религия нам не нужна».

Были и особые встречи, приносившие мне глубокую радость тем идеологическим единством, которое в то время было для нас, эмигрантов, изумляющей неожиданностью. Самой дорогой была беседа с одним замечательным священником. Он говорил о том горении веры, которое только подозреваешь, стоя в переполненной церкви, о жажде постигнуть все духовное богатство Православия, возникающей среди верующей молодежи. Вместе с тем, от этой беседы вставала картина голгофы русской Церкви, постепенного ее удушения. Горько было слышать, в какое положение загнан священник в своем приходе, он теперь просто наемник, исполняющий задания, которые присылаются ему от старосты в виде расписки «на панихиду» или «крестины».

Другая волнительная встреча была с представителем новой интеллигенции, который вместе с другими перевел на русский язык книгу моего мужа «Русское Религиозное Возрождение XX-го века». От таких встреч каждый эмигрант, который старался служить России в изгнании, может воскликнуть: «Ныне отпущаеши, Владыко». Отрадно узнавать об

---

[1] По словам В. В. Розанова в «Апокалипсисе нашего времени» — «в три дня».

интересе к каждой книге, изданной в эмиграции, и чувствовать, что мысль, созревшая в условиях нашего отрыва от русской действительности, приобщается к мысли, чудом растущей в России.

Верующая Россия. Туристическая программа, занимавшая почти все наше время, давала множество драгоценных впечатлений, но настоящее ощущение родины было для меня в открытии верующей России: в русских иконах, в «работающих» церквах, в беседах с теми, кто хранит верность православной Церкви.

Третьяковская галерея. Мы находим с трудом те две отдаленные комнаты, где сосредоточены самые лучшие иконы России. Каждая из них — вершина совершенства. Но главные: Владимирская Божия Матерь и Троица Рублева. От них нельзя оторваться, никакие репродукции не передают их духовной силы. Стою перед Троицей, подходит толстая гражданка и возмущается «кривыми ногами ангелов», не понимает «чем восторгается Запад». А в той же комнате часами сидит какой-то странный человек, вперив свой взгляд в лики икон, зовущие в мир, столь отличный от советского. Для всех нас впечатление от «Троицы» было центральным событием. Один из англиканских студентов сказал мне потом, что он пробыл у иконы долго, долго, пока слезы не начали его душить и он должен был уйти.

Церкви Москвы. Мне пришлось побывать и на торжественных праздничных службах в соборах, переполненных молящимися, и на будничных ранних обеднях, и на акафистах с пением всей церковью. Приходили мы и с группой, когда нас принимали как почетных гостей, бывала я и одна, потерянная в море прихожан. Тогда всего острее чувствовалась молитва, меня окружавшая. В церквах Москвы народ очень часто истово крестится и низко кланяется, что дает впечатление поля ржи под сильным ветром. Сначала это странно, но скоро ясно чувствуешь, что каждый крест — как пламя молитвы, сопровождаемое вздохом или стоном.

Вот иду я вечером к Николе в Хамовниках. Спросила дорогу у худенькой женщины и напала на верующую. Вместо обычного ответа «не знаю», она была так обрадована, что «Господь привел ее встретить такого человека», что она пошла со мной под руку, рассказывая, как у них хорошо в церкви, особенно на акафистах, «как в раю». Народу в церкви было много, мы с ней стояли вместе. Шла будничная служба, хора не было, пели женщины, просто по-крестьянски, но так естественно, как дыхание, и так духовно, что молитва захватывала и подымала. Эти простые и скромные люди не были ни экстатичны, ни трагичны в своей молитве, но скоро перестаешь сметь на них смотреть, погружаешься в поток этой

напряженной беседы с Богом и часто приходит в голову мысль: «Так молятся только когда в доме умирающий».

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи нас пригласили к литургии в церковь Петра и Павла. За нами прислан автомобиль Патриархии с коврами и с белыми занавесочками на окнах. Церковь переполнена, нас ведут на солею. Я спрашиваю настоятеля, нельзя ли причаститься. «Да, конечно» и он высылает из алтаря ко мне священника для исповеди. Священник невзрачный, горбатый, но исповедует совсем особенно, «за всю жизнь». Потом мне сказали, что он известный в Москве исповедник. Перед причастием настоятель вышел на амвон и обратился к народу с кратким словом: «Поздравляю вас с праздником. А у нас сегодня радость — с нами дорогие гости англикане: священники и юноши, готовящиеся к священству. Мы ведь за каждой литургией молимся о «соединении Церквей». А еще, — прибавил он — с нами сестрица Милица. Она наша, русская, православная — из заграницы». Вся церковь так и просияла. Меня стали пропускать приобщаться первой, потом обнимали и целовали.

Другой раз я пошла с небольшой группой на акафист к Илье Обыденному. С нами был Джон Иннес, обвешанный, как обычно, разными аппаратами для регистрации пения. Я очень боялась, что мы помешаем молящимся. В церкви негде было яблоку упасть. Мы пробовали было пробраться в сторону, но нас приняли там сначала сурово. Одна женщина, стоящая на коленях, громко заявила, что «надо молиться, а не ходить по церкви». Но сразу же за нас заступились окружающие, говоря, что «гостей надо принимать по-дружески». Откуда ни возьмись появилась одна из тех женщин, которые прислуживают в церквах, не то сестры, не то тайные монахини, в черных платьях и белых косынках, быстрые, ласковые и таинственные. Она повела нас через всю церковь, прямо к чудотворной иконе Божией Матери «Нечаянной Радости». Я вздохнула с облегчением, видя как мои англичане с умением и любовью приложились к древней русской святыне. Старенький батюшка читал акафист Божией Матери, вся церковь пела наизусть, стройно и с воодушевлением. Молодой диакон служил необыкновенно красиво, с той простотой и естественностью, которая есть дар русского церковного служения. На его вопрос, кто мы, я быстро ему объяснила и передала привет от «Епископа Антония». «Архиепископа Антония»[2] поправил он меня, весь просияв, а студентов сразу

---

[2] Владыко Антоний Блюм тогда еще не был возведен в сан митрополита и экзарха Московского Патриарха в Западной Европе (1966). Его знают и любят в России по его посещениям и службам, а также по воздушным передачам в Россию его проповедей.

пригласил в алтарь. К моему большому сожалению, нам надо было уходить до конца этой чудесной службы. Та же сестрица провела нас, перекрестила и обняла меня на прощанье. На обратном пути один из наших студентов сказал мне, что будет молиться, чтобы Бог дал ему веру русских людей.

Старообрядческий собор. В первую поездку нам удалось добраться до Рогожеского кладбища и хорошо осмотреть большой Старообрядческий Собор с его прекрасными иконами. Особенно запомнился мне огромный рублевский образ Спасителя — сочетание величия и доброты. Собор с большой охотой показывал нам староста. Потом он повел нас в церковь-колокольню. Там шло отпевание умершего их священника сначала по чину мирянина, а на следующее утро его должны были, сказали нам, отпевать по чину священническому. В следующий приезд я опять попала в собор, на этот раз там шла будничная служба. У меня не было платка на голову и как только я нерешительно показалась у входа, меня грозно остановила высокая женщина, с лицом боярыни Морозовой, у свечного ящика: «Куда это без платка? Да еще в таком возрасте!» Я объяснила ей, что я приезжая и попросила одолжить мне косынку. Тут последовал строгий допрос, не «ихняя ли я» (т. е. не принадлежу ли к соседнему приходу единоверцев).[3] После моего уверения, что «к ним не принадлежу» и что пришла не смотреть, а молиться, она с некоторым недоверием пустила меня в полупустую церковь. Все стояли на многоцветных половичках, истово крестились и земно кланялись. Стопки таких половичков лежали на лавках по углам.

Мне надо было уходить до конца службы, я стала медленно продвигаться через всю церковь к боковым дверям, хотела приложиться к иконе, но тут как тут появилась моя «боярыня» и стала меня упрекать: «Я знала, что вы не наша, вы не знаете, что во время службы нельзя прикладываться к иконам!» Тогда я взмолилась, что я приехала из заграницы и другого времени у меня не будет. Тогда она неожиданно не только смягчилась, но предложила мне ни больше, ни меньше, как пойти с нею снова через всю церковь и приложиться к их чудотворной иконе Божией Матери! Доведя меня до этой чудесной иконы, она, не доверяя моему благочестию, велела сделать *два* земных поклона на данный мне половичок и приложиться «вот к этой ножке Спасителя» и «к этой ручке Богородицы», что я с радостью исполнила. Не логичен русский человек!

Покинула я собор, унося в сердце теплое чувство уважения к этим нашим ревностным братьям по вере, хранящим

---

[3] Единоверцы — это старообрядцы, примирившиеся с православной Церковью.

строгость благочестия, хотя бы и закостеневшого благодаря вековым притеснениям. После их чинности православные службы в Москве стали казаться мне уж чересчур шумными, особенно у свечных ящиков. Правда, не раз приходилось мне слышать, как женщины, продающие свечи, давали духовные советы: вдове, горюющей об «неотпетом» муже, или бабушке о неверующей внучке, или матери, недоумевающей, как поминать без вести пропавшего сына.

Загорск. В Загорск нашу англиканскую группу пригласил новопосвященный тогда епископ Питирим. Он хотел, чтобы они присутствовали на его первой лекции в Троицко-Сергиевской Академии. Интурист вместо Загорска хотел везти нас на фабрику часов. После споров, на эту лекцию мы все же попали. Мне было очень интересно, переводя владыку Питирима, наблюдать за классом, так различны были студенты. После этого нам был устроен торжественный прием с праздничной трапезой. Англикане говорили мне потом, что день в Загорске был для них самый счастливый в России.

Посещение Загорска — прикосновение к самому сердцу России. Драгоценны минуты, проведенные у раки преподобного Сергия, окруженной стихийным пением народа. Но была у меня другая неожиданная «встреча» с великим святым земли русской. Это случилось перед шитым платом, что в государственном музее. В этой вышивке, сделанной, по преданию, женщинами, знавшими преподобного, как ни в одной иконе встает могучая скорбная мысль святого и молитвенная глубина его образа.

Ленинград

Ленинград всегда поражает иностранцев. В нем чудесно сочетается гений его западных зодчих с величием русской империи. Это город — герой девятисотдневной осады. После разрушений революции и войны Санкт-Петербург восстает в своей первоначальной красоте. Англичан всех моих групп он приводил в особый восторг своей стихией гранита, воды и морского ветра, столь знакомых Англии. Их восхищение возрастало по мере того как наши автокары несли нас мимо каналов, решеток и памятников, вдоль Невы к Зимнему Дворцу, Медному Всадику, около трагической церкви «Спаса на крови» и дальше, дальше в знаменитые его окрестности и, наконец, в Царское Село с свободной и задумчивой прелестью его парка. (По словам нашей переводчицы, из всех иностранцев англичане лучше всех умеют ее ценить).

Много мы видели красоты в Ленинграде, но меня влекли к себе его церкви. В Александро-Невском соборе одновременно с поздней литургией в одном притворе молодой священник, готовил к исповеди большую толпу, в другом служилась панихида, а сзади стояло несколько открытых гробов

и шло общее отпевание. Около церкви было много женщин и детей, просящих милостыню, хотя это запрещено в Советском Союзе. Подаяние им дают охотно. Одна из наших англичанок вышла на пеперть отдохнуть и села на приступке. Скромно одетая женщина сразу подала ей денежку, перекрестившись. Англичанка очень смутилась и бросилась ей вслед, чтобы возвратить подаяние, вместо того, чтобы сохранить на память эту священную монетку!

Никольский собор. Он состоит из двух церквей. Нижняя — попроще, а верхняя — роскошный русский барокко — сочетание синего с золотом. Администрация церкви приглашает на ее обширную галерею иностранцев. В 1966-м году у меня набралось человек пятьдесят англичан, желающих быть на литургии. Интуристу пришлось включить это посещение в программу, а переводчицам поехать с нами. Во время службы они сочли более пристойным для себя ретироваться в особую комнату, находящуюся при галерее. Пел прекрасный хор, а торжественная служба и море молящихся внизу производили поистине потрясающее впечатление. Когда подходил момент всей церкви петь символ веры, я не вытерпела и позвала переводчиц «посмотреть». Оказалось, что ни одна из них никогда не была в церкви. Они были изумлены, увидев множество народа, поющего символ веры. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века» как гром неслось к сводам церкви, а они, забыв положенный им этикет снисходительной «терпимости» к «отсталым» старушкам, свесившись смотрели вниз на небывалую красоту и все повторяли: «Наизусть поют!»

Киев

В Киеве я была один раз и то всего два дня — но как переполнены они были и возвышающими и тяжелыми впечатлениями! Красота города, его крутых зеленых склонов, золотых куполов закрытых церквей, далекие виды на Днепр и чудом уцелевший памятник Св. Владимира, осеняющего город крестом и как бы ожидающего нового обращения Руси, делали эти впечатления особенно драматичными.

Нас повезли в Киево-Печерскую Лавру только, чтобы показать нам музей «мумификации» с грубыми лубочными «доказательствами» нелепости почитания мощей, со стеклянным ящиком с телом какого-то русскаго раба Божиего «сохранившегося только благодаря благоприятным условиям почвы» и картинками на стенах, изображающими монахов, пытающих щипцами и огнем эксплуатируемых ими крестьян. Пещеры были закрыты «для ремонта», закрыт и Андреевский Собор.

Флоровский монастырь. Самым дорогим для меня было посещение Флоровского монастыря, куда я попала одна, т. к. вся моя студенческая группа отправилась в Оперу, нарочито

совпадавшую с временем поздних воскресных литургий. Долго я искала монастырь далеко на «Подоле». Церковь, по словам нищих, сидящих вокруг нее, была под угрозой закрытия, все входы, кроме главного, были заперты на цепи. Служба была там совсем другая, чем во Владимирском «показном» соборе, с театральным хором и громогласным диаконом. Церковь была переполнена, было много молодых людей крестьянского типа, по углам — странно одетые люди, по-видимому бывшие монахи. Один особенно запомнился мне, высокий, прямой, как лунь седой старик. Он молился с закрытыми глазами и вокруг него стояло сияние святости. Меня сразу поразила атмосфера, как бы духовного смерча, царившая в церкви. Было много движения, люди приходили и уходили, повсюду циркулировали монахини в черных бархатных головных уборах конусом. Спереди неслось пение райской красоты и строгости, такое знакомое мне еще с детства. После службы я пробралась к возвышению, где находился хор. Монахини, их было человек 30, как птицы слетелись ко мне. Я поразилась, сколько было среди них молодых и сколько красавиц, той духовной красоты, которую не встретишь на улицах Советской России. Я сказала им, что привезла привет от русских в изгании, которые живут верой и помнят о них, подвизающихся на родине. Они слушали меня тихо и сдержанно, дарили мне кусочки просфорки, просили молиться.

На дворе я подошла к группе женщин и стала с ними говорить. Они сначала перепугались, но я показала им мой нательный крест и сказала, что я православная из заграницы. Тогда они окружили меня тесным кольцом и у нас завязался горячий разговор. Они никак не могли поверить, что у нас никто не гонит Церковь, что меня легко отпустили путешествовать куда я хочу. Они горестно жаловались, как трудно жить верующим. Они должны ходить в храм Божий потихоньку от своих близких, не знают, что несет им каждый день, власти грозятся закрыть и эту церковь, а «вот это монастырское здание уже отобрали и оно стоит пустым». На стене этого здания было большое изображение батюшки Серафима, молящегося на коленях в лесу. Народ чтит эту роспись, как икону, не проходят мимо, не приложившись. В разных углах двора было много бывших монахов в нищенских лохмотьях. Мои собеседницы сказали мне, что монахи лишены права на жительство и на труд, живут подаянием, а тех, кто осмеливается дать им приют, жестоко преследуют. Мне надо было уходить, это было очень тяжело. Они стояли и плакали. Что мне было им сказать на прощанье? Что их верность Церкви не пропадет для России и может быть для всего мира?

Владимирский собор. Мы уезжали, наши автокары уже нагружались багажом. Я побежала в последний раз во Владимирский Собор. Там шел акафист, пела вся церковь,

вдумчиво и медленно. Приложилась я к иконе Божией Матери и пошла. Одновременно со мною выбежали из церкви три девочки школьницы. Они спотыкались, давясь от смеха. Я не удержалась, подошла к ним и спросила, бывали ли они раньше в церкви и почему они смеются. Они сказали, что никогда, что это им запрещено, что они смеются потому что «споткнулись». Я поняла, что их смех был от волнения. Когда я спросила, каково их впечатление, они стали совсем серьезны и с горячей искренностью воскликнули: «Так то торжественно!»

Евангелия. Собираясь в Россию, я каждый раз брала с собой книги Нового Завета и Библии. Меня ни разу не осматривали и я давала их только верующим и с каждой передачей связана целая история. Расскажу некоторые из них.

Раз я отправилась к Николе в Хамовниках. Было чудное солнечное утро. Ранняя литургия еще не началась и я занялась фотографиями этой замечательной церкви. Заново отремонтированная, она блистала на солнце золотом куполов, увенчанных большими крестами и зелеными с красным рельефами по белоснежным стенам. Ко мне подошла женщина средних лет в белом платочке, с милым, ласковым лицом. Мы разговорились и сразу почувствовали, что мы обе верующие. Слово за слово, мы сели на скамеечку в соседнем палисаднике и она стала мне рассказывать о том, как они живут и сколько у них скорбей. Особенно горевала она о молодежи, которая все больше и больше отрывается от Церкви. Ее собственная племянница была горячо верующей девочкой, часто приобщалась, а как попала в Политехникум — ее как отрезало! «Но зато — сказала она мне — есть среди молодежи, правда их мало, такие православные, что готовы умереть за веру». Тут я сообщила моей новообретенной сестре по вере: «У меня есть для вас Евангелие». — «Не может быть! — воскликнула она — Сейчас? У вас с собой? Я у вас куплю». — «Ну конечно нет, возьмите его на молитвенную память». Когда взволнованная женщина наконец поверила, что это не сон, она быстро спрятала Евангелие в глубокий карман юбки и стала говорить: «Это Сам Господь послал меня к вам, ведь я даже в церковь не шла, а в очередь в магазин, рубашки там продают. Вы не можете себе представить, что это для меня и для многих значит, ведь нам негде достать святую книгу. Только что и услышишь ее в церкви на службе!» Горячо меня расцеловав она порывисто сказала: «Небесное вам спасибо!»

В Загорске после окончания служб нас окружали верующие. Там, чувствовалось, свободнее дышит православный человек, хотя нас и предупреждали, что много шныряет среди них стукачей. Часто меня расспрашивали, верующие ли мои иностранцы и как они крестятся. Подошла ко мне молодуха,

вся сияющая и стала рассказывать, что она приехала «с Украины», что она сегодня приобщалась «у нашей великой святыни». Я решаю дать ей Евангелие, поздравляю ее и тихо говорю на ухо: «У меня к вам ради радостного дня подарок — Евангелие». Трудно описать ее изумление, она быстро прячет книжку и без конца благодарит: «Я как увидала вас, так меня к вам и потянуло, чуяло мое сердце! Я бы вас расцеловала, как сестру родную, да нельзя, я ведь приобщалась! Да спасет вас Христос!»

Хотелось мне найти еще кого-нибудь из молодых, да они опаснее, могут оказаться доносчиками. В кармане у меня еще одно Евангелие, оно жжет руки, оно здесь так нужно, и это такая капля ... В палисаднике рядком сидят старушки, все в белых платках. От них отделяются два юноши, быстрые и милые: «нам пора на вокзал». Я за ними, едва догнала: «Скажите, у вас есть Евангелие?» выпаливаю я. Они останавливаются, как вкопанные. «Чтоо-о?» У них на лицах испуг, а я тоже пугаюсь, не ошиблась ли. Но их правдивые глаза меня мгновенно успокаивают. «Я могу вам подарить» — говорю я. Тогда на их лицах восторг: «Вы знаете — это просто чудо! У нас в доме женщина умирающая только одного просит, дать ей почитать Евангелие. Мы всюду его искали и нигде не можем найти. Мы так молились о ней сегодня! И вот мы сможем ее утешить!» И в каком-то полете они снова устремляются в путь, едва меня поблагодарив. Отбежав уже далеко, они вдруг оборачиваются и восклицают: «Христос Воскресе!».

Был Троицын день. Мы уезжали из Ленинграда, это был мой последний день в России. Я пошла к ранней обедне в Никольский Собор. У меня все еще оставались две книжки Нового Завета. Меня мучила мысль, неужели мне уезжать с ними? Было ясно — сейчас, во время службы, мне надо их отдать кому-то в церкви. Я стала внимательно искать, кого мне укажет Господь. Глаза мои остановились на молодой девушке, стоящей впереди меня и погруженной в молитву. Она казалась культурнее других. С трудом я протеснилась к ней, получая замечания от окружающих старух. Достигнув ее, я нагнулась к ней, она обратила ко мне свое лицо, полное необычайного света. Я с уверенностью почувствовала, что именно ей я должна отдать мой пакетик, завернутый в белую бумагу и просто вложила его ей в руку. Она его взяла, как будто все понимая — русские верующие люди живут так близко к Богу, что не удивляются чудесам. В России я тоже все время явственно чувствовала руку Божию.

Я стояла среди сосредоточенно-молящегося народа, служба продолжалась. Все держали в руках пучки зелени, иконы были украшены цветами и ветками. Как-то сама собой пришла мысль: «Почему я не приобщаюсь? я наверно больше

никогда не попаду на родину». Но невозможно было даже подумать пробраться вперед, так много было народа в этой нижней церкви. И как только я об этом подумала, мимо меня потекла вереница людей со сложенными руками. На их тихие, торжественные слова: «к причастию» все расступались, пропуская их. Возрадовавшись, я пошла с ними и очутилась на солее перед Царскими Вратами. В тесной толпе, благоговейно ожидающей Воскресшего Спасителя, я заметила высокого мужчину с двумя мальчиками лет десяти — двенадцати. Он горячо молился, а мальчики вели себя сознательно и уверенно. После причастия я стояла рядом с отцом, а мальчиков уже не было. Я невольно тихо спросила его: «А где же ваши дети?» Он улыбнулся и сказал: «А там мама». Тогда я передала ему мое последнее Евангелие со словами: «Это им подарок». Он, не смотря, спрятал его, шепнув: «Спаси Господи».

Легкая и счастливая шла я после окончания службы в гостиницу, везти мою группу к поздней обедне. Около церкви продавались ветки березы и я купила для всех большой пучок. По дороге мне встретилась сгорбленная старушка, плетущаяся в церковь. Увидя у меня ветки, она взмолилась: «Дай мне, голубка, веточку, Христа ради! Стояла в очереди вчера, да не достала». Я с радостью поделилась с ней. Тогда она, стоя тут же на тротуаре, стала широко креститься и кланяться, молясь поименно за моих покойных родителей, за меня и всех моих родных. Это была Россия, меня молитвенно провожающая.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

СТРАНСТВОВАНИЯ ПО МИРУ

ИНДИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

М. В. Зернова

Неожиданное приглашение.

Зов в Индию прозвучал в нашей занятой английской жизни неожиданно и властно. Отец Филипос, представитель древней христианской церкви южной Индии, возвращался с экуменического съезда в Лунде в 1952-м году. Его церковь открывала свой первый университетский колледж и ему было поручено пригласить из Европы принципала для возглавления этого колледжа. Его выбор пал на моего мужа. В его лице сочетались три желательные качества: английский диплом, университетский опыт и главное — православие. Приглашение исходило от главы их церкви, Католикоса, их община была готова заплатить наш проезд туда и обратно и определила нам «индусское», а не миссионерское, т. е. очень маленькое жалованье.

Перед нами было трудное решение. Мы могли получить отпуск не больше чем на год, Коля от Оксфордского Университета, я от моего госпиталя. В дни нашей юности Индия была окружена для нас особым очарованием, так завораживающе звучащим в песне индусского гостя оперы «Садко». Многое с тех пор переменилось. Огромная страна с голодающим населением и кастовой системой больше не влекла к себе. Пугали нас примитивность условий жизни тропического захолустья, болезни, ядовитые змеи и ненадежность индусских обещаний.

Мне всего труднее было оставить так надолго мою мать. Отец Филипос пришел к нам, мамочка вышла посмотреть на

странного священника, который заманивает ее дочь в свою далекую Индию. Ее первым движением было по-русски просить его священнического благословения. В этом жесте сказалась ее глубокая церковная интуиция, принимающая благодать далекой, незнакомой, но родственной нам Церкви. Его благословение было замысловатое и проникновенное. Отец Филипос горячо уговаривал нас отозваться на зов его Церкви, которая так близка нашему Православию хотя и оторвана от общения с ним. Мама не знала английского и не могла понимать этого быстрого, бронзовокожего человека, с блестящими черными глазами и веселым смехом, но, когда он кончил говорить, она твердо сказала, что дает свое благословение на эту поездку.

Мы решили ехать. Десять месяцев, проведенных нами в Индии были самым необычайным периодом нашей жизни. Мы были брошены в совершенно новый для нас мир. Все окружавшее нас там — люди, нравы, природа, климат, даже облака и созвездия были незнакомы нам. Но в этой столь странной стране мы нашли подлинных друзей, свое место в их жизни и возможность плодотворного сотрудничества с ними. Случилось это благодаря нашему духовному единству с членами православной церкви Индии. Они помогли нам полюбить их страну и мы с благодарностью вспоминаем тех, кто пригласил нас в Траванкор.

Бомбей.

После 16-тидневного плавания, полного ярких впечатлений, наш старомодный пароход привез нас в Бомбей. Этот огромный город ошеломил нас. Такого разнообразия населения, беспрерывно двигающегося по улицам, сидящего на корточках, или лежащего прямо на земле, такой пестроты и яркости физического облика людей, их цвета кожи, одежды, манер мы нигде не видали: магометане в черных меховых шапочках, сики в тюрбанах, брамины разных сект, парси в шапках похожих на котелки, масса полуголых, худых, как палки, нищих, бродячих саньяси (аскетов), факиров, заворожителей змей. С ними смешивались служащие контор с черными зонтиками в скучных европейских штанах и рубахах навыпуск. Движение на улицах не менее удивительное: автомобили самых разных марок, включая огромные американские, телеги, запряженные волами, трамваи, рикши, и среди этого движущегося потока медленно бродящие священные коровы. Женщин на улицах мало, но в садах Малабарского холма мы видели прогуливающихся магометанок с закрытыми лицами, браминок, тонко и красиво одетых в сари, перекинутые через левое плечо, парси с пряжкой на правом плече, вдов со стрижеными волосами в белых одеяниях.

Православные индусы.

Огромная, сложная Индия была бы для нас страшной и чужой, если бы не малабарские христиане, которые сразу приняли нас как родных. Их община составляет большую, замкнутую семью одной расы, языка и касты, живущую на юге, но посылающую свою молодежь во все части Индии. Куда бы мы ни приезжали, а нам привелось много путешествовать, нас неизменно встречала высокая стройная фигура в белом одного из их представителей.

Среди всех этих гостеприимных людей выделялись два человека, которые были настоящими вождями малеальского народа: Джон Филипос (ум. в 1955) и Мамен Мапелай (1881-1953). Джон окончил Лондонский Университет и имел привычки культурного англичанина. Он намеревался следовать карьере своего отца, выдающегося адвоката, но встреча с Ганди переменила все. Он пробыл у него три недели и вернулся новым человеком, стал носить тканую, домашнюю одежду, вести очень простую жизнь и участвовал в пассивном движении за освобождение Индии, за что сидел в тюрьме. Со времени независимости был министром путей сообщения Траванкора. Теперь он был в отставке и занимался всевозможными благотворительными начинаниями, нашим колледжем среди них. Мамен Мапелай никогда не жил заграницей, но был необыкновенно умен, начитан и высоко культурен. У него было семь сыновей и одна дочь, а всех его потомков, составлявших настоящий клан, насчитывалось до ста сорока. Все они, включая его седовласых сыновей, беспрекословно слушались своего мудрого патриарха. Этот дивный старец, с которым мы близко сошлись, много рассказывал нам о своей жене, которую он недавно потерял. Их брак был «устроен» родителями еще в их детстве. Они почти не знали друг друга до тех пор, как пришло время их венчания. Но браки, говорил нам Мапелай, устраивались семьями так, чтобы сходны были не только культурный уровень, среда и средства молодоженов, но также и их характеры, поэтому их семейная жизнь была на редкость счастливой. Этому способствовало общее воспитание, отношение к супружеству, как к священному и нерушимому началу, и характер индусских женщин — гибкий и терпеливый.

Церковь которой мы поехали служить.

В Бомбее нас приняла семья одного из сыновей Мамен Мапелай. У них мы сразу погрузились в стихию индусской жизни и обычаев, ели руками их острые кушанья, познакомились с их священником и посетили их церковь. Наши первые впечатления ярко обозначили то глубокое чувство духовной близости, которое окрасило всю нашу последующую

жизнь среди этих христиан, которые никогда за всю свою длинную и трудную историю не были в общении ни с одной из наших православных Церквей. И это чувство единства с ними было тем удивительнее, чем отличнее от наших были все внешние формы их служб. Священник их — «ачан» — старик лет 65-ти с ласковым благообразным лицом, обрамленным седой бородой, принял нас радушно. Его образ показался нам похожим на наших пожилых священников: глаза устремленные вдаль, снисходительная доброта, неуловимая печать причастности к особой, отличной от всех других, жизни.

Церковь их небольшая, светлая, с выбеленными стенами. Алтарь скорей похож на армянский, во время некоторых частей службы он отделяется от остальной церкви большим занавесом. На престоле особый малабарский крест и множество свечей. Иконы отсутствуют.

Храм устлан цыновками, при входе все снимают обувь, женщины стоят справа, мужчины слева, все в белом, маленькие дети мирно спят на полу у ног матерей, те что побольше стоят удивительно смирно. Служба, только недавно переведенная на их малеальский язык, захватила нас, в ней были и Восток и какой-то особый полет и бодрость. У нас был перевод и мы могли легко следить за ней. По построению в своих главных частях она похожа на нашу, но длиннее и сложнее. В ней много поэзии. Если наша литургия, по сравнению с прямолинейной западной, может казаться повторной с ее нарастающими волнами, малабарская евхаристия идет зигзагами и заворотами, как буквы их алфавита. Облачение священника и иподьякона похожи на наши. Священник отходит от престола лишь при выносе святых даров; когда благословляет, одной рукой держится за престол — этим как бы подчеркивается всецелая его зависимость от божественной благодати. Когда возносит воздух над чашей, он делает быстрые движения руками, дающие впечатление трепещущего пламени. Поет вся церковь дружно, громко и увлекательно. Эти реющие движения, стихийное пение, ветер от вентиляторов и шум обрушивающегося снаружи дождя создают особую, неповторимую атмосферу. Среди этих совсем нам незнакомых христиан у нас было чувство реального предстояния Богу, всегда отличающего и нашу православную службу.

Пришлось нам присутствовать и на торжественном богослужении в Коттаяме, христианском центре Траванкора, с рукоположением трех диаконов, панихидой и церковным ходом. Литургия совершалась одновременно на трех престолах, служили: сам Католикос, один из епископов и священник. В торжественные минуты подымался оглушительный и многозвучный шум: пели и вопияли служащие и народ, звонили звонки, бряцали колокольчики на кадилах, реяли опахала, гудели снаружи колокола и даже палило какое-то оружие. Ка-

толикос, уже глубокий старик, строго следил за службой и сердился на ошибки. Молящихся была огромная толпа. Здесь женщины стояли сзади. Дети прибавляли пронзительные ноты в могучий хор общего пения. Процессия была с множеством крестов, с яркими разноцветными зонтиками и звоном колоколов.

Яркое впечатление от их служб повторилось и в нашей деревушке — Патанамтитте. Каждое воскресенье мы молились в ее приходской церкви. Скоро нам стала привычна и дорога их литургия. Особенно мы полюбили их «поцелуй мира», который, после призыва «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», в православном служении останавливается в алтаре. У них же он передается, как и у армян, от одного молящегося к другому по всей церкви касанием рук. Нам было больно быть лишенными на этих службах причастия Св. Таин. Правда сами жители Патанамтитта редко приобщались, а когда это делали, то по установившемуся плохому обычаю, с которым борятся молодые священники, их причащали после литургии. Возвращались мы домой всегда окруженные оживленной толпой прихожан. Несмотря на все наши старания, мы так и не смогли в наш короткий срок научиться хотя бы немного их сложному языку и потому с большинством рядовых прихожан наше общение ограничивалось улыбками. Но как по воскресеньям, так и на каждой прогулке, мы всегда были центром остолбенелого любопытства детей и доброжелательного интереса взрослых. В этом мы соперничали даже с слонами.

Так однажды в конце дня мы пошли на прогулку. Нас как всегда сопровождала толпичка любопытных. Вскоре нам повстречалась процессия со слоном. Когда мы разошлись, слон был в одиночестве, а за нами следовала большая толпа, все пошли за нами.

История Малабарской церкви.[1]

Церковь, пригласившая нас, по преданию была основана апостолом Фомой. Он обратил в христианство одну из высших каст южной Индии. У этой Церкви много разных сбивчивых названий: «Малабарская», «Сирийская», «Православная», «Индусская». На протяжении своей истории она всегда считала себя частью «Святой, Соборной, Апостольской Церкви». Несмотря на свою изолированность и на все превратности их судьбы, она сохранила православную традицию, выраженную главным образом в благочестии, в отношении к таинствам и в общем мироощущении. Живя обособленной общиной среди моря индуизма, они были готовы принимать как братьев тех христиан, которые приезжали к их далеким берегам из стран,

---

[1] См. Nicolas Zernov «The Christian East», Delhi 1956.

где происходили догматические разделения и схизмы. В 16-м веке появились португальцы католики, которые вначале не трогали православных, но вскоре стали насильственно обращать их в чуждый им римский католицизм. В геройской борьбе за свою независимость православные потеряли почти все свои богослужебные книги и часть своих членов. В 17-м веке у них иссякло епископское преемство и они пригласили епископов ближайшей к ним Сирийской монофизитской Церкви, которая не находилась в общении с Константинопольской Византийской Церковью.

Епископы из Сирии никогда не учили местного языка, жили изолированно и мало повлияли на свою индусскую паству. Таким образом индусы не были по-настоящему задеты богословскими спорами, разделявшими других христиан. В наше время часть их Церкви решила искать автокефалии, выбрала своего индусского главу, «Католикоса», стала переводить службы на свой язык и у них появилось много молодых и образованных епископов и священников, настоящих пастырей своего народа. Епископы у них монахи, священники и диаконы могут быть женаты. Духовенство пользуется уважением, общины сплочены.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КОЛЛЕДЖ НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

Н. Зернов

Мы приехали в Патанамтитту, затопленную мансунным наводнением. Все было покрыто бурой водой, но рисовые поля уже пахали на буйволах, погруженных в воде по самые рога. С волнением увидали мы, приближаясь к деревушке, серые очертания колледжа на вершине высокого гранитного холма.

Первые впечатления от него были мало утешительными. Он был далеко не достроенным, почти все здания не имели стен, повсюду валялись доски и балки. Студенты (их было около 500) принуждены были сидеть под навесами в большой тесноте на длинных скамейках. Группа преподавателей старалась просветить эту, в большинстве случаев деревенскую, молодежь. Многие из них принадлежали, естественно, к Православной Малабарской Церкви, но были среди студентов и другие христиане, и магометане, и члены самых различных каст индуизма вплоть до почти самой низшей касты — «тех до которых нельзя дотрагиваться».[1] Один такой студент, по имени Чау-Чау, был моим большим любимцем.

Другим большим разочарованием было крайне слабое знание студентами английского языка. Со времени независимости преподавание в средних школах было переведено на местные языки, а английский стал изучаться в очень ограниченном размере, тогда как все преподавание в университетских колледжах оставалось на английском языке.

Занятия начинались в 9 часов утра. Студенты во всем белом, студентки (в большинстве отступая от обычаев христианских матерей, носивших тоже только белое), в разноцветных сари, приходили пешком из своих местечек. Каждый имел черный зонтик, необходимое прикрытие и от тропических ливней и от жгучего солнца. (Мы всегда жалели, что разноцветные

[1] Не было только тех, «которых нельзя видеть». Таких мы иногда встречали на наших прогулках. Завидя нас, они поспешно прятались. Официально кастовая система в Индии была отменена, но в жизни она продолжала властвовать.

зонтики употребляются только в процессиях.) Кроме тетрадей они приносили еду — рис с приправами, завернутый в банановый лист. В 4 часа занятия кончались, все спешили домой, чтобы успеть до заката солнца совершить омовение. После наступления темноты редко кто покидал свой дом.

Атмосфера в колледже была смесью современности и средневековья. Студенты изучали физику и химию, английскую литературу и философию, экономику и социологию, но они не читали книг по этим предметам, да их у них и не было. Они записывали под диктовку лекции профессоров и заучивали их наизусть. Они смотрели на своих учителей, как на носителей непререкаемого авторитета. Многие студенты были даже уверены, что их преподаватели знали все в своей области.

Больше всего нас удивили отношения между студентками и студентами. На лекциях девицы, которых было в колледже всего около 80-ти, сидели все вместе на передних скамейках. В перерывах они мчались в особый домик, где укрывались до следующего урока. Они никогда не говорили со студентами, даже встречаясь с ними на дороге. Объявления вывешивались для них на особой доске. Это было результатом правил, запрещающих браки не только вне своей касты, но даже вне подкасты, не говоря уже о немыслимости брака с человеком другой религии. В той части Индии где мы жили сохранялся еще патриархальный быт. Старший в роде выбирал профессии для молодежи, устраивал браки, и его авторитет свято признавался всеми.

Я полюбил своих студентов, многие приходили ко мне на дом для бесед. Это была веселая, легкая и доверчивая молодежь, многое принимающая на веру. В них были сильны чувства патриотизма и привязанности к своей общине или касте. Коммунисты были многочисленны в Керала, но их влияние не успело проникнуть в наш глухой район. Мы застали там ту старую Индию, которая, хотя и обреченная на исчезновение, хранила многие духовные ценности, унаследованные от прошлых поколений.

Мои отношения с преподавателями сложились дружественно, особенно с молодыми. Они получали грошовое жалованье, добросовестно относились к своим обязанностям, но у них не было привычки заниматься с отдельными студентами. Классы были большие, учителя перегружены работой. Мы с Милицей сделали все, что могли, чтобы положить хотя бы начало индивидуальной работы.

Кроме преподавания на мне лежала ответственность за администрацию и постройку колледжа. В этой области я столкнулся с психологией Востока. Сначала я пытался ввести методы работы привычные мне, но скоро убедился в невозможности их привить в один год и стал с интересом следить за тем, как поступали мои индусские сотрудники. Они жили

в настоящем; строить планы, предвидеть будущее было для них невозможно. Так, например, я пробовал протестовать против закупки в долг материалов, нужных для лабораторий. Колледж платил из-за этого большие проценты. Члены совета были искренно удивлены моему предложению. «Разве вы не видите преимущества нашей системы, — говорили они, — мы получаем все нужное и не платим за него!» «Но в будущем мы будем платить дороже» — отвечал я. Но все дружно считали, что будущее нам неизвестно, фирма может обанкротиться или колледж закрыться...

Постройка зданий велась в таком же духе. Работа шла с перебоями, то не хватало денег, то не был доставлен нужный материал, то куда-то девались рабочие. Но она все же продвигалась, работа иногда кипела, а потом энтузиазм пропадал и все засыпало. Один раз, к большому восторгу всех студентов и нашему, в колледже появился большой слон. По мановению маленькой палочки его хозяина, сидящего на его спине у самой головы, он удивительно ловко перетаскивал хоботом огромные стволы деревьев и укладывал их в ряд. Уже перед самым нашим отъездом наконец была возведена крыша над главным зданием, но не было асбеста для ее покрытия. Я убеждал сделать усилие, достать все, что нужно и кончить работу, но тщетно. Решили работу отложить — мансун ожидался только через два месяца. Из писем я узнал, что дожди начались раньше и только что законченный зал был затоплен водой.

Другой чертой индусской психологии, поразившей меня, было их отношение ко всякому и особенно физическому труду. Если я просил одного из служащих выполнить какое-нибудь поручение, он всегда стремился передать его лицу, стоящему ниже его по иерархической лестнице, и только старик «кули» был в постоянных разгонах, так как не было никого ниже его. В Индии все боятся сделать что-нибудь, что может унизить их достоинство.[2] Так же постоянно поражало нас индусское отношение к времени. Мы волновались, когда машина, обещанная в 6 часов утра, появлялась к двенадцати или деловое собрание задерживалось опозданием нескольких важных лиц. На все задержки, часто неизбежные в местных условиях, индусы смотрели хладнокровно и подшучивали над нашим нетерпением. Когда мы снова попали в Европу, нам стало казаться, что если в Индии время растяжимо, то на Западе его больше нет, а остались только деспотические часы!

Так, живя жизнью индусов, близко соприкасаясь с ними,

[2] Когда в начале нашей жизни я стал взбираться на холм колледжа напрямик, неся портфель, меня стали убеждать, что моему достоинству приличнее ходить по пологой дороге в сопровождении двух служащих, один нес бы за мной зонтик, другой портфель. Этого я никак не мог исполнить!

мы не только лучше их понимали, но также научились переоценивать разные установившиеся ценности. Глубже узнавая, мы горячо полюбили их за солнечную жизнерадостность, терпеливость и доброжелательство. Мне хочется отметить роль Милицы в нашей жизни и работе в колледже. Ее помощь во всем была неоценима; только вдвоем, помогая друг другу, мы смогли успешно справиться с выпавшей на нашу долю необычайной задачей. Занимаясь хозяйством в изнурительном тропическом климате, живо интересуясь всем, что происходило вокруг нас, она была горячо любима студентами, ее легко слушались, а главное она явила образ русской православной женщины, не боящейся никакой работы, знающей свою Церковь и умеющей свидетельствовать об истине Православия.

Старый дом.

М. Зернова

Наши английские друзья предупреждали нас, что индусы не выполняют своих обещаний. И действительно — постройка обещанного нам нового дома к нашему приезду даже не начиналась. Вместо этого было наспех снято помещение в самой деревушке под горой. До нас оно употреблялось для заразных больных, что старательно от нас скрывалось. Дом этот, лишенный самых элементарных удобств, просырелый, с протекающей крышей, был кое-как приспособлен для нас, был нанят и повар. Он говорил на неописуемо-ломаном английском языке, носил тюрбан и запросил жалованье, равное чуть ли не половине положенного нам.

Когда уехали отец Филипос, привезший нас в Патанамтитту, и англичанка миссионерка, помогавшая нам устроиться, разошлись и толпы встречавших нас местных индусов, детей и зевак, мы остались одни в быстро спускавшейся ночи, при тусклом свете слабых лампочек. Наш «кук» повел нас в столовую к торжественно накрытому столу. Посредине его сидел огромный паук с светящимися глазами. «Кук» хладнокровно согнал его полотенцем, уверяя нас, что он не опасен.

Ночью было жутко и чудно лежать под спасительными сетками, которыми нас так заботливо снабдили в Бомбее: весь воздух вокруг нас светился и мерцал от множества летающих насекомых, из углов глядели на нас чудовищные пауки, а на чердаке шла беспрерывная возня не то летучих мышей, не то диких кошек. Сразу за домом стоял тропический лес, полный странных звуков, криков, стуканья и свиста. Окна — без стекол, но с прутьями которые могли остановить лишь крупных животных или птиц; заново повешенные занавесочки часто приподнимались черной рукой, и любопытные глаза заглядывали в комнату.

Утром нас предупредили осторожно осматривать наши по-

лотенца, не заполз ли в них скорпион. Днем выяснились главные неудобства нашего дома: в колледж надо было ходить пешком в крутую гору два раза в день, кроме того дом стоял на проезжей дороге, так что мы никогда не были одни, утром и вечером нас неизменно посещала толпа школьников и весь день от дома не отходили зеваки, нищие и просители. Николай неутомимо разговаривал с бесчисленными посетителями, а я сразу же слегла с жаром, а потом страдала от укусов комаров и мошек. К счастью в нашем районе не было малярии.

Мы приехали в Патанамтитту в самое утомительное время года. Вокруг нас бушевал мансун. Дождь лил, посылая впереди себя порыв ветра, несущего листья и ветки, ступая как некий гигант по холмам и долинам, приближаясь тяжелыми и шумными стенами обрушивающейся воды и оставляя позади себя густые испарения набухшей красной земли. В одну ночь все наши кожаные вещи покрылись плесенью. Нам было трудно двигаться, от малейшего усилия мы обливались потом. Позже стали налетать сильнейшие грозы, но и они не приносили освежения.[3]

С ужасом я увидала как наш повар готовил еду в грязном чуланчике без трубы прямо в дырке на полу. Мы должны были от него отказаться[4] и я, к превеликому удивлению всех индусов, взялась и сама добывать продукты, и готовить на одолженной мне керосинке. Это спасло нас от множества болезней, которыми неизбежно заболевают новоприбывшие европейцы. Давалось мне это не легко: сваренная пища скоро портилась (у нас не было холодильника), все надо было тщательно прятать от множества воров — нищих, мышей, собак и насекомых. Однажды голодная собака чуть не съела мою сандалию.

Новый дом.

Но скоро все в колледже полюбили их нового «улыбающегося принципала», захотели, чтобы мы «остались у них навсегда» и решили строить нам дом около колледжа. Приехали заправилы, собрались все местные благотворители, священники и профессора. Их яркая и дружная толпа ходила по зеленым холмам, окружающим главные недостроенные здания колледжа, намечая где строить дом. Они были воодушевлены

[3] Мне, как и вообще женщинам, было труднее переносить тропики. Существует болезнь, называемая «тропической истерией». Она проходит с переменой климата. Без мужа, который был вынослив, как скала, мне было бы гораздо хуже, он же никогда не уставал побеждать трудности индусского характера терпеливой, но упорной настойчивостью. Его поддерживал неисчерпаемый интерес и чувство юмора.

[4] Уходя, он нанял мальчишку, который торжественно понес на голове маленький узелок — все его имущество. Сам он имел в руках только зонтик и этим подчеркнул свое иерархическое положение.

шевлены, глаза их горели, они быстро и все разом говорили на своем гортанном малеальском языке, часто громко хохотали и объявили нам, что дом будет готов через месяц.

И действительно, вначале постройка пошла с невероятной быстротой. Крышу и окна взяли из бывшего епископского домика, но после взрыва энергии, как часто в Индии, все замедлилось и нуждалось в постоянных «поощрениях». Особенно затянулись отделка полов, проводка электричества и воды и водружение невиданных в этой глуши европейских удобств в уборной. Все это делалось и переделывалось по нескольку раз. Потом пришел «неблагоприятный» период, когда в Индии не рекомендуется ничего начинать, потом снова шли дожди. Наконец наступило время нашего переезда, который произошел молниеносно с настойчивым участием всей общины и закончился обязательным в тот же день освящением дома с водосвятием и крещением каждого окна и каждой двери.

С тех пор наша жизнь в корне переменилась. Наш дом был прекрасен: с двумя широкими балконами на восток и на запад, с высокими потолками и белоснежными стенами, по которым ползали лишь маленькие прозрачные ящерицы, иногда издающие легкий свист (по поверию, это бывает когда кто-нибудь говорит неправду). Дом стоял на краю горы, недалеко от «дома святого Василия», в котором жил епископ Филоксинос со своим братством. Их молитвословие, звонкое и своеобразно-ритмическое, стало будить нас по утрам до восхода солнца, оно напоминало мне также, что пора ужинать, под его звуки мы засыпали.

Восход солнца мы могли видеть из наших кроватей,[5] с западного балкона мы подолгу любовались феерическими закатами, когда громады облаков уходящего мансуна сменяли нежно-розовый на бледно-золотой и оранжевый цвета. Мы всегда ждали то время заката, когда солнце исчезает и на короткий миг все освещается рассеянным светом, от которого и земля, и трава, и деревья сверкают своим особенным сиянием. После этого наступает ночь. Со всех сторон нашего нового дома открывался широкий вид: на далекую гряду синих гор, на холмы, покрытые дремучим лесом, на долины с пучками пальм и с огромными глыбами черных гладких камней, и между ними раскинутые, словно ковры изумруда, плоские ярко-зеленые поля риса.

Перелом в погоде, совпавший с нашим переездом, придал

---

[5] Нас будил концерт птиц. Их было несметное количество и великое разнообразие: большие и совсем маленькие, с ярким оперением-желтым, зеленым, красным. Они пели и кричали на все лады. Одна стукала с растущим крещендо: «так, так, так, так,...» другая без конца повторяла фразу, похожую на французское: «кес-ке-се»,... третья разливалась мелодичной трелью. Мы никогда не уставали слушать их и любоваться богатством зрелища!

перемене в нашей жизни магический характер индусского мифа. Сделавшись более легкой и поэтичной, она стала и более плодотворной. Теперь мы не были отрезаны от колледжа и я стала принимать в его жизни активное участие. Вначале наш дом был как музей, его беспрерывно посещало население всего округа. У нас на балконе можно было устраивать большие приглашения и преподавателей и студентов. У нас же постоянно происходили уроки отдельных групп, т. к. мы ввели опыт, несколько приближающийся к оксфордской системе «тюториал». Мы жили окруженные толпой студентов, циркулирующей вокруг нас. Очень многих из этих юношей и девушек мы скоро узнали и полюбили, а они в ответ на наше внимание отвечали нам восторженной и застенчивой привязанностью.

Часто собирались у меня студентки, то на урок, то на репетицию пьесы, которую я им сочинила по их силам. Пьеса называлась: «Оксфордская студентка». Индусские девушки нашего округа были сначала до того застенчивы, что трудно было добиться от них хоть нескольких слов их рудиментарного английского. Они закрывали лицо руками и нервно смеялись. Нужно было много терпенья и любви, чтобы учить их каждому слову и жесту. Зато успех нашей пьесы был огромный: элегантно одетые в диковинные одежды с нашего плеча, в перчатках и шляпах, мои «оксфордские студентки» удивляли восхищенную аудиторию количеством книг, которые они прочли для недельного сочинения. Было радостно видеть, как мои ученицы постепенно расцветали, становились свободными и уверенными в себе. Их положение в колледже быстро менялось, мы основали женский клуб и постепенно вводили общение между ними и студентами. Это несло опасность нежелательных романов среди молодежи, принадлежащей к разным религиям и кастам. Но нашим деревенским студентам надо было привыкать к новым формам жизни, которые уже вводились в столицах.

Когда мы уезжали, мои студентки пришли проститься со мной отдельно. Было трогательно видеть их слезы. Особенно одна, некрасивая и бедная, пришла во второй раз рано утром, принесла мне в подарок лимон и говорила мне про ее большую «inner love» («внутреннюю любовь»).

Учитель английской литературы попросил меня разобрать с его классом стихотворение Армстронга: «Миссис Томпсон идет за покупками». Я его сама плохо понимала, но может быть все же лучше профессора. В зале было до ста студентов, около восемнадцати девушек были нанизаны на скамейках первых рядов, как воробушки на ветке. Я стояла на высоком помосте у черной доски. Говорить надо было как можно громче, подчас кричать, так как одна стена зала отсутствовала и по соседству стучали молотки рабочих. Сотня пар внимател-

ных черных глаз была устремлена на меня. Я иллюстрировала замысловатое стихотворение рисунками на доске, отступала от текста рассказами о жизни в Англии, заставляла их отвечать на неожиданные вопросы, часто шутила и тогда моя аудитория разражалась громовым хохотом (любят индусы посмеяться). Мой урок имел такой успех, что мне пришлось давать эти «лекции» регулярно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНДИЯ

М. Зернова

Приемы.

Мы так слились с жизнью малабарской церковной семьи, что не проходило ни одного важного события в их среде без нашего участия. Первое большое собрание было устроено в нашу честь в Коттаяме. На этом приеме, состоявшемся в доме местного богача, было большое количество мужчин, все в белоснежных «дотти» и «чуба»,[1] но ни одной женщины. Индусы любят длинные речи. Сначала хозяин приветствовал нас, потом говорил Николай. После него, к моему удивлению, просили говорить меня. Я сказала им: «Где же ваши женщины? Без них мне неуютно говорить». Тогда хозяин дома открыл двери во внутренние покои и там я увидала настоящий цветник красавиц, которые весело окружили меня. Я познакомилась с хозяйкой и ее муж сказал мне: «Не судите о наших обычаях по европейским. Поверьте, нет такого решения, которое я бы принял, не посоветовавшись с моей женой». Я говорила мою первую речь в Индии (а индусы научили меня говорить речи) стоя у раскрытой двери между женской и мужской половиной.

Помолвка.

В самом начале нашей жизни в Патанамтитта мы были приглашены на общественную церемонию, предваряющую свадьбу, своего рода закрепление обещания брака. Хотя старинная система приданого осуждается в современной Индии, эта церемония связана все же с его уплатой. Сын нашего местного банкира женился на дочери богача, принадлежащего к церкви Мар-Тома, отделившейся от «нашей» и находящейся под протестантским влиянием. (В смешанных христианских

[1] Дотти — кусок белой материи обвертываемый вокруг пояса, чуба — длинная, форменная рубашка, одеваемая поверх чубы. Такую одежду носят все индусы на юге.

браках в Индии женщина переходит в Церковь мужа). Все мы, наряженные в праздничные одежды, приехали в дом невесты миль за шестьдесят по живописным, красным, пыльным дорогам Траванкора. Жениха с нами не было. Раньше он с гордостью говорил нам, что уже видел раз свою невесту. Мы нашли большую компанию мужчин, ожидающих начала церемонии. На первых местах друг против друга сидели священники нашей Церкви и Церкви невесты. Зажгли большую масляную лампу и водворилось молчание. На середину вышли два старца: отец невесты и дядюшка жениха (отец его умер), который спросил: «Зачем мы собрались?» Отец ответил: «Чтобы заключить контракт брака». «Сколько даешь?». «15 тысяч рупий», и отец передал дядюшке толстый конверт; они вступили на цыновку посередине комнаты и два раза обнялись. Священники пропели несколько молитв, все встали и сразу громко заговорили. Затем, посл традиционного мытья правой руки, гости были приглашены к столу. Мне сказали, что я была первой за всю их историю женщиной, присутствующей на такой церемонии. После завтрака меня повели на женскую половину и показали невесту, студенку, еще не кончившую университетский курс.

Свадьба.

Через несколько месяцев была отпразднована свадьба в нашей церкви и в доме жениха. Если на помолвке было человек 50, то на свадьбу приехало не меньше пятисот. Свадьбы и похороны — самые главные события в Траванкоре. На них съезжаются со всех концов, отменяя все другие занятия. В этот день свадьбы было одновременно две, совершали их два епископа, окруженные толпой священников. Только один из них произносил слова службы венчания, а другой лишь делал соответственные жесты. «Наша» невеста видала раньше своего жениха, а другая, как мне потом рассказали, никогда своего не встречала и войдя в церковь не знала, который из двух ожидавших молодых людей — ее будущий муж. В службе, продолжавшейся больше часа, есть два ярких момента: первый, когда жених надевает невесте на шею маленький крестик, который она никогда больше не снимает (по нему узнается замужняя женщина), он похож на аналогичный жест в свадьбе индусской, только у них это не крестик, а золотое ожерелье. Второй момент венчания это — троекратное обведение крестом вокруг головы венчающихся. После этого на жену надевают драгоценное покрывало, подарок семьи мужа, и церемония кончается.

После венчания наши молодые, смущенные и улыбающиеся, еле взглянув друг на друга, двинулись из церкви, их тут же сфотографировали вместе с епископами, одев на всех

них гирлянды из цветов. Потом мы все направились в разукрашенный дом жениха. За столы сели мужчины по строго соблюдаемому старшинству, родственники невесты с одной стороны, жениха с другой, ели в три смены. Священников обеих церквей угощали за отдельным столом, но епископы уехали в дом Св. Василия, они никогда не трапезуют в частных домах и никогда не ездят в одном автомобиле с женщиной. Когда все разместились, к самому старшему был обращен громкий вопрос: «Разрешается ли ввести молодую в дом?» и только после его положительного ответа оба молодые пошли в женскую половину, где им был накрыт отдельный стол. Кроме многочисленных гостей обязательно устраивается угощение бедным и нищим. Их собирается отовсюду огромное число и не мудрено, что не слишком богатые семьи буквально разоряются, устраивая свадьбы своих детей.

Похороны.

Мы возвращались с гор Майсора, где на рождественских каникулах провели незабываемое время в образцовой чайной плантации Варгеза, сына нашего любимого старца Мамен Мапелай. Там, окруженные вниманием его семьи и красотой природы, мы отдыхали от сутолоки колледжа и сырой жары Траванкора. По дороге мы заехали к Мамену в Коттаям. Он был, как всегда, радушен и светел, но сказал нам, что чувствует себя неважно, и казался каким-то ушедшим. Мы так привыкли видеть его высокую красивую фигуру на всех важных собраниях, что нам в голову не могло прийти, что это была наша последняя встреча. Через 4 дня мы получили телеграмму о его смерти. Родные рассказывали нам потом, что весь день он был на ногах, но вечером, после обычного омовения, надел праздничные чубу и дотти, в которых ходил только в церковь, лег и через час его младший сын, спавший в соседней комнате, услышал, что он тяжело дышит. Позвали его любимую дочь, гостившую у него, и священника, и ровно в 12 часов ночи он скончался.

Естественно, мы присоединились к огромному стечению народа на похороны. Нас ждали, приняли как самых близких родных. В их скромном доме мы увидали потрясающую картину прощания огромной семьи родственников, друзей, церковного народа и вообще граждан Траванкора со своим вождем. По тому количеству людей, которые пришли поклониться ему, по горячности их скорби и по атмосфере, царящей вокруг его праха, можно было судить о том влиянии, которое он имел на множество людей. Большой внутренний двор был покрыт навесом, посередине на низкой кровати лежал он, окруженный цветами. Его образ с печатью неземного мира и святости был прекрасен. В головах был стол с множеством крестов и

горящих светильников. Вокруг него на цыновках сидели родные и друзья и пели церковные прощальные песнопения. Его сыновья с их многочисленными семьями слетелись из разных городов Индии. Тесным кольцом они окружали кровать, держали отца за руку, гладили его волосы. Красавица дочь, окруженная роем женских фигур была матерински тепла, спокойна и как бы причастна тайне, унесшей отца. А вокруг все приходили и приходили прощаться, подолгу стояли, молились. Потом прибыли епископы с множеством священников и стали совершать службу положения во гроб. Тут поднялся вопль. В Индии, как и в древней Руси, внешнее выражние скорби не только не предосудительно, но и похвально. Наконец открытый гроб высоко подняли молодые члены семьи и поставили на особый большой катафалк с балдахином, на котором поместились и все старшие мужчины семьи. К ним пригласили и Колю. Некоторые женщины следовали за гробом пешком, а за ними несметная толпа провожающих; катафалку предшествовала длинная процессия: ряд неизменных, разноцветных церемониальных зонтиков, блистающие на солнце серебряные кресты, большие группы духовенства под балдахинами и два оркестра, попеременно играющих особую, заунывную, сердцераздирающую музыку. Все это двигалось медленно и чинно на далекое кладбище, где старца отпевали и похоронили около его любимой жены, которую он не пережил и года.

Отпевают, как и в России, с открытым гробом, хотя из-за климата должны хоронить в день смерти. После похорон своего главы семья усопшего не выходит из дома 9 дней, находясь в посте и молитве. На третий, девятый, сороковой день и в годовщину устраиваются поминки, кормят толпы нищих, раздают им одежду и деньги и конечно совершаются богослужения.

Церковное торжество.

В местечке, находящемся от нас в пяти милях, праздновалась память чудесного избавления от эпидемии оспы. Наш епископ Филоксинос, сам родом оттуда, был почетным гостем. Мы прибыли на место заранее и хорошо сделали, так как возбудили, как всегда, такой захватывающий интерес собравшейся толпы, что отвлекли бы внимание от епископа. После долгого ожидания он появился в праздничном одеянии окруженный священниками. Вместо обычной белой рясы и легкой шитой шапочки, на нем был малиновый подрясник, тяжелое черное шелковое одеяние и сложный громоздкий головной убор.

При въезде в деревушку была совершена краткая молитва на специально сооруженном помосте, епископа посадили в старинный автомобиль с балдахином и началось шествие

под бой барабанов и оглушительную стрельбу, сначала вброд через речушку, потом вдоль рядов разукрашенных домов, около которых были устроены алтари с горящими свечами. Перед некоторыми домами останавливались, молились, на епископа надевалась цветочная гирлянда, так что, когда прибыли к церкви на нем было больше дюжины таких тяжелых ожерелий, он вероятно изнемогал.

У входа в церковь была сооружена эстрада, на которой поместился Филоксинос и местный епископ. (Они наконец могли снять свои гирлянды!). С ними сели священники, пригласили нас, а за всеми нами стояли диаконы, держащие епископские серебряные жезлы. Вся огромная, плечо к плечу, толпа как стояла, так и села на землю, впереди дети, а по сторонам на стульях важные старцы. Зрелище этих народных масс всегда поражает в Индии. Они привыкли жить в тесноте и естественно умещаются на небольшом пространстве в поездах, на скамьях колледжа, на собраниях.

Начались длинные речи. Председательствовал местный епископ, славящийся молитвенностью. Сначала говорил он сам по-малеальски, с жестами, упорно отворачиваясь от микрофона. Толпа слушала его и всех ораторов с неизменным и сосредоточенным вниманием, включая детей. Они все могут так слушать часами. Но неизвестно насколько они слушают или просто сидят и смотрят. После нескончаемой вереницы длинных речей нашему епископу преподнесли множество щедрых подарков: золотой крест, рясу, адрес и пр. Солнце давно село, зажгли яркие лампы, а собрание все продолжалось. Только поздно ночью мы вернулись домой.

Индусы любят и умеют устраивать празднества.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВСТРЕЧИ И ПАЛОМНИЧЕСТВА

М. Зернова

Англичане в Индии.

Плантаторы.

Как только мы приехали в Патанамтитту, нас пригласили к себе наши ближайшие европейские соседи-англичане, работающие на плантациях в десяти милях от нас. Несмотря на советы наших лондонских «опытных» друзей никогда не ездить в местных автобусах, мы отправились к ним в таком маленьком переполненном автокаре. Это был день празднования независимости Индии, все дома были разукрашены флагами и пальмами, всюду были праздничные толпы индусов.

Дом плантаторов находился на высоком холме, откуда открывался грандиозный вид на плантации мрачных резиновых деревьев, на кустарники чая и на далекие горы. В их обширном, прохладном доме со множеством слуг, картин, ковров, книг и собак мы попали в Англию. Они жили типичной жизнью англичан до независимости Индии, совершенно изолированной от индусов и бессознательно и безнадежно проникнутой чувством своего превосходства.

Они были милые люди и очень хорошо нас приняли. Мы много с ними говорили, с удовольствием вкусно поели и отдохнули от жары и путаницы первых дней в Патанамтитта. Но вернулись мы обратно с радостью, сидя вперемежку с индусами в тряском, пыльном автобусике, беспрерывно улыбаясь направо и налева в ответ на улыбки лиц, освещающихся сверканием белых зубов. Дети особенно хороши с их умными и живыми глазами. И мы решили, что предпочитаем нашу трудную жизнь: мы окружены любовью, а они недоверием.

Миссионерка.

Совсем противоположная жизнь была у той англичанки, которая встретила нас в первый день нашего приезда. Она

тогда приехала помочь нам из возглавляемой ею школы девочек, находящейся в деревушке Тирувалла в 35-ти милях от нас. Среди множества зевак и стаи любопытных детей, которых она постоянно отгоняла зонтиком, мисс Брук-Смис поражала своим обликом, будто сошедшим с картинки прошлого века. Это была старая англичанка в типичной английской одежде, с старомодными манерами. Она оказала нам неоценимую помощь своими советами и устройством дома.[1] Позже мы посетили ее в ее образцовой школе, принадлежащей «нашей» церкви.

Мисс Брук-Смис ведет эту школу уже больше сорока лет. Рядом со школой она создала мастерскую, научила индусских женщин вышивкам и успешно сбывает их работы в Европу, чем дает существенную помощь крайне бедным семействам. Она провела всю свою жизнь среди индусов, но языка их не выучила. Она их любит и говорит, что «стоило для них работать», но и критикует их безжалостно и справедливо, но у нее нет и тени превосходства. Она остроумна, ровна и заботлива на свой лад, но все же она бесконечно одинока и в чем-то индусов до конца не понимает.

Она всегда хотела быть миссионеркой, но боялась Индии из-за змей и риса, которого с детства терпеть не могла. Но в Индию она отправилась краснощекой девушкой, только что окончившей Оксфордский Университет,[2] и стала «убивать змей и есть много риса». Нас глубоко поразила простота и скромность ее отношения к своему подвигу. Скоро она выходит в отставку. Под конец ее жизни у нее нет достаточно денег, чтобы жить в Англии, и она решила остаться в Индии. Индусы очень горды, что «она остается умирать у них» и устраивают ей дом.

Православные общины.

Как ни заняты мы были в колледже, как ни трудно было передвигаться по Траванкору, одной из наших задач было посещение православных монастырей и церковных общин. Не-

---

[1] Она, например, предотвратила меня от ошибок в костюме, которые делали другие иностранки: в Индии считается совсем приличным женщине открывать верхнюю часть живота, но неприлично показывать верхнюю часть рук, так что европейские платья без рукавов — шокируют. Под влиянием этого я сочинила себе одежду похожую на местную, а когда одевала сари, то вызывала большой восторг.

[2] Мисс Брук-Смис рассказывала нам, что когда она впервые ехала в свою Тируваллу со старой миссионеркой, которую она заменяла, они долго ждали в автомобиле переправы через одну из широких рек Траванкора. У окна, где сидела юная Филис, встал худой, черный и старый бродяга и упорно глядел на нее. Она долго терпела и наконец попросила свою соседку сказать ему, не посмотрел бы он «для перемены» хотя бы на деревья. Ответ был глубокомысленный: «А почему бы мне не смотреть на молодую гостью, ведь и она — создание божие».

большие по своим размерам, они духовно питают церковь. Самым необычайным для замкнутых в себе православных индусов был миссионерский «*Ашрам*» — община, находящаяся недалеко от Коимбатура, на самой границе Траванкора. Его поддерживает живущий там с женой знаменитый англиканский епископ миссионер в отставке Херберт Пекенхам Уолш. Он самоотверженно и типично для англиканина отдал этому начинанию последние годы своей жизни и все свои средства.

Посетили мы и женскую *общину Марфы и Марии в Отаре,* где подвизалась одно время русская миссионерка В. В. Бартеньева, приехавшая из Югославии. Там православные девушки учатся основам христианской жизни, одновременно преподавая в школе девочек. Некоторые из них становятся монашенками, другие выходят замуж. Община хорошо организована, имеет свою часовню и большое хозяйство.

Монастыри в Бетани.

Большой радостью для нас было паломничество в женский и мужской монастыри в Бетани. Они были основаны епископом Иваниусом, перешедшим потом в католичество и уведшим с собой большинство монахов. Но малая часть их осталась верной православной традиции. Женская обитель находится в долине, мужской же монастырь стоит в 16-ти милях от них, на горе, в лесу. Монахи ходят в простых розовых одеждах, похожих на те, которые носят в Индии индусские и буддийские аскеты. Место — живописное и святое. Хорошо у них, дух простоты, свободы и трезвенности напомнил нам наши монастыри. От краткого пребывания у них осталось светлое благодатное чувство.

Скит отца Андроника.[8]

Больше всего нам хотелось попасть на гору «Мадура Маля», место где жил отец Андроник Елпединский, наш друг и член моего парижского братства Св. Троицы. Отец Андроник родился в 1894 году в Олонецкой губ. Он приехал в Индию в 1931 году, жил сначала с монахами в Бетани и в других местах, но скоро Господь привел его на место его главного подвига, где он основал свой скит и монашествовал там долгие годы, отлучаясь лишь для посещения своей русской паствы, разбросанной по всему обширному материку Индии или отвечая на приглашения участвовать в разных религиозных собраниях и свидетельствовать о Православии. Он покинул Индию в 1949-м году и умер в 1958 году в Америке.

Мы отправились на «Сладкую Гору» — наняв такси, что

---

[8] См. «Восемнадцать лет в Индии» Архимандрит Андроник Елпединский, Буэнос Айрес, 1959.

очень редко себе позволяли, но таксист довез нас только до разлившейся реки, которую мы перешли вброд и потом пешком добирались до горы. Подымались мы на нее по тропинкам, по которым ходил отец Андроник. Гора поистине «сладкая» по тому аромату множества цветов на деревьях, хотя ее назвали сладкой оттого, что на ней когда-то водились пчелы. Наверху открывается грандиозный вид. Там стоит каменная церковь, основательно построенная руками нашего земляка.

Нас встретил «саньяси»-подвижник, принадлежащий к сирийской Церкви. Его оставил после себя отец Андроник. Это худой смиренный человек с тонким лицом и большими выразительными глазами. Нам говорили, что у него дар исцеления. Он живет один с мальчиком прислужником. Было нам очень дорого посетить это намоленное место.

Отец Лазарь Мур.

Англичанин родом, Эдгар Мур впервые встретился с Православием в Англии на съезде Англо-Русского Содружества в 1928 году. Он попал в Индию в качестве англиканского священника миссионера. Православие продолжало интересовать его и в 1934 году он провел несколько месяцев с отцом Андроником в его скиту. Это привело его к решению присоединиться к нашей Церкви, что он осуществил в Сербии, где был пострижен с именем Лазарь. В сане Иеромонаха, он долго подвизался в Иерусалиме, переводя на английский язык православную литературу. Мысль о возможности восстановления нашего единства с православной индусской Церковью не оставляла его и он снова приехал в Индию и жил в Отаре.

Там мы встретились с ним и после этого он присоединялся к совещаниям с епископами, которые устраивал Николай Михайлович.

Церковные конвенции.

В «сухой» период года Православная Церковь Траванкора устраивает в руслах высыхающих рек большие сборища своих верующих. Тысячи мужчин, женщин и детей сходятся на них со всей окружающей области. Они сидят под навесами и часами поют песнопения и слушают проповедников. Мы участвовали на нескольких таких конвенциях. Самая большая была в Чагануре. Она длилась целую неделю. Нас пригласили на день, переводчиком был специально приехавший священник, говорящий на многих языках. Сначала говорила я — для женщин. Задолго до начала заревел громкоговоритель и стали медленно собираться слушательницы в своих белых одеждах. Все было очень хорошо организовано, место собраний разде-

лено на участки веревками, собралось женщин около пятисот. Председательствовал старик священник, «рамбан», прочел молитвы. Песнопение начиналось запевалой в громкоговоритель и подхватывалось всеми, разливаясь как рокот моря. Потом я прочла евангельский рассказ о Марфе и Марии и говорила им о Русской Церкви, о роли женщины, о религиозном воспитании детей, их частом причастии. В Малабарской Церкви детей миропомазуют сразу после крещения, как и в Православной Церкви и тут же приобщают, но потом, как и взрослые, они приобщаются редко, обычно раз в год. Я убеждала моих слушательниц в благотворности частого причастия. Переводчик брал по крайней мере в четыре раза больше времени на перевод. Это отчасти объясняется характером малеальского языка, а отчасти, вероятно, желанием продолжить мою речь. Председатель поддержал меня, предлагая ввести общее причастие перед Рождеством, так же как и перед Пасхой.

После завтрака говорил Коля, народу собралось до пяти тысяч. Все продолжалось до поздней ночи. Николай Михайлович говорил о необходимости им присоединиться к «большой Православной Церкви», о том, что им надо называть себя не «Сирийской», а «Индусской Православной Церковью», о единстве нашей веры, о их миссионерских задачах. Когда мы уехали, они еще долго распевали свои песнопения.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЯЗЫЧЕСКАЯ ИНДИЯ

М. Зернова

Столица.

В один из коротких перерывов в занятиях колледжа мы были приглашены Джоном Филипосом в Тривандрум, столицу Траванкора, чистый, красивый и культурный город на самом юге Индии. Там мы посетили музей, картинную галерею с произведениями Рериха (1874-1947), парк и ездили на знаменитый мыс «Кап Камерон». Дом Филипоса, удобный и обширный, напоминал нам старинную русскую помещичью усадьбу. На его широкую веранду всегда кто-то приходил. Мы встретили там много его интересных друзей и вели с ними нескончаемые беседы. Тут неожиданно появился, занесенный из Японии, как на сказочном ковре самолете, Иоанн Шаховской, епископ Сан-Францисский. Мы все горячо обсуждали с ним возможности соединения Малабарской Церкви с Православной.

Магараджа.

Мы попали в Тривандрум в период больших языческих празднований «онам» и прикоснулись к миру индуизма, которого почти не видели в нашей деревушке. Прежде всего мы сделали визит Магарадже Траванкора в его новом дворце. Его теперь называют Раж-Промук, он лишен прежней власти, но не богатства. Он принял нас очень любезно. С ним была его мать — «магарани». Мы много говорили и о нашем колледже и об искусстве Индии и выразили наше сожаление, что не можем входить в храмы и видеть храмовых танцев.

Академия музыки

Магараджа посоветовал нам посетить академию музыки. В специальном классе для более талантливых девушек, который нам показали, они сидели на циновках скрестив ноги,

одетые в яркие сари, с цветами в волосах и играли на инструменте, похожем на мандолину с очень длинной ручкой. Мы погрузились в стихию восточной музыки, в которой индивидуальное творчество сжато в тисках традиционных форм. Начальный мотив повторяется на миллион «трансмутаций» и музыка страстна и однообразна. Она течет как поток, гипнотизирующий душу своей непонятной магией. Все играется на слух и по памяти, которые у них необычайно развиты. Курс длится три года, по окончании его музыканты и музыкантши или учат других, или составляют труппу при храме или участвуют на свадьбах и пр.

Поют тоже сидя, все на санскритском языке, отбивая такт рукой по колену, голосами зычными и напряженными, следуя по завитушкам и изгибам индусских мотивов. Нас приняли очень радушно. Ушли мы с ощущением сложной, вековой и чуждой нам культуры.

Бродя по городу, мы прислушивались у двойных оград капищ, полных народа, гудящих странными звуками и криками, но нас грубо отгоняли. Если «неверный» войдет в храм, его отдают под суд, т. к. сложная процедура очищения храма от осквернения стоит очень дорого. На севере, наоборот, в храмы нас зазывали и ожидали от нас пожертвования.

Неожиданное приглашение.

Как-то раз мы возвращались одни узкой уличкой «домой». Была ночь и яркие звезды блистали сквозь ветви пальм. Мы остановились у низкого глиняного заборчика. Во дворе перед бедной хижиной среди сборища главным образом женщин и детей происходило маленькое языческое «действо». Нас сразу пригласили внутрь и почетно посадили на скамейку. Было странно и чудно быть среди этого игралища в темной, как черный бархат, и теплой, как парное молоко, траванкорской ночи.

На земле стоял светильник, была горка, покрытая травой, а вокруг нее какие-то знаки обозначенные цветами. Маленькие девочки танцевали и пели, безошибочно звонкими голосами выводя сложные мотивы. Наконец празднество пришло к завершению. Выступил мальчик лет восьми и пронзил горку стрелой из лука, лопаточкой он срезал верхнюю часть пирамиды с глиняной головой на ее конце и унес ее куда-то за забор. При этом поднялось пронзительное женское улюлюкание, такое же, как мы слышали в Иерусалиме и в других местах на востоке.

Передовые язычники.

Тетка магараджи пригласила нас в свой, отдельный от главного, дворец, т. к. их дочь, траванкорская принцесса Ку-

мари жила у нас одно время в Лондоне. Родители Кумари решились отпустить свою молодую дочь в Европу, т. к. в Индии до сих пор соблюдается традиция, по которой принцесса царской крови не должна выходить из своего дворца кроме церемоний и не может ни видеть обычной жизни, ни получить общего образования. Их поступок был необычайным новшеством. Они оказались передовыми людьми, представителями утонченного индуизма, который пытается приравняться к уровню европейской, в своей основе христианской, культуры. «Наши боги — говорили они нам — лишь земные выражения ограниченного человеческого восприятия единого Бога-Вседержителя».

Катакали.

Среди самого разгара занятий в колледже, неожиданно мы получили телеграмму, приглашавшую нас на представление священных танцев специально устраиваемое Магараджей во дворце для нас и других гостей. Мы должны были все бросить и ехать весь день в переполненных автобусиках, по пыльным дорогам, но во дворец мы прикатили на одолженном нам Филипосом автомобиле в вечерних туалетах, совсем как в сказке о Золушке. Нас приняли как старых знакомых, собралась смешанная иностранная компания, вся царская семья была с нами и давала нам подробные объяснения танцев. Они происходили во дворцовом парке при свете огромных храмовых ламп. Это было незабываемое феерическое зрелище.

Актеры, одетые в фантастические костюмы, с огромными головными уборами, были все мужчины. Их сложный грим, состоящий из рисовых наслоек и разноцветных ярких полос берет целый день приготовления. Хотя он и производит впечатление масок, он все же дает возможность мимики. Их игра немая, вся в условных жестах и позах, под аккомпанемент нескольких инструментов и пение хора, как в греческих трагедиях. Каждый жест изображает идею или чувство. Мы скоро заметили как много этих жестов употребляется малабарцами в их ежедневной яркой жестикуляции. Несмотря на их условность, они очень выразительны. Представление так захватило нас, что мы могли бы смотреть его всю ночь, как это происходит в храмах при стечении тысячной толпы. Зрелище было грандиозное, сильное и жестокое. Оно погрузило нас в мир индуизма с его двоящейся моралью и пантеистической философией: действующие лица — полубоги, полуцари, полуобезьяны; мудрец — полусвятой, полуобольститель, у него — одна рука когтистая, другая с четками. Мимика половины лица отлична от другой, так же как и ритм движений рук и ног, что увеличивает впечатление двойственности. После представления, которое длилось больше трех часов, нас пригласили

во дворец к ужину, на котором с нами были все члены семьи Магараджи, кроме него самого, что уже было большим новшеством. Была и магарани, женщина магическая, властная и гордая. С нею была связана целая трагическая страница истории Траванкора. Она отметила Колю особым вниманием — повела в свои покои и показала ему свой портрет, сделанный Рерихом в ее молодости.

Путешествия по Индии.

Н. Зернов

Наша встреча с Индией не ограничилась пределами Керала. Нам удалось увидать и другие части страны, т. к. я был приглашаем читать лекции о Православии в разных университетах. Мы посетили Дели, Калькутту, Мадрас, Бенгалор и Нагпур, Жабальпур и Мангалор. Побывали и на Цейлоне. Времени у нас было всегда в обрез и мы обычно летали, иногда брали спальное купе в ночном поезде, но действительно интересны были путешествия в третьем классе медленно двигающихся, длинных, перегруженных поездов. Тогда мы встречались с Индией во всей ее красочности, необычайности и часто мучительности. Из широких окон вагонов третьего класса, виднее была проезжаемая панорама высоких гор покрытых джунглями, сухих, огромных равнин и бедных поселений.

На узких деревянных скамейках умещается десять индусов, там, где хватило бы места для четырех европейцев. Конечно мы были всегда предметом огромного интереса, т. к. иностранцы обычно не решаются ездить в третьем классе. К нам индусы относились с доброжелательством, давали больше места, если находился кто-нибудь знавший английский язык, сразу начинались расспросы: кто мы, куда едем, сколько у нас детей и больше всего, сколько мы получаем жалованья. Весь вагон принимал участие в обсуждении нашей жизни.

Если мы были интересны для других пассажиров, то и они были бесконечно интересны для нас. Тут можно было встретить людей со всех концов огромной страны. Часто рядом с нами сидела женщина магометанка, до глаз закрытая покрывалом, а рядом с нею могла быть почти голая «пари». То, что было неприлично одной, было законно для другой. Интересны были и украшения: у одних огромные золотые кольца были вдеты в ноздри, у других тяжелые подвески растягивали уши до плеч. По одежде можно было распознать как профессию и религию, так и провинцию, в которой они жили.

Но не всегда такие поездки давались нам легко. Особенно Милица страдала от грязи, вони, а главное от плевков. Многие индусы жуют жвачку, заменяющую им курение: какие-то

листья вместе с белой приправой превращаются во рту в красную массу, которую они время от времени артистически отплевывают. Раз Милица сидела у окна лицом к паровозу. Против нее сидел старик, положив у окна большой мешок. Громко отхаркиваясь он быстро и аккуратно посылал плевок как пулю мимо своего мешка в окно. Ни разу он не попал в Милицу, но каждый раз казалось, что неминуемо попадет...

Кроме красочной толпы пассажиров, третий класс имел множество и других развлечений. По проходам непрерывным потоком двигались продавцы, фокусники, нищие, устроители лотерей. Последние брали едущих врасплох. Потные, красные они врывались в отделение, всучивали в руки пассажиров свои билеты, громко торопя с уплатой и быстро исчезали. Через некоторое время они возвращались, раздавая счасливцам ничтожные выигрыши, но и цена билета была по карману каждому. Нищие были самых разных категорий. Почти всегда они ужасно ко всем приставали, но были и такие, которые вели себя с большим достоинством: они раздавали карточки, на которых на разных языках была описана их несчастная доля. Самыми жуткими были калеки дети с вывернутыми руками и ногами. Индуизм учит, что милостыня помогает дающему подниматься на ступень выше в следующем воплощении. Потому многие дают гроши нищим.

Забавляли нас безбилетные. Когда случался редкий контроль, их оказывалось пять или шесть в одном отделении. Контролер хладнокровно высаживал их на следующей станции, но они смешиваясь с толпой, садились снова в другой вагон. Багажа у них «не оказывалось», т. е. он был у сообщника обладавшего билетом. Остановки были пожалуй самой интересной частью пути. Когда поезд медленно подходил к станции, его с нетерпением ожидало самое разнообразное сборище людей и животных. Стаи обезьян удивительно проворно атаковали вагоны и захватывали все, что попадало в их ловкие лапы. Вороны и другие птицы влетали в открытые окна и уносили пищу зазевавшихся пассажиров. Козы, собаки, коровы быстро подбирали остатки пищи, бросаемые на рельсы. Новые толпы нищих проникали в поезд, продавцы еды предлагали свои жгучие и ярко окрашенные снадобья. Все находилось в беспрерывном движении, все куда-то спешили, толкались, кричали. Это продолжалось до самого отхода поезда. Путешествия в третьем классе в Индии не могут сравниться ни с чем в других странах.

Города Индии.

Не говоря уже о нашем посещении Цейлона, который показался нам островом красоты и своеобразной культуры, каждый город Индии, в который мы попадали, был для нас

целым новым миром, описать который нам очень бы хотелось, но я ограничусь лишь двумя наиболее удивительными местами: Агрой и Бенаресом.

Таж Махал.

По дороге из Дели мы заехали в Агру смотреть «седьмое чудо мира» — Таж Махал. Он превзошел все наши ожидания. Мы увидели его через прорез башенных ворот: на фоне синего неба выделялся ослепительный, слегка розоватый мрамор мавзолея, его купол и минареты отражались в узкой полосе воды длинного бассейна. Пропорции здания и сочетания красок являли совершенство, которое захватывало дух. Мы видали его и в лунную ночь. Вкрапленные в его стены драгоценные камни, уцелевшие от периодических ограблений, зажигаются таинственным светом по мере движения луны.

Таж Махал всего лишь гробница, но он является поразительным памятником человеческой любви, преобразивший мрамор в живую стихию неумирающей красоты, тем более удивительной, что она была создана в мире Ислама, поработившего женщину: мавзолей построен был могучим могульским султаном в 17-м веке. Умирала его любимая красавица жена, он был в отчаянии и просил ее сказать ее последнюю волю. «Построй в мою память усыпальницу красивее всех зданий мира — сказала она — и больше не бери себе жен». И он построил Таж Махал и больше не женился.

Бенарес.

Бенарес, тысячелетний город, центр индуистического благочестия и учености, ошеломил нас. В нем раскрывается вся сложная, противоречивая и многоликая природа индуизма. По его узким, извилистым уличкам с лавочками знаменитого шелка и серебряных изделий, между капищами с золотыми куполами, двигаются толпы паломников, нищие, иностранцы, священные коровы, подвижники «саньяси» в оранжевых одеяниях и с лицами, накрашенными желтой или красной краской,[1] брамины с типичным видом чистоты и превосходства, с ниткой, спускающейся поперек обнаженного верха туловища, и какие-то совсем голые, дикие люди.

Главная святыня города — величественная река Ганг с ее быстро текущей кофейного цвета водой. Благочестивые индусы погружаются в ее струи, пьют ее и увозят фляги, наполненные ею, как великое сокровище. На плоских широких

---

[1] У поклонников божества Шивы лица накрашены полосами горизонтальными, у поклонников Вишну полосами вертикальными. Одни с длинными волосами, другие с головами выбритыми, кроме длинных чубов.

ступенях, спускающихся к реке, лежит множество самых ужасных на вид больных и скелетообразных мужчин и женщин, чающих смерти. Вдоль реки горят огромные костры-алтари, на которых сжигают трупы счастливцев. Их пепел будет развеян по водам Ганга и это обеспечивает им освобождение от цепи перевоплощений с их неизбежной ценой страданий и обольщений.

Фигуры индусов стоящих в воде с побледневшими лицами, обращенными к солнцу, или погруженных в созерцательное молчание на каменных плитах являют контраст с окружающим их шумом и грязью. Они олицетворяют глубоко заложенную в человечестве жажду очищения и раскрепощения от земных оков. Совсем иная стихия царит в индусских капищах. В Бенаресе мы живо вспомнили поразивший нас в Калькутте храм богини разрушительницы «Кали». Там на небольшом пространстве скучено несколько зданий: само капище, другие небольшие ниши с красными чудищами-идолами, двор для жертвоприношений козлов, терраса, на которой сидели ученые брамины с книгами. Из главного капища доносились резкие и дикие крики. Туда мы попасть не могли, но издали видели отталкивающий образ богини смерти. У нее четыре руки, две — благословляют, третья держит окровавленный топор, в четвертой — отсеченная человеческая голова. Огромный, красный язык высовывается из ее рта. Идола осаждают со всех сторон толпы неистовых поклонников. Они высоко подымают свои приношения — куски сырого мяса и стараются перекричать друг друга, прося покровительства у жестокой богини. Куски мяса, священная вода Ганга, привезенная из Бенареса, смешанная с молоком, бросаются в отверстие около идола, все это выливается сзади капища в канавку, из которой люди черпают рукой эту жидкость и благочестиво ее пьют. В толпе, наполняющей дворы и храмы, смешаны мужчины и женщины, богачи и нищие. Таков темный лик индуизма.

Совершенно противоположен ему дух буддизма, процветающий главным образом на Цейлоне. В окрестностях Бенареса, там, где по преданию начал проповедывать Будда, мы впервые посетили буддийские храмы. Они поразили нас своей разреженной и чистой атмосферой и странной пустотой. Индусские же храмы, имеют какое-то таинственное «присутствие».

Мысли об Индуизме.

В индуизме сочетаются и глубокие прозрения об истинной Божественной природе, и преклонение перед темными силами нас окружающими, и нагромождение жестоких и извращенных мифов, подобных игре больного воображения. Но он же обладает и трехтысячелетним опытом созерцания и самоуглубле-

ния. В своей сущности он кажется мне глубоко пессимистичным: подлинный лик Бога — недоступен людям, так же непонятна цель человеческой жизни. Все двигается по бесконечному повторяющемуся кругу воплощений, манящих и всегда обманывающих нас. Блажен тот, кто смог освободиться от иллюзий и выпасть из бытия в нирвану.

При первой встрече с индуизмом он дает впечатление открытости и терпимости. Индуисты обвиняют нас, христиан, в «варварской нетерпимости» и в желании обращать всех в свою религию. Но их терпимость поверхностна. Они готовы признавать Христа, как одно из многих воплощений божества, наряду с Буддой и легендарным Кришна. Для них весь материальный мир фантасмагоричен и эфемерен, потому они не могут принять историчности Боговоплощения. Для них не существует понятия греха и потому нет и прощения. В индуизме кроется большая и надменная гордость, они считают себя обладателями древней мудрости, в их глазах христиане до нее не доросли и наивны. Огромная сила индуизма — в его глубокой укорененности в социальном строе Индии, который исключает индивидуальное обращение.

Но не только в природе индуизма причина трудностей распространения христианства в Индии. Кроме старинной Церкви Траванкора, жившей обособленно и не занимавшейся миссионерством, христианство было принесено в Индию в его ущербленном, разделенном и соперничающем между собою виде, облеченном в формы и язык чуждый Индии. Вхождение в Церковь было почти равносильно отказу от своей национальности.

Таковы были наши наблюдения индуизма. Огромная трагическая страна с большой душой, с тонким пониманием красоты, ищет, казалось нам, и не находит Христа, но только в Нем она сможет обрести ту подлинную свободу, которую она в течение веков пыталась получить в нирване.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

М. Зернова

Мчались последние дни в нашей «черной красавице» Патанамтитта. Они становились все более перегруженными лихорадочной деятельностью. В колледже шли университетские экзамены со всеми сопряженными с ними волнениями,[1] а мы старались по возможности закрепить наши начинания в самом колледже и вне его.

Единение христианских колледжей.

В Траванкоре существует студенческое христианское объединение и студенты нашего колледжа были приглашены на их съезд. Мы отправились туда большой компанией, но с нами не было преподавателей. Наши провинциалы были в восторге, всю дорогу они оглушительно пели к удовольствию публики. На съезде у Николая Михайловича родилось желание создать постоянную связь между преподавателями всех христианских колледжей Траванкора. Между этими колледжами до сих пор существовало лишь соревнование. Посещая их, он говорил об этом с некоторыми преподавателями и нашел среди них сочувствие этой назревшей задаче. Было сомнение — пойдут ли на это католики. Зато мы нашли большую поддержку в принципале колледжа «Юнион» в Аллавей. Колледж этот был основан 30 лет тому назад братом нашего старца Мапелай — Чако. Это был человек, по всем отзывам, большой святости и особого дара дружбы и водительства душ. Колледж был задуман как ведомый сообща тремя Церквами:

[1] Экзаменационные вопросы присылаются университетской администрацией. В нашем колледже главным ответственным лицом был назначен Н. М., что было выражением большого доверия. Оно было удивительно на фоне общего недоверия, количества подкупов и жульничанья. Для борьбы с ними вырабатывается особая система, в которой не только имена экзаменующихся заменяются номерами, а эти номера переходят еще в другие, чтобы экзаменаторы не могли знать, чью работу они читают, но имена все таки как-то узнают.

нашей «сирийской», Мар Тома и англиканской, с высоким академическим уровнем занятий и небольшим числом студентов, обязательно живущих в колледже. К сожалению дальше переговоров Колино начинание не пошло и у нас нет сведений, нашло ли оно свое осуществление без нашего «поощрения».

Лекции по религиозным предметам.

Другой большой заботой Николая Михайловича было введение в университетское образование лекций для студентов всех вероисповеданий по изучению своей религии. Таких не было ни в колледжах принадлежащих хинду, ни в христианских. В Индии, при внешней терпимости, между религиями — непроходимая пропасть. Христиане же всегда особенно отгораживались от мощной религии большинства, покровительствуемой теперь и правительством. Они боятся касаться как индуистической, так и магометанской философии. Однако стали появляться новые течения, и мы встречали индусов христиан, имеющих творческий философский ум, изучающих вековые истоки индуистической культуры и религии и дерзающих признавать в них высокие и подлинные, не противоречащие христианству, элементы. Этот процесс неразрывно связан с другим, растущим среди христиан в Индии. Это — желание приблизить формы христианского благочестия и богослужения к индусскому национальному характеру и всей стихии, культуре и природе Индии. Он особенно остро стоит не столько для малабарской Церкви, сохранившей издревле свои индусские обычаи, как для вероисповеданий, принесенных католиками, англиканами и протестантами.

В связи с этими задачами и в духе экуменических прозрений нашего века Николай Михайлович стал подготовлять почву для введения в университетское преподавание всей Индии изучения религий. Он делал это и снизу и сверху. Будучи в Дели он добился свидания с Вице-Президентом Республики Индии Радакришна, которого знал еще в Оксфорде, когда тот занимал там кафедру по восточным религиям. Радакришна отнесся к этим идеям с большим сочувствием. Говорил Н. М. и с принципалами колледжей и с их преподавателями во время наших многочисленных путешествий по Индии. Многих пугала эта идея, особенно в христианской среде. В нашем колледже ему удалось ввести, для начала, уроки по христианской морали и философии. К сожалению, они были назначаемы до начала классов и потому студентам было не легко их посещать, но те, которые на них приходили, загорались новым интересом к своей Церкви.

Насущная необходимость изучения своей веры, особенно для христиан малабарской Церкви, была подтверждена нам

встречами с студентами из Траванкора в английских и американских богословских семинариях в разных частях Индии. Лекции Н. М. о Православии всегда встречали восторженную оценку среди них. Их верность древней традиции своей Церкви глубока, но почти всегда основана на смутных неоформленных знаниях. Определения Н. М. православного учения о таинствах, соборности, о природе Церкви являлись для них драгоценными откровениями. Они изумлялись, как это он хорошо объясняет «их веру».

Конечно, для того, чтобы привести это нелегкое начинание к его полному осуществлению, надо было бы нам оставаться в Индии очень долго...

Богословские совещания.

Была еще задача, наиболее близкая нашему сердцу — это воссоединение Малабарской Церкви с Православной. Жажда этого соединения горела в сердцах лучших представителей их Церкви. О ней молился Отец Андроник на своей горе. Для нее приехал в Индию Отец Лазарь.

Николай Михайлович предпринял организацию совещаний всех епископов Церкви, пригласившей нас, для выяснения богословских позиций и возможных условий воссоединения. Было не легко осуществить эти съезды. Их было четыре. В результате совещаний был выработан документ, над ним шла лихорадочная работа вплоть до самого нашего отъезда. Это был очень важный шаг для церковного сознания и начало длинного пути. Теперь эти переговоры вступили в русло официальных всецерковных совещаний. Они ведут, с Божией помощью, к желанному обеими сторонами единству между Византийской Православной и Восточными Церквами: Малабарской, Армянской, Коптской и Абиссинской.

Препятствие к воссоединению, которое до сих пор казалось непреодолимым, было «монофизитство» этих церквей. Православный Восток разделился в пятом веке на две враждующие партии: диофизитов и монофизитов.[2] Этот раскол был вызван различием в определении догмата Боговоплощения, а именно взаимоотношении божественной и человеческой природы Богочеловека. На этих совещаниях стало выясняться, что нет разницы в основной вере обоих Церквей; и та и другая исповедуют Спасителя, Истинного Бога и подлинного человека, а отличие сводится к различным формулировкам «природы» и «сущности» Господа нашего Иисуса Христа. Играют немалую роль разные языки, и мироощу-

---

[2] Этот раскол был величайшим поражением христиан, сделавшим возможным завоевание исламом Палестины, Сирии, Месопотамии и Египта.

щение их создающее, с их оттенками в *понимании* тайны Святой Троицы.

Зато со всей остротой встали другие препятствия к соединению. Восточные христиане признают только три Вселенские Собора, а четвертый, Халкедонский Собор является для них отступническим от истинной веры. «Халкедонец» в их общеупотребительной терминологии — это еретический латинский христианин. Ожесточенные споры вокруг Халкедонского Собора чудесным образом все же не разрушили их укорененности в Православии. При наличии стремления к единству, при подлинном ощущении общности веры, казалось, что не следует настаивать на предварительном признании этого Собора, ставшего камнем преткновения для всего не эллинистического Востока. Может быть оно придет постепенно по мере роста понимания и доверия друг ко другу. К этому заключению мы пришли в результате наших бесед с епископами и богословами индусской православной Церкви.

Другим препятствием является то, что Византийская Православная Церковь анафематствовала тех отцов Церкви, которых чтут Восточные христиане, а они считают еретиками некоторых наших богословов, почитаемых святыми. Общее стремление современного христианского мира предать забвению всякие анафематствования может помочь преодолению этого препятствия.

На епископских совещаниях, собранных Н. М., становилось ясно, как православные в Индии нуждаются в общении с нами. Мы можем помочь им выйти за пределы своей народности и осознать себя членами Вселенской Церкви. Но и они могут обогатить нас и расширить наш горизонт. Мы привыкли отождествлять Православие не только с его византийским обрядом, но подчас местные особенности мы рассматриваем как неотъемлемую принадлежность истинной Церкви. Встречая индусских православных, построивших свою церковную жизнь в иных культурных и климатических условиях, мы можем воочию убеждаться, как разнообразно и богато Православие и как его обряды становятся созвучными с искусством и образом жизни его членов, принадлежащих к самым различным народам земли.

Отъезд.

Настало время нашего отъезда. На прощальном общем собрании всего колледжа была открыта библиотека, созданная на пожертвования Н. Сполдинга, благотворителя Оксфордского Университета. Она была с полками для книг, столами для чтения и портретами основателей колледжа. Учащались прощания и группами и личные. Сам отъезд наш из Патанамтитта совершился как-то не торжественно. Кол-

ледж был закрыт. Таксист опоздал на два часа, нас провожала жалкая группа: отец Жорж из соседнего дома Св. Василия, высокий, худой, с полотенцем на голове, моя помощница по дому Рахил, вся в слезах, Джекоб, мой «частный» ученик, бедняк и умница, с его большими серьезными глазами.[3] и «кули», тут же оторвавший ручку моего чемодана. Наш милый дом, недостроенный колледж, высокий холм исчезли вдруг и навсегда. Скоро, думали мы, вся наша жизнь в Индии будет казаться нам сном, так она была необычайна.

Прощальное собрание у Католикоса.

Но нам предстояло еще прощальное приглашение в Коттаяме. У Католикоса собралось пять епископов и все наши дорогие друзья. Католикос благословил нас в путь. Епископ Дионисий произнес длинную речь, в которой он говорил о трагичном положении их общины, о множестве попыток соединения с Православной Церковью и благодарил Колю за все, что он сделал для их Церкви, а главное за то, что он добился формулировки их догматических позиций. Они будут молить Бога, сказал он, о продолжении этого дела.

После него выступил Джон Филипос. Кратко, блестяще и горячо он говорил о Колином «пламенном православии, соединенном с терпимостью и любовью к другим вероисповеданиям», о «его русской восточности, свободной от западных комплексов» и благодарил нас обоих за наш «энтузиазм и все труды в колледже», где мы «были для студентов и вождями, и примером, и отцом и матерью». Нигде за всю нашу жизнь нас так не ценили и не восхваляли, как в Траванкоре!

---

[3] Джекоб пришел ко мне раз на балкон и просил помочь ему в изучении английского языка. Он был слишком беден, чтобы поступить в колледж, но его английский был лучше многих студентов. Я учила его, как могла и впоследствии помогла ему приехать в Англию.

АМЕРИКА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРОФЕССОРСТВО В АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Н. Зернов

Вернувшись из Индии, я едва успел войти в обычную работу в Оксфорде, как передо мною открылась возможность встречи с Америкой. На этот раз, как и в случае с Индией, все началось с личного знакомства. На одном из съездов Содружества я разговорился с Джемс Бойдом (ум. 1971), методистским пастором и профессором богословия. Мы нашли много общих интересов и по его рекомендации университет Дрю пригласил меня на весенний и осенний семестры 1956 года. Летом тот же университет обещал устроить для меня преподавание в различных богословских семинариях, что давало мне возможность познакомиться с другими частями Соединенных Штатов.

Милица предполагала присоединиться ко мне в сентябре на последние 4 месяца. Ее госпиталь больше этого срока отпуска ей не давал. К Рождеству мы намеревались вернуться в Англию.

Я был окрылен желанием увидать новый для меня мир крайнего запада и сравнить его с недавно покинутым востоком. Преподавать я должен был экуменическое богословие, новый для всех, в том числе и для меня, предмет. В центре моих лекций находились взаимоотношения восточных и западных христиан.

Въезд в Америку в 1956 году был сопряжен с рядом препятствий. Для получения визы, я должен был подписать заверение, что я никогда не состоял членом коммунистической партии, у меня были взяты отпечатки пальцев и был произведен придирчивый медицинский осмотр. Ехал я на огромном пароходе «Квин Елизабет». Пять дней пути пролетели скоро, приятно было быстро шагать по длинной верхней палубе и

вдыхать соленый, живительный воздух, глядя на суровый океан, с белыми гребнями больших волн.

Все пришли в возбуждение, когда на горизонте показался плоский берег Америки. Стаи чаек с пронзительными криками окружили пароход. Стали вырисовываться фантастические контуры города. Наш плавучий дворец медленно вошел в мощную реку, полную разнообразных судов. Быстрые паромы перевозили с одного берега на другой пассажиров, всевозможные грузы и целые поездные составы. С правой стороны поднимались величественные небоскребы, а на левой, наоборот, тянулись низкие и малопривлекательные здания каких-то складов и фабрик. Уже подъезжая к Нью-Йорку можно было почувствовать, что это город больших контрастов.

Сойдя на берег, я был обрадован, увидав два знакомых, улыбающихся мне лица Джемса Бойда и Руфи Корпер, писательницы, познакомившейся со мною на моих лекциях в Оксфорде. Эта теплая встреча была началом моих дружб с американцами, которые проявили ко мне много гостеприимства.

Первое и неожиданное впечатление от Нью-Йорка было его черное население. Мне показалось сперва, что я попал в Африку. В бедных кварталах города белые лица были исключением. Удивила меня также неубранность тротуаров, покрытых бумагами, бутылками и всяческими отбросами. Зато главные улицы украшены элегантными магазинами, с огромными витринами, где выставлены предметы роскоши, собранные со всех концов мира. Для меня Нью-Йорк — город большого вдохновенья. Его небоскребы, вздымающиеся на головокружительную высоту, как бы побеждают законы весомости. Он ярко выражает современную цивилизацию, стремящуюся проникнуть в тайны космоса и вместе с тем страдающей от непреодоленных конфликтов, порожденных греховной природой человека.

Дрю находится в 25 милях от Нью-Йорка и мне приходилось часто бывать в городе. Каждый раз я восхищался своеобразной красотой небоскребов, в особенности, когда в них начинали по вечерам загораться огни. Дрю, как и многие другие университеты, расположен в дубовом парке и образует отдельный городок. Здания для лекций, столовая, помещение для студенческих клубов, библиотека, общежития и спортивная арена разбросаны среди деревьев. Мне отвели комнату в одном из общежитий, столовался я вместе со студентами и быстро вошел в жизнь университета. Профессора радушно приняли меня, со студентами у меня установились дружеские отношения, они с интересом участвовали в моих семинарах и охотно посещали мои лекции.

Дрю дал мне первый опыт преподавания в Соединенных Штатах. Я посетил их еще три раза. В 1963 году я был снова

приглашен в Дрю, в 1965-ом я был профессором в Айове, а в 1967-мом в Дьюке в штате Северной Каролины. За эти четыре раза я исколесил страну вдоль и поперек, из 49ти штатов, я побывал в 33х. Кроме того я два раза читал лекции в Канаде и мы с женой провели пять дней в Мексике. Кроме университетов мне удалось познакомиться с церковной жизнью Америки как православной, так и инославной. Меня неоднократно приглашали проповедовать в церквах и говорить на разных религиозных собраниях. Таким образом мое знакомство с Америкой было широко, но односторонне — я видел многое, но мой опыт был ограничен.

Свои впечатления о стране я хочу подразделить на три части: академическая и церковная Америка, земля, люди и города.

Академическая и Церковная Америка.

Вся Америка покрыта высшими учебными заведениями. В некоторых штатах, как в штате Нью-Иорк, их более 80-ти, в других их гораздо меньше. В штате Невада имеется всего один университет. Я преподавал в пяти университетах и семинариях и читал лекции в более тридцати других высших школах. Мне нравится свободная атмосфера, царящая на лекциях. Студенты легко задают вопросы, иногда даже перебивают лектора, прося разъяснить непонятый вопрос. Приходилось мне читать перед аудиторией, которая не теряла времени на завтрак и тут же закусывала бутербродами, запивая их кока-кола.

Мои студенты разделялись на две категории: одна из них была молодежь, готовящаяся на степень бакалавра и изучавшая поэтому самые разнообразные предметы, включая историю восточного христианства и экуменического движения. Другая — более зрелые люди, работавшие на степень магистра или доктора философии. Последние были обычно богословы, готовившиеся стать священниками или пасторами.

Мне представляется, что американские студенты по темпераменту моложе английских. Они легко загораются интересом к новым предметам, закидывают лектора вопросами, но редко проявляют постоянство. Углублению знаний препятствует большое количество лекций по ничем не связанным темам, которые студенты могут выбирать по желанию. Они ведут нервный и напряженный образ жизни. Внешне они лучше обеспечены, чем европейцы, многие из них имеют автомобили, живут они в благоустроенных общежитиях, но это означает, что они должны подрабатывать. Им часто не хватает времени на учение. Библиотеки открыты до 2 часов ночи. Многие из них женаты и имеют детей. Для таких вопрос о заработке стоит еще острее. Некоторые из них предпочитают лучше

оплачиваемый ночной труд, что, конечно, неблагоприятно отражается на их академических успехах.

Я встретил большое различие в степени культурных горизонтов среди профессоров. Одни были провинциалы, другие, наоборот, много путешествовали, были хорошо знакомы с Европой, Южной Америкой и Японией. Одной из особенностей университетской жизни в Америке, является соревнование среди преподавателей. Университеты стараются переманить лучших профессоров, предлагая им высшие оклады. От молодых лекторов требуются печатные труды, как доказательства их знаний. Количество часто преобладает над качеством.

Это особенно бросается в глаза в университетах, принадлежащих отдельным Штатам. Преподаватели в них должны обучать огромные массы студентов, так как по закону все, окончившие средние учебные заведения, имеют право на высшее образование. В некоторых из этих университетов число учащихся достигает 20-30 тысяч, и потому уровень успеваемости невысок. Гораздо серьезнее поставлено преподавание в частных университетах. Большинство их было основано церквами, но теперь они находятся в ведении специальных трестов.

В Америке человек легко теряется в толпе, молодежь борется с этим. Она устраивает замкнутые общежития, куда студенты допускаются только после строгого испытания. Эти братства и сестричества носят названия греческих букв и их члены чувствуют себя избранным меньшинством. При университетах существуют многочисленные клубы и общества. Особенно популярны коллективные банкеты. Приготовление блюд заранее распределяется между женами участников торжества.

Тщательно продуманная и хорошо организованная структура характерна не только для академической, но и для церковной жизни в Соединенных Штатах. Церковные здания служат местом как для богослужений, так и для всевозможных собраний. Вокруг церкви объединяются любители пения и литературы, богословия и драматического искусства, дети, молодежь, лица среднего и пожилого возраста, женатые и холостые. При церквах имеются прекрасно оборудованные кухни и столовые и часто устраиваются общие трапезы. Церкви играют большую положительную роль в общественной жизни страны. Хотя протестанты разбиты на множество сект, разница между ними не очень велика. Американцы легко меняют свои конфессии. При их частых переездах пресвитерьянец становится конгрегационистом, а методист — лютеранином, если его новый дом оказывается поблизости церкви другого вероисповедания.

Православные в Америке тоже не имеют единства. Они разделены на ряд юрисдикций, отражающих их национальное происхождение или политические установки. В мои посе-

щения Америки их было 18. Особенно многочисленны соперничествующие партии среди русских и украинцев. Главная масса их попала в Новый Свет в начале XX века. Это были преимущественно представители беднейших слоев крестьянства из Карпатской Руси, Галиции и Волыни, часть их были униаты. Без языка и организации они были принуждены сначала заниматься самым тяжелым и плохо оплачиваемым трудом. Но благодаря своей работоспособности и упорству они стали пробиваться вверх и их второе и третье поколение живет в полном достатке. Многие из униатов, переехав в Америку вернулись в православную Церковь.

Кроме этой «старой» эмиграции имеется в Соединенных Штатах и «новая», попавшая туда из Европы и Китая после Второй Мировой Войны. Большая часть ее состоит из беженцев, раньше живших на Балканах и в Харбине и покинувших их при приближении Красной армии. Есть среди них также много лиц, вывезенных на работу в Германию и не захотевших возвращаться в Советский Союз. Главная масса русских церковно объединена «Митрополией», основанной до революции, но многие «новые беженцы» не вошли в нее, а группируются вокруг «Зарубежной Церкви»,считающей себя единственной представительницей русского Православия.

Я посещал службы как Митрополии, так и Зарубежной Церкви, бывал и в немногочисленных приходах, подчиняющихся экзарху, присланному из Москвы. В церквах Митрополии я встретил новую для меня среду. Потомки выходцев из окраин России и из провинций бывшей Австро-Венгрии не причастны русской культуре. Наша классическая литература не знакома им. Если они еще знают материнский язык, то им является местный диалект, отличный от русского языка, но несмотря на это они считают себя русскими и крепко укоренены в своей национальной и церковной стихии. Часто они предпочитают церковно-славянский язык английскому в богослужениях, хотя он им непонятен. В приходах, перешедших из униатства, сохранились свои обычаи, у них имеются скамейки в церквах, молящиеся становятся все вместе на колени. В синодальных храмах я встретил более привычное благочестие, но мне было тяжело то огульное осуждение духовенства в России, которое преобладает в их приходах.

Церковно, старая и новая эмиграция нужны друг другу. Там, где удавалось наладить их сотрудничество, начиналось процветание Православия. Таким центром стала Владимирская Семинария, возглавляемая даровитыми воспитанниками парижского Сергиевского Подворья — С. С. Верховским, о. Александром Шмеманом, о. Иоанном Мейендорфом. Они внесли в жизнь Митрополии творческую струю богословской мысли и приобщили Православие в Америке к тому церковному возрождению, которое расцвело в эмиграции. Семинария дает

Митрополии богословски образованных священников, чего нельзя было сказать о предыдущем поколении русского духовенства в Америке.

Владимирская Семинария подготовила почву для получения Митрополией автокефалии от Московской Патриархии в 1970 году. Этот первый шаг к образованию единой православной американской Церкви вызвал протесты со стороны других юрисдикций, желающих продолжить свою национальную обособленность и самостоятельность, но, наверное, процесс объединения, раз начавшись, будет продолжаться.

Перед Православием в Америке стоят сложные и срочные задачи: 1) Создание общеамериканской Церкви из албанской, болгарской, греческой, македонской, сербской, сирийской, румынской, русской и украинской. 2) Согласование западного темпа жизни с восточным типом богослужения. 3) Организация церковной жизни пользующейся полной политической свободой, без вмешательства светской власти во внутреннюю жизнь приходов. 4) Сохранение связи с Церквами старого света без канонической зависимости от них. 5) Установление дружеских отношений с инославными Церквами Америки, основанных на сознании вселенской миссии Православия.

Все эти задачи находятся в первоначальной степени своего осуществления. Православные не только разъединены национально, но они заражены подозрениями и враждой, от которых особенно страдают недавние жертвы коммунистического произвола. Нередко случается, что наиболее непримиримые противники красного тоталитаризма сильнее всего захвачены его духом клеветы и нетерпимости ко всем инакомыслящим. Парадоксальность Православия в Америке состоит в том, что его представители чувствуют свое превосходство над западными христианами и одновременно сознают, что последние и более образованы и лучше организованы чем они. Поэтому православные не способны помочь Западу и не готовы учиться у него. Живя в Америке, я неоднократно видел, какую плодотворную работу наше Содружество проделало в Англии, научив восточных и западных христиан доверять и уважать друг друга, зная как различны их дары и как многое они могут с пользой для себя заимствовать от другой стороны.

Моя встреча с православной Церковью в Америке убедила меня, что, несмотря на все ее неустройство и раздробленность, ей предстоит большое будущее не только в Соединенных Штатах, где она призвана занять руководящее место среди других конфессий, но и среди других сестер православных Церквей в Европе и Азии. Ей предоставлена редкая возможность строить свою жизнь в атмосфере свободы, не стесненной бдительной и часто враждебной опекой государства.

Земля.

Земля в Америке не похожа на землю в Европе. Особенно силен контраст между зеленым островом Англии и огромными пространствами американского материка. В Европе природа — друг и сотрудник человека, она не угрожает людям. В летний солнечный день можно спокойно и безмятежно лечь и заснуть на мягкой траве. В Америке человек часто безжалостен к природе, он насилует ее для своих корыстных целей. Нигде он не уничтожил столько видов животных и птиц, как в Америке, многотысячные стада буйволов были истреблены белыми только для того, чтобы лишить индейцев их главного источника питания. Огромные леса были вырублены, равнины оголены, плодородная почва была обращена в тучи пыли. В Америке я видел леса, гибнущие от поломанных деревьев, на которые никто не обращал внимания, поля, заваленные ржавеющими остатками автомобилей, реки с отравленной водой. Но в той же Америке природа сопротивляется человеку. Ядовитые растения, насекомые и змеи подстерегают его, враждебная стихия наносит людям ответные удары. В пустыне в Небраске, мои спутники были охвачены страхом, когда на горизонте показалась черная туча торнадо, похожая цветом на дым горящей нефти. Торнадо может снести дом, бросить в воздух автомобиль с его ездоками, вырвать с корнем любое дерево. Солнце сжигает посевы, вихри сдувают чернозем, паразиты стихийно уничтожают растительность.

В старой Европе человек сжился с матерью-землею, он с любовью обрабатывает виноградники и поля. Всюду видны следы его древней культуры, холмы и горы, реки и озера связаны с историческими событиями, обвеяны легендами и преданиями старины. В Америке человек не успел еще наложить свою печать на огромные пространства нового материка. Во многих частях его природа остается дикой, неподвластной людям. Но если она может быть его врагом, то зато она способна и восхищать его своей красотою, мощной, поражающей. Мало что может сравниться в мире с фантастикой красок и очертаний каньонов Аризоны. Они кажутся принадлежащими не нашей планете. Такое же чудо природы представляет из себя Еллоустон Парк, с его гейзерами, скалами и потоками кипящей воды, или тысячелетние деревья Калифорнии — гиганты секвойя.

Переплыв океан, европеец попал в иной мир, который глубоко повлиял на его характер. Нельзя забывать, что современный американец живет на только отчасти покоренной земле.

Люди и Города.

Природа в Америке полна контрастов, они же встречаются и в жизни и характере американцев. Они доброжелательны и

агрессивны, сентиментальны и практичны, легко возбудимы и в то же время упорны в достижениях своих целей. В их культуре сочетаются два начала — христианство с его заповедью о любви к ближнему и дух пионера-завоевателя, окруженного опасностями, готового напасть и уничтожить каждого соперника, стоящего на его пути. Благодаря этим противоречиям, политическая и социальная жизнь Америки полна частыми неожиданностями. Гостеприимство американцев, их готовность открыть двери своей страны и своих домов перед иностранцем, кажутся несовместимыми с их предрассудками и расовой нетерпимостью. Лично я испытал только то лучшее, что американцы могут дать пришельцам со стороны; то, что есть у них отрицательного не коснулось меня. В Америке я к моему удивлению не чувствовал себя иноземцем. Никто не спрашивал меня о моем происхождении, никто не удивлялся моему акценту. С тех пор как я покинул Россию я всегда и всюду ощущал себя отрезанным от местного населения: таким я был в Сербии, в стране близкой мне по вере и языку, таким я жил в Париже, переполненном иностранцами, таким я остался в дорогой мне Англии, принявшей меня своим полноправным гражданином и давшей мне место в своей академической среде.

Но та же Америка, которая охотно принимает людей со всех сторон света, воздвигает между ними такие перегородки, которые кажутся постороннему взгляду и трагическими, и в то же время смешными.

Так, например, в первый мой приезд я был заинтригован надписью в автобусе в одном из пригородов Нью-Иорка, которая объявляла, что пассажиры могут занимать места без различия расы, национальности и религии. Значение этого странного объявления я понял позже, когда я попал на юг, в Новый Орлеан. Там в трамваях белые занимали передние места, а негры сидели на задних. В том же городе я видел скамейки на улицах с надписью «только для белых». Кассы на вокзале имели два оконца, одно для белых, другое для черных. Поезд, шедший на юг из Нью-Иорка, вначале не имел «сегрегации», но после какого-то моста она начиналась, и все пассажиры должны были рассаживаться заново — негры отдельно, белые отдельно. Однажды я хотел позавтракать с профессором-негром в одном из южных штатов. Это оказалось нелегким делом, в одни рестораны не пускали его, в другие меня. Наконец, мы проникли с заднего хода в какую-то столовую, где нам дали поесть за загородкой, вдали от нескромных взглядов.

Конечно, легко критиковать и возмущаться этими уродливыми пережитками рабства, этого тяжкого греха христианской Америки. Ей приходится теперь дорого платить за него. Но надо принять во внимание огромные трудности борьбы с этим злом. В южных штатах часть черного населения находится на низком уровне образования. Переселяясь на север, в большие

города, она оказывается неприспособленной к современной технической цивилизации. В одном Чикаго при мне было более 50,000 неграмотных негров. Многие живут на государственном иждевении, производя большое число детей и получая дополнительное пособие за каждого ребенка. В некоторых семьях два или три поколения были безработными и их члены потеряли трудовые навыки.

В последние годы большая и успешная работа была проведена для уравнения населения. В академических кругах обычно существует плодотворное сотрудничество между белыми и черными. Церковные круги Америки особенно остро сознают свою ответственность за прошлое и делают все, что в их силах, для исправления прежних ошибок и упущений.

Тут я хочу прибавить несколько слов о городах. Большинство из них похожи друг на друга. Те же прямые улицы, те же магазины и банки, привычная архитектура зданий. Многие из домов кажутся безличными, так как их обитатели покупают или снимают их на краткий срок, постоянно меняя место своего жительства. Но в то же время во многих местах палисадники не имеют заборов, что подчеркивает открытость американской жизни, легкость, с которой они вступают в отношения друг с другом.

Среди этих однообразных городов и местечек выделяются, однако, некоторые своею яркой индивидуальностью: Бостон с его устоявшейся культурой, Новый Орлеан, помнящий все еще о своем французском происхождении, Чикаго, выросший на берегу озера, широкого, как море, Сан-Франциско с крутыми улицами и незабываемым заливом и, наконец, Вашингтон с широкими проспектами, увенчанными величественным Капитолем. Нью-Йорк стоит особняком, это особый, своеобразный мир, отличный от остальной страны.

Подводя итоги моих впечатлений о ставшей мне близкой Америке, я хочу упомянуть еще три мои наблюдения, касающиеся отношения к деньгам, к любви к переменам и к влиянию негров на остальное население.

Америка часто зовется страной доллара, мне же представляется, что американцы менее привязаны к деньгам, чем многие европейцы. Доллары нужны американцам, чтобы их тратить, а не копить. Чем дороже автомобиль, тем выше социальный престиж американца. Большинство живет в долг, банки охотно дают в кредит. Они зазывают к себе клиентов, предлагая деньги для каникул, для переезда в новый город, или для покупки лучшей обстановки. Среди тысяч автомобилей мчащихся по дорогам Америки, редко какой вполне принадлежит лицу, сидящему за рулем. Почти все они куплены в долг и будут обменены на новый до срока выплаты за первый. Американец не боится жить в кредит, так как он чувствует себя не слугой, а хозяином денег.

Американцы не любят сидеть долго на том же месте. В среднем они переезжают каждые два, три года в новые дома. Так же легко они меняют и работу и даже профессию. Большинство профессоров, встреченных мною, преподавали во многих университетах. Те кто оставался на своей кафедре, мог казаться неуспевающим лицом, которому не было сделано более заманчивого предложения от другого учебного заведения. Американцы работают быстро, но небрежно. Почта действует с перебоями, многие не доверяют ей и предпочитают пользоваться телефонами. Я часто летал в Америке, несколько раз мой багаж не попадал на мой самолет и присылался мне позже. Американец живет в настоящем, мало интересуется прошлым, легко знакомится, но так же быстро забывает друзей, переезжая на новое место. Американцы не пускают корней, это и сила их и слабость.

Американцы представляют из себя крайнюю западную ветвь европейской культуры, с ее индивидуализмом, предприимчивостью, нервной напряженностью. Но одновременно Америка — страна пустынь, широких просторов, где время стоит, где продолжает существовать ее первоначальное население — индейцы, с их медленным тугим ритмом и с их неподвижными, не выражающими чувств лицами.

Все же главную особенность современной Америки составляет встреча на ее земле Европы и Африки. Как белые, так и черные — пришельцы на этом, когда-то мало населенном континенте. Хотя белая раса занимает главенствующее положение, влияние черных глубоко проникло во все слои американской жизни. Музыка, танцы, легкая возбудимость населения, его эмоциональность — все это говорит об африканских истоках американской культуры. Даже физически многие белые американцы приобрели черты лица и овалы головы, напоминающие негров. Наша эпоха сблизила все народы. Соединенные штаты стали причудливым сочетанием двух наиболее противоположных ветвей человечества — белой и черной — и это еще раз подчеркивает переплетенность их судьбы.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА

Н. и М. Зерновы

Кругосветный полет.

Н. Зернов

В годы юности, однажды, в Москве в кругу друзей мы мечтали о дальних странствованиях. Каждый выбирал страну, привлекавшую его; для одних это была Италия или Греция, для других — Франция или Испания. Мой выбор пал на Полинезию. Я прочел книгу о коралловых островах, о зеленых водах лагун, о стройных кокосовых пальмах и золотом песке пляжей. Мне казалось, что не было части света прекраснее Тихо-Океанских островов.

Прошли года, революция, изгнание, нищета беженского существования делали поездку в Полинезию несбыточной мечтой. Но юношеское желание не умирало. Наступил день, когда неожиданно я встретил Полинезию, но уже другим человеком, чем я был в Москве. Кроме красот природы, новые интересы привлекали меня к этим отдаленным островам.

Краткое и поневоле повторяющееся описание мест, которые нам удалось посетить с женою, вряд ли может передать силу незабываемых впечатлений, испытанных нами, еще меньше оно способно выразить тот духовный опыт встречи с христианскими общинами в различных странах, который был нам дан. Он помог найти мне ответ на вопрос, вставший передо мною во время сотрудничества с Церковью Южной Индии, а именно — до какой степени христианство связано с миром средиземноморья, в котором оно родилось. Могут ли люди, живущие в совершенно иных географических и климатических условиях, найти свое собственное место в Церкви, или же они обречены подражать формам вероучения и богослужения. выработанным в Европе, Египте и Малой Азии.

Мое знакомство с Малабарскими христианами дало много ценного материала, но я не получил окончательного ответа. Я надеялся, что церковные общины Тихого Океана, еще более отрезанные от колыбели христианства, помогут мне найти его. С этой целью я приступил к подготовке нашей поездки.

Обстоятельства благоприятствовали нам. В 1965 году я был приглашен занять кафедру богословия в университете в Айова. По окончании курса лекций, я должен был участвовать в ряде конференций в Калифорнии. Вместо того, чтобы возвращаться тем же путем, мы решили лететь дальше на запад и вернуться в Англию с восточной стороны. Среди членов Содружества имелись миссионеры, работавшие в Полинезии, Меланезии и на Филиппинских островах. Я вступил в переписку с ними и получил отовсюду приглашения остановиться у них и рассказать их пастве о Православной Церкви.

Сначала я имел только смутное представление об островах, куда мы намеревались ехать. Они обычно отмечаются маленькими точками на картах, и о них нелегко получить информацию. Но постепенно они начали принимать более отчетливые контуры в моем воображении. Число моих корреспондентов тоже росло и я смог составить точный маршрут нашего путешествия. Он потребовал много усилий. Кругосветный авиационный билет продается со скидкой, но для этого необходимо заранее указать все места, где намереваешься приземлиться. Большинство островов обслуживалось местными линиями, в Лондоне плохо знали их расписания, часто полеты совершались лишь раз или два в неделю. Кроме того, надо было получить разрешения на остановку на некоторых островах, которые выдавались англичанами или американцами, а иногда австралийцами. Перед самым Рождеством 1964 года наш кругосветный билет был готов. Он выглядел, как небольшая книжечка, в нем было более 30 купонов. Города, написанные на них, звучали самым романтическим образом: Хонолулу, Паго-Паго, Апия, Сува, Сиота, Хониара, Рабал, Лея, Манилья, Гонконг, Бангкок. Воображение старалось представить себе, что скрывалось за этими загадочными именами, какие чудеса природы мы там увидим, каких людей встретим, чему мы там научимся? Мы с волнением ждали встречи с незнакомым для нас миром.

28 мая мы покинули тихую, провинциальную Айову, 26 сентября мы спустились в Лондоне. В течение этих четырех месяцев мы облетели полсвета и только один раз остановились в отеле, а не в домах пригласивших нас друзей. Их гостеприимство дало нам возможность близко соприкоснуться с миссионерской работой и познакомиться с местными жителями. Несмотря на все волнения опасности и горе, пережитое нами при известии о смерти моей сестры в Лондоне, несмотря на поранение моей ноги, потребовавшее двух операций, — это

было благословенное путешествие, насыщенное событиями, яркими впечатлениями и незабываемыми встречами.

Хонолулу (11-19 июня).

М. Зернова

Последним этапом в Америке был огромный, жестокий и эффектный Лос-Анжелос. Пятичасовой перелет над Великим Океаном в огромном американском самолете приятен. Каждый выбирает программу музыки, легкой или серьезной. Бетховен звучит по-новому в синей шири неба и моря. Начинается спуск к столице Гавайских островов.

На аэродроме нас охватывает влажная, ветреная, шумная и веселая атмосфера. Она не покидает нас в течение восьми дней нашего пребывания на этом прекрасном архипелаге. Девушки с смуглыми лицами и пышными волосами надевают на всех приезжающих гирлянды пряно пахнущих, незнакомых нам цветов. У них длинные и гибкие тела и узкие платья до полу. Эти «муму» ввели в употребление первые миссионеры. Они были шокированы короткими юбками из травы, единственным в то время украшением прекрасных островитянок. Теперь эти пуританские одеяния являются отличительной чертой гавайских женщин и придают красочной толпе на улицах особую прелесть. Мы стояли очарованные всем виденным.

Время шло, нас никто не встречал. Мы уже стали беспокоиться, как вдруг сперва Коля, а потом я очутились в объятьях коренастого человека в черном костюме пастора, с бронзовым широким лицом, озаренным радостной улыбкой. Это был Авраам Акака, пригласивший нас остановиться у него. Одев на нас новые гирлянды, он подвел к нам свою жену, привлекательную американку, одетую по-гавайски. По дороге в дом, Акака сказал нам, что мой муж сыграл решающую роль в его жизни и что поэтому он с нетерпением ждал нашего приезда. Это сообщение было для Коли полной неожиданностью. Оказалось, что в 1939 году, накануне войны, Акака участвовал во Всемирной Конференции Христианской Молодежи в Амстердаме. Николай был одним из организаторов и настоял на включении в ее программу православной литургии. Она произвела такое глубокое впечатление на молодого Акаку, что он решил стать пастором и теперь занимает место настоятеля главной церкви столицы.

Акаки со своими пятью детьми жили на окраине Хонолулу, в доме на крутом обрыве с видом на океан и на черные зубчатые, вулканические горы. Они приняли нас, как близких друзей. «Каху», по-гавайски пастор, был в центре семьи — медленный, молчаливый, но полный тепла, излучавший подлинную гавайскую стихию. Он познакомил нас с их благочестием, отличным от американского и более сродным с во-

сточным Православием, несмотря на протестантское содержание служб. Его жена была ему незаменимой помощницей в пастырской работе. Она всецело влилась в местную жизнь. В приходе ее звали «мама-каху». Все дети учились, одновременно работали и были пламенные патриоты Гаваи. В первый же вечер одна из дочерей, вернувшись с фабрики ананасных консервов, несмотря на усталость, согласилась протанцевать для нас танец «хула». Отец взял гитару, другие подпевали. «Хула» ритмический танец, тело качается, как лодка на волнах, а руки независимо от него поют свою песню. Мы попали в чудесный райский мир и почувствовали себя в созвучной среде. Трудно было поверить, что всего несколько часов тому назад мы ничего еще не знали о нем.

Следующий день ушел на осмотр города и острова. Он изумительно красив с его красной землей. Мне так бы хотелось эти краски перенести на иконы. Гаваи — своеобразный мир, смесь Америки с ее отелями, толпами туристов, мчащимися автомобилями, кричащими рекламами, и остатками гавайской культуры, никуда не спешащей, любящей цветы, песни и танцы. Вечером вся семья собралась на ужин, состоявший из вкусных гавайских блюд. Он кончился молитвой, «Каху» с большим огнем сказал о красоте православной литургии. Как иначе сложилась бы судьба этих людей, если бы они получили христианство с Востока! На одно короткое время русские когда-то появились на этих островах, нам показывали форт, построенный ими.

Наступило воскресенье. С раннего утра мы спустились в центр города, где была церковь Акаки. Вокруг нее все кипело жизнью. Сперва принимали новообращенных, потом было рукоположение диакона, затем служба во время которой Коля проповедовал. Гавайцы приходили на нее торжественно одетые в старинные костюмы. Была целая процессия старых дам общества сохранения гавайской культуры в длинных желтых платьях, с черными шляпами в перьях. Акака и Николай были одеты в черные мантии, их украсили гирляндами цветов. Все кончилось причастием. Диаконы и диакониссы, легко скользя по полу, плавными жестами разнесли сперва на блюдах нарезанный хлеб, а потом раздали маленькие стаканчики с вином, которые были осушены одновременно всеми молящимися, было их около тысячи человек. Все совершалось с особым ритмом. Богослужение было красочное, скорее напоминавшее Африку. Мощный хор увлекал всех за собой. В движениях гавайцев есть и массивность, и гибкость, и ритм.

Я сидела сзади большой их церкви, пастор приветствовал меня и все лица с сияющей улыбкой обратились ко мне. Многие подходили к нам после службы, хотели поговорить с Колей, его проповедь, несмотря на краткость, произвела впечатление. Но у нас не было много времени. Мы должны были лететь на

соседний остров Кауайя. Там начинался съезд пасторов со всех гавайских островов. Летели мы на авионе на три пассажира. Вокруг был безбрежный океан, нам навстречу быстро неслись облака. Казалось, что мы сами получили крылья — так мал был наш самолет.

Кауайя.

Кауайя считается самой драгоценной жемчужиной всего архипелага. Это настоящее чудо природы. Спустившись на остров, мы продолжали путь в переполненном членами конференции автобусе, долго подымаясь по извилистой дороге на вершину острова. Уже ночью мы добрались до ночлега. Нас обдал редкий, холодный воздух, столь контрастный по сравнению с густой атмосферой приморской полосы.

На следующее утро нашим глазам представилась яркая картина. Тропическое солнце обливало своими потоками густой лес. Обилие влаги и плодородная вулканическая почва способствуют бурному росту растительности. Деревья, кусты, цветы достигают колоссальных размеров. Только птиц, к сожалению, мало, их истребили еще во времена гавайских царьков, которые украшали себя плащами, сделанными из их ярких, разноцветных перьев. Теперь их можно видеть в музеях. Во время промежутков между заседаниями мы уходили на прогулки в джунгли, поражаясь количеству огромных цветов, которые в Европе видишь лишь в парниках.

Сам съезд оказался для нас очень интересным. Среди его участников были гавайцы, японцы, китайцы, филиппинцы и, конечно, северные американцы. Между ними и остальными «азиатами» проходила отчетливая граница. Они по-разному смотрели на вопросы, и часто не понимали друг друга. Наше приглашение было решено в последнюю минуту и вначале было мало заметно. Но после Колиной лекции о Православии ось съезда сразу переместилась из Америки в Россию. Вся атмосфера конференции изменилась, нас обоих стали закидывать вопросами. Несмотря на перегруженную программу, Колю просили прочесть второй доклад о положении Церкви в России. Многие нам говорили, что мы открыли перед ними новые горизонты, познакомили с той стороной христианства, о которой они ничего не знали, но которая их восточной духовности была более понятна, чем западный протестантизм. Иногда мы с полслова понимали друг друга.

Несколько раз нас возили смотреть знаменитые места острова. В первую поездку все было покрыто туманом, который, как чадра мусульманской красавицы, скрывал девственную красоту этих мест. Поехали во второй раз и — о чудо! — туман разорвался и ослепительное солнце заиграло в огромной радуге, перекинувшейся через розовую долину, спускав-

шуюся к морю, а мы стояли на краю отвесного обрыва острых, сине-черных скал. Мы никогда не видали ничего более изысканного и драматичного по контрасту и красоте красок. Другое место был каньон, длинной, извилистой долиной прорезывающий центр острова. Хотя он не так грандиозен, как сухой, пустынный и величественный «Гранд Каньон», но я нашла его прекраснее великана Аризоны, так как он покрыт изумрудной зеленью, пробивающейся между его пурпурными отрогами.

По окончании пасторского совещания, мы спустились к морю, где со всех островов собралось на их ежегодную конвенцию великое множество гавайских христиан, клириков и мирян. Тут мы по-настоящему увидали все разнообразие рас, населяющих архипелаг. Хотя сами гавайцы и составляют незначительное меньшинство (их осталось только 7 % общего населения), они были в центре конференции. Многие из них хотели отделиться от остальных и создать свою собственную общину. Но приехал наш Акака и убедил их этого не делать. Он имел непререкаемый авторитет, надо было видеть, с каким шумным восторгом его здесь встречали. Съезд кончился концертом, на котором мы насладились пением разных национальных групп. Лучше всех пели гавайцы, они очень музыкальны.

По возвращении в Хонолулу, нас снова встретила жена Акаки. Она возила нас осматривать музеи, школы и ботанический сад. Видели мы дворец и трон бывших королей. Семьдесят лет тому назад Гаваи были еще независимым королевством, но эта эпоха быстро забывается всеми, острова стали одним из Штатов Северной Америки, но они не растворились в ней и сохранили свой особый лик. Христианство стало основой их жизни, они внесли в протестантское богослужение свои артистические дары, но до сих пор им не удалось создать ритуал, вполне выражающий их природные качества. Протестантизм, с его ущербленной сакраментальной традицией и с его отвержением молитвенной связи между живыми и усопшими, находится в противоречии с духовными интуициями полинезийцев. В этом мы убедились, когда проникли в глубь Океании.

В последнюю ночь, когда Коля уже лег спать, я с ужасом заметила отвратительное извивающееся насекомое с аршин длиной, быстро ползущее к нашей кровати. Это была толстая стоножка, мы видали такие в музее и нам там сказали, что они часто влезают в кровати и их укус, хотя не смертелен, но очень болезнен и требует долгого лечения. С воплем я пыталась убить чудовище, ударяя его сандалией, но стоножка продолжала ползти к кровати. Только с помощью дочерей Акаки, прибежавших на помощь, нам удалось избавиться от этой угрозы.

В последний день мы познакомились с интересной четой

докторов в отставке, поселившихся в Хонолулу. Федор Леонидович Альтхаузен, русский по происхождению, бывший гардемарин, получил медицинское образование в Соединенных Штатах и сделался Деканом медицинского факультета в Лос-Анжелосе. Теперь он занимается антропологией, а она скульптурой. Вечером огромный американский авион увез нас из мира туристов, реклам и автомобилей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПОЛИНЕЗИЯ

М. Зернова

Самоа (20 июня - 27 июня).

Перелет от Гавайских островов на Самоа был труден. Мы попали в сильную бурю, разразившуюся над самым экватором. Нас бросало вверх и вниз. Наконец мы закружились над гористым островом, видя в просветы облаков то дымящиеся волны, обрушивающиеся на острые скалы, то небольшой аэродром, залитый водой. Наш опытный пилот воспользовался одним из таких моментов и быстро снизился — мы были в Паго-Паго на территории Американского Самоа. В маленьком помещении аэродрома была большая сутолока. Выделялась группа женщин в красных платьях — это был какой-то орден, провожавший папского нунция. Неожиданно перед нами появился человек гигантского роста, с лицом как будто вырезанным из красного дерева, и заявил, что мы на этом острове у него в гостях. С ним была его жена таких же размеров. От них мы узнали неприятную новость, что вместо отлета в Западную Самоа, где нас ждали, нам предстоит оставаться у них на неопределенный срок. Оказалось, что маленький авион, совершавший регулярные рейсы между островами, сломался и чинился где-то в Новой Зеландии. Никто не знал, когда он возобновит полеты, а ехать пароходиком нам никак не советовали. Это известие сразу показало нам, как много неожиданных препятствий может возникнуть на нашем тщательно планированном пути.

Наш неожиданный покровитель, Файнуулелеи, был начальником таможни и потому наш багаж был без осмотра погружен на его машину, которая доставила нас в единственный, переполненный отельчик, где мы провели три дня при непрекращающемся дожде. Файнуулелеи и его внушительная супруга Пенелопа оказали нам редкое гостеприимство, взяв на себя все наши расходы и показывая нам свой остров. Пенелопа была образованная женщина, заведовавшая школой. Мы тяготились вынужденным бездействием и потому были

очень обрадованы, когда получили известие, что нам резервировали места в специальном авионе, улетавшем через час. Мы быстро собрались и двинулись в дальнейший путь.

Через два часа полета мы спустились на покрытый травой аэродром Западной Самоа. Она встретила нас солнцем и теплом. Нас поджидала целая экуменическая делегация: начальник методистской миссии пастор Россел Медокс со своей австралийской женой, молодой самоанец Питер Алайлуна, Колин знакомый по университету в Дрю, и представители католической церкви. Медокс повез нас в свою «методистскую деревню». Мы ехали мимо залитых солнцем пальмовых плантаций. Среди них виднелись круглые и овальные хижины, покрытые пальмовыми листьями. Природа и люди улыбались нам. Дом наших хозяев был на самом берегу большой лагуны. В нем нас охватила атмосфера XIX-го века — традиционный англосаксонский чай, керосиновые лампы, приятный уют. Вместо недели у нас оставалось только три дня, и нам пришлось отказаться от полной программы, приготовленной для нас.

После блаженной ночи в тишине лагуны, мы с утра поехали осматривать остров и его столицу Апию, большую деревню на берегу океана. Мы видели парламент, метеорологическую станцию, семинарию, школы, католический созерцательный женский монастырь. Дорога вилась по берегам причудливых заливов, то подымаясь на склоны холмов, то спускаясь к уровню моря. Пальмы и другие тропические деревья блестели на солнце, мы были окружены красотой. Медокс рассказал нам, что остров был владением сначала немцев, потом управлялся Новой Зеландией, с 1962 года он независим. Образование, принесенное миссионерами, и медицинская помощь послужили быстрому увеличению населения; за последние годы оно возросло в четыре раза. До прихода европейцев каждая семья должна была иметь не больше двух детей, остальные убивались (своеобразный контроль населения).

Этот небольшой и гористый остров старательно возделан. Население очень благочестиво, повсюду видны церкви, рядом с ними школы. Женщины, идя в церковь, надевают платья цвета своей конфессии. У методистов она голубая. Самоанцы — наиболее чистый тип полинезийцев, они очень привлекательны. Цвет их кожи светло-бронзовый, как у хорошо загорелого европейца. Они своеобразны, полны чем-то древним, столь отличным от западной культуры, но равно не схожим ни со страстностью негров, ни с утонченностью индусов. В их спокойных лицах, освещающихся ясной улыбкой, есть детская доверчивость и в то же время монументальная крепость. У них добродушный характер, в деньгах и времени они легкомысленны, в отношениях с людьми великодушны и гостеприимны. Живут они до сих пор патриархально, боль-

шими кланами в 150-200 человек, под начальством старшего в роде. Им может быть и женщина.

На второй день в нашу честь был устроен торжественный прием методистской общиной. Каждая деревня имеет специальный дом для подобных собраний. В одном конце этого овального здания, устланного циновками, стояла большая доска с надписью: «добро пожаловать». В другом конце была поставлена скамья для нас и для Медоксов, которые переводили речи и давали нам указания, как себя держать. Дом был, как и все другие, без окон и дверей, красиво изрезанные столбы поддерживали крышу. Все было украшено цветами. Когда мы вошли, нас уже ожидало около шестидесяти разнообразно одетых старшин различных кланов, одни были полуголые — другие в ярких тогах, пасторы были во всем белом. Сначала царило полное молчание, оно прервалось ритуальным диалогом. Кто-то сказал: «вот они пришли», ответ был: «возблагодарим Бога». Затем началось обсуждение, кому произносить приветственную речь. Выбор пал на старика слепца. Он повел свою импровизацию издалека, с сотворения мира! Никто никуда не спешил. Постепенно он дошел и до нас, описав нас как царственных и долгожданных гостей, которым удалось достичь их благословенного острова благодаря попутным ветрам и тихой погоде, специально посланной нам божественным провидением.

Во все время этой долгой речи и наших ответных приветствий в середине здания происходило приготовление «напитка дружбы» — «кавы». Этим заведовал красивый юноша; сидя на полу, он руками месил в широком деревянном сосуде мутную жидкость, отжимая корни каких-то растений и беспрестанно подливая к этой смеси свежую воду. Когда речи были кончены, он начал подносить приготовленное им питье в ковше из кокосового ореха. Делал он это с церемонными, похожими на танец, жестами. Первым получил каву Коля, потом Медокс, потом я. После нас каву стали пить все старшины. Все это происходило в глубоком молчании. Согласно с древним ритуалом, сначала надо было вылить из ковша несколько капель на землю и сказать: «ману-у-ия», это было приношение в честь богов, после этого можно было выпить священный напиток. Я только пригубила его, уж очень противно выглядела жидкость, похожая на грязную воду. Самоанцы очень любят каву, от ее большого количества можно опьянеть. Когда кава пошла вкруговую, все оживились, закурили и громко заговорили. Празднество закончилось танцами девочек из местной школы в юбках из травы.

В тот же вечер состоялась публичная лекция Коли на тему «Восточное Христианство». Собрание происходило в библиотеке столицы. Неожиданно пришло столько народа, что не всем хватило места в большой зале. Это было экумени-

ческое событие, в первый раз объединившее всех христиан, начиная с католиков и кончая адвентистами. Собралась местная интеллигенция, священники, пасторы, монахи и монахини, семинаристы из двух протестантских богословских школ. Аудитория была живая, все слушали с интересом, задавали много вопросов.

На следующий день мы оба читали лекции в семинариях и участвовали в разных собраниях. Вечером нас чествовали женщины методистской общины. Они пришли к нам, все в голубом, танцуя и неся огромную корзину, наполненную подарками: ожерельями из ракушек, веерами, плетеными изделиями, корзинками. Встав перед нами, они продолжали танцевать, даже самые старые не знали ýстали, так что и мне пришлось пуститься в подражательный пляс, что вызвало бурный восторг в толпе зрителей.

Видели мы и миссионерские школы католиков. Во главе их стоял старый монах, бельгиец по происхождению, отдавший всю свою жизнь самоанцам. Он сказал нам, что раньше его мучила мысль, что протестанты не могут спастись, теперь он больше не тревожится этим и вместе с ними работает над новым переводом Библии на местный язык. Среди учителей школы нашелся член Содружества Св. Албания и Пр. Сергия, получавший его журнал «Соборность».

В последний день к нашим хозяевам пришла познакомиться с нами жена премьер-министра Масиофо Фатауи, крупная, красивая и умная. Она недавно вернулась из Америки и жаловалась, что когда она хотела послать телеграмму мужу, никто на американском телеграфе не знал, где находится Апия. «А ведь это столица Самоа, — восклицала она, — такое невежество!»

Три переполненные дня пришли к концу. Мы уехали в воскресенье после службы, нас провожала целая компания наших новых друзей. Поднял нас в воздух снова маленький полинезийский аэропланчик. Он летел над синим океаном и архипелагами плоских островов, окруженных рифами с кружевом белой пены волн, а внутри их — кольцом ярко-изумрудной мелкой воды. Мы должны были пересечь условную географическую линию долготы, уничтожающую для нас целый день. После перелета, длившегося всего четыре часа, мы спустились уже в понедельник на главном острове королевства Тонги.

Тонга (27 июня - 3 июля).

На крошечном аэродроме столицы Тонги Нукуалофы (что означает «город любви») нас встретил Джон Хавеа, придворный пастор королевы Салоты (ум. в 1966). Он был на голову выше нас, с тяжелым, умным лицом и странной рогожкой во-

круг чресел. Такие же рогожки носили все тонгийцы, они были разной длины и цвета. По дороге в методистскую миссию, мы видели двух женщин в старых рваных рогожках и приняли их за нищенок, но Хавеа объяснил нам, что они были благочестивые особы, шедшие на похороны. Рогожки меняются в зависимости от цели визита, те что надеваются на свадьбу — наряднее других.

Каждый остров Полинезии отличен от других и климатом, и нравами, и одеждой. Здесь было прохладно, остров был коралловый и совсем плоский. Маленькое королевство состоит из множества разнообразных островов. Тонга не имеет расовых конфликтов, так как в нем не позволяется селиться иностранцам. Управляет ею королева Салота, женщина огромных размеров, наследница легендарного короля Туи Тонга, жившего в десятом столетии до Рождества Христова. Она была серьезно больна, и назначенная нам аудиенция не состоялась. Мы были в ее дворце, видели репетицию ритуальных танцев и приготовления к приему наследного принца, ожидаемого из Оксфорда, видели в саду и знаменитую черепаху, подаренную капитаном Куком в 18-м веке королю Тонги. Несмотря на свой возраст и слепоту, черепаха разгуливает по столице в поисках любимых ею манго. Жители возвращают ее домой, если она теряет дорогу.

Быстро пролетели пять дней, проведенных нами в Нукуалофе. Коля проповедовал, прочел лекцию духовенству, мы посетили богословский колледж. Он был не похож на европейские семинарии, так как состоял из нескольких поселков, раскинутых среди кокосовых пальм. Каждый студент имеет три домика. В первом он живет со своей семьей, другой служит кухней, третий баней. Вокруг — огород, дающий им питание. Мы остановились у одной такой хижины. По просьбе директора колледжа, студент с невероятной быстротой взобрался по высокому, гладкому стволу кокосовой пальмы, в зубах у него был большой нож, которым он ловко срезал тяжелый плод и сбросил его на землю, чтобы угостить нас его сладковатым соком. Его жена и дети с любопытством рассматривали посетителей. Женщины здесь развиты гораздо меньше своих мужей. Часовня, библиотека, лекционный зал и дома для преподавателей составляют центр этого своеобразного колледжа. Здесь, как и в Самоа, студенты забрасывали нас вопросами о России и о Православной Церкви. После столетий полной оторванности от остального мира, полинезийцы вдруг осознали себя частью всего человечества.

Накануне нашего отъезда местный коммерсант, он же и проповедник, повез нас осматривать отдаленные части острова. По дороге мы с интересом слушали его самобытные толкования Евангелия. Мы видели около белоснежного пляжа развалины дворца древних королей Тонги, высеченные из

коралловых рифов. Кораллы тверже любого камня, и как эти огромные глыбы отсекались, по-видимому под водой, остается тайной до сих пор.

На следующее утро мы покинули Нукуалофу, эту тихую деревню с мирными жителями и толпами школьников. Тонга с ее 150 островами была позади, а мы снова в синем просторе. Иногда попадались острова, промелькнуло фантастическое зрелище огромного затопленного вулкана. Наш пилот оказался русским, а его помощник поляком. Наш земляк родился на Яве, во время войны был английским военным летчиком, женился на голландке, а теперь летает с «Полинезийской аэропланной компанией», так как любит этот мир Тихо-Океанских островов.

Фиджи (3-19 июля).

После захолустных и тихих Самоа и Тонга, Сува, столица Фиджи, показалась нам красочным международным городом с нарядными отелями и дорогими магазинами, в которых можно было купить товары без пошлины со всех концов мира. Суву называют Парижем Тихо-Океанских островов. На Фиджи останавливаются все транс-океанские авионы, привозящие толпы туристов. Мы пробыли там 15 дней, они оказались переломными в нашем путешествии. Там мы узнали о ударе сестры Мани, лишившем ее сознания, там Коля поранил ногу, что вызвало впоследствии заражение крови. Весь наш дальнейший путь прошел под знаком смерти, но в то же время он был озарен благодатными встречами с людьми подлинной веры и самопожертвования, нам было дано видеть красоту природы — девственную, свободную от налагаемой на нее печати жадным хищником человеком.

В Суве мы были в гостях у англиканской церкви. Их замечательный епископ был, к сожалению, в отсутствии, но, живя в его доме, мы всюду видели отпечаток его личности. Нас часто приглашали в гости, принимал настоятель собора, знакомый нам по Англии, а также арчдикон, холостяк, больной какой-то тропической болезнью, интересный и изысканный. Познакомились и с энергичным русским инженером, имевшим свое предприятие на этом острове. Программа у нас была все та же: проповеди Коли в англиканских и методистской церквах (последняя была передаваема по радио), встречи с духовенством и семинаристами, беседы на различных собраниях. Мы оба были постоянно заняты.

Сува расположена на берегу прекрасного залива, вдали виднеются кряжи высоких гор, покрытых тропической растительностью. Во все время нашего пребывания нас преследовали упорные дожди и рои комаров, но за горами на севере климат сухой и леса сменяются степью. Царственная красота

большого архипелага, плодородие его почвы и природные богатства создали острые расовые конфликты среди его населения. Фиджийцы, основные жители Фиджи, как и остальные полинезийцы, радушны, привлекательны и музыкальны, но не склонны обременять себя излишним трудом. Поэтому, как только англичане начали заводить плантации сахарного тростника, они были принуждены, в поисках дешевой рабочей силы, привозить на Фиджи сначала индусских кули, а потом меланезийцев с соседних островов. Часто это делалось недобросовестно, обманом. Страсть к наживе принесла горькие плоды Фиджийским островам. Индусы быстро освоились в новой обстановке, бросили тяжелый труд и занялись коммерцией. Разбогатев и умножившись, они теперь превышают численно фиджийцев, которые, однако, до сих пор одни имеют право на владение землей. Индусы требуют изменения закона, тогда как меланезийцы, без земли и профессий, составляют самую обездоленную часть населения. Англиканская церковь ведет среди них миссионерскую работу, стараясь поднять их духовный и культурный уровень. Самое трагичное в этом положении то, что эти национальные группы не общаются друг с другом. Фиджийцы принадлежат к методистской церкви, индусы остаются язычниками, меланезийцы и англосаксонцы — англикане, есть и римо-католики.[1]

Вынужденное «смешение языков» болезненно переживается населением, но оно придает уличной толпе в Суве ее особенную красочную пестроту. На нее можно смотреть часами. Всюду, плечо к плечу, двигаются высокие фиджийцы с копнами вьющихся волос и индуски в своих ярких, как тропические цветы, сари. Они выгодно отличаются от австралиек, скучно одетых в монотонные платья. Среди торговцев много китайцев, и их миниатюрные жены кажутся особенно хрупкими по сравнению с монументальными фиджийками. Американцы в рубашках кричащих цветов, с открытыми воротами и с непременной фотокамерой на шее, более сдержанно одетые англичане и англичанки дополняют эту своеобразную международную толпу.

Мы скоро глубоко вошли в этот сложный мир, встретили одно индусское семейство, недавно принявшее крещение. Они познакомили нас с теми преследованиями, которые они перенесли от своих сородичей. Они не жаловались на них, внутренний мир и освобождение от раньше мучивших их религиозных и житейских страхов светились в их лицах. Большое впечатление произвело на нас посещение англиканской церкви, в деревушке, населенной меланезийцами. Священник новозеландец

[1] Меня привел в восторг образцовый детский сад, устроенный молодой новозеландкой. Это был ответ на расовые конфликты. В него принимались по строгому равенству дети всех национальностей и после периода, когда ребенок из отсталой семьи осваивался, все проявляли одинаковые способности.

всецело слился со своей паствой. Он прекрасно говорил на их языке, жил в маленькой хибарке рядом с церковью, знал всех по имени и многих приветствовал целованием после службы. Молящиеся сидели на циновках, дружно пели, почти все причащались. Было собрание с питьем «кавы», нас попросили рассказать о Православной Церкви в России. Мы были еще раз удивлены, с каким вниманием нас слушали, какие дельные вопросы нам задавали. Постепенно разговор зашел о коммунизме. Он сильно волновал наших слушателей. Среди них ведется как советская, так и китайская пропаганда. Коммунизм и страшит и привлекает их.[2]

Кроме Сувы и ее окрестностей нам удалось посетить другие соседние острова. Одним из них был исторический остров Овалау, главный город которого был раньше столицей Фиджи, а теперь это тихий, заброшенный уголок. Встретил нас там молодой англиканский священник австралиец. Его миссия помогает меланезийцам, которые в Левуке, как и в Суве, составляют беднейший слой населения. Он и его жена решили стать миссионерами после постигшего их несчастья. Их первый ребенок, играя на коленях отца, незаметно взял в рот его запонку, подавился ею и внезапно умер. Потрясенные этим «Божием посещением», родители решили переменить свою жизнь и теперь, несмотря на свою оторванность от всех культурных центров, они предпочитают пасторскую деятельность на Фиджи, окормляя здесь свою простосердечную, благодарную паству. Радует их новый ребенок, шустрый и трогательный мальчик. Наш хозяин рассказал нам, что лет двадцать тому назад попалась ему в руки книга православных молитв в английском переводе, изданная Колей в Лондоне в 1943 году. Она произвела на него такое впечатление, что с тех пор его молитвенная жизнь строится на традиции Православия. Странно нам было встретить на этом далеком острове, окруженном ожерельем коралловых рифов, человека, столь близкого нам по духу.[3]

Другая наша поездка была на священный остров Бау. Раньше он был укрепленным лагерем верховного вождя фиджийцев, от которого зависела жизнь каждого из них. Там собирался совет старшин, там приготовлялись нападения на соседние острова и, после успешных экспедиций, устраивались

---

[2] Во время нашего пребывания в Суве, туда прибыло Советское рыболовное судно, вечером команда стала показывать пропагандный фильм на его борту. Собралось много зрителей на неожиданное даровое развлечение.

[3] Во время прогулки по острову Овалау, Коля неосторожно сошел с тропинки и поранил ступню сломанным тростником. Сопровождавший нас местный юноша помог остановить сильное кровотечение, приложив к ране какую-то целебную траву. В Европе наверное все быстро зажило бы, но под тропиками каждая царапина — серьезное осложнение. Так и эта рана упорно болела и не заживала. Защищать ее от загрязнения было очень трудно. Она принесла осложнения, операции и только вернувшись в Англию Коля освободился от нее.

пиршества людоедов. Около ста лет тому назад на Бау происходили похороны одного из вождей. Десять его жен должны были быть убитыми во время сложных церемоний. Методисты-миссионеры, жившие на соседнем острове, узнали об этом. Две из их жен решили поехать одни спасать эти жертвы. Верховный начальник, пораженный смелостью англичанок, сказал им: «Почему вы подвергаете опасности свои жизни ради тех, у которых кожа другого цвета, чем ваша?» Тут миссионерки стали говорить грозному вояке о Иисусе Христе, который пришел сделать братьями всех людей, несмотря на разный цвет кожи. Свирепый дикарь был покорен силой духа бесстрашных посланниц, пощадил женщин, обреченных на смерть, и вскоре крестился сам, а его примеру последовало все его племя. Вот почему все фиджийцы так верны Методистской Церкви.

Нашу поездку организовал пастор Туилавони. Высокий и представительный, он воплощал спокойное благородство своей расы. По дороге он рассказал нам, что раньше он был учителем. Однажды ночью он услышал Божий зов стать пастором. Он долго не хотел прислушаться к нему, отказ от учительства означал сильное уменьшение его содержания. Все же в конце концов он решился на этот шаг. Теперь он Бога благодарит за все. Его жизнь стала богата новым содержанием. Кроме того, как глава своей общины, он смог побывать и в Европе и в Америке, участвуя в конференциях Всемирного Союза Церквей. Он пользуется всеобщим уважением, чему мы были свидетелями как в Суве, так и в Бау, где мы присутствовали на его службе. Он показал нам там большой выдолбленный камень, употребляемый теперь для крещения младенцев. Во времена язычества его назначение было иное. Если в часы военного совета раздавался плач ребенка, его голову разбивали об этот камень. После службы местный пастор пригласил нас к себе на пир. В его чистом и просторном доме на полу были уставлены разнообразные кушанья, одних рыбных блюд было больше двенадцати. Все они оказались очень вкусными и без жгучих приправ, которые характерны для индусской кухни.

Каждый день на Фиджи нес нам поток новых ярких впечатлений,[4] но внутренно наши думы были направлены на да-

---

[4] На нашем горизонте появилась, однажды, чудачка миссионерка. Она предложила нам поехать в глубь страны на вечернее собрание. Ее древний автомобиль издавал зловещие звуки, я уговаривала Колю не ехать, но мой неутомимый муж, по своему обычному принципу не отказываться от приглашений «миссионерского типа», отправился с ней один. Вскоре полил сильнейший ливень. Была ночь, а они не возвращались. Было тревожно их ждать и молиться. Вернулись они на рассвете, каким-то чудом не свалясь в один из разлившихся потоков, размывающих дороги и угрожавших шатким мостам. Тормоз автомобильчика сломался и на крутых спусках их отбрасывало в сторону. Как я рада была увидеть Колю, мокрого, но совершенно спокойного.

лекую комнату госпиталя в Лондоне, где без сознания лежала Маня, а над ней одиноко и бессменно бдела Соня, приехавшая в Англию из Парижа. 19-го июля мы вылетели из Фиджи, наш путь снова лежал к экватору, следующий этап был Ново-Гибридские острова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТРОПИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

Н. и М. Зерновы

Лоловай (20-27 июля).

М. Зернова

Покинув Фиджи мы начали самую трудную и самую необычайную часть нашего путешествия. Мы погрузились в мир тропических островов, куда еще не успели проникнуть туристы. Он стал доступен нам благодаря нашему знакомству с миссионерами, посвятившими себя просвещению жителей этих островов, некоторые из которых продолжают находиться на уровне каменного века. Мы посетили Новые Гибриды, Соломоновы острова, Новую Британию и Новую Гвинею. Эти острова, утопающие то в изумрудных, то в темно-лиловых водах Великого Океана, тянутся длинной вереницей между Новой Зеландией и Филиппинами. Они населены меланезийцами и папуасами. Еще недавно эти племена находились в постоянной вражде друг с другом, гибли от тропических болезней и жили в страхе таинственных демонических сил. За последние годы они преобразились под влиянием христианства и обнаружили свои незаурядные дарования. Современная цивилизация принесла им свои достижения, не успев отравить их своими ядами. Мы видели эти острова в счастливый период их истории и нашли общий язык с той местной молодежью, которая готовится отдать себя служению Церкви.

Наша первая остановка была на Гибридах. Этот архипелаг находится под протекторатом Англии и Франции. В нем действует двойная администрация, двойная полиция, двойная почта. На некоторых островах жители учатся говорить по-английски, на других — по-французски. Наш маленький авион спустился сначала на ночь в Порт Вила, нас поместили во французском отельчике. Вкусный ужин, французское вино, прекрасные кровати перенесли нас в далекую Францию. Комнаты были с большим вкусом украшены туземными скульптурами из дерева

и картинами русского художника Матушкина, страстного поклонника Тихо-Океанских островов.

На следующее утро мы были на острове Санто. Его административный центр, Еспирито Санто, оказался поселком с грязноватой гостиницей, двумя барами и несколькими лавками. Он показался нам еще менее привлекательным из-за проливного дождя. Встретил нас замечательный человек, англиканский миссионер, англичанин Дерик Роклиф. Он был небольшого роста, худой, легкий и быстрый, с умным лицом и устремленным вдаль взглядом широко открытых, светлых и чуть-чуть нездешних глаз. Мы погрузились на миссионерский катер «Селвин», под управлением очень черного капитана, и отплыли на соседний остров Амба. Нас поместили в единственной каюте, полной неприятных насекомых, похожих на тараканов. Началась буря, я жестоко страдала от качки. Суденышко кидало из стороны в сторону, так что иногда казалось, что оно неминуемо перевернется. Постоянно что-то трещало, валилось и разбивалось, но мы неуклонно подвигались вперед. Однажды, уже ночью, мотор остановился, нас стало еще больше бросать волнами, вокруг была непроницаемая тьма. Оказалось, что один из меланезийцев приехал «домой». Он спустил в разъяренную стихию свою лодчонку и исчез в дождевой темноте, за которой скрывался его остров. Наш капитан вел свое судно без помощи каких-либо огней или сигналов. Наконец качка прекратилась, мы были в заливе и нас высадили на песчаный берег. При свете тусклого фонаря мы поднялись на горку и очутились в заброшенном доме Роклифа. Полы на веранде были прогнившие, сетки от комаров на кроватях разорваны, сами кровати пахли сыростью. Мы попали в настоящую тропическую глушь. Хотя июль считался зимним периодом, мы покрылись потом от влажной и теплой духоты. Дерик — холостяк, дом его был стар и запущен, но все это забывалось, так тепло и любовно он принял нас.

Изнеможденные, не обращая внимания на пение комаров, мы провалились в сон, чтобы проснуться утром очарованными сказочной красотой, которая нас окружала. Место, где мы остановились, называлось «Лоловай», оно было самое прекрасное из всего виденного нами. Перед нами была бухта с острыми обрывистыми берегами, описывавшими почти цельный круг. Она была наполнена совершенно прозрачной, темносиней водой, местами принимавшей темно-зеленый оттенок. Царила полная тишина, и неподвижная вода сверкала на солнце. За бухтой простирался океан и на горизонте виднелись причудливые контуры далеких вулканических островов. Белые, спокойные облака громоздились где-то далеко в почти черном небе, а вокруг нас была яркая, бурная тропическая растительность, завершавшаяся горделивыми коронами пальм на их тонких извивающихся стволах.

Мы попали в зачарованное царство. Нам казалось, что мы отрезаны от всего остального мира. На острове нет ни птиц, ни пресмыкающихся, им владеет заколдованная немота. Это всегда был священный остров, да и теперь, кроме туземцев, на нем живут только несколько миссионеров, нет ни полиции, ни контор, ни лавок. Местечко Лоловай состоит из дома Роклифа, госпиталя, жилища другого миссионера, австралийца с семьей, ведущего и школу и лесопилку, поодаль находится колония прокаженных. Ландшафт острова необычаен. Он состоит из двенадцати кратеров вулканов, некоторые из них стали заливами, внутри острова они превратились в озера. Он весь изрезан высокими кряжами, дороги то подымаются на гребень вулкана, то спускаются в его кратер.

Осмотр острова дался нам с трудом. Колина рана, полученная на Фиджи, упорно не заживала, я тоже пострадала. Идя по горной тропинке, я коснулась какого-то ядовитого кустика, который осыпал мою ногу множеством заноз, все они вызвали воспаление, долго причинявшее мне мучительную боль. Но все эти невзгоды забывались при виде красоты, царящей здесь.

40 лет тому назад жители острова были дикарями, ходили голыми и в страхе убегали при виде белых. Рядом с нашим домом была могила перваго миссионера. Он был убит островитянином. Его дочь приехала после этого на Амбу учительницей. Она поставила на могиле отца памятник с надписью: «Чарлс Христофор Годден, священник, миссионер, мученик.» А внуки убийцы может быть учатся теперь в школе, основанной ею. Жизнь миссионеров — героическая. Климат изнурительный, с декабря по апрель свирепствуют ураганы,[1] остальное время жарит солнце. У всех — тропические язвы, с трудом поддающиеся лечению, все должны постоянно принимать хину и имеют нездоровый цвет кожи. При заходе солнца кусают комары, приносящие «элефантиазис» (жуткую болезнь, при которой распухают все конечности), по ночам нападают малярийные комары. Но все миссионеры, нашли мы, необыкновенно счастливы. Они любят свою работу и окружены глубокой признательностью тех, кому они открывают новую и лучшую жизнь.

Мы побывали и в госпитале, и в колонии прокаженных, и в школах. Всюду нас принимали как желанных гостей. Прокаженные имеют свою церковь и школу. Они сами выбирают

---

[1] Весной 1972 года Дерек Роклиф известил нас, что Гибридские острова страшно пострадали в начале этого года от землетрясения и трех циклонов, один сильнее другого. Последний, называемый «Венди», уничтожил на некоторых островах все дома и все деревья, вырывая их с корнем и унося в море. На многие годы население лишено пропитания и источников дохода.

своего начальника, при нас им был молодой учитель. Новые методы лечения приносят часто хорошие результаты и у каждого есть надежда вернуться в свою семью. Их поселение произвело на нас светлое впечатление. Школа мальчиков, в нескольких милях от Лоловай, ведется тремя миссионерами: священником, учителем и учительницей. Дети сами разводят огороды и готовят пищу, образуя своеобразные артели из старших и младших мальчиков. После нашей беседы дети задавали нам вопросы о православной вере. Среди них была группа юношей, решивших стать миссионерами. Церковь свою они расписали, перенеся библейские сцены в обстановку своих островов.

Школа девочек, находящаяся на другом конце острова, показалась нам еще более благоустроенной. Я прочла им целый доклад о России. Девочки, более застенчивые, охотно смеялись, но на вопрос, как их зовут, не отвечали, закрывая лица руками. Оказалось, что говорить свое имя незнакомому было «табу» (запрещено). Зато другие девочки охотно говорили, как зовут их подруг. Девочки пришли в большой восторг от моего описания снега в России.

Наше пребывание совпало с днем Св. Анны, небесной покровительницы школы и нас пригласили на их праздник, собравший больше тысячи людей со всех окрестных островов. День выдался чудесный, торжество началось с англиканской литургии, на которой приобщалось несколько сот школьников и их родителей. Потом были игры. В полдень начался пир. К нему готовились несколько дней: в особых ямах, заполненных горячими камнями, запекались местные овощи — таро и ям, куски мяса и кокосовый пудинг. Все эти яства были разложены на банановых листьях. Приглашенные уселись длинными рядами под тенью пальм и с увлечением занялись едой. Когда все обильное угощение было съедено, началась самая интересная для нас часть программы, длившаяся до наступления темноты. Это были танцы и представления. Меланезийцы — страстные танцоры. Дети, взрослые и старики могут танцевать часами под пекучим солнцем. Они неутомимы, но их движения однообразны, это большей частью топтание ногами. Самое интересное было — их костюмы, особенно головные уборы. Здесь художественная фантазия не имеет границ. Представления были задуманы учениками разных школ и являлись ареной их соревнования. Наибольший успех выпал на долю мальчиков, изобразивших борьбу светлых сил с дьяволом и его приспешниками. Слуги сатаны не были удовлетворены чернотой своей кожи, они вымазались сажей, а сам дьявол имел действительно страшную маску. Отчаянная борьба кончилась победой служителей света, одетых в ярко-красные плащи. И зрители и актеры получили от этого представления полное удовлетворение.

Наша жизнь в доме отца Дерека подходила к концу. Его необычайный образ глубоко запечатлелся у нас обоих. Он напоминал чем-то князя Мышкина, у него была отрешенность от плоти и пола и ощущалась иная сила, питавшаяся молитвой и светлой, неуклонной бдительностью. Он ходил даже по-особенному, будто ступая по воздуху.

Утром в день нашего отъезда Дерек решил показать нам красоты морского дна. Черный капитан миссионерского катера, качавшегося на якоре посреди бухты, повез нас на маленькой лодочке. У него было незамысловатое приспособление в виде деревянного ящика со стеклянным дном. Когда мы опускали его в воду, то уничтожалась рябь поверхности и нам открывалась феерия подводного царства. В нем все кишело жизнью: среди разноцветных скал, покрытых морскими анемонами, губками и кораллами, плавали тропические рыбы, поражающие красочными сочетаниями и формами. Глаза разбегались, хотелось удержать в памяти этот неподвластный человеку мир фантастической красоты. Но он таил свои опасности: совсем близко от лодки промелькнула тень акулы. Купаться тут было бы неблагоразумно.

Мы покинули Лоловай вечером под пение школьниц, пришедших проводить нас. Их причудливый мотив так гармонировал с магией этого тропического мира. Отец Дерек поехал проводить нас, на рассвете мы причалили к пристани Санто. Он отслужил на палубе литургию, пассажиры и матросы причащались. В то же утро мы улетели на Соломоновы острова.

Соломоновы острова (27 июля - 4 августа).

Н. Зернов

Следующим этапом были Соломоновы острова, расположенные около самого экватора. Столица архипелага Хониара находится на большом гористом острове Гвадалканал. Там в августе 1942 года американцы одержали свою первую победу над японцами и тем спасли Австралию и Новую Зеландию от японского захвата. В городе мы пробыли всего несколько часов, так как в тот же вечер погрузились снова на миссионерский пароходик для дальнейшего странствования. Целью его было посещение богословской семинарии св. Петра в Сиота на острове Малой Гелы.

Пароходик на этот раз был больше и чище, море было тихое, и мы смогли отдохнуть. На палубе расположились туземцы, возвращавшиеся на свои острова. Всю ночь вели они бесконечные разговоры и много смеялись. Они казались счастливыми, беззаботными людьми.

Утром наш пароход вошел в извилистый пролив между островами. Тропические заросли спускались к самой воде,

океан походил на большую, спокойную реку. Не было видно никаких признаков человека. Нас встречали только громкие и резкие крики красных попугаев и стаи белых какаду. Вскоре мы приблизились к прогалине в лесу, пароходик загудел и причалил к маленькому деревянному помосту, за ним выстроилось около 40 молодых, весьма черных юношей. Это была Сиота, она состояла из одного колледжа. Все ее население вышло встречать нас.

Попав на берег, мы пожали руки двум преподавателям и всем студентам и сразу почувствовали, что наш приезд — большое событие для этой маленькой общины, связанной с внешним миром лишь нерегулярными рейсами миссионерского пароходика. В случае нужды им приходилось плыть на пироге в соседнюю миссию, где был госпиталь и телеграф, что брало больше шести часов при хорошей погоде.

Начальник колледжа и его помощник оказались членами нашего Содружества и они воспитывали студентов в традиции, близкой к духу Православия. Лекции и беседы, которые моя жена и я вели со студентами, встречали интерес и понимание в их среде, подготовленной их преподавателями. Сравнивая восточное и западное истолкование христианства, мы пробудили в своих слушателях вопрос об их собственном месте во вселенской Церкви. У них родилось желание осознать себя Церковью островов Великого Океана — «Церковью Юга», отличной как от восточных, так и западных христиан.[2]

Мы прочли им курс лекций о нашей литургии, таинствах, о нашем учении о Церкви и почитании святых, рассказали о наших поездках в Россию. Все это возбудило их большой интерес, они задавали нам множество вопросов. Нас удивила живость их ума и легкость, с которой они выражали свои мысли. Они были хорошие проповедники.

Мы подружились с семинаристами и они охотно рассказывали нам о своей жизни, патриархальной, не затронутой еще нашей цивилизацией. Один из них особенно сблизился с нами. Он был недавно крещен. Его отец, упорный язычник, долго препятствовал обращению других членов этой семьи. Юноше удалось все же убедить старика деда креститься перед смертью. Благодать и мир, обретенные старцем, были столь

---

[2] Вернувшись в Англию я получил следующее письмо от помощника Ректора: «Дорогой д-р Зернов, мы были очень рады вашему приезду. Курс лекций, прочитанный вами и вашей женою, был для нас помощью и вдохновением. Должен сказать, что идея, «Южной Церкви» глубоко заинтересовала многих и мы долго будем размышлять о вашем истолковании восточного и западного христианства. Я готовлю статью о нем для нашего журнала, чтобы все наши священники могли прочесть о том, что мы слышали от вас обоих. Посылаю вам наши наилучшие пожелания и молитвенник на языке «гелы» в память вашего пребывания у нас.

Ваш Браян Макдоналд-Милл.»

очевидны, что и отец стал христианином, его примеру последовал весь род. Наш собеседник сиял от радости, рассказывая нам об этом.

Этот же студент устроил наши поездки на соседний остров Большой Гелы. Первая наша попытка попасть туда кончилась неудачей — пятеро из нас село в маленькую «кану́» легонькую, как скорлупа. Она сразу погрузилась до самых краев в воду и к тому же начала течь. На наше счастье полил сильный ливень, и мы отложили эту рискованную поездку. Второй раз друзья достали хорошую большую пирогу, которая, легко скользя по гладкой воде под дружными ударами весел студентов, быстро пересекла пролив. Высадились мы около поселка с часовней из бамбука. Милица захотела снять нескольких полуголых женщин, встретивших нас. Среди них началась суматоха, они все решили приодеться. Изо всех хижин была принесена одежда и тут же распределена среди желающих. Видимо идея частной собственности еще не укоренилась среди местного населения. На этот раз мы ограничились прогулкой по берегу острова.

Самой интересной была третья поездка. Студенты захотели познакомить меня с более примитивными островитянами, среди которых они вели миссионерскую работу. Оставив лодку на пустынном песчаном берегу, мы двинулись в глубь острова по узкой тропинке. Нигде не было видно признаков человека, только попугаи глушили нас своими крикливыми голосами. Выйдя на прогалину, мы нашли маленькую церковку, состоявшую из крыши, поставленной на резных столбах. Кроме деревянного алтаря в ней не было никакого убранства. Однако песок, посыпанный на пол, был украшен причудливым узором. Мои спутники попросили меня сесть, а сами начали трубить при помощи большой раковины. Пронзительные звуки огласили лес. Мне казалось, что они умирали в густой заросли, окружавшей нас, и я не мог себе представить, что кто-нибудь отзовется на них. Долго длилось молчание. Вдруг из чащи появилась необычайная фигура: это была женщина, вся одежда которой состояла из юбки, сделанной из травы. Во рту ее была длинная, глиняная трубка, держалась она чрезвычайно прямо. Ее осанка придавала ей вид гордой королевы. Вскоре за ней последовали другие особы, столь же величественные, все с трубками во рту, старые, среднего возраста и молодые. Позже стали приходить мужчины, которые сели вокруг меня в первом кругу, женщины и дети разместились за ними. Всего набралось около 100 человек. Это была самая необычайная аудитория во всей моей жизни. Я начал говорить им о Православии и России, студент переводил меня. Я старался найти точки соприкосновения с этими незнакомыми мне братьями по вере. Когда я кончил, к моей радости, вместо молчания посыпались вопросы. Задавали их одни мужчины, но, по живому выражению женских глаз, я понял, что и они с интересом

следили за нашей беседой. Провожали меня с большим теплом, благодарили и просили опять приехать. Так обитатели Большой Гелы познакомились с жизнью русской Церкви!

Английский миссионер, основавший колледж, был прекрасный садовод. В саду росли редкие растения, сразу за оградой начинался тропический лес. Наш дом стоял на берегу пролива, из его окон открывался вид на гористые очертания других островов. Во время отлива морское дно оголялось, и мы могли любоваться всевозможными раковинами и другими невиданными раньше обитателями воды. Песчаный берег был усеян другими ракушками, служившими убежищем крабов-отшельников. Во время прогулок мы наблюдали необычайное зрелище, при нашем приближении весь пляж приходил в движение, каждая ракушка мчалась к краю воды.

Студенты, узнав, что 19 июля по старому стилю — день именин Милицы и памяти преподобного Серафима, решили устроить в нашу честь торжество. Утром во время литургии они поминали наших святых, один из них сказал соответствующую проповедь. Вечером состоялся банкет. Приготовления к нему заняли весь день. Обед состоял из рыбы, цыплят, местных овощей, столовая была украшена гирляндами цветов, были речи и пение. Милица рассказала о преп. Серафиме и о царице Милице. Закат был золотой, потом он стал багровый, а небо в просвете облаков приняло зеленый оттенок.

Наш отъезд произошел неожиданно и драматично. Мы получили известие, что миссионерский пароходик, на который мы рассчитывали, где-то застрял. Это разрушало все наши планы, так как мы пропускали авион из Хониары, летавший лишь два раза в неделю. Спас положение незнакомый нам инженер, владелец моторной лодки, гостивший в соседней миссии Таранинара, где была клиника и мастерские. В этой тропической глуши люди более отзывчивы; узнав о нашем критическом положении, он неожиданно появился в Сиота. Был уже вечер, нам было необходимо добраться до темноты до следующего поселка. Мы спешно собрали свои вещи и помчались по зеркальной поверхности узкого пролива, с сожалением покидая колледж и наших новых друзей. За эти несколько дней они из черной массы непонятных людей превратились для нас в интересные и близкие нам личности.

В Тараниаре нас ожидал другой пароход, «Южный Крест». Нам отвели кабинку епископа, но спать не удалось. Наши спутники туземцы, расположившись на палубе, всю ночь не смолкая рассказывали друг другу смешные эпизоды из своей жизни и заразительно смеялись. Их воображение неистощимо и они предпочитают сну дружескую беседу.

Переход в Хониару был великолепен. Восходило солнце, вокруг нас подымались гористые острова, по гладкой поверхности большого залива скользили легкие стайки летучих рыб, а иногда из воды выскакивали какие-то странные существа

внушительных размеров. Высоко над нами громоздились тропические облака, осиянные слепящими утренними лучами. Все вокруг нас ликовало, прославляло своего Творца.

В Хониаре у нас были две интересные встречи. Одной из них было знакомство с первым епископом, уроженцем острова. Он был крещен, когда попал в школу. Его семья недавно вошла в Церковь. Он показал нам остров, мы видели прекрасно оборудованный колледж для подготовки учителей и большую школу для мальчиков. Вторая встреча была со стариком миссионером, который пригласил нас к ужину. Всю свою жизнь он провел на Соломоновых Островах. Он любил свою черную паству за ее искреннюю религиозность и умение радоваться жизни. Ни один из встреченных нами миссионеров не сожалел о выборе своего жизненного пути.

Новая Британия (4-9 августа).

До начала нашего путешествия я не знал о существовании Новой Британии, а этот большой остров оказался не только на редкость красивым, но чрезвычайно интересным с точки зрения миссионерской работы. Как и на Новой Гвинее, местное население включает племена и все еще пребывающие на уровне каменного века и уже вошедшие в круг христианской культуры.

По дороге из Хониары в Рабаул, столицу Новой Британии, наш авион остановился на одном из островов архипелага Новой Джорджии. Даже среди разнообразных по своей красоте островов виденных нами, этот архипелаг выделяется своей оригинальностью. Его плоские острова, покрытые густым лесом, кажутся лабиринтом, так причудливо они изрезаны узкими проливами, прозрачные воды которых отражают контуры прибрежных пальм.

В Новой Британии мы были гостями прекрасно устроенного американского методистского богословского колледжа, расположенного на берегу величественного залива в 15 милях от столицы. Во время Второй Мировой Войны остров был местом ожесточенных боев и в лесу около семинарии мы видели обломки танков и орудий, постепенно закрывающиеся буйной растительностью. Посетили мы и огромное военное кладбище. Оно содержится в образцовом порядке, всюду масса цветов. В могилах рядом лежат американцы, австралийцы, новозеландцы, англичане и индусы встретившие свою смерть на этом чужом им острове, вдали от своей родины.

Шесть дней, проведенных на Новой Британии, были особенно плодотворны с точки зрения нашего знакомства с туземным христианством. Студенты колледжа были собраны с разных островов, принадлежали к различным расам, отличались друг от друга и цветом кожи и чертами лица и духовными способностями. Самыми интеллектуальными оказались са-

мые черные бугенвильцы. Один из них изумил меня, указав мне после одной из моих лекций на несогласованность моих объяснений со статьей, напечатанной мною же несколько лет тому назад в одном из лондонских журналов. Я никак не ожидал, что кто-то из моих черных слушателей следил за моей литературной деятельностью в далекой Англии.

Большинство из студентов были женаты. Они должны были сами строить себе дома и добывать пропитание, устраивая огороды. Некоторые из этих построек были сделаны с большим вкусом. Они стоят на высоких столбах, в защиту от змей и частых землетрясений; мы испытали два из них во время нашего краткого пребывания на острове.

Воскресное утро мы провели на богослужении методистской церкви в селении Рабан. Служба началась с крещения младенцев. Шестнадцать пар отцов и матерей выстроились в ряд. Туземный пастор трижды окропил каждого ребенка и сказал поучение родителям, которые с нежной любовью следили за совершением таинства над их детьми. Потом началась литургия. Пастор с воодушевлением рассказал своим пасомым об отступничестве и покаянии апостола Петра. Началось причастие. Около 300 человек разного возраста подходили к возвышению, на котором стоял престол, опускались на колени и с глубоким благоговением принимали святые дары. Внешняя обстановка была до крайности бедна. Простой стол, покрытый не очень чистой скатертью, маленькие кусочки нарезанного хлеба, а вместо вина розоватая жидкость в простой чашке. Все это убожество искупалось верой этих недавно обращенных в христианство папуасов. Милица и я были под сильным впечатлением того подлинного благочестия, с которым они причащались. В глазах подходивших к престолу светились радость и мир, в храме царила молитвенная тишина. После конца службы я сказал несколько слов, слушали меня с большим вниманием.

Самое трогательное зрелище ожидало нас по выходе из церкви. Нас поставили рядом с пастором во дворе и все стали подходить к нам и благодарить нас за участие в их богослужении. За это утро мы пожали несколько сот папуасских рук, маленьких детских, больших и грубых, мужских и женских Многие из прихожан дарили нам яйца, апельсины и ракушки. Кто-то достал нам корзину и она быстро наполнилась этими трогательными приношениями. Эта служба дала нам ощущение духовной близости с людьми, которые так недавно были отрезаны от остального человечества.

Чрезвычайно интересно было для нас также участие в собрании синода методистской Церкви. Мы оба выступали с докладами о Православии. Завязалась оживленная беседа. Большинство миссионеров мало знали о восточном христианстве и были удивлены насколько наше учение о священной ма-

терии созвучно мироощущению местного населения. Западное противопоставление духа и материи чуждо им. Мы были также приглашены на между-конфессиональное собрание духовенства в Рабауле. Один римо-католический священник заявил, что он не может признать благодатности методистской литургии. Милица возразила ему, говоря, что нам не дано знать границ действия Святого Духа. Мы были свидетелями глубокой веры новообращенных христиан в евхаристическое общение со Христом. Сила их молитвы восполняла скудость их обряда и недостаточность их учения.

Вечером накануне отлета из Рабаула мы были на собрании христианской молодежи. Нас окружили юноши и девушки всех рас и всех цветов кожи, с которыми у нас был интересный разговор на тему о месте религии в современном мире.

Новая Гвинея (9-13 августа).

Мы уже были больше трех месяцев в пути и до сих пор нам удавалось осуществлять планы намеченные в Лондоне. Теперь наш путь лежал на Новую Гвинею, но в этот раз нам предстояли перемены. За два дня до отлета мы получили известие от англиканского епископа острова, что ввиду поломки авиона миссии, он не может обеспечить наше присутствие на рукоположении первых священников из туземцев. Приглашение на это торжество было одним из самых привлекательных, полученных нами еще в Англии. Оно должно было происходить в местности, знаменитой своей красотой. Епископ из Китая должен был проповедовать, мы представляли Православие, это должна была быть знаменательная встреча Востока и Запада. Пришлось с большим огорчением от нее отказаться и по совету друзей мы решили остановиться в другом городе Новой Гвинеи, Леа, центре миссионерской работы лютеранской Церкви, которой мы еще не встречали.

Сначала мы пересекли Новую Британию. День выдался безоблачный, мы летели над равниной, украшенной 17 вулканами, самый могущественный из которых назывался «Отцом». Он тихо дымился, его склоны были покрыты серой лавой. Другие вулканы успели зарасти тропическим лесом. Во время полета меня начал бить сильный озноб. В Леа много времени ушло на переговоры по телефону, когда мы наконец добрались до миссии у меня была очень высокая температура. Неужели это припадок малярии, — думал я. В Леа оказался большой госпиталь, доктор, осмотревший меня, нашел заражение крови. Рана на ноге, не заживавшая с Фиджи, загноилась. В тот же вечер хирург вскрыл ее и прописал интенсивное лечение антибиотиками. Оно оказалось успешным, я был спасен, но должен был выписаться из больницы слишком быстро.

Все случившееся с нами оказалось провиденциальным: в той глуши, куда мы должны были лететь, я не мог бы получить нужной мне медицинской помощи.

У нас остался всего один день на знакомство с миссионерской работой лютеран. Они показали нам свои церкви, выстроенные в современном стиле и являющиеся украшением города. Были мы также в школе для мальчиков и слушали там оригинальный оркестр. Каждый музыкант имел свою раковину, она издавала только одну ноту, но мальчики добивались приятной мелодии и могли играть довольно сложные вещи. Успели мы заглянуть и в ботанический сад города со многими редкими видами местной флоры. Мы только прикоснулись к Новой Гвинее, унося благодарность Богу за мое исцеление и сожалея, что нам не удалось познакомиться ближе с этим самым большим островом света.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

АВСТРАЛИЯ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Н. Зернов

Сидней и Мельбурн (13-30 августа).

Когда я разрабатывал планы нашего кругосветного полета, остановка в Австралии не входила в мои расчеты. Я считал этот континент наименее интересным. Однако избежать его мы не могли, так как не существовало прямого сообщения между Новой Гвинеей и Филиппинскими Островами, входившими в наш маршрут. Поэтому мы должны были заехать в Австралию и пробыли в Сиднее и Мельбурне семнадцать дней. Посещение этих двух мест оказалось весьма плодотворным и обогатило нас рядом ценных экуменических контактов. Поучительно для нас было также знакомство с православными общинами в этих городах.

Перелет из Новой Гвинеи в Австралию очень красив. Мы летели над причудливо изрезанными островами и лагунами с их зеленой прозрачной водой, вдоль Большого Кораллового Рифа. В Сиднее нас встретила Марианна Шиндлер, дочь моего двоюродного брата Анатолия Сергеевича Зернова (1882-1942). Тут же на аэродроме она передала нам письмо от сестры из Лондона, с вестью о смерти Мани. Одним утешением было узнать о ее неминуемой кончине в родственном доме Шиндлеров, окруживших нас заботой и теплом. На следующий день Вернер, муж Марианны, часто говоривший по телефону с Европой по своими коммерческим делам, устроил мой разговор с Лондоном. У нас было 4 часа дня, в Англии семь часов утра. Соня собиралась в этот день возвращаться в Париж. Я успел застать ее дома. Она была радостно изумлена, услышав мой голос. На несколько минут мы были вместе в нашем горе; пространство, разделявшее нас, исчезло.

Пять дней в Сиднее были заняты между-церковными встречами. Я проповедовал в англиканском соборе, беседовал с духовенством и прихожанами, прочел лекцию на собрании, устроенном при греческой церкви. На нем присутствовали как восточные, так и западные христиане греки, сирийцы, като-

лики, англикане и протестанты, отсутствовали одни русские. Будущее Православия в Австралии было предметом оживленной беседы. Православная молодежь считает этот материк своей родиной, а не землей изгнания, как на нее часто смотрит старшее поколение, они начинают забывать материнский язык и это создает конфликты в приходах.

В воскресенье мы поехали в русский собор. Там мы встретили иную эмиграцию, чем ту, к которой мы привыкли в Западной Европе. Большинство русских в Австралии были выходцы из Харбина или новые советские беженцы. Просторный храм был полон, но только старушки в платочках истово молились, остальные проталкивались к иконам, ставили свечи и вскоре уходили на церковный двор, чтобы покурить и поболтать с приятелями. Видимо они мало разбирались в том, что происходило на службе. Священник в своей проповеди увещевал паству не курить около храма во время совершения таинства евхаристии, но его слова были услышаны теми, кто был внутри, а не вне церкви. Хор был большой и хорошо спевшийся, иконы были плохого письма. Русские выглядели зажиточно, одеты были безвкусно, и среди них почти не было культурных лиц.

В Мельбурне мы гостили у д-ра Маккахи, пресвитерианского пастора, возглавлявшего Ормондский колледж. Он приготовил для нас разнообразную программу. Милица говорила на собрании духовенства о православном учении о браке. Я был приглашен прочесть лекцию в римо-католической семинарии. Когда старший студент благодарил меня за мое выступление, он отметил, что я был первым лектором мирянином и не католиком, которому было разрешено говорить в их классе.

Таким же пионером я чувствовал себя на собрании, устроенном во францисканском монастыре. В нем участвовали послушники всех католических орденов. Около 80 молодых монахов в черных, белых, серых и коричневых рясах разного покроя, с большим вниманием слушали меня. Здесь, как и в семинарии, меня закидывали вопросами, Православие было для многих из моих слушателей не только новым, но привлекательным миром. К сожалению, члены нашей Церкви в Австралии, за немногими исключениями, не готовы для диалога с Западом. Причиной этого является как низкий уровень их образования, так и их разрозненность. Русские погружены в свои политические распри, греки замкнуты в своей среде. Лучшее понимание задач, стоящих перед нашей Церковью, я нашел среди православных сирийцев, менее нетерпимых, чем остальные. Я говорил в их приходе о положении нашей Церкви в Америке и они особенно интересовались тем, что делается там для молодежи, которая, как и в Австралии, легко теряет свою связь со старшим поколением. Мы также познакомились с молодым энергичным русским, хотевшим создать обще-православное объединение молодежи. Он встре-

тил лишь непонимание и подозрения в среде руководителей своей Церкви.

Мы видели много гостеприимства у русских в Мельбурне. Хотя их колония и многочисленна, но они чувствуют свою отрезанность и рады встрече с русскими, приезжающими из Европы. Мы подружились с несколькими преподавателями русского языка в университете. Они ведут там большую работу.

В течение занятых дней нам удалось все же соприкоснуться со своеобразной природой Австралии. Лес эвкалиптов очаровал нас своей прозрачной атмосферой. Прямые, стройные стволы, мягкий рассеянный свет, общее впечатление чистоты и легкости создают иллюзию храма. Ботанический сад в Мельбурне полон редких растений, черные лебеди в его озерах напоминают посетителю, что он находится на материке, наиболее отдаленном от остального мира.

Наш отлет на Филиппинские Острова был задержан на 4 дня новой операцией моей ноги, которая упорно не заживала. Мне пришлось сидеть дома. Стояла чудесная погода, наступила ранняя весна, но она не радовала нас, так как мы теряли драгоценные дни, предназначенные для Филиппин. 30 августа мы смогли двинуться в путь.

Покидая Австралию, я уносил новый для меня образ этого континента. Перед нашей Церковью там стоит ответственная задача — внести свой вклад в религиозную жизнь этого материка, где, как и в Америке, она пользуется полной свободой. До сих пор члены Церкви не сумели воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами, но хочется верить, что русские, греки и другие православные окажутся достойными представителями своей апостольской традиции, в помощи которой так повсеместно нуждается современный христианский мир.

Филиппинские Острова (30 августа - 7 сентября).

Перелет из Австралии в Манилу превзошел все, до сих пор виденное нами, по своей увлекательности. Сперва мы летели над желто-красной землей, изрезанной узкими долинами и руслами высохших рек и казавшейся совсем нетронутой человеком. Затем потянулась цепь островов, покрытых тропическим лесом. Особенно величественны были вышки вулканов, выстроившихся в одну линию на длинном Целебесе. Прощаясь с просторами Великого Океана, мы увидали его таким, как я представлял его себе до начала нашего странствования. Над нами было безоблачное небо, под нами сверкала и искрилась почти черная вода.

Когда мы приблизились к Филиппинам, мы попали в полосу мансунов. Потоки дождя хлестали нас, их быстро сменяли ослепительные лучи солнца. В прорыве облаков видне-

лись тщательно обработанные и густо населенные зеленые острова. Уже в конце пути внезапно под нами открылась фантастическая панорама: синее озеро, в середине которого возвышался вулкан, а в его кратере было другое озеро, на этот раз изумрудного цвета.

В пять часов пополудни мы спустились в Маниле. После сухого, прохладного воздуха Австралии нас, как из жаркой бани, обдало душным паром. Одежда сразу промокла и неприятно прилипла к телу. Мы очутились в неразберихе восточной толпы. Было приятно увидать высокую фигуру священника американца, пригласившего нас. Погрузив наш багаж в его машину, мы направились в американскую миссию.

Путь лежал через весь город. Первое впечатление от Манилы было мало приятно. Она показалась смесью Азии, Америки и Испании, но скорее в их отрицательных чертах. Движение на широких улицах было огромно и хаотично, тысячи американских автомобилей старались перебить друг другу дорогу. Особенно настойчивы были ярко раскрашенные «джипы», переполненные пассажирами и шнырявшие во всех направлениях. Они были переделаны в маленькие автобусы частными лицами и успешно конкурировали с недостаточным городским транспортом. Город был сильно разрушен во время войны и быстро застраивался, но видимо без плана. Многоэтажные дома чередовались с лачугами, пустыри отделяли один квартал от другого. В отличие от азиатских городов, Манила была полна церквами. Большинство из них — в стиле испанского барроко — напоминали Мексику. Население по цвету кожи и овалу лица тоже походило скорее на креолов. Толпа была одета по-европейски и не имела ярких красок востока.

Двигались мы очень медленно и наш спутник стал нам рассказывать о Филиппинах. По его словам, смесь современной техники с отсутствием порядка были характерны для страны. Всюду имелись телефоны, но далеко не всегда можно было получить нужный номер. Почтальонов не хватает, они появляются в достаточном числе только накануне выборов президента, поэтому приходится ходить самому в почтовую контору, чтобы получать письма. В Маниле рекомендуется пользоваться частными посыльными, а не городской почтой, так как почтовые ящики опорожняются нерегулярно. Государственная полиция ненадежна и люди со средствами охраняются собственной стражей. Некоторые кварталы города окружены колючей проволокой от бандитов. Несмотря на все эти недочеты, жизнь кипит в Маниле, всюду идет строительство, предприятия процветают, образование улучшается. Население архипелага многорасовое, отдельные племена находятся на различных степенях развития, они, однако, живут мирно друг с другом. Филиппины избежали до сих пор дик-

таторства, удела большинства из соседей. Может быть, причиной этого является высокий процент христиан среди населения, обращенного в католичество испанцами во время их трехсотлетнего владения островами.

Добравшись, наконец, до епископальной американской миссии, мы нашли там чистоту и порядок. Кроме собора и домов для духовенства там же находилась семинария и образцовый госпиталь. Наш хозяин, д-р Холл, был одним из преподавателей богословия. Он и его жена познакомили нас с другими профессорами и студентами. До сих пор мы путешествовали в пределах бывшей Британской Империи, теперь нам предстояло встретиться с христианством, выросшим на иной почве, чем Англия или Шотландия.

Большинство семинаристов, которым я должен был читать лекции о Православии, были членами Независимой Церкви Филиппин. Она откололась от римо-католиков во время борьбы за политическую свободу от испанского контроля, начавшейся в конце XIX века. К ней принадлежит значительная часть населения, и в настоящее время она находится в евхаристическом общении с американскими епископалами. Последние открыли двери своей семинарии для студентов Независимой Церкви, которая, несмотря на свою многочисленность, не сумела наладить богословское образование для своего духовенства.

Нам удалось провести целый день с ее членами, утром я проповедовал на их литургии. Служба была очень оригинальна. Убранство церкви, облачения и ритуал напоминали Испанию. Большие распятия, статуи святых в шелковых одеяниях, с длинными натуральными волосами, женщины в мантильях, перенесли нас в Андалузию. Содержание литургии было скорее протестантским. Поведение молящихся было непосредственно, и напомнило нам, что мы находимся на востоке.

После литургии два студента богослова показали нам другие церкви и возили нас по городу. Завтракали мы в доме их родственников. Там мы нашли обстановку и еду похожие на американские, все говорили по-английски и только более смуглый цвет кожи наших хозяев подчеркивал, что мы были не в Соединенных Штатах.

В этот же столь интересный для нас день нам удалось проникнуть в храм секты называющей себя «Эклезия ин Христу». Она существует лишь на Филиппинах, ее храмы построены в особом стиле и обычно закрыты для всех посторонних. Нам разрешили посмотреть церковь после долгих переговоров. Мы убедили главного пресвитера, что мы специально приехали познакомиться с христианством на их архипелаге, и что мы первые члены русской Церкви, задавшиеся этой целью. Внутри храм был построен в виде амфитеатра и

вмещал более тысячи человек. Нам объяснили, что члены общины были обязаны давать 10 % всех своих доходов своей секте и участвовать каждое воскресенье в богослужении. В притворе храма висела доска с именами прихожан и на ней отмечались присутствующие. Подобная суровая дисциплина совсем не вяжется с общей распущенностью жизни в городе; возможно, что этот контраст и является одной из причин успеха секты.

Манила была первым городом, где мы страдали от тропической жары. Особенно изнурительны были ночи. Поэтому мы с радостью согласились провести сутки в горах, в местечке, называемом Багуйо. Маленький авион быстро поднял нас над плоской равниной, на которой расположена столица. После часового полета он приблизился к совершенно отвесной горе, и вместо того, чтобы снизиться на аэродром, как это обычно бывает, он соскользнул на площадку находившуюся на уровне нашего полета.

Ночевали мы в доме епископального священника и насладились прохладным горным воздухом. Возвращались мы на местном автобусе, что взяло почти целый день. Спуск с горы был напряженным, узкая и плохая дорога вилась над пропастью. Накануне автобус со всеми пассажирами свалился в нее. Наши спутники с оживлением обсуждали подробности катастрофы. Достигши равнины, мы сразу окунулись в парную атмосферу. Каждый клочок земли был тщательно обработан, по сторонам дороги тянулась непрерывная цепь домиков. Нам постоянно встречались автомобили, конные повозки, двуколки, которые медленно тянули буйволы. Невольно хотелось сравнить Филиппины с Индией. Но удивляло отсутствие красочности у населения и не чувствовалось размаха большой страны. Филиппины не создали своей культуры, они были и остались местом встречи разных влияний, идущих как с запада, так и с востока. Основной политический вопрос, стоящий перед ними сейчас, связан с Китаем. Смогут ли они сохранить свою независимость перед лицом все растущей угрозы китайского коммунизма? Наш следующий этап был Гонконг. Мы приблизились к той стене, которая отделяет владения Мао Цзе-дуна от остального мира.

Гонконг (7-12 сентября).

Спуск авиона в Гонконг незабываем: сперва он огибает высокую, отвесную вершину острова, потом пролетает над величественным заливом полным военных судов, океанских пароходов, китайских баркасов и множеством парусных лодок и, наконец, спускается на маленький аэродром, находящийся на уровне моря и окруженный высокими домами города.

Первое впечатление от Гонконга — его перенаселенность. Многомиллионное и постоянно растущее китайское население скучено до предела. Тысячи людей принуждены жить на лодках, там они рождаются, женятся и умирают. Нигде мы не видели такого человеческого муравейника. Каждая китаянка носит на спине ребенка. Даже у женщин — матросов, управляющих тяжелыми баркасами, болтается за спиной мешок с дитятей.

Все в Гонконге контрастно и необычайно: непрерывно двигающаяся толпа китайцев и прекрасно дисциплинированная английская полиция, коммунистические газеты, призывающие к мировой революции, под вдохновенным водительством самого Мао, и образцовая администрация, не вмешивающаяся во внутренние китайские дела, но решительно пресекающая попытки к насилию. Этот неповторимый город, открытый всему миру, находящийся на пороге крепко закупоренного, кипящего китайского котла,[1] беззащитен перед своим страшным соседом. Граница проходит в нескольких милях от центра города и красная армия могла бы занять маленькую колонию в течение двух, трех часов. Но коммунистический Китай ценит эту отдушину, через которую он ведет торговлю со свободным миром. Небоскребы Гонконга построены международными капиталистами, подлежащими уничтожению по учению маоистов. Жители Гонконга живут на вулкане, но надеются, что извержение произойдет не на их веку.

Сам город исключительно интересен. Насколько Манила лишена красок, настолько Гонконг насыщен ими. Они кричат со стен домов, бросаются в глаза с широких плакатов, висящих над улицами. Китайские знаки огромных размеров придают особую живописность рекламам и объявлениям. На каждом шагу попадаются занятные для европейца сцены. Мы с сожалением покинули рынок, где продавались съестные продукты, так интересна была толпа продавщиков и покупателей и так новы для нас были снеди, предлагавшиеся на нем. Лучшая часть города построена на острове, который очень красив. С его вершины открывается грандиозный вид на простор океана и на китайский материк. Берег острова изрезан заливами, окруженными скалами.

Одной из особенностей нашего путешествия была не только быстрая смена климата и ландшафта, но также и национальности лиц, приглашавших нас. В Мельбурне мы жили у шотландцев, на Филиппинах с американцами, в Гонконге мы остановились в русском доме. Нас пригласил к себе глубоко православный человек, Николай Андреевич Гальфтер, живший со своей пожилой матерью. Он заведовал водоснабжением

---

[1] Когда мы там были, в Китае происходила кровавая «культурная» революция и он был совсем отрезан от остального света.

города. Познакомились мы с ним случайно у раки мощей святителя Николая в Бари в Италии.

Главной целью нашего краткого пребывания было знакомство с китайским христианством. Гонимое в Китае, оно пользуется свободой в колонии. Мы посетили христианский университет, расположенный на самой границе, имели несколько бесед с духовенством, главным образом принадлежащим к англиканской Церкви. Его особенно интересовало православное учение о усопших, чин погребения и молитвы о них. В китайской традиции почитание предков занимает большое место, а англиканство вместе с другими протестантами старается обойти молчанием вопрос общения со святыми и значение молитв о умерших.

Самым значительным событием для нас было знакомство с профессором богословия С. К. Ли. Китайцы всегда казались мне наиболее отличными от меня людьми, и я никогда не думал найти что нибудь общее между нами. Проф. Ли показал, как опрометчивы подобные обобщения. В его замечательной личности мы встретили христианина, знавшего и любившего Православие, в особенности в его русской версии. Это был человек глубоко созвучный нам. Он происходил из высоко культурной, верной китайским традициям семьи. Старец с тонкими чертами лица и с глазами мудреца, он дал нам ощущение благостного спокойствия. Он прочел все, что было написано по-английски о нашем богословии и жалел, что христианство было принесено в Китай в его западной, а не восточной традиции. Русские не смогли открыть образа Христа Китаю, зато сумели заразить его коммунизмом и наверное нам придется в будущем дорого поплатиться за это.

В Гонконге мы прикоснулись к краю завесы, отделяющей Китай от остального мира. Наши беседы с китайскими христианами помогли нам лучше понять коренное переустройство всей жизни этого огромного народа. Есть много общего, но и много различного в истории русской и китайской революции. Основной вопрос, стоящий перед обоими народами однако тот же: сможет ли коммунизм создать нового «коллективного» человека, готового беспрекословно следовать велениям партии. В России борьба за достоинство и свободу личности восходит к христианскому учению об образе Божием в каждом человеке. Оно слышится и в классической русской литературе и в православном искусстве. Древняя цивилизация Китая, несмотря на свои достижения, не прошла через крест и воскресение, в ней нет традиции духовной свободы. Положение китайских христиан поэтому гораздо трагичнее, но и они не падают духом. Свет Христов, однажды увиденный человеком, освещает по-новому весь его путь. Реальность богообщения не зависит от числа людей, переживших его. В конечном итоге человечество едино, доблесть мучеников одного народа дает силы и вдохновение всем другим верующим,

где бы они ни были. Русские и американцы, европейцы и китайцы, японцы и негры вовлечены в ту же борьбу, которая ведется между атеистическим тоталитаризмом в его различных версиях и верующими в Бога, создавшего людей по Своему подобию.

Живя в доме наших русских друзей, мы познакомились с православной общиной в Гонконге. Маленькая церковь была полна молящимися. Многие из них выглядели больше как китайцы, чем как русские, но все говорили по-русски. Старик священник о. Дмитрий Успенский (1876-1970) пригласил нас к себе и поделился своими воспоминаниями. Было время после революции, когда в Шанхае и других городах Китая существовало много русских приходов. Теперь все это — в прошлом. О. Дмитрий чувствовал свое одиночество, «Умру — говорил он — и некому будет меня похоронить!»[2]

В Гонконге закончился наш перелет через Великий Океан, начавшийся в Сан-Франциско. Все до сих пор виденное нами было удалено от главных центров мировой жизни. Только попав в Гонконг мы снова ощутили в какую катастрофическую эпоху мы живем. Перед тем как покинуть Азию, мы провели несколько дней в Бангкоке, столице Тайланда.

Бангкок (12-18 сентября).

На нашем пути в Бангкок тяжелые тучи закрывали раздираемый войной Вьетнам. Вечером мы спустились на плоскую равнину Тайланда. После взвихренного Гонконга мы попали в мир, который мог показаться волшебным сном, страницей, выпавшей из детской книги легенд и сказок. Сиам никогда не был под властью европейских держав, и эта независимость сохранила у тайландцев чувство сдержанного достоинства, столь характерного для этого народа. Все население Тайланда исповедует буддизм, христиане составляют ничтожное меньшинство, но их влияние заметно в сфере высшего образования. Наши контакты были ограничены университетской средой.

Встретил нас на аэродроме пастор Шарон Вичайдист и отвез нас в пансион для миссионеров. Благодаря Шарону и двум американским профессорам мы имели несколько интересных встреч со студентами и молодыми преподавателями университетов. Мы обсуждали отношение коммунизма к религиям и разницу между русской и китайской версией ленинизма. Это были жгучие темы для тайландских интеллектуалов. Красная опасность висит над страной, но они надеются, что и на этот раз им удастся сохранить свою культурную и

---

[2] Опасения о. Дмитрия не оправдались. Его отпел епископ Подольский Гермоген, прилетевший из России. (Журнал Московской Патриархии. № 3, 1970.

политическую самостоятельность. Буддизм продолжает быть основой народной жизни. Оранжевые одежды монахов мелькают на улицах, город полон храмов, перед домами находятся маленькие семейные капища со статуями Будды, в них по вечерам горят огни.

Все свободное время мы отдавали осмотру достопримечательностей столицы. Одной из них является речной рынок. Торговцы на лодках, наполненных фруктами и овощами, предлагают свои товары покупателям, прибывающим тоже на лодках. Вдоль каналов построены дома и Бангкок напоминает Венецию. Некоторые из его храмов высятся на берегу мощной реки Меконг, что увеличивает их эффектность. Бангкок новый город, он стал столицей в восемнадцатом веке и на нем лежит отпечаток королевской власти, создавшей его. Это город дворцов и пагод.

Восточное воображение неистощимо, но нигде оно не достигает такой фантазии, как в бангкокских храмах. Демоны и ангелы, отважные герои, благочестивые монахи, короли и принцессы, разбойники и пираты в самых разнообразных одеяниях населяют густой толпой их стенные росписи. Странные фигуры, полу-птицы полу-люди стоят на страже в дворах и проходах. Как ни неправдоподобны все эти существа, их гротеск никогда не переходит в уродство, самые ожесточенные битвы лишены жестокости, грубая чувственность исключена из любовных сцен, а их лиричность не вырождается в слащавость. Орнаменты и инкрустации внешней отделки храмов не уступят любым изысканным украшениям.

Легкая пелена нереальности накинута на весь этот увлекательный мир. Но и завороженный зритель и артист, создавший его, знают, что все это «ненастоящее», что все это придумано, хотя в этих аллегориях часто говорится о самом важном для каждого из нас. Для буддистов все двигается по магическому кругу, жизнь иллюзорна, в ней нет трагедии, так как буддизм не знает ни Голгофы, ни Пасхальной победы. Бродя по дворам пагод, останавливаясь перед статуями Будд, погруженных в молитвенное раздумье, слушая мелодичные звуки серебряных колокольчиков, колеблемых ветром, можно легко оторваться от жизни с ее страданиями и радостями, с ее борьбой и творческими заданиями. Вспоминая Бангкок я вновь переживаю фантасмагорию красок, особенно красных и золотых, на фоне темно-синего неба.

Тайланд открыл нам буддизм. На поверхности у него много общего с христианством — милосердие, аскетизм, молитва сближают их, но по существу он непроницаем для евангельского благовестия. В нем отсутствует как сознание греха, так и веры в благодатность всего творения. Буддизм, как и индуизм, стремится к самоуничтожению и считает существование злом, вызывающим бесполезные страдания. Мы покинули Тайланд с тревожным чувством. Казалось, что буддизм обречен,

что у него не найдется духовных сил, чтобы противостать надвигающейся на него угрозе красного тоталитаризма.

Наш обратный путь в Европу прошел без приключений. Мы улетели из Бангкока, покрытого тяжелыми мансунными облаками, а на другой день, в четыре часа спустились в залитый осенним солнцем Париж. Третьего октября мы возобновили нашу привычную жизнь в Оксфорде.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

МАТЬ ЗЕМЛЯ

Н. Зернов

Потрясения, постигшие Россию, сделали меня изгнанником, но в то же время они дали мне возможность странствовать по миру, жить в разных странах, найти друзей среди людей различных национальностей, рас и религий. Я испытал на опыте радостное сознание единства человеческого рода, несмотря на все его разделения.

Нам с женой удалось увидать многие места, прославленные своей красотой. Наша мать земля может быть прекрасной и покрытая снежной пеленою, и украшенная лесами, и опаленная солнцем пустыни. Много у меня любимых мест на земле, одни поразили меня своим девственным величием, другие — отпечатком людей, третьи — знаменательными событиями, происшедшими на их почве.

Дикую, непокоренную природу я встретил в Скандинавии и в Сахаре. За полярным кругом черные горы Норвегии, обрывисто спускающиеся в фиорды, не носят признаков людей. Их острые отроги, покрытые снегом, не изменились за многие тысячелетия. Молчание царит над этой негостеприимной и суровой землей. Она не нужна человеку и человек не нужен ей. Такое же впечатление производит Сахара. Вначале она простирается серой каменистой равниной, покрытой редкой колючей растительностью, но за ней неожиданно открывается океан ярко-оранжевых, великолепных песков. Они то волнами подымаются к небу, то плавно спускаются вниз. Этот мелкий сыпучий песок, в котором утопает нога пешехода, застыл в непонятной неподвижности. По какому-то неоткрытому закону острые, как лезвие ножа, гребни этих волн не меняют своих очертаний. След, оставленный человеком или животным длится всего несколько минут, даже после урагана встревоженные песчинки возвращаются на свое прежнее место и ничто не указывает больше, что тут прошло живое существо или бушевал ветер. Нигде кроме океана я не чувствовал с такой силой, как в Сахаре, ограниченность власти человека над природой.

Я часто задавал себе вопрос, какое самое красивое место, виденное мною, и я теряюсь в выборе. Ничто не может сравниться с «Великим Каньоном»Аризоны, этой огромной пропастью, открывающей на каждом повороте причудливые формы источенных скал, напоминающие нечеловеческие храмы. Но его достойным соперником являются каньоны и обрывы Гавайских островов, с их изумительными окрасками и яркой тропической растительностью. Совсем иное величие принадлежит горам, с их ледниками, водопадами и озерами. Снежные вершины Кавказа, Альп, Пиреней, Скалистых Гор Америки влекут и зовут ввысь. А острова! Я всегда особенно любил их, с их отрезанностью от остального мира и с их своеобразной атмосферой. Как прекрасны острова Тихого Океана, но не менее красивы и острова Караибского моря, особенно Ямайка. Нам удалось побывать на Корсике, до того как она была наводнена туристами. Она была чудесна с ее горьким ароматом «маки» и красными скалами, спускающимися в веселое, играющее море.

Все эти примеры взяты мною из мест, которые захватывают воображение человека своей первозданной красотой, но природа может стать еще более выразительной, украшенная любовью и искусством людей. Такой стала Италия с ее деревушками и церквами, выросшими на вершинах холмов, с ее городами, чьи стены образуют неотъемлемую часть ландшафта. То же случилось и с Грецией, в которой классические и византийские памятники завершают ее природную красоту. Еще труднее представить себе Египет без его пирамид, сфинксов и храмов. Это все примеры очеловеченных стран, они говорят нашему воображению то, чего не может поведать нам земля, которой не коснулся художник — человек.

Слияние природы с творческим вдохновением мыслящего и верующего человека достигает своей вершины в святых местах. В них молитвы людей и дары Святого Духа преобразуют ее и делают ее драгоценным сосудом благодати. Одним из таких мест является Афон. В этой, единственной в своем роде, монашеской республике — земля стала храмом. В течение более тысячи лет этот отделенный от остального мира полуостров был заселен иноками. Многие из них достигли святости, другие спасались молитвами его праведников и подвигами отшельников. Церкви Афона хранят сокровища византийского искусства, они насыщены присутствием неземной силы, их иконы излучают свет и тепло.

Такое же ощущение святости места я пережил на Синае в монастыре св. Екатерины. Построенный в шестом веке императором Юстинианом (483-565), он чудом сохранился до нашего времени. Окруженный высокими стенами, он стоит на краю бесплодной пустыни. Были периоды, когда монахи покидали его на долгие годы, но его единственное по своему

богатству собрание икон не было никогда разграблено кочевниками арабами, чтущими эту святыню. Не одни иконы и прекрасный храм привлекают паломников в Синай. Голые, пурпурного цвета горы, встающие за стенами монастыря, говорят о встрече человека с Богом. Там Моисей получил скрижали завета, там он услышал голос: «Сними обувь с ног твоих. Место на котором ты стоишь свято есть.» (Исход III глава, стих 5.)

Но, конечно, имя «Святой Земли» принадлежит Палестине. Там родился, учил, был распят и воскрес Иисус Христос. Это земля Боговоплощения, по ней ступали ноги Спасителя мира. Палестина была и наверно всегда будет центром раздора, ею хотят обладать евреи и арабы, христиане и магометане, католики и православные. Иерусалим, имя котораго по-еврейски означает «город мира», стал местом величайшего преступления в истории человечества — в нем был пригвожден ко кресту Тот, Кто возвестил любовь Бога к людям и принес им благую весть примирения и спасения. В нем, больше чем в каком-либо ином городе, Голгофа становится реальностью.

Иерусалим несет на себе печать своего избрания. Такое же отличие дано «вечному городу» Риму. На его семи холмах отложены пласты его удивительной истории. Столица грандиозной империи, объединившей средиземноморский мир ко времени пришествия Мессии, стала центром христианства. Несмотря на все разрушения, понесенные ею, она сохранила единство своего замысла.

Этого не удалось совершить его трагическому наследнику Константинополю — «Второму Риму». Город Константина Великого (274-337), в течение двенадцати веков служивший оплотом Церкви, погиб из-за распрей среди христиан. Его завоеватели турки делают все, что возможно, чтобы стереть следы его былой христианской славы, но она все еще продолжает светить чудом архитектуры собора св. Софии-Премудрости Божией.

Еще рано говорить о том, что ожидает «Третий Рим» — Москву, отрекшуюся от своего призвания быть хранительницей Православия. Но и она, как и ее два великих предшественника, остается судьбоносным городом, повлиявшим на историю человечества.

Другие три столицы Европы, в которых мне пришлось жить, отметили этапы развития нашей культуры: Афины, колыбель философской мысли, Лондон с его парламентом, провозгласившим верховность народоправия и Париж, пытавшийся осуществить «свободу, равенство и братство», казнивший своего короля и не знающий с тех пор покоя.

Все эти города, и многие другие, подтверждают мне мое основное ощущение единства и многообразия человечества. Каждый из них имеет свой неповторимый лик: Тифлис и Белград, Вена и Флоренция, Палермо и Салоники, Мадрид и Лис-

сабон, Каир и Дамаск, Бейрут и Мадрас, Нью-Йорк и Манила, Вашингтон и Мельбурн, Гонконг и Бангкок говорят языком своих храмов, дворцов, домов и улиц, они отражают характер народа, построившего их. И в каждом из них я находил друзей и мое место в их жизни. Я был обогащен знакомством со всеми ими. Но три города оставили во мне наиболее глубокий след: Москва, где я родился, Ессентуки, где я обрел Церковь и Оксфорд, который дал мне возможность думать, творить и писать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ИТОГИ ПЕРЕЖИТОГО

Н. Зернов

Встреча с Западом, странствования по миру были ярким фоном моей жизни в эмиграции. Но главными ее темами оставались — Семья, Россия и Церковь.

Семья.

Я вырос в счастливой и дружной семье, в которой преемство поколений было той драгоценной основой, на которой творчески созидалась жизнь в дореволюционной России. Это преемство я ощущаю как завет будущей России, которая должна восстановить эту прерванную традицию. От наших родителей и предков мы переняли свободолюбие, терпимость, веру и завет работы на благо ближнего.[1] Через страшные этапы революции и в годы нашей жизни заграницей связь всей нашей семьи все возрастала, а дружбу нас четверых — братьев и сестер — мы пронесли через всю нашу жизнь. Каждый раз когда нам удавалось быть вместе, у нас сразу возникала особая созвучность. После моего брака и замужества сестры наш круг расширился. Милица была для меня и женой и другом и сотрудницей, без которой я не мог бы совершить ни одного моего достижения. Человек большой глубины и многогранности, она умела всецело отдать себя взятому на себя делу. Не раз она сочетала ответственную хирургическую работу в госпитале с созданием нового дома-центра, ведение домашнего хозяйства с участием в богословских дискуссиях,

[1] Когда мне было 12 лет я был увлечен загадкой переплетения свойств нас, детей. Мне хотелось установить от кого из родителей мы получили наши черты. Раз, играя с сестрой в саду нашего дома на Кавказе, на листе бумаги я стал записывать: двое из нас — блондины, как отец, двое унаследовали каштановые волосы матери. Скоро я запутался в сложных сочетаниях наших четырех таких различных и ярких характеров. Однако эта наивная попытка выразила мой постоянный интерес к людям и богатству их дарований и сама идея хроники, состоящей из воспоминаний разных членов одной семьи, возникла у меня на этой почве.

столярничество и садоводство с иконописью. Мы все жили в разных странах и стали подданными различных государств, но наше единство оставалось нерушимым. Каждый год мы старались устраивать семейные встречи, на них мы делились задачами нашей работы, новыми дружбами и нашими думами. В их центре всегда были для всех нас — Россия и Церковь. Позже к нам присоединилась Розмари, жена Володи.

Россия.

Моя работа секретарем Движения, а потом англо-православного Содружества, литературная деятельность, лекторство в Оксфордском Университете, все они были связаны с вопросами о судьбах России, об особенностях ее культуры и о взаимоотношениях между Православием и западными христианами. В этой главе я хочу подвести итоги моих мыслей на эти темы.

Я покинул Россию, когда мне был 21 год и всю мою остальную жизнь я провел в изгнании, сменяя одну страну на другую. Я остался русским и все, что касается моей родины, все ее достижения и несчастья переживаются мною, как моя радость и как моя боль. Но эта кровная связь с русской землей не мешает мне ежедневно благодарить Бога за драгоценный дар свободы, обретенный в эмиграции.

Живя за рубежом, я носил на себе печать моего происхождения. Мое русское имя делало меня отмеченным человеком и не всегда было легко быть им. Во время Второй Мировой Войны, когда Сталина превозносили повсюду, как героя и великого полководца, мой отказ восхищаться им рассматривался многими, как слепая вражда политического противника. Но когда советские танки расстреливали венгров в 1956 году или поработили Чехию в 1968, то в глазах иностранцев я нес ответственность за это насилие правителей России. И я признаю как русский мою вину в том, что мы не сумели создать строй, в котором царили бы справедливость и гражданская свобода. Не случайно тоталитаризм родился на нашей родине. Я сознаю, какой угрозой всему человечеству является в настоящее время военная мощь Советского Союза, которой бесконтрольно распоряжается кучка партийных аппаратчиков. Поэтому я с особой остротой переживаю те черты русского характера, которые способствуют уродливым проявлениям нашей политической незрелости: нашу леность, легкость, с которой мы миримся с нечестностью и ложью в себе и других. Мы не привыкли к свободе, к уважению к другой личности. Наше бахвальство легко сменяется приниженностью и подхалимством. Мы склонны к крайностям. Среди нас много страшных людей, обуреваемых жаждой разрушения. Годы советской диктатуры обнажили темный лик России, породили миллионы доносчиков и истязателей, предателей и палачей.

Но несмотря на все искушения и грехи нас русских, я рад быть одним из них. Я люблю размах и простор России, я счастлив, что наш язык выразителен и многозвучен, что среди нас встречаются люди с горячим сердцем, открытой душой и чувством сострадания к ближнему. Наша страна дала человечеству дерзновенных мыслителей, гениальных писателей и поэтов, творческих иконописцев и даровитых композиторов. Они являются славой России, от них веет дыханием свободного духа, честна и смела их мысль, они излучают добро и приумножили его в мире. Но более всего дорога мне родина сонмом святых, которыми прославилась наша многогрешная земля. Многие из них сияют неумирающим светом, но другие остались безымянными праведниками. На них то особенно держатся нравственные устои русской жизни. Это люди чистого сердца, смирения, мужества и подлинной веры. Их воспитала наша Церковь. Наша классическая литература дает их портреты. Редко какое описание советских лагерей и тюрьм не упоминает одного из них. Тысячи их погибли в коммунистических застенках, но они до сих пор не перевелись на Руси. Благодаря им не стыдно называться русским и не умирает вера в обновление родины.

То двойственное чувство, которое я испытываю по отношению к моему народу свойственно многим русским. Наша литература и религиозно-философская мысль постоянно возвращаются к загадке России, пытаются разобраться в противоречиях нашей истории. Очутившись за рубежом, я унес эту загадку в изгнание. Встретившись с Западом, я вместе с другими эмигрантами непосредственно столкнулся и с проблемой наших взаимоотношений с Европой. Кем являемся мы: равноправными членами ее народов или незванными и нежеланными пришельцами с Востока? Где корни нашей культуры? В европейском гуманизме, выросшем на почве христианства, в «византийской симфонии» Церкви и государства, в степях Евразии или они самобытны?

Мне представляется, что каждый народ является носителем некой идеи, сознает свою неповторимость, гордится своими достижениями и желает внести свой вклад в жизнь человечества. У нас русских есть повышенное чувство своей миссии. Уже в литературе киевского периода начинают звучать подобные мотивы. В эпоху московского царства сознание особого призвания захватывает воображение народа. Москва становится «Третьим и Последним Римом», единственным оплотом истинной веры во всей поднебесной. Это мессианство окрашивает и государственную и религиозную жизнь. Оно приводит к срыву старообрядческого раскола с его фанатизмом, гонениями на инакомыслящих и самосожжениями.

В XIX веке возобновляются споры о путях России. Их напряженность нарастает и достигает пророческих прозрений

накануне падения империи.[2] Коммунизм, победивший в России и открывший эру тоталитаризма, для его сторонников становится завершением этих мессианских чаяний, для противников он означает соблазн и отступничество русского народа от своей подлинной миссии. Революция показала, что русский народ одержим стихией мессианства. Только народ, верящий в свое призвание, мог пойти на столь страшные жертвы, так безумно расточить свое достояние и осквернить свои святыни, так безжалостно уничтожать своих противников и в то же время мог явить столько мучеников и исповедников, подвиги которых спасают русскую Церковь. Так борются в России разные понимания ее миссии.

Но после полустолетней диктатуры партии у многих русских, как на родине, так и за рубежом, произошла суровая переоценка самой веры в мессианство. Слишком дорогой ценой приходится расплачиваться за притязания Ленина перестроить жизнь на всей земле. Вместо этого пока мы сумели лишь построить огромную тюрьму у себя дома и у соседних народов. В чем же причина трагического искажения русского мессианства? Почему так горьки оказались его плоды? Каким образом Ленин так легко повел за собой народ, живший столетия в лоне Православной Церкви? Я думаю, что причина лежит в двух соблазнах, проникнувших в национальное сознание: первым был соблазн веры, вторым соблазн гордости.

Ленинская проповедь о земном рае была обращена к народу, в массе своей все еще жившему верой в Бога, чаевшему преображения мира. Та утопия, которую коммунисты рисовали своим неискушенным слушателям, казалась похожей на учение Церкви о новом небе и новой земле. Разница была в том, что Ленин обещал открыть двери в рай сразу, лишь только будут ликвидированы эксплуататоры. Не нужно было вести трудную внутреннюю борьбу с собой за очищение сердца, греха больше не существовало.

Победа ленинизма обнаружила духовную незрелость широких масс. Их вера и благочестие не были достаточно крепко основаны на заповедях Христовых, перемешаны с суевериями и легендами. Русские люди не сумели распознать, какого духа был их новый учитель. Огромный потенциал веры, которым обладал народ, был использован ловким демагогом для своих целей — захвата власти путем лжи и насилия.

Вторым фактором, способствовавшим успеху коммунизма, была гордость своим избранничеством. Среди нас, русских, широко распространена уверенность, что мы можем совершить то, что не под силу другим народам, что мы призваны быть учителями человечества, забывая что подлинное призвание мессианства выражается в служении, а не в господстве. Коммунистический лжемессианизм налагает ярмо на тех, кого он

[2] См. «Из Глубины», Москва 1918, Париж 1967.

думает облагодетельствовать и угрожает уничтожением всем непокорным. Большевизм оказался пробным камнем и для Православной Церкви. Почему на ее долю выпало такое огненное испытание? Над этим вопросом следует задуматься каждому члену Церкви.

Церковь.

Я мало знал дореволюционную Церковь, хотя был воспитан в ее ограде. Я стал ее сознательным членом во время красного террора и начала ее преследования. Вместе с взрывом неистовой одержимости злом, это был период расцвета церковной жизни: необычайных явлений обновления икон и куполов, обращения к вере интеллигенции, появления исключительных по своим дарам пастырей и проповедников.[3] Это были годы, когда обычная пелена закрывающая от нас участие в нашей жизни таинственных сил добра и зла, была снята и вневременные и внепространственные основы бытия обнажились для многих.

Мое дальнейшее участие в жизни Церкви проходило в трудных, но творческих условиях изгнания. На фоне знакомства с христианским опытом Запада, по мере изучения истории нашей Церкви и вместе с переживаниями церковного обновления за рубежом, мне по новому открывалось своеобразие русского Православия. Я лично особенно много получил от дружбы и сотрудничества с Г. П. Федотовым в понимании как особых даров, так и односторонности русской церковной традиции.

Христианство было воспринято по разному каждым народом. Церковь раскрыла себя в одних странах стройностью своей организации, в других — ученостью своего богословия, в третьих — высокой нравственностью и миссионерской ревностью своих членов. В России она привлекла народную любовь святостью избранных сынов и дочерей. Подвижники, праведники, юродивые явили пресветлый лик Христов, звали искать Царствие Божие, как драгоценную жемчужину, ради которой стоит отдать все сокровища земли.

Страстотерпцы Борис и Глеб явившие новый вид подвига святости; Преподобный Сергий Радонежский, дерзновенный служитель Триединого Бога и кроткий собиратель земли русской; тайнозритель Пресвятой Троицы, Андрей Рублев; Святой Серафим Саровский благодатный старец, водитель душ

---

[3] Описания этого периода находятся главным образом в отдельных воспоминаниях и журнальных статьях. Особенно ценны среди них следующие: Е. Глуховцова «Евангельские дни в советской России», Белград 1921. Мать Вероника (Котляревская) «Воспоминания монахини» Сан-Франциско б. д. «Преосвященный Михаил Лемешовский», Вестник Р.С.Х.Д. №№ 93-94, 1969. Е. Л. «Епископы исповедники», Сан-Франциско 1971. «Отец Алексей Мечев», Париж 1970.

человеческих и учитель о Святом Духе, все они и сонмы других святых, в земле российской просиявших, внесли особый вклад в сокровищницу человечества и были яркими примерами самобытности русского Православия.

Но каждая поместная Церковь нуждается в общении с другими. Главные проблемы христианства в России связаны с его многовековой изоляцией и многие недостатки русской церковности объясняются отсутствием общения православных с другими христианами. Святость открыла русским реальность и красоту преображенной плоти, но она не научила их строить свою повседневную жизнь на основах евангельского учения. Русская действительность всегда была полна острых конфликтов между светом и тьмою. Жестокость и милосердие, грубое насилие и смиренное прощение обид уживались в ней. «Святая Русь» была одновременно и кощунственная и неистовая Русь.

Мы много молились и строго постились, но мало думали. Мы писали иконы, но не изучали богословия. Мы создали бытовое благочестие, но не научились отстаивать независимость Церкви. Мы основали православное царство, но не сумели установить правосудие и защитить достоинство и свободу личности. Мы признавали братство всех членов Церкви, но терпели гнет крепостного права. Мы украшали дома образами и строили храмы, но пренебрегали честностью, рассчитывая на милосердие Божие к кающемуся грешнику. Мы хвалились верностью отеческим преданиям и с подозрением относились к творческой мысли.

Все, что было непросвещенного и несостоятельного в нашей церковной действительности обнаружилось с особой силой в последние годы империи. Недостаточность пастырской работы способствовала бурному росту сектанства. Правящие круги формально соблюдали обряды, но не знали и не ценили Православия, тогда как интеллигенция, в массе своей зараженная безбожием и философским материализмом, старалась распространить свой атеизм в народе. Церковь была парализована придирчивой государственной опекой, духовенство было принижено своей нищетой и зависимостью от консисторской бюрократии.

Несмотря на все недостатки церковной жизни, накануне катастрофы революции. началось в России небывалое возрождение Православия. Оно обещало обновить духовную жизнь как интеллигенции, так и всего народа. Однако, при первых его признаках на Церковь обрушилась лавина ленинизма с его парадоксальной смесью немецкой диалектики, еврейского профетизма и азиатской стихии разрушения.[4] Церковь была

[4] Русский коммунизм отражает личность своего основателя, который по отцу был астраханским татарином, а по матери полу-еврей, полунемец (отец матери был Александр Бланк (1802-1873), а ее мать — лютеранка, Анна Грошкопф).

потрясена до основания. Ее грандиозное здание зашаталось, стены треснули, казалось она была обречена на исчезновение вместе с павшей империей. Произошло массовое отпадение от веры,[5] притупление совести, рост безразличия к страданиям других, отрыв от исторических корней.[6] Благая весть о свободе и братстве людей, принесенная христианством, была осмеяна, затоптана в грязь миллионами бывших русских христиан. Враги Евангелия готовы были торжествовать... Но произошло чудо, Церковь не погибла. По милости Божией и по молитвам святых и мучеников, потрясенная, униженная, она выдержала удар и продолжает освящать и окормлять жизнь своих членов.

Благодатная жизнь Церкви идет другими путями, чем жизнь государства. Благодарные за чудо ее спасения, мы не должны закрывать наших глаз на причины испытанного поражения. Его размеры призывают нас к безбоязненному признанию исторических недостатков русской церковной жизни и к упорному исканию их преодоления. Одной из самых насущных задач является достижение церковной независимости, укрепление подлинной соборности, радикальный пересмотр взаимоотношений между епископатом, священством и мирянами. Перечисление необходимых реформ не входит в рамки этой книги, но мой личный опыт на экуменическом поприще показал мне, как общение с христианами других Церквей может помочь нам в этих предстоящих нам задачах.

Когда в дни моей молодости я обрел Церковь, я был нетерпим в своей ревности об истине. Я был уверен, что только мы, православные, и в особенности русские, храним подлинное апостольское предание и обладаем полноценными таинствами. Все западные христиане, думал я, отпали от чистоты веры. Я хотел спасать их, обращая их в Православие. Но постепенно я убедился, что мы не имеем монополии на истину.

---

[5] Теперь часто слышится в России выражение: «Мы, советские, в Бога не верим». Безбожие является одной из характеристик того нового человека, которого готовят ленинисты для работы в своих коллективах. Этот советский «свой» человек руководствуется декретами партии, а не голосом совести и в своих личных и в общественных отношениях. Его личность растворяется в коллективе, налагающем на всех одинаковость. Над этой безымянной толпой возвышаются «непогрешимые» вожди, требующие от масс безусловного повиновения. Христианин считается врагом этого строя, т. к. он смеет верить в Бога, что запрещено советским гражданам.

[6] Запомнилась мне толпа в кремлевских соборах. Мужчины в шапках, входящие под священные своды, одни с тупым равнодушием смотрящие вокруг себя, не понимая куда они попали, подлинные «Иваны, не помнящие своего родства», другие, наоборот, с наглой усмешкой рассматривающие строгие лики святых и самодовольно объявляющие: «Мы теперь просвещенные, в Бога не верим». Вековая православная культура сделалась запечатанной книгой для обезбоженной советской толпы.

Мое знакомство с инославием дало мне возможность встретить ряд выдающихся западных христиан — людей высокой мысли, жертвенного сердца и святой жизни. Они поставили меня перед тайной церковных разделений. Я пришел к убеждению, что не случайно Промысел Божий допустил потерю согласия между членами Церкви. Теперь, когда во всем мире началось движение собирания воедино расколовшихся Церквей, оно кажется трудной, но нужной школой, ведущей всех нас к более полному пониманию истины, чем то, которое было доступно разделившимся христианам. Боль от невозможности подходить к единой евхаристической чаше с братьями по вере обострила во мне сознание вины и ответственности за грех потери единства. Оттого я отдал свою жизнь работе на экуменическом поприще.

В этой работе я шел рука в руку со всей плеядой эмигрантских богословов, сыгравших такую решающую роль в начальных стадиях экуменизма и продолжающих вносить в него свой вклад. В русском Православии заложено глубокое ощущение Вселенскости Церкви. Оно является для нас стимулом в деятельности по сближению христиан. Но никакой экуменизм невозможен без укорененности в своей традиции.

Православная Церковь питала, вдохновляла и поддерживала меня во всех моих начинаниях. Она помогала мне лучше понять человеческую природу, давала мудрую помощь в борьбе с самоволием, самососредоточенностью и эгоизмом. Церковь укрепляла меня в ежедневном предстоянии перед Богом в утренних и вечерних молитвах, в чтении Священного Писания, предписываемых ею. Пост и земные поклоны дисциплинировали тело и душу, церковные напевы, поэзия и богословское богатство богослужений подымали над суетой повседневных забот. Преображенные лики подвижников на иконах указывали путь к совершенству. Молитвы о близких, уже ушедших из этого мира, подготовляли ко дню окончания наших земных трудов. Но главный дар Церкви — ее таинства, в особенности таинства Покаяния и Причастия. В Евхаристии человек — хозяин земли — приносит своему Создателю плоды своих трудов — хлеб и вино, — в благодарность за жизнь, дарованную ему и за любовь, явленную ему Сыном Божиим. В ответ на эту веру и верность Спаситель мира приобщает членов Церкви жизни вечной, раскрывая перед ними пути богообщения. Исповедь и Евхаристия вводили меня, как и всех своих верных чад, во святое святых Православной Церкви и были главной опорой моей духовной жизни. Я получил неизмеримо много от встречи с замечательными ее пастырями, людьми большой веры и духовной мудрости. Среди моих духовных отцов были такие исключительные личности, как митрополит Антоний (Храповицкий), о. Алексей Нелюбов, о. Сергий Булгаков, о. Сергий Четвериков, о. Александр Ельчанинов,

о. Лев Жилле, митрополит Антоний (Блюм). Русская церковь в эмиграции отличалась духовенством, выдающимся по своему богословскому и духовному уровню.

Мой личный опыт и исторические события, участником которых я был, убедили меня, что высшая воля Бога ведет нас путями, значение которых часто остается закрытым для нас. Смысл случившегося, однако, может раскрыться впоследствии перед нашим удивленным взглядом. Это я испытал в моменты смертельной опасности, требовавшие решений, от которых зависела судьба всех нас. Я оказался современником одной из трагических эпох в истории человечества. Революция застала меня в годы молодости и это сделало возможным для меня использовать ее уроки для остальной моей жизни. Она обнажила передо мною бездну бунтующей человеческой стихии, но она же помогла мне познать истину христианства. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в победу добра над злом, света над мраком, явленную миру распятым, погребенным и воскресшим Иисусом Христом — Сыном Божиим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заканчивая вторую часть семейной хроники, я мысленно просматриваю пятидесятилетний период, описанный в ней. В него входят первые самые трудные годы изгнания, затем расцвет эмиграции в Париже, жизнь в Англии и во Франции во время войны, и после-военные путешествия по миру. Еще не пришло время подводить итоги значения эмиграции как для России, так и для стран, принявших русских изгнанников. Роль эмиграции оказалась иной, чем ее участники предполагали вначале. Им не удалось вернуться на родину и помочь в борьбе за ее освобождение от диктатуры. Когда я пишу эти строки, Россия продолжает быть крепко скованной вождями партии, произвольно распоряжающимися участью миллионов людей. Но само существование эмиграции было и остается протестом против этого насилия, свидетельством неумирающей жажды свободы в сердце русского человека.

Эмиграция имеет и другую миссию — сохранить и приумножить в условиях политической независимости те духовные ценности, которые так упорно стараются уничтожить на родине коммунисты. Она сумела также познакомить с ними Запад, обогатив его религиозным опытом русского Православия и другими достижениями нашего искусства и культуры.

Книга «За Рубежом» ограничивается воспоминаниями и размышлениями членов лишь одного из семейств, покинувших родину в начале революции. Однако переживания и убеждения Зерновых характерны для многих других изгнанников, и потому хроника отражает настроения, выходящие за пределы семейного круга. Одной из основных черт, общих всем ее авторам, была их глубокая, органическая связь с отчизной, которая не только не ослабевала, но даже росла с годами. Такой же была и их любовь к Церкви и сознание ее обновляющей силы для личной и общественной жизни.

Хроника кончается встречей с после — сталинской Россией, которая укрепила веру, что советским властям не удастся заключить всех русских людей в послушный коллектив и оторвать их от истоков нашей христианской культуры.

«За Рубежом» говорит о верности русских, «в рассеянии сущих», России и Церкви и об их неиссякающей надежде увидать свободу и справедливость на родной земле.

Н. Зернов.
Пасха 1972.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ВСТРЕЧИ С РОССИЕЙ (1960-1966)

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. СТРАНСТВОВАНИЯ ПО МИРУ ИНДИЯ (1953-1954)

АМЕРИКА (1956-1967)

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА (1965)

A. ROSSEELS PRINTING C°
Vaartstraat 70 — 3000 Louvain
☎ 016/360.01 — Belgium